ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Столетие

1859—1959

со дня рождения



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в шести томах

Редакционная коллегия

М. С. БЕЛЕНЬКИЙ, С. З. ГАЛКИН, Вс. В. ИВАНОВ, Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

РАССКАЗЫ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Составитель тома
А. ФРУМКИН

Перевод с еврейского

Оформление художника
Г. А. КРАВЦОВА

НЕУНЫВАЮЩИЕ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПОРТНОЙ

(Заимствовано из старинной хроники)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бысть муж во Злодеевке — жил человек в Злодеевке, местечке, расположенном в округе Мазеповки, неподалеку от Хаплаповичей и Козодоевки, между Ямполем и Стрищем, как раз на той дороге, по которой ездят из Пиши-Ябеды через Печи-Хвост на Тетеревец, а оттуда — на Егупец.

И наречен бысть оный муж Шимон-Элиогу — и имя ему было Шимен-Эле, а прозвали его «Шимен-Эле Внемли Гласу» за то, что во время моления в синагоге он имел обыкновение бурно проявлять свои чувства: прищелкивать пальцами, вопить и голосить, заливаться на все лады.

И бысть сей муж швецом — и был этот человек портным, — не то чтобы, упаси бог, из перворазрядных, из тех, что шьют по «картинке», именуемой «журналом», а попросту — заплатных дел мастером, то есть умел, как никто, поставить заплату, заштопать дыру, чтобы незаметно было, или перелицевать какую угодно одежку, вывернуть ее наизнанку — прямо-таки превратить старье в новую вещь. Возьмет, к примеру, старый халат и сделает из него кафтан, из зипуна — пару штанов, из штанов выкроит жилетку, а из

жилетки — еще что-нибудь... Не думайте, что это так просто!

Вот на такие дела Шимен-Эле Внемли Гласу был поистине мастак. А так как Злодеевка— местечко нищее и справить новую одежду там дело не столь обычное, то Шимен-Эле был в большом почете. Беда только, что он никак не мог поладить с местными богачами, любил совать нос в общинные дела, заступаться за бедняков, говорить довольно откровенно о благодетелях, пекущихся о нуждах общества; откупщика коробочного сбора * он при всем честном народе смешивал с грязью, заявлял, что он вымогатель, кровопийца, людоед, а резники и раввины, которые с откупщиком заодно, — попросту шайка, скопище воров, мошенников, головорезов, разбойников, злодеев, черт бы их побрал с их батьками и прабатьками — до самого прадеда Тереха с дядей Ишмоелом в придачу! *

Среди ремесленников, членов братства «Благочестивый труженик», Шимен-Эле Внемли Гласу слыл «музыкантом». На их языке это означало: человек, изощренный во всяких премудростях, — потому что Шимен-Эле так и сыпал изречениями, цитатами из священных книг, вроде: *«Аз недостойный», «Да возрадуются и возвеселятся», «Ныне день великого суда», «Угнетены и раздроблены», «Как в писании сказано»*, — вставлял им самим придуманные древнееврейские слова и поговорки, которые у него всегда были наготове. К тому же и голосок у него был неплохой, хотя излишне визгливый и хрипловатый. Зато знал он как свои пять пальцев все синагогальные напевы и мотивы, до смерти любил петь у амвона, был старостой в портновской молельне и бывал, как водится, бит по большим праздникам.

Шимен-Эле Внемли Гласу был всю жизнь горемычным бедняком, можно сказать почти нищим, но впадать по этому случаю в уныние он не любил. «Наоборот, — говаривал он, — чем беднее, тем веселее, чем голоднее, тем песня звонче! Как в талмуде* сказано: *«Приличествует бедность Израилю, як черевички красны дивке Хивре...»* *

Короче говоря, Шимен-Эле принадлежал к числу тех, о которых говорят: «Гол, да весел». Был он маленького роста, замухрышка, бородка реденькая, козлиная, нос немного приплюснутый, нижняя губа чуть раздвоена, а глаза, большие, черные, всегда улыбались. В курчавых волосах постоянно торчали клочья ваты, кафтан был утыкан иголками. Ходил он приплясывая и неизменно напевая себе под нос: *«Ныне день великого суда...»* — только не тужить!»

И роди сей муж сынов и дщерей — и был Шимен-Эле обременен целой кучей ребят всех возрастов, преимущественно дочерей, среди них несколько взрослых. А жена его была наречена Ципе-Бейле-Рейза, и была она «ему соответственна» *, то есть полной противоположностью своему мужу: высокая, краснощекая, здоровенная — казак-баба! С первого же дня после венца она забрала его в руки, да так и не выпускала. Верховодила и, по сути дела, мужем в доме была она, а не он... Шимен-Эле относился к ней с благоговейным трепетом: стоило ей раскрыть рот, как его уже трясло... А иной раз, с глазу на глаз, ежели придется, она и на оплеуху не скупилась... Оплеуху он прятал в карман и отделывался при этом поговоркой или стихом из писания: *«Ныне день великого суда...»* — только не тужить!» В священном писании сказано: *«И он»*, то есть муж, *«да властвует над тобой...»* Стало быть, ничего не попишешь! Все властители Востока и Запада ничем тут помочь не могут.

И бысть день — и однажды приключилась такая история. Пришла как-то в летний день с базара Ципе-Бейле-Рейза с кошелкой в руках, швырнула пучок чесноку, петрушку и картошку, которые она закупила, и воскликнула в сердцах:

— Провались оно сквозь землю! Опостылело мне изо дня в день сушить себе мозги, придумывать, из чего обед готовить! Министерскую голову нужно иметь! Только и знаем, что клецки с фасолью или фасоль с клецками, прости господи! Вот, к примеру, Нехаме-Броха... Уж на что беднячка, нищенка, убогая, побирушка — и та козу имеет! А почему? Потому что муж ее, Лейзер-Шлойме, хоть и портной, а все

же человек! Шутка ли, коза! Когда в доме есть коза, есть и стакан молока для детей; можно иной раз сварить кашу с молоком, замять обед и обойтись без ужина. А то бывает и кринка пахты, и кусочек творогу, масла... Благодать!

— Ты, голубушка, конечно, права, — спокойно отвечал Шимен-Эле. — Даже в талмуде сказано: *«Каждому еврею положена своя доля...»* * — то есть каждый еврей должен иметь козу. Как в священном писании говорится...

— Что мне толку от твоего писания! — раскричалась Ципе-Бейле-Рейза. — Я ему: «коза», а он мне: «писание»! Я тебе такое «писание» покажу, что у тебя в глазах потемнеет! Он меня писанием кормит, кормилец мой хваленый! Недотепа! Да я, слышишь ли, всю твою ученость за один молочный борщ отдам!

И стала Ципе-Бейле-Рейза донимать своего мужа подобного рода «намеками» по нескольку раз в день до тех пор, пока он не поклялся, руку дал, что она может спать спокойно, что коза, с божьей помощью, будет! Главное — не терять надежды! *«Ныне день великого суда...»* — только не тужить!»

С тех пор Шимен-Эле стал копить грош к грошу. Он отказывал себе во многом, даже в самом необходимом, заложил у процентщика субботний сюртук и сколотил таким образом несколько рублей. Решили, что он возьмет деньги и пойдет в Козодоевку покупать козу. Почему в Козодоевку? На то были две причины: во-первых, Козодоевка— место, где водятся козы, о чем свидетельствует и само название. А во-вторых, Ципе-Бейле-Рейза слыхала, как рассказывали об одной ее соседке, с которой она вот уже несколько лет не разговаривает, что та слыхала от своей сестры, недавно приезжавшей к ней в гости из Козодоевки, будто там живет некий меламед *, в насмешку прозванный «Хаим-Хоне Разумником», так как он большой дурак; у этого Хаим-Хоне Разумника есть жена, ее зовут «Теме-Гитл Молчальница» за то, что у нее слов — девять коробов; а у этой Теме-Гитл Молчальницы — две козы, и обе дойные. Спра-

шивается: за что это ей полагается две козы, да еще дойных к тому же? А если бы у нее и одной не было, — подумаешь, беда какая! Есть, слава тебе господи, люди, у которых и полкозы нет. Ну и что же? Умирают они от этого?

— Ты, конечно, кругом права! — отвечал Шимен-Эле своей жене. — Ведь это, понимаешь ли, старая история... Как в писании сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ...»* *

— Опять? Опять он тут как тут со своим писанием! — перебила его жена. — С ним говорят о козе, а он лезет с писанием! Ты сходи лучше к козодоевскому меламеду и скажи ему: так, мол, и так... Слыхали мы, что у вас имеются две козы и обе доятся. На что вам две дойные козы? Солить? Стало быть, одну из них вы, наверное, хотите продать? Продайте ее мне! Какая вам разница? Вот так и скажи. Понимаешь?

— Конечно, понимаю! Чего ж тут не понимать? — сказал Шимен-Эле. — За свои деньги я должен еще упрашивать? За деньги все на свете можно достать. *«Серебро и злато и свиней очищают»*. Скверно, видишь ли, когда звонких нет... Вот тогда уж подлинно: *«Нищий подобен покойнику»* — что означает: если нечего жрать, ложись спать, или, как говорят: без пальцев и кукиша не покажешь... Есть такое изречение: *«Аскакурдэ дебарбантэ дефаршмахтэ...»*

— Снова писание, и опять-таки писание! У меня уже голова трещит от твоих изречений, чтоб ты провалился! — ответила Ципе-Бейле-Рейза и принялась, по своему обыкновению, честить мужа и втолковывать ему в сотый раз, чтобы он прежде всего попытал счастья у меламеда Хаим-Хоне, авось что-нибудь и выйдет... А что, если он не захочет?.. Но почему ему не захотеть? С какой стати он должен иметь двух коз, да еще дойных к тому же? Есть, слава тебе господи, люди на белом свете, у которых и полкозы нет. И что же? Умирают они от этого?

И так далее, все то же.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И бысть утро — начало светать, а наш портной поднялся рано, помолился, взял палку да кушак и в добрый час двинулся пешком в путь-дорогу.

Было воскресенье, погожий, солнечный летний день. Шимен-Эле даже не запомнит такого замечательного, благодатного дня. Давненько уже не бывал Шимен-Эле в поле, на вольном воздухе. Давно уже глаза его не видали такого свежевымытого зеленого леса, такого чудесного зеленого покрывала, усыпанного разноцветными крапинками. Уши его давно уже не слышали щебетания птиц и шума крыльев. Нос его давно уже не обонял вкусного запаха зеленой травы, сырой земли. Шимен-Эле Внемли Гласу провел всю свою жизнь в другом мире. Глаза его постоянно видели совсем иные картины: мрачный подвал, у самой двери — печь, ухваты, кочерги да лопаты, полное до краев помойное ведро. Возле печи, у помойного ведра, — кровать из трех досок. На кровати — ребятишки, много, не сглазить бы, ребятишек — мал мала меньше, полураздетые, разутые, немытые, вечно голодные. До ушей Шимен-Эле доносились совсем иные голоса: «Мама, хлеба!», «Мама, булки!», «Мама, кушать!..» И покрывал все эти голоса голос Ципе-Бейле-Рейзы: «Кушать? Чтоб вас черти не ели, господи милосердный, вместе с вашим дорогим отцом-недотепой!», «Чтоб вас черт не побрал вместе с ним!» Нос Шимен-Эле привык к другим запахам: к запаху сырых стен, которые зимою мокнут, а летом зацветают плесенью; к запаху кислого теста с отрубями, лука и капусты, сырой глины, чищеной рыбы и потрохов; к запаху ношеного платья, бьющему в нос из-под накаленного утюга вместе с паром...

Вырвавшись на миг из убогого, гнетущего, мрачного мира в новый, яркий, вольный свет, наш Шимен-Эле почувствовал себя как человек, в знойный летний день окунувшийся в море: вода несет, волны

подхлестывают, он ныряет, ныряет и, всплывая, дышит полной грудью... Наслаждение, рай земной!..

«И что бы, казалось, мешало господу богу, — думал Шимен-Эле, — что бы ему мешало, если бы каждый труженик, к примеру, мог ежедневно или хотя бы раз в неделю выходить сюда в поле и вкушать от благ божьего мира? Эх, мир! До чего он хорош!..» И Шимен-Эле начал, по своему обыкновению, напевать молитвы, толкуя их на свой лад:

«Сотворил ты — создал ты, господи, *свою вселенную* — мир твой, *издревле* — по ту сторону города! *Избрал ты нас* — и обрек ты нас на жизнь в Злодеевке, в тесноте и в духоте. *И дал нам* — и отпустил же ты нам, господи, горестей и болячек, нищеты и лихоманки — *по милости твоей великой* — ой-ой-ой!..»

Так напевал Шимен-Эле про себя, и хотелось ему вот здесь, вот сейчас, в поле, броситься на зеленую траву, хоть на мгновение забыть обо всем и насладиться жизнью. Но, тут же вспомнив, что у него неотложное дело, он сказал себе: *«Стоп, машина!* Хватит, Шимен-Эле, распевать! *Отправляйся к праотцам* — шагай, брат, шагай! Отдохнешь, даст бог, в «дубовой» корчме. Ее арендует как-никак родственник, шинкарь Додя. Там в любое время можно рюмочку тяпнуть... Как в писании сказано: *«Изучение торы превыше всего»* — сиречь: стопочка горькой — великое дело...» И Шимен-Эле Внемли Гласу двинулся дальше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Среди дороги — как раз на полпути между Злодеевкой и Козодоевкой стоит в поле корчма, известная под названием «дубовой». Корчма эта таит в себе неведомую силу; точно магнит притягивает она извозчиков и пассажиров, направляющихся из Злодеевки в Козодоевку и возвращающихся из Козодоевки в Злодеевку. Никто не может миновать «дубовую», — хотя бы на несколько минут, да остановится! Тайна этой притягательной силы никем по сей день не разгадана! Некоторые объясняют ее тем, что

хозяин корчмы, шинкарь Додя, — в высшей степени любезный и гостеприимный человек, то есть за деньги он вам всегда поднесет добрую чарку водки и наилучшую закуску; другие усматривают причину в том, что Додя якобы принадлежит к числу тех, которых именуют «ведунами» или «прорицателями», а означает это вот что: хотя сам он краденым и не торгует, но со всеми знаменитыми ворами запанибрата... Однако доподлинно никто ничего не знает, и лучше об этом помолчать...

Додя этот был арендатором. Волосатый толстяк с огромным животом и носом картошкой, Додя не говорил, а ревел, точно бык. Жил он припеваючи, имел несколько коров. Не хватало ему, как говорится, разве что головной боли... К тому же он на старости лет остался вдовцом. Человек он был невежественный: ему что книга покаянных молитв, что пасхальное сказание, что сборник послеобеденных благословений — все едино. Поэтому-то портной Шимен-Эле стеснялся своего родства с ним: не пристало ему, Шимен-Эле, грамотею и синагогальному старосте, иметь родственником невежду шинкаря... А Доде, со своей стороны, было стыдно, что родственником ему приходится какой-то плюгавый портняжка... В общем, оба они тяготились друг другом. Тем не менее, когда Додя увидел Шимен-Эле, он весьма радушно приветствовал его, так как втайне побаивался не столько родственника, сколько его языка.

— О! Гость! Какой гость! Как жив-здоров, Шимен-Эле? Как поживает твоя Ципе-Бейле-Рейза? Как детишки?

— А-а! *Что мы и что наша жизнь?..* Как нам поживать? — ответил Шимен-Эле, по своему обыкновению, словами молитвы. — Как это говорится: *«Кто от бури, а кто от чумы...»* Иной раз так, иной раз этак... Главное — быть здоровым, как в писании сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ дефаршмахтэ декурносэ...»* Как вы живете, дорогой родственничек? Что у вас в деревне нового? *«Запомнилась нам рыба»* — я до сих пор забыть не могу ваши прошлогодние вареники и выпивку... А ведь для вас — это главное. Заглядывать

в книгу вы, я знаю, не охотник... *«О чем шумят народы?»* — на что вам священное слово? Эх, реб Додя, реб Додя! Если бы ваш отец, дядя Гдале-Волф, царство ему небесное, встал из гроба и взглянул на своего Додика, как он живет в деревне, среди неучей, он бы сызнова умер! Ах, и отец же был у вас, реб Додя! Святой жизни человек, да простит он меня: пил мертвую... Словом, *«несть человека без своих горестей»* — о чем бы ни говорить, все равно о смерти вспомнишь... Что ж, поднесите стаканчик, как наш учитель раби Пимпом * говорит: *«Кафтан — в залог, а стакан — на стол!..»*

— Уже? Пошел сыпать изречениями? — сказал Додя, подавая ему водку. — Скажи-ка мне лучше, Шимен-Эле, куда ты едешь?

— Не еду я, — ответил Шимен-Эле, опрокидывая рюмку, — пешком иду. Как в молитве сказано: *«Имеют ноги, а не ходят»* — сиречь: есть ноги, не хвор и пешком шагать...

— В таком случае, — спросил Додя, — скажи мне, сердце, куда же ты шагаешь?

— Шагаю, — ответил Шимен-Эле, осушив вторую рюмку, — в Козодоевку — коз покупать. Как в писании сказано: *«Коз сотвори себе»* — покупай себе коз...

— Коз? — удивленно переспросил Додя. — С каких это пор портные торгуют козами?

— Это только так говорится: «коз», — пояснил Шимен-Эле. — Я имею в виду одну козу. Авось господь поможет недорого купить при случае хорошую козу. То есть я бы не стал покупать, но жена моя, дай ей бог здоровья, Ципе-Бейле-Рейза то есть... Вы ведь ее знаете... Уж если она заупрямится... Криком кричит: хочу козу! А жену, говорите вы, слушаться надо! Ведь прямо так и сказано в талмуде. Вы помните, как там говорится?

— В этих делах, — сказал Додя, — ты лучше меня разбираешься. Ты ведь знаешь, что я с этим... с этим талмудом не шибко в ладах. Одного только не пойму я, дорогой мой родственник, откуда ты знаешь толк в козах?

— Вот тебе и на! — обиделся Шимен-Эле. — А откуда шинкарю знать толк в молитвах? Тем не менее, когда приходит пасха, вы, с божьей помощью, отбарабаниваете молитвы Судного дня как полагается? Не так ли?

Додя понял намек. Он закусил губу и подумал: «Погоди, погоди, портняжка! Что-то ты сегодня больно хорохоришься! Что-то ты чересчур своей ученостью бахвалишься! Устрою же я тебе козу — почешешься!..»

А Шимен-Эле велел налить себе еще стаканчик того самого горького зелья, что исцеляет от всех бед. От правды не уйдешь: Шимен-Эле любил выпить, но пьяницей он, конечно, не был. Упаси бог! Да и когда он мог себе позволить рюмочку водки?.. Беда только в том, что, пропустив одну рюмочку, он никак не мог отказать себе во второй, а от двух рюмок настроение у него сразу подымалось, на щеках выступал румянец, глаза загорались, а язык — язык развязывался и трещал без устали.

— Я насчет того, что вы говорите «цех», — начал Шимен-Эле, — цех, игла да утюг. Наш брат мастеровой отличается тем, что каждому нравятся почести... А почет, говорят, не живет без хлопот. Любой ледащий сапожник и тот хочет начальником быть, хотя бы над помойной лоханью. А я им говорю: «Братцы, *«недостоин я милостей»,* — на черта мне это нужно! Выберите себе сапожника в старосты. *«Ни жала, ни кружала...»* * Не надо мне ваших почестей, и не хочу я оплеух!» А они мне: «Ерунда! Что цех порешил, то свято!» Но ведь это же, говорю я, как в писании сказано: *«Если есть на тебе облачение, будь нам владыкой!»* То есть оплеухи получай, а старостой будь! Однако хватит. Заговорился я с вами, совсем забыл, что на мне еще коза. *«А день еще велик...»* Время на месте не стоит. До свидания, реб Додя. *«Крепись, крепись!»* Будьте здоровы и крепки и готовьте вареники!

— Так ты смотри же не забудь, — сказал шинкарь, — на обратном пути обязательно остановись у меня!

— Если богу будет угодно! — ответил Шимен-Эле. — Не обещаю, но постараюсь! Конечно, а как же иначе? Ведь мы всего лишь грешные люди, плоть да кровь, как говорится... Вы только, реб Додя, приготовьте добрую чарку водки и закуску, магарыч то есть, как подобает нашему брату мастеровому!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И изыде Шимон-Элиогу из «дубовой» — и вышел Шимен-Эле из корчмы в приподнятом настроении, немного навеселе, *и прииде* — и прибыл благополучно, в добром здравии, в Козодоевку. А по прибытии в Козодоевку стал расспрашивать, где здесь проживает реб Хаим-Хоне Разумник, имеющий жену Теме-Гитл Молчальницу с двумя дойными козами?

Долго расспрашивать не пришлось, потому что Козодоевка не бог весть какая столица, чтобы в ней, упаси бог, заблудиться. Все местечко перед глазами как на ладони: вот мясные лавки с мясниками, мясорубами и с голодными собаками; вот базар, где женщины, разутые, в чулках, носятся от одной крестьянки к другой и все разом щупают одного петуха.

— Чуешь? Чуешь? А що тоби за курку? [1]

— Яка курка? Це пивень, а не курка!.. [2]

— Нехай буде пивень! А що тоби за курку? [3]

В двух шагах отсюда — синагогальный двор. Здесь сидят старухи, торгующие мелкими грушами, подсолнухами и бобами; здесь же меламеды обучают ребят... Дети кричат, козы — бесконечное количество коз! — прыгают, таскают солому с крыш, либо лежат на земле, трясут бородками, греются на солнце и жуют жвачку.

А вот и баня с черными от копоти стенами. Рядом речушка, подернутая зеленым слоем ряски, кишащая пиявками и квакающими лягушками. Речушка

[1] Слышь! Слышь! Сколько тебе за курицу? *(укр.)*

[2] Какая курица? Это петух, а не курица!.. *(укр.)*

[3] Пусть будет петух! А сколько тебе за курицу? *(укр.)*

сверкает на солнце, отливает всеми цветами радуги и распространяет нестерпимое зловоние.

А там, по ту сторону речушки, нет ничего, только небо да земля — кончилась Козодоевка!

Когда портной вошел к реб Хаим-Хоне Разумнику, он застал его за работой. В широком талескотне*, с островерхой ермолкой на голове, меламед сидел в кругу своих учеников и вместе с ними громогласно, нараспев, изучал трактат талмуда:

«И оная коза, завидев на поверхности бочонка снедь, дорвалась до этой снеди...»

— Цафро тово, лемóрей дехайто, декупо демахто!..* — отчеканил Шимен-Эле Внемли Гласу мудреное приветствие на арамейском языке и тут же перевел его на простой разговорный: — Добрый день да ворвется к вам, уважаемый ребе, и к вашим ученикам! Вы, слышу я, толкуете с ними как раз о деле, ради которого я и потрудился прибыть к вашей супруге, госпоже Теме-Гитл, то есть насчет козы... Вообще-то я не стал бы покупать козу, но жена моя, Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась... Криком кричит: хочу козу! А жену, как вы сами знаете, надо слушать! Ведь в талмуде прямо так и сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ дефаршмахтэ декурносэ...»* Что вы на меня уставились? *«Не смотри в стакан, а смотри в бутылку»,* — вы не смотрите на то, что я мастеровой, — *«в труде рук твоих — благо твое!»* Вы, наверное, слыхали обо мне... Я — Шимен-Эле, портной из священного города Злодеевки, цеховик и староста в синагоге, хотя на черта мне это нужно... *«Ни жала, ни кружала...»* Не надо мне, говорю я им, почестей и не хочу оплеух! Но они отвечают: «Ерунда! Что цех порешил, то свято! Если есть на тебе облачение, будь нам владыкой», — оплеухи получай, а старостой будь... Однако я немного заговорился и чуть не забыл поздороваться с вами. Мир вам, ребе! Мир вам, ребятишки, святые овечки, шалуны, озорники, сорвиголовы! Вам бы так плясать хотелось, как учиться хочется! Угадал, не правда ли?..

Услыхав такие речи, ученики начали тайком щипать друг друга и фыркать, давясь от смеха. Они

были чрезвычайно довольны гостем и ничего не имели бы против того, чтобы почаще приходили такие посетители! Но Ханм-Хоне Разумник не разделял радостных чувств своих питомцев. Он не любил, чтобы ему мешали. Поэтому он позвал свою жену, Теме-Гитл, а сам вернулся с учениками к козе, которая дорвалась до снеди, и распелся во весь голос:

— *«И обвинил Рово...»**—и постановил: *«она обязана возместить полностью убыток, уплатить и за снедь и за бочонок...»*

Сообразив, что с меламедом ему говорить не о чем, Шимен-Эле принялся за его жену. И в то время как супруг ее с учениками занимался козой из талмуда, Шимен-Эле беседовал с Теме-Гитл о ее собственной козе.

— Я, как видите, человек мастеровой! — заявил он. — Может быть, вы обо мне слышали... Я — Шимен-Эле, портной из города Злодеевки, цеховик и староста портновской синагоги... Хотя на черта мне это нужно! *«Ни жала, ни кружала...»* Не надо мне, говорю я, оплеух и не желаю почестей... А пришел я к вам, стало быть, насчет одной из ваших коз. То есть я не стал бы покупать козу, но жена моя, Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась... Криком кричит: хочу козу! И все тут! Ну, а жену, вы сами говорите, надо слушать... В талмуде буквально так и сказано...

Теме-Гитл, маленькая женщина с похожим на фасоль носиком, который она то и дело вытирала двумя пальцами, послушала-послушала, а затем перебила:

— Значит, вы пришли торговать у меня одну из моих коз? Так вот я должна сказать вам, дорогой мой, во-первых, я вовсе не собираюсь продавать козу. Потому что, — давайте говорить начистоту, — зачем мне это делать? Ради денег? Но что такое деньги? Деньги — они круглые! Деньги уходят, а коза остается козой, тем более такая коза! Разве это коза? Это мать, говорю я вам, а не коза! Как она, не сглазить бы, легко доится! А сколько молока дает! Да и что она ест? Разве она ест? Раз в день пойло из

отрубей, а там солому с крыши... Но, с другой стороны, если бы мне дали хорошую цену, то я бы подумала: деньги, как вы говорите, приманка, за деньги я и другую козу могу купить, хотя такую, как моя, не так-то легко достать. Разве это коза? Мать, а не коза! Но что толку в словах? Вот я приведу сюда козу, и вы сами увидите!..

Теме-Гитл убежала, тут же привела козу и показала полную кринку только сегодня надоенного молока.

Увидев молоко, портной даже облизнулся и спросил:

— Скажите же мне, дорогая, какая ей будет цена? То есть *«сколько достоинств»* — я хочу сказать, сколько, к примеру, вы намерены запросить за вашу козу? Если цена несходна, то я и покупать не стану. Знаете почему? Потому что нужна она мне, как пятое колесо! Да вот жена моя, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась, криком кри...

— Что значит «сколько»? — перебила его Теме-Гитл, утирая свой носик. — Назовите вашу цену, а мы послушаем! Одно могу вам сказать, слышите, сколько бы вы ни заплатили, вы покупаете по дешевке! Знаете почему? Потому что если купите у меня козу, то будете иметь ко-зу...

— Сказали тоже! — в свою очередь перебил ее портной. — Потому-то я ее и покупаю, что она коза, а не чучело гороховое! То есть я бы вообще не стал ее покупать, потому что нужна она мне, как собаке пятая нога. Но так как жена моя, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, заупрямилась, криком кри...

— Вот об этом-то я и говорю, — не дожидаясь конца, затараторила Теме-Гитл и снова начала перечислять достоинства своей козы.

Но портной не дал ей договорить и перебил ее. И так перебивали они друг друга до тех пор, пока не заговорили вместе, так что получилась форменная мешанина: «Это коза? Мать, а не коза!» — «Я не стал бы покупать...» — «Пойло из отрубей...» — «Но

она, понимаете, заупрямилась...» — «Деньги — они круглые...» — «А как она, не сглазить бы, легко доится!» — «То есть Ципе-Бейле-Рейза...» — «Разве она ест?..» — «Криком кричит...» — «Солому с крыши...» — «Жену слушать надо...» — «Коза? Мать, а не коза!..»

— Может, хватит вам «козить»? — вмешался в разговор Хаим-Хоне Разумник и обратился к жене: — Слыханное ли дело? Тут люди делом заняты, а они: коза-коза, коза-коза! Одно из двух: либо продай ему козу, либо не продавай ему козы! А то — «коза-коза, коза-коза»! У меня уже в голове «закозело» от вашей козы!

— Правильно! — отозвался Шимен-Эле. — *Где учение, там и премудрость!* Одно из двух, о чем тут долго говорить? *«Мое серебро, мое и злато»:* мои деньги — ваш товар. Слово за слово и — по рукам! Как в молитве сказано...

— На что мне ваши молитвы? Вы лучше скажите мне, сколько вы даете за козу? — шепотом проговорила Теме-Гитл, изгибаясь при этом по-кошачьи и вытирая губы.

— Вот тебе и на! — так же тихо ответил Шимен-Эле. — Что значит — скажите мне? Что я за сказитель такой? Нет, вижу, я напрасно трудился! Не купить мне сегодня козы! Извините за беспокойство!..

И, повернувшись к дверям, Шимен-Эле сделал вид, что собирается уходить.

— Смотрите, пожалуйста! — всполошилась Теме-Гитл и схватила портного за рукав. — Что это вам так некогда? Река, что ли, загорелась? Ведь вы же как будто завели разговор насчет козы...

Словом, Теме-Гитл назвала свою цену, портной — свою; она уступила, он прибавил, — тыщей больше, тыщей меньше, — поладили. Шимен-Эле отсчитал денежки и, сняв с себя поясок, привязал козу. Теме-Гитл поплевала на вырученные деньги, пожелала портному счастья и, что-то при этом шепча и поглядывая то на деньги, то на козу, проводила портного.

— Идите подобру-поздорову, и будьте здоровы, и пользуйтесь на здоровье, и дай бог, чтоб она была такою же, как до сих пор, не хуже, — а хорошему конца-краю нет! И пусть она у вас живет и живет и доится, не переставая...

— Аминь! И вам того же! — ответил портной и направился к дверям.

Но коза не желала идти, стала вертеть рогами, упираться задними ногами, блеять, как молодой кантор *, впервые выступающий у аналоя: *«Че-е-м я провинилась? Че-е-е-м согрешила?»* Куда, мол, вы меня тащите?

Тогда соблаговолил подняться сам Хаим-Хоне Разумник и своей плеткой помог выпроводить козу за двери.

А ученики в один голос подгоняли:

— Эй, коза, коза! Пошла, коза!

И отправился портной своим путем-дорогою.

ГЛАВА ПЯТАЯ

И воспротивилась — и не пожелала она, коза то есть, следовать за портным в Злодеевку, — ни за что на свете! Она изо всех сил порывалась обратно домой. Однако ничто ей не помогло. Шимен-Эле тянул ее за поводок и втолковывал, что напрасны все старания, — ни боданье, ни блеянье ни к чему не приведут.

— Сказано у нас в писании, — говорил он козе, — *«вопреки воле своей живешь ты»* — по нужде влачишь ты свое существование, хочешь ты или не хочешь, никто тебя об этом не спрашивает. Я и сам когда-то, не теперь будь помянуто, был вольной пташкой, парень не хуже других, носил жилетку, сапожки со скрипом — фу-ты ну-ты... Чего мне недоставало? Головной боли? Но господь бог сказал: *«Изыди из земли своей»* — полезай, Шимен-Эле, в мешок! Женись на Ципе-Бейле-Рейзе! Плоди детей! Мучайся и мытарься всю свою жизнь! *«Ибо для того ты создан»* — на то ты и портной!..

Так говорил Шимен-Эле, обращаясь к козе и шагая быстро, чуть ли не бегом. Теплый ветерок раздувал полы его заплатанного кафтана, забирался под пейсы, поглаживал бородку и подносил к самому носу пряный аромат мяты, ромашки и прочих полевых цветов, издающих непривычное для портного благоухание.

От восторга он начал читать предвечернюю молитву, в которой перечисляются «бальзам, фимиам, гвоздика, ладан, благовонные смолы» и прочие курения и пряности. Читал он нараспев, совсем как в синагоге... Шимен-Эле уже собирался «отстрочить» таким манером всю службу. Но вдруг... откуда ни возьмись налетел злой дух-соблазнитель и шепнул портному на ухо:

— Слышь ты, дурья голова! Чего ты распелся натощак? Ведь уже скоро ночь, а у тебя за весь день, кроме двух рюмок водки, маковой росинки во рту не было. Кроме того, ты ведь свято обещал своему родственнику на обратном пути, коли даст бог, с козой идучи, обязательно зайти и закусить у него! Дал слово — держи! Язык — не помело!

И, второпях закончив молитву, Шимен-Эле весело завернул к шинкарю.

— Добрый вечер, дорогой родственник реб Додя! Могу сообщить вам добрую весть. Поздравьте меня: *«Я жил у Лавана»*, — купил-таки козу! Да еще какую козу! Всем козам — коза! Праотцам нашим не снилась... Можете взглянуть на нее и сказать свое мнение, — ведь вы же как-никак человек ученый! А ну-ка, угадайте, *«сколько казней египетских»*, — то есть сколько я должен был за нее заплатить?

Додя приложил руку к козырьку, заслоняя глаза от солнца, заходившего за позолоченный край неба, с видом большого знатока осмотрел козу и оценил ее ровно вдвое дороже того, что заплатил портной. Это так расположило Шимен-Эле, что он даже хлопнул шинкаря по спине:

— Реб Додя, сердце мое! Дай вам бог здоровья! *«Справедливы слова твои»*, — на сей раз вы не угадали! Столько бы счастливых лет нам обоим...

Додя выпятил губы, покачал головой и произнес: «Фу-фу-фу!» — точно желая сказать: «Дешевка! Ворованное и то дороже!»

А Шимен-Эле склонил голову набок и ухватился согнутым пальцем за жилет, точно собираясь вынуть иголку и вдеть в нее нитку.

— Ну, реб Додя! Что скажете? Умеет наш брат дела обделывать? А? Посмотрели бы вы еще, как она, не сглазить бы, доится, — вы бы тут же на месте окочурились!

— Можешь сам окочуриться! — ответил Додя.

— Аминь! И вам того же! — сказал Шимен-Эле. — Уж если я для вас и в самом деле такой желанный гость, возьмите, пожалуйста, козу и устройте ее где-нибудь в хлеву, чтобы не утащили, упаси боже! Я тем временем отбарабаню вечернюю молитву, с предвечерней я уже разделался по дороге, а потом пропустим по маленькой и закусим, как в писании сказано *«Эйн койцим бифройцим»* * — не поевши, не спляшешь... Сказано так в писании или нет?

— Что за вопрос? Раз ты говоришь, сказано, — значит сказано. На то ты и книжник.

Помолившись как полагается, портной обратился к Доде:

— Уж ежели стряслась такая беда, то *«утоли алкание мое из того красного»,* — то есть нацедите, будьте добреньки, из той зеленой бутылочки, хватим по капельке горькой и давайте будем здоровы! Здоровье, знаете, это самое главное! Как это мы каждый день в молитве говорим: *«Усыпи нас»* в добром здравии.

Маленько выпив и закусив, наш портной разговорился и стал рассуждать о Злодеевке, о тамошней общине, о делах синагогальных, о цехе, о портновском ремесле... «Наш брат мастеровой... Утюг да ножницы». Попутно он уничтожил злодеевских старост и богачей с их порядками и клялся, — не будь он Шимен-Эле! — что всех их следовало бы сослать в «Симбирь»!

— Знаете, реб Додя! — закончил свою тираду

Шимен-Эле. — Сказано в писании: *«Роющий яму...»* Черт бы их батьку взял, благодетелей наших! Только и знают, что кровь сосать да шкуру сдирать с нашего брата бедняка! За ссуду в три целковых я — слышите! — четвертак в неделю плачу! Но ничего! Я помалкиваю... попадутся они еще в другие руки! И на них придет время! Ничего, они еще от господа бога ручательства не получали! Моя жена, то естьЦипе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, говорит, что я никудышник, размазня, потому что, будь моя воля, я мог бы их припугнуть... Но кто станет слушать жену? Мое слово тоже чего-нибудь стоит! У нас в священном писании так прямо и сказано: *«Он да властвует над тобой...»* А как это истолковать, вы знаете? Ведь это же замечательно! Вы только вслушайтесь: *«Он»*, то есть муж, *«да властвует»*, то есть будет полновластным хозяином!.. Но... В чем же дело? *«Начав падать, не остановишься...»* Уж ежели начали наливать, налейте еще рюмочку... Как в талмуде сказано: *«Аскакурдэ дебарбантэ...»*

Чем дальше, тем сильнее у Шимен-Эле стал заплетаться язык, глаза начали слипаться, и, наконец, он привалился к стенке и задремал. Голова у него склонилась набок, руки он сложил на груди, ухватившись тремя пальцами за кончик козлиной бородки, и выглядел как человек, погруженный в глубокое раздумье. Если бы Шимен-Эле при этом не посвистывал носом, не похрапывал и не цедил сквозь зубы «тц-тц-тц», никто не сказал бы, что он спит. Однако, хоть он и дремал, голова продолжала работать, и снилось портному, что он дома, за рабочим столом. На столе разложено некое странное одеяние, даже трудно угадать какое. Сказать, что это пара штанов, но где же шаг! Никаких следов шага нет! Жилет? Но откуда взялись такие длинные рукава? А если это ни то, ни другое, так что же это? Не может же это быть ничем! Шимен-Эле выворачивает одежу наизнанку... Оказывается, это кафтан! Да еще какой кафтан! Новенький, блестящий, атласный. Никогда в жизни не приходилось ему держать в руках такую вещь! Но Шимен-Эле нет до этого ни-

какого дела: он достает из жилетного кармана ножик и ищет шов, чтобы начать пороть. Хорошо, что в это время появляется Ципе-Бейле-Рейза и начинает ругать и проклинать его:

— Чтоб тебе брюхо распороли, кишки выпустили, негодник этакий, огурец зеленый, фасоль моя распрекрасная! Ведь это же твой субботний кафтан, который я тебе справила на свои деньги, что я накопила благодаря козе.

И Шимен-Эле вспоминает, что у него, с божьей помощью, есть коза. Какая это радость! Он за всю свою жизнь не видел столько кринок молока! Столько мешочков творога! А масла, масла — полные макитры! А пахта, а сыворотка, а жирная простокваша с жирными «льдинами» на ней! Бесконечное количество сдобных булок, плюшек на масле, обсыпанных сахарным песком и корицей... И запах, запах! Какой-то особенный запах, знакомый!.. Фу! Шимен-Эле чувствует, как что-то ползет у него по шее, за воротом, за ухом, по лицу... Что-то щекочет его и издает зловоние, бьющее прямо в нос. Он проводит пальцами по лицу и нащупывает клопа... Раскрывает один глаз, другой, смотрит в окно — батюшки! Ох ты, горе горькое! Уже светает!..

«Вот так так! Здорово вздремнул!» — произносит про себя Шимен-Эле, передергивая плечами. Разбудив корчемника, Шимен-Эле выбегает во двор, открывает хлев, хватает козу за ремешок и устремляется домой, как человек, который боится опоздать и упустить бог весть что...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«А супруга...» Тем временем Ципе-Бейле-Рейза, видя, что мужа так долго нет, никак не могла понять, что бы это значило. Она уже стала думать, не случилось ли, упаси бог, несчастья... А вдруг на него в пути напали разбойники, отобрали у него деньги, а самого зарезали и кинули куда-нибудь в яму... А она,

Ципе-Бейле-Рейза, осталась навеки одна со столькими, не сглазить бы, детьми... Хоть с моста да в воду!.. Такие и им подобные мысли в ту ночь одолевали Ципе-Бейле-Рейзу и не давали ей глаз сомкнуть. Как только прокричал первый петух, она вскочила, накинула на себя платье и вышла за порог — дожидаться мужа, авось господь бог смилостивится, и он придет... *«Такой уж если пойдет, то...»* — думала она, готовясь устроить ему достойную встречу.

Однако, когда она увидела Шимен-Эле с козой на поводке, у нее отлегло от сердца, и она встретила мужа приветливо.

— Что так долго, птичка моя? Ведь я уж подумала, что ты сквозь землю провалился, сокровище мое драгоценное, или какое-нибудь несчастье приключилось, упаси бог!

Шимен-Эле отвязал поясок, поставил козу в сенях и начал сыпать как из мешка, заговаривать жене зубы:

— Слышь, жена, купил я тебе козу... Всем козам — коза! Подождут еще наши здешние хозяйки, покуда им приснится такая коза! Она и ест-то всего ничего! Раз в день пойло из отрубей, а потом немного соломы с крыши... А молока дает, не сглазить бы, не хуже коровы, дважды в день доится. Я сам видел полный подойник, дай мне бог так видеть все самое лучшее! Разве это коза? Мать, а не коза! Так она говорит, Теме-Гитл то есть. Это — находка, чуть не даром! Еле-еле выторговал за шесть с полтиной! А сколько пришлось разговаривать и торговаться! Да она вообще продавать не хотела! Еле уломал! Камни ворочал! Ночь напролет...

А Ципе-Бейле-Рейза в это время думала: «Нехаме-Броха, — болячку бы ей, да побольше! — воображает, что одна она хозяйка, что только у нее есть коза, а больше ни у кого! Как бы у нее глаза не вылезли, когда она увидит, что у Ципе-Бейле-Рейзы, жены Шимен-Эле, тоже есть коза!.. А Блюме-Злата? А Хае-Мейта? Совсем, казалось бы, как родные сестры! Половину бы им того, что они желают мне, господи боже мой!»

Размышляя таким образом, она затопила печку и принялась готовить молочную лапшу на завтрак, а Шимен-Эле надел талес* и филактерии* и встал на молитву. Молился он в этот день особенно горячо, от души, — давно уже так не молился! — распевал «аллилую», подражал кантору, прищелкивал пальцами и разбудил своим пением детей. Ребятишки, узнав от матери, что отец привел козу и что варится лапша с молоком, развеселились, соскочили с кроватей и в одних рубашонках, взявшись за руки, пустились в пляс, напевая при этом тут же сложенную ими песенку:

Коза, коза, козочка!
Купил папа козочку!
Козочка даст молочка,
Мама сварит нам лапшу!..

Глядя на поющих и пляшущих детей, Шимен-Эле таял от радости. «Бедняжки, — думал он, — никогда молочка не видят. Ну ничего, теперь, даст бог, сыты будете. Каждый день будете получать по стаканчику молока, кашу с молоком, к чаю молоко... Коза — великое дело! Что мне теперь Фишл-откупщик! Плевать я на него хотел! Не хочет давать мяса? Одни кости дает? Да подавись он ими! На что мне его мясо, когда у меня имеется молоко? А на субботу? На субботу можно и рыбу купить. Где сказано, что нужно обязательно есть мясо? Я такого закона нигде не встречал!.. Если бы все евреи послушались меня, они купили бы себе коз. И хотел бы я тогда посмотреть, как выглядел бы наш толстопузый откупщик! Черт бы тогда его душу взял!»

Так раздумывал Шимен-Эле Внемли Гласу, складывая свое молитвенное облачение. Потом помыл руки, отрезал хлеба и приготовился к молочной трапезе. Но в это время распахнулась дверь, и в дом влетела взбешенная Ципе-Бейле-Рейза с пустым горшком в руках, лицо ее пылало от гнева. И на голову Шимен-Эле обрушился ливень проклятий и ругательств. Нет, это были не проклятия — камни низвергались с небес, потоки горящей смолы вырывались у нее изо рта:

— Отца твоего, пьяницу, могила бы извергла, а тебя на его место! В камень, в кость превратиться тебе! Чтоб ты провалился! Чтоб тебя из ружья застрелило! Вешать бы тебя и топить, жечь и поджаривать, резать и крошить!.. Поди, разбойник, злодей, изверг этакий, поди посмотри, что за козу ты мне привел! Ах ты, лихо на твою голову, на руки да на ноги, господи милосердный, отец родимый!

Остального Шимен-Эле уже не слыхал. Он нахлобучил шапку и вышел в сени взглянуть на постигшую его беду.

Выйдя за двери и увидев приобретенное им сокровище, привязанное к колышку и равнодушно жующее жвачку, Шимен-Эле был ошеломлен и не знал, что делать, куда пойти... Он постоял, подумал-подумал и, наконец, произнес про себя:

— *«Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!»* Черт их, положим, заберет, этого меламеда с его благоверной вместе! Нашли с кем шутки шутить! Я им такие шутки покажу, что у них в глазах потемнеет! Казалось бы, такой тихоня этот меламед, совсем не касается мирских дел... А на поверку — такая история! Недаром мальчишки хихикали, когда он выпроваживал меня с этой козой! А жена еще пожелала мне на прощание, чтоб коза доилась и доилась... Я им покажу, что значит доить! Соки все из них выдою, из этих козодоевских святош, тунеядцев, пересмешников!..

Так рассуждал Шимен-Эле и отправился обратно в Козодоевку с намерением устроить «концерт», от которого не поздоровится меламеду и его жене.

Увидев у дверей «дубовой» корчмы шинкаря с трубкой в зубах, наш портной еще издали рассмеялся.

— Что это тебе так весело? — спросил Додя. — Чего ты смеешься?

— Взгляните, пожалуйста, может, и вы посмеетесь! — сказал портной и еще пуще расхохотался, точно черти его щекотали. — Как вам нравится, реб Додя, такая, к примеру, напасть? *«Всяк человек лжив»* — ни одна беда меня стороной не обходит! По-

нимаете, какая история? Ох, и получил же я нахлобучку от жены, то есть от Ципе-Бейле-Рейзы, дай ей бог здоровья! Уж она задала мне — *«и по колеснице и по коням»*, не поскупилась, да и натощак к тому же! Пусть все это сбудется на проклятом меламеде и на его жене! Можете мне поверить, что я не смолчу! Воздам *«око за око»* — оплеуху за оплеуху! Я терпеть не могу, когда со мной шутки шутят! А ну, дайте-ка, реб Додя, с горя горло промочить, чтоб сил хватило разговаривать и чтоб душа не ныла... Лехаим! * Будем здоровы, реб Додя! Как сказано: *«Ныне день великого суда...»* — главное, не тужить! Будьте уверены, уж я им покажу, как шутки шутить с нашим братом, цеховиком, утюг да ножницы, черт возьми!

— А кто тебе сказал, что это шутка? — спросил, прикидываясь дурачком и попыхивая трубочкой, шинкарь. — Может, вы там не столковались как следует?

Шимен-Эле даже подскочил на месте.

— Сказали тоже! Что вы такое болтаете? Вы понимаете, что говорите? Прихожу специально покупать козу, толкую людям яснее ясного: козу, понимаете, ко-зу... А вы говорите...

Додя продолжал курить, пожимая плечами, и разводил руками, точно желая сказать: «А я тут при чем? Я-то ведь и вовсе не виноват...»

И Шимен-Эле, схватив козу, направился в Козодоевку. *«И ярость загорелась в нем»* * — а гнев пылал в нем ярким пламенем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Меламед тем временем занимался своим делом, то есть сидел с учениками все над тем же трактатом об убытках, и крики их оглашали весь двор синагоги: *«И она вильнула хвостом»* — и она, корова то есть, ударила хвостом и разбила кувшин...

— Мир вам, мир наставникам и питомцам! Доброго утра, ребе, вам и вашим ученикам! — произнес,

войдя, Шимен-Эле. — Можете прервать на минуточку! Ничего не случится: корова не убежит, а кувшин все равно целым не станет. Скажу вам коротко: сыграли вы со мною шутку! Может, вы и пошутили, но я, знаете ли, *«люблю послушание»,* я таких шуток терпеть не могу! Ведь вы, наверное, слыхали историю о тех двоих, которые в канун субботы мылись в бане на верхнем полке? Один говорит другому: «Вот тебе мой веник, попарь меня!» А тот недолго думая взял веник, да и отделал его честь честью, до крови. Тогда побитый и говорит: «Дело вот в чем. Если ты хотел со мной рассчитаться и воспользовался тем, что я лежу на верхнем полке голый, а у тебя веник в руках, то ты, пожалуй, прав. Но если ты это сделал шутки ради, то должен тебе сказать, что мне такие шутки не нравятся!..»

— Это вы к чему? — спросил меламед, сняв очки и почесывая ими в ухе.

— А это я насчет вас самих и насчет замечательной козы, которую вы мне всучили нечаянно, то есть смеха ради! Но только от такого смеха, знаете ли, можно себе животики надорвать!.. Вы не думайте, что имеете дело с каким-нибудь портняжкой! Я — Шимен-Эле, портной из города Злодеевки, цеховик и староста в портновской синагоге, мы — люди мастеровые, утюг да ножницы, черт возьми!

При последних словах Шимен-Эле даже подпрыгнул, а меламед снова надел очки и стал разглядывать его, как больного, который бредит... Ученики задыхались от распиравшего их смеха.

— *«За что причинил ты зло народу сему?»* По какому случаю вы смотрите на меня, как на шута горохового? — спросил уже в сердцах Шимен-Эле. — Я прихожу к вам покупать козу, а вы мне всучили черт знает что!

— Вам не нравится коза? — недоуменно спросил меламед.

— Коза, говорите вы? Это такая же коза, как вы — губернатор!

Ученики покатились со смеху. Но в это время вошла Теме-Гитл Молчальница, и тут только и пошло

все по-настоящему: Шимен-Эле говорит, а Теме-Гитл надрывается, Хаим-Хоне Разумник сидит и наблюдает, а ученики хохочут... Наконец Теме-Гитл рассердилась не на шутку, схватила портного за руку и потащила:

— Идем! Пойдем к раввину! Пусть люди видят, как злодеевский портной придирается, выдумывает, клевещет!

— Пойдем! — согласился Шимен-Эле. — Вот именно, пускай видят, как порядочные люди, люди, можно сказать, духовного звания, поймали чужого человека и строят из него дурака... Как в молитве сказано: *«На позор да на посмешище...»* Пойдемте и вы, уважаемый ребе! — обратился он к меламеду.

Хаим-Хоне надел поверх ермолки плисовый картуз, и решено было, что к раввину идут все четверо: портной, меламед, его жена и коза.

Компания застала раввина в ситцевом халатике, вытирающим руки и читающим молитву после отправления естественной надобности. Молитву он читал медленно, тщательно, смакуя каждое слово... Покончив с этим делом, раввин запахнул свой халат и сел в кресло без сидения, состоявшее из одних только ножек и подлокотников, древних и расшатанных, как зубы у старика, — им давно пора бы выпасть, но они каким-то чудом все еще держатся.

Выслушав обе стороны, которые все время перебивали друг друга, раввин послал за дайеном *, за резником и прочими именитыми гражданами, так сказать за «семью радетелями города», и обратился к портному со следующими словами:

— Расскажи, пожалуйста, всю историю с начала до конца еще раз, а потом пусть она расскажет.

И портной Шимен-Эле не поленился повторить еще и еще раз все ту же историю сызнова. Его, мол, зовут Шимен-Эле, он — портной из города Злодеевки, цеховик и староста в синагоге, хотя он и толковал им уже сколько раз: «Недостоин я почестей! *«Ни жала, ни кружала...»* Не хочу я оплеух, и не надо мне почетных должностей!» Но они говорят: *«Коли есть на тебе облачение, будь нам владыкой»,* — то есть опле-

ухи получай, а старостой будь!..» Словом, он отправился в Козодоевку за козой. Собственно говоря, он козу не стал бы покупать, — на кой черт она ему нужна! Но жена, то есть Ципе-Бейле-Рейза, дай ей бог здоровья, житья ему не давала, криком кричала: «Хочу козу!» И так как жену, как вы сами говорите, надо слушать, то он и пришел к меламеду Хаим-Хоне купить у него козу, и сторговался, и ясно условился: козу! Чем же это кончилось? Деньги у него забрали, а вместо козы подсунули черт знает что, очевидно в шутку. А он, Шимен-Эле, таких шуток терпеть не может... Вы, наверное, слыхали историю о тех двоих, которые в канун субботы мылись в бане?..

Шимен-Эле повторил еще раз эту запутанную историю, а раввин, и дайен, и «семеро радетелей города» посмеялись.

— Так! — сказал раввин. — Стало быть, одну сторону мы выслушали. Теперь послушаем другую.

Тогда встал Хаим-Хоне Разумник, надвинул картуз на ермолку и начал:

— Выслушайте меня, ученые мужи! Дело было так... Сидел это я, стало быть, со своими учениками, сидел и занимался... Изучали мы раздел «об убытках»... Да... и вот... Приходит этот человек из Злодеевки и говорит, что он злодеевский житель, то есть из Злодеевки... И здоровается со мной и рассказывает целую историю, что сам он злодеевец, то есть из Злодеевки, и что есть у него жена по имени Ципе-Бейле-Рейза... Да, Ципе-Бейле-Рейза зовут ее... Так, кажется?

Меламед наклонился к портному, а портной, все время теребивший бородку, слушал с закрытыми глазами и склоненной набок головой.

— Истина глаголет вашими устами, — ответил он. — У нее три имени: Ципе, Бейле и Рейза. Так ее нарекли, так ее и зовут с тех пор, как я ее знаю, потихоньку да полегоньку уже лет тридцать. Однако послушаем, что вы еще скажете, друг мой? Вы только зубы не заговаривайте! Давайте ближе к делу, *«о первом и о последующем»,* — что я говорил и что

вы говорили... Как Соломон-мудрый сказал: *«Ничто не ново под солнцем»* — увертки тут не пройдут!

— Да я знать ничего не знаю! — испуганно ответил меламед и указал на свою жену. — Она с ним разговаривала, она с ним торговалась. А я ничего не знаю!

— Теперь, — сказал раввин, — послушаем, что скажет она.

Он указал пальцем на Теме-Гитл Молчальницу, а та вытерла губы, подперлась одной рукой и, размахивая другой, заговорила быстро, без остановки, и лицо ее при этом пылало.

— Послушайте же, как было дело. Вот этот человек, этот злодеевский портной то есть, да простит он меня, либо... сумасшедший, либо пьяница, либо сама не знаю что! Слыханное ли дело? Человек приходит ко мне аж из Злодеевки и пристает ко мне, как клещ, — продай да продай ему козу (а у меня их было две)... И рассказывает при этом целую басню о том, что он не стал бы покупать козы, что она ему ни к чему, но так как у него есть жена, то есть Ципе-Бейле-Рейза, и она заупрямилась, требует, чтобы он купил козу, и так как жену надо слушаться... Понимаете? Я ему говорю: какое мне до этого дело? Хотите купить у меня козу, я вам продаю, хотя, с другой стороны, я не стала бы продавать козу ни за какие деньги... Что такое деньги? Деньги — они круглые, деньги уходят, а коза козой остается... Да еще такая коза! Разве это коза? Мать, а не коза! Как она, не сглазить бы, легко доится! А сколько молока дает! Да и ест она всего-то ничего. Раз в день пойло из отрубей, а там немного соломы с крыши... Но, с другой стороны, я подумала: у меня, не сглазить бы, две козы, а деньги — соблазн... Короче говоря, тут вмешался мой муж, дай ему бог здоровья, и мы с портным поладили. И сколько, думаете, я получила? Врагам моим иметь бы не больше, господи боже мой! А отдала козу — дай бог всем моим дорогим и близким такую козу! Разве это коза? Мать, а не коза! И после этого приходит портной и возводит на меня поклеп! Коза, говорит он, не коза! Погодите, знаете

что? Вот она тут стоит. Дайте мне, прошу вас, подойник, я ее подою у вас на глазах!

Теме-Гитл взяла у раввинши подойник, подоила в присутствии всех козу и поднесла каждому посмотреть посудину с молоком. Первому, разумеется, раввину, потом дайену, затем — «семерым радетелям города», а там уже и всем остальным.

В доме раввина поднялся шум, гам, крики — столпотворение! Один кричит: «Надо его оштрафовать, этого злодеевского портного! Пусть водки поставит!» Другой говорит: «Мало того! Надо у него козу отобрать!» А третий предлагает: «Нет, коза козой. Пускай он с ней состарится в богатстве и почете! Его надо угостить парочкой хороших тумаков и вышвырнуть вместе с козой ко всем чертям!»

Увидев, как обстоит дело, Шимен-Эле потихоньку выбрался из дома раввина и дал тягу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И поднял портной ноги свои — и взял Шимен-Эле, как говорится, ноги на плечи и двинулся с козой к дому так быстро, будто от пожара спасался. Оглядывался, не гонятся ли за ним, и благодарил бога за то, что выскочил *«даром, без выкупа»* — сухим, без единой оплеухи...

Проходя мимо «дубовой» корчмы, Шимен-Эле подумал: «Черта с два ты у меня правду узнаешь!» И скрыл от Доди всю историю.

— Ну, что слыхать? — спросил Додя с напускным любопытством.

— А чего там слыхать? — ответил Шимен-Эле. — Меня, знаете ли, побаиваются! Со мной шутки плохи! *«Человек бо есмь»* — потому что я не мальчик! Раскрыл я уста свои, померялись мы с меламедом насчет учености, и оказалось, что я получше его знаю толк во всяких премудростях... Короче говоря, попросили у меня прощения и вернули ту самую козу, которую я у них покупал. Вот она! Возьмите ее на минутку, как в писании сказано: *«Возьми себе душу,*

а достояние отдай мне» — возьмите это создание, а мне дайте рюмочку водки.

«Мало того что гордец, еще и лгун к тому же! — подумал шинкарь. — Надо будет еще раз сыграть с ним ту же шутку... Послушаем, что он тогда скажет...»

А портному сказал:

— Имеется у меня для тебя, Шимен-Эле, стопочка старой вишневки, если есть у тебя желание.

— Райского вина? — отозвался Шимен-Эле и даже облизнулся. — Ну что ж, давайте попробуем и скажем свое мнение. Я знаю, что у вас должна найтись добрая стопочка вишневки, но не всяк человек лжив, то есть не всякий знает толк в таких вещах!

После первой же рюмки у нашего портного развязался язык.

— Скажите-ка, дорогой мой родственник, — обратился он к шинкарю. — Ведь вы человек неглупый и со всякими людьми дело имеете... Скажите на милость, верите вы в колдовство? В наваждение?

— А именно? — с притворным недоумением спросил Додя.

— А именно... В оборотней, в чертей, в нечистую силу, в привидения?

— Это ты к чему же говоришь? — с тем же наивным видом продолжал Додя, попыхивая трубкой.

— Я вообще спрашиваю, — ответил Шимен-Эле и заговорил о переселении душ, о колдунах и ведьмах, о чертях и духах, привидениях, о нечистых и вурдалаках. Додя делал вид, что слушает внимательно, попыхивал трубкой, потом сплюнул и сказал:

— Знаешь, Шимен-Эле? Мне сегодня, кажется, спать страшно будет. Скажу тебе по правде, что покойников я всегда страшился, а теперь начинаю верить и в оборотней и в домовых...

— А что вам остается? — ответил портной. — Попробуйте не верить! Пусть заберется к вам какая-нибудь нечисть и начнет вытворять свои штуки: опрокинет кадку с борщом, воду выльет, опустошит все кринки, горшки перебьет, кошку вам в кровать под-

бросит, да так, чтобы кошка лежала десятипудовым грузом у вас на груди и чтобы вы двинуться не могли... А проснетесь, кошка прямо вам в глаза глядит, как грешный человек.

— Хватит! Довольно! — крикнул шинкарь, отплевываясь и отмахиваясь обеими руками. — Довольно тебе на ночь глядя такие страсти рассказывать!

— Ну, будьте здоровы, реб Додя, извините, если надоел. Сами знаете, я не виноват... Как в писании сказано: *«Не было у бабы хлопот...»* Спокойной ночи!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вернувшись в Злодеевку, портной вошел в дом насупившись, с явным намерением отчитать жену по заслугам. Однако сделал над собой усилие и сдержался. «Ах, — подумал он, — баба так и остается бабой! Что с нее возьмешь? Где мое не пропадало!» И ради сохранения мира принялся рассказывать жене только что сочиненную историю:

— Что я тебе скажу, Ципе-Бейле-Рейза — братец! Меня, видать, и в самом деле побаиваются. Ну, о том, как досталось от меня меламеду и его супружнице, я рассказывать не стану... Дал я им сколько влезло! А кроме того, я потащил их к раввину, и раввин постановил, что они должны уплатить штраф, потому что раз такой человек, как Шимен-Эле, приходит к ним покупать козу, то они это должны почитать за особую честь для себя, ибо Шимен-Эле, говорит раввин, это такой человек, который...

Однако Ципе-Бейле-Рейза не пожелала слушать, как превозносят ее мужа. Ей не терпелось увидеть настоящую козу, которую привел Шимен-Эле. Она схватила посудину и пошла в сени. Прошло немного времени, и Ципе-Бейле-Рейза вбежала в дом, ничего уже не говоря. Она ухватила мужа за шиворот, дала ему добрых три тумака и вытолкнула его вместе с его хваленой козой «ко всем чертям, к дьяволу в зубы!»

Во дворе портного с козой окружила толпа. Собрались мужчины, женщины, дети — послушать удивительные вещи, которые рассказывал Шимен-Эле. Вот эта самая коза, которую он держит на привязи, только в Козодоевке по-настоящему коза: там она доится, там она дает молоко... Но стоит ему прийти с ней сюда, как она уже больше не коза!.. Шимен-Эле клялся всеми клятвами, — выкресту и тому можно было бы поверить, — что он сам, своими глазами видел, как в доме у раввина ее выдоили и нацедили при этом полный подойник молока...

Многие останавливались, внимательно разглядывая козу, заставляли рассказывать всю историю еще и еще раз и очень удивлялись... Иные смеялись и отпускали шуточки. А кто-то покачал головой, сплюнул и сказал:

— Хороша коза! Это такая же коза, как я равинша!

— А что же это такое?

— Оборотень! Разве не видите, что это оборотень?..

Слово «оборотень» подхватила вся толпа. Начали рассказывать истории про оборотней, случившиеся здесь, в Злодеевке, и в Козодоевке, и в Ямполе, и в Пиши-Ябеде, и в Хаплаповичах, и в Печи-Хвосте, — на всем свете! Кто же не знает про лошаденку Лейзер-Волфа, которую пришлось вывести за город, убить и закопать в саване?.. Или, скажем, кто не слыхал о четвертушке курицы, которая, будучи подана к субботнему столу, начала шевелить крылом?.. Мало ли таких правдивых историй?

Когда Шимен-Эле двинулся вперед, за ним увязалась орава мальчишек, сопровождавшая его с большими почестями и кричавшая ему вслед:

— Ур-ра, Внемли Гласу! Ур-ра, дойный портной!..

И толпа покатывалась со смеху.

Тут Шимен-Эле почувствовал себя задетым за живое. Мало того что с ним приключилась беда, над ним еще издеваются! И пошел он со своей козой по городу и поднял шум среди членов братства «Благо-

честивый труженик»: «Помилуйте, мол, как можно молчать?» Он рассказал обо всем, что с ним проделали в Козодоевке, показал им козу... Члены братства тут же послали за водкой и порешили идти к раввину, к дайенам и к «семи радетелям города» — кричать, добиваться: «Где же это слыхано! Такое злодеяние! Навалились на бедняка портного, выманили у него последние несколько рублей, продали ему якобы козу, а на самом деле всучили черт знает что! Да еще и во второй раз насмеялись над ним! Такого и в Содоме * не творилось!»

И члены братства «Благочестивый труженик» пришли к раввину, к дайенам и к «семи радетелям города» и кричали и неистовствовали: «Помилуйте, где же это слыхано! Ведь это же разбой! Поймали неимущего человека, портного, обманом забрали у него последние несколько рублей, продали ему якобы козу и во второй раз всучают черт знает что! Ведь такие дела даже в Содоме не совершались!»

Раввин, и дайены, и «семь радетелей города» выслушали эту претензию, а вечером устроили у раввина собрание и решили тут же на месте написать внушительное письмо к раввинам, дайенам и к «семи радетелям города» Козодоевки. И злодеевские раввины, дайены и «семь радетелей города» написали письмо козодоевским раввинам, дайенам и «семи радетелям города» по-древнееврейски, весьма красноречивым языком. Вот это письмо слово в слово:

«Раввинам, дайенам, мудрецам, знаменитым гениям, столпам мира, на коих зиждется вся обитель Израиля. Мир да пребудет с вами, мир всем членам святой общины в Козодоевке, всяческое благополучие да почиет над ними. Аминь!

Дошло до наших ушей, что учинена великая несправедливость в отношении одного из наших сограждан — реб Шимен-Эле, сына реб Бендит-Лейба, портного, прозванного Шимен-Эле Внемли Гласу. А именно: двое из ваших граждан, меламед реб Хаим-Хоне и супруга его, госпожа Теме-Гитл, да здравствует она, хитростью выманили у нашего портного деньги в сумме шесть с полтиной серебром и,

употребив их в свою пользу, утерли уста свои и говорят: «Мы никакой несправедливости не совершили...» Так среди евреев не поступают! Мы все, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что означенный портной — бедный труженик, обремененный семьей, кормящийся честным трудом своим... А царь Давид давно уже сказал в псалмах: «От трудов рук своих кормиться будешь, и благо да будет тебе», каковое изречение мудрецы наши толкуют в том смысле, что благо будет тебе и на земле и в загробной жизни... Поэтому обращаем к вам нашу просьбу немедленно тщательно расследовать все, что произошло, и пусть суждение ваше взойдет, яко солнце! А присудить следует вам одно из двух: либо вернуть нашему портному полностью его деньги, либо выдать ему ту козу, которую он купил, ибо коза, которую он привел, — вовсе не коза! Это может подтвердить весь город под присягой. И да будет мир среди евреев по слову наших мудрецов: нет для евреев сосуда более совершенного, нежели мир. Мир да пребудет с вами, мир дальним и ближним, мир всем евреям! Аминь!

От нас, рабов ваших, чьи бедра тоньше ваших мизинцев:

Раввин, сын раввина, царство ему небесное... И раввин, сын раввина, царство ему небесное... Борух Капота, Зорах Пупок, Фишл Выкидайло, Хаим Квач, Нисл Качан, Мотл Шелуха, Иошуе-Гешл Кишкиш».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ту ночь ярко светила луна и глядела вниз на Злодеевку с ее мрачными полуразвалившимися домишками, жмущимися один к другому, без дворов, без деревьев, без заборов. Город выглядит ночью, как кладбище, старое заброшенное кладбище с ветхими надгробиями... Иные из них скособочились, другие давно бы и вовсе свалились, если бы их не подпирали бревна. И хотя воздух здесь не ахти какой чистый и запахи, доносящиеся с базара и с синагогального двора, не так уж упоительны, да и густая

пыль стоит сплошной стеной, — тем не менее люди вылезли на улицу, как тараканы из щелей; мужчины и женщины, старики и дети вышли «подышать воздухом» после палящего, знойного дня. Люди уселись на порогах — побеседовать, попустословить или просто смотреть на небо, разглядывать лик луны и мириады звезд, которые, будь хоть семи пядей во лбу, никак не сосчитать!

В ту ночь портной Шимен-Эле, один со своим сокровищем, приобретенным в Козодоевке, бродил по закоулкам, стараясь не попадаться на глаза мальчишкам. Он полагал на рассвете снова пуститься в путь, а пока зашел к акцизничихе Годл в шинок выпить с горя рюмочку водки, излить душу и посоветоваться с ней насчет постигшего его несчастья.

Акцизничиха Годл была вдова, с «мужской головой на плечах», якшалась с начальством и дружила со всеми мастеровыми в городе. А прозвали ее акцизничихой вот почему. Девушкой она была очень хороша собой, просто красавица. Однажды ее увидел проезжавший через Злодеевку акцизник*, очень богатый человек. Годл несла гусей к резнику. Акцизник остановил ее и спросил:

— Девушка, чья ты?

Она застыдилась, рассмеялась и убежала. С тех пор ее и прозвали акцизничихой... Иные, впрочем, говорят, что акцизник приходил потом к ней домой, говорил с ее отцом Нехемье-винокуром, хотел жениться на ней, взять без приданого да еще приплатить отцу. Дело как будто шло уже к помолвке, но в городе стали по этому поводу языки чесать, и сватовство расстроилось. Годл потом выдали замуж за какого-то убогого, за припадочного. Она горько плакала, не хотела идти под венец... Город тогда ходуном ходил! Говорили, что она сама тоже втюрилась в акцизника, и даже сочинили про нее песенку, которую женщины и девушки по сей день распевают в Злодеевке. Песенка эта начинается так:

Сияла луна,
Был полуночный час,
А Годеле сидела у дверей...

А конец песни такой:

Полюбил тебя, душенька,
Полюбил навсегда
И жить без тебя не могу!

Вот к этой акцизничихе Годл и пришел наш портной — излить наболевшую душу, рассказать обо всем, что у него на сердце, и спросить совета: что делать?

— Что делать? Ведь вы же и в самом деле *«смугла и собою хороша»*, как говорит царь Давид в «Песни песней» *, — вы и красавица и умница. Научите, что мне делать?

— Что делать? — переспросила Годл и сплюнула. — Разве вы не видите, что это оборотень? Охота вам тащиться с этаким добром! Бросьте его ко всем чертям! Ведь с вами может приключиться то же, что с моей тетей Перл, чур меня, чур меня, она уже на том свете...

— И что именно? — спросил в испуге Шимен-Эле.

— А именно... — со вздохом отвечала Годл. — Моя тетя Перл, царство ей небесное, была женщина благочестивая, праведная. У нас в семье все такие... Хотя здесь в проклятой Злодеевке, чтоб ей сгореть, любят оговаривать всех и каждого, за глаза конечно... В глаза-то они льстят и подлизываются — «душенька-голубушка»... Словом, моя тетя Перл, царство ей небесное, шла однажды на базар. Видит, лежит на земле клубок ниток... «Клубок ниток, — подумала она, — может пригодиться». Нагнулась и подняла. Взяла клубок и пошла дальше, а он как прыгнет ей в лицо и упал наземь. Тетя, конечно, снова нагнулась и подняла его, а он опять — прыг в лицо и — наземь. В третий раз нагнулась тетка и подняла клубок, — опять то же самое! Тогда она решила плюнуть на этот клубок — черт с ним! — и хочет идти домой. Глядь, а клубок катится за ней! Бросилась бежать, а клубок за ней! Словом, пришла домой ни жива ни мертва, упала в обморок и потом чуть не целый год прохворала. И что же, вы думаете, это было? Угадайте!

— Чепуха! *«Все любимы, все избраны»* — все женщины на один покрой! — сказал Шимен-Эле. — Бабьи сказки, болтовня, вздор, глупости! Если прислушиваться ко всему, что бабы плетут, так надо бы собственной тени бояться. Как в писании сказано: *«Женщины легкомысленны»* — бабы что гуси! Однако ничего! *«Нынче день великого суда...»* — не тужить! Спокойной вам ночи!

И Шимен-Эле двинулся дальше.

Ночь была звездная. Луна гуляла по небу меж клочковатых облаков, похожих на высокие темные горы, отороченные серебром. Искоса луна поглядывала и на Злодеевку, погруженную в глубокий сон. Многие жители, боясь клопов, перебрались с постелями на улицу и, накрывшись с головой пожелтевшими простынями, смачно похрапывали и видели сладостные сны: заработки на ярмарках, крупную выручку, большие барыши; иным снился добрый помещик, выгодная сделка, верный кусок хлеба, почетная работа или один только почет — разные бывают сны!..

На улице ни души. Не слышно ни шороха. Даже базарные псы, набрехавшиеся и намотавшиеся вдосталь за целый день, и те забрались меж колод мясников, спрятали морды между лап и спят! Изредка только какой-нибудь из них тявкнет вполголоса, когда ему приснится кость, на которую зарятся другие собаки, или когда почудится, что муха забралась в ухо и шепчет что-то по секрету... Пролетит иной раз на распростертых крыльях глупый жук, покружится на одном месте, прожужжит, как струна на контрабасе: «ж-ж-ж-ш», потом шлепнется наземь и замолчит. Даже городской сторож, который по ночам расхаживает, охраняя лавки, и стучит колотушкой «кла-кла-кла-кла!», и тот на этот раз как нарочно подвыпил и, привалившись к стенке, сладко уснул... И вот этой тихой ночью портной Шимен-Эле бродит один-одинешенек по городу и не знает, идти ли ему, стоять или сидеть... Шагает и тихо говорит самому себе:

— *«И кот пришел и козочку сожрал...»* — не было у бабы хлопот, купила себе коня... Пропади она пропадом эта коза! Коза! Козочка-козуля! Ха-ха-ха!

Он разражается хохотом и сам пугается своего голоса. В это время он проходит мимо «холодной синагоги», которая славится тем, что в субботние вечера там молятся покойники в белом и с молитвенными покрывалами на плечах... И кажется портному, что он слышит какое-то странное пение: «у-у-у-у!» Точно ветер, воющий в трубе зимней ночью... Он уходит подальше от «холодной синагоги», бредет по «русской» улице... И вдруг слышит: «п-ц-с-с!» То свистит пугач, забравшийся на самую макушку церковного купола... Портного охватывает уныние, страх, ужас! Однако он крепится, силится вспомнить стих, который произносят по ночам, чтоб не бояться. Но стих словно улетучился из головы! И как назло перед глазами возникают страшные образы знакомых, давно умерших людей... На память приходят жуткие рассказы, которых он наслушался за свою жизнь, — о чертях, духах, о домовых в образе телят, о бесенятах, носящихся словно на колесах, о вурдалаках, передвигающихся на руках, об одноглазых чудовищах... Вспоминаются истории об оживших мертвецах, блуждающих по миру в саванах... Шимен-Эле решает окончательно, что коза, которую он таскает за собою, вовсе не коза, а оборотень, нечистая сила... Вот покажет язык в десяток аршин длиной или хлопнет крыльями и прокричит на весь город: «Ку-ка-ре-ку!..» Шимен-Эле чувствует, что у него волосы встают дыбом. Он останавливается, отвязывает ремешок, хочет избавиться от своей обузы. Но не тут-то было! Молодец и не думает уходить! Ни на шаг не желает отойти! Шимен-Эле пробует пройти вперед, а он за ним; Шимен-Эле сворачивает вправо, и тот вправо; Шимен-Эле — влево, и тот туда же...

— *«Шема́, Исроел!»* * — не своим голосом кричит Шимен-Эле и пускается бежать куда глаза глядят. И чудится ему, что кто-то гонится за ним, блеет тоненьким козлиным голоском и говорит по-человечьи, и поет, как кантор в синагоге:

— Владыка смерти и живота нашего! Дару-у-у-ющий жизнь усо-о-о-пшим!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утром, когда мужчины встали и собрались в синагогу, женщины — на базар, а девушки — загонять коров в стадо, все увидели сидящего на земле портного. Рядом, поджав ноги, сидела пресловутая коза, жевала жвачку и трясла бороденкой. К Шимен-Эле подходили, пытались заговорить с ним, но он не отвечал, сидя как истукан, с остановившимся взглядом... Собралась толпа, люди сбежались со всего города, подняли шум, гам, трескотню... Пошли разговоры, пересуды: Шимен-Эле... коза... Внемли Гласу... оборотень... бес... вурдалак... нечистый... водил его, верхом на нем ездил всю ночь... мучил... замучил... И сочиняли при этом кто во что горазд: сами, мол, видели, как он ездил верхом...

— Кто на ком ездил? — спросил кто-то, просунув голову в тесно сомкнутый круг. — Шимен-Эле на козе или коза на Шимен-Эле?

Толпа разразилась хохотом.

— Горе вам и смеху вашему горе! — сказал один из ремесленников. — Бородатые люди! Женатые! Отцы семейств! Постыдились бы, посовестились бы! Чего вы собрались тут гоготать? Не видите, что ли, что портной не в себе, что человек смертельно болен? Отвели бы его лучше домой, послали бы за лекарем, чем стоять здесь и зубы скалить, черт бы вашего батьку взял!

Слова эти ремесленник выпалил точно из пушки, и толпа перестала смеяться. Кто побежал за водой, кто бросился к лекарю Юделю. Портного взяли под руки, отвели домой и уложили в постель. Вскоре прибежал лекарь Юдл со всеми своими причиндалами и стал спасать портного: поставил ему банки и пиявки, вскрыл жилу, пустил кровь...

— Чем больше крови ему выпустить, тем лучше, — сказал Юдл, — потому что все болезни, не про нас будь сказано, идут от нутра, таятся в крови...

Так лекарь Юдл объяснил тайны «медицинской премудрости» и обещал к вечеру зайти еще раз.

А Ципе-Бейле-Рейза, взглянув на своего мужа и увидев, как лежит он, бедняга, на разбитом топчане, укрытый тряпьем, закатив глаза, с запекшимися губами и бормочет в бреду что-то несуразное, заломила руки, стала биться головой о стену, рыдать, вопить, как по покойнику.

— Горе мне, беда и несчастье, гром меня разрази! И на кого ты меня покидаешь с малыми детками?!

А детишки, голые и босые, сбились в кучу возле горемычной матери и вторили ей. Старшие плакали потихоньку, пряча и глотая слезы; младшие, не понимая, что происходит, плакали навзрыд, и чем дальше, тем громче. И даже самый маленький, мальчик лет трех, с изможденным желтым личиком и вздутым животом, приковылял на своих кривых ножках к матери, ручонками обхватил голову и закричал: «Мама, ку-у-у-шать!..»

Все это сливалось в многоголосый хор, и присутствовать при этом постороннему было невыносимо. Всякий, кто ни входил к портному в дом, выбегал оттуда расстроенный, с обливающимся кровью сердцем и, когда спрашивали: «Как там Шимен-Эле?» — только махал рукой: «Что уж, мол, говорить о Шимен-Эле!»

Несколько ближайших соседок стояли заплаканные, с покрасневшими носами, смотрели в упор на Ципе-Бейле-Рейзу, немилосердно кривили губы и качали головами, точно желая сказать: «Ох, горе, горе тебе, Ципе-Бейле-Рейза!»

Поразительная вещь! Пятьдесят лет прожил Шимен-Эле в Злодеевке в нищете и лишениях, прозябал, словно червяк во тьме, и никому до него дела не было, и никто не знал, что он за человек. А сейчас, когда он заболел, вдруг обнаружились все его достоинства и качества. Вдруг все заговорили, что Шимен-Эле был замечательный, добрый и чистой души человек, щедрый благотворитель, то есть он урывал сколько можно было у богачей и раздавал беднякам, ссорился из-за них, дрался до крови, делился с

ближними последним куском... И еще много чего рассказывали о бедном портном, как рассказывают о покойниках на похоронах... Чуть ли не весь город ходил проведать его, и всеми средствами спасали его, только бы он, упаси бог, не умер преждевременно...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А мастеровые — ремесленники города Злодеевки собрались у акцизничихи Годл, поставили водку, кричали, горланили, неистовствовали, ругали богачей — за глаза конечно, — и смешивали их с грязью.

— Хорош город Злодеевка, чтоб он сгорел! Почему молчат они, богачи наши, провалиться бы им сквозь землю! Всякий, кто хочет, пьет нашу кровь, а заступиться за нас некому! Кто платит коробочный сбор? Мы! А на всякую напасть, на резника, скажем, на баню — не будь рядом помянута! — с кого шкуру дерут? С нас! Чего же мы молчим? Пойдем к нашим раввинам, дайенам, к «семерым радетелям города» — кишки из них вымотаем! Что за безобразие: целую семью зарезали! Давайте что-нибудь придумаем!

И братство «Благочестивый труженик» отправилось к раввину и учинило скандал. Тогда раввин прочитал ответ, только что полученный им через извозчика от козодоевских раввинов, дайенов и «семерых радетелей города».

Вот что было написано в этом письме:

«Раввинам, дайенам, «семерым радетелям города»! Горы да несут мир золотым семисвечникам священной общины города Злодеевки. Аминь!

Немедленно по получении вашего послания, которое было слаще меда для наших уст, мы все собрались и тщательно расследовали дело, после чего пришли к заключению, что один из наших сограждан заподозрен напрасно. Судя по всему, ваш портной человек недостойный: он возвел поклеп и пустил сплетню меж двух общин. Он заслуживает сурового наказания! Мы, нижеподписавшиеся, можем засвидетельствовать и присягнуть, что собственными глазами

видели, как коза доилась, — дай бог всем еврейским козам доиться не хуже! Не слушайте этого портного, не верьте его россказням! Не обращайте слуха вашего к речам недостойных! Да будут заткнуты уста, извергающие ложь! Мир да будет вам, мир всем евреям отныне и во веки веков!

К сему — ваши младшие братья, пресмыкающиеся в пыли у ваших ног:

Равин такой-то, сын раввина такого-то, царство ему небесное, и раввин такой-то, сын раввина такого-то, царство ему небесное... Генох Горгл, Кусиел Шмаровидло, Шепсл Картофель, Фишл Качалка, Берл Водка, Лейб Воречок, Эля Петелеле».

Когда раввин прочел это письмо, ремесленники возмутились еще больше. «Ага! Козодоевские пересмешники! Еще издеваются! Надо их проучить! Наш брат — мастеровой! Наш цех — утюг да ножницы!»

Тут же устроили новое собрание, снова послали за водкой и решили взять эту хваленую козу, направиться прямо в Козодоевку и перевернуть там вверх дном хедер с его меламедом и весь город!

Сказано — сделано! Собралось человек шестьдесят: портные, сапожники, столяры, кузнецы, мясники — народ боевой, парни здоровые, один в одного, вооруженные: кто деревянным аршином, кто утюгом, кто сапожной колодкой, кто топором, а кто молотком... Иные взяли с собой кое-что из хозяйственной утвари: скалку, терку или секач... Решено было немедленно идти в Козодоевку войной — убивать, уничтожать, истреблять!

— Раз навсегда! — заявили вояки. — *«Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!»* Смерть им, и дело с концом!

— Погодите, уважаемые! — сказал вдруг один из членов братства «Благочестивый труженик». — Вы уже готовы в поход? Совсем уже собрались? *«А где же агнец?»* Куда девалась коза?

— И правда, куда запропастился оборотень?

— Исчез!

— Неглупый оборотень, право! Однако куда же он мог удрать?

— Домой, наверно, убежал! К меламеду! Чего ты тут не понимаешь?

— С ума ты спятил! Рассуждаешь, как осел!

— Сам скотина! А куда же он еще мог убежать?

Словом, о чем спорить? Кричи не кричи, *«а дитяти нет»* — козы не стало...

. . . .

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теперь оставим заколдованного портного, борющегося со смертью, и ремесленников, готовящихся к войне, и перейдем к оборотню, то есть к козе.

Оборотень, увидев суматоху, которая поднялась в городе, подумал: к чему ему вся эта канитель? Что пользы быть привязанным к портному, таскаться с этим чудаком туда и обратно и подыхать с голоду? Не лучше ли бежать куда глаза глядят? Лишь бы не скитаться!

И наш молодец дал ходу! Он бежал стремглав, как безумный, не чуя под собою земли. Перепрыгивал через мужчин и женщин, нанося людям убытки, учинил разгром на базаре!.. Он опрокидывал столы с хлебом и плюшками, корыта с вишнями и смородиной, скакал по горшкам и стеклянной посуде, швырял, разбрасывал, крушил — трах-тарарах!.. Женщины всполошились, завизжали: «Кто такой?.. Что такое? Что за несчастье!.. Коза!.. Оборотень!.. Горе мое горькое! Напасть!.. Где он?.. Вон он!.. Ловите его!.. Пусть его поймают!.. Поймают!..»

И целая орава мужчин с подвернутыми полами и женщин с подоткнутыми, извините, подолами пустились бежать, обгоняя друг друга. Но все напрасно! Наш молодец, почуя свободу, мчался очертя голову!

А несчастный портной? А вывод? А мораль какая из всей этой истории? — спросит читатель.

Не принуждайте меня, дети! Конец нехороший. Началось все очень весело, а кончилось, как и большинство веселых историй, очень печально...

А так как вы знаете, что автор этого рассказа по натуре не меланхолик и плачевным историям предпочитает смешные, и так как вы знаете, что он не терпит «морали», что читать нравоучения не в его обычае, то сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали.

Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться...

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Вы говорите «заботы», «неприятности»? Все у вас называется «заботой»! Мне кажется, с тех пор, как бог создал мир, и с тех пор, как существует еврейский народ, таких забот и неприятностей никто и во сне не видел! Если есть у вас время, придвиньтесь, пожалуйста, поближе и слушайте внимательно, тогда я расскажу вам от начала до конца, со всеми мелочами и подробностями, историю о семидесяти пяти тысячах. Мне, чувствую я, тесно вот здесь, это давит меня, огнем жжет, я должен, должен освободиться!.. Понимаете или нет? Об одном только попрошу вас: если я остановлюсь или залезу невесть куда, напомните мне, на чем я остановился, потому что с тех самых пор, то есть после истории с этими семьюдесятью пятью тысячами, у меня, не про вас будь сказано, начало шуметь в голове, и теперь частенько случается, что я забываю, на чем остановился... Понимаете или нет?... Скажите, не найдется ли у вас семидесяти пяти тысяч?.. Тьфу! Я хотел сказать: не найдется ли у вас папироски?

Коротко и ясно, на чем же я остановился? Да, на семидесяти пяти тысячах... Первого мая нынешнего года я, вот такой как есть, выиграл семьдесят пять тысяч. Казалось бы, на первый взгляд, что тут особенного? Мало ли людей выигрывает деньги? Вот

кто-то из Николаева выиграл, говорят, двести тысяч! Или один одесский молодой человек, бухгалтер какой-то конторы, выиграл сорок тысяч рублей — и тихо, спокойно, все очень прилично, пожалуйста... Правда, крупных выигрышей жаждет весь мир, сто тридцать шесть миллионов человек завидуют вам! Понимаете или нет? Но дело в том, что выигрыш выигрышу — рознь. История с моим выигрышем — история удивительная, запутанная, история на истории, и история в истории, и история об истории... Надо, понимаете ли, набраться терпения, чтобы выслушать ее до конца и понять, в чем тут дело.

Прежде всего должен представиться, кто я такой. Не буду хвастать, что я великий ученый, или крупный богач, или мудрый философ. Я, как видите, человек простой, заурядный, хозяйственный, — имею собственный дом, пользуюсь кое-каким именем и уважением у себя в местечке. Понимаете или нет? Правда, в свое время у меня были деньги, крупные деньги. Конечно, что значит «крупные»? У Бродского денег гораздо больше, но ничего: несколько тысяч рублей у меня было. Но, как говорится, обратил на меня око свое господь бог, захотелось мне, понимаете ли, сразу разбогатеть, поторговал я хлебом с голодающими губерниями и остался, как говорится, без гроша. Счастье еще, что не обанкротился. Но вы, чего доброго, думаете, что я, потеряв деньги, пал духом? Значит, вы меня не знаете! Я, понимаете ли, такой человек: деньги для меня играют такую же роль, как... что бы вам сказать? Как вот этот пепел от папиросы. Никакой, то есть действительно — никакой! Конечно, как сказать... Деньги, разумеется, вещь хорошая, но драться из-за них, жизнью рисковать — нет! Скверно только, когда нет того, что надо, когда нельзя занимать надлежащее место, когда нет возможности пожертвовать или пообещать, сколько хотелось бы. Можете мне поверить, когда я вижу, что к кому-нибудь обращаются за трешницей на нужды города, а меня обходят, — жизни моей конец! Понимаете или нет? Я лучше получу нагоняй от жены, почему на субботу денег нет, нежели откажу бедняку, если в кармане у меня хотя

бы двугривенный завалялся. Понимаете? Вот такой уж я сумасшедший! Нет ли у вас двугривенного... Тьфу! Спички, хотел я сказать, прикурить?

Коротко и ясно, на чем же я остановился? Потерял я, стало быть, свои деньжонки и остался, значит, без гроша. И вот, когда я потерял свои деньги и остался без копейки, обращаюсь я в одно прекрасное утро к моей жене:

— Знаешь, Ципойра, что я тебе скажу? Мы очистились.

— Что это значит, — говорит она, — мы очистились?

— У нас, — отвечаю я, — и двугривенного не осталось!

Ну, так ведь она женщина, вот и пошла кричать:

— Горе мне! Беда великая! Гром меня убил! Янкев-Иосл, что ты такое говоришь? Где же твои деньги?..

— Тихо! — говорю я. — Чего ты шумишь? Где сказано, что это мои деньги? Господь дал, господь и отнял. Или, как вы говорите: «Не було у Микиты грошив и не буде!» Ну, где это написано, что Янкев-Иосл должен жить в четырех комнатах, держать двух прислуг и щеголять в шикарном субботнем кафтане? Существуют же люди, которые мучаются от голода, — что же, умирают они, что ли? Если бы все стали рассуждать, почему то да почему это, так ведь и до светопреставления недалеко...

И еще тому подобные слова и примеры приводил я, и она, жена то есть, поняла, что я прав. Понимаете или нет?.. Надо вам знать, что жена у меня такая, — краснеть за нее не приходится, она все понимает. Много разговаривать мне не пришлось. Она тут же перестала шуметь и болтать, да еще принялась меня успокаивать: видно, мол, так суждено, бог, мол, отец, он, будем надеяться, не допустит... И недолго думая сдала дом квартиранту, сами мы поселились в одной комнате с кухней, прислуг рассчитали, жена, дай ей бог долгие годы, засучила рукава и сама встала у печи, а я, как говорится, сам себя в бедняки записал. Но что значит «бедняк»? Есть, можете себе предста-

вить, бедняки почище меня: все-таки, как ни говорите, домишко у меня есть, доход приносит. Беда только, что месяц тянется целых четыре недели. Было бы в месяце не четыре, а две недели, — хватало бы, пожалуй, на расходы, а так две недели живешь за счет будущего месяца... Скверно, что и говорить! Но ничего не поделаешь... Как это говорится: к беде привыкают. И скажу я вам, нет на свете ничего лучше и спокойнее, чем быть бедняком: никаких тебе забот, понимаете ли, ни платежей, ни одолжений, ни беготни, ни суеты! Однако существует бог на свете, вот он и говорит: «К чему тебе, Янкев-Иосл, жить спокойно, без горестей? Есть у тебя билет? На тебе семьдесят пять тысяч и мучайся!..» Понимаете или нет? Нет ли у вас билета?.. Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На билете, стало быть. Вы думаете, это так просто: есть у человека билет, и он выигрывает семьдесят пять тысяч? Погодите минуточку! Во-первых, для чего человек держит билет? Для того, чтобы он мог его заложить и получить деньги. Так пошел бы ты, дурень, Янкев-Иосл, отнес бы билет в банк и взял деньги! Но, во-первых, у нас в местечке нет банка, а во-вторых, что мне банк? Банк разве не может обанкротиться, если захочет? Земля, как говорится, не бессудная, из рук не выхватывают, да и кому нужен мой билет? Понимаете или нет? Так я думал в то время, а может быть, я и вообще ни о чем не думал. Я решил: есть у меня квартирант, который живет в моем доме, молодой человек, процентщик, очень порядочный, — почему мне не заложить билет у него? Пусть он даст мне под него двести рублей, я, конечно, возьму, почему не взять? И вот пришел я к моему квартиранту, его звать Бирнбаум, и говорю: «Пане Бирнбаум, не дадите ли вы мне двести рублей под мой билет?» — «Я дам вам двести рублей под ваш билет!» — отвечает он. «А сколько вы мне процентов будете считать?» — спрашиваю. «А сколько вам считать?» — «А я знаю? — говорю я. — Считайте мне банковский процент». — «Буду считать вам банковский процент...»

Словом, договорились насчет процентов, отдал я ему билет на пять месяцев и получил двести рублей. Понимаете или нет? Поди же, дурень этакий, Янкев-Иосл, возьми расписку, что ты заложил у него такой-то и такой-то билет, такой-то серии, такого-то номера! Нет! Он, видите ли, Бирнбаум то есть, взял расписку с меня, что я одолжил у него двести рублей на пять месяцев под билет такой-то серии, такого-то номера. И если я не уплачу ему эти двести рублей в срок, то билет такой-то, такого-то номера и такой-то серии переходит в его собственность, и я никаких претензий иметь не буду... Понимаете или нет? Что я в то время думал? Думал я вот что: «Чего мне бояться? Одно из двух: если я выкуплю билет в срок, так ведь все хорошо. А если нет, то уплачу ему причитающиеся проценты, и он подождет». Почему ему не подождать? Не все ли ему равно, лишь бы проценты! Понимаете или нет?

И действительно, пришел срок, и я билета, конечно, не выкупил. Прошло пять месяцев и еще пять месяцев, потихоньку да полегоньку миновало два года и пять месяцев. Проценты я плачу, конечно, то есть иной раз плачу, иной раз не плачу, — чего мне бояться? Он продаст мой билет? Не продаст он моего билета! Зачем ему продавать? Так я в то время думал, а может быть, я тогда и вовсе ни о чем не думал... А времена, между прочим, нехорошие, дел никаких, все еще слишком много недель в одном месяце, мучаемся, но что делать? Только бы жить, как говорится, а горестей хватит... И так до нынешней весны...

Незадолго до пасхи бог послал дельце: закупил я несколько вагонов пшена. А когда пшено поднялось в цене, я его продал и заработал на этом пшене добрых несколько рублей. И справили мы пасху, да так, что — можете мне поверить — Бродский * и тот ничто в сравнении со мной! Шутка ли, человек никому не должен ни копейки, да еще имеет сотню-другую наличными! Кто же со мной сравняться может? Понимаете или нет? Так вот, взял бы ты, дурень этакий, Янкев-Иосл, внес Бирнбауму эти две сотни и

выкупил бы свой билет! Нет! Я подумал: куда мне торопиться? Бирнбаум не удерет с билетом! Будет еще время выкупить билет и после пасхи, а не то уплачу проценты, сколько причитается, и получу квитанцию. Так я в то время думал, а может быть, я тогда и вовсе ни о чем не думал. Понимаете? Взял я и на свои деньги купил мешки и сложил их в амбаре. А господь бог свершил чудо, сбили с амбара замок — это было после нынешней пасхи, как раз тридцатого апреля, в ночь на первое мая, когда производится розыгрыш билетов,— и украли у меня мешки, а я снова остался без гроша.

— Ципойра, — говорю я своей жене, — знаешь, какую новость я тебе сообщу? Мы уже снова очистились.

— Что значит — «мы очистились»?

— У нас уже ни одного мешка нет!

— Как это? — не понимает она. — Куда же девались мешки?

— Их, — говорю я, — сегодня ночью утащили из амбара.

Она, конечно, начинает шуметь, кричать, как водится у женщин. Тогда я ей и говорю:

— Тише, Ципойра, не кричи так. Одна ты, что ли, у господа бога? А если бы, скажем, дом сгорел, и мы выскочили бы голые-раздетые, в чем мать родила, было бы лучше?

— Тоже мне утешение! — говорит она. — Поэтому у нас должны были украсть все мешки?

— Какое имеет отношение одно к другому? — говорю я. — Вот попомни мое слово, — найдутся мешки...

— Откуда они найдутся? —говорит она. — Воры, что ли, подбросят украденные мешки, потому что тебя звать Янкев-Иосл? Делать им больше нечего.

— Э, глупая ты! — говорю я. — То, что бог может сделать, человеку и на ум не придет...

И действительно. Мешки, конечно, пропали, как в воду канули. Какие там мешки? Откуда мешки? Зря я бегал как сумасшедший, возился с полицией, искал во всех углах, рыскал по мышиным норам... Но — где там! Куда там! Ищи прошлогодний снег,

вчерашний день! Понимаете или нет? Голова заморочена, в сердце пустота, во рту пересохло, на душе мрак... Стою это я на базаре, у нас на бирже, возле аптеки, и вдруг — мысль мелькает в голове, — было это утром, часов около двенадцати: «Позвольте-ка! Ведь сегодня, можно сказать, день суда божьего! Первое мая. Билеты разыгрывают! Чем черт не шутит? Ведь у нас великий бог! Ведь он, если захочет, может осчастливить меня и всю мою семью!..» Но тут я вспоминаю об украденных мешках, забываю, что сегодня первое мая, что у меня билет, который участвует в тираже, и снова начинаю искать мешки... На какой-то след, понимаете ли, напали. И так весь день и всю ночь до следующего дня — второго мая. Сам не знаю, на каком я свете, целые сутки ничего не ел, уже час дня, сердце замирает, понимаете ли... А прихожу домой, на меня жена налетает:

— Может быть, ты бы умылся и закусил что-нибудь? Может быть, хватит возиться с этими мешками? Вот они у меня где сидят, твои мешки! Провались они к черту! Жизни, что ли, себя лишать из-за этих мешков? Что с ними, то и без них! Новое занятие — мешки! Мешки-мешки! Мешки-мешки!

— Знаешь что, жена моя? — говорю я. — Может, хватит насчет мешков? У меня уже голова, как мешок! А тут еще ты солью раны присыпаешь! Мешки-мешки!..

Понимаете или нет? Не найдется ли у вас мешка?.. Тьфу! Еще папироски, хотел я сказать...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На мешках, стало быть. Словом, пропали мешки. Что поделаешь? Душу не выплюнешь! Мою руки, сажусь за стол, но — где там, куда там! — ничего в горло не лезет.

— Что с тобой, Янкев-Иосл? — спрашивает жена. — Кто тебе сегодня дорогу перебежал?

— Я и сам не знаю, что со мной! — отвечаю, выхожу из-за стола и ложусь на диван. Только лег, принесли с почты газету. Возьми же, дурень этакий, Янкев-Иосл, газету и посмотри: сегодня второе мая, а вдруг твой билет выиграл? Но — где там, куда там!

Я и понятия не имею, второе ли сегодня мая, или двадцать второе июня, или тридцать первое февраля! Понимаете или нет? Беру газету, начинаю читать, с самого начала, конечно. Словом, лежу это я, читаю всякие новости: расстреляны — повешены, заколоты — зарезаны, англичане и буры... * В одно ухо входит, в другое выходит. Что мне англичане, что мне буры, когда у меня украли мешки? Пропади они пропадом все англичане и все буры! Так я в это время думал, а может быть, я в это время ни о чем не думал. Переворачиваю газету на вторую страницу, на третью — смотрю: тираж! Мелькнуло в голове: а вдруг мой билет выиграл хотя бы пятьсот рублей? Сейчас, после истории с мешками, это бы мне очень пригодилось. Начинаю просматривать все пятисотрублевые выигрыши — нету! Тысячные — нету! Пятитысячные, восьмитысячные, десятитысячные — конечно, нет! И так до тех пор, пока добрался до семидесяти пяти тысяч. А когда дошел до семидесяти пяти тысяч, мне вдруг что-то бросилось в глаза и ударило в голову: серия 2289, номер 12! Готов поклясться, что это мой номер! Но как это может быть? Чтобы мне, такому неудачнику, попался такой крупный выигрыш? Всматриваюсь в цифры — бог ты мой! Все-таки это мой номер! Хочу встать — не могу! Будто прирос к дивану. Хочу крикнуть: «Ципойра!» — не могу: язык вдруг словно прилип к нёбу! Собрался с силами, встал, подошел к ящику стола, посмотрел у себя в книге. Да! Честное слово: серия 2289, номер 12!..

— Ципойра! — говорю я жене, а руки у меня дрожат и зубы стучат. — Знаешь? Нашлись украденные мешки...

Она смотрит на меня как на сумасшедшего.

— Что ты говоришь? Ты знаешь, что говоришь?

— Я говорю тебе, — бог вернул нам наши мешки сторицею да еще с процентами... Наш билет выиграл полную шапку денег!

— Ты это серьезно, Янкев-Иосл, или смеешься надо мной?

— Что значит, — говорю я, — смеюсь? Я это совершенно серьезно. Нас поздравить нужно, мы выиграли деньги!

— Сколько же мы выиграли? — спрашивает она и смотрит мне прямо в глаза, будто хочет сказать: «Пусть только это окажется враньем, получишь ты от меня!»

— К примеру, как ты себе представляешь? Сколько бы ты хотела, чтоб мы выиграли?

— Я знаю? — говорит она. — Несколько сот рублей, наверное?

— А почему бы не несколько тысяч?

— Сколько это — несколько тысяч? Пять? Или шесть? А может быть, и все семь?

— А о большем ты, видно, не мечтаешь?

— Десять тысяч? — спрашивает она.

— Подымай выше!

— Пятнадцать?

— Выше!

— Двадцать? Двадцать пять?

— Еще выше!

— Янкев-Иосл, — говорит она, — скажи, не мучь!

— Ципойра! — говорю я и сжимаю ее руку. — Мы выиграли кучу денег! Целое богатство выиграли! Столько денег ты и во сне никогда не видела!

— Ну, говори же, сколько мы выиграли, не тяни за душу!

— Выиграли мы, — говорю я, — массу, много денег, клад, сумму в семьдесят пять тысяч!

— Хвала тебе, господи! — восклицает она, вскакивает и начинает бегать по комнате и руки ломать. — Благословенно да будет имя твое за то, что ты и на нас оглянулся и осчастливил нас! Спасибо тебе, господи, спасибо! Но ты хорошо посмотрел, Янкев-Иосл, не ошибся, упаси бог? Слава тебе, отец милосердный, слава тебе! Вся семья будет счастлива, друзья порадуются, враги лопнут от зависти! Шутка ли, такие деньги! Не сглазить бы! Сколько ты говоришь, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч?

— Семьдесят пять тысяч! — отвечаю. — Дай-ка мне, Ципойра, кафтан. Я пойду!

— Куда ты пойдешь?

— Что значит «куда»? К Бирнбауму надо зайти, билет-то ведь у него заложен... А его расписки у меня нет...

Как проговорил я эти слова, жена моя в лице переменилась, схватила меня за обе руки и говорит:

— Янкев-Иосл, ради бога, не спеши. Подумай раньше, что делаешь, куда идешь и как тебе с ним говорить. Не забывай — это семьдесят пять тысяч!

— Рассуждаешь как баба! — сказал я. — А если семьдесят пять тысяч, так что? Мальчик я, что ли?

— Послушай меня! — повторяет она. — Подумай раньше, посоветуйся с добрыми друзьями, не иди прямо, я не пущу тебя!

Коротко и ясно, ведь вы же знаете, — если женщина заупрямится, она, конечно, поставит на своем. Пригласили доброго друга, рассказали всю историю. Он выслушал и говорит, что она, то есть жена моя, права, потому что семьдесят пять тысяч — это не шутки! А между тем билет у другого человека, а расписки у меня нет, деньги — соблазн, мало ли что, а вдруг придет ему в голову недобрая мысль: ведь это же семьдесят пять тысяч!

Понимаете или нет? Ну, что я вам скажу, — они так напугали меня, что я и сам начал бояться и думать бог знает что... Как же поступить? Мы решили: я возьму с собою двести рублей (деньги тут же нашлись, потому что, когда выигрываешь семьдесят пять тысяч, сразу же становишься кредитоспособным) и пойду, но не один, а еще с кем-нибудь, оставлю его за дверью, а сам заведу разговор с моим Бирнбаумом, уплачу ему долг с процентами и выкуплю свой билет. Тут — одно из двух: если он отдаст билет — очень хорошо, а если не отдаст — то будет по крайней мере свидетель... Понимаете или нет? «Однако все это хорошо, — думаю я, — если он еще не знает, что билет выиграл семьдесят пять тысяч. А что делать, если и у него есть газета и он тоже видел, что на этот номер пал выигрыш в семьдесят пять тысяч? А что я сделаю,

если он, например, скажет мне, как та женщина с горшком: «Во-первых, я давно уже отдал вам ваш билет; во-вторых, ваш номер совсем не тот, а в-третьих, я у вас никогда никакого билета не брал!» Понимаете или нет? Разве что бог сотворил чудо и Бирнбаум еще не знает о выигрыше!

— Помни же, Янкев-Иосл, это не мелочь, — ты идешь получить семьдесят пять тысяч! Чтоб никто на твоем лице не заметил ни черточки, ни следа семидесяти пяти тысяч! И что бы с тобой ни случилось, помни, что жизнь дороже, чем семьдесят пять раз по семьдесят пять тысяч!

Так говорит мне жена, дай ей бог здоровья, берет меня за обе руки и требует, чтобы я дал ей слово, честное слово, что буду спокоен... Спокоен! Понимаете? Поди будь спокоен, когда сердце кипит, мысли прыгают и простить я себе не могу: «Как же так, Янкев-Иосл, дурень этакий, как же ты отдаешь билет на семьдесят пять тысяч какому-то Бирнбауму, совершенно чужому человеку, и хоть бы взял с него расписку!.. Росчерк пера!» Понимаете или нет? Не найдется ли у вас расписки... Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На Бирнбауме, значит. «Интересно было бы, — думаю я, — если бы оказалось, что Бирнбаум давно уже просмотрел газету, знает уже о семидесяти пяти тысячах так же, как и я, а может быть, и раньше меня, а я прихожу к нему и говорю: «Здравствуйте, пане Бирнбаум!» — «Здравствуйте. Что хорошего скажете?..» — «Где мой билет, пане?» — «Какой билет?» — «Билет серии две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать, который я у вас заложил...» А он смотрит на меня, как придурковатый...» Вот такие мысли пролетают у меня в голове, сердце сжимается, глотку перехватило... Нет дыхания! Воздуха не хватает!.. Пришел, и что же оказывается? Где Бирнбаум? Он спит... Спит? Значит, он ни о чем еще не знает. Слава тебе господи! Вхожу в дом, застаю его жену — ее зовут Фейгеле — на кухне. Дым, жара, грязь по шею.

— Здравствуйте! Гость! Реб Янкев-Иосл! — обращается ко мне Фейгеле и просит зайти в комнату, усаживает на почетное место и спрашивает, почему это меня давно не видно?

— А я знаю, почему меня не видно? Я и сам не знаю! — отвечаю я и смотрю ей прямо в глаза: «Знает она или еще не знает? Как будто бы еще не знает... А может, и знает?..»

— Как же вы поживаете, реб Янкев-Иосл?

— Как мне поживать? — отвечаю. — Слыхали небось о моих неприятностях.

— О каких неприятностях?

— Как! Вы разве не знаете о мешках, которые у меня украли?

— Ах, вы об этом? — говорит она. — Ну, ведь это уже старая история! Я думала, что-нибудь новое.

«Что-нибудь новое? А не имеет ли она в виду эти семьдесят пять тысяч?» — думаю я и смотрю ей прямо в глаза, но не могу прочесть в них ничего, то есть ровным счетом ничего!

— Может, выпьете стаканчик чаю, реб Янкев-Иосл? Я раздую самовар, а там муж проснется.

— Стакан чаю? Пожалуй, почему нет! — отвечаю я, а сердце падает, дыханья нет, воздуху — ни капли, во рту сохнет, в комнате жарко, пот катится с меня, а она, Фейгеле, говорит мне что-то, а что говорит — понятия не имею! Голова моя совсем не здесь, а в той комнате, где Бирнбаум спит и так сладко похрапывает... Понимаете или нет?

— Почему вы не пьете? — спрашивает Фейгеле.

— А что же я, по-вашему, делаю? — говорю я и помешиваю и помешиваю ложкой в стакане.

— Вы крутите ложкой вот уже целый час, а пить не пьете.

— Спасибо! — говорю. — Я не пью холодного, то есть горячего, чая. Я люблю, когда чай постоит, станет очень горячим, то есть очень холодным, то есть когда он здорово согреется, то есть остудится...

— Что-то вы, реб Янкев-Иосл, очень рассеянны! — замечает она. — Вы так рассеянны, что даже не

знаете, что говорите. Неужели стоит так расстраиваться из-за того, что у вас украли мешки? Бог поможет, они еще отыщутся, ваши мешки. Я слыхала, что напали на след... Погодите-ка, муж ворочается, он уже встает. Вот он идет!

Вышел мой Бирнбаум, заспанный, в шелковой ермолке, трет глаза и смотрит на меня исподлобья.

— Как поживаете, реб Янкев-Иосл?

Первой моей мыслью было: знает? Или не знает? Кажется, не знает. А может, знает?

— Да как нам поживать? — отвечаю. — Вы ведь слыхали о моем несчастии с мешками?

— У этой истории уже длинная борода выросла. Расскажите что-нибудь поновее... Не найдется ли у тебя, Фейгеле, немного варенья? Нехорошо у меня во рту после сна, — говорит Бирнбаум и морщится.

«Ну, если ему хочется варенья, значит он ничего еще не знает...» — подумал я и затеял с ним разговор, черт его знает о чем, слово к слову не клеится. В животе у меня что-то урчит, в глотке першит, сил моих нет, сейчас упаду, сейчас начну кричать во весь голос: «Помилуйте, люди добрые, семьдесят пять тысяч!» Понимаете или нет? Наконец бог сжалился, я завел разговор о процентах.

— Могу вам, пане Бирнбаум, дать немного процентов, то есть могу уплатить причитающиеся вам проценты.

— Ну что ж! Это очень хорошо! — говорит он и пробует ложечку варенья.

— Сколько же вам причитается процентов?

— Вы хотите знать счет или хотите платить деньги?

— Нет, — говорю, — я имею в виду платить деньги, наличные.

— Фейгеле, дай-ка сюда книгу...

Услыхав эти слова, я воскрес из мертвых: он, бедняга, ничегошеньки не знает!

Уплатив проценты, я обращаюсь к нему:

— Так уж вы запишите, будьте добры, пане Бирнбаум, у себя в книге, что вы получили от меня

проценты по моему билету серии две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать.

— Запиши, — говорит он, — Фейгеле, по билету серии две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать.

«Ничего он не знает!» — думаю я и завожу разговор о билетах, о том, что не стоит держать билет и платить за него проценты. А что дальше будет с билетом?

— Это вы насчет чего же говорите? — спрашивает он и смотрит на меня одним глазом исподлобья.

От этого взгляда у меня сердце оборвалось: не понравился мне этот взгляд, понимаете или нет? Однако я тут же спохватился и сказал:

— Понимаете ли, пане Бирнбаум, я это к тому говорю, что билет требует расходов. Право же, вы могли бы впредь брать с меня на один процент меньше. Все-таки мы с вами старые знакомые, близкие соседи...

— Нет! — отвечает он. — Все, что угодно, только не это. Хотите так — ладно, а не то — уплатите мне мои деньги и заложите его в другом месте.

— Хотя бы сегодня? — спрашиваю я, а сердце стучит, как молотком: тик-тик-так! Тик-тик-так!

— Хоть сейчас! — говорит он.

— Так вот вам ваши деньги! — говорю я и выкладываю ему двести рублей, а сердце — вот оно выскочит!

— Прими деньги! — обращается он к Фейгеле, а сам наклоняется к стакану и закусывает ложечкой варенья. Потом берет еще ложечку и еще. Я хотел бы уже увидеть свой билет, а он все еще ест варенье! Мне каждая минута, каждая секунда здоровья и крови стоит! Но нельзя же быть свиньей: человек любит варенье — пусть ест на здоровье! Подгонять человека в шею тоже не годится... Надо сидеть, как на горячих углях, и ждать, пока он покончит с вареньем. Понимаете или нет?.. Нет ли у вас немного варенья? Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Коротко и ясно, на чем же я остановился?

Мой Бирнбаум ест варенье. Съел, вытер губы и обращается ко мне:

— Реб Янкев-Иосл, деньги я у вас получил, проценты вы уплатили, теперь, стало быть, я должен отдать вам ваш билет?

— Видимо, так! — отвечаю я, как будто хладнокровно, и чуть в обморок не падаю от радости.

— Беда только,— говорит он,— что сегодня я вам билета дать не могу.

Как только он произнес эти слова, я почувствовал, что у меня в сердце что-то оборвалось. Я вдруг свалился с седьмого неба прямо на землю. Как я удержался на ногах, не понимаю.

— А в чем дело, пане Бирнбаум, почему вы не можете отдать мне мой билет?

— Потому, — говорит он, — что его нет у меня при себе.

— Что значит, — спрашиваю, — его нет у вас при себе?

— Он лежит на моем счету в банке.

У меня немного отлегло от сердца. Я задумался.

— Что это вы так задумались? — спрашивает он.

— Ничего, — говорю, — стою и думаю, как же он попадет ко мне?

— Очень просто, — отвечает он. — Завтра поеду в город и привезу вам ваш билет.

— Ну что ж! — говорю я, поднимаюсь, прощаюсь, направляюсь якобы к дверям и тут же возвращаюсь. — Как вам нравится, пане Бирнбаум, какой из меня купец? Деньги отдал, проценты уплатил, билет у вас, — дайте мне хотя бы расписку на билет!

— А на что вам расписка? Что же, вы мне не доверяете двести рублей без расписки?

— А может быть, вы и правы! — говорю я, направляюсь к дверям и снова возвращаюсь.

— Нет, — говорю я, — неудобно это как-то, не по-купечески... Когда билет на руках у другого, надо иметь расписку. Пускай будет по-моему, дайте мне расписку. Почему бы вам не дать мне расписку?

Вдруг мой Бирнбаум встает, идет к себе в комнату за занавеску и зовет к себе Фейгеле.

— Пане! — обращаюсь я к нему. — Я знаю, зачем вы зовете Фейгеле. Вы хотите, чтобы она послала прислугу за газетой... Сегодня второе мая, вам хочется посмотреть, не выиграл ли билет? Зачем вам беспокоиться? Я могу и сам сообщить вам, что мой билет, слава богу, выиграл солидные деньги!

Мой Бирнбаум побледнел, потом покраснел.

— Серьезно? — спросил он. — Помогай вам бог! Сколько же он выиграл?

— Он выиграл, — ответил я, — довольно крупную сумму. Дай бог каждому порядочному человеку! Потому-то я и хочу получить от вас расписку. Поняли теперь?

— Ведь я же вам говорю, помогай вам бог, хотя бы все двести тысяч! От души желаю вам, поверьте мне! Но все-таки, сколько же пало на билет? Почему вы боитесь сказать?

— Пане Бирнбаум! — говорю я. — К чему нам лишние разговоры? На билет пал выигрыш в семьдесят пять тысяч рублей, а лежит он у вас. Проценты я уплатил, деньги вернул, — отдайте мне мой билет! Вы говорите, у вас билета нет, он в банке? Дайте мне расписку — и дело с концом!

Ну, ясное дело, у моего молодчика глаза на лоб полезли, лицо загорелось. Вижу, что ему не по себе. Тогда я отозвал его в сторону, взял за руки и сказал:

— Дорогой друг! Пожалейте меня и себя, скажите, чего вы хотите. Мы договоримся. Не мучьте меня, я еле на ногах стою. Скажите, сколько вы хотите, и дайте мне расписку на билет. Глупости, я без расписки отсюда не уйду, потому что речь идет о семидесяти пяти тысячах рублей!

— Что я вам скажу? — отвечает он, а глаза у него горят огнем. — Положимся на суд людей: как люди скажут, так и будет.

— На что нам, — говорю я, — люди? Давайте сами будем людьми. Послушайте меня, Бирнбаум, ради самого бога, скажите, сколько вы хотите? Давайте не допустим до насмешек и скандала!

— Нет, пусть решают люди! — отвечает он. — Как люди скажут, так я и поступлю...

Вижу, что ничего с ним не поделаешь, — тогда я открываю дверь и обращаюсь к своему человеку, к свидетелю то есть:

— Зайдл! Теперь можешь идти!

Мой Зайдл взял ноги на плечи, пошел и растрезвонил по всему городу, что билет Янкев-Иосла выиграл семьдесят пять тысяч, что билет находится у Бирнбаума, а Бирнбаум билета не отдает!.. Понимаете или нет? Больше ничего не потребовалось: не прошло и получаса, как дом Бирнбаума был полон людей, улица запружена, поднялся шум, гам, тарарам: «Билет...», «Янкев-Иосл...», «Бирнбаум...», «Семьдесят пять тысяч...» Люди стали заступаться за меня, нашлись и такие, которые стучали кулаками по столу, другие обещали набить физиономии, кости поломать, разнести дом вдребезги, — плохие шутки! Наконец было решено положиться на суд нашего богача. Как богач постановит, так тому и быть. И мы всей толпой отправились к богачу.

Наш богач, надо вам знать, человек тихий, порядочный. Вообще-то он терпеть не может таких дел. Но когда мы всей гурьбой ввалились к нему с криками: «Спасите!» — он испугался, что ему дом разнесут, и у него не осталось другого выхода, как вмешаться во всю эту историю. И мы расписались, что целиком полагаемся на него. Бирнбауму, бедняге, пришлось переписать билет на его имя, и было решено, что завтра или послезавтра, даст бог, мы все едем в город взять билет из банка, и сколько богач присудит уплатить Бирнбауму, столько я и уплачу. Понимаете или нет? Но вы, наверное, думаете, что на этом вся история кончилась? Те-те-те! Теперь-то она только и начинается! У меня, видите ли, на этот билет имеется компаньон. Где вы видели, чтобы человек один владел целым билетом? Кто же мой компаньон? Мой родной брат, зовут его Генех, а живет он в местечке, недалеко от нас. Из-за него, собственно, я и заложил этот билет у Бирнбаума... То есть наоборот, — из-за меня он, мой брат, заложил

билет у этого Бирнбаума... Но здесь целая история, которую я должен рассказать подробно, чтобы вам все было понятно.

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На моем брате Генехе. Имеется, стало быть, у меня брат Генех, дай бог до ста двадцати лет...* Ну, что вам сказать? Неудобно распространяться о собственном брате, как это говорится, «выносить сор из избы». Но — ничего, дело семейное... Мы, понимаете ли, не слишком восхищаемся друг другом... О том, что я сделал для него, говорить не приходится, — дай бог мне не хуже. Могу похвастать, что я его на ноги поставил. Сначала бог, а потом я сделал его человеком. Мне незачем хвалиться перед вами, понимаете или нет? Так что, когда он прислал мне билет и попросил, чтоб я его продал или заложил, получил под него двести рублей и выслал ему деньги, — мог я ему отказать? Его ничего не касается: что ему билет? А я вот изволь думать о нем, страховать его, проценты платить... А когда господь помог, билет выиграл — кто бился головой об стенку с Бирнбаумом? Кто чуть удара не получил, покуда мы с ним кое-как поладили? А в конце концов, когда дошло до дела, он, то есть братец мой, еще в претензии: «Кто, мол, просил тебя распинаться за мой билет?..» Понимаете, какой разговор? Нравится вам такая претензия грубияна? Мне это, конечно, досадно, за сердце хватает: «Эге, брат, в таком случае скажи, пожалуйста, а где это сказано, что билет принадлежит тебе?» — «А чей же он?» — «Чей бы ни был, — говорю я, — прежде всего надо поехать и забрать билет из чужих рук, потому что это не шутки — это семьдесят пять тысяч рублей!..» Понимаете или нет?.. Ну, что мне за это полагается? Нужно устраивать скандалы? Стучать по столу? Стулья ломать? Нет, знаете, уж если говорят, что из поросячьего хвоста шапки не сошьешь, — значит правда... Я и подумал: зачем я буду грызться со своим братом? Сто тридцать шесть миллионов человек завидуют нашему счастью, а мы ссоримся, родные братья, — фу, противно! Надо прежде всего заполучить билет. Это

как будто бы важнее! Не так ли? Как вы полагаете? Но поди толкуй с невежей! Я имею в виду своего брата, да не накажет меня бог за такие речи... Потому что, если бы он мне сказал раньше, что́ именно его беспокоит, если бы он рассказал, что это не просто билет, как всякий другой, что в истории этой кроется, так сказать, «косточка»,— я бы знал, что мне надо делать!.. А вот об этой «косточке» я узнал от брата только после того, как билет перешел на имя богача, когда следователь наложил на этот билет арест в банке, а нас, каждого в отдельности, взяли на цугундер, то есть следователь вызвал нас к себе и потребовал, чтобы мы рассказали в точности историю с билетом. Как попал,— спрашивает он,— ко мне билет? Какое отношение ко всему этому имеет Бирнбаум? И причем тут богач? Понимаете, какая канитель? А откуда взялся следователь? И на что ему знать все эти подробности? В том-то и дело, что здесь начинается вся эта история с «косточкой»! Это, доложу я вам, «косточка», которая торчит поперек горла и которой и подавиться недолго!.. Хотите знать, откуда она взялась? «Косточка» эта взялась от какого-то монаха, от ксендза. Понимаете или нет? Там, где живет мой брат, есть монах, или ксендз, и мой брат уже много лет подряд торгует с ним, на слово одалживает у него деньги, продает ему товар, и живут они в большой дружбе. Понимаете или нет?..

И вот случилась такая история,— так рассказывает священник, и поди поверь ему на честное слово... Пришел к нему как-то мой брат и говорит:

— Батюшка, нужны мне на короткое время деньги, одолжите пару сотен, у меня — ярмарка!

А священник ему и отвечает:

— Где же я тебе возьму? Нету у меня денег!

— Никаких отговорок не может быть! — говорит ему брат.— Нужны двести рублей до зарезу!

— Странный ты человек! — говорит священник.— Сказал же я тебе — нет у меня денег. Билет, если хочешь, выигрышный, могу тебе одолжить, а ты раздобудь под него деньги...

Понимаете? Вот это и есть тот самый билет, который, стало быть, выиграл семьдесят пять тысяч. Так заявляет священник, и поди поверь ему на честное слово. Теперь, когда на билет пал выигрыш, священник, конечно, прибегает к брату и говорит:

— Билет, слава богу, выиграл порядочную сумму...

— Да, говорят, — отвечает мой брат, — что он выиграл...

— Ну, как же будет? — спрашивает священник.

— А что должно быть? — говорит мой брат...

Словом, туда-сюда, шутки в сторону, — он ему одно, тот в ответ — другое, он — про козу, а тот — про барана... Черным по белому, на бумаге у обоих ничего нет! Ну, у моего брата есть хотя бы билет, а у священника что? Одни огорчения!.. В общем, решено: священник просит у брата хотя бы несколько тысяч. Так взял бы ты, голова с мозгами, Генех этакий, и заткнул бы ему глотку несколькими тысячами, и пусть отстанет! Но братец мой твердит свое: «За что? Билет-то ведь мой! Честное слово, купил я этот билет у него еще три года тому назад!..» И может быть, все обошлось бы, но тут вмешались наши евреи, дай им бог здоровья! Да и само местечко тоже хорошо, — может, слыхали о нем? — Пиши-Ябеда называется. По названию и местечко, полно ябедников, доносчиков, — сгореть бы им в летний день! Что говорить, пошли к священнику и растолковали ему, что он на этом деле может нажить деньги. И подсказали ему, чтобы он не медлил, поехал в большой город и обратился прямо к прокурору, подал бы бумагу: так, мол, и так, евреи, стало быть, обманным путем взяли у него билет, а билет выиграл семьдесят пять тысяч, и ему не отдают его... Понимаете? И что же вы думаете, — священник не поленился, проделал все, что нужно, и даже больше того, что нужно, и на билет наложили арест... В общем, завязалось дело не на шутку... Вот тебе напасть... Недоставало нам «косточки», священника!.. Брат уже было поладил с ним на десяти тысячах, но священник раздумал, так его накрутили, понимаете, что он

и сам не знает, чего хотеть... Вот вам история с «косточкой». Понятно вам или нет?..

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На «косточке». Судил нам господ бог «косточку», которую ни проглотить, ни выплюнуть, ни туда ни сюда!

Однако есть все же на свете бог, который одной рукой карает, а другой исцеляет, — нашлись люди добрые, друзья, приятели и просто люди, вмешались они в это дело, пытались подойти с разных сторон, бросались туда и обратно — от моего брата к священнику, от священника к брату, от меня к Бирнбауму, от Бирнбаума ко мне, от нас обоих — к брату, от нас троих — к священнику, — канитель, беготня, разъезды, разговоры, споры — словом, кое-как, с горем пополам уладили. Как уладили, на чем уладили, — не спрашивайте, лишь бы уладили! Как говорится, и из кривды ужин стряпают, или, как мой брат сказал, когда он встретился со священником: «Ваше преподобие, як не псак, то псакец, нехай буде яхлойку» [1].

— Нехай буде «яхлойку»! — ответил священник. — А только ты, Генех, мошенник!..

— Лехаим, батюшка, за ваше здоровье! — сказал мой брат, поднес ему рюмку, и мы все взяли по рюмочке, выпили, расцеловались, — все хорошо, все довольны... То есть как сказать? Как можно быть довольным, когда у каждого из нас почти что были в руках семьдесят пять тысяч, а их точно ветром унесло? Хотите знать, каким образом? Да вот вам прямой расчет: ну, обо мне говорить нечего... Нет у меня семидесяти пяти тысяч, ну и черт с ними! Но я у вас спрашиваю: что бы, скажем, делал мой братец Генех, если бы я не телеграфировал ему, что наш билет выиграл семьдесят пять тысяч? Другой на моем месте, увидав такой выигрыш, знаете, что сделал бы? Утер бы губы и — молчок. Что мне брат? При чем тут Генех? А если бы я продал этот билет? Или — вот заложил я билет у Бирнбаума и не выкупил бы

[1] Смесь украинских и еврейских слов; поговорка, означающая: «Не по-нашему, не по-вашему — поделимся».

в срок, а ведь у Бирнбаума имеется моя расписка в том, что у него заложен мой билет такой-то номер, такой-то серии, и если я не выкуплю его в срок, то билет номер такой-то, серии номер такой-то... Понимаете или нет? Но что же? Мне это и в голову не приходило, не знать бы мне так никакого зла! Потому что я, как вы меня видите, человек, для которого деньги не играют большой роли! Что такое деньги? Чепуха! Дал бы только бог, как моя жена говорит, здоровья, и было бы все, что нужно... Но все-таки досадно, конечно... Как-никак семьдесят пять тысяч! Понимаете или нет?..

Теперь возьмем Бирнбаума. Ведь он и в самом деле ни в чем не повинен. Он прямо-таки из рук выпустил семьдесят пять тысяч рублей! Просто он честный, исключительно честный человек и не желает наживаться на чужом билете. Он хочет только, чтобы спросили у людей, что скажут люди? Понимаете? А дальше было бы, как говорят, и котелок чист, и ложка в порядке, потому что ведь у него есть моя расписка в том, что если я не выкуплю билет в срок, то билет номер такой-то, серии такой-то... Понимаете или нет? А билет этот возьми да и выиграй как раз семьдесят пять тысяч! Ну, скажите сами, не может разве желчь разлиться? Вот вам, стало быть, уже две несчастных души на свете, которые чуть ли не из кармана выронили по семьдесят пять тысяч! А что, не правда ли?

Третий несчастный — это мой брат Генех. Ходит, как ограбленный, как зарезанный петух, и жалко его по-настоящему: ведь он так мало получит. Он, видите ли, привык каждый год, а то и дважды в году, когда разыгрывают билеты, получать по семьдесят пять тысяч, не меньше!.. Он ходит и кричит: «Чего они от меня хотят? Почему они меня грабят? Всем давай деньги! Священнику дай, брату дай, Бирнбауму дай, — они меня по миру пустить хотят!» Понимаете или нет?

Четвертый, то есть священник, и подавно несчастный!.. Он клянется, и можно поверить ему на честное слово, что не понимает, почему евреи делят

между собою его деньги? «Ну ладно, — говорит он, — Генех, хотя он и мошенник и следовало бы его в кутузку засадить, но все же он свой человек, приятель... Но весь остальной кагал *, — говорит он, — какое отношение имеет кагал к моему билету?!» Понимаете? Поди поговори со священником, растолкуй ему, что такое порядочность: один — это брат, который мог бы взять себе все, да так, чтобы никто и не пикнул, а второй — это исключительно честный молодой человек, имеющий от меня расписку в том, что билет такой-то и такой-то серии... Понимаете? Разве он, Бирнбаум то есть, на что-нибудь рассчитывает? Разве он требует денег? Он к кому-нибудь в претензии? Упаси бог! Он хочет только, чтобы спросили у людей, что скажут люди! Он, понимаете ли, человек, который влюбился в людей! Вот так-то.

Словом, четыре человека, выходит, выиграли по семьдесят пять тысяч на брата и четыре человека потеряли по семьдесят пять тысяч — четыре несчастных человека!.. Но ничего, поладили, значит — кончено! Видно, так суждено... Что же теперь надо делать? Теперь, стало быть, надо поделить билет, то есть надо вчетвером пойти в банк, получить билет, получить выигрыш, отдать каждому его долю и распить магарыч. Не так ли? Однако не спешите, только не торопитесь. Во-первых, на билете — печать следователя, значит, надо его прежде всего освободить, билет то есть. А священник не желает освободить билет, покуда ему не гарантируют его долю. Понимаете? Как же гарантировать его долю? Значит, надо снять билет со счета богача и перевести его на имя священника и моего брата Генеха. Но богач и слышать об этом не желает. Он, видите ли, говорит, — и нельзя ему отказать в справедливости, — следующее:

— Какое отношение я имею к чужому билету? Как я могу приказать передать чужой билет на семьдесят пять тысяч, на который наложен арест, когда я не знаю, кому билет принадлежит? Раньше он принадлежал Бирнбауму и Янкев-Иослу, а теперь, слышу я, он принадлежит Генеху и священнику, а потом окажутся еще новые хозяева, новые генехи и свя-

щенники, — что же я стану делать, если и они потребуют каждый по семьдесят пять тысяч? Откуда я возьму, дорогие мои, столько денег? Ведь я же не Бродский!

Понимаете или нет? Началась канитель с адвокатом. А ведь адвокаты — все равно что врачи: что бы один ни сказал, другой говорит противоположное. Деньги берут они все, а советы дают разные. Один адвокат говорит, что богач имеет полное право отдать билет, кому хочет... А второй заявляет, что он ни в коем случае не имеет права отдавать билет... Тогда является третий и настаивает: он обязан передать, не то он будет иметь неприятности... Четвертый советует: пускай богач вообще откажется от билета, — это будет самое лучшее... Приходит еще один и предостерегает: боже сохрани! Если богач откажется от билета, то билет останется висеть в воздухе, а это грозит серьезными неприятностями! Но другой адвокат утверждает, что неприятности ждут богача как раз в том случае, если он не откажется от билета! А еще один адвокат сообщает такую новость: откажется ли богач или не откажется — все равно неприятностей ему не избежать!.. Понимаете или нет? Но мне кажется, что неприятностей у него уже предостаточно, потому что помимо того, что ему поминутно морочат голову, он еще каждую неделю ездит в город, наш богач то есть, ходит от одного адвоката к другому, платит деньги и умоляет, чтоб над ним сжалились и посоветовали, как избавиться от этого груза! Прямо-таки жаль человека, да и позор! Взяли честного, тихого человека, который и мухи не обидит, и повесили ему на шею этакую бомбу и — держись на доброе здоровье! За что? За какие грехи? За то, что люди заступились и решили услужить человеку? Понимаете или нет?.. Не найдется ли у вас еще одной бомбы?.. Тьфу! Папироски, хочу я сказать...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На бомбе, которую повесили нашему богачу на шею... Вы, конечно, хотите знать, что с ней? Ничего, бомба так и осталась бомбой! Пока что она висит в воздухе... Богач каждую неделю ездит в город к адво-

катам, адвокаты берут деньги и дают советы — один так, другой этак, а третий — ни так и ни этак, а наоборот, как обычно... И чем это кончится, один бог знает, потому что ни один человек постичь не может, что из этого будет... Если, упаси бог, дело дойдет до суда, то кто знает, как оно обернется... Понимаете? А кто тем временем мучается и страдает? Янкев-Иосл! Весь город, — да что там город, — весь мир носится со мной! Каждый на меня пальцем указывает: «Вон идут семьдесят пять тысяч!..» От дела меня оторвали, в кармане и трешницы нет, — еще хуже, чем было. Жена стыдится на рынок выйти — ее называют «новая богачка»... Меня в первую субботу пригласили к свиткам торы с особыми почестями *. Уже рассчитали, сколько из этих семидесяти пяти тысяч я должен пожертвовать городу, сколько я должен раздать бедным родственникам и что я буду делать с остальными деньгами. Один уверял, что я, наверное, сделаюсь процентщиком, другой говорил, что я вероятнее всего буду торговать хлебом так же, как торговал в былые времена, а третий доказывал, что для меня лучше всего открыть контору, потому что контора у нас может делать самые выгодные дела, — ведь ни одна из наших контор не располагает капиталом в семьдесят пять тысяч, да еще наличными! Понимаете? У нас в местечке народ неверующий: никто не верит, что кто-нибудь имеет в наличности больше двадцати пяти рублей собственных денег... Наше местечко, надо вам сказать, тоже черт не взял! Уж это, доложу я вам, из тех местечек, которыми все интересуются!.. Праздношатающихся, которым делать нечего, у нас достаточно, вот они и таскаются «от Буни до Шмуни» и перемывают косточки всему миру. Своих дел нет, вот и занимаются чужими. Собираются на базаре, возле аптеки, на бирже то есть, и только и делают, что оценивают чужие сделки: боятся, а вдруг кто-нибудь заработает! А если человек потеряет — они счастливы, прямо-таки на глазах толстеют... Теперь вы понимаете, какая туча надвинулась на город, когда прослышали об этих семидесяти пяти тысячах? С того дня у

людей рот не закрывается с утра до ночи. Шутят, и острят, и досаждают друг другу колкостями, вгрызаются, лезут в душу.

— Почему бы вам не выиграть семьдесят пять тысяч? Они бы вам сейчас очень пригодились!..

— А вы почему не выигрываете? Вам они гораздо нужнее!

Чтобы другим было досадно, какой-то математик рассчитал, что я самый крупный богач в городе. Простой расчет! Семьдесят пять тысяч я выиграл, тысяч шесть-семь стоит мой дом, вот вам уже почти восемьдесят пять тысяч, то есть без малого сто тысяч. А о человеке, который имеет сто тысяч, можно смело сказать, что у него — двести, потому что когда говорят, что у человека двести тысяч, у него и ста не наберется! Выходит, таким образом, что у меня двести тысяч, то есть, что я самый богатый человек в городе! А то, что в городе есть люди побогаче меня, так ведь наверняка никто этого не знает. Кто побывал у них в кармане, кто считал их деньги? А может быть, они — банкроты? Понимаете или нет? Многих это задело за живое. Они не могли примириться: как это человек вдруг, ни с того ни с сего, становится — без забот, без головной боли — богачом? Есть у нас один старый холостяк, богач и скряга... И вот озорники подослали к нему некоего Мендла Бороду, чтобы тот сообщил ему радостную весть: Янкев-Иосл выиграл семьдесят пять тысяч. И холостяку стало, не про вас будь сказано, так скверно, что думали — конец человеку! Прямо-таки жалость берет — ходит человек несколько дней подряд без головы! А теперь, когда он узнал об истории с моим братом Генехом и о «косточке», он, можно сказать, поздоровел. «Пусть уж лучше священнику достанется, — говорит он. — За что это еврею столько денег?..» Понимаете? Но вы думаете, что свои не завидуют? Они, если бы могли, утопили бы меня в ложке воды! Конечно, если бы я действительно получил эти семьдесят пять тысяч, все было бы по-другому, тогда бы все были довольны — и свои и чужие. Но коль скоро так получилось, то опять-таки другое дело... Ничего, родственники

могут держать карман пошире, — у моего брата Генеха не разгуляешься. Благодетель мой братец Генех! Он если начнет раздавать подаяние, так уж тут будет что посмотреть! Он уже как будто ассигновал от шестидесяти пяти до семидесяти двух рублей на свадьбу бедной сестры... А старику отцу он отвалил целую сотню! Пусть, мол, знает отец, что сын его выиграл семьдесят пять тысяч!.. Понимаете? Это — близкие родственники. А те, что издалека, вообще повадились ко мне со всего света каждый со своими нуждами... Многие в расчете на это дело надумали женить и замуж выдавать своих детей. Кое-кто развелся, полагая, что потом сможет добиться чего-нибудь получше... Но то хоть родственники. Как это говорится: от своих приходится терпеть. Понимаете? Но чужие, совершенно чужие, при чем тут они? Почему я обязан и о них думать? За что мне такое наказание? За какие грехи? Всем своим врагам, знаете ли, желаю я такого выигрыша! Можете мне поверить на слово, что поздравления, с которыми ко мне являются, улыбочки, льстивые слова я больше не в состоянии переносить! Люди, которых я не знаю, приходят ко мне за советом.

— Мы слыхали, — говорят они, — о вас, реб Янкев-Иосл. Мы давно уже слыхали, что вы человек умный. Не думайте, что у нас какие-нибудь задние мысли, потому что бог осчастливил вас выигрышем... Упаси бог! Просто так пришли к вам душу излить...

Понимаете или нет? Один приехал из какого-то странного города, уж я забыл, как он называется, издалека откуда-то, где бабка моего деда никогда не бывала. Отворяется дверь, входит человек, кладет узелок.

— Мир вам!

— Здравствуйте! Откуда будете?

— Из чертовой дали! Это вы реб Янкев-Иосл?

— Я Янкев-Иосл. Что хорошего скажете?

— Стало быть, это вы и есть тот самый Янкев-Иосл, который выиграл семьдесят пять тысяч? Я, знаете, нарочно приехал, то есть ехал я мимо, услыхал историю насчет семидесяти пяти тысяч и решил: дай-ка съезжу на денек, своими глазами посмотрю

на счастливца, который выиграл *семьдесят пять тысяч рублей!* Ведь это же не шутки, — это *семьдесят пять тысяч рублей!!*

Понимаете или нет? Поди рассказывай каждому в отдельности историю с Бирнбаумом, который полагается на людей, и с братом Генехом, и с «косточкой», и с богачом, и с бомбой, и с адвокатами, и с чертями и дьяволами!.. Уверяю вас, что до этих семидесяти пяти тысяч рублей мне жилось гораздо лучше, чем сейчас, а уж спокойнее — наверняка! Скажу вам по правде, я теперь и за жизнь свою опасаюсь. Вот был я недавно в городе у тамошних адвокатов. Один из них заманил меня к себе на Подол якобы на чай. Прихожу это я на Подол, дело было ночью, застаю там еще одного типа, еврея с красивой бородой, сидящего над фолиантом. Здоровается со мной, встает, чтоб закурить папиросу, и гасит лампу, и мы остаемся в темноте... Понимаете? Стоило бы, пожалуй, если бы не было так поздно и если бы вы так не торопились, рассказать вам эту историю, а сверх этой истории есть еще история или, как говорят: на болячке — прыщ, а на волдыре — нарыв... Понимаете?

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На конце этой истории. Думаете, это конец? Погодите, не торопитесь. Это еще только начало. Да что я говорю — начало! И начало-то еще не начинается! А кто виноват? Я сам! То есть как сказать? Чем, собственно, я виноват? А я знаю? Ведь я же всего только человек, как говорится, плоть да кровь, но когда суждено несчастье, так уж тут ничего не поможет. Чем я виноват, к примеру, если... Впрочем, не будем забегать вперед, не будем хвататься за рыбу до лапши, то есть наоборот, за лапшу до рыбы. Лучше я расскажу вам спокойно, не торопясь, всю историю от начала, то есть не от самого начала, а от последнего начала, то есть с того, что вы считаете концом... Так вот, если вы помните, мы, с божьей помощью, поделили билет, каждый получил свою долю... Конечно, это не так скоро делается, как говорится, — наговорились и накричались с каждым в

отдельности вдосталь. Священник твердит: за что нам, мне и Бирнбауму, причитаются деньги? А мой братец Генех хотел бы, чтобы я положился на его справедливость, на его добрую волю и разумение. А мой Бирнбаум кричит, что ничего не хочет, ему только людей подавай, он хочет послушать, что люди скажут! Понимаете? Вмешались в это дело маклера, три сразу. Поработали, уладили — и дело с концом. И решено было, если вы помните, — что же, собственно, было решено? Чтобы мы собрались все вчетвером, поехали в город, выручили билет, получили наши денежки и поделили между собой — на тебе, дай мне, и до свидания! Да, но в каком случае все это возможно? Если билет налицо. А если билета нету? Но что значит — нету? Билет-то есть, но вы помните, где он находится? Зоконопатили его в каком-то банке, на чужое имя, а на билет, извините, наложен арест следователя, — вот и возьми его, билет этот! Как же быть? Надо прежде всего прекратить это дело, покончить с этой историей — тогда только видно будет, что дальше делать. Понимаете или нет? Кто же должен прекратить дело? Конечно, священник. Но он хочет, чтоб его обеспечили, то есть передали билет на его имя, тогда он постарается прекратить это дело. Выходит, что и он как будто прав. Кто же должен передать билет на его имя? Наш богач, разумеется. Приходим, стало быть, к нему, к богачу, и просим, чтобы он был так добр и передал билет, тогда дело будет прекращено. А богач, если помните, твердит свое (и тоже по-своему прав): «Чего вы от меня хотите? — говорит он. — Чего вы мне навязали чужое дело?» — «Вы, конечно, правы! — отвечаем мы. — Но что же нам делать, если без вас с этим никак не покончить». — «Но я-то чем виноват? — спрашивает он. — Кончайте или не кончайте — мне-то что?» Понимаете или нет? Нет ли у вас дела?.. Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На том, что нужно прекратить это дело. Одни советуют так, другие — этак, решено было судиться. А если судиться, нужно адвоката спросить, а спросить адво-

ката, надо поехать в город. И опять начинается: у какого адвоката спрашивать? Один говорит — у этого, другой говорит — у того. В конце концов спрашивают у обоих, — другого выхода нет. И вот один адвокат говорит противоположное тому, что утверждает другой. А третий и вовсе городит бог весть что! Скверно! Приходится обратиться к четвертому... Словом, должен ли я рассказывать вам, что такое адвокаты? Что адвокаты, что врачи — один черт! Они созданы для того, чтобы говорить друг другу наперекор. Один адвокат говорит, что мы, все четверо, должны подать жалобу на банк и на богача за то, что они не выдают нам билета... Казалось бы, правильная мысль? Но другой адвокат заявляет, что подавать жалобу должны только двое — я и Бирнбаум, и на одного богача — за то, что он не дает распоряжения банку о выдаче билета. Тоже как будто бы резон! Не правда ли? Но третий адвокат спрашивает: что общего у меня с банком? Банк разве знает меня? Или имел со мной дела? Подавать должен Бирнбаум один, и не на банк, а на богача, потому что банк не виноват: ведь сам Бирнбаум совсем недавно просил банк перевести билет со своего счета на счет богача... Опять-таки правильно! Но является еще один адвокат и утверждает, что подавать жалобу должны не я и не Бирнбаум, а священник и мой брат Генех! И это верно, не так ли? Но другому адвокату приходит такая мысль: не надо, говорит он, жаловаться! Давайте посмотрим, откуда в банке взялся билет на имя богача! Бирнбаум передал его. А откуда Бирнбаум взял билет? Получил у Янкев-Иосла, то есть у меня. А я где его взял? У моего брата Генеха. У кого взял билет брат Генех? Одолжил, то есть купил у священника. Он говорит — купил, а священник говорит — одолжил, но не все ли равно? Дело пропащее. Поэтому священник требует билет у моего брата Генеха, Генех — у меня, я — у Бирнбаума, а Бирнбаум у кого? У банка. Но банк заявляет, что не знает никакого Бирнбаума, он знает богача! В таком случае пусть Бирнбаум требует у богача, а богач — у банка. Богач, правда, боится, — а вдруг на него

будут жаловаться? В таком случае пусть Бирнбаум выдаст расписку богачу, я — Бирнбауму, мой брат Генех — мне, а священник пусть выдаст расписку Генеху. Как вам нравится такая мысль? Что может быть лучше? Нашелся, однако, еще один адвокат, умник, и задает такой каверзный вопрос: откуда, говорит он, мы знаем, что дело кончается на священнике? А вдруг где-нибудь на чердаке прячется еще одна душа, которая завтра встанет, приведет свидетелей с бумагами и начнет требовать: «Билет мой! Где мой билет?» Что же тогда будет? Он будет требовать не билет, а семьдесят пять тысяч! А у кого? Ни у кого другого, как у богача! Правда, у богача есть расписка от Бирнбаума, у Бирнбаума — от меня, у меня — от брата Генеха, а у Генеха — от священника! Пусть в таком случае богач жалуется на Бирнбаума, Бирнбаум — на меня, я — на брата Генеха, а Генех — на священника. Опять, стало быть, скверно! Что же делать? Надо обратиться еще к одному адвокату, к самому Копerникову *, а от Коперникова — к еще более крупному адвокату, к «золотой стрелке». В общем, побывали у всех адвокатов, ни одного не пропустили, и до того заадвокатили себе голову, что ни о чем другом говорить не могли, только и слышно было: адвокат, адвокат, адвокат... Нет ли у вас адвоката... Тьфу! Папироски, хотел я сказать...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На адвокатах. Господь помог, адвокаты нашли выход,— все-таки адвокаты! В чем же выход? А в том, чтобы я и Бирнбаум, мы оба, прежде всего выдали бумагу и расписались у нотариуса, что мы вообще никакого отношения к билету не имеем, что билет этот прислал мне брат Генех, что взял он его, то есть купил, у священника, чтобы заложить, а я заложил его у Бирнбаума и получил под него двести рублей, — то есть так, как было на самом деле, чистую правду. Казалось бы, просто и хорошо, без фокусов, без штук,— что может быть лучше правды? Так вот, никому это в голову не приходило! Понимаете?.. Однако это еще не все! Это значит, мы, то есть я и Бирнбаум, дадим людям в руки такой бич против себя самих? А что

же будет с нашими долями выигрыша? Что мы станем делать, если нам кукиш покажут? Полагаться на справедливость моего братца да на честное слово священника? А то, что мы расписались и выпили вместе? Это чепуха! Лист бумаги стоит грош, а выпивать можно каждый день, была бы водка. Чего же мы хотели, я и Бирнбаум то есть? Гарантии! Чтоб нам гарантировали то, *что нам причитается...* Понимаете или нет? А вот тут-то и началась самая буча. «Гарантии? А за что им полагается гарантия? Мало того что даром деньги получают, им еще гарантии подавай?» Это, конечно, нас здорово задело. «Ах вы такие-сякие! А за нашу честность! Мало того что вам делают такое одолжение, — ведь мы могли забрать у вас все семьдесят пять тысяч, чтоб ни одна живая душа не знала, — а вы еще в претензии?!» — «Значит, вам надо спасибо сказать, за щечку ущипнуть?» Это говорит мой брат Генех. Я, конечно, не стерпел, слово за слово, полетели оплеухи, как водится между братьями. Словом, уговорили, — дадут нам гарантию. Какую? Расписки? Расписка это дешево стоит! Векселя? Жаль вексельной бумаги. А что же? Наличные деньги! Как моя бабка, царство ей небесное, говаривала: «Из всех молочных блюд самое лучшее — кусок мяса!» Но где же взять наличные деньги? Наличных по нынешним временам ни у кого нет. То есть как сказать? Деньги есть, и много, но у Бродских. «Словом, все это пустые разговоры! Пока мне не выложат гарантии, я подписывать не стану!» — «Какую гарантию?» — «Какую хотите, лишь бы гарантия! Чтобы люди надо мной не смеялись, мол, Янкев-Иосл дурака свалял». Понимаете? Это одно. А мой молодчик, то есть Бирнбаум, опять за свое: *люди!* Так как он должен выдать такую важную бумагу за своей подписью, то он хочет, чтобы люди высказали свое мнение, и как они скажут, так пусть и будет. «Опять люди! — говорю я. — Ведь уже однажды покончили с этим! На что вам люди?» — «Понимаете, — говорит Бирнбаум, — я хочу, чтобы спросили у людей, а вдруг люди найдут, что мне ничего не причитается, — зачем же я буду зря брать деньги?» Понимаете или

нет? Я кричу: *«Гарантии!»* А он твердит: *«Люди!»* Гарантии, говорит он, *потом.* Раньше надо спросить у *людей.* Опять вы, говорю, заладили с вашими людьми! У меня уже всю голову пролюдило от ваших людей! Лучше иметь гарантию! Гарантия важнее...

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На гарантии. Нам все же уступили, связали друг с другом как следует, расписались со всех сторон, и не где-нибудь, а у нотариуса, сдали все эти бумаги, куда положено, и начали ходить по адвокатам, писать всякие бумажки, трястись что ни день в город, расходовать деньги, платить за ночлег, спать с клопами, лишь бы это называлось «отель» (заезжий дом — им не пристало!), кушать порции жареных тараканов, лишь бы это называлось «розбрат» (тушеное мясо — им не пристало!), потеть, как в парной бане, жариться на солнце, шлифовать мостовые, глохнуть и дуреть от стукотни и трескотни, от шума и гама... А чего ради? Счастье привалило — семьдесят пять тысяч! Конец бы всему этому настал, как моя жена говорит: «Медный грош наяву дороже золотого червонца во сне. Твои семьдесят пять тысяч, — говорит она, — уже семьдесят пять раз мое сердце пробуравили. Готова уступить тебе эти радости, — на что мне все это нужно?..» — «Э! — отвечаю я. — Баба ты, а баба так бабой и остается...» Но чувствую, что она права: что я имею от всего этого? На базар с этим не пойдешь! Только врагов себе нажил: один мне завидует, другой зубами скрежещет, боится, а вдруг я получу деньги? За что это Янкев-Иослу столько денег?.. Понимаете? Что там думать, немало крови стоило мне, покуда довелось услышать наконец, что со всем этим делом покончено. Глаза на лоб вылезли, пока дожили увидеть билет в добрый, счастливый час! Но вы думаете, что так-то просто увидели мы наш билет? Погодите, не торопитесь. Раньше надо было выждать месяц, — а вдруг кто-нибудь недоволен решением. Не знаю, спал ли я хоть одну ночь за этот месяц! Снились мне дикие сны, не раз, бывало, вскакивал я среди ночи и кричал не своим голосом: «Ципойра, я лечу...» — «Куда ты летишь? — говорит

она. — Что это на тебя за летание такое нашло? Сплюнь трижды и расскажи, что тебе снилось?» — «Интересный сон снился мне, — говорю я. — Будто у меня крылья и я лечу, а за мной летят какие-то дикие, странные создания, змеи и ящеры, и хотят меня уничтожить...» Так было однажды. В другой раз мне снилось, что я сижу на огромном надутом мешке. Мешок резиновый, красный, а сбоку на нем написано крупными цифрами: 75 000... Дело происходит летом в субботний день, понимаете ли, люди гуляют, поминутно останавливаются и смотрят во все глаза на меня... И вдруг — тррах! Раздается треск! Лопнул, оказывается, резиновый мешок, и я падаю и кричу: «Ципойра! Лопнул!» — «Бог с тобой! Кто? Кто лопнул? Враги мои пускай лопаются!..» Так говорит мне жена, будит меня и истолковывает мой сон к добру, как это делают обычно жены.

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На получении билета. Когда настало время получать билет, началась новая история: «Кто да кто шествующие?» То есть кто пойдет? Каждый сам себе, конечно, крепко доверяет, но целиком доверяться другому я тоже не нанимался, — слишком велик соблазн, ведь это же *семьдесят пять тысяч рублей!* Понимаете или нет? Поэтому решено было: я не верю тебе, ты не веришь мне, — пойдем все вместе! Что это значит — все вместе? Человек десять! Откуда взялось десять человек? Посчитайте, увидите: я — один, Бирнбаум — два, священник — три, мой брат Генех — четыре, три адвоката (один от священника, один от моего брата — таращанский адвокат, и один от меня и Бирнбаума — черкасский адвокат) — вот вам уже, не сглазить бы, семь человек; а три маклера, которые вмешались в это дело и поделили между нами выигрыш? Вот вам как раз десять человек. Поначалу было немного неловко. Мой брат Генех капризничал и привередничал: к чему, мол, столько людей, целая орава! Достаточно было двоих — его и священника то есть... Не понравилось ему, видите ли, что никто не желает полагаться на его справедливость и на слово священника!.. Помогло это ему, однако, как

прошлогодний снег, потому что у каждого были свои претензии и каждый был по-своему прав. Я, например, считал, что непременно должен идти, потому что я — брат, не из-за почестей, а оттого, что один брат может другого обмишурить. Что я стану потом делать? Жаловаться на него господу богу? Ведь это же брат!.. А мой Бирнбаум заявил, что если собственный брат мне не доверяет, то уж он, совершенно чужой человек, и подавно не может надеяться на чудеса! Он, говорит, и так уже достаточно деликатен... И ведь нельзя сказать, чтобы он был вовсе неправ. О трех адвокатах говорить нечего, они, конечно, обязаны присутствовать при этом, потому что придется еще писать, писать и писать... Остались, таким образом, только маклера. Но они заявили, что идти они должны и обязательно втроем, потому что они — собаки битые, то есть люди опытные, прошли хорошую школу, проделали курс на егупецкой бирже и знают, что такое маклерские деньги, то есть «картаж»... Это, говорят они, вроде сватовских денег, которые нужно получать при помолвке! Понимаете?

Договорились мы, что придем не все сразу, а поодиночке. Но так как каждый старался прийти первым, то возле банка оказались мы все чуть свет, и толклись на улице довольно долго, покуда отворили двери и мы вошли получать билет. Ну, объяснять вам, что такое банк, я думаю, незачем. Банк не любит торопиться, у него есть время. Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклера, которые жаждут заработать, и вообще люди? Куда там — и в ус себе не дует! Один закуривает папиросу, другой болтает, третий пьет чай, кто чинит карандаш, кто газету читает, зарывшись носом, и головы не поднимает, хоть тресни! Мы бродим, зеваем, кашляем, дождаться бы уже минуты, но нет бухгалтера, пришел бухгалтер — нету кассира. Пришел кассир — директора нет. Где директор? Еще спит. Хозяин банка, стало быть, лежит себе и спит. Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклера, которые жаждут заработать, и вообще люди? Сколько он, к

примеру, получает жалованья, такой вот директор? Наверное, тысяч шесть, а может быть, восемь, а почему и не все десять? Мало ли он трудится, бедняга? Я согласился бы на половину, на треть, и работал бы, наверное, больше него, а старательней — уж несомненно! Так стою я и думаю, а может быть, я в ту минуту и вовсе ни о чем не думал... Понимаете?

Между тем пришел директор. Мы, конечно, к нему, и все вместе. Он чего-то испугался и махнул рукой. Тогда подошли к нему только адвокаты, все втроем, и священник, и подали ему бумаги. Понимаете или нет? Директор заперся у себя с бумагами, а мы стали ждать, ждать и ждать! Наконец дождались: директор вышел с каким-то толстым барином и, встав к нам, извините, задом, начал с ним говорить — дело без конца! Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклера, которые жаждут заработать, и вообще люди? Вдруг он оборачивается к нам и говорит:

— Ваши бумаги готовы, ступайте в кассу...

Понимаете? Не мог сразу сказать. Взяли бумаги и пошли к кассиру, думали, что уже конец. Но где там! Куда там! Кассир занят, он считает деньги, бумажки, сотни и пятисотенные, словно мусор, а золота, золота целые стопочки, занят весь стол! Сколько здесь может быть денег? Бог ты мой, иметь бы мне хотя бы десятую часть, я плюнул бы на этот билет!.. Так стою я и думаю, а может быть, я в ту минуту и вовсе ни о чем не думал! А кассир считает и считает золото, и хоть бы глянул на нас! Что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклера, которые жаждут заработать, и вообще люди? Золотые в его руках летят, летят с удивительным каким-то сладким звоном, звоном золота. «Золотой звон», — понимаете или нет?

Коротко и ясно, на чем же мы остановились? На золоте. Пересчитал золото, поднял на нас свои очки, взял у нас наши бумаги, перебрал их, как считают деньги, сотенные ассигнации например, с особенным прищелкиванием пальцев! Потом выдвигает

ящик и достает оттуда объемистый пакет. Вскрывает конверт, достает из него билет, тот самый билет, и спрашивает:

— Кто получает?

К билету устремилось десять пар рук.

— Нет! — сказал кассир. — Стольким рукам сразу я билет отдать не могу. Выберите кого-нибудь одного из вашей компании...

И мы, понимаете ли, выбрали одного из нашей компании, старшего из трех адвокатов. Старший адвокат взял билет осторожно, обеими руками, как берут младенца, и показал его сначала священнику, потом моему брату Генеху, затем мне и Бирнбауму, то есть нам обоим, чтобы мы видели, тот ли это самый билет или нет? Священник сказал, что он его узнал еще издали, в руках у кассира. У него, говорит, есть верный знак... Какой знак, он не хочет сказать... Мой брат Генех поклялся всем, что ему дорого, что, если бы его разбудить часа этак в два ночи и преподнести ему этот билет, он узнал бы его с первого взгляда! Понимаете или нет? А я и Бирнбаум, мы оба, билета не узнали, — к чему мне говорить то, чего не было, — мы только хорошо присмотрелись к серии и номеру двенадцать, — ведь это же самое главное, не так ли? И оттуда все направились в Государственный банк получать денежки, семьдесят пять тысяч! Шли мы все вместе, пешком, хоть это и в гору. Старший из адвокатов держал билет на виду, крепко, обеими руками, чтоб его, упаси бог, не потерять или чтоб никто не подумал, что он собирается проделать с ним какой-нибудь фокус или его подменить... Ведь такой злополучный билет... А шли мы уже не вдесятером, нас уже было больше двадцати человек. Откуда взялось столько людей, не сглазить бы? Я вам скажу: во-первых, добрые знакомые из местечка, которые как раз в этот день были в городе и увидели, что мы уже идем с билетом в Государственный банк получать семьдесят пять тысяч... Вот они и пошли нас проводить и вошли в банк — посмотреть, как получают крупный выигрыш: ведь не каждый день увидишь такое. Словом, что там говорить, за нами шли,

как на богатых похоронах, а в Государственном банке ефрейтор, что стоит у дверей, даже испугался, когда увидел столько евреев со священником посредине.

Все же он нас очень любезно принял и поодиночке пригласил в банк. Адвокат подошел с билетом куда следует и сказал, что нам нужно. Тогда нас отвели к чиновнику с лысиной, блестящей и белой, как молочная тарелка, передали ему наш билет и что-то сказали, что — не знаю. Тот, который с лысиной, что сидел по ту сторону решетки, поднял глаза, строго посмотрел сквозь очки и продолжил свою работу: он держал в руках острый ножичек, понимаете ли, и скреб им в книге, скреб и скреб без конца. Он скребет, а мы стоим как неприкаянные и смотрим, как он скребет, а вся остальная публика разглядывает нас с головы до ног. Лысый чиновник не перестает скрести, а кругом за столами сидят еще чиновники и считают деньги... Но сколько, думаете вы, денег? Деньги — как полова, как мусор! Золота — целые груды! Голова даже кружится, а «золотой звон» отдается в ушах, и в глазах сверкает! «Кто это, — думаю я, — выдумал деньги, из-за которых люди так изводятся, головой об стенку бьются, готовы друг друга живьем проглотить. Нет ни брата, ни сестры, ни отца, ни сына, ни соседа, ни приятеля... Ничто не дорого, только деньги, деньги и деньги!» Так думаю я, а может быть, я в ту минуту и вовсе ни о чем не думал, понимаете? А он, чиновник то есть, не перестает скрести, ибо — что ему билет, Янкев-Иосл, семьдесят пять тысяч, священник, Генех, Бирнбаум, маклера, жаждущие заработать, и вообще люди?.. Однако все на свете имеет конец. Господь сжалился, чиновник перестал скрести, сложил острый ножичек, спрятал его в жилетном кармашке, достал белоснежный платок, громко высморкался. Потом взял билет, просто, как берут в руки обыкновенный лист бумаги, которому грош цена, раскрыл книгу и смотрел, смотрел... То в книгу заглянет, то на билет посмотрит, то на билет, то в книгу. «Боится, наверное, этот умник, не поддельный ли билет? — подумал я. —

Скреби, скреби! — думаю. — Нюхай, нюхай! Билет настоящий, не фальшивый!» И вдруг как возьмет он билет да как швырнет его чуть ли не в лицо и говорит (я и сейчас помню его слова):

— *Кто вам сказал, что этот билет выиграл семьдесят пять тысяч?*

Понимаете или нет? *Кто нам сказал?* Как вам нравится такой вопрос?

— Что значит, — отвечаем мы, — кто сказал? Сам билет сказал, что он выиграл семьдесят пять тысяч. Серия две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать!..

— Да, — говорит он совершенно серьезно, — правильно, серия две тысячи двести восемьдесят девять, номер двенадцать действительно выиграл семьдесять пять тысяч. Но ваш билет — серия две тысячи двести девяносто восемь, номер двенадцать. *Маленькая ошибочка...*

Как вам нравится такая новость? Что вам сказать? Сначала, когда он проговорил это, мы были ошеломлены! Мы считали: либо он одурел, либо мы сошли с ума. Или это нам снится... Стали мы смотреть друг на друга, потом догадались посмотреть на билет — да, честное слово! Серия 2298, номер 12. Понимаете или нет?

Ну, что вам дальше рассказывать, дорогой друг? Я не в состоянии и десятой доли передать, а вы не в состоянии описать, да и никто не в состоянии представить себе картину в банке, когда все онемели и стали смотреть друг на друга. На лицах было написано, — как вам сказать? Это вообще были не человеческие лица, понимаете ли, то были звери, животные в образе людей. Один другого готов был уничтожить взглядом, глазами! Казалось бы, что случилось? Что вам сделали? Приснились вам семьдесят пять тысяч? Ну и что же? Лишать себя жизни по этому случаю? Неужели жизнь сама по себе ничего не стоит? Сумасшедшие, понимаете вы или нет? И ни на кого я так не досадовал, как на своего молодчика, на Бирнбаума! Ну, остальные оправдывались, сваливали вину друг на друга: священник во всем винил

моего брата Генеха, а Генех говорит: он ничего знать не знает, ему и не снились бы семьдесят пять тысяч, если бы я, Янкев-Иосл то есть, не послал ему телеграммы и не поздравил его. Понимаете? «Хорошо же ты, братец мой, газету смотрел!..» — «А ты, — говорю я, — почему не смотрел?» — «Ты, — отвечает он, — был главный зачинщик, у тебя был билет, ты *по-настоящему хозяин!»* Слыхали? Когда речь шла о семидесяти пяти тысячах, меня вообще не хотели знать, а сейчас, когда все это оказалось мыльным пузырем, *я — настоящий хозяин!* Понимаете? Ну ладно! Я, Янкев-Иосл, козел отпущения, беру на себя всю вину. Пускай я буду во всем виноват! Но где же ваши глаза, дурачье? Ведь вы же, как и я, раз девятнадцать видели все бумаги, квитанции, страховки, в которых черным по белому написано серия 2298, а выиграла серия 2289, номер 12, — почему же вам не пришло в голову посмотреть, что девятка стоит перед восьмеркой? А когда билет был уже у вас в руках, вы не могли еще раз посмотреть таблицу?.. В банк пойти вы не поленились целой оравой... А почему? Думали, — вот получаете деньги? Понимаете? Но ни на кого я так не злился, как на моего типа, на Бирнбаума то есть. Надо было вам видеть, как он стоял в стороне, словно чужой, словно его все это не касается. Только что, казалось бы, он нам всем житья не давал: «Люди! Люди!» Он хочет положиться на суд людей! А теперь он стоит, как невинная овечка! Задело это меня за живое, и я подумал: давай хоть душу отведу за кровь, которую он мне испортил тогда, второго мая, если помните, когда я умолял его, как разбойника, чтоб он вернул мне билет.

— Пане Бирнбаум! — сказал я ему. — Теперь вы могли бы положиться на суд людей! Вот в банке людей, не сглазить бы, много! Чего же вы молчите? Больше не хотите людского суда? Покончено с людьми?..

Публика стояла и радовалась. Чему радовалась — не могу сказать: тому ли, что я предлагаю Бирнбауму суд людской, или публике вообще пришлось по

душе, что ухнули наши семьдесят пять тысяч? Могу вам сказать, понимаете ли, и поклясться на чем угодно, что меня эти деньги не интересуют, пускай они сгорят! Досадно мне, однако, что, когда *только еще думали*, что у Янкев-Иосла есть *семьдесят пять тысяч,* я был реб Янкев-Иосл. А сейчас, когда оказалось, что Янкев-Иосл имеет, извините, *фигу, а не семьдесят пять тысяч,* я уже больше не реб Янкев-Иосл! Что, паршивцы, черта вашему батьке? Чем я перед вами провинился? Есть семьдесят пять тысяч или нет семидесяти пяти тысяч, какая разница? Знаете, что я вам скажу, пане Шолом-Алейхем? Можете гордиться вашими евреями и всем миром! Безобразен, скажу я вам, мир, лжив, обманчив и глуп. Но признайтесь, не звенит еще у вас в ушах, не вертится еще у вас шапка на голове от моих семидесяти пяти тысяч! Извините, что заморочил вам голову, и будьте, понимаете ли, здоровы, и пусть господь пошлет вам лучшие дела!

НЕМЕЦ

Сам я, стало быть, как было уже сказано, деражненский, то есть из Деражни, маленького местечка Подольской губернии, совсем маленького. Нынче, правда, Деражня стала вроде города, с железной дорогой, станцией и вокзалом... Когда Деражня сделалась станцией, нам весь мир завидовал: шутка ли — железная дорога! Думали, вот где люди станут зарабатывать. Пригоршнями золото будут загребать, счастье найдут! Понаехало народу из окрестных деревень в город. Хозяева стали перестраивать дома, новые лавки ставить, повысили таксу на мясо, начали уже подумывать о новом резнике, о новой синагоге, о прирезке земли, чтоб расширить старое кладбище, — словом, стало весело! Шуточки? Железная дорога, станция, вокзал!

Извозчики, правда, поначалу вздумали шуметь, были очень недовольны всей этой затеей, но кто их станет спрашивать? Уложили рельсы, доставили вагоны, построили вокзал, повесили колокол, приколотили доску «Станция Деражня» — и извольте жаловаться стенке!

Когда начали ходить поезда, жена меня спрашивает:

— Что ты думаешь делать, Иойнеле? (Меня звать Иойна.)

— А что, — отвечаю я, — мне делать? Как все, так и я. Все деражненские евреи толкутся на станции, буду и я толкаться.

Взял тросточку, пришел на вокзал и сделался, с божьей помощью, «правителем». Что значит «правитель»? А вот что: человек сторговал вагон пшеницы, он должен вагон нагрузить и отправить, — так вот для этого и существует «правитель». Но так как почти все деражненские евреи сделались «правителями», то вышло скверно, мучаются люди, изворачиваются: иной раз купишь у крестьянина мешок хлеба и продашь его из рук в руки, — либо заработаешь на этом, либо потеряешь; другой раз подвернется кое-что по части маклерства, то-се... Скверно! Нечего делать! Правда, и раньше делать было нечего, но тогда и железной дороги не было, — не так досадно все-таки... К чему же, спрашивается, нам нужны были станция, вокзал, колокол и весь этот тарарам?

И вот случилась такая история... Стою это я однажды на вокзале озабоченный, провожаю почтовый поезд. Третий звонок уже прозвенел, паровоз прогудел, из трубы пар повалил, — гляжу, а на платформе стоит какой-то барин, высокий и тощий, в клетчатых штанах, в высокой шляпе и с множеством чемоданов. Стоит, вытянув шею, и оглядывается как неприкаянный во все стороны. «Этому барину, видать, чего-то требуется», — подумал я и чувствую, будто толкнул меня кто-то сзади: «Подойди, спроси, а вдруг ему что-нибудь нужно?» И только я тронулся с места, он двинулся ко мне навстречу, поднял шляпу и обращается по-немецки, нараспев:

— Гут мо-эн, майн герр! (Добрый день, стало быть, милостивый государь!)

— Пошли вам бог добрый год! — отвечаю я тоже по-немецки, немного по-еврейски, а остальное — руками.

И спрашиваю, откуда он едет? А он мне: не знаю ли я приличной квартиры, «штанцион» для него?

— Ну конечно! — говорю. — Почему же мне не знать?

А сам про себя думаю: «Эх, жалость какая, что у меня не заезжий дом. Будь у меня заезжий дом, я бы его пригласил к себе. Славный, видать, немец, можно было бы кое-что заработать...» Но тут же мелькает у меня другая мысль: «Дурья голова! На лбу у тебя, что ли, написано, что у тебя не заезжий дом? Пускай тебе кажется, что он — заезжий!» И я обращаюсь к нему отчасти по-еврейски, отчасти по-немецки, а остальное — руками.

— Если угодно, майн герр, пусть господин прикажут нанять извозчика, и я их отвезу в лучшую гостиницу, «штанцион», так сказать, первый сорт!

Услыхав такие речи, немец просиял и говорит, указывая рукой на свой рот:

— Найдется ли у вас что покушать? «Шпайзен»?

— Самые лучшие «шпайзен»! — отвечаю я. — Вы, господин немец, получите, бог даст, большое удовольствие, потому что моя супруга, то есть «фрау», замечательный «майстер», ее печение и варение славятся... Ее рыбу мог бы есть сам кайзер, то есть царь Артаксеркс... *

— Яволь! [1] — весело говорит немец, и глаза у него при этом сверкают, а лицо светится как солнце.

«Умный немец!» — думаю я и без дальних проволочек нанимаю подводу и привожу его прямо к себе домой.

Дома рассказываю жене, что бог послал мне замечательного гостя, немца. Но разве женщина понимает что-нибудь? Она начинает меня крыть, потому что попали мы как раз в злополучный час, когда в доме уборка.

— Что за гости с бухты-барахты?

— Баба, цыц! — говорю я. — Не болтай по-нашему, потому что барин понимает по-немецки!

Но станет она меня слушать, когда уборка в самом разгаре! Метет веником прямо в лицо и ворчит. Она ворчит, а мы с немцем стоим у дверей, ни туда, ни сюда... Кое-как удалось втолковать ей, что немец будет гостить не задаром, что это за деньги и что

---

[1] Здесь в смысле: прекрасно *(нем.)*.

можно на этом деле кое-что заработать... Думаете, все? Когда я ее уже уговорил, она спрашивает:

— А куда я его положу? В могилу?

— Тихо! Глупая баба! Сказано тебе — помалкивай! Он каждое слово понимает!

Наконец она поняла, о чем речь идет, мы уступили ему нашу боковушку, и жена принялась в одну минутку раздувать самовар и готовить ужин.

Вначале, когда немец увидал нашу комнату, он, правда, малость сморщил нос, будто желая сказать: «Могло быть и получше!» Но что может понимать немец-перец-колбаса? Принесли самовар, заварили чай, а он достал добрую бутылочку рома, выпил (и меня угостил), и все уладилось. Немец разлегся со своими чемоданами как у своего отца в винограднике *, и мы подружились.

После чая завожу с ним разговор о том о сем, что он тут делает? Чем торгует? Может быть, ему нужно купить что-нибудь или продать? Оказывается, что ничего ему не надо. Какие-то машины, говорит он, должны проследовать, — чепуха, прошлогодний снег, — при этом он то и дело заглядывает в печь и поминутно справляется, готова ли пища.

— Вы, — говорю я, — господин немец, видать не дурак покушать?

Но он отвечает что-то ни к селу ни к городу, — понимает разве что-нибудь немчура, когда с ним говорят? Наконец накрыли на стол, подали ужин — свежий бульон с гренками, отварную курицу с манной крупой, с морковкой, с петрушкой, с... (Моя, если захочет, умеет!)

— Благословение восседающим! — произношу я по-древнееврейски.

Но он — ни полслова в ответ, добрался до курицы, как после доброго поста.

— Благословение восседающим! Кушать не просим! Приятного аппетита! — повторяю я.

Но он с удовольствием хлебает бульон, молчит, даже спасибо не говорит...

«Хамье! — думаю я. — Да еще и обжора порядочный к тому же!»

Словом, поел он, закурил длинную трубку, сидит и улыбается. Вижу, мой немец озирается по сторонам, ищет, видимо, где бы голову приклонить. А глаза у него слипаются, думают о ночлеге.

Я мигнул своей: «Где, мол, мы его положим?» — «Что значит — где? На моей кровати!» И недолго думая она идет и начинает готовить постель, взбивает подушку как полагается (моя, если захочет, умеет!). Смотрю — немец чем-то недоволен, не нравится ему, видно, что перья летят, крутит носом и начинает чихать на чем свет стоит!

— Растите большой, господин немец! — говорю я ему.

Думаете, он отвечает, говорит спасибо? Какое там! «Грубиян, — думаю я про себя, — и дикарь!»

Жена устроила ему ложе чуть ли не до потолка, под стать царю (моя, если захочет, умеет!), распрощались мы с ним честь-честью, пожелали спокойной ночи и пошли спать.

Поначалу, когда легли, слышу, мой немец спит, не сглазить бы, сладко, храпит как-то странно, сопит, как паровоз, свистит и хрипит, как недорезанный бык, и вдруг вскакивает, кряхтит, ойкает, фыркает, почесывается, плюется и ворчит, потом поворачивается на другой бок, опять храпит, сопит, свистит и снова вскакивает со стоном, фыркает, почесывается, плюет и ворчит... И так несколько раз подряд, а потом как спрыгнет с кровати, и я слышу: мой немец швыряет на пол одну подушку за другой и с особенной злостью произносит какие-то странные, непонятные слова: «Цум тойфель![1] Сакраменто![2] Доннер-веттер![3]» Подбегаю к дверям, смотрю в щелочку: мой немец стоит на полу в чем мать родила, скидывает подушки с кровати, плюется и сыплет проклятья на своем языке — спаси господи и помилуй!

— В чем дело, — говорю, — господин немец? — И отворяю дверь.

---

[1] К черту! *(нем.)*
[2] Проклятье! *(итал.)*
[3] Гром и молния! *(нем.)*

Тут он как налетит на меня с кулаками, уничтожить хочет... Хватает меня за руку, подводит к окну и показывает, как всего его искусали, потом выгоняет меня и захлопывает дверь.

— Какой-то сумасшедший немец! — говорю я жене. — Чересчур изнеженный! Показалось ему, что его кусают, так он уж из себя выходит!..

— Откуда такое? — удивляется жена. — Ума не приложу! Ведь только на пасху я чистила постель и кровать обливала керосином, — и вдруг клопы...

Утром я думал, мой немец обозлится и удерет куда-нибудь за тридевять земель... Ничего подобного! Снова: «Гут мо-эн!» Улыбается, пыхтит своей трубочкой, снова приказал готовить обед, а пока что к чаю велел отварить яиц всмятку, — сколько, думаете, яиц? Без малого десяток! За завтраком основательно выпил, меня угостил шнапсом — и все хорошо! А наступила ночь — опять двадцать пять! Вначале храпел, свистел, сопел и хрипел, потом стонал и охал, фыркал и чесался, плевался и ворчал. И вскакивал, и всю постель на пол скидывал, и сердился, и ругался по-своему: «Цум тойфель! Сакраменто! Доннер-веттеррр!» А наутро — опять: «Гут мо-эн!» Снова пыхтел трубкой, улыбался, ел, выпивал и меня угощал... Так прошло несколько дней, пока наступило время — машины благополучно проследовали — и ему надо было уезжать.

Когда пришло время отъезда, немец стал укладывать вещи и попросил меня, чтобы я подал ему счет.

— А что там считаться? — говорю я. — Счет короткий. Причитается с вас, господин немец, ровным счетом четвертной билет...

Он уставился на меня, как бы желая сказать: «А? Не понимаю!»

Тогда я объясняю ему по-немецки:

— Придется вам, господин немец, раскошелиться и уплатить, стало быть, двадцать пять целкачей, то есть «финф унд цванциг рубль»!

И показываю на пальцах — десять, десять и пять.

Думаете, он очень удивился? Ничуть не бывало!

Пыхтит своей трубочкой, улыбается и говорит, что хотел бы только знать, за что с него причитается двадцать пять рублей? Берет карандашик, кусок бумаги и просит меня указать подробно...

«Ты, конечно, очень умный немец, — думаю я, — но только у меня ума побольше твоего! Того, что у меня в левой пятке, у тебя и в башке нет!»

— Пишите, будьте любезны, господин немец, — говорю я, — за квартиру, то есть «штанцион» — за шесть дней по полтора, стало быть девять рублей; шесть раз по два — двенадцать самоваров по полупятиалтынному — девяносто копеек. Шесть раз по десятку без малого яиц по утрам и по десятку вечером — сто двадцать штук, две копы́, по рублю копа́ — два рубля. Шесть бульонов, шесть кур по пяти пятиалтынных за штуку, не считая крупы, гренков, петрушки, луку, того-сего и всего прочего, — для ровного счета — шесть рублей. Шесть вечеров — шесть ламп — шестьдесят копеек. Шнапс вы пили свой — два рубля; чаю-сахару не брали — один рубль, а всего, значит, три рубля. Вина не требовали — рубль, значит — четыре. Пива не было — семьдесят копеек. В общем, выходит рублей пять... Но для ровного счета ставьте пять пятьдесят. Ну, господин немец, в общей сложности разве не двадцать пять рублей?..

Так говорю я ему вполне серьезно, а он, думаете, хоть бы слово сказал? Упаси бог! Пыхтел трубкой, улыбался, достал четвертной и швырнул, как бросают трешку. Потом честь честью распрощался и уехал.

— Что ты скажешь, жена, о таком немце? — говорю я.

— Присылал бы господь таких немцев каждую неделю, — было бы совсем неплохо...

Немец уехал. Не прошло и трех дней, приходит ко мне почтальон и приносит письмо, но требует уплатить четырнадцать копеек. За что? Забыли, говорит, марку наклеить. Уплатил четырнадцать копеек, вскрыл конверт, а письмо написано по-немецки, ни слова не понять. Ношусь с этим письмом от одного к другому, — никто по-немецки не читает! Беда! Весь

городишко избегал, наконец с трудом отыскал провизора из аптеки, который понимает по-немецки. Прочел он письмо и говорит, что пишет мне какой-то немец, очень благодарит за удобную, спокойную «штанцион», которую он нашел у меня, благодарит нас за гостеприимство и любезность, которые он никогда не забудет... «Ну что ж, думаю, очень приятно. Если ты доволен, меня радует». А жене говорю:

— Как тебе нравится немец? Ничего себе — дурень, не сглазить бы!

— Дай бог каждую неделю таких дурней, было бы совсем неплохо!..

Прошла еще неделя. Прихожу с вокзала, а жена подает мне письмо и говорит, что почтальон велел доплатить двадцать восемь копеек.

— Почему двадцать восемь?

— Так!— отвечает она.— Меньше он брать не хотел.

Вскрываю письмо — опять по-немецки. Бегу к своему провизору и прошу его прочесть. Он прочел: тот же самый немец пишет, что он проехал границу и так как сейчас он едет к себе домой, в свой «фатерланд», то благодарит меня за удобную и спокойную «штанцион», за наше гостеприимство и любезность, которых он никогда не забудет!

«Мои бы горести да на твою голову!» — подумал я.

Прихожу домой, а жена спрашивает:

— Что это за письмо?

— Опять, — говорю, — этот немец! Забыть не может благодеяние, которое мы ему оказали! Сумасшедший немец!

— Посылал бы нам бог каждую неделю таких сумасшедших немцев, — говорит она, — было бы совсем неплохо...

Прошло еще две недели. Приносят мне с почты большое письмо, и почтальон велит доплатить пятьдесят шесть копеек. Я, конечно, не хочу.

— Как угодно! — говорит почтальон и забирает письмо.

А мне досадно. Очень хочется знать, откуда письмо, а вдруг что-нибудь нужное? Заплатил пятьдесят шесть копеек, вскрыл пакет, взглянул, — снова

по-немецки! Иду, конечно, к своему провизору, прошу простить за то, что морочу ему каждый раз голову, но что поделаешь, наказан я богом — не умею читать по-немецки! А тот читает мне целое послание все от того же немца: так как он уже приехал домой, повидался с любимым своим семейством, со своей «фрау» и детьми, то он рассказал им все, что произошло с ним у нас в Деражне, как я его встретил на вокзале, как привез к себе домой и предоставил ему такую удобную и покойную «штанцион»... Так что он очень и очень благодарит нас за наше гостеприимство, за любезность, которые ему не забыть до конца жизни!

— Тьфу ты пропасть! — говорю я и выкладываю все, что на сердце, а жене и рассказывать не хочу о письме, как будто ничего и не было.

Еще три недели прошло. Получаю с почты повестку на рубль и двенадцать копеек.

— Что еще за рубль двенадцать? — спрашивает жена.

— Понятия не имею!

Прибегаю на почту и начинаю расспрашивать, откуда прибыли рубль двенадцать копеек? А мне отвечают, что не получать, а уплатить я должен рубль двенадцать копеек.

— За что?

— За письмо! — говорят.

— Какое еще письмо? — спрашиваю. — Может быть, от немца?

Не отвечают. Словом, разговоры тут не помогут, уплатил я рубль двенадцать копеек и получил письмо — пакет. Вскрываю — опять от него, от немца! Прихожу к провизору.

— Не обижайтесь, пане, — говорю, — снова несчастье на мою голову — немецкое письмо.

Провизор, тоже дурень немалый, бросает свою работу и снова читает мне послание от того же немца, пропади он пропадом! Что же он пишет? Пишет, что у него сегодня «файертаг», праздник то есть, пришли к нему гости, вся семья собралась, и вот он рассказал им всю историю от начала до конца, как

приехал он в маленький городишко Деражню, как остался один на вокзале в чужой стране, не зная языка, и как я его встретил и привез к себе, предоставил ему такую удобную и покойную «штанцион», как радушно мы его приняли, уступили ему лучшую нашу комнату, кормили и поили его и так честно и благородно обошлись с ним... Поэтому он не может отказать себе в удовольствии еще раз поблагодарить нас за наше гостеприимство и добросердечие, которых он не забудет вовек...

«Пакостник он, однако, этот немец! — подумал я. — Больше я писем получать не стану, будь они хоть с золотом!»

Прошел месяц и еще два — нет больше писем, кончено! Я уже начал было забывать о немце. И вдруг получаю со станции железной дороги повестку на посылку, ценную, на двадцать пять рублей.

«Что бы это могло быть?» — ломаю я себе голову, а заодно со мною и жена недоумевает, и оба мы ничего придумать не можем! Мне приходит в голову: есть у меня родственник в Америке... Может быть, это от него подарок, или шифскарта *, или лотерейный билет?.. Не поленился, прихожу на станцию и хочу получить посылку. А мне и говорят, чтобы я изволил заплатить два рубля двадцать четыре копейки, тогда мне отдадут посылку. Ничего не поделаешь — надо раздобыть два рубля двадцать четыре копейки и заплатить. В общем, получил посылку, славный такой ящичек, хорошо упакован. Прибегаю домой, начинаю распаковывать ящичек, а оттуда выпадает портрет... Посмотрели — ах ты черт тебя побери! Он! Немец с длинной своей шеей, высокой шляпой и с трубкой во рту! К портрету приложено письмецо, по-немецки, конечно, опять все то же, благодарит за «штанцион», за наше гостеприимство и добросердечие, которых он ни в жизнь не забудет... На что способен человек! Сгореть бы ему! Можете себе представить, чего только не пожелали мы ему от всего сердца! Хоть бы половина сбылась, господи милосердный!

Прошло после этого еще несколько месяцев,— кончено, нет больше немца! Слава тебе господи, избавились от напасти, провались он сквозь землю! Я прямо-таки ожил! Думаете, однако, это все? Погодите-ка, еще не конец. Не так давно получаю ночью телеграмму: обязательно и как можно скорее приехать в Одессу к некоему купцу по имени Горгельштейн. Он остановился в гостинице «Виктория», и я ему очень нужен по делу.

— Одесса? Горгельштейн? Гостиница «Виктория»? Дело? Что бы это значило? — обращаюсь я к жене.

А она начала меня торопить, чтобы я сейчас же ехал.

— Мало ли что? А может быть, это и в самом деле что-нибудь очень нужное? Может быть, комиссия? Может быть, насчет хлеба?..

Однако легко сказать — съездить в Одессу! Съездить в Одессу — это расходы! Но если дело требует, то какие могут быть отговорки? Словом, раздобыл несколько рублей, сел в поезд и еду в Одессу. Приехал, начинаю расспрашивать, где находится гостиница «Виктория». Нашел.

— Нет ли у вас, — спрашиваю, — некоего Горгельштейна?

— Есть, — отвечают. — Но в данное время его нет в номере. Придется вам потрудиться и пожаловать в десять часов вечера.

Прихожу в десять вечера — нет Горгельштейна. Смогу застать его в десять часов утра. Прихожу утром: где Горгельштейн? Нет его. Он только что был и очень просил: если придет человек из Деражни, сказать ему, чтобы он пришел либо в три часа дня, либо в десять вечера. Прихожу в три часа дня, прихожу в десять вечера — нет никакого Горгельштейна!

Короче говоря, проторчал я в Одессе шесть дней и шесть ночей, ел хворобу, не спал и кое-как после долгих мытарств дождался наконец этого Горгельштейна. Человек он, судя по всему, очень порядочный, с красивой черной бородой. Очень хорошо меня принял, попросил присесть.

— Это вы, — обращается он ко мне наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки, — тот самый человек из Деражни?

— Это я, — отвечаю, — человек из Деражни. А в чем дело?

— У вас в прошлом году останавливался один немец?

— У меня. А что такое?

— Ничего. Этот немец — мой компаньон по машинам. Я получил от него письмо из Лондона. Он пишет, чтобы я, когда вы будете у меня в Одессе, обязательно передал вам от него сердечный привет и поблагодарил вас за удобную и спокойную «штанцион», которую он имел у вас, за ваше гостеприимство и сердечность, за честное и благородное обхождение, которого он никогда, никогда не забудет!

. . . .

Вот несчастье на мою голову! Думаю после праздников, если все будет благополучно, перебраться куда-нибудь из Деражни, удрать куда глаза глядят, ко всем дьяволам, лишь бы избавиться от этого треклятого немца, провались он в тартарары!!

«ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ»

1

— Биньоминчик — это у меня «выигрышный билет» растет!

Так говаривал служка старой синагоги Исроел о своем сынишке Биньомине, который слыл удачным мальчиком еще в ту пору, когда учился в хедере у Иерахмиела-Мойше. Учитель им нахвалиться не мог.

— Ваш малыш, — сказал он однажды служке Исроелу, — у меня, не сглазить бы, один из лучших. Во-первых, он очень прилежен, — по-настоящему славный малый! Кроме того, голова у него, хватка, понимаете ли, и память такие, что поискать надо. Если бы у него память была такая же, как прилежание, то есть я хочу сказать наоборот, если бы у него хватка была, как память, — эге-ге!..

Это «эге-ге» меламед Иерахмиел-Мойше произносит нараспев, и служка Исроел тает от удовольствия.

— Дай вам бог здоровья и заработков! — благословляет он меламеда и помогает ему складывать молитвенные принадлежности.

Это — вообще, в знак благодарности. А за учение Исроел платит само собой, наравне с прочими, — два рубля за учебный сезон, кроме ханукальных и денег на пурим*, хотя сам он живет чуть ли не на одни

эти деньги. Но что из того? Так уж повелось на свете испокон веку: люди живут один за счет другого, — я получаю у кого-нибудь и даю вам, вы берете у меня и даете третьему. Правда, бывает довольно часто, что у меня вы берете вдвое больше положенного, а третьему даете хворобу. Зато, если мне удастся, я у другого возьму втрое больше, а вам дам болячку. Не беспокойтесь: как-нибудь да сочтемся. Мудрецы называют это по-разному: «закон природы», «борьба за существование», «политическая экономия» и тому подобное. Но так как все это к нашему рассказу отношения не имеет, мы идем дальше.

Позднее, когда Биньоминчик прошел весь курс у Иерахмиела-Мойше, служка Исроел очень хотел отдать своего мальчика к реб Эли-Мееру, преподавателю талмуда. Но Эли-Меер не смог его принять: во-первых, у него был уже полный комплект учеников, а во-вторых, Исроел не в состоянии был платить наравне с богачами. Тогда Биньоминчик поступил так, как поступают многие: когда платить нечем, учатся самостоятельно. На то и существует большая синагога со множеством столов и свечных огарков, остающихся после поминальных дней*, со множеством фолиантов: Пятикнижий, пророков, мишны, гемары, мидраша* — чего тут только нет? Было бы желание, а учиться можно и на чердаке. Мало ли великих людей, гениев выросло у нас таким вот образом в синагогах? Таких больших людей, гениев, ученых, мы, вероятно, имели бы великое множество, — беда только в том, что за последние сорок — пятьдесят лет проник к нам в синагогу луч света, и нищие парни, вместо того чтобы постигать талмудическую премудрость, украдкой лакомились комментариями Моисея Мендельсона, проглатывали потихоньку запретные книжки, давились русской грамматикой и закусывали романом Мапу*. От такого учения ни гениальных, ни известных раввинов ждать было нечего. Молодые люди расползлись по белу-свету и сгубили себя: стали докторами, адвокатами, поэтами, сочинителями, писателями, учителями и просто безбожниками. Ни одного порядочного раввина. То есть вышло из них раввинов

довольно много, но — каких? Казенных!* «Казенный» — это все равно, что навязанный: хотите вы или не хотите — вот вам ярмо и носитесь с ним... Но так как это к нашему рассказу отношения не имеет, — мы идем дальше.

Наш Биньоминчик учился в синагоге не один, а еще с двумя товарищами — такими же нищими пареньками, как и он. И вот здесь-то и таилась беда, потому что в одиночку человек никогда не согрешит так тяжело, как с кем-нибудь в компании. Примером может служить праотец Адам: покуда он разгуливал в Эдеме один, все было тихо и спокойно. Но как только вмешалась праматерь Ева, она тут же уговорила его вкусить от древа познания и, кто знает, на что еще она бы его подбила, если бы их обоих вовремя не изгнали... То же самое было с Биньомином. Если бы он в синагоге учился один, — благо было бы ему. Но он учился вместе с товарищами, такими же раздетыми и разутыми, как и он, и все они постоянно порывались туда, в большой мир мудрости и познания. Сами они были здесь, но головы их пребывали там, среди *великих*, среди *ученых,* среди *счастливых*. Их тянуло туда, как магнитом, как тянется ручонками дитя к матери... Удивительно ли после этого, что однажды в субботний вечер троих пареньков — Ицика, Иосла и Биньоминчика в синагоге не стало? Что значит — не стало? Нету, и все тут! Обыскали весь город, во все углы заглянули. Что касается тех двух парней — Ицика и Иосла, это были дети нищих, сироты, без отца и матери. Скучать по ним было некому! Но Биньоминчик! Служка Исроел места себе не находил, чего только не передумал и успокоился лишь на следующий день, когда прибыло письмо от всех троих озорников: нечего, мол, беспокоиться, они, слава богу, живы-здоровы. Они убедились (так было написано), что здесь, в синагоге, им ничего путного не добиться, поэтому они отправились в ешибот*, в Вильно, в Воложин или в Мир... Они нарочно назвали три ешибота, чтобы никто не знал, в каком городе их следует искать. Вот что значит действовать с умом!

Однако ни к чему было это тайное бегство. Никто их догонять на почтовых не кинулся. Наоборот, в городе были довольны. Во-первых, будет меньше двумя-тремя нищими парнями, которых как-никак надо содержать: нельзя же допустить, чтобы они умерли с голоду. А во-вторых, очень приятно, что бедные ребята хотят учиться. Все евреи, если бы могли, пустились бы хоть на край света, лишь бы не мучиться и не таскать на себе бремя забот о куске хлеба.

2

Что сталось с теми двумя пареньками — с Ициком и Иослом — нам неизвестно. А от Биньоминчика служка Исроел спустя полгода получил письмо, и не из Воложина, не из Вильно, не из Мира, а из другого крупного города. Биньоминчик писал отцу, чтобы тот не беспокоился, потому что он, Биньоминчик, на «верном пути», он, бог даст, будет человеком. Пусть только бог поможет ему сдать экзамены и поступить в гимназию, тогда он пойдет дальше и будет учиться «на доктора». А когда он выучится на доктора, у него будет почетная профессия, и он сможет содержать родителей на старости лет. Отцу не придется трудиться и быть служкой в синагоге. Сестер, всех троих, он, с божьей помощью, выдаст замуж, и все будут жить вместе в мире и покое и радоваться друг на друга.

«А что касается еврейства, — писал Биньомин, — то вам, дорогие мои, нечего беспокоиться: можно быть каким угодно ученым и тем не менее воздавать «богу богово». Да будет вам известно, что я молюсь ежедневно, мою руки перед едой, — было бы только что есть... Ибо едим мы здесь раз в два дня что придется: иной раз корку сухого хлеба, а иной раз корку, намоченную в соленой воде, а когда и того нет — просто кусок сахару. Сахар — средство от голода, он отбивает аппетит. Зато учимся мы горячо! Не

забудьте: четыре грамматики надо выучить! А география? А история? А все прочее? Математика — чепуха! Алгебру, надо признаться, мы учили еще дома, в синагоге, а светские книжки, которых мы там начитались, теперь бывают нам полезны, когда мы пишем сочинения. Нехорошо только, что с языком у нас еще не все благополучно, однако надеемся, что и с этим справимся. Вы только не беспокойтесь, все, даст бог, будет в порядке. Главное — не тужить и не терять надежды на предвечного!»

Получив это письмо, Исроел тут же отправился к меламеду Иерахмиелу-Мойше — старому приятелю, человеку честному, достойному доверия.

— Извините меня, прочитайте это письмо, а когда прочтете, не сочтите за труд заодно и ответить на него. Я, конечно, мог бы и сам написать, но писание писанию рознь. Вы, конечно, напишете лучше меня, разве можно в этом сомневаться?

Иерахмиел-Мойше хорошо знает, что Исроел говорил неправду. «Сечь бы тебя до тех пор, пока ты не научишься написать ответ!» Но уличать его во лжи он не обязан. Зачем человека ставить в неловкое положение?

Иерахмиел-Мойше оседлал нос какими-то чудовищными очками, состоявшими из куска проволоки с двумя завязками, но без стекол: с одной стороны была вставлена бляшка, с другой зияла дырка. Исроел не выдержал и спросил:

— На что вам, ребе, такие очки? Разве вы в них что-нибудь видите?

— Все-таки лучше, чем без очков. Уж я привык! — ответил Иерахмиел-Мойше, держа письмо чуть поодаль. Один глаз (тот, что за бляшкой) он прикрыл, а вторым (тем, что за дыркой) начал читать быстро и громко, то и дело останавливаясь и поглядывая на Исроела, будто желая сказать: «Теперь вы понимаете, что значит уметь читать?» А Исроел, склонивший голову чуть набок, горделиво приподнял ее, будто желая сказать: «Теперь вы понимаете, что значит уметь писать?..»

— Ну, ребе, что вы теперь скажете? — спросил Исроел после того, как Иерахмиел-Мойше снял свои очки и вернул письмо.

— Что же мне сказать? — ответил тот со вздохом. — Конечно, конечно! Ну что ж, очень хорошо, лишь бы он ежедневно молился... Дай бог и дальше не хуже...

— Я это к тому, что он растет, мой Биньоминчик, человеком будет! Вот что я имею в виду! — говорит служка Исроел, но думает он о другом. В голове вертятся слова: «гимназия», «доктор»... Но произнести их он боится и обращается к меламеду: — Я это к тому, что вы говорите, — он учится на... доктора! А? Что вы скажете? Ведь вы же умный человек!

Иерахмиел-Мойше и сам знает, что он человек умный, но что он может сказать? Конечно, если бы это касалось его самого, он не дал бы мальчику учиться в гимназиях: на что Исроелу сын с гимназиями и докторством? Но кто спрашивает у него совета? И Иерахмиел-Мойше смотрит застывшими глазами на стену и глубоко вздыхает. Исроел понимает, что означает этот вздох: он и сам с собою еще не совсем поладил, его не слишком радует гимназия. Но, с другой стороны, помилуйте, его сын, его Биньоминчик, будет доктором!

— Позвольте, — вкрадчиво говорит он меламеду, — а скажем, к примеру, ремесло... «Докторство» разве не ремесло? Тем более что он молится каждый день, дай бог и дальше не хуже...

Исроел стоит несколько минут, потом нерешительно обращается к меламеду:

— Я говорил вам, ребе, что имею к вам просьбу — потрудиться ответить на письмо. Но что я хотел сказать? Вы ведь знаете наше местечко... Любят у нас языки почесать... А сам я человек подневольный... Горький хлеб... Хотел вас просить, чтобы до поры до времени об этом никто не знал. Понимаете?

— Понимаю, почему не понять? — отвечает Иерахмиел-Мойше, снова седлает нос своими удивительными очками, берет бумагу и перо и ждет, пока служка скажет, что писать.

— Пишите ему, будьте добры, — диктует Исроел: — Дорогому моему, просвещенному сыну. Во-первых, пишу я тебе, что все мы, слава богу, пребываем в полном здравии, дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем, аминь! А во-вторых, напишите ему, что я и Сима, то есть моя жена, кланяемся ему сердечно и просим, чтобы он писал нам почаще о своем здоровье, здоров ли он... И напишите, что мы желаем ему всего хорошего, счастья, и еще напишите, чтобы он не тужил: господь бог — отец, главное, чтобы он берег свое здоровье и был евреем, потому что это главное! И еще напишите, что я высылаю ему рубль (при этом Исроел роется по всем карманам), и напишите, что я послал бы больше, но не могу сейчас, потому что с заработками нынче плохо, никак денег не заработаешь, — нет поминальных дней, а о свадьбах и обрезаниях и говорить нечего, — я уже забыл, когда у нас свадьбу справляли: с тех пор как реб Герш выдал свою последнюю дочку, у нас ни одной свадьбы не было. То есть было, правда, несколько свадеб, но какие же это свадьбы! Тоже мне свадьбы!

— Погодите, не торопитесь! — говорит меламед. — Вы летите, как на почтовых, я за вами угнаться не могу! Ну, дальше?

— А дальше напишите, что писать больше не о чем. И напишите, что я сердечно кланяюсь ему и Сима, то есть мать, кланяется ему, и все сестры кланяются сердечно — Песл, и Сосл, и Брохця. И еще напишите, чтобы он соблюдал законы веры и был евреем — это главное! А дальше... когда напишете, я подпишусь...

Когда меламед все написал, Исроел засучил рукава, взял осторожно двумя пальцами перо и приготовился проделать «деликатную работу» — изобразить на бумаге свое имя — Исроел, имя покойного отца — Нафтоли, царство ему небесное, и фамилию Рительман. При этом он двигал языком в разные стороны, в зависимости от буквы: например, буква «л» поворачивает вправо — и язык двигается вправо, а буква «н» — поворачивает влево, и язык двигается влево.

Есть люди, которые следуют этой привычке не только, когда сами что-нибудь делают, но даже, когда они со стороны наблюдают работу других: они смотрят и ворочают языком...

Само собою разумеется, в местечке очень скоро всем стало известно, что сынишка служки Исроела учится в гимназиях «на доктора». Однако на заработках его это не отразилось. Ему только докучали вопросами:

— Стало быть, у вас будет сын «доктор», который ходит без шапки? А может быть, еще и с блямбой на фуражке? Как вы будете тогда выглядеть, реб Исроел? Как курица, которая высидела утят: утята бросились в воду плавать, а курица стоит и клохчет...

Исроел все это переносил молча и думал про себя: «Смейтесь, смейтесь над Биньоминчиком! Это у меня — «выигрышный билет»!..»

3

Однажды, накануне пасхи, когда Сима и все три дочери — Песл, Сосл и Брохця — убирали дом к празднику, вдруг отворяется дверь и входит молодой человек с белыми пуговицами, в странной какой-то фуражке и бросается к Симе на шею, потом к Песл, Сосл и Брохце, и начинаются поцелуи.

Это был Биньомин.

Сима даже расплакалась на радостях.

— Сыночек! Родненький!

Прибежал, запыхавшись, испуганный отец и раскричался на жену:

— Тише! Тихо! Смотри пожалуйста, расхлюпалась! Не скажете ли вы, с чего тут плакать?

А сам, когда увидел, как вырос Биньомин, тоже еле удержался от слез. Но мужчина — не женщина. Женщина, когда плачет, тут же начинает сморкаться. А мужчина, даже когда ему хочется плакать, может принять такой вид, что подумаешь, будто он смеется.

— Когда же ты приехал? А ну-ка, повернись ко мне спиной! — сказал он сыну. — Что это на тебе за одежа? Разденься, почему ты не раздеваешься?

А когда Биньомин разделся и остался в синем мундире со множеством серебряных пуговиц, и щеки у него раскраснелись, а голубые глаза сверкали, — он был действительно хорош не только в глазах родителей, но и в глазах любого. Кто ни видел его, не мог досыта наглядеться.

— Не сглазить бы, вырос у служки Исроела сынок, кавалер, да и только!

Минця, дочка соседки Фейге-Леи, девушка лет девятнадцати, черноглазая, с тяжелой черной косой, заплетенной красной ленточкой, чрезвычайно украшавшей ее, пришла к Симе спросить, нет ли у нее лишнего горшка. Минця отлично знает, что у Симы никогда в жизни не водилось лишних горшков, но это был предлог для того, чтобы посмотреть на Биньомина, сверкнуть черными глазами, перекинуть со стороны на сторону свою тяжелую косу с красной ленточкой, повернуться и убежать, а спустя немного времени снова вернуться, придумав новый предлог, и опять проделать то же самое, так что все три сестры Биньомина, уже взрослые девушки, переглянулись, будто желая сказать: «Не знаешь ли ты, чего она тут вертится?..»

А Биньомин между тем отозвал мать в сторонку и сунул ей в руку деньги, чтобы справить как следует пасху. Сима за всю свою жизнь столько денег в руках не держала! А сестрам он привез массу подарков: ленты, гребенки, зеркальца и всякого рода финтифлюшки! Матери — шелковый платок, желтый с красными и голубыми цветами. Сима даже расплакалась от радости.

— Это что такое? Откуда у тебя деньги? — спрашивает Исроел и смеется.

— Как это — откуда? — с гордостью отвечает Биньомин. — Я зарабатываю сейчас, слава богу, восемь рублей в месяц. Я даю уроки, то есть учу детей, и мне платят. Я уже в пятом классе гимназии. Всего классов восемь. Еще три класса, то есть еще три года, —

я кончу гимназию и поступлю в университет учиться на доктора...

Биньомин рассказывает и рассказывает, а все стоят, не спуская с него глаз, и думают: «Неужели это Биньомин? Тот самый босоногий Биньоминчик, который сидел в синагоге?.. Восемь рублей в месяц... Восемь классов... Шелковый платок... Университет... Доктор...»

Один бог знает, был ли у кого-нибудь еще такой веселый праздник, такой роскошный сейдер *, как у служки Исроела! О вине к праздничной трапезе, о «пейсаховой» водке, о рыбе и галушках говорить нечего. Я говорю о «Сказании на пасху», которое Исроел и Биньомин читали нараспев, — было что послушать! А когда дошло до рассуждений раби Элиэзера о казнях египетских *, оба они громко распелись и принялись раскачиваться... Сима, все время не спускавшая глаз с утехи своей, с Биньомина, вдруг скривила губы и готова была уже расплакаться, но тут сестры не выдержали и расхохотались, а на них глядя, начали смеяться и все, в том числе и сама Сима... В общем, пасха была веселая, что и говорить!

Утром, когда Биньомин пришел в синагогу, все разглядывали «студентика» с серебряными пуговицами, словно диковинного зверя. Озорные мальчишки окружили его со всех сторон, тыкали в него пальцами и смеялись прямо в лицо. Но Биньомин стоял все время с молитвенником в руках и молился. А когда его вызвали к торе (это староста, реб Мониш, решил сделать приятное служке и пригласить его сына к свиткам торы) и Биньомин произнес благословение громко, с торжественным праздничным напевом, по синагоге прошел шепот: «Как вам нравится сынок нашего Исроела?»

Перед уходом из синагоги местечковый богач реб Герш велел служке привести к нему Биньомина.

— Исроел! — проговорил реб Герш слегка пренебрежительно, как полагается говорить богачу, когда он обращается к человеку низшего класса; при этом он держится за шелковый пояс, не смотрит в глаза и сопровождает свои слова этаким двойным

кашлем — горлом и через нос. — Исроел! А ну-ка, поди сюда... Кхе... кхм... со своим сынишкой... Хочу... кхе... кхм... поглядеть на него!

Услыхав, что реб Герш желает говорить со «студентиком» реб Исроела, прихожане остановились послушать, о чем богач будет говорить с парнем и что тот станет отвечать. Биньомин подошел к реб Гершу, как к равному, не смутился, поздоровался, как взрослый, а реб Герш посмотрел на Биньомина сверху вниз, не зная, как к нему обращаться: говорить ему «вы», такому сопляку? Не слишком ли много чести для сына служки? Говорить ему «ты» тоже неудобно, — все-таки «студентик», с пуговицами, барчук, да и только... И реб Герш нашел выход, заговорив с ним во множественном числе:

— Ну-с, как поживаем? Когда приехали? Когда едем обратно?

Биньомин выставил вперед правую ногу, одну руку заложил за борт мундира, другой пощипывал верхнюю губу и отвечал, ничуть не смущаясь!

Реб Гершу это и понравилось и не понравилось. «Неглупый, видать, паренек, но, кажется, нахал порядочный...» Так подумал реб Герш и пустился с Биньомином в рассуждения насчет гимназических классов: сколько существует классов? И почему нужно обязательно восемь классов? Почему — не девять? И какая разница между одним классом и другим?

«С виду такой благообразный человек, а какая дубина!» — думает Биньомин и объясняет ему, в чем разница между одним классом и другим.

Реб Гершу не пристало, чтобы такой мальчишка объяснял ему то, что и без того понятно. Он говорит:

— Ну ладно, давай покороче! Это и ребенку понятно. Но почему все-таки восемь классов, а не девять?

— Потому что, если бы было девять классов, вы спросили бы, почему обязательно девять, а не десять?

Так отвечает Биньомин, и публика разражается смехом. Один только реб Герш не смеется. Он думает: «Ого! Хорош гусь!» — и кашляет по-своему — горлом и носом:

— Кхе... Кхм... Пора по домам!.. Кхе... Кхм... За стол...

Кто не видел в то время служку Исроела, стоявшего в сторонке, смотревшего то на одного, то на другого и глотавшего каждое слово Биньомина, тот в жизни своей не видал счастливого человека. Он ждал, когда реб Герш отпустит наконец его сына и они смогут пойти домой. Там уже ждут не дождутся мать и все три сестры. На столе уже лежит маца, а в печи кипит вкусный борщ, галушки с гусиным жиром, а может быть, и запеканка...

И когда реб Герш прокашлялся и отправился со своими приближенными домой, служка Исроел пригласил к себе своего единственного доброго друга и хранителя секретов меламеда Иерахмиела-Мойше и угостил его стаканчиком настоящего изюмного вина, а Сима отличилась перед гостем такими сладкими галушками, о которых трудно сказать, чего в них больше — меда или жира, потому что были они и достаточно сладки, и достаточно жирны, и прилипали к небу, и истекали жиром. Иерахмиел-Мойше, который обычно больше молчит и вздыхает, после первого стаканчика вина почувствовал головокружение, язык у него развязался, и старый учитель выразил желание проверить, помнит ли Биньомин Пятикнижие с толкованиями Раши, которые он некогда изучал в хедере.

Оказалось, что Биньомин помнит и Пятикнижие и толкования, и у Исроела сердце чуть не выскочило из груди от удовольствия.

— Ну, что вы скажете о нем? — спросил меламеда Исроел уже по ту сторону двери.

— Сосуд премудрости! — проговорил Иерахмиел-Мойше, собрав губы и качая головой.

— Но ведь остался евреем, а? — говорит служка, заглядывая меламеду в глаза.

— С божьей помощью! — отвечает Иерахмиел-Мойше.

— Не правда ли — выигрышный билет?

В ответ на это меламед кивнул головой, повел глазами и сделал неопределенный жест, по которому

трудно было определить, что он думает: и так может быть и этак... Выигрышный билет или нет, — что может знать обыкновенный смертный?..

— Ну, веселых вам праздников! — говорит он на прощание. — Дай бог дожить до будущего года в добром здравии, дай бог бывать друг у друга на торжествах, на свадьбах у ваших дочерей в недалеком будущем, а потом, даст бог, и у вашего сына... И чтобы евреи были избавлены от всех бед, и чтобы радость и утешение стали уделом всех евреев, — право же, пора господу богу сжалиться и помочь нам воспрянуть, — и чтобы лучше стали наши заработки, да и вообще, чтобы стало лучше жить на свете и веселее на душе, и чтобы... чтобы... чтобы...

Иерахмиел-Мойше уже и сам не знает, чего пожелать. Он уже, кажется, высыпал все, что у него было, и остановился, не зная, как закончить. К счастью, он вспомнил:

— И чтобы мессия пришел!

— Аминь! — ответил Исроел, но в то же время подумал: «Пускай мой Биньомин раньше станет доктором, а там может прийти и мессия...»

4

Насколько оживленно и весело было в доме у служки Исроела, когда Биньомин приехал, настолько грустно и печально стало, когда наступил день его отъезда в большой город. Никто, правда, не плакал, но у каждого было тяжело на сердце, как на похоронах... Сима, собственно, несколько раз хваталась за свой фартук, но Исроел, которого все в доме уважали и побаивались, так на нее поглядывал, что Сима поняла: плакать не следует. Исроел хотел, чтоб в доме было весело, поэтому он предупредил жену и всех трех дочерей, чтобы никто не смел давать волю слезам. Однако, когда Биньомин стал целоваться и очередь дошла до матери, Сима как-то странно взвизгнула и замерла на шее у сына. Тогда все сестры начали сморкаться, так как почувствовали, что

на глазах у них еле держатся слезы, а глотку сдавило... Один только Исроел держался как мужчина. Он не переставал смеяться над «бабьем» и над их «дешевыми слезами», хотя чувствовал, что тысячи кошек скребут у него на сердце и он вот-вот и сам расплачется. Но мужчина — это все-таки мужчина! Он начал шутить, хоть и очень неудачно, суетиться без толку, помогал Биньомину одеваться, смеялся над серебряными пуговицами и хлястиком на шинели, но, несмотря на все эти шутки, выглядел как человек, которому собираются выдернуть зуб.

И еще одна душа была огорчена и опечалена отъездом Биньомина, хотя и была ему совершенно чужая. Это — Минця, дочь соседки Фейге-Леи, черноглазая девушка с тяжелой черной косой, заплетенной красной ленточкой. При чем тут Минця? Какое отношение к ней имеет Биньомин? С какой стати она даже на улицу вышла его провожать и стояла, сложив руки на груди, и вздыхала? И что означали взгляды, которыми они обменивались? Когда они успели познакомиться,— ведь в течение всей пасхи Биньомин был в плену у трех своих сестер, не отпускавших его ни на минуту! Но, с другой стороны, кто может поручиться за парня и девушку, когда они недельки две проводят под одной крышей и их тянет друг к другу, как магнитом? Может, они и перекинулись парою слов и даже обменялись рукопожатием, — как знать? А может быть, они в сумерки встретились где-нибудь в сенях, и в темном уголке потихоньку поцеловались, — разве я знаю? Зачем я стану говорить о том, чего не видел своими глазами?.. Выдумать такую историю — не штука! Конечно, Биньомину это как с гуся вода: уедет обратно в гимназию и даже попрощаться забудет. Но Минця? Минця — девушка на выданье, и красивая девушка к тому же! Ей надо замуж выходить, а это может ей помешать.

Разумеется, было бы весьма справедливо, чтобы роман этот окончился не так скоро, чтобы любовь между молодыми людьми разгорелась, как пламя, чтобы туда и обратно полетели восторженные письма,

чтобы Биньомин сделался доктором, приехал и пал к ногам Минци... Или пусть он не ждет, покуда закончит учение, а сейчас же похитит Минцю через окно и бежит с нею в Париж, куда бегут все герои наших «натуральных» и «правдивых», «в высшей степени интересных» еврейских романов... * А что они будут делать в Париже? Ведь они же там с голоду подохнут! А мне какое дело! Я, видите ли, должен заботиться о судьбе сына служки Исроела и дочери вдовы Фейге-Леи! В чем дело? По мне Биньомин или Минця могут вдруг получить каких-нибудь десять миллионов в наследство от дядюшки, который раньше был бандитом, а потом стал бароном, как во всех «в высшей степени интересных» романах! А что мне стоит сделать так, чтобы сам Биньомин всем понравился в Париже и сделался президентом? Или, чтобы в Минцю влюбился принц (не все ли равно, какой принц? Мало, что ли, принцев на белом свете, батюшки!), а она скрыла бы, что она невеста президента, то есть Биньомина, а он, то есть принц, озолотил ее с ног до головы, а когда дошло бы до венца, появился бы Биньомин, конечно в маске, и еще с двумя бандитами, похитил бы невесту из-под венца и удрал с ней в Лондон — ищи нас, свищи! Однако и принц не промах, он с целым полком здоровенных жандармов догоняет их и хочет поймать. Но тут Биньомин сбрасывает маску — и все поражены: ведь это же президент Франции! Бандиты падают в обморок, кланяются, падают на колени и с большим почетом отвозят Биньомина и Минцю в Париж, а оттуда с мешками, полными золота и брильянтов, молодые едут прямо домой и приезжают как раз в то время, когда Исроел — от горя и голода — лежит на смертном одре... Сима давно уже умерла (подумаешь, какая важность, если в романе умрет женщина!), все три сестры — Песл, Сосл и Брохця стоят на коленях у отцовской кровати и обливаются слезами, а вдова Фейге-Лея ломает руки и оплакивает свою Минцю горючими слезами.

— Вот уже скоро год, — еле слышным голосом говорит ей Исроел, — уже скоро год, как наши дорогие дети исчезли, мы не перестаем плакать. Моя Сима,

бедняжка, умерла. Я умираю, оставляю трех моих дочерей на произвол судьбы. Что с ними будет? Господи боже мой, чего же ты молчишь?

Но тут отворяются двери, и в дом влетают президент Франции Биньомин и принцесса из Лондона Минця, разодетые в пух и прах.

— Дорогой отец!

— Дорогая мать!

— Дорогой брат!

— Дорогие сестры!

— Дорогая дочь!

— Где вы были так долго?

— В Париже и Лондоне.

— А что это у вас в мешках и чемоданах?

— Золото! Империалы! Это мы привезли вам в подарок... Да, вы знаете, нас надо поздравить!

— А что случилось?

— Мы — жених и невеста.

— В таком случае всех нас надо поздравить!

— Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!!!

. . . .

Так поступил бы я, если бы писал «натуральный», «в высшей степени интересный» роман. Но я рассказываю обыкновенную историю о бедном парне, который отправился не в Париж и не в Лондон, а просто в большой город учиться, так что нет нужды выдумывать чудеса в решете. Расскажем лучше все так, как было на самом деле.

5

Прошло три года с той счастливой пасхи, которую мы описали. Много воды утекло с тех пор. Много горя пережил служка Исроел здесь, а Биньомин — там. Исроел ночей не спал, думая о сыне, который тяжело трудится, а Биньомин не спал, так как готовился к экзаменам.

«Помог бы мне господь сдать экзамены, — писал Биньомин домой, — тогда я приеду к вам, милые мои, дорогие, на все лето отдыхать».

И служка Исроел ждал добрых вестей об «акзаментах», как ждут пришествия мессии. Ему представлялось, что Биньомин приезжает уже готовым доктором, крупным доктором. Весь город прибегает взглянуть на «служкиного доктора». Пороги обивают — тот с такой просьбой, а тот с другой. Каждый ищет повод, — даже переплетчик Гензл, растяпа, кривоногий, который ходит вприпрыжку, и тот прискакал.

— А ты здесь с какой стати? — спрашивает Исроел.

Переплетчик мало того что хромает, — он еще и шепелявит, не выговаривает буквы «р».

— Помилуйте, реб Исиоел, ведь я же ваш кьовный, иодственник!

— Какой ты мне родственник? — спрашивает Исроел, хотя отлично знает, что Гензл ему родственник, дальний, правда, но все же родственник.

— Отец моего дяди, Уувн, и тетя вашей Симы — Уейзл, были уодные бьат и сестьа.

— Так ведь ты сыну моему — седьмая вода на киселе! — говорит Исроел. Но переплетчик делает такое жалостливое лицо, что Исроел не может ему отказать.

— Ну? — спрашивает у него Исроел, когда он выходит от Биньомина. — Что слышно, растяпа?

— Жить вам сто двадцать лет! — отвечает Гензл, держит полную горсть золота, прыгает на одной ножке, а лицо у него горит и потеет.

— Твоя родня! — с укоризной говорит Исроел жене, указывая глазами на переплетчика.

— Бедняк! — оправдывает его Сима.

— Ну и что же? Мало в городе нищих? — говорит Исроел и думает при этом, что если все подряд будут так таскать у его сына, он и сам останется нищим.

— Хватит! Довольно ходить взад и вперед! — Исроел запирает двери. — Дайте ему хоть отдохнуть с дороги!..

Служка Исроел в золотых своих мечтах зашел так далеко, что начал пренебрегать службой. Надоело ему быть служкой, быть у каждого на побегуш-

ках, всем угождать, помнить все поминальные дни, льстить каждому в отдельности, удовлетворять такое множество прихожан: всем хочется обязательно сидеть у восточной стены, всем хочется почестей... Поссорятся между собою старосты, а кто в ответе? Служка! Повздорят две богачки из-за того, что в праздник кущи одной принесли на дом эсрог* раньше, чем другой, — кого ругают? Служку! Кто работает больше всех? Кто в субботу и в праздник приходит домой позднее всех? Кто садится за стол, когда другие уже давно спят? Всё — служка, горе ему горькое! А знаете ли вы, что он за все это имеет? Неприятности и огорчения, поношения и обиды... Жалованье он не получает, живет только на «доброхотные даяния»... Если дают, то ладно, а не дают, — так и делай что хочешь...

— Исроел! Сбегай, пожалуйста, ко мне домой, — как-то сказал в эту пору богач реб Герш, поглаживая себя по животику и покашливая своим двойным кашлем. — Сбегай на одной ножке ко мне домой, пожалуйста, и — кхе, кхм... скажи моей Соре, что у меня под подушкой... Кхе... Кхм... я оставил ключи. Может быть, ей понадобятся, пусть знает, где искать...

Исроел привык стоять перед богачом, как солдат перед генералом, и бежать еще до того, как тот скажет «поди». Но на этот раз Исроел что-то не стал торопиться и бормотал себе под нос:

— Ключи... Прислугу себе нашли... Пусть идет, кому нужно... Гонять человека, как собаку...

— Что ты там бормочешь? — спросил реб Герш, не привыкший к таким вещам.

— Кто бормочет? Я бормочу? Просто говорю: пускай идет, кому нужно... То есть иду, вот сейчас... иду...

Исроел бежит выполнить поручение насчет ключей и одновременно проклинает богача реб Герша и всех других богачей, — провались они в тартарары! Пусть только бог поможет, настанет лето, приедет сын, — тогда он всех их пошлет к чертям!

6

Господь помог, лето пришло, но Биньомин не приехал. Да и писать он стал не так часто, как раньше, и сами письма с каждым разом делались короче и грустнее. Он только извещал, что тогда-то у него должен быть такой-то экзамен.

«Этот экзамен, — писал Биньомин в последнем своем письме, — для меня «Судный день», потому что, если мне, упаси бог, не хватит одной шестнадцатой, я поступить не смогу, а если я сейчас не поступлю, то придется остаться до будущего года. А кто знает, что будет через год? Ведь может быть и еще хуже! Что я тогда буду делать? И — что дальше? Зачем мне нужно было столько работать, мыкать горе? Столько учить, зубрить наизусть, целыми днями голодать, не спать по ночам и мерзнуть как собака? Такие вопросы задаю не я один, — много здесь таких, которые остались еще с прошлого года и не могут поступить, так как им не хватает до нормы... А тут на носу призыв... И на экзаменах режут... Скверно! Горько и мрачно!..»

Служка Исроел голову потерял. Он понять не мог, почему письма Биньомина стали такими печальными? Он просил меламеда Иерахмиела-Мойше написать Биньомину и спросить, о каких нормах идет речь и что значит «не хватает шестнадцатой»? Разве на экзаменах тоже измеряют, как во время призыва? И что значит «на экзаменах режут»? Кто режет? За что режут? Словом, пусть он напишет обо всем подробно и пусть не горюет! Надо положиться на предвечного, он все может... А главное — остаться евреем, тогда все, даст бог, будет хорошо...

На это письмо и на все дальнейшие Исроел, однако, ответа не получил. Он не привык к тому, чтобы от Биньомина так долго не было писем. И он писал, писал, покуда не перестал писать. Ему было стыдно перед меламедом...

— Что бы это могло значить, что так долго нет писем? — спрашивает Сима, и Исроел срывает на ней свою досаду:

— Святая дуреха! Делать ему больше нечего, как письма писать! Погоди малость, пусть он сдаст «акзамент», тогда он тебе напишет!

Получив такую отповедь, Сима отступает, как пес, который ластится к хозяину, виляет хвостом, а в ответ получает: «Пшел вон!»

Исроел ходил с болью в сердце и с тяжестью на душе. Он места себе не находил. Ни одному отцу не знать бы того, что передумал он в то время, а по ночам он видел жуткие, страшные сны. Однажды ему снилось, что он вместе с Симой едет к сыну в гости. Едут по горам и долам, по лесам и полям. Приехали в большой дворец. «Здесь живет доктор Рительман?» — «Здесь, отвечают, но видеть его нельзя!» — «Почему?» — «Потому что к нему никого не допускают!» — «Подите скажите, — говорит Исроел, — что отец приехал!» — «И мать!» — добавляет Сима. «Здрасьте, пожалуйста! — говорит Исроел. — Только тебя здесь не хватало!» В это время они замечают издали «енерала с полетами». Исроел готов поклясться, что это Биньомин. Отец устремляется вперед, Сима за ним, но сколько они ни идут — никак до сына не доберутся. «Быстрее! — командует Исроел. — Смотри, как она тащится! Двигайся! Двигайся!» Они бегут изо всех сил, а Исроел не перестает подгонять: «Скорее! Скорее! Тащится, как черепаха!»

— Бог с тобой, чего ты кричишь? — тормошит его Сима.

Исроел просыпается, сплевывает трижды, поворачивается на другой бок, засыпает и видит новый сон, хуже первого: венчание под черным балдахином... черные свечи... черные погребальные носилки... Кто-то стоит с клещами и хочет вырвать у него зуб. Он не дается, сопротивляется. И вдруг слышит голос Биньомина: «Отец!.. Отец!.. Для твоей же пользы...»

. . . .

7

Знаете вы что-нибудь о старосте Лемле? Но может быть, вы впервые слышите это имя? Как же так? Ведь это же человек, который славится повсюду,

Помимо того что он староста в Управе, воротила и водит за нос все местечко, он к тому же и в губернии важная шишка и со всеми великими мира сего запанибрата. Как только он приезжает в «губернию», говорит Лемл, так и сам не знает, к кому раньше зайти. Все, говорит он, тащат его к себе: «Пане Лемл! Господин Лемл! Реб Лемл!» Что творится! Каждый раз по возвращении из «губернии» он привозит новости, о которых потом три месяца подряд все говорят: то крупное банкротство тысяч на триста, то страшный пожар, во время которого сгорело семьдесят пять душ, то ужасное убийство посреди города, от которого волосы дыбом встают. И хотя банкротства у Лемла случаются чересчур часто, а пожары и убийства — чуть не каждую неделю, тем не менее никому до сих пор в голову не приходило усомниться в этих историях. Какие могут быть сомнения? А газеты? Газетам можно? Вы, наверно, помните страшную историю, о которой недавно сообщали газеты? Случилось это не то в Белостоке, или в Риге, или в Житомире, — уж я хорошо не помню. А дело было так: сидела женщина с грудным ребенком на руках. Вдруг ребенок расплакался. Женщина хочет покормить ребенка и расстегивает кофту. В это время к ней на колени забирается змея, хватает грудь и не отпускает вот уже трое суток кряду! Все врачи и крупнейшие профессора приезжают и уезжают ни с чем, — они не знают, что делать: оторвать змею силой боятся, а вдруг она выпустит яд, и тогда женщина пропала! Оставить ее у груди, — она из этой женщины все соки высосет! «Мы, конечно, известим наших читателей, чем это дело кончится...» Так заканчивают газеты, и вот уже три года мы выписываем и читаем газеты, а конца этой страшной истории так и не знаем. Как поживает несчастная женщина? Думать, что змея все еще сосет ее, — но ведь это невероятно, противоестественно! Полагать, что женщина умерла, — но тогда газеты сообщили бы. Приходится поэтому заключить, что нет никакой женщины, никакой груди и никакой змеи! Так что же это? Вероятно, враки!

Или не так давно прочли мы в газетах такую историю: в небольшом городишке (кажется, в Бобруйске) справляли еврейскую свадьбу. Музыканты играли, гости плясали, подавальщики и подавальщицы носились как угорелые, — словом, как полагается на всякой свадьбе. Вдруг невеста заявляет, что ей что-то не по себе, и прилегла на минуточку. Только прилегла — заснула. Музыканты играют, гости пляшут, подавальщики носятся как угорелые, а невеста спит. Отыграли, отплясали, подали «золотой бульон» — невеста спит. Гости разошлись по домам, погасили свечи — невеста спит. Ложатся спать — невеста спит, встают — невеста спит. Словом, вот уже три недели прошло после свадьбы, а невеста все еще спит! «Обо всем, что с ней случится в дальнейшем, мы, конечно, тут же известим наших читателей...»

И вот уже второй год, как мы выписываем эту газету, боимся, что невеста проснется, а мы даже знать не будем... Однако напрасный труд! Каждый день, когда прибывает газета, жена первым долгом спрашивает:

— Как там насчет бобруйской невесты?

— Ничего нет! Очевидно, все еще спит! — отвечаю я, а про себя думаю: «Боюсь, что вся эта история выдумана. Враки!»

То же и с нашим Лемлом. Разница в том, что газеты, когда лгут, делают это с умыслом: они имеют в виду деньги. А наш староста Лемл — просто враль и болтун. Теперь представьте себе, какой праздник был для старосты, когда вдруг в Управу из «губернии» прибыла бумага о том, чтобы исключить из еврейского общества Биньомина, сына Исроела Рительмана, ввиду того, что он перешел в другую веру!..

Староста Лемл, когда прочел, забыл обо всех своих делах в Управе, схватил бумагу и выбежал на улицу. Он поминутно останавливался, каждому в отдельности сообщал эту новость на ухо, по секрету, и так раззвонил ее по всему городу.

Выдастся иной раз такая пора, которую можно назвать порой тишины и молчания. Небо ясно, ни

облачка, ни ветерка, тихо кругом. Все спят, город точно вымер... И вдруг, не поймешь откуда, падает и взрывается бомба! Все всполошились, бегут. «Что? В чем дело? Где? Что случилось?» В местечке становится оживленно и весело!

История с сыном служки Исроела была бомбой, взорвавшей все местечко и разбудившей всех евреев. Каждый был разъярен и взбудоражен, как если бы это грозило его жизни или заработку, как если бы ему больше думать было не о чем. Многие бросили свои дела, еду, выбежали на базар, чтобы «послушать, что слышно». Возле дома богача реб Герша собрались кучки людей, а сам реб Герш в халате и ермолке стоял на крыльце, окруженный своими приближенными и чужими людьми, которые льстят и подлизываются к нему, — а вдруг это будет им на пользу, мало ли что случается?.. Реб Герш ораторствовал, а подлизы поддакивали:

— Конечно!.. А как же? Думаете, они не правы? Они очень правильно говорят!

— Служка, паршивец, нищий, а хочет быть умнее всех на свете! — говорит реб Герш и покашливает по-своему, и горлом и носом. — Кхе! Кхм! Доктора, видите ли, захотелось ему сделать из своего сынка! А если бы он был служкой, как отец, что случилось бы? Хотел бы я послушать, что он говорит, наш служка, сейчас? Или он еще не знает этой доброй вести? Кхе... Кхм... Что-то не видать его, этого растяпу. Где это он?

Нашлись и такие, которые не поленились сходить в синагогу и на дом к служке, но Исроела нигде нельзя было найти.

8

Те, что привыкли к «в высшей степени интересным» романам, пожалуй, хотели бы, чтобы Исроел теперь бился головой об стену, либо бежал на речку топиться, или забрался в синагоге на чердак и повесился на стропилах, чтобы жена и дети плакали и вопили, чтобы в городе кипело, как в котле, — и вообще,

чтобы гром гремел и молния сверкала! Может быть, на сей раз я бы и сделал им приятное. Но что попишешь, когда Исроел еще ни о чем знать не знает? В то время как весь город носился с полученной «бумагой», Исроел сидел у единственного своего друга и хранителя секретов, меламеда Иерахмиела-Мойше. Одновременно с получением «бумаги» в Управе служка Исроел получил на почте пакет, прибывший от Биньомина, — целое послание! Прочтя с большим трудом листок-другой и не поняв почти ни слова, он отправился к меламеду.

— Есть! — радостно воскликнул Исроел еще на пороге.

— Письмо от сына?

— Да еще какое письмо! На трех листах!

Услыхав, что прибыло целых три листа, Иерахмиел-Мойше отложил в сторону все свои дела, к великой радости учеников. Шутка ли, ведь можно будет поиграть в «капустку», в «загадки-отгадки», да и просто отдохнуть от Пятикнижия тоже чего-нибудь стоит!

Иерахмиел-Мойше надел свои знаменитые очки и принялся громко и нараспев читать письмо. Поначалу все шло очень хорошо, но чем дальше, тем чаще меламед стал заикаться и останавливаться, будто шагал по камням... Язык какой-то странный... Слова пошли такие, которых он в жизни своей не слыхал... Иерахмиел-Мойше поминутно поправлял свои очки на носу, подносил письмо поближе к окошку, пожимал плечами и приговаривал:

— Хм... Хм... Язык какой-то нечеловеческий... Нация... манципация... пацимация... Черт его ведает, что это значит!

Исроел сидел у края стола, подперев голову рукой, смотрел меламеду прямо в рот, прислушивался внимательно к каждому слову, хотел уловить смысл, но никак не мог. Он понять не мог, почему Биньомин вдруг стал оправдываться, почему он клянется, что остался тем же человеком, что и прежде, и даже преисполнен еще большей любви и преданности... Исроел не понимал, почему сын мог бы стать теперь другим?

И что значит его просьба о прощении? Что должен ему отец простить? «Иначе не могло быть, — пишет он, — я очень мучился, так как знаю, какую боль я причиняю своим родителям... Но стремление к свету, к науке с самого детства было во мне так сильно, что оно победило».

Тут Исроел вспоминает о сне, который он недавно видел, сердце обрывается в груди, как у человека, припомнившего, что ему предстоит операция. Он спохватывается:

— Что? Что? А ну-ка еще раз, прочтите еще раз, что он пишет?

Иерахмиел-Мойше поправляет очки и хочет прочесть еще раз, но в эту минуту отворяется дверь и входит...

Бася-Гинда, жена Иерахмиела-Мойше, женщина не столь толстая, сколько высокая, и не столь красивая, сколько рыжая. Она пришла с большой кошелкой прямо с базара. В кошелке полно всякого добра: картошка, лук, две черных редьки и кусок ливера, который она еле выклянчила у мясника Симхе-Лейбе, потому что ливер — это товар, на который всегда немало охотников. Женщины дерутся из-за него на базаре, как мужчины иной раз из-за места в синагоге, и не удивительно: стоит он дешево, а костей в нем нет. Если ливер отварить с картошкой, с луком и перцем, если потушить его, — он приобретает райский вкус!

Войдя и увидав служку, сидящего за столом с ее мужем, читающим письмо, она захотела угадать, знает ли уже что-нибудь этот несчастный? Но по лицам обоих она не могла этого определить, — поэтому Бася-Гинда поставила кошелку и мигнула мужу, проведя по своему лицу ладонью снизу вверх.

— Хмил-Мойше, поди-ка сюда! — проговорила она.

Иерахмиел-Мойше догадался, что жена, видимо, что-то хочет ему сказать. Он снял очки и выскочил на минутку в сени. Там, по ту сторону двери, между мужем и женой с глазу на глаз произошел такой разговор.

Она. Он уже знает?

Он. Кто?

Она. Этот несчастный.
Он. Какой несчастный?
Она. Служка.
Он. О чем?
Она. О сыне.
Он. О каком сыне?
Она. О Биньомине.
Он. А что такое?
Она. Весь город говорит!
Он. О ком?
Она. О его сыне.
Он. О чьем сыне?
Она. О сыне служки.
Он. А в чем дело?
Она. Тьфу ты пропасть!

Бог знает, сколько бы еще продолжался этот разговор, если бы служка не подошел и не спросил испуганно:

— А? Что? Что вы рассказываете? Почему вы сказали «Биньомин»? А?

Бася-Гинда не знала, как ей быть, как извернуться. Зачем ей сообщать такую весть? Она лучше отошлет его к старосте, — пускай они там вместе колотятся головой о стену.

— Ничего! А я знаю? — отвечала Бася-Гинда, вытирая лицо ладонью снизу вверх. — Какая-то бумага, говорят, прибыла насчет вашего сына.

— Какая бумага? — спрашивает Исроел, мертвенно бледнея.

— В Управе что-то...

— В какой Управе?

— Бумага старосте.

— О чем?

— Ну, Лемл, значит...

— О чем бумага?

— Ваш Биньомин...

— Что — Биньомин? Биньомин? — спрашивает Исроел, уже сердясь.

— А я почем знаю? Нашли кого спрашивать! Потрудитесь сами к Лемлу, значит... Он теперь на базаре, Лемл то есть, с этой бумагой.

«Бумага... Лемл... Управа... Биньомин... Весь город... Что это значит?» — думает Исроел и бежит так, что щеки у него пылают, а в ушах свистит. Он надвигает шапку, сгибается втрое и несется вперед.

9

Есть люди, которые любят видеть человека в беде, заглядывать ему прямо в лицо, когда он плачет, следить за тем, как он идет за гробом, присматриваться, как он ломает руки, бьется головой о стену и тому подобное. Я не любитель таких сцен. Пускай говорят что угодно, — не люблю я печальных картин. Моя муза не носит крепа — моя муза нищая, но веселая.

Куда побежал служка Исроел? С кем он виделся? Что услышал? Что сказал? Не спрашивайте, это вам удовольствия не доставит. Лучше ли будет вам, если вы узнаете, что есть люди, для которых чужое горе — всего лишь «новость», чужое сердце — скрипка, чужие нервы — струны, чужой плач — песенка, а чужая душа — игрушка? Что, если вы узнаете, что нашлись такие, которые злорадствовали по поводу горя служки Исроела: пусть, мол, не носится день и ночь со своим «выигрышным билетом»?

— Поделом! — сказал богач реб Герш, покашливая своим двойным кашлем и поглаживая живот. — Поделом! Пускай нищий... кхе... кхм... не лезет прямо в глаза! Доктора захотелось... Кхе... Кхм...

Многие, конечно, жалели беднягу. Но я думаю, что вам знакомо слово «бедняга»...

— Да спасет вас бог от еврейского одолжения и еврейской жалости! — говорила моя бабушка Минда, царство ей небесное. — Потому что от еврейского одолжения может голова разболеться, а от жалости остается оскомина на зубах...

Только в сумерки Исроел дотащился домой, чуть живой опустился на пол, снял обувь, надорвал край одежды и сел на час справлять траур *. То же самое проделали Сима и все три ее дочери, которые вдоволь наревелись и нарыдались еще до того, как пришел Исроел.

Позже, когда Иерахмиел-Мойше пришел утешать осиротевших, он застал такую картину: Исроел сидел, спрятав голову между колен, Сима, закрыв лицо руками, тихо плакала, а Песл, Сосл и Брохця сидели по углам с распухшими глазами и застывшими лицами. Боль и позор были, видимо, так велики, что они не могли смотреть друг другу в глаза...

Иерахмиел-Мойше вошел тихо, не поздоровался, как принято, когда приходишь в дом, где есть покойник, сел осторожно в сторонке на краешек стула, вздохнул и не сказал ни слова. Позднее еще раз вздохнул и затих, потом еще раз... Только через несколько минут он подумал: неудобно сидеть молча, надо бы сказать доброе слово. Но что сказать? Когда в доме покойник и люди в знак траура сидят на полу, пришедший с утешением находит подходящие слова: «Бог дал, бог и взял...» Или: «Человек, знаете, подобен мухе...», «Смерть — такое дело, от которого не отвертишься...» Или: «Эх! Суета сует, поверьте, все там будем...» Ну, и тому подобные изречения, от которых особенно весело на душе не становится, но все же — это облегчает: выложишь все, что на сердце, и как будто снимешь с сердца тяжесть. Но что скажешь здесь, когда траур справляют по живому?.. Иерахмиел-Мойше ерзал на стуле, хотел что-то сказать, а слов не находил. Он несколько раз пытался начать, покуда наконец не разговорился. А уж разговорился, так и не знал, как остановиться, как выпутаться...

— Да... Ну что ж, ведь это же, так сказать, испытание, то есть от бога, потому что все, знаете, от него; без него ничего не случается... Мизинца и того человек не подымет здесь, на земле, без повеления свыше... Он, что тут говорить, хозяин, и крепкий хозяин!.. Его слушаются, да еще как! Ой-ой-ой! Отсюда следует, понимаете ли, что все должно быть так, как есть. Потому что, если бы должно было быть иначе, так и было бы иначе... Ибо кто его принуждает к тому, чтобы обязательно было так, а не по-иному? А если бы он пожелал, чтобы было не так, мог бы разве кто-

нибудь указать ему: нет, пускай, мол, лучше будет не так, то есть пускай лучше будет так, а не этак?..

Иерахмиел-Мойше почувствовал, что начинает говорить ни к селу ни к городу, остановился, взял понюшку табаку, склонил голову набок, глубоко вздохнул и решил, что пора подняться и уходить. Но легко сказать «подняться»! Поди поднимись, когда ты прикован к стулу! Нет, знаете, визита хуже, чем к осиротевшим людям. Сколько ни приходилось мне посещать людей, потерявших близкого, я никогда не мог подняться и уйти, не попрощавшись. Я каждый раз молю бога, чтобы свершилось какое-нибудь чудо: либо тот, что сидит на полу, уснул бы, — тогда бы я потихоньку, на цыпочках улизнул из его дома; либо на улице вдруг случилась бы драка, пожар, суматоха, — тогда бы я мог вырваться из плена... Иерахмиел-Мойше посидел еще немного, потом поглядел на потолок, обвел глазами все четыре стены, поискал, очевидно, часы и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Пора, пожалуй, и об уходе подумать... Мои сорванцы там весь хедер перевернут вверх дном.

Он несколько раз подходил к дверям и возвращался, пока наконец не перешагнул порог и только здесь начал утешать своих друзей: не надо, мол, горевать, потому что бог — отец, он может... Иерахмиел-Мойше напомнил еще раз, что по закону они должны сидеть на полу не больше часа, но если немного и больше, тоже не беда, а вечером, даст бог, после вечерней молитвы, он заглянет еще раз — посидеть... А горевать не надо, потому что бог — отец и то, что он творит, уму человеческому непостижимо... Тем более что у них есть дети, пусть будут здоровы, уже взрослые, не сглазить бы...

Час прошел, Исроел и члены его семьи поднялись с пола, тихо, без слов, надели обувь и расползлись по углам... Исроел (если бы я не боялся преувеличения, я сказал бы, что он за один этот день постарел лет на десять!) наскоро прочел предвечернюю молитву и поторопился в синагогу, чтобы поспеть к вечерней молитве. Пока что он еще служка, человек подневоль-

ный, значит, он должен быть на месте. Заработок, знаете ли, великое средство, помогающее забыть о горестях и невзгодах!..

— Как насчет вашего «выигрышного билета»? — Нашлись бездельники, которые задали ему такой вопрос. — Как поживает ваш сын?

— Царство ему небесное! Где же у меня сын? — отвечал Исроел с горькой усмешкой...

В усмешке этой было столько горечи, что даже бездельникам стало не по себе, и они отошли в сторону. Достаточно было заглянуть Исроелу в лицо, чтобы пропала охота говорить о его сыне.

Что было дальше? Чем все кончилось у Биньомина? Писал ли он письма? И что писал? Отвечал ли ему отец или нет? А если отвечал, то что именно?

Не принуждайте меня, — сейчас я ничего вам не скажу. Я только обязан сказать, что для Исроела Биньомина больше не существовало. Умер Биньомин.

«Выигрышный билет» служки Исроела вышел в тираж...

ПО ЭТАПУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Аман Иванович Плисецкий

Так называли нового пристава, прибывшего в Теплик. То есть настоящее его имя было Агамемнон Афиногенович, но тепликские евреи, которые любят прозвища, переименовали его по двум причинам: во-первых, «Аман Иванович» гораздо короче и легче выговаривать. «А-га-мем-нон А-фи-но-ге-но-вич!» Язык поломаешь. Это — одно. А во-вторых, с тех пор как существует Теплик, никто не припомнит такого «амана» *, как этот новый пристав — Аман Иванович Плисецкий. Всякие пристава бывали в Теплике — и добрые, и злые, и берущие, и бессребреники, то есть такие, которые просто так не берут, разве только иной раз к празднику, на Новый год, что не в счет, или ко дню рождения. Кто же от этого отказывается?.. Все мы в свое время родились, и день рождения для каждого человека праздник спокон веков, еще со времен Фараона, царя египетского. Как известно из священного писания, в день своего рождения Фараон устроил пиршество для своих рабов, виночерпия выпустил из тюрьмы, а хлебороба повесил на дереве,

согласно тому как истолковал их сновидения Иосиф-прекрасный за три дня до того... *

Прибыв в Теплик, пристав прежде всего принялся за чистку местечка, но за чистку по-настоящему! Теплихских конокрадов, которые славились на весь мир, он в два месяца выкурил, не оставив ни одного, хотя бы на развод. Кого из них только заприметит, поймает и без дальних проволочек высылает по этапу в Гайсин, в тюрьму, — пускай там с ним посчитаются. Затем он принялся за улицы и за евреев. Он хотел, чтобы улицы содержались в чистоте, чтобы из домов не выбрасывали мусор прямо в лицо людям, чтобы не выливали помойных ведер у дверей и не делали ничего другого, о чем неприлично сказать...

А от евреев он требовал, чтобы они по воскресным дням не открывали лавок до полудня, чтобы меламеды не обучали ребят без свидетельств* и чтобы в городе не было «эйрева» *. Обойдется, говорил он, и без этого «телеграфа»... И даже в синагоге, когда евреи, бывало, повздорят из-за почестей и начинают угощать друг друга оплеухами, он тоже появлялся и вмешивался в ссору. Вот какой это был злодей!

Что касается закрытия лавок, то этого он добился. Если приказ и выполнялся не так чтобы очень точно и лавки не всегда были на запоре до двенадцати часов, то он притворялся, будто ничего не замечает, так как другого выхода у него не было. Он делал все, что мог, но не сторожить же еврейские лавки и следить, не приоткрыта ли где-нибудь створка! Ведь это же невозможно! Вот с «эйревом» он натерпелся немало. Каждую пятницу вечером «эйрев» натягивали, а в субботу утром он его срывал. Но к следующей субботе вырастал новый «эйрев», и так каждый раз. И как ни выслеживал он через своих сторожей, кто натягивает веревку, поймать преступника не удавалось, покуда сам Плисецкий, собственной персоной, не спрятался однажды в уголке на улице и не просидел ночь напролет... И только перед самым рассветом он сцапал сынишку служки Пейси на месте преступления, когда тот прикручивал веревку. Тогда пристав схватил мальчишку

за левое ухо, отвел его в стан и запер на целый день в кутузку. С тех пор и по сей день Теплик остался без «эйрева», и публика носит по субботам носовые платки и часики сколько влезет.

Не так легко далась Плисецкому война, которую он вел с меламедами. Они его доводили до отчаяния. Вот он как будто поймал меламеда с двадцатью учениками и прикрыл хедер, глядь, а тот снова попался с теми же учениками в другом переулке. Прикрыл и этот хедер и составил протокол... Глядишь, а меламед забрался куда-то на чердак, в женскую молельню, и оттуда доносится пение его двадцати учеников! Беда с этими еврейскими ребятами! Никак не оторвать их от учения!

— Одно из двух, — уж если ты забрался на чердак заниматься, так занимайся, хоть тресни, черт с тобой! Но только не шуми так, — пусть хоть мои уши не слышат!.. — сказал как-то Плисецкий меламеду и побожился, что если поймает его еще раз, то вышлет из Теплика в двадцать четыре часа!

Меламед все это внимательно выслушал и продолжал свое: слез с женской молельни и спустился куда-то в подвал, а там занимался с ребятами все так же нараспев, на известный мотив, без чего еврейское обучение приобретает такой же вкус, как холодный кугл*, который нынешние аристократы в больших городах едят в будни...

Аман Иванович долго воевал с меламедами, а потом плюнул на них и притворился, будто ничего не знает...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тепликский богач Шолом-Бер Теплицкий из Теплика

Так как жители Теплика в большинстве своем евреи, то новый пристав имел дело почти только с евреями, и за короткое время успел познакомиться со всеми тепликскими домохозяевами, знал каждого по имени, был осведомлен обо всех их делах, вплоть до

самых секретных, говорил с ними наполовину по-еврейски и вскоре стал с ними хорош и мягок — запанибрата!

Богачи, знатные люди, воротилы, — те, что любят властвовать, увидав, что барин никого не чурается, стали улещивать его поначалу куском субботней рыбы («жидовская рыба»), стопочкой пасхальной водки («пейсаховка») с куском мацы («жидовская маца») на закуску, потом пытались подъехать к нему с улыбочкой — сунуть ему кое-что в руку, но потерпели позорную неудачу, так что, пожалуй, и внукам своим заказали соваться с взятками, не зная о человеке, кто он такой и что он такое...

— Ты думаешь, Иоська, «подшмировать»[1] меня твоими «моэсами»[2], — значит ты «гройсер»[3] мошенник! «А нем им а хейдер!»

Слова: «А нем им а хейдер», — всегда были готовы сорваться у него с языка, а означало это — засадить, запереть или отправить по этапу в город, в Гайсин. И уж если он слова эти произнес — пропало! Все цари Востока и Запада тут уже помочь не могли! Вот такой это был человек! И — кто его разберет, чудака! — попадет, бывало, к нему в руки бедняк, которому по этапу и уйти не с чем, — этот изверг доставал из своего кармана рубль или два, давал ему и говорил при этом на своем смешанном языке:

— На тебе «милост-хесед»[4] на «вецовес»![5]

Но насколько он проявлял жалость к бедняку, настолько же ненавидел богачей, а тем более тепликских богачей. Что же касается тепликского богача Шолом-Бера Теплицкого из Теплика, то его он вообще не переваривал и долго-долго выискивал за ним какой-нибудь грех, покуда господь не помог его поймать.

А дело было так.

Шолом-Бер Теплицкий из Теплика, помимо того что был богач, славился к тому же упрямством и гор-

---

[1] Подмазать, [2] деньгами, [3] большой (*смешанные еврейско-русские слова*).

[4] В долг, [5] на расходы.

дыней и считал себя непобедимым. Уж если ему чего-либо захотелось и он заупрямился, легче было Теплик перенести на другое место, чем переспорить Шолом-Бера.

Когда Аман Иванович издал приказ о том, чтобы мусор на улицу не выбрасывали и помойных ведер у дверей не выливали, Шолом-Бер Теплицкий из Теплика задал вопрос:

— А кого это касается? Мусор мой, и помои мои, стало быть, я могу делать с ними что пожелаю.

— Реб Шолом-Бер, — пытались его урезонить, — Аман увидит помойку — будет твориться бог знает что!

— К чертям! — отвечал Шолом-Бер, не любивший многословия.

— Реб Шолом-Бер, «акт» сцапаете!

— А хоть бы семьдесят семь актов!

— Реб Шолом-Бер, кто-нибудь, упаси бог, поскользнется возле вашего дома и, неровен час, ногу себе сломает.

— Хоть шею!.. — ответил Шолом-Бер и приказал сыпать мусор и выливать помои по-прежнему!

И вот явился к нему Плисецкий с полицейскими и составил акт. Шолом-Бер решил с ним объясниться и заговорил свысока, как подобает богачу. Тогда Плисецкий порекомендовал ему помолчать и между прочим наговорил ему комплиментов, вроде «жидовское нахальство!», «молчи, жидовская рожа!» и тому подобное. Это, конечно, задело нашего богача, и он угостил пристава прозвищем «Аман», сказал при свидетелях, что он — настоящий Аман, тот самый, что в сказании об Эсфири! Это было отмечено в протоколе и подведено под «статью», согласно которой наш Шолом-Бер Теплицкий из Теплика был приговорен к двум неделям отсидки — и никакой владыка небесный помочь ему не смог!

Само собой понятно, что весь Теплик был ошеломлен и ходуном ходил от такой истории. Помилуйте, богача на две недели в тюрьму! Весь город высыпал посмотреть, как ведут Шолом-Бера в кутузку. Не осталось, как говорится, дитяти в колыбели, Шолом-Бер,

когда его вели через базар в стан, опустил голову, а жена его, богачка Стися-Перл, от позора спряталась дома... Народ стоял, смотрел и молчал, а в душе радовался: во-первых — поделом! Пускай богач не будет так уверен в себе. А во-вторых, Шолом-Бера вообще не любили в городе за то, что был он, не о вас будь сказано, большая свинья, сквалыга, а жена его Стися-Перл жалела нищему кусок хлеба, хотя были они, как говорят в Теплике, «напиханы деньгами», и детей у них к тому же не было... «Будь у меня их деньги, — желал себе каждый тепличанин и тут же делал большую скидку: — Будь у меня хотя бы половина, хотя бы треть того, что есть у них, городу от меня было бы больше радости!» И вполне возможно! Но так как в Теплике деньги были только у Шолом-Бера Теплицкого и у его жены Стиси-Перл, то никому это радости не доставляло — ни городу, ни богачу Шолом-Беру, ни богачке — его жене. А может быть, этим двоим это и доставляло удовольствие? Все зависит от того, что вы называете «удовольствием». Для тепликских евреев «удовольствие» — если вы везде и всюду на первом месте: и в синагоге, и на собрании, и на торжестве; если каждый торопится к вам навстречу с пожеланием доброй субботы, веселых праздников, доброго дня; если все замолкают, когда вы говорите, и что бы вы ни сказали, все остроумно. «Удовольствие» — когда раз в году, в праздник торы *, все собираются к богачу Шолом-Беру Теплицкому из Теплика. Он восседает, «как царь в кругу воинов», то есть по-царски, на самом почетном месте за столом, велит гостям выпить по маленькой, а богачка Стися-Перл заглядывает в рюмки. Потом запевают песню, пускаются в пляс... Все это удовольствия, которые вы не можете испытать, если вы не житель Теплика. Да и вообще, чего стоит то, что человек чувствует: он здесь один, только он здесь «нечто», а больше никто?

В Теплике был один Шолом-Бер Теплицкий. В Теплике лишь он один был такой, а больше никто.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Веселый бедняк

Не будь в Теплике доносов и доносчиков, то есть людей, которые следят друг за другом, чтобы не совершалось преступлений и неблаговидных дел, — девяносто девять грехов из ста оставались бы безнаказанными, и город был бы полон грешников, как Содом. Но так как в Теплике зорко следят один за другим, то стоит кому-либо заметить, услышать или пронюхать чье-нибудь прегрешение, стоит померещиться, что кто-то кому-то учинил несправедливость, как они тут же садятся и пишут в адрес «начальства» несколько слов: «Дело обстоит так, мол, и так. Если не верите, потрудитесь пройти туда-то, там вы обнаружите то-то...» А если потом окажется, что все это чепуха, тоже невелика беда: наказания за это не полагается, потому что подписывать свое настоящее имя не обязательно, можете подписаться скрытно: «Ревнитель правды», или «Добрый друг», или «Друг закона», а можно и вообще без всякой подписи, лишь бы было указано, куда надо пойти и *что* искать... Плисецкий имел все основания хвастать, что штатных шпионов ему не требуется, — тепликские жители сами неплохие шпионы.

После такого предисловия вас не удивит, что однажды, в одно прекрасное утро, рыжий Берл, что с кривой ногой, был застигнут как раз в ту минуту, когда он сидел на полу, подоткнув полы своего кафтана, над большой бутылью с изюмным вином и разливал этот напиток в небольшие бутылки, которые сам разносил по пятницам своим клиентам. Он со смаком жевал пробки, приколачивал их сверху рукой и сильно при этом потел.

Плисецкий осторожно приоткрыл дверь, увидал, как увлекся работой рыжий Берл, постоял несколько минут на пороге, переглядываясь с полицейскими, а когда Берл поднял глаза и увидал Амана Ивановича, стоящего у дверей, он поднялся с пола, подковылял к нему на кривой своей ноге и посмотрел ему прямо

в глаза, словно хотел сказать: «Ты, наверно, меня сейчас оштрафуешь? Ну что ж... Но что ты у меня возьмешь? Нужду мою?»

Почему наш Берл так храбрился? Да потому что ему нечего было бояться. Правда, он приготовлял изюмное вино, разливал его в бутылки и разносил по своим знакомым к субботней трапезе... Этим он жил, но каким было вино, такой была и жизнь! И вино не было вином, и жизнь не была жизнью. Просто так, для очистки совести, — было бы над чем произнести слова молитвы «создателю плодов винограда»: все-таки не простая водка... Да и как-никак это занятие, хотя заработаешь на нем едва на воду к хлебу... И все же это лучше, чем ничего... Бог ты мой, сколько в Теплике людей, которые не делают ничего, не зарабатывают ничего и не имеют ничего, абсолютно ничего!

И вот именно эти «ничегошные» люди, которые не работают, не зарабатывают и не имеют ничего, позавидовали рыжему Берлу, который живет, как «магнат», имеет, говорят, по субботам рыбу, и мясо, и булку, и детей в хедере обучает, и кое-кому платьице справит, и козу собственную тоже держит, — и все это из горсти изюма, которую он превращает в вино к субботней трапезе! И Плисецкому было направлено письмо, написанное в известном стиле и начинавшееся следующими словами:

«Так как мы всегда стоим на страже казны и ее интересов, и так как для казны, конечно, большой ущерб, когда кто-нибудь торгует без патента, и так как Берл-рыжий (он же Берл Кривак) торгует вином без всякого патента уже много лет подряд, и так как сам он, Берл-рыжий (он же Берл Кривак) изготовляет вино своими собственными руками, и так как фабрикация оного вина происходит у Берла-рыжего (он же Берл Кривак), и так далее».

Уверенность нищих в себе — дело не шуточное: чем беднее бедняк, тем более он уверен, гораздо больше, нежели самый крупный богач. Я сам слыхал, как один бедняк говорил другому:

— Чего ты ко мне равняешься, паршивец этакий?

Ведь у тебя же еще сапоги целые и кое-какое пальто на плечах, а я о таких вещах даже понятия не имею!

Эти слова были произнесены с такой гордостью, что, будь тут Ротшильд, и он оторопел бы.

Аман Иванович тем временем осматривал апартаменты Берла-рыжего — две комнатушки и кухню. Все было заставлено кроватками, а кроватки были заняты ребятишками, а ребятишки были полуголые, то есть от шеи до пупка одетые, а от пупка и ниже — голые и, конечно, босые. Для этой полуголой и босой команды пристав был желанным гостем, какого они никогда еще не видывали. Они не поленились, сошли с кроваток, осторожно подобрались к барину, смотрели ему в лицо, разглядывали золотые пуговицы, щупали темляк на шашке. А Плисецкий между тем вел с Берлом-рыжим разговор, который мы передаем слово в слово.

Плисецкий. Судя по тому, что о тебе пишут, ты зарабатываешь крупные деньги?

Берл. Грех жаловаться. Дай бог дальше не хуже. А лучшему конца-краю нет.

Плисецкий. Почему же у тебя дети ходят разутые, раздетые?

Берл. Это — чтоб лучше росли.

Плисецкий. А с деньгами что ты делаешь?

Берл. Поступаю, как учит талмуд.

Плисецкий. Талмуд? А как же учит ваш талмуд?

Берл. Талмуд учит делить деньги на три части: часть — в земле, часть — в наличности, а часть — в оборот.

Плисецкий. Ты, вижу я, человек веселый.

Берл. А чего мне печалиться? Чего мне не хватает и что я имею? Ты лучше скажи мне, дорогой барин, что там пишут на меня и что мне грозит после твоего визита?

Плисецкий. Все будешь знать, скоро состаришься. Ты лучше покажи мне твои шкафы. Мне еще надо у тебя кое-что поискать. Авось я у тебя, кроме вина, найду еще что-нибудь...

Берл. О, с величайшим почтением! Если найдешь

где-нибудь ассигнации, или золото, или серебро — пополам: половина мне, половина тебе.

Плисецкий. Что-то ты больно веселый. Как перед смертью.

Берл. Возможно! Никто не знает, кого смерть подстерегает. Как у нас в талмуде сказано: «Кайся за день до смерти». А так как человек не знает, когда курносая его за глотку схватит...

Но тут пристав его перебил, позвал с улицы полицейских и велел взять его в кутузку. У Берла похолодело внутри, а в доме поднялся вопль, словно покойника вынесли.

Понятно, что история эта стала известна всему городу из конца в конец, и со всех улиц сбежались поглазеть, как еще одного еврея ведут в кутузку неизвестно за что. То есть «за что» все тут же узнали. Как может быть, чтобы в Теплике да не узнали? Тем более что все видели, как Аман Иванович нес бутылку с вином, которое Берл изготовлял на продажу без патента. Вопрос только, чем это ему грозит? Штрафом или тюрьмой?

Над этим тепликские жители ломали себе головы и жалели бедняка Берла гораздо больше, чем богача Шолом-Бера, но ничем помочь не могли, разве что сочувственным вздохом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Еще один преступник

В этот день Аман Иванович принялся за тепликских евреев по-настоящему. Он сцапал еще одного, который, собственно, ни в чем не провинился, но... Дело, в общем, обстояло так.

Жил в Теплике помощник меламеда Генех-холостяк. У этого Генеха был старший брат Довид-Лейб, который в нынешнем году должен был призываться и хотел получить льготу, так как младшему брату Генеху еще не исполнилось восемнадцати лет. Так заявлял Довид-Лейб, и то же доказывали бумаги, которые он представил в воинское присутствие в Гайсине.

Однако мало ли что может заявить еврей и какие бумаги он «представит»: надо осмотреть самого парня, тогда будет ясно, сколько ему лет. И вот Плисецкий получил предписание представить Генеха в Гайсин, а когда Плисецкому пишут «представить», значит надо представить. Вот он и прислал урядника, парня взяли и привели к приставу в стан.

Цвет лица у Генеха — что называется покойницкий, к тому же у него было бельмо на одном глазу, смотрел он искоса и тряс головой. От испуга, так как его схватили неожиданно и неизвестно за что и почему, Генех выглядел очень дико, на пристава он произвел весьма неприятное впечатление, и между ними произошел короткий, но горячий разговор.

— Это ты Генех Телерлекер? — налетел на него Плисецкий и окинул взглядом с головы до ног.

— Это я Генех Телерлекер! — бойко ответил Генех и, тут же, сообразив, что вызвали его по поводу призыва брата Довид-Лейба, добавил, забегая вперед, не дожидаясь, пока зададут новый вопрос: — Мне еще и восемнадцати лет нет, честное слово нет!

— Вот как? Не считая суббот и праздников! — ответил Плисецкий, заглянул ему прямо в глаза и увидел бельмо.

У Генеха от этого взгляда потемнело в глазах, похолодело в животе и защемило сердце. В голове мелькнула печальная мысль: «Конец льготе, пропал Довид-Лейб!» А Генеху очень хотелось удружить бедному брату, и он решил заступиться за него. Он вдруг обрел дар речи и стал лопотать без удержу.

— Клянусь вам, что мне всего семнадцать лет и один месяц, а может быть, и месяца еще не хватает! Вернуться бы мне так благополучно домой! Вы не смотрите на то, что я, может быть, выгляжу старше, это у нас порода такая... К пятнадцати годам у нас начинает борода пробиваться...

Плисецкий смотрел на Генеха, покачивал головой и улыбался, будто хотел сказать: «К твоему бельму и цвету лица тебе только бородки не хватает...» Затем сказал сотскому, чтобы тот, пока он просмот-

рит бумаги, отвел парня вниз, в кутузку. И Генех сразу же утратил всю свою бодрость, лицо его стало бледнее обычного, а в душе он уже окончательно похоронил своего брата-беднягу: «Эх, плохи твои дела, Довид-Лейб, горе тебе!..»

— Слышь ты, человечина, богом мечена! А ты как попал в каталажку? Какие дела натворил? Кто на тебя донес?

Так обратился Берл-рыжий к новому попутчику, к Генеху, а богач Шолом-Бер Теплицкий из Теплика стал его разглядывать с головы до ног, как разглядывают вора, только что пойманного с поличным. Генех, в свою очередь, смотрел на богача совсем ошеломленный и от восторга, что видит перед собою самого Шолом-Бера, стал лопотать, сам не зная что. Берл-рыжий, который никогда, как мы уже знаем, не терял присутствия духа и любил шутить, даже когда ему субботу не на что было справить, теперь захотел щегольнуть перед богачом, подтрунивая над глупым парнем, как это бывает с бедняком, когда он встречает другого бедняка, почище его самого, и, чтобы доставить удовольствие богачу, попирает этого бедняка ногами.

— Беда прямо-таки со мной... И сам еще не знаю... Мой Довид-Лейб, бедняга, горе мне! А вдруг... Я знаю? Может быть, мне и больше восемнадцати? Тогда он пропал, упаси бог... — лопотал Генех, рассказывая о том, как он попал сюда.

— Чего губами шлепаешь? — перебил его Берл-рыжий. — Дурья голова! Говори по-человечески! Языком ворочай!

— Я это насчет моего Довид-Лейба бедного, — отвечает Генех и вдруг останавливается и спрашивает у Берла-рыжего: — Как я выгляжу, к примеру, на ваш взгляд?

— Как ты выглядишь? Как дикая образина! — отвечает Берл и сам же смеется своему остроумному ответу.

В то же время он оглядывается на богача, смеется ли тот... Но богачу не смешно. Он разглядывает

несчастного Генеха, оборванного, обшарпанного, и удивляется: для чего, скажите, живет такое существо на белом свете?

— Нет! — говорит Генех, глядя одним глазом на богача, а бельмом — на Берла. — Я не о том! Я хотел спросить, сколько, к примеру, вы дали бы мне?

— Чего дали бы?

— Лет то есть... Вот что.

— Ах, сколько тебе лет? Думаю, что не больше двадцати двух, а может, — еще и с хвостиком?

Генех от досады и злобы даже взвизгнул и налетел на Берла-рыжего, словно тот хотел его зарезать.

— Сдурели или спятили? Что это вы говорите? Совсем недавно Довид-Лейбу двадцать исполнилось, а он на два с половиной года старше меня... Как же вы считаете? Лишь бы сболтнуть?

При этом Генех выглядел таким убитым и печальным, лицо его так жалостливо вытянулось, что даже сам богач заинтересовался и спросил:

— Вы, стало быть, братья, как я понимаю?

— Нас два брата и мать-старуха, значит, и девочка лет тринадцати в служанках, и еще братишка поменьше — в лавке на побегушках, и еще две маленькие девочки и мальчик в талмудторе...* И всех ему кормить... А если, упаси и помилуй бог, он уйдет, всем нам прицепить по торбе и пойти по миру...

И Генех рассказывает, как умеет, всю историю с призывом, со льготой, о том, что кто-то, видно, донес будто ему больше восемнадцати, хотя он может присягнуть, что ему еще нет восемнадцати, но, как назло, у него, у Генеха, растет борода, и все говорят, что он выглядит, как двадцатилетний, если не старше... А если так, то ведь у Довид-Лейба никакой льготы и в помине нет... Что же они будут делать, если он уйдет?..

Генех отворачивается, начинает якобы кашлять, сморкается и вытирает глаза.

— Жалость какая... — невольно вырвалось у богача.

— Недоля! — прибавил Берл-рыжий с полуусмешкой, долженствующей означать и иронию и сочув-

ствие. — Он, как видите, хорош, а братец у него, — я его знаю, — вообще какой-то придушенный... Он годится в солдаты точно так же, как и я...

И чтобы видно было, что он, Берл-рыжий, действительно в солдаты не годится, он выставил вперед свою кривую ногу...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Этап тронулся

До того дня, когда происходит действие нашего рассказа, до последней минуты этого дня теплискскому богачу Шолом-Беру не верилось, что его вышлют по этапу в Гайсин. Он все время хорохорился, писал бумаги, искал протекции. Однако Плисецкий, в свою очередь, всячески стремился к тому, чтобы наш теплискский богач совершил прогулку из Теплика в Гайсин по этапу и обязательно — пешком.

— Ты пойдешь у меня «мит ди раглаим»! — сказал ему, по своему обыкновению, Аман Иванович, наполовину по-русски, наполовину по-древнееврейски. — Ножками!

День, будто назло, выдался ясный, теплый, летний. Словно жених из-под венца, выглянул огненный шар солнца, весело, как богатырь, приготовился он совершать свое великое небесное путешествие, освещать всех своим сиянием, обогревать всех своим теплом... Никто не спрячется от его зноя, когда он разгорится как следует и накалит землю, словно печь огненную.

Лавочники покинули свои лавки, ремесленники — свои верстаки, меламеды — свои хедеры, — все шли смотреть, как богача ведут по этапу. Теплискские жители, глядя на богача, стоявшего с опущенной головой, говорили друг другу, что вот с кого надо пример брать. Но в душе они радовались: дожили однако!.. Жаль было людям только Берла-рыжего и Генеха-холостяка. Для богача вынесли витые булки, жареных уток и прочую снедь на дорогу. А Берлу-рыжему жена и дети принесли булку, отварную картошку с перцем да еще связку молодого чеснока. Одному

только Генеху ничего не принесли. Тогда чужие люди собрали немного мелочи и купили ему буханку хлеба, несколько рыбешек и луку, и все эти яства передали конвою в руки. Конвой все это принял очень любезно, обещал, что все будет цело и ничего из этого не пропадет. На крыльцо вышел Аман Иванович, приказал этапу трогаться, и этап тронулся, а за ним — весь Теплик.

Конвой состоял из одного сотского Лавра — волосатого существа в волосатой свитке и высокой мохнатой шапке, с большой суковатой палкой с деревянным набалдашником и острым, словно штык, железным наконечником. Жареных уток и соленую рыбу он взял под одну руку, булки, чеснок и прочую зелень — под другую, рапорт сунул за пазуху, и все двинулись в путь — быстро, гораздо быстрее, чем можно себе представить. Быстрота объяснялась тем, что наши арестанты хотели как можно скорее выбраться из города и просили сотского Лавра разогнать малышей, которые не поленились и проводили этап далеко-далеко, аж по ту сторону мельниц. Лавр поднял свою палку с наконечником, и озорники разлетелись, как вспугнутые птицы. Арестанты остались одни в чистом поле и уже перестали стремительно мчаться вперед, замедлили шаг и заговорили с конвоем насчет того, чтобы присесть на зеленой травке и малость дух перевести.

Конвой, то есть сотский Лавр, — человек неплохой. Он очень скоро согласился на это, тем более что и сам хотел отдохнуть и перекусить, попробовать жареной утки, запах которой всю дорогу щекотал в носу. От витых булок он уже, собственно, успел отщипнуть кусок-другой и нашел, что они недурны на вкус. Попробовал он и рыбки, которая оказалась вполне приемлемой, особенно с чесноком. Так как арестанты шли впереди, а конвой позади, то они не заметили, что тот жует. А когда заметили, заговорили друг с другом по-еврейски:

— А мужичок-то довольно аппетитно уписывает! — заметил богач, глядя, как Лавр щиплет булку и сует куски в рот.

— Сказали бы хоть «не сглазить»! — ответил Берл-рыжий, шутя по своему обыкновению. — Готов поклясться, что, глядя на него, я и сам есть захотел. А ты что скажешь, Генех? У тебя еще не урчит в животе?

Генех-холостяк смачно проглотил слюну, как бык во время жвачки, и проговорил на своем странном языке:

— Сказать чтобы я сильно проголодался, не могу, но... вообще... я закусил бы, пожалуй, было бы что.

— У меня есть все, — сказал богач и взглянул на конвоира.

— По-моему, без рюмочки это еще не все! — заметил Берл-рыжий и нарочно перевел свои слова, чтобы Лавр понял, о чем идет речь: — Чи правда, Лавре, що без горилки, як без зубов?

— Авжеж! — ответил Лавр вполне серьезно.

Они перекидывались словами до тех пор, пока не решили: так как отсюда недалеко до Гранова, всего две-три версты, пусть один из арестованных, — Генех-холостяк конечно, он еще молодой, — сбегает туда на одной ножке и принесет бутылку водки, а остальные два арестанта — Шолом-Бер Теплицкий и Берл-рыжий поручатся за него, что он не убежит. Все присели на травке, на пригорке под деревом, оба арестанта затеяли разговор, а конвой уселся рядом и стал смотреть на дорогу в Гранов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он ему напоминает о старых грехах

Будь я художником или хотя бы фотографом, я снял бы эту группу, эту троицу, сидящую так живописно посреди поля, на пригорке, под грушевым деревом с мелкими зелеными листочками, деревом, на котором растут дикие грушки, тверже камешков, — их и в рот нельзя взять, не знаешь даже, для чего их создал господь бог...

Между сотским Лавром в высокой мохнатой шапке, с одной стороны, и рыжим Берлом с кривой

ногой и красным подвижным лицом в веснушках, с другой стороны, наш тепликский богач, Шолом-Бер, с маленькими глазками и редкой бороденкой, в новом суконном кафтане и субботнем шелковом картузе, выглядел как важный гость на свадьбе среди мелкой братии или как высокопоставленная личность среди простых людей, имеющих честь сидеть с ним рядом. Такой человек держится как будто просто, как будто наравне со всеми, а все же не совсем так. О чем ему угодно, о том и говорит; к тому, что он говорит, надо прислушиваться, а когда говорит другой, он может перебить его речь на полуслове.

— Что вы скажете, какая жара? — обратился он к рыжему Берлу, вздохнул, огляделся по сторонам, закатал рукава до локтей и стал обмахиваться шелковым картузом.

— М-да, не холодно! — ответил Берл и тоже взглянул в ту сторону, куда смотрел богач.

— Хоть бы дождя не было! — сказал богач и посмотрел на небо.

— Да... В самый раз по нашим шелковым одеждам! — ответил в тон ему Берл и снова взглянул в ту же сторону, что и богач.

— Неплохой мужик наш страж! — произносит богач и следит взглядом за длинной порожней телегой, запряженной парой крупных волов. В телеге сидит маленький мальчик и крутит в воздухе кнутом.

— Наш страж? — отвечает Берл. — Черт мог бы взять вместо него троих наших евреев, из тех, что доносят на бедняка, который приготовляет несколько бутылок изюмного вина, разносит их по знакомым и тем кормится с женой и детьми вот уже сколько лет.

— Как вы думаете? — перебивает его богач и смотрит на дорогу, ведущую в Гранов. — Как вы думаете? Он не заблудится, то есть я хочу сказать, он не удерет, этот наш парень, как вы его называете?

— Вот этот малахольный? — говорит Берл и глядит на дорогу, ведущую в Гранов. — Разве он провинился в чем-нибудь или совершил преступление? Чего

ему бежать? Он такой же преступник, как и я, к примеру.

— А чем может кончиться для вас это дело? — спрашивает богач, поглядывая на Берла сверху вниз одним глазом. Другой глаз прикрыт, а во рту у него травинка, которую он жует.

— Какое дело? Изюмное вино? «Рестантскими» ротами такая «уголовщина» не грозит! Но мало ли как меня могут наказать? Я разве знаю? Пускай накажут, — что мне от этого? Что они у меня возьмут? Нужду мою? Разве что посадят? Ну что ж, посидим денек-другой. Другое дело — вы! Ведь вы же, не сглазить бы, человек богатый! Скажу вам по правде, реб Шолом-Бер, уж вы, пожалуйста, не обижайтесь, но я на вашем месте не стал бы сидеть в кутузке из-за такой глупости, из-за помойного ведра! Во-первых, я не спорил бы с полицией, а во-вторых, будь я в таком положении, как вы, меня не водили бы по этапу за такое дело. Сам Теплик не должен был бы допустить, чтобы первый богач в городе шел по этапу, как простой человек, наравне со всеми нищими...

В другое время Берл-рыжий получил бы от теплихского богача как полагается за такие речи — он, наверное, «открыл бы головою двери» за такие разговоры. Но сейчас, следуя по этапу в Гайсин, Шолом-Бер смиренно принимал все. Сейчас ему можно было говорить что угодно. И Берл-рыжий сводил с ним счеты, правда по-хорошему, не ссорясь. Он пододвинулся со своей кривой ногой вплотную к богачу, так что тот вынужден был немного отодвинуться, и начал:

— Вы помните, реб Шолом-Бер, с каких пор мы знаем друг друга? Ведь этому уже много лет! Я вас помню, когда вы были еще вот таким малышом (Берл опустил ладонь чуть ли не до самой земли). Вы, вероятно, одних лет со мною, а может быть, старше на год-другой, и должны меня помнить, потому что мой дед и ваш отец... не пугайтесь, не родственники, то есть, может быть, и дальняя родня по материнской линии, но довольно близкие соседи по местам в старой синагоге: ваш отец — у восточной стены, а

мой дед — у противоположной, так что, когда вы молились стоя, мы видели вашу спину. Я даже помню еще блестящую атласную спину вашего отца, его широкие плечи и серебряную кайму на талесе. А мой дед, реб Нафтоли-винокур, — вы его, наверное, помните, — накинет, бывало, на голову свой желтый талес и потихоньку меня щиплет, чтобы я смотрел в молитвенник, потому что молиться мне хотелось так же, как вам. Я отлично видел (ведь я стоял позади), что во время тихой молитвы «Восемнадцать благословений» вы смотрели вниз на свои сапожки, которые у вас скрипели. И как же я завидовал, что на вас всегда новые сапожки, а на мне всегда старые, в заплатах, потому что из-за больной ноги я никогда не мог иметь порядочных сапог, да и вообще она причиняла мне немало горя: помимо того что мне трудно было ходить, надо мной постоянно смеялись, называли «кривулей» и передразнивали мою походку... И больше всех — вы, реб Шолом-Бер, не к стыду вам будь сказано, и еще такие же сынки богатых, «панские козлята», вроде вас...

— Я? — всполошился богач, но тут же вспомнил, что это правда: ведь он и в самом деле дразнил Берла-рыжего и подражал тому, как он ковыляет.

— Но это бы еще с полгоря. Вы не хотели принимать меня в компанию, гнали палками, наступали на больную ногу, становились, будто нечаянно, каблуками на пальцы, так, чтобы я почувствовал, чтобы кричал. Я кричал, а вы хохотали, за бока хватались...

— Это вы, вероятно, уже выдумываете! — сказал богач, краснея от стыда за то, что так издевался над калекой, и вспоминая, как был он избалован в детстве и мог делать что вздумается.

— Еще скажу: я рассказал про это деду, а он — вашему отцу. А ваш отец не захотел верить и раскричался на моего деда, что его сын — мальчик тихий и не станет водиться с «детьми нищих». Понимаете? Дети нищих! С тех пор я узнал, кто я такой, узнал, что я дитя нищего... Я спросил у деда, что это значит, и дед растолковал мне, что значит дитя

нищего и что такое дитя богача. И все же я не понимал, почему сын богача имеет право наступать на ногу сыну нищего, а сын нищего должен молчать. Я и об этом спросил деда, а дед сказал: «Потому что богач — это не нищий, а нищий — не богач, то есть, богач — это богач, а нищий — это нищий». Я все равно ничего не понимал и смотрел деду в глаза, авось я по глазам его узнаю, в чем смысл этих слов. Но и в глазах я ничего не увидал! Я видел только темную тучу на его лице, морщины на лбу и больше ничего... И должен признаться, — дело прошлое, — с тех пор я возненавидел всех богачей, и всех детей богачей, а больше всех невзлюбил вас...

— Меня? — Богач даже за сердце схватился.

— Вас, вас! Вы были тогда еще совсем мальчишкой, извините, молокососом. Оба мы тогда были совсем еще малышами. Но и потом, когда мы повзрослели, стали подростками, вы отворачивались, притворялись, будто не знаете меня, боялись взглянуть в мою сторону, а вдруг я с вами поздороваюсь и вам придется мне ответить...

Тепликский богач Шолом-Бер даже заерзал на месте и махнул рукой, будто желая сказать: «Это, положим, не так...» Но про себя вспомнил, что это, возможно, и так, потому что отец всегда внушал ему, что он не ровня другим мальчишкам...

— Уж вы извините меня, реб Шолом-Бер, мелочь запоминается. На свою первую свадьбу (вы женились раньше меня) я послал вам приглашение, но вы даже письмом не ответили мне.

— Право, не помню...

— Где уж вам помнить? Ведь вы, наверное, не помните и того, что я, не теперь будь сказано, оставшись вдовцом, послал своего дядю Иосю (дед тогда был уже на том свете) к вам и просил сказать, что я остался один, как в пустыне, с двумя малыми детьми... Но вы ответили, что не занимаетесь мирскими делами...

— Я так ответил? Смотрите-ка, а не соврал ли ваш дядя Иося?..

— Может быть, вы и правы... Я знаю только, что вы не помогли мне ни тогда, ни в другой раз, когда я погорел, выбежал из дому в чем мать родила, да и потом, когда мы однажды встретились в Гайсине, в заезжем доме, если помните, во время ярмарки... Вы, если не ошибаюсь, приехали не то покупать пару лошадей или корову, не то рожь продавать?..

Богач тер лоб, как человек, желающий вспомнить то, что позабыл, и удивляющийся тому, что другой об этом помнит. И возмущает его то, что Берл-рыжий, который в Теплике не удостоился бы чести парой слов с ним перекинуться, сейчас имеет наглость выговаривать ему за прежние ошибки, напоминать старые грехи! Шолом-Бер хотел заговорить, но в это время прибежал из Гранова Генех с бутылкой водки. Он запыхался, так как бежал, боясь, что кто-нибудь встретится по пути и поймает его.

Все три преступника садятся за трапезу, выпивают по рюмочке, угощают конвоира парой стопочек. Тот не отказывается, но морщится, вытирает волосатой свиткой густые усы и посылает ко всем чертям Гранов с его крепкой водкой.

— Дуже гирька, нехай ёму сим чертив! [1] — произносит Лавр и машет рукой, как человек, зарекающийся когда-либо взять в рот хотя бы каплю!

Тем не менее, когда после рыбы принялись за утку, его уговорили выпить еще стаканчик. Это стоило немалого труда, но Лавр все-таки уступил и выпил до дна, так как ему хотели налить еще стаканчик.

Перекусив, все прилегли в тени под грушей, — не дремать, упаси бог, а просто так смотреть в небо, следить за облачками, которые плывут, расползаются и вдруг исчезают, словно дым, а стая ворон, построившись «глаголем», парит, парит и остается на том же месте.

Лежать лицом кверху и смотреть в небо после еды — прекрасное средство от бессонницы. Первым доказал это сам конвоир, который сразу же захра-

---

[1] Больно горькая, семь чертей ей! *(укр.)*

пел, как перепуганная лошадь. Следом послышался аккомпанемент из ноздрей Генеха, которые тоже работали неплохо, хотя он поминутно просыпался от собственного храпа и лопотал, по своему обыкновению:

— Устал здорово, бежал добрых четыре версты... Боялся... пристав налетит, поймает меня...

Только тепликский богач Шолом-Бер и Берл-рыжий не спали. Богач заинтересовался, — с какой просьбой хотел к нему обратиться Берл в Гайсине, на ярмарке. И Берл рассказал историю, которую мы передаем слово в слово.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мелочь запоминается

— Уж вы извините, не обижайтесь, мелочь запоминается, — так начал Берл свой рассказ, по своему обыкновению, самым миролюбивым тоном. — Приехал я в Гайсин на ярмарку: мои волы в то время еще только подрастали, а корабли мои были далеко на море. Что же мне было делать в Гайсине на ярмарке, хотите вы знать? Я приехал посмотреть жениха для своей старшей дочери от первой жены. Решил я, понимаете: первое дитя, сирота, молода еще, правда, но мачеха долбит, что надо ее замуж выдать. Хотя, спросите, а что ей от того, что я выдам девушку замуж? Кто будет помогать варить и печь, мыть малышей и кого она станет проклинать и таскать за косы? Но поди поговори с женщиной! Словом, решили выдать. Однако легко сказать: «Выдать!» Как выдать? На какие шиши? В нашем положении как-никак, а приодеть нужно? Это так говорится, конечно, «приодеть», а речь идет о ситцевом платье, о паре ботинок и чулок, о полудюжине хотя бы рубах, и постель тоже нужна — пара подушек, покрывало, одеяло какое-нибудь... Ну, и как не дать хотя бы сотню в приданое? А тут и ста копеек нет! И словно назло сват Мойше-Арн, черт бы его побрал (вы его, наверное, знаете), так и сыплет письмами,

шлет одно за другим: есть, мол, в Гайсине находка, одна у господа бога, вторая у столяра Янкла,— паренек скромный, но удачный, и учился, и писать умеет, и на скрипке играет,— свет на нем клином сошелся! А я ему, то есть Мойше-Арну, отвечаю, что, во-первых, я еще не собираюсь дочь выдавать, а во-вторых, хочу знать, сколько он хочет приданого? Может быть, это мне не по карману? А в-третьих, пускай столяр Янкл приедет и посмотрит невесту... И вот прибывает ответ от него, от Мойше-Арна то есть: то, что я не собираюсь выдавать дочь, это чепуха, он придерживается того мнения, что девушка — это не парень... Как вам нравится такая мысль? А мой вопрос относительно приданого вообще глупость! Ведь речь идет не о быке, чтобы надо было торговаться! Так он и пишет. А смотрины, говорит он, ни к чему. Смотрины, можно считать, уже состоялись. Какой-то гайсинец был у меня в доме и прямо-таки, говорит он, нахвалиться не может! Короче говоря, письма туда, письма сюда,— взял я ноги на плечи и отправился пешком в Гайсин. Прибыл, увидал парня и прикипел к нему! Ну, что вам сказать? В жизни своей, с тех пор как на ногах стою, такого не видал и не слыхал! Лицом — принц! Головой — министр! Язык — жемчуг! Руки — золото! И в учении силен, и говорит, и пишет, и читает,— расцеловать его, да и только! А играет на скрипке — куда там всем музыкантам на свете! Я даже не знаю, где такие родятся? Словом, ошеломил меня этот архаровец, и я дал себе слово, хотя бы весь мир перевернулся, я должен получить этого парня в женихи! Но поди возьми, когда не берется! Не с чем, хоть ложись да помирай! Одна сотня, будь у меня одна сотня,— обернуться, понимаете? Парню было безразлично, хоть давай ему, хоть не давай. Но столяр, пропади он пропадом, уперся: раз навсегда, хоть бы сама царевна пришла, без приданого он парня под венец не пустит!

— Реб Мойше-Арн,— говорю,— чего же вы молчите?

— А чего мне кричать? — отвечает тот.— Найдите какой-нибудь выход, а то — скверно: с этим сто-

ляром ничего не поделаешь, уж он такой, я и сам хотел его рубанком по башке стукнуть!

Слыхали разговор? А тут жених вертится перед глазами, и нет мне покоя! Чувствую, что кончаюсь, таю, смерть моя пришла!

Между тем узнаю в заезжем доме, что здесь реб Шолом-Бер Теплицкий! Сам бог, думаю, привел сюда вас! И я не поленился, подхожу и здороваюсь с вами честь честью, как сейчас, скажем. Что я имел в виду? Я думал, вы, наверное, спросите, что я делаю в Гайсине? А я скажу — дочь просватал. Вы спросите, за кого? Я скажу: за сына столяра Янкла. Тогда вы спросите: сколько я даю приданого? А я отвечу: в том-то и беда, что столяр велит положить на стол сотню, а у меня шиш с маслом, а не сотня... И тогда все будет ладно. Понимаете? Но как же быть, если вы и не спросили даже, почему я в Гайсине? Тогда я не поленился и рассказал, что приехал не ради ярмарки, а дочь просватать. И опять-таки что я имел в виду? Я думал: вы не утерпите, спросите, с кем я собираюсь породниться? Я скажу: со столяром Янклом. Вы спросите: сколько я даю приданого? А я отвечу: в том-то и беда!.. А на поверку — где там? Что там? Вы и не подумали спросить! Тогда я не поленился и сам рассказал, кто да что, и расхвалил парня, как он того заслуживал. Словом, я говорю, а вы молчите! Вижу, что слова мои вам и в голову не лезут, или, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Тогда я подумал, чего тут разводить политику? Скажу все как есть, знаете, — рвать зуб, так с корнем! Ну, и вы, конечно, отказали мне, как мертвому, да еще и окатили как следует!

— Окатил? А что я сказал?

— Хотите, чтобы я напомнил? Мелочь запоминается. Вы даже спросили, какое отношение я имею к вам, чтобы вы ради меня разбрасывались сотнями?

— Вы, наверное, не сказали, на что вам требуются деньги...

— Да как еще сказал! Вы даже посмеялись: «А если бы вам вздумалось породниться с Ротшильдом?» * А когда я рассказал, что жених играет на

скрипке, вы спросили (мелочь запоминается!): «Почему на скрипке, а не на трубе?» Я терял последние силы, сердце разрывалось на части, а вы подтрунивали, шутки шутили. Видать, хорошо у вас было на душе...

Тепликский богач Шолом-Бер слушал эту историю, потел и молчал. Всего в точности он не помнит, но какая-то история со ста рублями была, — это он знает наверное... И стыдно ему перед самим собою, почему он тогда отказал бедному человеку в том, что для него, богача, было мелочью, — мало ли у него сотен! — а для того — величайшим благом. Да и сам по себе рассказ заинтересовал Шалом-Бера, и он спросил:

— Ну, а сватовство чем же кончилось?

— Ничем.

— Как это ничем?

— Не захотел он, столяр то есть, хоть кол на голове теши!

— А дочь? А ваша девушка?

— Дочь? Горе мне горькое! Давно уже в могиле... Сам угробил... Своими руками дитя свое угробил... То есть чем я виноват? Из ничего я денег сделать не мог!.. Подождали еще год, еще два... Еврейских монастырей нет, а мачеха не перестает долбить... Словом, выдал ее за переплетчика, бедняка, за порядочного, правда, человека, но за больного, чахоточного... Промучился он несколько лет и помер, оставив мне в наследство троих внуков-сирот, потому что она заразилась от него чахоткой и через год померла вслед за мужем. Понимаете, какая история? И теперь, — мало того, что у меня дети от обеих жен, — я должен еще и о трех сиротах заботиться. Зато посмотрели бы вы, какие дети, не сглазить бы! Не знаю, есть ли еще такие удачные дети у самого крупного богача во всем мире! «Дедушка, куда тебя ведут?» — спросили они, когда Аман велел взять меня в кутузку. «В Гайсин, — говорю я, — на один денек еду. Привезу вам оттуда «чикелад»!» Думаете, они не поняли, что я их обманываю? Посмотрели бы вы, как они все трое

окружили меня, будто ягнята, не плакали, нет! Только слезы висели на глазенках. Можете понять, что это за дети, когда сам Аман Иванович достал из кармана пятиалтынный и подарил им на конфеты.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Касается Генеха-холостяка и его семьи

Берл-рыжий вовремя умолк, поднялся с места, выпрямил больную ногу, подошел к Генеху и угостил его щелчком по носу.

— Слышь ты, растяпа! Хорошо выспался?

От щелчка Генех проснулся, протер глаза и, увидав, что богач смотрит на него, быстро поднялся с земли и начал лопотать, по своему обыкновению:

— Даже и не думал спать... Все думал, а вдруг, честное слово, скажут, что мне больше восемнадцати, что будет с детьми?..

— Ну и язык, отсохнуть бы ему! — обратился Берл-рыжий к богачу. — Хорош гусь! Можете себе представить, когда я в сравнении с ним богач! Это он мне обязан тем, что его Довид-Лейб имеет такую должность и может содержать, не сглазить бы, семейку из восьми едоков!

— Девятерых, вы хотите сказать! — поправил его Генех на своем, вывернутом наизнанку языке. — Два брата, и старуха мать, и девочка лет тринадцати в служанках и еще братишка поменьше в лавке на побегушках, и еще девочки две маленькие, и мальчик в талмудторе... А я где же?

— На том свете! — ответил Берл. — Был скотиной, остался ослом! Вот видите этого дурака, — обратился он к богачу, — а брат у него, Довид-Лейб, министр в сравнении с ним. То есть и тот не слишком умен, но из средних, как говорится: не великий умник, но и не малый дурень... Одно у него достоинство — честен. То есть все они честные, бубликов на базаре не крадут. И вот приходит ко мне однажды Довид-Лейб и рассказывает целую историю: в Гай-

сине выстроили сахарный завод, принадлежит он реб Залману Радомысльскому, а реб Залман Радомысльский — садгорский хасид *. А так как я и сам садгорский хасид и его отец-покойник Беня Телерлекер тоже был садгорским хасидом, то он, Довид-Лейб то есть, хочет, чтобы я повидался с реб Залманом Радомысльским и уговорил его взять к себе на сахарный завод Довид-Лейба и дать ему какую-нибудь должность.

— А какую, к примеру, должность ты мог бы занять? — спрашиваю я.

— Какую бы ни было, лишь бы должность! — отвечает он.

— Погоди, болячка тебе! А что ты умеешь?

— Что я умею? — отвечает он. — Все умею! И считать, и рассчитывать, и бухгалтерию вести, и писать, и записывать...

— А где ты всему этому научился? — спрашиваю.

— Самоучкой! — отвечает он, достает лист бумаги и дает мне, чтобы я показал реб Залману его почерк.

Словом, что тут говорить, надоедал он мне до тех пор, покуда я не разругал его на все корки и отправился в Гайсин к реб Залману Радомысльскому и как раз, как Аман Иванович говорит, — «мит ди раглаим», ножками... Пришел в Гайсин к реб Залману, — не пускают. В чем дело? А мне и говорят: если я приехал просто так, то у реб Залмана времени нет, а если мне к нему нужно «по делу», то я могу и в контору обратиться. Тогда я подумал: нет, это мне не к лицу! Что за разговор: нету времени? По делу? В контору? У нас, у садгорских, такие фокусы не пройдут!

— Подите, — говорю, — к реб Залману и скажите, что я, Берл-рыжий из Теплика, приехал к нему по очень важному вопросу, и как раз не «по делу», и пусть примет меня обязательно сейчас же, потому что у меня нет времени!

Тогда мне говорят:

— Реб Залман молится. Только начал.

— Это другой разговор! Предварительные молитвы я тоже читаю.

Хотя, с другой стороны, какое отношение имеет одно к другому? Можно молиться и в то же время проделывать тысячу других дел. Но как бы там ни было, все-таки он богач, а богача надо уважать... Ведь, если бы я был богачом, меня бы весь мир уважал... Словом, сел и жду. Жду час, два, три, жду на улице, у дверей, — бесконечное лихо! Вижу, люди входят и выходят. А из кухни между тем носят самовары и всякие вкусные вещи. «Нет, думаю, это ни к черту не годится! Мне не пристало!» Чтоб меня так водили за нос! И решил: зачем мне дожидаться почестей? Отворил двери, вошел прямо в дом и:

— Мир вам, реб Залман!

— Здравствуйте! Откуда будете?

— Из Теплика, — говорю. — Не узнали? Меня звать Берл, когда-то с вами вместе были в Садгоре.

— Возможно, — отвечает он, — но я вас не узнал и сейчас признать не могу. Зрение у меня, не про вас будь сказано, очень ослабло. Был у Мандельштама, прописал мне черные очки, не велел ни читать, ни писать и остерегаться света...

«Эге, думаю, реб Залман, зубы заговариваете...» И обращаюсь к нему:

— Выслушайте меня, реб Залман! Дело вот в чем. Беню вы, наверное, знали?

— Какого Беню? — спрашивает он.

— Беню Телерлекера из Теплика.

— Нет, — говорит, — первый раз слышу такое имя — Телерлекер!

— Бросьте эти штуки, реб Залман! Очень хорошо вы его знали, вместе с ним вино пили в Садгоре и танцевали у ребе на столе, и даже не раз целовались, — да будет ему светло в раю, он уже на том свете... Недавно умер, вам приказал долго жить.

Услыхав слово «умер», реб Залман переменился в лице, — богачи, видать, здорово боятся смерти! — и обращается ко мне:

— Чего же вы хотите от меня?

— Чего мне хотеть? — отвечаю. — Хочу только выполнить волю покойного. Этот Беня Телерлекер, царство ему небесное, за час до смерти позвал меня

и еще несколько человек и рассказал, что был несколько раз в Гайсине, хотел повидаться с вами и поговорить, но его не впустили. А так как человек он был скромный, да простит он меня, без затей, то, увидав, что его не пускают, поворотил дышло и вернулся домой. А сейчас, когда надо собираться в дальний путь, из которого возврата нет, он прощается с каждым в отдельности, просит кланяться ребе, а затем вам и просит передать, что целиком полагается на вас, что вы, надо думать, не оставите его вдову и сирот.

— Что же я могу для него сделать? — говорит реб Залман и лезет в карман.

«Милостыню? — подумал я. — Благотворительность спасает от смерти? Фу!»

— Вот я и хочу, чтобы вы, — говорю я, — приняли его старшего сына Довид-Лейба и дали ему какую-нибудь должность.

А богач, как услышит слово «должность», черт его за душу хватает!

— Откуда у меня должности? Где у меня нынче должности? Все должности заняты!

— Это, — говорю я, — вы расскажете кому-нибудь другому. А со мной так разговаривать не следует. И сына Бени вы должны принять безо всяких отговорок. Он умеет и считать, и рассчитывать, и вести бухгалтерию, и писать, и записывать, и прикажите, будьте добры, подать водочки и чего-нибудь на закуску, потому что у меня сегодня еще маковой росинки во рту не было.

Словом, что тут долго рассказывать, — садгорцы люди простые. Он обещал мне взять парня, я вернулся домой и послал к нему Довид-Лейба. Парень там сколько-то времени просидел без дела, потому что реб Залман сказал, что должен переговорить со своим сыном реб Иослом, а его сейчас нет. Потом приехал реб Иосл, но не было реб Залмана. Но в общем его приняли, и сейчас он там чуть ли не главный закоперщик!

— Кассир! — поправляет Генех и объясняет по-своему, что это значит: — Он деньгами, значит, занимается, получает и выдает...

— Вот спасибо, что растолковал им, что такое кассир. А то бы они не знали, — говорит Берл-рыжий, подходит к конвоиру, тормошит его и будит:

— Эй, Лавр, пропади ты пропадом! Пора опохмеляться!

Лавр послушно поднимается с земли, заслоняет глаза рукой и смотрит на небо, высоко ли солнце. Берет свою палку, пересчитывает своих трех арестантов, и все трогаются в путь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Богач кается

Солнце в своем путешествии по глубокому синему небу уже склонялось к западу, зной понемногу начинал спадать, а этап был уже у входа в Гранов — первый пункт на пути в Гайсин. Чтобы до прибытия на место покончить с неотложным делом, все трое арестантов остановились возле мельницы, обратились лицом к востоку и стали читать предвечернюю молитву, а Лавр стоял, опершись на свою палку с железным наконечником, шапку сдвинул на затылок и смотрел, как люди раскачиваются и колотят себя кулаком по груди. Горячее всех молился теплицкий богач. Шолом-Бер давно уже не молился с таким рвением. Он колотил себя в грудь и по-настоящему каялся: «Преступали мы, в измене повинны, в стяжательстве», — от всего сердца каялся в своих прегрешениях перед людьми: мог помочь бедному человеку — и не помог, мог его осчастливить, но не сделал этого. Почему? И сам не знает! Он стал сравнивать себя с этим нищим, с Берлом-рыжим, и стыдно ему стало за самого себя. Ведь этот нищий, которому и самому-то не на что день прожить, не поленился ради другого пойти пешком, хлопотать у богача, унижаться, лишь бы оказать услугу бедному человеку. А он? Шолом-Бер из Теплика ни слышать, ни видеть не желал чужих горестей, он был холоден, холоден как лед. И досадно было, что так случилось, а больше

всего причиняла боль история со сватовством в Гайсине... Шолом-Бер почувствовал себя в большом долгу перед Берлом-рыжим; быть может, и в смерти его дочери есть большая доля вины его, Шолом-Бера, — ведь если бы тогда он прислушался к просьбе бедняка, проявил бы хоть чуточку жалости, хоть каплю любви к человеку, попавшему в безвыходное положение, — дочь была бы жива, а может быть, и счастлива!.. И Шолом-Бер чувствует, что, если бы он мог как-нибудь исправить, чем-нибудь пожертвовать, замазать, прикрыть, залечить эту болячку, ему стало бы легче. Но он не знает, как это сделать. Еще глубже уходит он с головой в молитву, и вся его жизнь встает перед ним, точно из гроба, и чуть ли не впервые в жизни думает он о таких вещах, и чуть ли не впервые в жизни видит себя, точно в зеркале, видит себя насквозь и не понимает, как же он до сих пор был слеп? Как же он до сих пор мог думать о себе, что он честный и порядочный человек? Как можно было думать, что для этого достаточно трижды в день молиться и сунуть иной раз нищему три гроша милостыни?..

И тепликский богач, Шолом-Бер, начал вспоминать, как он «благотворительствовал», как, бывало, торговался за каждый грош, который у него вырывали словно клещами; как он однажды подарил синагоге свиток торы, сделав это ради души своей, — ведь детей у него нет и поминать его некому будет... Когда писание торы было закончено, он устроил празднество, не пожалел водки и пряников, веселились ночь напролет, а на следующий день, когда писец реб Шимшн пришел одолжить несколько рублей, он ему отказал наотрез... Такие и им подобные «добрые дела» вспоминались сейчас Шолом-Беру, и становилось стыдно за себя и за других, столь же почтенных богачей, которые так прикипели к своим деньгам, что расстаться с ними не могут. Шолом-Бер чувствует, что душа его до этих пор спала, что сердце, прикрытое льдом, лежало под прессом. Ни капли тепла, ни капли сочувствия! И хочется сделать что-нибудь для Берла, сделать что-то такое, что исправило

бы большую ошибку, загладило большую вину перед ним, возместило бы долг! Но он не знает, что сделать и как это сделать. Он заглядывает глубоко в сердце свое, в душу, и вообще не понимает, чем была до этих пор его жизнь на белом свете и чего он добился? Прожил пятьдесят шесть лет, больше трех четвертей своей жизни вел войну, собирал к грошу грош, другим не давал и себе тратить не разрешал, — а ради чего и ради кого все это? Кому он оставит эти деньги? Детей нет, а родичи — враги, они, если бы могли, утопили его в ложке воды! И Шолом-Бер начал подводить итоги всему, что он делал, и думать, почему у него столько врагов? Почему его не уважают? И возникают перед ним давно забытые воспоминания и мысли, лежавшие где-то глубоко, на дне души, и нехорошо ему становится... Он дает себе слово хотя бы на старости лет исправиться. Душа пробуждается, сердце тает, и в глазах становится светло — он видит то, чего до сих пор не видел, чувствует то, чего до сих пор не чувствовал; он точно новорожденный, свежий и живой, как никогда за всю жизнь.

Помолившись, наши арестанты отправляются дальше. Берл подпрыгивает на своей больной ноге, подтрунивает над Генехом, а богач идет, задумавшись, все больше ускоряя шаг. Голова полна мыслей, сердце полно чувств! Он о чем-то думает, что-то делает, строит.

— Куда вы так спешите? — говорит Берл-рыжий. — Вы так летите, что мне с моей ногой вас не догнать.

— Вам трудно идти, реб Берл? — спрашивает богач с неслыханной для него мягкостью. — Обопритесь на мою руку, реб Берл! Бог даст, вернемся домой, обязательно приходите ко мне, и ты тоже, Генех, — вы мне очень нужны, я должен вам кое-что сказать.

Берл не понял, что такое важное должен сказать им богач? И почему непременно дома? Почему не сказать сейчас? И вообще, почему он вдруг стал так мягок и чувствителен?..

О Генехе и говорить не приходится: тот раскрыл рот и никак не мог понять, для чего богач велит ему прийти? Он остановился и сказал:

— Если только он сжалится, господь, и Довид-Лейб освободится...

— Все равно, — отвечал богач, — даже если нет; я все это беру на себя... То есть всех вас я беру на себя... Обопритесь на меня, реб Берл. Вам трудно идти...

Когда этап вступил в Гранов, солнце уже село, оставив широкую золотую полосу на краю неба. Встречены были наши персонажи музыкой, хором, в котором смешались квакание лягушек и блеяние коз и овец, шедших из стада и поднимавших ужасную пыль. Это спасло арестантов от любопытных взоров местных жителей, так и не заметивших, кого вели через Гранов! Не то грановские жители встретили бы их с теми же почестями и проводили бы с таким же парадом, как встречали их потом в Михайловке, в Мичулке, в Краснопилке, в Здаковичах, и во всех остальных этапных пунктах на пути между Тепликом и Гайсином.

СТО ОДИН

1

Красивая древняя река Буг, протекающая на юге между Днепром и Днестром и впадающая, как и они, в Черное море, пересекает две губернии — Херсонскую и Подольскую — там, где, раскинувшись в беспорядке, стоят два еврейских местечка — Голта и Богополь. Оба местечка составляют, собственно, один город, но река разлучила их, словно разорвала пополам, а люди связали мостом, так что оба местечка снова соединились в один город: вот вы как будто в Богополе, а через каких-нибудь пять минут уже в Голте. И обратно идешь — то же самое: только что были в Голте, — не успеешь оглянуться, как вы уже снова в Богополе!

Голта много лет подряд считалась деревней, а Богополь — местечком. Поэтому на Голту распространялся указ от 3 мая 1882 года, согласно которому евреям не разрешалось селиться там вновь*.

С тех пор Голта стала очень привлекательной для богопольских евреев, которые вдруг загорелись желанием селиться именно в Голте и как раз после 3 мая.

С этого дня богопольские евреи начали тайком перебираться в Голту. Однако это им не удалось. Их попросили обратно, через мост, в Богополь: «Гос-

подин Ицко, пожалуйте назад до богопольского равина!» Либо без слов поворачивали в обратную сторону воз и говорили при этом с усмешкой: «А форфор на Бердичев!»

— Помилуйте! — протестовал переселенец. — Я голтянин вот уже скилько лет подряд! Я маю собственный город у школе (то есть: «Я имею собственное место в синагоге!»). Я маю скилько родичей на кладбище!

Однако доводы эти помогали, как мертвому припарки.

— Документы! Бумаги! — отвечали ему.

И началась канитель с бумагами. Евреи в те годы были крупными покупателями бумаги... Ходатаи озолотились, у доносчиков было по горло работы... Иным удавалось, другим — нет. Немало евреи сами себе напортили доносами. Из-за этих доносов многие семьи были вынуждены собрать свои бебехи и эмигрировать через мост из Голты в Богополь, и в местечке прибавилось нищих, едоков, поедающих друг друга... Евреям не хотелось так сразу подчиниться, вот они и воевали (на бумаге, конечно!). И пошла война между евреями и полицией, а также между евреями и евреями. Бумаги летели в полицию, из полиции в губернию, из губернии в сенат, из сената в губернию, а оттуда обратно в полицию. И война эта тянулась двадцать лет подряд. Боюсь, что историк, который когда-нибудь займется описанием этих местечек, должен будет тот период назвать *«историей двадцатилетней войны»*. Голтянские и богопольские евреи будут знать, о чем речь идет...

Среди воевавших были двое: Рахмиел-Мойше Богопольский из Голты и его кровный враг Нахмен-Лейб Голтянский из Богополя.

2

Пусть вас не удивляет и не вызывает вопросов, что Рахмиел-Мойше голтянин и зовется Богопольским, а Нахмен-Лейб — богополец, а зовется Голтян-

ским. Я, например, знаю некоего Черкасского, живущего в Белой Церкви, и некоего Белоцерковского, живущего в Черкассах. Затем я знаю некоего Таращанского, живущего в Кременчуге, и некоего Кременчугского, живущего в Тараще. Казалось бы, чем плохо, если бы Черкасский, который, наверное, родом из Черкасс, жил в Черкассах, а Белоцерковский — в Белой Церкви, Таращанский — в Тараще, а Кременчугский — в Кременчуге? Но если бы каждый человек был привязан к своему городу, что бы тогда было со всем миром? Однако возвращаемся к 3 мая 1882 года.

Нахмен-Лейб Голтянский, который всю свою жизнь прожил в Богополе, должен был как раз второго мая, в ночь на третье, ночевать в Голте. И надо же так случиться, что он попал в протокол, составленный урядником, — и это послужило доказательством того, что он голтянский житель. Вот как бывает, когда одному суждено счастье, а другому несчастье!

Разумеется, что Рахмиелу-Мойше это было очень досадно, и он делал все, что мог, подкапывался под Нахмен-Лейба до тех пор, пока не доказал неопровержимо, что Нахмен-Лейб житель Богополя. Но и Нахмен-Лейб, конечно, не дремал и доказал при помощи бумаг, что в ночь со 2 на 3 мая 1882 года он был записан в Голте в книгах урядника. Да и самое имя Голтянский свидетельствует о том, что он, Нахмен-Лейб, — житель Голты, а Рахмиел-Мойше — боополец, как об этом говорит его фамилия: Богопольский, то есть из Богополя.

Так писал Нахмен-Лейб в губернию. Но и Рахмиел-Мойше не молчал. Он получил бумагу и доказал свидетельскими показаниями, что Нахмен-Лейб, хоть он и называется Голтянским, на самом деле — житель Богополя. Доказательства: у него в Богополе собственный дом и постоянное место в молельне проповедника. К чему голтянину свой дом в Богополе и место в богопольской молельне?

Словом, бумажная война между нашими вояками длилась до тех пор, пока оба они не осточертели

губернии, и тогда прибыло предписание — выселить из Голты обоих и следить, чтобы ни один из них не смел оставаться там на ночь.

3

— Осел, чего вы молчите?

— А что толку, если я буду кричать?

— Существует сенат, подавайте в сенат!

— Зачем я буду подавать в сенат, когда губернское правление нашло, что я богополец?

А тут еще вмешалась Рахмиел-Мойшиха:

— Не надо соваться в сенат! Сената ему еще не хватает! Ты, видно, хочешь, чтоб нас из Богополя тоже выселили?

Во всем Рахмиел-Мойшиха добивалась своего. Но тут она ничего поделать не смогла. Рахмиел-Мойше был упрям, он подал бумагу в сенат — и представьте себе такую историю...

Прошло много времени, пожалуй, лет двадцать. Однажды, в начале лета, сидит он у себя в лавке и даже не думает о сенате, почти забыл, что существует на свете сенат... И вдруг приходят и зовут его к приставу.

— Что еще за новости? Опять «свечной сбор»? * — проговорила Рахмиел-Мойшиха, обращаясь к мужу.

— Понятия не имею! Убей меня бог! — ответил Рахмиел-Мойше. — Но, если пристав приглашает, нельзя же быть свиньей, надо идти.

— Смотри, чтоб тебя там не арестовали! — выпроводила его с этим благословением Рахмиел-Мойшиха.

Не прошло и получаса, как Рахмиел-Мойше влетел в лавку и еле мог проговорить:

— Поздравляю!.. Из сената прибыло... Прибыло, что я — богополец... Могу, стало быть, жить в Богополе...

Рахмиел-Мойшиха всплеснула руками.

— Счастье твоей бабушке! Как вам нравится такое поздравление? Он уже имеет право жить в Богополе!

— Тьфу! Что я говорю — «Богополе»? В Голте, хочу я сказать!

— В Голте? Так и говори! Ну, Рахмиел-Мойше, что я тебе говорила?

— А что ты говорила?

— Не говорила я тебе, чтобы ты подавал в сенат?..

Рахмиел-Мойше был так доволен и счастлив, что побежал в город и растрезвонил из конца в конец — пришла из сената бумага, ему разрешено жить в Голте и он переезжает, даст бог, скоро в Голту. Рахмиел-Мойше в этот день не ел, не отдыхал. Он бегал от одного к другому, его чуть ли не по воздуху носило. Кого ни встречал, останавливал.

— Слыхали?

— Что? Насчет сената? Слыхал! Как же! Поздравляю!

— Спасибо!

— Когда думаете переезжать?

— После швуэс, даст бог!

— Дай бог в добрый час!

— Спасибо!

4

Радость, если бог поможет человеку, конечно, великое дело, но радость с отмщением вместе — это одно из величайших удовольствий, не поддающихся описанию. Видеть, как враг тебе завидует, как он лопается, дохнет, глядя на тебя, — это придает человеку столько бодрости, столько сил и самоуверенности, что на радостях он забывается и начинает делать глупости.

Наш Рахмиел-Мойше не переставал трещать относительно сената, так что всем это опротивело, надоело до тошноты. Просто с души воротило от его рассказов: сенат, и еще раз сенат, и опять-таки сенат!

Но если это было противно слышать всему городу, то как же это досаждало бедному Нахмен-Лейбу, когда он сам должен был поминутно выслушивать от Рахмиела-Мойше всю эту историю? Рахмиел-Мойше постоянно искал глазами Нахмен-Лейба и, где только ни замечал его, подходил и говорил:

— В сенате, видать, сидят настоящие люди!..

Нахмен-Лейб уходил и прятался, но Рахмиел-Мойше находил его и продолжал, обращаясь уже не к нему, но так, чтобы и ему слышно было:

— Я вчера нарочно остался в Голте ночевать. Хотел, чтобы пристав ко мне пришел, но он, как назло, не пришел.

Рахмиел-Мойше со своей супругой жили так согласно, что во всем, где только можно было, она делала ему наперекор. Но сейчас, когда Нахмен-Лейб потерпел поражение, она помогала мужу трезвонить по городу и докучать Нахмен-Лейбу и его жене так, что они уже молили бога, чтобы скорее миновал швуэс и Рахмиел-Мойше с Рахмиел-Мойшихой уехали ко всем чертям! «Головы поднять не дают!»

Но вот бог смилостивился, «швуэс» миновал, а Рахмиел-Мойше с супругой переезжать в Голту не торопятся. Некогда им, что ли? Опоздают они, если на неделю позже поедут? Лишь бы, слава богу, они уже имели на это право! Наконец настало двадцать пятое мая, и в газетах (кто это выдумал — газеты?) появилось сообщение о ста одном городе, в которых евреям разрешается жить, строить дома, покупать землю, разводить сады! Сто один город, а в том числе и Голта, — совершенно неслыханная вещь! Рахмиел-Мойше никому не верил.

— Не может быть! Это враки! — кричал он. — Двадцать лет кряду нельзя было ночь переспать, и вдруг можно строить дома, покупать землю, сады садить? И как раз сто один город, и как раз Голта в том числе! Это выдумали враги! Это, наверное, идет от Нахмен-Лейба, его голова придумала, черт бы его побрал! Вот когда у меня на ладони волосы вырастут, тогда можно будет жить в Голте!

Так кричал Рахмиел-Мойше, а Рахмиел-Мойшиха, которая тоже слыхала на базаре какую-то новость насчет ста одного города и Голты в том числе, присаливала ему рану:

— Если это правда насчет твоего сената, то можешь зарыться в землю с ним заодно!

Так говорит она и пылает, как подгоревшая субботняя булка.

Вдруг отворяется дверь и входит служка из молельни проповедника с еврейской газетой в руках.

— Вот, реб Рахмиел-Мойше, вам послали газету, чтоб вы прочитали, что там написано. Какая-то новость, говорят, насчет Богополя и насчет Голты, *сто один город*... Там подчеркнуто — номер девяносто четыре.

Рахмиел-Мойше понял, кто это постарался. Он взял газету, надел очки, и бросился ему в глаза номер девяносто четыре и слово «Голта». Остального он читать не пожелал, понял, что все это правда, и пошел к Рахмиел-Мойшихе. Она догадалась, что это значит, и сказала с горьким смехом:

— Ну? Вот тебе *твой* сенат!

— Почему *мой* сенат?

— А чей же еще? Захотелось ему! Сената ему захотелось! Ах, чтоб вас всех огнем пожгло! Господи!..

5

Злополучный день настал для Рахмиела-Мойши и его жены. Тихо, без слов, накрывала она на стол, звякала тарелками и ложками, швырялась вилками.

— Иди уже мой руки! — обратилась она к мужу. — Семнадцать раз его надо приглашать к столу!

— Семнадцать раз? Еще ни разу, кажется! — ответил Рахмиел-Мойше, пошел мыться, поднял руки вверх, произнося молитву: «Возденьте длани свои!» и в то же время думал: «Сто один город... свободно... и Голта в том числе...» Потом он сел за стол, надломил с молитвой хлеб, что-то поискал глазами, но так как молитву нельзя прерывать, то он указал руками и произнес по-древнееврейски:

— И-о... ну!.. «Мелах» — соль?!

— «Мелах», соль-шмоль! Вот стоит соль у тебя под носом! Вот, чего ты окаешь?

Рахмиел-Мойше еле проглотил хлеб, чуть не подавился первым куском, хватал ложку, когда нужна

была вилка, хватал вилку, когда нужна была ложка. Весь обед просидели молча, не глядя друг на друга. Слышно было только, как звякает посуда, как супруги хлебают и чавкают. Один лишь раз Рахмиел-Мойшиха произнесла:

— Тихий ангел пролетел...

Рахмиел-Мойше не ответил, и обед прошел в молчании, можно было услышать, как муха пролетает. После еды Рахмиел-Мойше поковырял вилкой в зубах и произнес, глядя на потолок:

— Воды для омовения...

Рахмиел-Мойшиха посмотрела ему в глаза и, склонив голову набок, спросила:

— Скажи, Рахмиел-Мойше, с какой ноги ты сегодня встал?

Рахмиел-Мойше ничего не ответил. Он ополоснул кончики пальцев, оттолкнул от себя тарелку и начал тихо читать послеобеденную молитву.

Теперь было самое лучшее время, когда Рахмиел-Мойшиха могла разделаться с мужем, то есть донимать его, пилить, грызть и точить, подобно червяку, и отчитывать сколько влезет, чтоб не сходил с ума, не показывал характера и не швырялся тарелками.

— Смотри пожалуйста! Расшвырялся... Можно подумать, осчастливил. Думает, если он мужчина, так уж ему все можно... Человек, который принят в сенате! Шутка ли? Псс...

Рахмиел-Мойше сидит, опустив голову, глаза прикрыл, раскачивается и тихо произносит слова молитвы:

— «Кормящий и насыщающий всех, ублаготворяющий всех...»

А Рахмиел-Мойшиха делает свое — точит его.

— Спросить его, в чем дело? Он и сам не знает! Чего ты сердишься все утро? Сенат-то ведь твой — не мой!

Рахмиел-Мойше продолжает молитву громче.

— «Как сказано: и вкусил и насытился...» — и заканчивает фиоритурой.

Рахмиел-Мойшиха делает минутную паузу и начинает снова:

— Какая злоба! Гнев какой! Скажите, пожалуйста, какой в нем огонь разгорелся! Спаси и помилуй бог!

Рахмиел-Мойше повышает голос еще сильнее.

— Казалось бы, наоборот! — говорит Рахмиел-Мойшиха. — Радоваться надо, когда узнаешь утешительные вести для евреев!

Рахмиел-Мойше еще сильнее повышает голос:

— «Благословение и спасение, утешение и заработок, пропитание и милость, и жизнь, и мир, и всяческое благо!..»

Но Рахмиел-Мойшиха не желает молчать:

— Спросить бы его, к примеру, почему это его задевает? Теряет он на этом что-нибудь? Нахмен-Лейбу можно будет жить в Голте? Пускай он там сохнет и дохнет! Мне какое дело? Хоть тресни!

Внутри у Рахмиела-Мойше кипит, как в котле, он сдерживает гнев как может и продолжает молитву в жалобном тоне.

Но человек все же не из железа. Жена точит его не переставая, и вдруг он сжимает кулаки, подносит их к ее лицу, скрежещет зубами и выкрикивает не своим голосом:

— Ой! «Всемилостивый, да благословит он меня, и жену мою, и детей моих, и детей моих детей!» Тьфу!

И выбегает из комнаты как ошалелый.

Нахмен-Лейб с Нахмен-Лейбихой переехали в Голту, а Рахмиел-Мойше и Рахмиел-Мойшиха остались в Богополе по сей день.

МОЙ ПЕРВЫЙ РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сила протекции и первая должность

Тот, кому приходилось сидеть голодным, укутавшись в рваный полушубок, и до поздней ночи зубрить при свете оплывшего огарка: именительный — белый свежий хлеб, родительный — белого свежего хлеба, дательный — белому свежему хлебу, — мечтая в это время о куске черного хлеба, которого и в помине нет; тот, кому довелось спать на жесткой скамье, подпирая голову кулаками, а лампа коптит, а ребенок плачет, а старуха ворчит; тот, кому случалось шлепать по грязи в драных сапогах — у одного каблук отвалился, у другого подметка болтается, хлюпает, и не знаешь, как от нее избавиться; тот, кто пытался заложить свои часы, а ломбард не хотел их принять, потому что корпус не из чистого серебра и механизм ломаного гроша не стоит; тот, кто был вынужден просить взаймы у приятеля, который, опустив руку в карман и достав оттуда кошелек, клянется, что у него нет ни гроша, — тот, кому все это довелось испытать, кто все это пережил сам, вероятно, поймет, как я себя чувствовал, когда получил должность, первую должность, с двенадцатирублевым месячным окладом на всем готовом.

Я не хочу утруждать вас рассказом о том, как я получил эту должность, и, думается мне, вы вовсе не обязаны знать, что у меня есть дядя, а у дяди есть тетя, что у тети есть знакомый, а у знакомого есть родственник, что у родственника — свояк, очень богатый, но простоватый человек, сельский житель. У свояка — единственный сын, для которого он ищет учителя еврейского, русского, немецкого языков и бухгалтерии, солидного, из приличной семьи, — с тем чтобы учение обходилось недорого. Я напряг все свои силы, побежал к дяде и попросил его, чтобы он попросил тетю, а та попросила знакомого, чтобы тот попросил родственника, а родственник уговорил свояка — богатого человека — нанять именно меня, а не кого-либо другого, потому что в Мазеповке, кроме меня, есть и другие молодые люди, знающие еврейский, русский, немецкий языки и бухгалтерию, готовые поехать куда угодно ради куска хлеба. Не так-то скоро мой хозяин изъявил согласие нанять меня. Он долго раздумывал и решал: во-первых, нанимать ли ему учителя вообще, а во-вторых, если нанять, то меня или другого. Наконец бог смилостивился, и он решил нанять учителя. И выбор его пал на меня, потому что знаниям, видите ли, он не придавал большого значения. «Знающих людей, — сказал мой хозяин, — что собак нерезаных». Главное для него, чтобы учитель был из приличной семьи, а так как я из приличной семьи, он меня и нанял. Так сказал мне мой новый хозяин, но боюсь, что он, простите, соврал. Мои конкуренты были из таких же приличных семей, что и я. В чем же дело? Только в протекции.

Да, велика и всемогуща сила протекции. И блажен тот, у кого есть дядя, у которого есть тетя, а у нее знакомый, а у знакомого — родственник, а у родственника — свояк, богатый человек, сельский житель, и у него единственный сын, для которого ищут учителя еврейского, русского, немецкого языков и бухгалтерии, солидного, из приличной семьи, — с тем, чтобы учение обходилось недорого...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Выдумки моего хозяина убаюкивают меня, и я засыпаю

Кто же был мой хозяин? Чем занимался? Как он выглядел? Был ли он высокого или низкого роста, толстый или худой, рыжий или черный? Я думаю, вам нет надобности это знать. Как его звали? И это, кажется мне, не столь важно. Возможно, что он еще жив, и мне не совсем удобно называть его по имени. Позвольте мне лучше передать разговор, который мы вели с ним в первый раз, когда он усадил меня в свою карету — красивый экипаж, запряженный парой великолепных лошадей, — и угостил сигарой. Это была первая сигара за всю мою жизнь, и она-то погубила меня навеки.

— Стало быть, молодой человек, вы впервые выезжаете из города в деревню? — сказал он, посматривая на серый пепел своей черной сигары. — И думаете, вероятно, что деревня — это черт знает что такое и мы, деревенские люди, лишены вкуса к хорошей жизни? Однако вы будете, молодой человек, иметь удовольствие увидеть настоящую усадьбу сельского жителя еврея, — дом со двором и садом, не дом, а дворец! Комнат и комнатушек всяких, скажу вам, молодой человек, не преувеличивая, — около двадцати. Что я говорю двадцать — более тридцати! Зачем мне столько комнат — сам не знаю. Разве лишь для гостей. Ко мне часто наезжают гости. Да что я говорю часто? Каждую неделю, каждый день. Нет дня, когда бы не приезжал гость, а то и двое и трое. Да еще какие гости! Помещик, пристав, исправник, мировой судья... Со всеми я живу душа в душу. Сколько раз, бывало, подкатывает к моему крыльцу карета, запряженная четверкой. Спрашиваю: кто приехал? И мне отвечают: его превосходительство. Это значит, сам губернатор... Ну, ясно, нельзя же поступать по-свински, надо принять его как следует, предоставить ему самые большие комнаты, а также сад возле дома. А сад у меня — загляденье! Лес, а не сад. Посмот-

рели бы, какие у меня яблоки, груши, сливы! А виноград какой! У меня, слава богу, все свое. Наливка из собственной вишни, вино из собственного винограда, изюм собственный и даже рыба собственная из собственной реки. А рыба какая? Караси, карпы, лини, лещи — лещи вот такие! — Хозяин показывает мне величину рыбы, раздвинув широко руки, а я подаюсь немного в сторону, чтобы уступить место его лещам...

Он плетет и плетет свои выдумки-небылицы, а я все слушаю да слушаю, жадно ловя каждое его слово. Карета качается, как люлька, лошади, помахивая хвостами, бегут, бегут без удержу, и я не могу сказать вам точно: от покачивания ли в мягкой карете, от помахивания ли конских хвостов, от вранья ли хозяйского, но я начинаю дремать... Тихая летняя ночь... Легкий ветерок веет мне в лицо, я засыпаю и во сне слышу похрапывание моего хозяина.

Когда мы приехали на место, солнце уже стояло высоко в небе. Ясное оно было, ясное и чистое, светлое и радостное. Оно улыбалось мне и дружески приветствовало на новом месте.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Какие бывают лгуны. Холодный взгляд и теплая рекомендация

На свете бывают разные лгуны. Есть лгуны, которых никто не принуждает лгать и никто за язык не тянет, но, как известно, язык без костей, — вот он и мелет. Есть три категории лгунов: лгуны вчерашнего дня, лгуны сегодняшнего дня и лгуны завтрашнего дня. Лгун вчерашнего дня, рассказывая вам сказки и всяческие небылицы, клянется, что собственными глазами все видел, — поди докажи, что он врет. Лгун сегодняшнего дня — это, собственно, не лгун, а хвастун. Он станет вас уверять, что все у него есть, он все знает и все умеет, — попробуйте-ка проверить его. Лгун завтрашнего дня — это просто благодушест-

вующий чудак: чего только не наобещает — золотые горы. Он, мол, пойдет, он поговорит, все для вас сделает, а вы извольте поверить ему на слово. Все эти три категории лгунов знают, что они врут, но полагают, что им верят. Но есть лгуны совсем другого рода. Стоит только такому лгуну соврать, как он уже сам верит в свою выдумку и убежден, что другие тоже принимают ее за чистую монету. Ложь доставляет ему большое удовольствие. Это — люди, живущие в мире грез, фантазеры. Это, можно сказать, своего рода сочинители, придумывающие все новые и новые истории, забывающие сегодня то, что говорили вчера. Их фантазии постепенно порождают новые мысли и новые идеи.

К этой последней категории лгунов принадлежал и мой хозяин. Вы уже сами понимаете, что дворец оказался обыкновенным домом, количество комнат не таким уж большим, сад — самым обыкновенным садом. Вместо винограда был зеленый крыжовник, вместо вина — простой яблочный квас, вместо громадных лещей — маленькие щучки, купленные на рынке...

Нас встретила толстая женщина со связкой ключей. Она окинула меня таким леденящим взглядом, что мне стало не по себе. Взгляд ее означал: «Это что еще за напасть?» Уловив этот взгляд, мой хозяин сказал весьма робко, как бы оправдываясь:

— Я привез нового учителя для мальчика. Где мальчик?

— Мальчик спит, — ответила она мужским голосом, удостоив меня еще одним долгим леденящим взглядом...

К счастью, хозяин распорядился накрыть на стол. Он усадил меня рядом с собой и в те несколько минут, пока подавали самовар, рассказал мне все о сыне: как он хорошо учится, как красиво пишет и как много знает.

— Его почерк славится у нас. Его письмами все зачитываются... Немецкий — его родной язык! А как он говорит по-французски!..

Хозяйка, позвякивая ключами, подала к столу масло, сыр, сметану, молоко, мед и другие яства. И было бы совсем хорошо, если бы она не сидела напротив и не бросала на меня своих неласковых взглядов. Хозяин понял ее взгляд и вмиг доложил, кто я такой и что собой представляю. Я почувствовал, как запылало мое лицо, и глаза, и голова, и даже волосы на голове... По его словам выходило, что я внук Баалшема *, что моя родня — это сплошь раввины, знаменитости и богачи и что я образованнее любого студента, доктора, профессора — даже трех профессоров вместе взятых. Верила ли она всему этому вранью — не знаю, но ее холодный, жесткий взгляд, казалось мне, несколько потеплел и смягчился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Мальчик» кушает за троих, а учитель умирает с голоду

Ученик оказался рослым, упитанным, здоровым парнем, красивым, живым и веселым. У него было круглое белое привлекательное лицо с румянцем во всю щеку, высокий лоб, добрые серые глаза, белые, мягкие, как пышки, руки, и нравились ему три дела: есть, спать и смеяться. Но больше всего любил он есть. Ел с утра до ночи. Кроме чая и кофе с закуской, первого и второго завтрака, обеда и ужина, мать то и дело присылала «мальчику» то чашку шоколада, то баранку, то пряник, то пирожное, то немного варенья, а иной раз — куриную печенку, пупочек или просто кусок белого хлеба, чтобы у мальчика не сосало под ложечкой. А учитель смотрел, глотал слюнки и утолял голод папироской.

Вначале, до того как учитель сдружился со своим учеником, он изведал, что такое голод, потому что хозяйка с ключами за поясом, мать ученика, кормила его плохо.

Дом — полная чаша, особенно много было молочных продуктов, но все под замком. Хозяин время от

времени требовал, чтобы учителю давали есть; в ответ на это хозяйка начинала позванивать ключами — верный признак того, что она сердится, — и говорила:

— Еще чего? Учителя кормить три раза в день! Слыханое ли дело?..

Ну и врала же она! Не только три раза, но и одного раза в день учителя не кормили. Мне приходилось частенько видеть, как выбрасывали куски мяса, как выливали молоко кринками, в то время как я у себя в комнате голодал, мечтая о куске черного хлеба. В те дни, когда хозяина не было дома, я помирал с голоду. Мое счастье, что я быстро подружился с учеником.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Учитель и ученик заключили союз; началась веселая жизнь

— Вот что: если вы хотите остаться у нас, если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, — сказал мне в одно прекрасное утро «мальчик», когда мы сидели с ним вдвоем в нашей комнате, окна которой выходили в сад, — если вы не хотите, чтобы вам пришлось уезжать отсюда, забросьте книги под стол... Будем играть в шашки, в «шестьдесят шесть» или давайте валяться на кроватях и плевать в потолок.

И недолго думая мой ученик швырнул все книги и учебники под стол, бросился на кровать и, запрокинув голову, плюнул сквозь зубы прямо в потолок, да так искусно, так ловко, что мы оба расхохотались.

С той поры мы зажили как у бога за пазухой. Ученик научил учителя играть в шашки, в «шестьдесят шесть» (признаюсь, до того времени я даже не знал, что сие означает, но, когда научился играть, я страстно полюбил игру в карты). Учитель заключил союз с учеником и, забросив книги и учебники, играл с ним в шашки и в «шестьдесят шесть», или лежал и плевал в потолок, или вместе с учеником закусывал,

отведывал всего понемножку, изрядно при нем подкармливаясь. Когда учитель через несколько месяцев случайно взглянул в зеркало, он не узнал самого себя...

В нашу комнату никто, кроме прислуги, приносившей еду, не входил. Хозяин бывал дома очень редко, а хозяйка, не выпускавшая из рук ключей, день и ночь была занята молочными продуктами, кринками и к нам даже не заглядывала. Мы жили припеваючи, не имея никаких обязанностей, не зная над собой надзора, — просто рай!..

Но однажды хозяин спросил:

— Ну, как он успевает?

— Превосходно, — ответил я не моргнув глазом.

— Вот видите! Я же говорил вам! — сказал хозяин, и мне самому было удивительно, как это я мог смотреть ему в глаза.

В этом доме, где все обманывали друг друга, все лгали, где все было пропитано ложью, даже воздух был насыщен ею, — в этом доме нетрудно было научиться лгать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Первые любовные письма жениха и невесты. Огонек разгорается

Одна обязанность у нас все же была — получать почту и отвечать на письма. А письма мы получали почти ежедневно. Я говорю «мы», потому что мы оба должны были отвечать на эти письма. Письма моему ученику писала его возлюбленная невеста, хотя сам он мне признался, что пылких чувств к ней не питает.

Сначала письма приходили не очень часто — раз в неделю, а то и в две. Но после моего появления дело наладилось — письма туда и обратно пошли чаще.

— Вот прочтите и ответьте ей. Что она морочит мне голову? — сказал однажды ученик, швырнув мне

в лицо письмо своей возлюбленной невесты. Я прочитал письмо, и его содержание мне понравилось.

«Любимый, дорогой мой жених!

Если бы ты знал, как мне наскучили твои послания, похожие одно на другое, как две капли воды из одной реки, как будто одна мать их родила. Хочу услышать от тебя свежее слово — такое слово, которое согрело бы мне сердце и осветило душу.

Холодно сердцу, темно на душе!

Твоя верная невеста...»

Недолго думая я ответил за своего ученика:

«Моя любимая, верная невеста!

Ты пишешь, что мои слова похожи одно на другое, как будто одна мать их родила. Как может быть иначе, если они рождены одним чувством? Ты говоришь, что они похожи друг на друга, как две капли воды из одной реки. Как может быть иначе, если они идут из одного источника, из одного сердца? Ты просишь свежего слова, но что может быть свежее слова «люблю»? Может ли быть темно на душе, когда я вспоминаю тебя, дорогая невеста?!

Твой верный жених...»

На это мы вскоре получили ответ:

«Дорогой, любимый жених!

Твои милые слова освежили и согрели меня, и все вокруг посветлело. Могу поклясться, что я услышала новую песню, райскую мелодию родной светлой души. Я почувствовала себя новым человеком. Мне показалось, что у меня вырастают крылья, что я парю в небесах и навстречу мне несется целый сонм ангелов, приветствующих меня и несущих мне привет от любимого, дорогого жениха, который пишет такие сладостные слова, и сердце мое и душа моя принадлежат ему на веки вечные, навсегда!

Любящая тебя и всегда верная невеста...»

«Любимая, сладостная, дорогая и верная душа моя!

Нет, ты не ошиблась, милая невеста моя. То были не обычные холодные слова, то были чувства, идущие из самого сердца и находящие путь к другому сердцу. Это нити, которые связывают молодые души навсегда, на веки вечные. Тот сонм ангелов, который передал тебе привет от меня, принес мне твой, еще более дружеский привет, и с этим же сонмом ангелов я посылаю тебе сейчас, сердце мое, горячий поцелуй, святой поцелуй от друга, который остается твоим навеки и постоянно носит в своем сердце твой светлый образ наяву и во сне.

Твой горячо влюбленный жених...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Материал для нового письмовника

Искра летит бог весть откуда и падает на соломенную крышу. Вспыхивает огонек. Ветер раздувает огонек и превращает его в страшное пламя. Пожар, пожар!..

Первые письма были той искрой, из которой разгорелось адское пламя. Письма становились все пламеннее и пламеннее. Огонь разгорался все сильнее и сильнее. Большой, всепожирающий пожар бушевал в моем сердце, я горел, как в огне. Я был болен, страшно болен. Я потерял аппетит, страдал бессонницей, ходил как помешанный. Моя душа ушла в письма, в них я находил единственное для себя утешение и радость.

Тот день, когда я получал письмо, был для меня праздником. Я распечатывал конверт, прочитывал и писал ответ. Моему ученику оставалось только собственноручно переписать послание, да и то мне приходилось его подгонять. А сколько крови стоила мне необходимость скрывать боль глубоко в тайниках своего сердца, не выдавать себя и, зарыв голову в подушку, тихо-тихо плакать, а затем вставать, делать веселую

мину и приниматься за дело — играть со своим любимым учеником в шашки или в «шестьдесят шесть»!

К счастью, никто не замечал, что я мучаюсь и таю как свеча. К счастью, мой ученик не очень присматривался ко мне. Следи он за мной, он, конечно, понял бы все. Могу себе представить, какую гримасу он состроил бы, увидев, как я покрываю поцелуями письма его невесты... Но разве можно было удержаться от поцелуев?

Вот посмотрите сами, что она писала:

«Мой ангел, душа моя, утешение мое!

Я должна тебе сказать всю правду. Признаюсь, дорогой, что я тебя до сих пор не знала. Я никогда не представляла себе, что найду в тебе источник таких горячих чувств, таких возвышенных мыслей, такого глубокого ума, что я найду в тебе такой кладезь знаний. По твоим мудрым словам я заключаю, как ты начитан, как образован!

И удивляет меня, почему я всего этого не знала раньше: это свидетельствует о твоей простоте душевной и скромности, за которые я тебя еще больше ценю. Как мне не считать себя счастливой, когда судьба связала меня с человеком, в котором воплотились самые лучшие качества: красота, ум, знания, душевная простота и доброта. Твоя доброта сквозит в твоих сладостных, мудрых словах. Щедрой рукой ты даришь мне твои милые письма. Благодарю тебя за них тысячу раз и прошу — не забывай меня и впредь!

Твоя верная, вечно любящая тебя невеста...»

На это я ответил немного туманно:

«Дорогая моя, любимая моя, славная моя, умница моя!

Ты не знала меня, потому что не видела меня, а тот, которого ты видела, — это не я, а мое отражение. Представь себе, что мы только теперь познакомились, что мы друг друга еще не видели, что мы как бы

вновь родились. Как счастливы мы, не зная мира, этого лживого, отвратительного мира, и лживых отвратительных людей, населяющих его.

Твой до гроба верный влюбленный жених...»

От нее я получил следующий ответ:

«Мой любимый, дорогой, богом ниспосланный ангел мой!

Твое письмо было для меня книгой за семью печатями, загадкой. Ты пишешь так туманно, что мне долго пришлось ломать голову, чтобы понять тебя, и теперь, мне кажется, я с гордостью могу сказать, что полностью тебя поняла. Ты говоришь, мы должны считать себя счастливыми, что не знаем этого лживого, отвратительного мира с его лживыми, отвратительными людьми. Очевидно, я одна из несчастных, ибо я-то знаю этот лживый, отвратительный мир с его лживыми и отвратительными людьми. И как сладко сознавать, что существует хоть один честный, благородный человек, правдивый, умный и добрый, и этот человек — ты, мой избранник, богом данный мне жених! Будь здоров, мой дорогой, пиши, что ты читаешь сейчас и какие книги ты можешь рекомендовать мне для чтения.

С большой любовью жму твою руку и навеки остаюсь

твоей верной, верной невестой...»

Мой ответ был таков:

«Жизнь моя, душа моя, рай мой!

Если я так удивил тебя, то представь себе, каким откровением, какой загадкой ты должна быть для меня. Мне никогда и не снилось, что я буду получать от тебя такие письма. По отдельным древнееврейским словам, встречающимся в твоих письмах, я вижу, что тебе не чужд наш священный язык. За это я ценю тебя так высоко, и даже боюсь, что недостоин произносить твое имя! Смотрю на твою фотографию и говорю себе: вот это она и есть, настоящая

дочь еврейского народа! Вот это мой идеал, и я готов ежеминутно жертвовать своей жизнью для тебя. Ты спрашиваешь, что читать? Посылаю тебе список известных русских и иностранных классиков, как Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Шекспир, Гете, Шиллер, Гейне, Бернс. Надеюсь, что они доставят тебе удовольствие. Отвечай мне скорее. Тот день, когда я получаю от тебя письмо, для меня праздник. Будь здорова, моя дорогая, будь здорова, моя верная, как желает тебе всей душой

твой любящий и преданный тебе жених...»

Вот что она мне ответила:

«Венец главы моей, сокровище мое, утеха моя, сердце мое!

Не понимаю, почему тебя так поразили несколько древнееврейских слов в моих письмах. Древнееврейский язык — это наш национальный фонд, Пятикнижие * — это наше достояние. Разве знание этого языка является особой заслугой для еврейской девушки? Стыд и позор, если она не может прочитать наизусть несколько стихотворений Иегуды Галеви *, если, окончив гимназию, не знает Мапу, Левинзона, Смоленскина, Гордона и других еврейских классиков!.. Я тебе очень благодарна за список. Жаль, что рекомендованных тобою классиков я уже давно прочитала. Помимо них, я читала еще таких знаменитых писателей и поэтов, как, например, Байрона, Доде, Свифта, Сервантеса, Диккенса, Теккерея, Шелли, Бальзака, Гюго, Сенкевича, Ожешко и т. д. и т. д. Мне хотелось чего-то нового, свежего, и не роман, а что-нибудь серьезное.

Будь здоров, мой любимый, мой сладостный. Не возноси меня слишком высоко. Ибо что слишком, то во вред! Я самая обыкновенная девушка, преданная тебе телом и душой.

Твоя верная невеста...»

На это я ей ответил...

Но, может, хватит этой переписки жениха и невесты? Боюсь, как бы не получился письмовник, а не роман. Хочу, однако, добавить: все эти письма до сих пор хранятся в ящике моего стола, в самом укромном уголке. Ни один человеческий глаз их не видел. Они дороги мне как старые-престарые летописи, молчаливые свидетели моих первых радостей и первых страданий. Это засохшие, увядшие цветы на могиле первой моей любви, первого моего романа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я изолгался, и меня лихорадит

Когда человек влюблен, это видно по его лицу. Стоит только присмотреться, как блуждают его глаза, как странно он улыбается, как отвечает невпопад, как смотрит ежеминутно в зеркало, как меняет ежедневно галстуки, как ходит плавно и легко, как любит он весь мир, — не будь ему неловко, он расцеловался бы с трубочистом...

Но за мною никто не следил. Правда, иногда мой ученик во время игры в шашки спрашивал меня, почему я так рассеян, почему я бью свои собственные шашки. В ответ я удивленно спрашивал: какие шашки? Хозяин тоже как-то спросил за столом, почему я так плохо выгляжу. На это хозяйка, позвякивая ключами, ответила (с выражением жалости на лице, хотя в душе она была рада), что за последнее время учитель совсем ничего не ест.

— В чем дело? — спросил хозяин и сам ответил за меня: — Вы слишком много работаете, целые дни вы сидите взаперти и занимаетесь, пошли бы как-нибудь прогуляться.

— Как мы можем гулять, когда у нас столько работы? — сказал мой ученик с таким искренним простодушием, что мне захотелось плюнуть ему в лицо и крикнуть во весь голос: «Люди!.. Нельзя же так врать!.. Лгун на лгуне сидит и лгуном погоняет!»

Но я этого не сказал; вместо того чтобы сказать правду, я тоже солгал:

— Соскучился по своим...

— Да, ничего удивительного, — поддержал мое вранье хозяин со всей силой своей богатой фантазии. — У него есть по ком скучать. Его семья — это первая, это известнейшая семья не только в их городе. Можно сказать, что во всей округе не сыскать еще одной такой семьи. Ковенский раввин, кажется, ваш родственник?

— Дядя, — бесстыдно лгу я.

— А проповедник из Поречья тоже, кажется, приходится вам дядей?

— Двоюродный дядя, — отвечаю я.

— А Эпштейн, великий Эпштейн, кем вам приходится?

— Мы двоюродные братья, — говорю я.

— А реб Мойшеле Гальперин, кажется, тоже ваш родственник?

— Да, со стороны матери, — ответил я.

— Ну, а толчинские, — говорит он, — толчинские богачи тоже, слышал я, приходятся вам близкими родственниками?

— Кузены, — говорю я, — кузены со стороны матери.

И я страшно рад не столько моим новоявленным родственникам, сколько тому, что наконец меня оставят в покое и я смогу остаться наедине с моими сладостными, святыми чувствами, с милыми, чудными письмами невесты моего ученика, которые дороже мне всех выдуманных и настоящих, близких и дальних родственников.

Вот что она написала мне в одном из своих последующих писем:

«Моя единственная утеха, мой ангел небесный!

Чем объяснить твою печаль? Почему так грустны твои последние письма? Почему ты говоришь о смерти? Что за загадки ты мне загадываешь? Почему ты считаешь себя несчастнейшим из несчастных? Зачем ты причиняешь мне столько страданий? Почему ты не открываешь мне великой тайны, которую таишь

в своем сердце? Какие могут быть у тебя секреты от той, которая любит только тебя одного и больше никого, которая с нетерпением считает дни до нашей встречи, до нашего скорого счастливого соединения на веки вечные!!!»

Со стороны жениха последовал следующий ответ:

«Святая душа моя, зеница ока моего! Божество мое!

Умоляю тебя, прости меня за мои последние письма. Забудь, что там написано. Ты права, моя дорогая, ты права! Я не имею права жаловаться, я не имею права называть себя несчастным. Несчастен тот, кто никогда не любил, кто не был любим!.. Повторяю тебе еще раз, что вся моя радость — это твои письма, что для меня было бы блаженством увидеть тебя — и умереть... Но нет, я дал себе слово не говорить больше о смерти. Ты хочешь знать мою великую тайну? О нет, ты не узнаешь ее, пока не пробьет счастливый (или несчастливый) час, когда мы увидимся перед венчаньем. Тогда ты узнаешь все... А пока — будь здорова, моя дорогая, моя святая, и пиши, пиши, пиши!

Твой несчастный счастливец и счастливый несчастливец, которому хочется, чтобы это время тянулось... вечно, вечно...»

. . . .

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Приготовления к свадьбе и мои глупые мечты

Каждый, кто когда-нибудь любил, поймет, что я переживал, когда в доме начались приготовления к свадьбе. И кто внимательно читал предыдущие главы, тот поймет, что переживал я, когда ученику моему примеряли свадебный костюм, который шили для него три недели подряд; смертные муки — пустяки в сравнении с моими страданиями. Ад показался бы раем в сравнении с моей невыразимой болью.

Вы, вероятно, считаете: зависть, ненависть? Ничего подобного! Я прекрасно знал, что любят не ученика, а меня, настоящего автора писем. Я прекрасно знал, что достаточно будет во время свидания раскрыть тайну, священную тайну, достаточно будет одного слова, чтобы она меня поняла, — и все кончится хорошо. Но как это сделать? Как устроить, чтобы я мог поговорить с нею с глазу на глаз хотя бы несколько минут? Я мучительно думал, передумывал, создал, вероятно, семнадцать тысяч нелепых планов, фантазий — одна глупее другой. Честно признаюсь, в моей голове рождались такие скверные мысли, что мне даже стыдно доверить их бумаге, хотя немало времени прошло с тех пор. Вы думаете, я намеревался убить моего соперника, отравить моего ученика? Боже сохрани от таких грешных мыслей! Я только молил бога, чтобы он сотворил чудо и мой ученик заболел, слег и переселился к праотцам, освободив место для меня...

Признаюсь, я думал об этом день и ночь, только того и ждал, чтобы моего ученика пробрало сквозняком, чтоб его схватил кашель или горячка, чтоб он поскользнулся на ровном месте и сломал себе шею, или кто-нибудь случайно угодил ему камнем в голову, чтоб укусила его бешеная собака и он рехнулся, или буря вырвала с корнем дерево и свалила прямо на него, чтоб случилось, наконец, какое-нибудь другое чудо, лишь бы он освободил место для меня.

И в то же время у меня щемило сердце: мне было жаль его. Невинная душа — почему он должен пострадать? За что ему, такому молодому, погибать? В душе я уже оплакивал его, искренне оплакивал. Я написал моей любимой, дорогой письмо, которое закончил горестным стихотворением. В этом стихотворении я серьезно оплакивал моего юного, безвременно погибшего ученика. Я сравнивал мир с кладбищем, а его — с молодым деревцем:

На деревце томится, плачет соловей,
И звезды так печально светят...

Что еще там было написано, не припомню.

И снова моя фантазия рисует мне: вот уже прошел год со дня его смерти, я и моя возлюбленная пришли на его могилу поплакать и возложить свежие благоухающие цветы, даже стихотворение посвятили ему, оно кончается так:

Пусть цветут на могиле твоей цветы,
А душа пусть в раю покоится...

Зацветут ли на могиле цветы — весьма сомнительно, но что ученик мой цветет, как роза, — это факт. Он с каждым днем становится все здоровее, его лицо — румяней, его тело наливается жиром. Он доволен, радостен, весел и счастлив — счастлив не от любви, но от того, что переезжает в большой город, где встретит новых людей и где больше не увидит опротивевшей ему родни.

В этом он признавался мне неоднократно, хотя в глаза говорил своим родителям, что будет тосковать по ним и не знает, как перенесет разлуку.

— А по мне скучать будешь? — спросил я его.

— Конечно! Конечно! — ответил он, дружески обняв меня. — Тебя я возьму с собой. Мы с тобой заживем. Будем играть в шашки, ходить по театрам. Я с тобой никогда не расстанусь, никогда!

Я знал, что это бесстыдная ложь.

Рожденный, выросший и воспитанный во лжи, он солгал и на этот раз.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Милости просим — в гости

Я никогда не забуду внимания, оказанного нам, когда мы приехали на свадьбу. К вокзалу за нами выслали великолепную карету, привезли нас в красивый дом, где каждому из нас была отведена отдельная комната, угостили вкусным кофе с пирожками, прекрасным завтраком с яичницей и жареной уткой. А народу, народу-то сколько! И все новые и

новые люди приходили приветствовать нас и знакомиться.

Они мелькали перед глазами, жужжали точно мухи и казались мне букашками. Я был увлечен своими думами, своими весьма безотрадными мыслями: как бы с ней повидаться наедине? Кто знает, удастся ли мне это? А что, если она разгадает священную тайну? А если, если... Я даже боюсь произнести что... Ужасно, ужасно!

В кармане я приготовил еще при выезде из дому... не пугайтесь: не револьвер, упаси господи, но письмо «к ней», письмо на трех листах с описанием моего романа, истории его возникновения и краткой автобиографией. Но как передать ей это письмо? Через кого? И когда она сможет прочесть его?

А ее родственники и родственницы суетились, бегали, как отравленные крысы, подгоняли прислугу, торопили готовить свадебный пир, посылали за музыкантами и раввином: надо же скорее повести жениха и невесту к венцу, а то ведь бедняжки изнуряют себя постом *.

Что жених не постился — я знаю наверняка. У меня в комнате он изрядно закусил уточкой, а потом притворился, что постится: состроил этакую весьма постную, подобающую жениху физиономию и старался казаться погруженным в очень серьезные думы.

Рожденный, выросший и воспитанный во лжи, он лгал даже в день своей свадьбы.

Тем временем пришли музыканты и начали готовиться к обряду «покрывания» *. Шум усилился, все засуетились. Каждый делал вид, что чем-то занят. «Скорее, скорее! Идем! Идем!»

И нас повели — неизвестно кто; повели под руки — неизвестно куда; нам что-то говорили — непонятно что; у меня закружилась голова, замелькало в глазах, в ушах — шум, а сердце билось: тик-так, тик-так...

Музыканты играли, плакала скрипка, ревела труба, свистела флейта, грохотал барабан — бам-бам, бам-бам, а сердце мое — тик-так, тик-так!..

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

«Эпилог» романа

Среди лиц, которые вертелись и мелькали перед глазами, я заметил одно, казавшееся таким же чужим в этом доме, как я сам. Это был длинноволосый молодой человек в очках, увлеченный одним лишь делом: за всем следить и все подмечать. И, по-видимому, делал он это с удовольствием.

Когда его взгляд остановился на мне, я почувствовал, что он видит меня насквозь, видит мое сердце, видит мою тайну, мою священную тайну, — и я опустил глаза. Но все же я остро чувствовал на себе его пристальный взор; я чувствовал, что он, не переставая, смотрит на меня, и невольно, подняв глаза, уловил его взгляд, которым он пронизывал мне сердце, притягивал точно магнитом.

Не знаю, как это случилось, но мы очутились рядом, я и молодой человек в очках, и заговорили, конечно, о свадьбе, о невесте, о женихе.

Родители подвели жениха под руки к невесте. Она сидела на стуле посредине комнаты, с распущенными волосами, прикрыв лицо ладонями, — видимо, плакала. Музыканты играли, скрипка рыдала, труба ревела, флейта свистела, барабан грохотал — бам-бам, бам-бам, а сердце мое — тик-так, тик-так!

«Вот еще минута, еще минута — и все будет кончено», — подумал я.

— Корова! — неожиданно шепнул мне на ухо молодой человек в очках.

— Где корова? — спросил я, оглядываясь по сторонам.

— Вот она, — ответил он мне, кивая очками на невесту.

Заметив на моем лице выражение крайнего удивления, он прошептал мне:

— Телка, корова, сущая корова! Веник от креста не отличит, и злюка к тому же! И выходит за такого хорошего парня. Вы, кажется, его учитель?

Не знаю, он ли отозвал меня в сторону, или я его, или же мы вместе отошли, так или иначе, но через

две минуты мы уже сидели рядом, как старые знакомые; молодой человек в очках — учитель невесты — рассказывал мне о ней такие вещи, о которых лучше бы вовсе не знать.

— Помилуйте, а ее письма? — воскликнул я. — Письма ее?!

Услышав эти слова, молодой человек в очках схватился за бока и расхохотался.

— Ее письма? Ха-ха-ха! Ее письма! Ой, не могу!.. Разве это ее письма?!

— А чьи же еще?!

— Ее? Ха-ха-ха! Ее письма! Мои они! Ха-ха-ха!.. Мои письма! Мои! Мои! Мои!!

Я подумал, что молодой человек рехнулся или ему кровь в голову бросилась. Он схватил меня за руки, закружился по комнате и, похлопывая меня по спине, не переставал хохотать:

— Ее письма, ха-ха-ха! Ее письма!

Вам когда-нибудь снился радужный сон: красивый замок, добрые ангелы, прекрасные вина, свежие, только что сорванные с деревьев фрукты, благоухание, рай — и «она», принцесса с золотыми волосами... И вы летите, возносясь все выше и выше, прямо к небесам... Внезапно видение исчезает. Из лесу доносится свист, хлопанье крыльев, странный, дикий хохот — ха-ха-ха, он раскатывается по всему лесу и на опушке обрывается приглушенным зевком: а-а-а!! Перед вашими глазами зияет пропасть: вот-вот вы туда низринетесь... Вздрогнув, вы просыпаетесь с головной болью и долго не можете прийти в себя.

Такой сон привиделся мне в ту минуту, когда молодой человек стоял предо мной и, не переставая смеяться над моими письмами, перечислял достоинства моей возлюбленной... Он смеялся, а сердце мое обливалось кровью...

В зале заиграли музыканты. Скрипка плакала, труба ревела, флейта свистела, контрабас гудел, барабан грохотал: бам-бам, бам-бам! А в душе — мрак, пустота.

ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Знойным летним днем на одной из людных улиц большого города, скажем Егупца, разгуливал, посасывая сигару, чернявый молодой человек с румянцем на щеках, лет этак... Нет, не скажу, каких он был лет, ибо в паспорт его я не заглядывал. В былые времена, когда у нас еще носили бороды, по ним легко можно было определить возраст человека. Теперь же, когда стричь и даже брить бороды, по милости божьей, стало обычным делом, попробуйте угадать по бритой физиономии, стар или молод человек. Иной раз трудно даже определить, еврей ли это. Конечно, если хорошенько приглядеться, то еврея нетрудно узнать по носу, по глазам, по взгляду. Он только поднимет на вас глаза, и вы сразу прочитаете в них: «Кто вы такой? Кажется, мы знакомы? Чем занимаетесь? Не можем ли мы быть полезны друг другу?»

Однако вернемся к чернявому молодому человеку.

Брюнет медленно шествовал, не выпуская сигары изо рта, как человек, который только что чудесно пообедал, закурил и теперь совершает свой моцион. Он выглядел прекрасно — румяные щеки лоснились, усы

бодро торчали кверху. Вот только одеяние его чуть подгуляло: рукава пиджака поблескивали, штанины были заметно обтрепаны, а штиблеты, великолепные лакированные штиблеты со сверкающими пуговками, на старости лет тоже сдали. Боже упаси, они не были порваны, но лак на них потрескался, и каблуки порядочно стоптались. Да и шляпа говорила о том, что человек этот не бог весть как состоятелен. Не только фасон устарел, но и сама она была поношена, а лента вся в сальных пятнах. Да, весьма и весьма неказистая шляпа!

Таково уж свойство нищеты! Коли заберется к кому-нибудь, то прежде всего наложит свой отпечаток на шляпу и носки сапог, затем проскользнет в кошелек, вычистит оттуда все до последней монеты, даже старый потертый грош унесет, оставив лишь две пуговицы да почтовую квитанцию, а в довершение всего протрет в кошельке дыру, чтобы появившаяся в кои-то времена монета и та потерялась.

Судя по тому как человек этот чинно шествовал, помахивая тростью, напевая что-то под нос, и все заглядывал в окна верхних этажей, можно было подумать, что он иностранец, от нечего делать решивший побродить по городу; а возможно, местный откупщик, подыскивающий участок, чтобы построиться, — поставить дом посреди просторного двора, фонтан перед крыльцом и палисадник.

Остановился человек у ворот, где красовалась записка с семью ошибками в тексте: «Сдается дешево место в общежитии, только для холостого».

На лице у нашего героя появилась довольная улыбка, из чего следовало, что он холост, ищет дешевую квартиру и не прочь поселиться с кем-либо вместе.

Позвонив дворнику и взобравшись вместе с ним на пятый этаж, он прошел в небольшую темную комнатушку под крышей, которая походила на голубятню. Здесь он обнаружил сидящего у окна на искалеченном стуле и набивавшего папиросы сухопарого лысого мужчину с бронзовым лоснящимся лицом и седой подстриженной бородкой. Старик был одет...

верней, совсем раздет: сидел чуть ли не в костюме Адама, если не считать расстегнутой рубахи, разодранной до колен, да на сухощавых волосатых ногах каких-то старых туфель то ли из прессованной бумаги, то ли из старой мешковины — во всяком случае, не из кожи.

Старик не привстал, не приветствовал гостя. Он даже не взглянул на него, а лишь, протянув длинную, сухую руку, бросил:

— Садитесь!

Вошедший снял шляпу и поклонился полуголому хозяину, затем стал искать глазами, где бы ему присесть. Но так как на единственном стуле сидел сам хозяин, гость решил, что лучше усесться на одну из трех кроватей, стоявших у стены, чем торчать, как пень, посреди комнаты. Решение это, видимо, понравилось и хозяину, который не отрывал глаз от своей работы.

— Извините, что я принимаю вас в халате, — заметил он. — Сегодня чертовски жарко, а здесь под крышей и того жарче. Сущий ад! Вы хотите, конечно, поговорить о квартире? Четыре рубля в месяц, кровать моя, постель ваша, раз в день кипяток из самовара, деньги за неделю вперед. Чем вы занимаетесь?

— Чем занимаюсь? — промурлыкал под нос гость. — Гм... Раз в день кипяток. А я рассчитывал — два раза.

— Зачем вам два раза? Ведь дома вы не сидите? Все время где-нибудь ходите?

— Ходить-то хожу, — ответил гость. — Случается, однако, придешь домой рано, хочется попить.

— Ну и пейте воду!

— Спасибо за совет.

— Не за что, — ответил полуголый хозяин, ни на секунду не прерывая работы и не глянув на пришельца.

— Сколько, значит, нас будет здесь? — спросил гость, удивляясь тому, что сюда сумели втиснуть три кровати.

— Значит, нас здесь будет ровно три жильца и один хозяин.

— Три жильца и один хозяин? Но, я вижу, здесь только три кровати. Где же вы спите?

— Обо мне не беспокойтесь! Уж я себе место найду. Могу пристроиться и на столе.

Съемщик выразил изумление. Он не представлял себе, как старик поместится на столе и куда денет свои длинные ноги. Ему показалось, что хозяин болтает зря, и, не сдержавшись, он спросил:

— Любопытно знать, как это такой большой человек спит на маленьком столе?

— Не знаете как? К столу пододвигают еще два стола, и все тут.

— Но ведь у вас только один стол.

— Вот это-то и неладно.

«Старый шут!» — подумал пришелец и переспросил хозяина:

— Когда, говорите, надо внести за первую неделю?

— Если квартира за вами, то не сходя с места. Как говорится: на месте сдохни!

Гость, который и сам не прочь был пошутить, поразился. Существо это за все время так и не подняло глаз, не взглянуло даже, когда он достал из кармана серебряный рубль и положил свой задаток на стол. Хозяин лишь пододвинул к себе монету одним пальцем и продолжал набивать свои папиросы.

Это даже задело гостя. Он встал и отрекомендовался:

— Аркадий Швейцер.

— Бронзентолер, — коротко отрапортовал хозяин и, не глядя на гостя, протянул ему на прощание два длинных, сухих, волосатых пальца.

Уже в дверях Аркадий Швейцер обернулся к хозяину:

— Скажите, дорогой Бронзентолер, кто они, мои соседи по квартире?

Хозяин продолжал делать свое дело.

— Вам очень нужно знать их происхождение? Если вы удостоитесь божьей милости и явитесь сюда вечером, то обязательно познакомитесь с ними.

Одного зовут Ноль, другого — Шмоль, а со мной и с вами это получится: «Ноль, Шмоль и компания». Ну как? Вы довольны? Адье! Можете нести свои вещи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Аркадий Швейцер отправился на старую квартиру за своим добром, которое состояло всего-навсего из небольшого чемодана, туго набитого... Чем? Что может быть в чемодане у такого молодца? Не знаю, как вы, но меня постоянно тянет заглянуть в чужой чемодан. А с тех пор как я прочитал повесть об одной парижской парочке, меня еще больше влечет покопаться в чужих вещах. Если у вас есть время, я коротко перескажу вам эту повесть.

Дело происходит в Париже.

Он и она.

Он из Берлина, она из Вены.

Он — жених, она — невеста. Вернее, они должны были стать женихом и невестой и в Париж отправились как бы на смотрины.

Приехали они в одно время, заехали в один отель, остановились, конечно, в разных номерах. А так как они не были знакомы, то ничего друг о друге не знали.

И должна же была получиться такая история (на то и история, чтобы не спрашивать что к чему)! У обоих были одинаковые чемоданы, одной и той же фабрики, с одинаковыми замками и ключами... А прислуга, снимавшая багаж, перепутала и внесла к нему в номер ее чемодан, а к ней — его чемодан.

Скинув с себя все лишнее и умывшись с дороги, каждый из них открыл чемодан, желая переодеться, как подобает жениху и невесте. Представьте себе их изумление, когда они начали извлекать оттуда одежду, он — женскую, она — мужскую! Оба чуть не лишились чувств. Однако все люди любопытны. Когда первый испуг прошел, они стали заглядывать в чемоданы поглубже, вытаскивать оттуда диковинные вещи, вылавливать связки бумаг и писем. А чужие

письма, ох, как интересно читать! Они узнали друг о друге такое, что, поженись они и проживи целых полста лет, и десятой доли не узнали бы... Короче говоря, они разъехались в разные стороны, он — в Берлин, она — в Вену. Конец сватовству!

А теперь заглянем в чемодан Аркадия Швейцера. В нем было немного белья, два-три бумажных воротничка и манжеты, несколько коробок из-под папирос, небольшой молитвенник, псалтырь, маленькие филактерии (все-таки еврейская душа!) и целая куча растасованных, красными шелковинками перевязанных колод карт.

Из этого следует, что наш Аркадий не прочь побаловаться картишками. Но к чему ему такая уйма карт? Стало быть, это его профессия, его хлеб! Да, мы не ошиблись. Расспросив знакомых, мы дознались, что он вьется возле карточных столов. Все это надо хорошенько запомнить, а со временем, если бог даст, мы о нем все подробно узнаем. Позже мы еще вернемся к Аркадию, а пока познакомимся с его соседями по квартире.

Когда Аркадий принес свой чемоданчик на новую квартиру, был уже вечер. В комнате горела закопченная лампа, а за столом сидело какое-то странное существо с бледным лицом, голодными глазами и редкими, длинными, сильно напомаженными волосами. Существо писало. На нем был чесучовый пиджачок с несуразно широкими рукавами, на маленьких ножках узкие белые брючки, на шее — белоснежный бумажный воротничок с ярко-красным галстуком.

«Видимо, это один из компаньонов фирмы «Ноль, Шмоль и компания», — подумал Аркадий.

Положив чемодан на одну из кроватей, Аркадий Швейцер представился существу в белых штанах и с красным галстуком, а существо, торопливо сняв очки, подпрыгнуло, тряхнув при этом длинными напомаженными волосами.

— Вы наш новый сожитель? Присаживайтесь! Почему вы не сидите? — И он поднес Аркадию единственный стул.

Красный галстук, жирные длинные волосы, несуразно широкие рукава чесучового пиджака, белые узкие брючки, хриплый голос существа, подпрыгивание — все это было так забавно, что наш Аркадий с трудом сдерживал смех.

— Письмо пишете?— спросил Аркадий. — Пишите, пишите! — и отодвинул от себя стул.

— Я пишу не письмо, а книгу. Я все время пишу. Я, видите ли, писатель, сочинитель, — пояснило существо хриплым голосом, подтанцовывая и потряхивая редкими длинными волосами.

Только теперь Аркадий обратил внимание на его маленькие белые ручки с тонкими хрупкими пальчиками, которые выглядели еще меньше в широких рукавах чесучового пиджака.

— Писатель? Что же вы пишете? Как бы вы нас там не описали!

Писатель разразился мелким, рассыпчатым смехом и показал при этом темные маленькие зубки, какие бывают у ребенка-сладкоежки.

— Я не из тех писателей, что других описывают. Я рад, когда меня не трогают.

Последние слова были излишни. И без того ясно было, что человек этот рад-радешенек, если его не тронут. Такие люди не имеют своего лица, не выказывают своего характера, очень застенчивы. Они подчиняются любому, и все понукают ими и эксплуатируют их. Вы можете делать с ними что угодно, можете из них веревки вить. Они никогда не сетуют на свою долю, плачут только над чужим горем, страдают за чужие грехи, перебиваются с хлеба на воду. Могут однажды без всякой жалобы у всех на глазах испустить дух. Они хватаются за острие ножа, жмутся к вам так крепко, что их не оторвать, не отогнать. Верная и преданная собачонка!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Так уж повелось на свете — помощь приходит неожиданно. Одному богу известно, что сталось бы с нашим героем, если б внезапно в комнату не вошел

Бронзентолер и писатель не прекратил чтения своей «Холеры». Мне рассказывали, что один сочинитель довел однажды крепкого, здорового мужчину до обморока. С тех пор, заслышав слово «писатель», мужчина этот удирает за тридевять земель, туда, где черный перец растет.

— Чемчик, господь вам жертву послал, и вы терзаете ее своими творениями. Отложите-ка вашу «Холеру» и давайте что-нибудь пожуем.

Хозяин положил на стол сверток, в котором оказалась бутылка очищенной, хлебец, тарань и две луковицы. Аркадий глядел на него во все глаза и почти не узнавал: на нем был черный субботний кафтан, белая рубашка, желтые ботинки с красными пряжками, на голове — соломенная шляпа с широкими полями, а на носу сидело пенсне. Франт франтом! Темно-коричневое угловатое лицо под желтой шляпой сверкало как бронзовое.

Сняв с себя парадное одеяние и оставшись в костюме Адама, Бронзентолер сунул длинные волосатые ноги в свои диковинные туфли и сказал:

— Ну-ка, Чемчик, будьте за хозяйку, приготовьте чай!

Писатель с красным галстуком, в белых штанах соизволил собственной персоной нагнуться, вытащил из-под кровати пузатый самоварчик и направился к выходу. На руках у сочинителя он выглядел, как малое дитя у заботливой мамки. По своему обыкновению, писатель подтанцовывал на ходу и потряхивал длинными волосами. Вернувшись, он, как хорошая хозяйка, принялся перетирать стаканы и накрывать на стол.

Вскоре хлеб был нарезан, тарань очищена, и все трое уселись за стол — хозяин на стуле, жильцы на кровати — и принялись за чаепитие, предварительно хлебнув, конечно, по стаканчику очищенной и закусив таранью. Все это без церемоний, по-простецки, словно они были знакомы бог весть с коих пор.

— А теперь, Чемчик, расскажите, что творится на белом свете! — сказал хозяин и, закурив папиросу, впервые внимательно глянул на Швейцера.

Тот в свою очередь зачадил толстой сигарой, дымище которой мог служить прекрасным средством от мух.

— Послушайте, — обратился хозяин к новому жильцу, — готов побожиться, что я видел вас в бильярдной у «Семадени» *.

Румяные щеки нашего героя густо зарделись. Видимо, ему не очень понравилось, что его видели в таком месте, и он стал оправдываться:

— Возможно. Очень возможно. Бывает, днем нечего делать, вот и забежишь на полчаса поглазеть, как сражаются на бильярде.

— А мне сдается, я вас видел с кием в руке подле зеленого стола и, конечно, не в кафтане. Не понимаю, чего тут стесняться? Профессия как всякая профессия!

И тут наш хозяин, как говорят, попал в самую точку. Последнее время Аркадий Швейцер действительно жил только бильярдом. Собственно, профессией его, как мы знаем, были карты. Но карты и бильярд — свояки, и даже весьма близкие, как, к примеру, меламед и сватовство, арендатор мясного сбора и мясники, торговец и банкротство, банкир и грабеж, и тому подобное.

Сам Аркадий не играл теперь на бильярде. Это стоило ему немалых денег, да и порядком осточертело. Нынче он наблюдал лишь за чужой игрой и «мазал».

«Мазать» на бильярде — это такое же занятие, как игра на бирже, и мы считаем не лишним остановиться на нем минуту-другую.

Представьте себе большой, сильно прокуренный и грязный зал, где стоит несколько длинных столов, накрытых зеленым сукном. Вокруг них с утра до поздней ночи снуют молодые люди с киями в руках, бьют ими по точеным костяным шарам, и кто больше загонит в лузу шаров, тот кончил партию и забирает деньги.

Играют обыкновенно только двое, все остальные, люди самые различные, сидят вдоль стен, следят за игрой и делают ставки на того или иного игрока. Это и называется «мазать».

Среди игроков попадается немало «специалистов». Они поначалу дают своему противнику несколько очков фору, выигрывают партию, а затем начинают вдруг проигрывать — делают фальшивые ходы (клопштос), у них появляется дрожь в руке (мандраже), и таким образом они ловят пижонов (простаков) и обирают их. Молодчики, которые сводят вот таких игроков, называются «хозяевами», или «наводчиками».

Одним из таких «наводчиков», пусть вас это не смущает, и был наш Аркадий Швейцер, последнее время не вылезавший из бильярдной. Он дышал день и ночь табачным дымом, слушал забористую брань, блатную речь, наблюдал дикие сцены, нескончаемые скандалы. Для нашего Аркадия это было падением, потому что по профессии он, собственно, картежник. Только несчастье заставило его так низко пасть. Но чего не сделает человек ради заработка!

Аркадий помнил те славные времена, когда он вел большую игру: разъезжал со своими парнями на пароходах, ловил «зайцев» и потрошил их карманы до самого донышка. А потом неделями валялся в номерах гостиниц, не появлялся на свет божий и все играл, играл; затем в клубах метал банк: двадцать пять против двадцати, пятьдесят против сорока, сто против восьмидесяти, двести против ста шестидесяти, четыреста против трехсот двадцати. Вспомнив это, наш Аркадий тяжело вздохнул.

— О чем вы так вздыхаете? Вас гнетет горе еврейского народа или неудачи в игре?

— Какая там, к черту, игра! Какие карты! — огрызнулся Аркадий тоном монарха, потерявшего державу. — Нынче ведут игру лишь со смертью. Прежде была игра, вот это игра! Куда девались те времена, когда понтировали и сто, и двести, и триста рублей на карту!

— Это вы так крупно играли? — спросил Бронзентолер и принялся как следует разглядывать соседа.

— Это, по-вашему, крупная игра? — ответил не без гордости Аркадий, точно разговор шел о его судах, бороздивших морские просторы, или о его юбилее,

прогремевшем на весь мир.— Это вы называете крупной игрой?! А вы не видали, как понтируют пять сотен на карту? Как сейчас помню: сидела нас порядочная компания игроков. Смотрю, в банке изрядный куш — почти тысяча рублей. Банкомет смотрит на меня: «Что угодно?» — «Карту!» — говорю. «Сколько прикажете?» — спрашивает он. Я как стукну по столу: «Карту!»

Аркадию представляется, что он в клубе и понтирует. Лицо его пылает, глаза горят. Он ударил кулаком по столу, да так, что писатель чуть не свалился под стол. Полумертвый от испуга, он вскочил и стал разглядывать своего нового соседа.

Это понравилось Бронзентолеру, и он расхохотался.

— Что вы скажете о нашем сочинителе? — подмигнул хозяин.— Знаете, почему я назвал его Чемчиком? Потому что он наряжается и следит за собой как настоящий немчик. А из немчика у меня получился Чемчик. Правда, прозвище здорово подходит ему?

— Точно по нему шито, чтоб мне пропасть! — заявил Аркадий и обернулся к Чемчику: — Носите на здоровье и износите не больным! — как говорила моя бабушка Толца, когда напяливала на меня арбеканфес *, перешитый из ее ватной юбки.

Все трое расхохотались, и Чемчик показал при этом свои маленькие съеденные зубки.

— Значит, так крупно вы играли? Гм...— переспросил Бронзентолер и, не спуская глаз со своего нового квартиранта, выдохнул клуб дыма, который встретился с кольцами от сигары Аркадия. Облако наполнило маленькую темную комнатушку, и воздух так сгустился, что при свете маленькой лампешки друзья едва различали друг друга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Ну, а деньги? Чтобы вести такую игру, надо ведь иметь деньги? — спросил Бронзентолер и глянул на Аркадия так, как смотрит знаменитый профессор

на своего пациента, то есть едва удостоив его взглядом.

— Вы спрашиваете, деньги? — ответил Аркадий и вынул изо рта толстую сигару. — Деньги, спрашиваете? Как звезд на небе! Мало пижонов на свете, фраеров, идиотов? Точно поджаренные голуби, готовенькие, сами в рот летят! Точно добрые духи несут они вам навстречу деньги и умоляют: «Нате! Все берите, только поиграйте с нами!» Вот какие это дурни! Я их отлично знаю, так как сам был порядочным идиотом до тех пор, пока не приметил что полагается, не уловил хода. Тогда я стал делать деньги на другой манер. Эх, годы, годы! Это были, понимаете, годочки! — Аркадий чуть задумался и тяжело вздохнул. — Боюсь, те годы уже не вернутся. Это было в Одессе. Ах, Одесса, Одесса! Какой город, здравствовать ему до пришествия мессии! В Одессе, понимаете ли, я вырос. Приехал туда из Бессарабии, не про вас будь сказано, голый, босой, каждой булке улыбался. Я ведь, должны вы знать, благородного происхождения — внук самого «стража одеяний рода человеческого». А попросту говоря, вот что: мой дед реб Арн служил сторожем в бане, охранял одежду порядочных домохозяев, пока они банились, и получал за это два пятиалтынных в неделю, не считая оплеух, так как у деда случалось немало пропаж. Исчезали и молитвенные одеяния и, извините, подштанники. Это было удивительное дело! Из-под носа у деда могли утащить что угодно, а он ни слова. Не пристыдит вора, не привлечет его. У этого дедушки — да будет благословенна память его! — я и воспитывался, так как отец мой сидел под семью замками. Ему оказали великую честь и посадили, должно быть по наговору, в одиночку. Солдат у двери охранял его от дурного глаза... чтобы он, упаси боже, не сиганул через забор и не удрал. А мамаша моя — долго жить ей! — училась кухарить у чужих печей. Боже упаси, не из благодеяния, а попросту за полтора рубля в неделю. Ей хотелось, чтобы я жил вместе с ней на кухне, кормился бы из одного котла. Но хозяйке, богатой женщине в жемчугах, не понравился мой аппетит. Я кушаю, заявила

она, не сглазить бы, за троих. И мне показали дорогу. Волей-неволей пришлось обратиться к дедушке, — царство ему небесное! — сидеть с ним в бане и стеречь чужую одежду. Однако это продолжалось недолго, так как я был большой охотник до наличных, а не имел, ну, скажем, гроша ломаного за душой. Вот я и надумал ревизовать хозяйские карманы, выуживать из чужих штанов мелочь, одалживать, конечно, чтобы, когда бог поможет, возвратить обратно. Ну, что там трепаться! Я потрошил карманы до тех пор, пока меня не застукали на месте. Произошел скандал, дедушку прогнали с должности, а я был вынужден сказать местечку «адье» и отправиться в Одессу. А чтобы легче было в пути, я продал свои сапожки и обзавелся деньжатами на пропитание, получил, как говорят, на путевые издержки.

И вот явился в Одессу этакий молодой бычок — парень лет шестнадцати — семнадцати. Я был молодчик хоть куда, поэтому вскоре же получил должность. Боже упаси, не у Эфроси в конторе, а в предприятии, имеющем дело со щетками и ваксой. Попросту говоря, я стал помощником чистильщика сапог. Бог помог мне овладеть ремеслом и завоевать симпатии у людей. Почистить пару сапог надо тоже уметь. Работа должна идти шик-блеск. Плевок на щетку, мазок-другой, и катись Мойше-Мордхе колбаской.

Вскоре я сколотил немного денег, расплевался со своим хозяином-эксплуататором и открыл собственное дело: приобрел приличный ящик с зеркалами, две щетки, несколько коробок ваксы и отправился на Ришелье. Работал я, можно сказать, напропалую, скопил немного денег и заимел часы, собственные, чистого серебра. И мамаше своей в Бессарабию послал трешку — пусть знает, что у нее есть сын в Одессе. Одним словом, показал я кукиш всему миру.

Но есть на свете великий бог! И надо же мне было столоваться в еврейском трактире, который содержала красавица из красавиц. Рейзл святое имечко ее, но все звали ее Розой. И должен же был я прийтись ей по вкусу. Она уговорила меня бросить свое дело

и перейти к ней на службу. А тут разом произвела в вышибалы.

— Во что? — отозвался Бронзентолер.

— Во что произвела она вас? — переспросил и Чемчура.

— В вышибалы. Не знаете, что такое вышибала? — удивился Аркадий, как если б узнал, что они не понимают, что такое хлеб с медом. — Как же так? Вышибалой называют человека, который берет за шиворот всякого, кому нужно показать дверь, дает коленом под зад и напутствует словами: «Ко всем чертям!» Теперь ясно, что это значит?! А вышибалой я был весьма неплохим, и хозяйке тоже пришелся по душе. Короче говоря, эта самая Роза втюрилась в меня, как кошка в молоко, бегала за мной и в конце концов предложила пожениться. Я ей ответил: «Пожениться? Пожалуйста. Очень даже хорошо! Однако я должен иметь денежное обеспечение, попросту говоря, тысчонку наличными». Она взглянула на меня так, будто я рехнулся. Но кто победил? Я, конечно. Помимо того, мы условились, что я не буду вмешиваться в ее дела, а она — в мои. А мои дела были такие — бильярд и карты. Днем мы работали на бильярде, а ночью дулись в карты. Но как представляете вы себе нашу работу? Достойнейшие господа, лучшие молодые люди посещали наше заведение, учились играть на бильярде. Ну, а когда целый день играешь на бильярде, то ночью надо обязательно закусить картишками. Разве не так?..

Ни хозяин, ни его квартирант не могли ответить, так это или не так. И они попросили нового жильца продолжить свой рассказ. Аркадий закурил новую сигару и удовлетворил их просьбу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Мне, собственно, следовало бы рассказать вам, как я расстался со своей красоткой, почему расстался, и какую шпильку она мне подпустила, но боюсь, рассказ затянется, а посему откладываю его до какого-нибудь праздника. Одним словом, я распрощался со

своей благоверной и покатил дальше. Соскочил вот здесь, в Егупце, стал искать себе дело. Но каким делом может заняться такой субъект, как я? На работу я ленив; письму и счету папаша забыл меня научить; торговать пшеницей и рожью или бумагами на бирже я боюсь. А вдруг, не дай боже, не будь того часа, проторгуюсь и вынужден буду объявить себя банкротом! «Черт с ними, с деньгами, только бы сохранить фирму», — сказал я как-то знакомому банкиру, когда он остался без гроша и вдобавок получил несколько пощечин...

Вертелся я, вертелся, пока все же не прилепился к делу. Как сказано: *«Всякого ворона с породою его»,* то есть каждый пьяница по-своему пьет. Пронюхал я про один-другой домик и стал захаживать туда. Ничего дурного не скажешь: собираются каждую ночь — сегодня у одного, завтра у другого, вроде как на именины. Приглашают человек тридцать — сорок гостей, а среди них немало пижонов, то есть таких молодых людей, которые сами в рот просятся, как те жареные голуби: «Глотайте нас на здоровье!» Хозяин уж знает, что ему тут делать! Он усаживает дорогих гостей за зеленые столы, хитро подбирает партнеров. А сам необыкновенно любезен, предупредителен. Хозяюшка же самолично обносит каждого чаем, угощает вареньем, и игра идет до утра, как в настоящем клубе...

Так вот, представьте, меня там приняли за пижона, посадили за один стол с какими-то подозрительными личностями. Один из них — капитан с золотыми пуговицами. И взяли они меня в оборот как полагается. Я не поленился, встал из-за стола и, отозвав хозяина в сторону, сказал ему: «Послушайте, дядюшка! Вы должны знать, что я битый пес и в обиду себя не дам. Ваш капитан мне не нравится». — «Что это значит? — спрашивает хозяин. — Почему не нравится?» — «А потому, говорю, что он такой же капитан, как я губернатор». — «Откуда это вам известно?» — «По рукам вижу. Больно ловко руками работает!» — «Что же вам угодно?» — «Мне угодно устроить маленький скандал. Всего лишь!» — «Вы с ума сошли! Сколько вы проиграли?» — «И вы возместите мне проигрыш?

Э, нет!» — «Чего же вы хотите?» — «Хочу войти к вам в компанию; чтобы половина была моя, половина ваша, как говорил один мой приятель, когда собирался кого-нибудь облапошить; тогда он начинал вдруг выражаться по-немецки: «Leben und leben lassen» [1].

Тут Аркадий громко расхохотался, да еще как-то взвизгнул. Но, увидев, что его никто не поддерживает, стал оправдываться:

— Не думайте, что я, упаси боже, прирожденный шулер, картежник, мазурик! То есть я, конечно, не праведник. Мне нечего перед вами рисоваться — ведь я не собираюсь с вами породниться, не прошу денег взаймы; боюсь, и сами вы, извините за выражение, такая же голь, как и я. Другой на моем месте обязательно приукрасил бы, а я говорю в открытую. У меня правда вся на поверхности, как на тарелочке. Нужда, понимаете ли, заставила взяться за этот горький хлеб. Один мой хороший знакомый говорит: лежит — бери, не то другой возьмет! Короче говоря, я вертелся на этих именинах до тех пор, пока не разразился скандал. Мы нарвались на молодчика вроде меня, который привел с собой «кокарду». Я поразмыслил и тут же смылся, а там на короткое время и вовсе исчез. Я, видите ли, не люблю, когда ко мне пристают с вопросами: «Кто вы такой? Чем занимаетесь? Ваша профессия?» Ведь если каждого экзаменовать, то, поверьте, больше половины города придется отправить в арестантские роты. Что? Разве не так?

Ни Бронзентолер, ни его квартирант не сказали ни «да», ни «нет». Они хотели выслушать биографию нового сожителя до конца, и он доставил им это удовольствие и продолжил свой рассказ.

— Однако долго ходить без работы тоже не дело. К тому же искушение больно велико. Кто однажды испробовал карты, жить без них не может. Тянет, как пьяницу к водке. Я воздерживался, соблюдал пост до тех пор, пока не познакомился в бильярдной с одним стрелком, который открыл мне глаза, ввел в новый

---

[1] Жить и давать жить другому *(нем.)*.

мир, именуемый клубом. И тут для меня началась новая жизнь, я познал, что такое рай земной! Словечко-то какое — клуб! Сюда можно прийти когда угодно, играть с кем угодно, во что угодно и на любую сумму. Желательно вам — стойте в стороне, глядите и «мажьте» сколько влезет, а нет — садитесь за стол и «отвечайте» на карту. Везет — хорошо, нет — ложитесь в гроб! Что поделаешь? Не привелось, видать, с медведем поплясать. Никто не спрашивает, кто вы такой, откуда у вас деньги. Выиграли вы или проиграли — никому до этого дела нет. Пока у вас бренчит в кармане и есть что ставить — вы ставите, нет — катитесь на все четыре стороны! Вот что значит клуб! Можете в один день спустить целое состояние, проиграть последние штаны. Зато, если придет карта и придут пасы, делайте так, как делал я, когда мне везло! Режьте, рубите, крошите, дерите шкуру! Выматывайте из этих недоносков кишки, мать их черт!

Аркадий так расходился, что грохнул кулаком по столу, и сочинитель чуть не свалился на пол.

— Полегче немного! — предупредил рассказчика Бронзентолер. — Вы снова насмерть перепугали моего Чемчурочку.

Аркадий стал извиняться:

— Понимаете, досадно! Ну зачем я отдал им обратно свое золото? Я мог убраться оттуда с порядочным кушем, и не один раз, а много раз; завести лошадок и выезд на резиновом ходу, приобрести шубу, сунуть руки в карманы, как другие это делают, — и вот вам добропорядочный обыватель Егупца. Но черт его знает, что со мной. Проигрываю — это меня не трогает. Но как только начну выигрывать — сразу кажется, вот они, пришли пасы! И я уже мечтаю добраться до тринадцатого выигрыша. Я рвусь, лезу на стену, стреляю пачками: двадцать пять против двадцати, пятьдесят против сорока, сто против восьмидесяти, двести против ста шестидесяти! Ставлю четыреста против трехсот шестидесяти, восемьсот против шестисот сорока!..

— Стоп! — остановил его Бронзентолер. — Этак вы можете за шестую тысячу заехать.

Аркадий немного обиделся.

— Вы, наверное, думаете, что я преувеличиваю, рассказываю бабушкины сказки? Можете говорить что угодно, но лгуном я никогда не был. Чтоб мне не свидеться со своей старушкой матерью! Это самая большая моя клятва. Потому что мать для меня самое дорогое. Я и поныне посылаю ей целковый в неделю, хоть тут гром греми и молния сверкай! И чтоб мне так счастье привалило, чтоб мне поскорей пришли все тринадцать выигрышей, как я говорю вам правду! Все несчастье в том, что нет у меня четвертного билета и я не могу отправиться в клуб. Понимаете ли, вышла вся мелочь, и к тому же задолжал друзьям-приятелям. У меня даже волосы на голове запроданы. Отнес в ломбард золотые часы, кольцо, подобрал каждую уцелевшую ценность и заложил. А после всего этого, доложу я вам, если мне удастся добыть четвертной билет, а я его с божьей помощью добуду, я тут же сколочу состояние в сто тысяч рублей. Вы смотрите на меня как на сумасшедшего? Так ведь? А вот я вам подсчитаю, и вы сами убедитесь, что такой молодец, как я, может сделать из двадцатипятирублевой бумажки сто тысяч чистоганом, да еще с хвостиком. Знаете вы, что такое тринадцать выигрышей с четвертного билета? Ну-ка, потрудитесь, возьмите перо и чернила!

— Насчет этого у меня Чемчура мастер, — заявил Бронзентолер.

Тут сочинитель, обмакнув перо в чернильницу, уставился на Аркадия. А тот стал диктовать:

— Пишите, пожалуйста: двадцать пять, и пятьдесят, и сто, и двести, и четыреста, и восемьсот. Каждый выигрыш вдвое больше предыдущего! Тысяча шестьсот, затем три тысячи двести, шесть тысяч четыреста, двенадцать тысяч восемьсот. У нас тут только десять пасов! Дальше — двадцать пять тысяч шестьсот, пятьдесят одна тысяча двести и сто две тысячи четыреста. Теперь понимаете, как у меня дела идут!

Аркадий рассмеялся при этом, по обыкновению чуть взвизгнув, сунул сигару в зубы, руки заложил в карманы и, отступя на несколько шагов, остановился

посреди комнаты, чуть выставив одну ногу и легко покачиваясь всем корпусом. Он выглядел человеком, к которому только что пришли все тринадцать пасов и который приобрел кругленькую сумму. Настоящий барон!

Кто в эту минуту не видал Аркадия Швейцера, тот сроду не видел счастливого человека.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Так, значит! — пропел Бронзентолер и вытянулся во всю свою длину. — Теперь я понимаю, чего вы добиваетесь. Вы ищете вчерашний день, а иначе говоря, тринадцатый выигрыш. Хотите постичь игру до самых глубин. Конечно, конечно! Ничего не скажешь, и это дело. Но дело не столь верное, как вам кажется.

Аркадий Швейцер почувствовал себя обиженным.

— Не столь верное, говорите? Благо вам, когда фабрики ваши дымят, пароходы бороздят моря, мельницы мелют, а сами вы сидите на готовеньком и стрижете купоны в ваших книжках из папиросной бумаги. Извините, господин хороший, но я хочу спросить вас, напшиклад[1], чем вы-то сами, собственно, занимаетесь?

— Чем занимаюсь? Эге-ге-ге! — затянул хозяин. — Многие ломали над этим голову — хотели уразуметь то же самое. Вон околоточный уже сколько раз допытывался. Только черта с два кому-нибудь такое в голову взбредет!

— В чем же дело? Вы пишете мезузы* или изгоняете бесов? Может, вы печатаете фальшивые бумажки? Мне вы можете сказать, это будет погребено, как в железном сундуке со звоном.

— Э, да я вас совсем не боюсь, пусть вам это не кажется. Все дело в том, что здесь и говорить не о чем.

---

[1] Например *(польск.)*.

— Но название этому должно быть?

— В том-то и штука, что никакого названия нет. Ну, какое название можно этому дать, как по-вашему, Чемчура? Что вы молчите?

Маленький сочинитель, точно очнувшись от сна, спрыгнул с кровати и, подтанцовывая по своему обыкновению, поправил очки и повернулся на одной ноге.

— Как назвать ваше занятие? Да ему нет названия.

— Вот видите! — заметил хозяин, показывая глазами на сочинителя. — Видели, как Чемчура повернулся только что на одной ноге и остался на месте? Точно так и я верчусь вокруг одного дела, очень большого, уже бог весть с каких пор. Верчусь, верчусь, и все на том же месте.

— А-а! Ну, теперь все понятно! — ухмыльнулся Швейцер. — Вы маклер. Из тех маклеров, что продают вершины егупецких гор, тень бойберикского леса, меняют вчерашний день на одесский лиман и прокладывают железную дорогу прямым сообщением из Мазеповки на луну. Так и говорите! Чего ж вы канителите? Вы — наш брат. Мое почтение вам! Когда есть необходимость, я тоже заявляю, что я маклер. У меня в чемодане тоже лежат две-три описи богатых поместий, где имеются прекрасные леса, огромные дворцы, породистые лошади, зеркальные пруды, богатые рыбой и дикими утками.

— Те-те-те! — прервал его Бронзентолер. — Ох и шутник! Смотрите-ка, как он раскудахтался — ни дать ни взять проповедник в синагоге! Ничего подобного! Я никогда не был маклером и никогда им не буду. Даже и не касался маклерства. Мое дело — наследство. Мы тягаемся из-за наследства, из-за большого наследства.

— Наследство? — подхватил Аркадий. — От кого? От какого-нибудь дедушки? Наверно, большое хозяйство — несколько деревень со стадами, с отарами овец, с водяными мельницами, корчмами, с великим множеством построек, с каменными лавками. Как же иначе — еврейское наследство!

— Опять! Вы снова распустили свой язык? Если хотите выслушать меня, то не перебивайте! Ведь я вас не перебивал, — недовольно сказал Бронзентолер и, сладко затянувшись папиросой, оперся о стол, вытянул длинные ноги и принялся рассказывать. А оба жильца напряженно слушали.

— Наследство наше состоит из наличных денег и достигло уже с процентами и депроцентами круглой суммы в девяносто девять миллионов.

— Как? Девяносто девять миллионов? — всполошился Аркадий и вскочил с кровати. — Боже мой, да ведь это такая сумма, которой хватило бы нам троим на всю жизнь да еще немного осталось бы родственникам и на благотворительные цели! Не так ли?

Бронзентолер дал ему докричать до конца, затем затянулся папиросой и продолжил свой разговор.

— Так вот, на эти девяносто девять миллионов нас три наследника: один брат и две сестры. Это значит, по тридцать три миллиона на долю.

— Да что вы такое говорите! — вскочил вновь Аркадий. — Мне кажется, брат всегда получает вдвое больше, нежели сестра. Как это у вас получается по тридцать три миллиона?

— Но ведь мы, господин Швейцер, договорились, что вы не будете перебивать!.. Откуда у нас такое наследство? Тут целое дело. Сам я, как видите, меняла.

— Ой! — вскрикнул Швейцер. — Бог свидетель, я как раз думал, что вы меняла. У вас лицо настоящего менялы. У всех менял такие вот странные, сухие лица. Все они деревянные люди, соломенные головы.

— Прошу вас, — обратился к нему хозяин. — Может, вы хоть на время онемеете? Рот у вас ни на минуту не закрывается. Видно, такая у вас болезнь!

Аркадий Швейцер ничего не ответил. Он заткнул рот сигарой и, усевшись поплотней, застыл, как человек, который дал себе слово молчать во что бы то ни стало, чтобы собеседник мог продолжить свой рассказ без помех.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Да, так на чем же мы остановились? Значит, я был менялой, стоял на базаре за столиком и менял деньги. Этим и добывал себе кусок хлеба. Однако одной меной не проживешь. Поди дождись, когда к тебе кто-нибудь подойдет, разменяет целковый, и ты заработаешь медную полушку. Но что же делать? Значит, нужно к тому же быть...

— Вором, — помог ему Аркадий Швейцер. — А что же? «Честно — не всегда уместно», — говорила бабушка Толца, царство ей небесное, снимая украдкой воск со свечей в канун Судного дня.

— Кто просит вас истолковывать мои слова? — произнес Бронзентолер. — Я говорю, будучи только менялой, не проживешь, значит надо еще приторговывать. Купишь старенькую монету, коробок для ритуальных пряностей, серебряный набалдашник, еще какого-нибудь лому — и так вот превращаешься из менялы в торговца. Снимешь дыру, прибьешь вывесочку: «Покупаю — продаю», и дело в шляпе. Забредет иной раз барин или барыня, соплеменник, черт, дьявол, — и вот покупаешь, продаешь, меняешь шило на швайку; заработал, доложил — это не важно, главное — поторговал.

И был день. Однажды вечером сижу, задумавшись, — ни одного покупателя. И вот открывается дверь и ко мне заявляется какой-то пан, огромный-преогромный, головой подпирает потолок, два страшенных усища и нос...

— Какого и наши праотцы не видывали! — пропел Швейцер.

Бронзентолер уставился на него, и на лице его застыл вопрос: «Откуда это?»

— Это из библии, — объяснил ему в простоте Аркадий.

— Хорошо, что вы нам сообщили, не то мы подумали бы, что это из французской истории, — съязвил писатель.

Аркадий ответил ему тем же:

— Здорово, кума! На рынке была. Кто спрашивает вас, зеленый крыжовник, терпкая кислица, телячьи мозги?

— Спасибо за комплимент! — низко поклонился Чемчура.

— Не за что, — с поклоном ответил Аркадий.

— Ну-ка, может, вы прекратите эту перепалку! — прикрикнул хозяин и стал рассказывать дальше. — Итак, на чем же мы остановились? Да, значит, входит ко мне в лавчонку высоченный барин, присаживается и давай разглядывать мои товары; расспрашивает, сколько стоит то, сколько это и разговаривает со мной по-польски, из чего мне становится ясно, что передо мной поляк.

Однако он ничего не покупает. «Откуда пан?» — спрашиваю я. «Из Варшавы», — отвечает. «Что делаете здесь?» А он: «Ниц не робя», — это значит — ничего.

На следующий день снова зашел, посидел, посмотрел, поболтал — и все. Послезавтра — опять то же. И так каждый день.

«Как вам нравится город, пан граф?» — спрашиваю. «Очень хороший город. И не так город, как его люди, и не столько люди, сколько местные евреи». О евреях он, оказывается, очень высокого мнения. Потому что, говорит он, евреи народ хороший. «Израелиты, есто бардзо шляхетна нация» [1], — точно вот так сказал, честное слово. Впервые вижу, чтобы барин, да к тому еще поляк, уважал евреев, называл их израелитами, а не жидами, водился бы с ними, расхваливал их прошлое, древних царей, пророков. Что уж говорить о царе Соломоне! * Этот, заявляет барин, был «бардзо не глупы чловик», что означает — совсем не дурак. Вот так и говорит, честное слово.

Короче говоря, этот барин стал у меня частым гостем, совсем своим человеком. Сам не знаю почему, но мы с ним очень подружились, даже полюбили

---

[1] Евреи очень благородная нация (*польск.*).

друг друга; хаживали в гости — он ко мне в пятницу вечером отведать фаршированной рыбы, я к нему в субботу днем — на стаканчик чаю. Кто он и что он — я ничего не знал. Стороной лишь слыхал, что он граф и фамилия его Домбе-Дембо-Дембицкий.

— Ага! — вскрикнул Аркадий Швейцер. — Это похоже на нашего Мойше-Мендл-Мордхе-Арн-Пейсе-Двойре-Мойше-Мендиса. Перед тем как выговорить его имя, надо хорошенько закусить. Ну ладно! Как же, вы говорите, зовут вашего пана?

— Его зовут Домбе-Дембо-Дембицкий. А живет он за городом у своих двух сестер, которых у нас называют барышнями и которым вместе за сто перевалило. Девы эти постоянно сидят взаперти, боятся человеческого глаза, и ни один мужчина еще не удостоился лицезреть их, и я в том числе. Каждый раз, когда я затевал разговор о сестрах, мой барин махал рукой и брался за свой длинный чубук.

Как-то сидим мы с ним в субботу и пьем чай, и вот ни с того ни с сего барин спрашивает меня: «Скажи-ка, пане Мошка, во сколько ты меня оцениваешь?» — «Не понимаю, о чем вы говорите, пан граф?» — отвечаю ему. «Как думаешь, например, каково мое состояние?» — «Сколько бы вы ни имели — желаю в десять раз больше». Он снова с вопросом: «Але напшиклад?» — то есть примерно сколько. Ну что ж! Чего мне стоит? Взял да и брякнул: двести тысяч. А он тут как захохочет, схватился за бока, трясется, покатывается, я думал, вот-вот лопнет со смеху. «Ты естем велким дурним, Мошка! — говорит. Это значит, я большой дурак. — На мою долю приходится ни больше, ни меньше как тридцать три миллиона. А втроем с сестрами мы владеем девяноста девятью миллионами». И недолго думая он подходит к комоду, вытаскивает целую кипу бумаг и сует мне под нос: «На, бачь!» Значит: на, смотри! Но что мне там смотреть? Вижу, бумаги со множеством печатей, но что это такое, не знаю. «Видишь, — говорит он мне, — эту подпись? Это подпись самого президента. Прислано из Америки, прямо на мое имя, из Сан-Франциско, из Калифорнии». Ну что ж, Калифорния так

Калифорния! Однако я не знаю, с чем это едят. «Знаешь что, пане Мошка,— говорит он мне,— дай я тебе расскажу, кто я есть, тогда ты поймешь, что это за бумаги и кто такой граф Домбе-Дембо-Дембицкий».

Так вот сказал барин, закурил свой огромный чубук и принялся рассказывать.

— Тут только, видно, и начинается настоящая история! — вскрикнул Аркадий и, опершись на руку, подмигнул сочинителю: — Пане домовик, ведь вас просили не дремать и внимательно слушать!

— Дай бог вам так слушать, как я, и поменьше болтать! — огрызнулся Чемчура.

И Бронзентолер рассказал историю графа Домбе-Дембо-Дембицкого.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Итак, на чем же мы остановились? Да, на графе Домбе-Дембо-Дембицком. Происходит он от подлинных Домбе-Дембо-Дембицких, старинных польских магнатов, которые в родстве с Потоцкими, Любомирскими, Замойскими и играли когда-то крупную роль в Польше. Дембицкие владели поместьями в тысячи квадратных верст, лесами, куда нога человеческая не ступала, великолепными дворцами, богатыми садами, оранжереями, огненными конями, роскошными каретами, породистыми псами. На охоту или на прогулку они выезжали, говорил барин, на шестерке лошадей цугом, а спереди и сзади скакали егеря. Земля дрожала! А погреба! А вина! Выдержанные водки, замечательные старки, лучшие коньяки, натуральные польские меды́, вкусные наливки. Открываешь бутылочку — и пробка в потолок летит, а из горлышка дым бьет...

И Бронзентолер показал, как вылетает пробка:

— Хлоп!

Тут заявил о себе Швейцер:

— Знаете, что я вам скажу? Отдаю кареты, скакунов, собак, егерей, которые скачут спереди и сзади,

за одну бутылочку польского меда или наливки. Но вам, может быть, больше по душе вино?

— Пусть будет хоть простая горькая! — ответил Бронзентолер и продолжал свой рассказ. — А денег, наличных денег и банковых билетов было столько, что для стрижки купонов держали особых людей, которые с утра до вечера сидели с ножницами в руках и стригли, стригли, стригли.

Бронзентолер двумя пальцами показал, как там стригли купоны, и всем сразу представилась огромная гора бумаг:

А Швейцер заявил:

— Ну, совсем как у моего прадедушки с материнской стороны. Он, говорят, был очень богат и имел столько скота, что выдоить всех его коров, овец и коз не представлялось никакой возможности. Тогда вырыли большущую яму и загнали туда всех животных, чтобы они сами себя выдоили и там же копытами сбили масло.

— Я вижу, — сказал с досадой хозяин, — вы думаете, что здесь шутки шутят, рассказывают сказки из «Тысячи и одной ночи»?

— Боже упаси! — воскликнул Аркадий. — Зачем мне так думать? Мальчик я, что ли? Рассказывайте! Рассказывайте! Мы так внимательно слушаем вас.

— Ну ладно! На чем мы остановились? Да, значит, они были неимоверно богаты и играли крупную роль до... польского восстания *. А после восстания у них отобрали все поместья и лишили графского титула. Нет графа Домбе-Дембо-Дембицкого, остался просто пан Домбе-Дембо-Дембицкий.

— Пан юж не асессор [1]. Сара, убирай рыбу! — вставил словцо Аркадий.

Бронзентолер опять попросил его не мешать.

— Да, значит, у них все забрали, и они вынуждены были уйти в изгнание; разъехались, расползлись по всему свету — один туда, другой сюда. Оста-

---

[1] Пан уже не чиновник *(польск.)*.

лись только трое — мой барин и его две сестры. Они проживали у дяди-старика, тоже Домбе-Дембо-Дембицкого, и от него слышали, что его младший брат Станислав проживает где-то в Америке, в Калифорнии. Ему там хорошо, и он зовет всех к себе. Но с тех пор как дядя скончался, они ничего о Станиславе не слышали и успели забыть о нем. И вдруг из Америки пришла весть, что в городе Сан-Франциско тридцать лет тому назад умер некий Станислав Домбе-Дембо-Дембицкий и оставил в банках огромную сумму с наказом держать в сейфах эти деньги двадцать пять лет. А по истечении этого срока его капиталы с процентами должны быть поровну поделены между всеми его родственниками. А так как из всех Дембицких остались только мой барин и его две сестры, то они и являются единственными наследниками всего этого богатства, которое достигает сейчас, как я вам говорил, девяноста девяти миллионов, по тридцать три миллиона на каждого.

— Мне бы хоть проценты с этих денег, я бы им показал в клубе, кто кого старше! — заметил Аркадий.

— Имей я хоть то, что пойдет на расходы по поездке за этими деньгами, я бы уже знал, что делать! — отозвался сочинитель.

— Извините, вы оба глупцы! — заявил Бронзентолер. — Пожелайте, чтоб мое дело выгорело, и вы на этом больше выиграете.

— Аминь! Пусть вам бог поможет! — произнесли в один голос жильцы.

Хозяин продолжал:

— Итак, на чем мы остановились? Да, на девяноста девяти миллионах. Вы понимаете, конечно, что я, заслышав всю эту историю, подпрыгнул: «Как же это, господин барин? Девяносто девять миллионов, а вы молчите!» А он мне отвечает: «Ты глупый! Здесь криком не поможешь. Надо ехать брать деньги». — «Ну, так езжайте и берите!» — «Так вот поехать и взять их? Надо, говорит, захватить с собой адвоката, выхлопотать уйму бумаг. А это не так просто. К тому

же, — заявляет он,— здесь нужны терпение и деньги. Пенензы нужны».

Говорит он это и спокойно посасывает свою трубку. А я горю, пылаю, чувствую, сейчас скончаюсь. «Что с тобой, пане Мошка? — спрашивает он меня. — Что это ты так разволновался?» — «Как же это? — отвечаю. — Такая груда денег! Такой клад! Подумать только — девяносто девять миллионов! Из-под земли, говорю, добыл бы деньги и поехал бы за этими миллионами». Я говорю, а он сидит, спокойно посасывает чубук и даже не поморщится, будто хочет сказать: «Что же я могу поделать? Извести себя ради этих миллионов? Жизнь дороже!»

Ну, что тут распространяться? Я принялся долбить своего пана. Каждый день говорю ему: «Пане, что же вы молчите? Я попробую достать у наших немного денег». — «Ну что ж, отвечает, попробуй, если хочешь. Может, и достанешь. С евреями можно все сделать, потому что евреи — народ богатый и разумный. Во всем мире нет такого народа, как евреи. Два славных народа есть на белом свете — поляки и евреи. Эти два народа, — говорит он, — будут когда-нибудь владыками мира. Все народы, — говорит он, — погибнут, пожрут друг друга, а евреи и поляки останутся. Поляки и израелиты», — заявляет он. Честное слово.

— На кой дьявол мне его комплименты? — проговорил Швейцер. — Расскажите-ка лучше, чего вы добились.

— Видал? — ответил Бронзентолер. — Вот тут-то и начинается настоящая история.

— В самом деле? — переспросил Аркадий. — Что же было до сих пор?

— Предыстория, — отозвался сочинитель.

— Верно! Чемчура прав. Это была не более как предыстория. Но не пугайтесь — предыстория больше самой истории.

Ответив так, Бронзентолер продолжил свою повесть о миллионах.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Итак, на чем же мы остановились? На наших соплеменниках. Евреи, слава богу, и купят, и продадут, и займут, и вернут — круть-верть. Скажите им: «На небе ярмарка!» Все бросят, полетят на небо, в огонь и в воду кинутся. А предложите им настоящее дело, законное наследство, наличные деньги, которые вот они, перед глазами лежат, только нагнись и бери? Так нет же! Тут никого нету дома. Почему же так? «Больно уж хорошо! — говорят они. — Слишком много денег! Очень большая удача!» Ну, что ты с ними поделаешь? Да что вы, скоты этакие в образе человеческом! Ведь девяносто девять миллионов! «Нет, говорят, уступаем вам эти миллионы, нам дайте дело в тысчонку!» А другие еще издеваются, хохочут, строят рожи: «Ну, что там слышно с вашими миллионами?» Мне даже стыдно стало перед моим паном, который так уважительно отзывается о евреях, без конца хвалит, считает их мудрецами из мудрецов. И вот нате же! Скоты, ослы, да и все тут.

Сначала нашлось несколько человек, дали кое-что на поездку. Но, когда понадобились деньги и на другие расходы, на документы, на депеши, они вдруг одумались. Стоп! Что такое? Хватит, говорят. У них не источник. И колодец иссякает. Как вам нравятся эти умники?! Они, видите ли, не отказались бы от миллионов, если б не нужно было тратиться. Им бы жареные голуби, да прямо в рот! Некоторые просто отмалчивались, а другие даже позорили нас, пугали прокурором. Чего больше? Надоумили мою собственную жену разойтись со мной.

— Как? Вы женаты? Поздравляю! — подскочил Аркадий.

— Был женат, — ответил Бронзентолер. — Не беспокойтесь, разженился. Вмешалась родня, друзья-приятели. «К чему вам, — убеждали они, — миллионы? Позаботьтесь лучше о своем деле! Живая копейка, говорят, дороже всяких химер. И чего вы связались с этим паном? Бог весть что это за

субъект. А вдруг это и не пан!» Ну и еще всякие пакости наговорили мне.

И жена моя принялась за меня. «Дуреха,— твержу я ей.— Что ты их слушаешь? Твои друзья, говорю, завидуют тебе. Не могут простить нам такого счастья». Но поди поговори с бабой! «Пусть это счастье останется при тебе! Развяжи меня! Дай развод!» Ну, что там говорить? Разошлись. Все эти переживания, унижения заставили меня покинуть город и переехать в Егупец вместе со своим паном искать средств на издержки. Все же Егупец большой город — крупные предприятия, маклера, люди, которые мечтают добыть деньгу.

Пана я поместил в хорошую гостиницу, а для себя снял вот этот чердак, как вы говорите, поближе к богу. Каждое утро я беру свою палочку, отправляюсь на биржу, где толчется множество людей, и завожу знакомства.

И есть надежда, что мы учредим общество на паях. Это значит — несколько человек сложатся и создадут нужный капитал. А там сколько человек вложит, столько паев он и будет иметь. На каждую сотню ему придется из наследства десять тысяч рублей, на тысячу — десять тысяч, — на десять тысяч — миллион. И, как вы думаете, моя половина, конечно, теперь раскаивается, все подсылает ко мне друзей. А те вне себя от того, что их близкий, Мойше Бронзентолер, простой меняла, и вдруг может получить три миллиона.

— Как? Три миллиона? — крикнул Аркадий Швейцер и вскочил с кровати. — Целых три миллиона?!

— Чего вы всполошились? — ответил Бронзентолер и, набивая папиросу, хладнокровно глянул себе на ноги, точно разговор шел о трешке. — Нечего удивляться! Мало я потрудился для этого, что ли?

— Но три миллиона! — повторил Аркадий, разводя руками.

— Да, три миллиона! Так мы договорились. И это не пустой разговор, мы и на бумаге расписались, и заверили ее у нотариуса. Ведь все мы только люди!

Пан мой довольно стар, и я не молодой человек. У меня немало бедных братьев и сестер. Человек собой не располагает. Мало ли что может случиться? Вот почитайте!

Бронзентолер достал из ящика стола чуть пожелтевший лист бумаги со странной размашистой витиеватой подписью, где всякие закорючки и финтифлюшки увенчивались маленьким хвостиком.

— Видите подпись? Здесь стоит: Ян-Казимирж-Зигмунд граф Домбе-Дембо-Дембицкий.

Аркадий Швейцер внимательно рассматривал искусно завитую подпись, выглядевшую на бумаге так, точно там сплелись огромная змея и распростершаяся в полете птица, а сверху их осенила большая клякса, так что не разберешь, где начинается змея и где кончается птица.

Обескураженный Аркадий долго стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, приподняв плечи, с вытянутым от удивления лицом. Потом, хлопнув себя по ляжкам, он, по своему обыкновению, визгливо хохотнул:

— Три миллиона! Ха-ха-ха! Три миллиона! Если б я заимел эти три миллиона рубликов. Ах ты, господи, иже еси на небеси!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Три миллиона, которые когда-нибудь обретет Бронзентолер, вывели нашего Аркадия из равновесия. Делая большие шаги, он ходил по комнате, горячился, без конца сыпал словами. Полуголый хозяин преобразился в его глазах, стал любезен его сердцу. И Аркадий принялся ластиться к нему, как котенок или верный пес к своему господину.

Аркадий Швейцер делал это не потому, что ожидал от Бронзентолера каких-то благ. Сила денег сама по себе притягивала его, как магнит. Он любил деньги не только потому, что в них нуждался, а просто как деньги, ведь «деньги — хорошая штука». Наш Аркадий мог простоять на ногах десять часов подряд подле зеленого стола в клубе и следить, как звонкое

золото перекатывается без конца, течет от одного к другому, льется, как вода. Вот около одного лежит горка золота. Она растет, растет и вдруг начинает таять, переходит к другому, а там опять возвращается к первому.

Аркадий следит за тем, как кто-то «бросил» карту. И хотя сам он не принимает участия в игре, потому что не при деньгах (на его языке: пуст, как тарелка), но блеск золота и звон металла приковали его к месту. У него громко стучит сердце, когда кто-нибудь выиграет, он радуется вместе с ним, помогает вздохом тому, кто проиграл и влип безвозвратно.

Трудно сказать, что Аркадию дороже: деньги или игра. То и другое сплелось, перепуталось в нем, запеклось в сердце. Дороже ничего на свете нет. Только к этому лежит его душа, только к этому тянутся его мечты. Какие бы он ни видел сны, в них всегда фигурируют выигрыши или проигрыши. Только карты, только золото снятся ему. Когда он видит деньги, тотчас начинает подсчитывать — сколько можно с ними «сделать», если бы господь помог и пришла бы порядочная карта. Ах, тринадцатый пас, тринадцатый пас! И Аркадий вспоминает о боге, проникается благочестием.

Аркадий Швейцер, как большинство картежников, суеверен. Он верит в хорошие и дурные сны, по понедельникам и тринадцатого числа не посещает клуба, возвращается с полпути, если встретит попа. А когда кошка перебежит дорогу, он наверняка знает, что сегодня ему крышка. Аркадий, совсем как женщина, боится сглазу. Поэтому, выигрывая, говорит, что проиграл; во время игры не меняет денег и ни за что не одолжит с кона. И хотя сейчас он не при деньгах и не знает, откуда они возьмутся, но верит, как правоверный еврей в приход мессии, что бог карт еще сотворит чудо и Аркадий Швейцер будет иметь деньги, большие деньги. Главное, раздобыть четвертной билет да чтобы пришла хорошая карта, а там, бог даст, все будет складно, как в песне.

Первой мыслью Аркадия, после того как он несколько успокоился, было: «А может, это перст божий, что он поселился здесь, с этим Бронзентолером?! Иначе, почему он попал именно сюда, а не в другое место? Может, с этой минуты начинаются его «семь лет изобилия»? * Неужели от этих трех миллионов не отвалится ему тысчонка-другая? А то и целых десять тысяч?!» И Аркадий снова начинает подлещиваться к хозяину.

— Скажите, мой дорогой реб Мойше, — кажется, так вас зовут? — разве, если б вы явились ко мне немного раньше, когда в голове у меня было просторно, а в кармане тесно и целковый для меня ничего не значил, — разве я не вынул бы с великой радостью пачку бумажек и не сказал бы: «Это моя жертва, мое подношение! Да послужит эта тысчонка искуплением, и так далее?!» Ведь Аркадий Швейцер, божьей милостью, понимает дело, мозги у него не высохли! Попросту говоря, для меня это — карта, и я ставлю на карту. Не так ли, реб Мойше?

— Конечно, так! — опередил хозяина писатель и тут же получил от Аркадия такую отповедь, что надолго запомнил ее.

Любопытно. Насколько Бронзентолер выиграл сейчас в глазах у Швейцера, настолько сочинитель потерял в его глазах. Аркадий не удержался и окатил его целым ушатом помоев.

— А, здрасте пожалуйста! Дорогой Чемчик, сочинитель «Холеры», дубина стоеросовая, и вы здесь? А я думал, в сладких снах витаете и вам снятся ведьмы, оборотни, страшные дикие козы и подобные им существа, о которых вы пишете в своих книгах.

Маленький сочинитель втянул голову, точно черепаха, весь съежился и стал совсем незаметным. Он промолчал. Ведь грубиян этот может любого смешать с грязью. «Невежда остается невеждой! Шут с ним, уступлю ему!» — думал он про себя.

А Швейцер продолжал подлизываться к хозяину:

— По-видимому, реб Мойше, вы такой человек, что не любите надоедать. Я бы на вашем месте, знаете,

чего-нибудь уже добился! Шуточки — процесс о девяноста девяти миллионах! Вымолвить только — девяносто девять миллионов!

— Девяносто девять миллионов, — поддержал сочинитель, и Аркадий вновь накинулся на него:

— И вы, Чемчура, разговариваете о миллионах? Вот поклянитесь, мой дорогой песнопевец «Холеры», что вы когда-либо видали своими глазами целую сотню, и я заплачу вам сколько «они» прикажут! — И Аркадий, умильно склонив голову и прищурив один глаз, указал рукой на хозяина.

— И вы думаете, что угадали? — отрезал хозяин. — А я говорю, вы, извините за выражение, попали пальцем в небо. Вот этот Чемчура, каким вы его видите, имеет не одну, а много сотенных. Целое состояние! Знайте, что Чемчура очень богат.

Словами «очень богат» Бронзентолер рубанул, как секачом, и Аркадий весь вытянулся, выхватил сигару изо рта и, моргая, ошалело переводил взгляд с сочинителя на хозяина. Видимо, он спрашивал себя: «Что же это со мной происходит?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Как уже заметил читатель, наш сочинитель, скромный человек, не любит, как некоторые, бахвалиться, изображать из себя неведомо что, и поэтому говорить о нем был вынужден Бронзентолер. Он повествовал о его «величии и богатстве», а Чемчура время от времени лишь вставлял словцо, глядя на носки своих ботинок или воздев очи горе, где паук, искусно раскинув в углу сети, повис вниз головой, поджидая, когда бог пошлет ему какую-нибудь поживу.

— Нашего Чемчуру, — начал Бронзентолер, разминая папироску, — бог наградил таким достоянием, которое в воде не тонет и в огне не горит, не боится ни кражи, ни пропажи. С ним никто не может конкурировать. Его достояние не отобьешь, не отбе-

решь. Его товар всегда деньги, и деньги эти всегда при нем.

— Какой же у него товар? — не выдержал Швейцер. — Алмазы, брильянты?

— Лучше брильянтов! — ответил Бронзентолер, а Чемчура опустил при этом глаза. — В сущности, что такое брильянты? Всего лишь камешки, украшения какие-то, преходящая мода! Кончится мода, и вы можете выбросить свои камешки на помойку. Но то, чем обладает Чемчура, никогда не выйдет из моды, и, пока существует мир, люди без этого не смогут обойтись.

— Ого! — воскликнул Аркадий. — «Чужая душа — потемки», — говорила моя бабушка, царство ей небесное, когда вытряхивала у меня из кармана пропавший пятак.

А про себя Аркадий подумал: «Кажется, такая пигалица! Скорей можно было ожидать, что он вот-вот окочурится».

Хозяин, видно, угадал его мысли.

— Понимаете ли, — сказал он, — нашему Чемчуре бог послал такой дар, которым не каждый обладает. Все, что он видит глазами...

— ...Он цапает руками, — вставил Швейцер. — Точь-в-точь как мой дядя Лейбуш. У него была такая же манера.

— Хотите слушать — слушайте. А нет — подите со своим дядюшкой в одно место! — вспылил хозяин.

Швейцер сразу примолк.

А Бронзентолер продолжал:

— Значит, все, что Чемчура видит глазами, он описывает руками. А руки ему бог дал золотые. Когда он сядет за стол, он может писать без конца. Пишет до тех пор, пока у него хватает чернил и бумаги.

— Наверно, у него безумные расходы на эти материалы! — ввернул Аркадий.

— Ну, что это за расходы в сравнении с тем, чего Чемчура достигает своим писанием? Одной бутылкой чернил он может написать книгу в тысячу страниц.

— Ну, а при нужде, — вставил Аркадий, — можно и водички добавить, как это делают шинкари, когда водочка на дне, а выручку упустить не хочется.

— Может, заткнете наконец свой фонтан? — воскликнул Бронзентолер. — Короче, наш Чемчура — золотопряд, неиссякаемый источник. Видите, вон под кроватью сундучок? Он доверху набит сочинениями. Да еще какими! Чемчура мне почти все их перечитал. Если эти произведения выпустить в свет, их вмиг расхватают. Беда лишь в том, что их не на что печатать.

— Значит, нету монеты? — спросил Аркадий. — Стало быть, у вас денежная болезнь, как немцы говорят. А на языке медицины — это копеечная лихорадка. Совсем как у меня. Сколько же, например, для этого надо денег?

— Ну, какая разница? — ответил Бронзентолер. — Все равно нету. А к тому же, Чемчура — странный человек. Совсем непохож на других сочинителей. Иные пойдут, соберут деньги...

— Попрошайничать? — вспыхнул сочинитель. — Лучше смерть! — Глаза у него запылали, щечки стали цвета галстука на его белой сорочке.

Хозяин махнул рукой, как любящий отец на упрямого сына:

— Гордыня какая! Гордец и упрямец! И сколько я ни толковал — как горох о стену. Я говорю, выпустим сначала одну книжку, а там видно будет! Для этого хватит и нескольких сот рублей.

— Только-то? — прервал Аркадий. — Ну, что для таких капиталистов, как вы, эта сумма? Тем более что речь идет о золотом деле — о книгах?!

— Смеетесь?! — проговорил с досадой Бронзентолер. — Ну, так я вам докажу, что вы, извините за выражение, большой осел и нет у вас ни капли понятия. Языком только мелете, а чтобы дело понять, раскусить, что к чему, — на то вас не хватает. Вот вам простой расчет. Скажите нам, пане Швейцер, если вы такой умник, сколько, по-вашему, у нас евреев?

— Где? Здесь, в Егупце? Смотря каких. Если шелудивых и сволочей, то хватает.

— Нет! — ответил Бронзентолер. — Я не о том. Всех евреев, всего-навсего.

— Всюду, — пояснил Чемчура. — Во всем мире.

— Во всем мире? — переспросил Швейцер и наморщил лоб. — Говорят, не сглазить бы, довольно много. Пускай будет столько болячек антисемитам!

— Сколько же среди них читают книги?

— Сколько читают книги, я не знаю, — ответил Аркадий, — но тех, что играют в карты, безусловно больше. За это я ручаюсь.

— Ладно, пусть будет так! — махнул рукой хозяин. — Пусть из нескольких миллионов только два миллиона читают. Сбросим миллион на тех, которые не могут или не хотят купить книгу. Остается миллион читателей. Теперь будем считать, что два человека купят одну книгу.

— Считайте, книгу на троих, — поправил сочинитель.

— Ладно, — заявил хозяин, — пусть будет книга на четверых, ну, на пятерых! Сколько же мы выручим? Не двести ли тысяч рублей?!

— Это у вас вроде главного выигрыша! — вскрикнул Аркадий, который только теперь раскусил все как следует. — Ух ты! Да ведь это, право слово, недурное дельце!

— А вы как думали? — отозвался хозяин, и сочинитель почувствовал себя так словно он стал толще и выше. — Теперь представьте себе, что я не хочу сразу разбогатеть и устанавливаю цену на книгу — полтинник.

— Полтинник — дешевка! Совсем даром! — заявил Аркадий, как настоящий знаток.

— Это мы все толкуем об одной книге, — продолжал хозяин. — А что вы скажете, дорогой господин Швейцер, если таких книг у Чемчуры штук тридцать?!

— Ого! Не сглазить бы! — воскликнул Аркадий и соскочил с кровати. — Это ведь пахнет миллионами, честное слово!

— А вы как думали? — откликнулся Бронзентолер, и Чемчура чуть не растаял от удовольствия. —

Нам бы только несколько сотенок раздобыть — и мы выпустим первую книгу. Вырученные сто тысяч сунем поглубже в карманы и примемся за остальные книги. Конечно, выпускать будем по одному сочинению. И так до тех пор, пока не издадим все тридцать штук. Вы, конечно, понимаете, как мы прогремим тогда! Я уж не говорю о деньгах, но подумайте о славе, которую воздадут Чемчуре, когда его книги заполонят весь мир! Можете смеяться надо мной, говорить, что я старый дурак, но я ему по-настоящему завидую. То есть я ему желаю всяческого добра, но здорово и завидую. Шутка сказать, какая слава! Какая честь!

У Аркадия Швейцера закружилась голова, конечно, не от чести и славы, которая предстоит Чемчуре, а от его будущих миллионов. И писатель сразу преобразился в его глазах. Он даже стал как будто красивей, выше ростом. Аркадию казалось, что Чемчура очень похож на... на... Ну да, это человек необыкновенный! Эти волосы, маленькие ручки! Верное слово, он сразу, с первой же минуты, показался ему не таким, как все... Аркадий Швейцер не мог сдержаться и, подойдя к писателю, пожал его маленькие пальчики и от души поздравил, пожелав дожить до той поры, когда будут изданы все написанные им книги, в которых, как ему кажется, должно быть нечто особенное... Одним словом, он не может этого выразить. И вдруг он хлопнул себя по лбу и, чуть подумав, воскликнул:

— А знаете? У меня есть план! Замечательный план! Золотой план! Верное слово!

Хозяин и сочинитель раскрыли рты и развесили уши. А Швейцер заявил:

— Послушайте, дорогие, что я вам скажу. Только прошу, чтобы потом не было обид и никто не вздумал дуться. Все мы трое — одинаковые капиталисты, пожелаем такого же достояния всем антисемитам! Может, нам учредить общество на паях? Компанию?

— Компанию? Какую компанию? Нищих? Ноль, Шмоль и компания? — спросили в один голос хозяин и писатель.

Аркадий не смутился и стал разъяснять свою мысль:

— Я говорю совершенно серьезно. Предлагаю каждому из нас дать клятву. Никто не знает, кому принадлежит завтрашний день — мне ли, с моими тринадцатью пасами в клубе, вам ли, с вашим паном Домбе-Дембо-Дембицким, или вот им, я подразумеваю писателя с его книжками. Так вот — раз и навсегда договоримся: кто первый будет возвеличен, должен помнить об остальных. Вы понимаете? Чтобы все приобретенное — поровну, и расходы — поровну. И чтобы все у нас было общее. Союз! Раз и навсегда — союз!

Аркадий Швейцер воздел правую руку и голову склонил набок. А хозяин и сочинитель сидели мгновенье как очумелые и молча переглядывались.

Предложение было весьма неожиданно, но тон настолько серьезен, что Бронзентолер поднялся и, подойдя к новому квартиранту, первый сунул ему свою длинную сухую руку и произнес:

— Союз!

Глядя на него, вскочил с кровати и сочинитель и, протянув свои маленькие ручонки сожителям, тоненько взвизгнул:

— Союз!

Все трое дружески смотрели друг другу в глаза, пожимали крепко руки и еще несколько раз повторили полюбившееся им слово:

— Союз!

Внезапно сочинитель кинулся к сундучку под кроватью, выхватил оттуда лист бумаги, взял ручку и вывел на нем большими печатными буквами:

ПУПУ

Затем, вспотевший, весь красный от усилий, предложил:

— Будьте добры, скрепите подписью сию бумагу. Это наш контракт!

— Но что означают эти буквы? — спросили озадаченные соседи.

— Эти буквы означают, — довольно ответил Чемчура, — правда, удача, плутовство, убожество. А смысл таков: если мы будем идти по пути правды, у нас будет удача, а станем плутовать — удел наш убожество. Ясно? А теперь ставьте подписи!

Находчивость сочинителя так понравилась хозяину, что он преподнес ему папироску, как подносят ребенку печеньице или конфетку.

А Швейцер с размаху хлопнул писателя по плечу.

— Браво! Где ученье, там и уменье! — говорил мой дедушка, сторож при бане, когда лекарь Менашке по пятницам принимался в его заведении брить человеку голову и, бросив на половине, бежал к другому.

Так оно и осталось! Приятели порешили назвать свой союз ПУПУ и К°.

После этого началась церемония подписания контракта.

Первым, понятно, поставил свою подпись хозяин, Мойше Бронзентолер. Это была солидная роспись с двумя нажимами посередине и солидным росчерком в конце. После него должен был расписаться Аркадий Швейцер. Но этот заявил, что спокон веку привык расписываться последним, поэтому пускай сначала поставит свою подпись Чемчура. А когда сочинитель расписался, красиво, размашисто, с порядочным количеством завитушек и росчерком в конце, как полагается писателю, пришла очередь Аркадия. Он ухватил ручку двумя пальцами, как берут штопор, чтобы откупорить бутылку, и потихоньку нацарапал на бумаге несколько палочек и три кружочка. А все это завершил большой кляксой. Эта роспись могла означать что угодно, только не «Аркадий Швейцер».

При подписании документа Аркадий здорово потел и, между прочим, сообщил друзьям: так как в детстве он много писал, у него испортилось зрение, и врачи наказали ему остерегаться ручки и пера пуще укола в зрачок. Но дал бы ему бог столько денег, сколько он мог бы даже натощак изобразить на бумаге вот этой рукой.

И три сожителя, которые только что заключили между собой нерушимый союз, поздно ночью, почти на рассвете, пожелав друг другу спокойной ночи и сладких снов, разделись и улеглись в постель. И кто знает, были ли на свете люди, которые спали так крепко, так сладко, которые видели бы такие золотые сны, какие явились нашим трем приятелям в эту ночь, в этой прокуренной темной комнатушке, почти под самым чердаком.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Хотите, расскажу вам интересную историю о том, как я сам однажды взвалил себе на плечи обузу и чуть-чуть не навлек на себя несчастье! А из-за чего, думаете? Только из-за того, что был я молодым человеком, еще неопытным, не слишком изощренным, то есть возможно, что мне и сейчас еще далеко до умного, потому что, будь я умным, у меня, как вы говорите, водились бы деньги... Ведь тот, кто имеет деньги, — и умен, и хорош, и даже петь умеет.

Был я, стало быть, молодым мужем, жил у тестя с тещей на всем готовом, сидел над фолиантами, заглядывал тайком, по секрету от тестя и тещи, в светские книжки, и не столько по секрету от тестя, сколько от тещи. У меня, надо вам сказать, теща — мужчина, то есть женщина, но в штанах... Она одна ведет все дела, сама детей просватала, выбирала женихов для дочерей. И меня она сама выбирала, проверила, что я знаю, сама привезла в Звогиль из Радомысля — я-то радомысльский, слыхали, наверное, недавно о моем городе писали в газетах...

И вот сидел я в Звогиле на готовых харчах, корпел над «Море-Небухим» *, не вылезал за порог, пока не пришло время, когда нужно было приписаться к призывному участку, — тут уж ничего не поделаешь, надо съездить домой, в Радомысль, привести в порядок

бумаги, похлопотать насчет льготы, получить паспорт, как полагается. Это был, можно сказать, мой первый выезд в свет. Пошел я на базар нанимать подводу, тоже сам, чтоб показать, что я человек самостоятельный. И бог послал мне удачу: я нашел мужичка из Радомысля — дело было зимой — с крашеными санями, широкой спинкой и крыльями по бокам, как у орла... Только упустил из виду, что лошадка была белая, а белая лошадка, говорит теща, приносит несчастье.

— Дай бог, — сказала она, — соврать, но боюсь, что эта поездка окончится большой неприятностью...

— Типун тебе на язык! — сорвалось с языка у тестя, о чем он тут же пожалел, так как получил нагоняй. Но мне он шепнул: «Бабьи сказки!» И я начал готовиться в дорогу: взял талес и филактерии, печенье, несколько рублей на расходы, три подушки: одну — под сидение, одну — за спину, одну на ноги, и давай прощаться. Дошло дело до прощания — нет слов! Так уж у меня всегда: когда надо прощаться, лишаюсь языка! Не знаю, что и сказать! И получается как будто грубовато: как это можно повернуться к каждому, извините, задом и оставить просто так? Не знаю, как вам, но для меня до сих пор прощание — дело очень неприятное! Однако погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...

И вот, значит, распрощался я честь-честью и рано утром отправился в путь-дорогу, на Радомысль. Было это в начале зимы, снег лег рано, санный путь был хорош. Лошадка, хоть и белая, а бежала резво. Извозчик попался мне молчаливый, из тех, что на все отвечают либо: «Эге!» — что означает «да», либо: «Бо-ни», — что означает «нет», а больше — хоть режь его! Выехал я из дому поевши, настроение хорошее, подушка внизу, подушка за спиной, подушка на ногах. Лошадка скачет, извозчик причмокивает, сани скользят, ветер дует, снежок сыплет сверху и ложится пухом на широкий тракт, и на душе у меня хорошо, замечательно хорошо, свободно, широко, светло... Все-таки впервые вылез на божий свет один, сам себе хозяин! Откидываюсь на спинку и

разваливаюсь в санях барином... Но зимой как бы тепло ни оделся, мороз пробирает и хочется остановиться, погреться, перехватить что-нибудь и ехать дальше. И представляется мне, в мыслях конечно, теплая корчма, кипящий самовар, свежее тушеное мясо и горячий бульон... От таких мыслей начинает сосать под ложечкой, хочется попросту закусить. Заговариваю насчет корчмы с моим возницей, хочу узнать, далеко ли еще ехать? А он отвечает: «Бо-ни», — то есть нет. Спрашиваю: «Уже близко?» А он отвечает: «Эге!» — стало быть, да! Сколько все-таки до корчмы? Это трудно вытянуть из него, хоть ложись и помирай! И я представляю себе, что было бы, если бы, скажем, на месте этого мужичка сидел еврей. Ведь он растолковал бы мне не только, где находится корчма, он рассказал бы, кто содержит корчму, как его звать, и сколько у него детей, и сколько он платит за аренду корчмы, и сколько корчма ему приносит, и сколько лет он уже здесь живет, и кто жил здесь до него, — конца-краю не было бы рассказам! Экий странный народ! То есть я имею в виду наших евреев! Совсем какая-то другая кровь, право!..

Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре и тому подобных хороших вещах, покуда господь не сжалился. Мой мужичок зачмокал, свернул чуть в сторону, и я увидел небольшой серый домишко, сверху донизу засыпанный снегом, полевую корчму, которая среди заснеженного белого поля выглядела как-то очень уж одиноко и больше походила на заброшенное, забытое надгробие... Лихо подъехав к корчме, мой извозчик с лошадью и санями направился в сарай, а я двинулся прямо в избу, отворил дверь и... остановился на пороге — ни туда, ни сюда! В чем дело? Замечательная история! Посреди корчмы на полу лежит покойник, накрытый черным, у изголовья — два медных подсвечника с маленькими свечками, а кругом сидят ребятишки оборванные, обшарпанные, колотят себя ручонками по голове, плачут, рыдают, голосят: «Мама! Ма-ма!» А некто высокий, длинноногий, в летней

рваной накидке, совсем не по сезону, шагает по комнате, ломает руки и говорит самому себе: «Что делать? Что делать? Как быть?» Я, конечно, понял, на какое торжество меня принесло! Первой мыслью моей было: «Нойах, беги!» Я подался назад и хотел убраться. Но дверь за мной закрылась, меня словно приковало к порогу, и я не мог двинуться с места.

Увидав перед собою свежего человека, высокий устремился ко мне, протянул обе руки, как человек, молящий о спасении.

— Что вы скажете о моем несчастии? — проговорил он, указывая на плачущих детей. — Умерла у них, у бедняжек, мать! Что делать? Что делать? Как быть?

— Благословен судия праведный! — произнес я и хотел, как водится, утешить его добрым словом. Но он перебил меня и говорит:

— Понимаете ли, дело-то, собственно, такое... Она, жена моя, уже с прошлого года все равно что мертвая. У нее была проклятая болезнь — чахотка... Она сама молила бога о смерти. Но горе в том, что живем мы здесь, в глуши, посреди поля. Что делать? Что делать? Как быть? Пойти куда-нибудь в деревню, поискать подводу и отвезти ее в город, но как бросить детей одних посреди поля? А тут дело к ночи. Боже мой, ну что же делать? Что делать? Как быть?

При этом человек расплакался как-то странно, без слез, будто смеялся, взвизгивая не своим голосом... Душа болела, глядя на него! Где уж там голод! Где холод! Забыл я обо всем на свете и говорю:

— Я еду из Звогиля в Радомысль, сани у меня очень хорошие. Если местечко, как вы говорите, недалеко отсюда, я могу дать вам мои сани, а сам подожду здесь, если это недолго.

— Ой, дай вам бог долгих лет за ваше благодеяние! Царствие небесное купите себе, честное слово! Царствие небесное! — воскликнул он и чуть не бросился меня целовать. — Местечко совсем недалеко отсюда, всего версты четыре или пять. На дорогу понадобится не больше часа, я тут же отошлю сани обратно. Царствие небесное заслужите, честное слово!

Дети! Встаньте, благодарите, целуйте руки этого молодого человека, в ноги кланяйтесь, он дает нам свою подводу, я отвезу маму в святое место! Царствие небесное, честное слово, царствие небесное!..

Слово «радость» было здесь, конечно, не к месту, потому что дети, услыхав, что отец «отвезет маму», снова припали к покойнице и опять стали рыдать с еще большей силой. Все же для них было доброй вестью, что нашелся человек, который окажет им услугу. Сам бог привел его сюда! На меня смотрели, как на избавителя, как на некоего Илью-пророка, и должен вам сказать по чистой совести, что и сам я в это время смотрел на себя, как на необыкновенного человека, я сразу вырос в собственных глазах, стал что называется «героем». В эту минуту я был готов переносить горы, переворачивать миры. Не было, кажется, для меня ничего трудного. И у меня сорвалось с языка:

— Знаете что? Я сам ее отвезу, с моим извозчиком то есть. Зачем вам трудиться, отрываться от детей?

И чем дальше, тем больше вся эта семья смотрела на меня, как на ангела, посланного с неба, а я сам в своих глазах вырастал все выше и выше, чуть ли не до облаков. Позабыл я в ту минуту, что боюсь прикасаться к покойникам, и сам своими руками помог вынести жену корчмаря и положить в сани, пообещав своему мужичку лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Поначалу извозчик почесывал затылок и что-то ворчал под нос, но после третьей рюмки смягчился, и мы втроем поехали, то есть я, извозчик и покойная жена корчмаря Хаве-Нехама (так ее звали), Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, помню это как сегодня, потому что всю дорогу повторял ее имя... Муж несколько раз повторил мне его, потому что, когда ее будут хоронить, воздавать ей должное и просить у нее прощения, непременно надо знать ее имя. И я всю дорогу повторял, учил наизусть: Хаве-Нехама дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! А повторяя, я забыл, как зовут ее мужа, хоть голову сними! А он назвал мне свое имя и говорил, что

в местечке, как только я назову его, у меня сейчас же заберут покойницу. Он в этом местечке уже много лет подряд бывает на осенних праздниках и тратит массу денег в синагоге, когда собирают пожертвования, и в бане, не будь она рядом помянута, и везде и всюду! И еще что-то говорил он мне, этот корчмарь, натрещал полную голову — куда заехать и что сказать, но у меня все это сразу вылетело из памяти, не оставив и следа! Все мои мысли вертелись вокруг одного: я везу покойницу — этого было достаточно, чтобы все в голове у меня перепуталось, чтобы я забыл даже, как меня зовут, потому что с детства я смертельно боюсь покойников! До сих пор не могу оставаться один с покойником — хоть озолотите меня! Мне все кажется, что полуприкрытые, якобы закатившиеся глаза смотрят и видят меня, что сомкнутые мертвые губы вот-вот откроются и послышится дикий голос, как из-под земли. От одних этих фантазий можно в обморок упасть! Недаром у нас рассказывают истории о покойниках, о том, как люди от страха падали в обморок, сходили с ума, а то и вовсе помирали на месте.

Ехали мы, значит, втроем с покойницей. Ей я уступил одну из моих подушек и положил ее поперек саней у себя в ногах. А чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я начал разглядывать небо и повторять про себя: «Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!» — до тех пор пока имена стали путаться у меня в памяти и уже получалось: «Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла» и «Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехамы»... Я совсем не замечал, что вокруг как-то становится все темнее и темнее, ветер крепчает, а снег, не переставая, сыплет и сыплет и заносит дорогу, так что сани идут неизвестно куда, а мой мужичок чего-то ворчит с каждым разом все громче и громче, и я готов поклясться, что он произносит по моему адресу трехэтажное благословение... Спрашиваю: «Ну, что там у тебя?» А он в ответ с озлоблением плюет, упаси и помилуй бог! И вдруг у него раскрывается рот и он начинает сыпать: я, мол, погубил его вместе с лошадкой! Из-за того, что мы

взяли в сани покойницу, лошадка потеряла дорогу, и мы сбились с пути, и бог знает до каких пор будем блуждать, вот-вот настанет ночь, — тогда мы пропали!..

Веселая весть, что и говорить! Я готов был ехать обратно в корчму, отказаться от благодеяния и от заслуженного царствия небесного! Но извозчик сказал, что теперь уже поздно, теперь ни вперед, ни назад, ехать некуда, потому что мы кружим где-то посреди поля, черт его ведает где!.. Дорогу занесло, небо потемнело, уже глубокая ночь, и лошадь замучена до смерти! Черт бы побрал корчмаря, погибель на всех корчмарей во всем свете! Пусть бы он, говорит извозчик, лучше ногу себе сломал прежде, чем остановиться в этой корчме! Нехай бы ему поперек горла встала первая стопка водки, нежели дать себя уговорить и сделать такую глупость, взять к себе в сани этакую беду, из-за поганого «полшмардованца» пропадать тут в поле, ко всем чертям, с конякою вместе! Да уж он-то сам ладно, может, ему и суждено тут вот окочуриться, а лошадка, бедняга, при чем? И что им от нее понадобилось? Безвинная животина, скотинка, с нее спрос небольшой.

Готов поклясться, что в голосе его слышались слезы... Хотел я излить перед ним душу, обещал еще полтину и две стопки водки, но он вскипел и заявил, что, если я не замолчу, он и вовсе выбросит из саней нашу «находку»!.. И я подумал: а что я буду делать, если он и в самом деле выбросит покойницу из саней со мной вместе? Мало ли что может сделать извозчик, если рассердится? Пришлось замолчать и сидеть в санях, зарывшись в подушки, остерегаться, как бы не заснуть, потому что как же можно спать, когда перед глазами лежит труп? А во-вторых, я слыхал, что зимой на морозе спать нельзя: можно незаметно уснуть навеки...

Но, словно назло, глаза у меня слипаются, хочется вздремнуть. Я бы, кажется, в ту минуту ничего не пожалел, только бы подремать!.. Я с силой раскрываю глаза, но они не слушаются и постепенно закрываются, снова открываются и опять слипаются...

А сани скользят по белому, глубокому и рыхлому снегу и по всему телу разливается какая-то странная истома, и хочется, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше... Но другая сила, не знаю откуда, тормошит меня: «Не спи, Нойах, не спи!» Я с трудом раздираю веки, и от блаженного состояния не остается и следа, оно сменяется холодом, пронизывающим все внутри, меланхолией, страхом и ужасом, — не приведи господь! Кажется, что моя покойница шевелится, раскрывается и смотрит на меня полузакрытыми глазами, словно хочет сказать: «Что ты имеешь против меня, молодой человек? За что ты хочешь загубить мертвую женщину, мать маленьких детей, не предаешь ее земле, как по закону положено?» А ветер завывает человеческим голосом, свистит прямо в ухо, поверяет страшную тайну... И страшные мысли, думы, опасения лезут в голову, и чудится мне, что все мы под снегом — я, извозчик, его лошадка и покойница... Мы все мертвы, и только покойница — поразительно! — одна только покойница, жена корчмаря, жива...

Но вдруг я слышу, мой мужичок причмокивает как-то очень весело, благодарит бога, крестится в темноте и вздыхает. Словно новую душу вдохнул он в меня, я вижу вдалеке мелькает огонек, он то покажется, то погаснет, то снова вспыхнет. «Селение!» — думаю я и от всего сердца благодарю бога и обращаюсь к моему вознице:

— Выбрались как будто на дорогу? Пожалуй, скоро будем в местечке?

— Эге! — отвечает он, как и прежде кратко, но уже спокойно, без злобы, и хочется его обнять сзади, поцеловать в плечо за добрую весть, за его доброе и тихое «эге», которое сейчас мне дороже самой умной проповеди!

— Тебя как звать? — спрашиваю я и удивляюсь, почему я до сих пор не узнал его имени.

— Микита, — отвечает он, по своему обыкновению, кратко.

— Микита? — переспрашиваю я, и это имя кажется мне особенно симпатичным.

— Эге! — отвечает он, как обычно.

И мне очень хочется, чтоб Микита сказал еще что-нибудь, хотя бы два-три слова хотелось от него услышать. Он становится мне дорог и лошадка его мне дорога... Я завожу с ним разговор о лошадке, говорю, что лошадка у него хороша. Очень славная лошадка!

— Эге! — отвечает Микита.

— И сани у тебя, Микита, очень хорошие!

— Эге! — соглашается он и больше ни слова сказать не хочет, хоть режь его.

— Не любишь, — говорю я, — разговоры водить, Микита-сердце?

— Эге! — отвечает он.

Я смеюсь, мне весело, хорошо и весело, словно я взял Очаков *, или нашел клад, или открыл что-то новое, еще никому не известное, — словом, я счастлив сверх всякой меры! А по какой причине, не скажете ли вы? Хочется петь во весь голос, честное слово! У меня вообще такая манера: когда хорошо на душе, я пою. Жена знает уже мой характер, она спрашивает: «Что случилось, Нойах? Сколько ты заработал, что так распелся?» Женщинам по женскому их разумению представляется, что человеку может быть весело только в том случае, если он что-нибудь заработал. А иначе у человека не может быть хорошего настроения. Откуда это берется, что наши жены гораздо больше жадны до денег, чем мы, мужчины? Казалось бы, кто работает ради денег? Мы или они? Однако хватит! Я снова, кажется, залез бог знает куда...

Приехали мы, стало быть, с божьей помощью, в местечко раным-рано. Все еще спали, до рассвета было далеко, нигде огонька не видать. Наконец увидели домишко с большими воротами и веником на одной из створок — примета заезжего дома. Мы остановились, вылезли из саней и стали с Микитой колотить кулаками в ворота. Стучали, стучали, наконец бог помог, увидели в окне огонек. Потом услыхали — кто-то шлепает и спрашивает из-за ворот:

— Кто там?

— Отворите, — отвечаю, — дяденька! Заслужите царствие небесное!

— Царствие небесное? А кто вы такие? — произносит голос и принимается отпирать замок.

— Отворите, — говорю я. — Я привез сюда покойника.

— Кого?

— Покойника!

— Что значит — покойника?

— Покойника — значит умершего. Умершую женщину привез я из деревни, из корчмы.

По ту сторону ворот стало тихо. Слышно было только, как замок снова заперли, ноги прошлепали, видимо обратно, а потом погас и огонек — и поди жалуйся господу богу! Это меня разозлило, и я попросил моего мужичка помочь мне стучать кулаками в окно. Принялись мы оба стучать так энергично, что огонек снова загорелся и снова послышался голос из-за ворот:

— Чего вы от меня хотите? Что еще за напасть?

— Ради бога! — умоляю я его, как разбойника. — Сжальтесь, я здесь с покойником!

— С каким покойником?

— С женой корчмаря.

— Какого корчмаря?

— Я забыл, как его зовут, но ее зовут Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоела, то есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хана-Хана...

— Если не уйдете отсюда, несчастный, сейчас ведром воды окачу!

Так отвечает хозяин заезжего дома и уходит от окна, гасит огонек, и поди делай с ним что хочешь!.. И только через час, когда начало светать, открылась калитка, высунулась черная голова в белых перьях и обратилась ко мне:

— Это вы барабанили в окно?

— Я, а кто же?

— Чего вы хотели?

— Я привез покойника.

— Покойника? Везите его к служке погребального братства.

— А где он живет, ваш служка? Как его звать?

— Зовут его Ехиел, а живет он под горой, недалеко от бани.

— А где тут у вас баня?

— Баню не знаете? Вы, наверное, не здешний? Откуда будете?

— Откуда? Из Радомысля, радомысльский я, но еду я из Звогиля, а покойника везу из корчмы, здесь неподалеку, это жена корчмаря, она умерла от чахотки.

— Не про нас будь сказано! А вы тут, собственно, при чем?

— Я? Да ни при чем! Я ехал мимо, а он меня попросил, корчемник то есть. Живет он посреди поля с малыми детишками, негде похоронить... Вот я и подумал: человек просит, сулит царствие небесное, — почему не сделать?

— Что-то здесь не все ладно! — отвечает он. — Придется вам прежде всего повидаться со старостами.

— А кто у вас старосты? Где они живут?

— Старост не знаете? Реб Шепсл, староста, живет он по ту сторону базара. Реб Лейзер-Мойше, староста, живет по самой середине базара. Реб Иося, тоже староста, живет около старой синагоги. Но прежде всего надо вам повидаться с реб Шепслом, он у нас самый главный. Человек жесткий, предупреждаю вас, его не так-то скоро разжуешь.

— Спасибо! — говорю. — Дай вам бог сообщать более веселые вести. А когда я смогу с ними повидаться?

— Что значит, когда? Утром, бог даст, после моления.

— Поздравляю! А что мне делать до тех пор? Пустите хоть войти погреться. У вас тут, видимо, хороший Содом?

Услыхав такие слова, хозяин заезжего дома тут же снова запер ворота, и снова стало тихо, как на кладбище. Что же делать дальше? Стоим с санями посреди улицы. Микита злится, ворчит, почесывает затылок, плюется и сыплет трехэтажными благословениями: «Погибель, — говорит он, — на этого корч-

маря, да и на всех корчмарей во всем свете! Уж я-то сам — ладно, черт меня не возьмет! Но конягу! Какого беса морят голодом и холодом несчастную лошадку? Безвинную животину, скотинку... Она тут при чем?..»

Стыд и срам перед этим крестьянином. Мне приходит в голову: что, к примеру, думает он о нас, евреях? Как выглядим мы, «милосердные из милосердных» *, в сравнении с ними, людьми грубыми, когда еврей еврею не желает дверь открыть, не пускает даже погреться, — ну, разве не стóим мы втрое больше того, что имеем? Так я оправдываю все, что выпало на нашу долю, и обвиняю всех, как это обычно делает еврей, когда другой еврей отказывает ему в одолжении. Никто так много худого не говорит о нас, сколько мы сами. Тысячу раз на дню можно услышать из уст каких угодно евреев такие слова: «С евреем не шути!», «С евреем хотите столковаться?», «С евреями хорошо кугл кушать!», «На это способен только еврей!», «Так ведь на то он и еврей!», «Ох, еврей, еврей!» — и тому подобные аттестации и комплименты. Я хотел бы знать, как у других, когда случается, что один другому не хочет помочь? Тоже нападают на всех и говорят: весь народ не стоит того, что его земля носит? Однако хватит! Опять я, кажется, залез неизвестно куда...

Стоим мы, стало быть, с санями посреди базара и ждем, покуда станет совсем светло и город начнет проявлять признаки жизни. И вот наконец где-то послышался скрип отворяемой двери, звякнуло ведро, из двух-трех труб показался дым, и пение петухов становилось с каждым разом громче и живее, на улице стали показываться божьи создания в образе коров, телят, коз и, не будь рядом помянуты, мужчины, женщины и девушки, закутанные в теплые шали, завернутые, словно куклы, согнувшиеся втрое, похожие на замороженные кислицы, — словом местечко ожило, как живой человек, к примеру. Проснулось, ополоснуло руки, накинуло на себя одежду и принялось за работу: мужчины — служить создателю, молиться, сидеть над фолиантами, читать псалмы, а

женщины — у печей, у квашеного теста, у телят и коз. Я начал расспрашивать о старостах: где живет реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Иося? Спрашивают, в свою очередь, и меня: какой Шепсл? Какой Лейзер-Мойше? Какой Иося? У нас, говорят они, в местечке есть несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей, несколько Иосей. А когда я сказал, что мне нужны старосты погребального братства, они испугались и стали выпытывать, зачем молодому человеку в такую рань старосты погребального братства? Но я не дал себя расспрашивать, выложил все начистоту, рассказал им, какую обузу я взял на себя.

И надо было вам видеть, что тут началось! Думаете, все заторопились освободить меня от несчастья? Как бы не так! Они выбегали на улицу, чтобы взглянуть на сани, лежит ли там в самом деле мертвое тело или все это вообще выдуманная история? Тем временем вокруг нас собралась толпа, но люди все время менялись, так как холод не давал стоять подолгу на одном месте. И все заглядывали в сани, качали головами, пожимали плечами и спрашивали, кто покойница и откуда, кто я, и кем я ей прихожусь, но помочь мне никто и не думал. Кое-как я добился, чтобы мне указали, где живет староста Шепсл. Я застал его стоящим лицом к стене, в молитвенном облачени, молящимся с такой горячностью, с таким сладостным напевом и с таким экстазом, что казалось, будто сами стены поют. Он щелкал пальцами, охал и ахал, извивался и гримасничал. Я прямо-таки наслаждался, потому что, во-первых, очень люблю слушать такую молитву, а во-вторых, мог пока что согреть немного свои промерзшие кости. А когда реб Шепсл повернулся ко мне лицом, в глазах у него все еще стояли слезы, и казался он мне божественным человеком, святым, у которого душа так далеко от земли, как далеко его большое и тучное тело от неба. Но так как молиться он еще не кончил, а прерывать молитву не хотел, то разговаривал со мной по-древнееврейски, на «священном языке», то есть размахивал руками, подмигивал, пожимал плечами, кивал головой, шмыгал носом, а также про-

износил изредка кое-какие древнееврейские слова. Если хотите, могу передать этот разговор слово в слово. Вы сами, наверно, поймете, что говорил я и что говорил он.

— Мир вам, реб Шепсл!

— Алейхем шолом! И-о... Ал гасафсол...[1]

— Спасибо, уж я достаточно насиделся.

— Ну-о? Ма? Ма?

— У меня к вам просьба, реб Шепсл. Заслужите царствие небесное.

— Царствие небесное? Хорошо... Но что? Что?

— Я вам привез покойника.

— Покойника? Кто покойник?

— Неподалеку отсюда есть корчма, снимает ее еврей, бедняк... И вот у него, понимаете, умерла жена от чахотки, оставила маленьких детей... Жалость ужасная! Если бы я не пожалел их, не знаю, что бы он, бедняга, стал делать, этот корчмарь, с трупом посреди поля...

— Благословен судия праведный... Но... ну... Деньги? Погребальное братство?..

— Какие деньги? Откуда деньги? Он — бедняк, нищий, с кучей ребят! Заслужите себе царствие небесное, реб Шепсл.

— Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо... Но что? Что? Богадельня? Евреи? Ну? Тоже нищие? И-о! Ну, фе!

Но так как я не понял, что он хочет сказать, реб Шепсл разозлился, снова повернулся лицом к стене и стал молиться уже не с такой горячностью, как прежде, но немного спокойнее, тоном ниже, почти фальцетом, раскачиваясь быстро-быстро... Потом снял с себя талес и филактерии и налетел на меня с таким озлоблением, как если бы я ему помешал в торговых делах, чуть что не зарезал... Помилуйте, говорил он, местечко и без того нищее, хватает ему и своих бедняков, для которых надо собирать на саван, когда кто-нибудь из них умирает, — а тут еще приезжают из

[1] На скамейку... *(древнееврейск.)*

чужих краев, со всего света! И все — сюда! Все — сюда!

Я оправдывался как мог, уверял, что я тут ни при чем, покойница одинокая, — это все равно, сказал я, что найти на дороге труп, — надо же воздать ему должное, предать земле, как полагается по закону. Ведь вы же честный человек, набожный, ведь это же сулит царствие небесное! Но он еще пуще прежнего налетел на меня, чуть ли не прогнал вон. То есть не прогнал буквально, но начал донимать словами:

— Вот как? Вы стараетесь ради царствия небесного! Пройдитесь, пожалуйста, по нашему местечку, сделайте что-нибудь, чтобы люди не так часто умирали от голода, не замерзали бы от холода, — и вы заслужите царствие небесное! Человек небесного царствия! Молодой человек, торгующий райским блаженством! Обратитесь с вашим товаром к безбожникам, может быть, они купят у вас царствие небесное? У нас имеются свои благодеяния и заслуги, а если нам захочется получить долю царствия небесного, мы как-нибудь и без вас обойдемся!

Так говорит мне староста реб Шепсл и выпроваживает меня, со злостью хлопнув дверью, и, клянусь вам честью, — ведь мы видимся с вами в первый и, может быть, в последний раз, — с того дня я как-то особенно возненавидел «порядочных», ортодоксальных евреев, невзлюбил тех, что молятся громко, смакуют каждое слово, напевают и гримасничают, терпеть не могу святош и тех, что разговаривают с богом, служат богу, делают все во имя бога и якобы ради него! Правда, вы, пожалуй, скажете, что у нынешних, у свободомыслящих, не больше, а может быть, и меньше справедливости, чем у прежних, у ханжей? Может быть, вы и правы, но тут не так и досадно: они хоть не разговаривают с богом. Вы спросите, почему же нынешние так дерутся за правду, распинаются, будто сам черт их за душу хватает, а как дойдет до дела, оказывается, что все это ломаного гроша не стоит? Однако хватит! Я, кажется, опять залез неизвестно куда...

Стало быть, главный староста, реб Шепсл, меня, с позволения сказать, выгнал. Что же теперь делать? Надо идти к остальным... Но тут произошло чудо: мне не пришлось ходить к старостам, потому что старосты пришли сами, встретились со мной носом к носу у самых дверей и обратились ко мне:

— Уж не вы ли тот молодой человек, который с козой?

— С какой козой? — спросил я.

— То есть молодой человек, который привез покойника, это вы?

— Да, я. А что такое?

— Идемте обратно, к реб Шепслу. Все вместе посоветуемся.

— Посоветуемся? — сказал я. — А что тут советоваться? Заберите у меня покойницу и отпустите меня. Заслужите царствие небесное.

— А разве вас кто-нибудь держит? Можете ехать с вашей покойницей куда угодно, хоть в Радомысль, — мы вам еще спасибо скажем.

— Спасибо за совет! — ответил я.

— Не за что! — говорят они, и все мы пошли к реб Шепслу.

Трое старост начали разговаривать между собой, спорить, ссориться, чуть ли не ругаться. Те говорят реб Шепслу, что он всегда препятствует, что человек он жесткий, его не укусишь. А реб Шепсл злится, капризничает, привередничает, доказывает, что даже в священных книгах сказано: «Нищие твоего города в первую очередь». Тогда те двое нападают на него:

— Ну и что же из этого? Вы, стало быть, хотите, чтобы этот молодой человек ехал обратно с трупом?

— Ни в коем случае! — воскликнул я. — Как это я повезу труп обратно? Я приехал сюда чуть живой, мог погибнуть в поле. Крестьянин, дай ему бог долгие годы, хотел меня выбросить из саней посреди дороги. Я прошу вас, сжальтесь надо мной, освободите меня от покойницы, — вы заслужите царствие небесное!

— Царствие небесное — это, конечно, лакомый кусок! — ответил один из тех двоих, высокий человек с тонкими пальцами, по имени Лейзер-Мойше. — Труп мы у вас заберем, предадим его земле, но несколько рублей это вам будет стоить.

— Как это? — сказал я. — Мало того, что я взял на себя такое доброе дело, чуть не погиб в поле, мужичок, жить бы ему долго, хотел меня из саней выбросить, а вы говорите — деньги?

— Зато вам обеспечено царствие небесное! — ответил мне реб Шепсл с такой поганой усмешкой, что так и захотелось огреть его хорошенько... Однако пришлось сделать над собою огромное усилие и воздержаться, потому что я ведь был у них в руках!

— Позвольте! — сказал второй из тех двоих, которого звали реб Иося, человек небольшого роста с наполовину выщипанной бородкой. — Надо вам знать, молодой человек, что это еще не все: ведь у вас никаких бумаг нет! Ведь бумаг у вас никаких!

— Каких бумаг? — спросил я.

— А откуда мы знаем, кто она, эта покойница? А может быть, это совсем не та, о которой вы говорите? — сказал высокий, с длинными пальцами, Лейзер-Мойше.

Я стоял, смотрел то на одного, то на другого, а Лейзер-Мойше покачивал головой, указывал куда-то своими длинными пальцами и говорил:

— Да, да, да... А может быть, это вы сами зарезали женщину, и может быть, как раз вашу собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете байки: полевая корчма, корчмаря жена, чахотка, малые дети, царствие небесное?..

Я, вероятно, здорово помертвел от этих слов, потому что второй, реб Иося, заговорил о том, что, собственно, они сами ничего не имели бы против... Они меня, упаси бог, ни в чем не подозревают, они отлично понимают, что я не разбойник и не злодей, но ведь я все-таки чужой человек, а труп — это ведь не мешок картошки, тут имеешь дело с мертвым человеком, с покойником... Есть у нас, говорит он, казенный

раввин и, не будь рядом помянут, урядник... Протокол необходимо составить...

— Да, да, да! Протокол! Протокол! — вмешался долговязый, которого звали Лейзер-Мойше, и тыкает пальцем и смотрит на меня сверху вниз такими глазами, как если бы я и в самом деле совершил преступление...

Я не мог ничего ответить. Чувствовал только, что пот выступил у меня на лбу и нехорошо мне стало, чуть ли не до обморока. Я хорошо понял, в каком ужасном положении я очутился, как попался... И стыдно было мне, и досадно, и больно. Тогда я подумал: что тут тянуть? Достал кошелек и обратился к трем старостам погребального братства:

— Выслушайте меня. Дело обстоит так: вижу, что я здорово попался. Угораздила меня нелегкая остановиться в полевой корчме и попасть туда как раз тогда, когда жене корчмаря вздумалось умереть, и услышать, как бедный человек, обремененный кучей детей, умоляет меня заслужить себе царствие небесное... Вот и приходится за все это расплачиваться. Вот вам мой кошелек с деньгами, есть у меня всего-навсего рублей семьдесят с лишним. Возьмите и поступайте, как понимаете. Оставьте мне только на дорогу до Радомысля, заберите у меня покойницу и отпустите мою душу.

Видимо, слова мои были произнесены горячо, потому что все трое переглянулись, не притронулись к моему кошельку и сказали, что здесь, упаси бог, не Содом. Правда, местечко у них бедное, нищих здесь гораздо больше, чем богатых, но напасть на чужого человека и сказать ему: «Жид, давай гроши!» — этого делать они не собираются. Сколько дам по доброй своей воле, столько и ладно. Но ничего не взять — это не пройдет, потому что местечко нищее. Ну, а служкам, носильщикам, на саван, на водку, за могилу надо будет дать, конечно, понемногу, сыпать деньгами незачем, потому что расточительству конца-края нет!

Ну, что же мне вам еще рассказать? Будь у корчмаря хоть двести тысяч, у его жены не было бы таких

похорон! Все местечко сбежалось смотреть на молодого человека, который привез покойницу. Один другому передавал историю о молодом человеке и очень богатой покойнице, богатой теще (с чего они взяли, что это моя теща?), и все пришли приветствовать богатого зятя, который привез свою богатую тещу и сорит деньгами... На меня прямо-таки указывали пальцами. А нищих! Как песчинок на морском берегу! С тех пор как живу на свете, с тех пор как стою на ногах, я столько нищих не видал! Накануне Судного дня, возле синагоги их столько не бывает — даже сравнить нельзя! Меня таскали за полы, рвали на куски. Шутка ли, молодой человек, который сыплет деньгами! Счастье, что старосты заступились за меня, не позволили раздать все деньги. Особенно старался долговязый староста, что с длинными пальцами, Лейзер-Мойше. Он не отходил от меня ни на минуту и не переставал твердить и тыкать пальцами: «Молодой человек, не надо сыпать деньгами! Этому конца-края не будет!» Но чем больше он меня удерживал, тем больше собиралось вокруг меня нищих, и все они житья мне не давали.

— Ничего! — кричали они. — Когда хоронят такую богатую тещу, можно себе позволить истратить пару лишних грошей! Теща оставила ему немало! Дай бог нам не хуже!..

— Молодой человек! — кричал какой-то оборванец. — Молодой человек! Дайте нам на двоих полтинник! Хотя бы двугривенный дайте! Мы двое калек от рождения, один слепой, другой кривой... Дайте хотя бы пятиалтынный, пятиалтынный на двоих, двое калек сто́ят небось пятиалтынного!

— Да вы слушайте больше, что они будут вам рассказывать! Калеки? — кричал другой, лягая тех ногами. — Это у него называется «калека»! Вот жена моя — это калека, без рук, без ног, чудом жива, да еще с малыми детьми, тоже больными! Дайте мне, молодой человек, хотя бы еще пятак, я буду читать поминальную молитву по вашей теще, да будет ей земля пухом!

Сейчас мне смешно. Но тогда мне было не до смеха, потому что орава нищих росла, как на дрожжах. За полчаса всю базарную площадь запрудили, невозможно было двигаться с носилками. Служки были вынуждены палками разгонять толпу. Началась драка. Стали собираться русские люди, крестьянки, мальчики и девочки, пока дело не дошло до начальства: на площади, верхом на коне, показался урядник с нагайкой в руке. Он одним взглядом и несколькими ударами нагайки разогнал весь народ, как птиц, а сам слез с коня, подошел к носилкам посмотреть, в чем дело, кто такой умер и почему запрудили весь базар? Прежде всего ему угодно было спросить у меня, кто я такой, откуда и куда я еду? У меня душа готова была выскочить, я лишился языка. Не знаю, что это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник — такой же человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядником живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник ест у еврея рыбу и, в свою очередь, угощает его яйцами, и еврей нахвалиться не может, какой прекрасный человек урядник! И все же я, как увижу урядника, убегаю. Видно, это у меня наследственное, потому что происхожу я от «битых», от славутских *, от настоящих славутских времен Васильчикова, о которых можно бы рассказывать и рассказывать! Однако хватит! Я, кажется, опять забрался неизвестно куда.

Итак, стал меня урядник допрашивать: кто я такой, что я такое, куда еду? Поди расскажи ему, что живу я в Звогиле у тестя на хлебах, а сейчас еду в Радомысль получать паспорт. Дай бог долголетия старостам, они выручили меня из беды: один из тех двоих, маленький, с выщипанной бородкой, отозвал урядника в сторонку, о чем-то с ним стал шептаться, а долговязый, что с длинными пальцами, тем временем учил меня, что говорить.

— Осторожнее! Скажите, что вы здешний, но живете неподалеку за городом, а это ваша теща, она умерла, и вы приехали сюда ее похоронить. А когда

будете давать ему, придумайте какое-нибудь имя... А вашего мужичка мы позовем в дом и угостим стаканом водки, чтоб не вертелся перед глазами, — тогда все будет очень хорошо.

Урядник вошел со мной в дом и принялся составлять протокол. Знать бы мне так горести вместе с вами, как я знаю, что я там наболтал ему. Помню только, что я лопотал языком, а он записывал.

— Как тебя звать?

— Мовша.

— Отца?

— Ицко.

— Сколько лет?

— Девятнадцать.

— Женат?

— Женат.

— Дети есть?

— Есть.

— Чем занимаешься?

— Купец.

— Кто это помер?

— Теща.

— Как ее звали?

— Ента.

— Отца ее?

— Герш.

— Сколько ей было лет?

— Сорок.

— Отчего умерла?

— От испуга.

— От испуга?

— От испуга.

— Как это — от испуга? — спросил он, отложил перо, закурил и стал разглядывать меня с головы до ног, а я чувствую, что вот-вот язык прилипнет к нёбу. Тогда я подумал: все равно лгу почем зря, буду продолжать! И рассказал ему целую историю о том, как моя теща сидела одна за работой, вязала чулок и забыла, что в комнате сидит ее мальчик Эфраим, парнишка лет тринадцати, но придурковатый, недотепа, все еще играет со своей тенью. И вот зашел

он за тещину спину, сложил руки и сделал на стенке «козу», а потом как раскроет рот да как заблеет: «Ме-е-е!» — и теща свалилась со стула и тут же померла.

Так вот и сочиняю я ему эту историю, а он глаз с меня не сводит... Выслушал до конца, сплюнул, вытер рыжие усы и выходит вместе со мной на улицу. Подошел к носилкам, приподнял черное покрывало, посмотрел на лицо покойницы и покачал головой, будто желая сказать: «Что-то здесь не так!..» Я смотрю на него, он — на меня, потом он обращается к старостам:

— Ну, покойницу можете похоронить, а его, этого молодца, придется задержать, пока я не расследую все дело, правда ли, что это его теща и что она умерла от испуга...

Можете себе представить, каково мне было, когда я услыхал это! От горя я отвернулся в сторонку и расплакался, — но как расплакался? Как малое дитя!

— Молодой человек, чего вы плачете? — обращается ко мне тот, которого зовут реб Иося, и начинает утешать меня, уверяя, что ничего мне не будет. Одно из двух: если я чист, чего же мне бояться? «Кто чесноку не ел, у того изо рта не пахнет», — добавляет реб Шепсл с такой усмешечкой, что мне хочется закатить ему парочку горячих оплеух в обе пухлые щеки... Господи! К чему было мне придумывать такую грубую ложь, примешивать мою тещу? Не хватало еще мне, чтобы вся история дошла до нее, чтобы она узнала, как я ее заживо похоронил!..

— Перестаньте! Не пугайтесь так, бог с вами! Барин вовсе не такой сердитый, как вы думаете. Вы только суньте ему в руку... И скажите, чтобы он с протоколом покончил... Он умный начальник и пройдоха... Он отлично понимает, что все, что вы ему наговорили, — ложь и враки.

Так говорит мне реб Лейзер-Мойше и тычет своими тонкими пальцами. Если бы я только мог, я бы разорвал его пополам, как селедку. Ведь это же он сам надоумил меня врать, прах его побери!..

Больше рассказывать не могу. Я даже вспомнить не могу, что пришлось мне тогда пережить. Вы сами, конечно, понимаете, что деньги у меня забрали, в кутузку засадили, судили... Но все это ерунда в сравнении с тем, что я получил потом, когда до моей тещи и тестя дошло, что их зять сидит из-за трупа, который он откуда-то привез... Они, понятно, тут же приехали, заявили, что они мои тесть и теща, — и тут только и заварилась настоящая каша: с одной стороны, полиция берет меня на цугундер: «Как же так, мил человек? Коль скоро твоя теща, Ента, дочь Герша, жива и здорова, так кто же была умершая?..» Это — одно. А во-вторых — за меня принялась моя теща:

— Я спрашиваю только об одном: скажи, что ты имел против меня, за что ты похоронил меня заживо?!

На суде, понятно, выяснилось, что я чист, как золото. Это стоило денег, привезли корчмаря с детьми, и меня из заключения освободили. Но того, что я тогда натерпелся, и главным образом от тещи, — я и лютому своему врагу не пожелаю!..

С тех пор я бегу от всего, что сулит царствие небесное.

ДВА АНТИСЕМИТА

1

Макс Берлянт — обкуренная трубка. Он ездит из Лодзи в Москву и из Москвы в Лодзь несколько раз в году. Он знаком со всеми буфетчиками на вокзалах, в приятельских отношениях со всеми кондукторами, бывал уже и в глубинных губерниях, где евреям разрешается оставаться не более двадцати четырех часов, истекал пóтом во всех полицейских участках, натерпелся в пути немало издевательств, не раз огорчался и досадовал — и все из-за еврейства. То есть не из-за того, что еврейство существует, а потому что сам он, извините, еврей. И даже не столько потому, что он еврей, сколько оттого, что выглядит он, простите, как еврей. «По образу и подобию божьему» — ох уж этот мне «богоподобный образ»! Глаза черные, блестящие, волосы тоже черные, блестящие — настоящие семитские волосы, а уж акцент, настоящий еврейский выговор — с гортанной буквой «р», и ко всему тому — нос! Ох и нос!

И словно назло наш герой наказан от бога такой профессией (он — коммивояжер), из-за которой он вынужден разъезжать со своим носом по всему свету, и обязательно говорить, и обязательно много говорить, так, чтобы его было и видно и слышно. Короче говоря, жаль человека!

Правда, наш герой отыгрался на бороде, одет и выфранчен, как невеста, усы закручены кверху, отрастил большой ноготь и носит галстук, какой и предкам нашим не снился... Приучил себя к яствам, которыми кормятся на вокзалах, выместил всю свою досаду на свинине, сбылась бы хотя половина того, что пожелал свинье Макс, когда попробовал ее впервые! И — чего уж больше? — жизнью рискнул и начал есть раков*.

Почему я говорю «рискнул жизнью»? Потому что — знать бы так вашим врагам, где у них нос, как знал Макс Берлянт, как их едят, этих раков! Режут ли их ножом? Или колют вилкой? Или едят целиком?

И тем не менее несмотря на все это Макс Берлянт не в силах был скрыть свое еврейство — ни от своих, ни от чужих. Узнают его, как облупленного, как проклятого Каина*, и на каждом шагу дают почувствовать, кто он такой и что он такое. Короче говоря, жаль человека!

2

Но если Макс Берлянт был несчастным человеком до Кишинева, то после Кишинева ему и вовсе равного нет. Носиться в глубине души с ужасной болью и стыдиться этой боли — вот ад, который может понять лишь тот, кто сам это чувствовал. Макс, стыдился «Кишинева», как если бы это был его «Кишинев»... И словно назло его как раз в это время послали в те места, в Бессарабию, и он чувствовал, что здесь для него снова начинается ад. Мало ли он наслушался этих замечательных историй у себя дома? Разве может он забыть день, когда в синагоге читали поминальную молитву «по убиенным в Кишиневе»? Все мужчины плакали, женщины падали в обморок...

Наверное, вам приходилось проезжать в поезде мимо места железнодорожной катастрофы. Вы хорошо знаете, что можете сидеть спокойно: второй раз на том же месте такой катастрофы не случится. Но вы вспоминаете, что вот здесь недавно валились под

откос один за другим вагоны, здесь люди сложили головы, здесь хрустели кости, текла кровь, — и вы оживаете, когда благополучно миновали это место...

Макс знал, что в этих местах будет много разговоров, рассказов, причитаний и вздохов своих людей, а также намеков и колкостей со стороны чужих. И чем ближе он подъезжал к этим самым местам, тем настойчивее он искал средства бежать, спрятаться от самого себя...

Когда поезд был уже совсем близко, Максу захотелось прежде всего остаться в вагоне в одиночестве. Потом он передумал, выскочил с другими пассажирами на вокзал, подошел к буфету, как человек, у которого очень хорошо на душе, выпил рюмочку, закусил всеми вкусными вещами, которые евреям запрещены, запил стаканом пива, закурил сигару и подошел к киоску, где продают книги и газеты. Там он увидел пресловутую антисемитскую газету небезызвестного антисемита Крушевана, под хорошо знакомым названием «Бессарабец». Надо вам знать, что в тех местах, где пекут эту хваленую газету, она лежит преспокойно, ее никто и в руки не берет. Местные евреи не берут ее, потому что нельзя притрагиваться к нечисти, а неевреям она уже приелась. Вот она и лежит в киоске, на покое, напоминая людям о том, что существует на свете некий Крушеван, которому покоя нет, который не спит и изобретает средства, как уберечь, спасти и защитить мир от страшной болезни, именуемой «еврейством».

Макс Берлянт был единственным, который подошел к киоску и попросил номер «Бессарабца». Для чего? Может быть, по той же причине, по какой он однажды попросил подать себе раков? А может быть, ему и в самом деле хотелось посмотреть, что пишет этот пес о евреях? Поговаривают, что большинство антисемитских газет читают семиты, то есть мы сами, собственной персоной... Хозяева газет знают это очень хорошо, но исходят из того, что, хотя «еврей — это нечисть, деньги не пахнут»...

Словом, наш Макс купил номер «Бессарабца», вошел с ним в вагон, растянулся на полке и накрылся

газетой, как накрываются, к примеру, одеялом или пледом. При этом у него мелькнула мысль: «Что, к примеру, подумает еврей, если подойдет и увидит человека, растянувшегося на скамье и накрывшегося «Бессарабцем»? Наверное, никому и в голову не придет, что здесь лежит еврей... Идея, право же! Прекрасное средство избавиться от непрошеного попутчика, остаться на ночь одному и занимать, как барин, всю скамью...»

Так думал наш герой, и, чтобы уж действительно ни одна душа не знала, кто здесь лежит, он накрылся «Бессарабцем» с головой, спрятал и нос, и глаза, и волосы, и весь «богоподобный» образ. Он представил себе, как ночью в вагон влезает еврей со множеством узлов, ищет, бедняга, место, где бы присесть, и видит — лежит фигура, накрытая номером «Бессарабца», — наверное, помещик и, наверное, изверг, антисемит, а может быть, и сам Крушеван, — и еврей, конечно, выскакивает из вагона вместе со своими узлами и трижды сплевывает. А он, Макс, остается один, как граф, на всей скамье. Ха-ха-ха, право, замечательное средство! Куда лучше, чем заболеть вдруг холерой в вагоне!..

План этот так понравился нашему Максу, что, лежа под «Бессарабцем», он разразился хохотом, а человеку, надо вам знать, если он закусил, запил стаканом пива, закурил сигару и лежит в купе один, занимая, на ночь глядя, целую скамью, — хорошо смеяться...

Тише! Наш герой, Макс Берлянт, коммивояжер, разъезжающий из Лодзи в Москву и из Москвы в Лодзь, лежит один на скамье, прикрывшись номером «Бессарабца», и дремлет. Не будем ему мешать.

3

Макс Берлянт, конечно, человек умный, но на сей раз он не угадал. В вагон действительно вошел пассажир, толстый, здоровенный, запыхавшийся, с не-

сколькими чемоданами, он действительно подошел к Максу, посмотрел, как тот лежит, накрытый номером «Бессарабца», но не сплюнул трижды и не отскочил. Он стоял и разглядывал этого типа, этого антисемита с семитским носом (во сне газета соскользнула, и срамота, то есть нос, обнажился и предстал во всем своем блеске и великолепии).

Простояв несколько минут с улыбкой на устах и сложив чемоданы на противоположной полке, наш новый пассажир выбежал на несколько минут на вокзал и вернулся тоже с номером «Бессарабца». Потом он открыл чемодан, достал подушечку и одеяло, пару домашних туфель и флакон одеколона, уютно устроился и растянулся на скамье, накрывшись номером «Бессарабца», точно так же, как наш Макс Берлянт; лежал, курил, смотрел на Макса и улыбался, прикрыл сначала один глаз, потом второй и начал засыпать.

Пускай поспят оба наши «бессарабца» друг против друга. Мы хотим познакомить читателя со вторым пассажиром, рассказать, *кто он и что он*.

Он — генерал... Не военный генерал и не генерал-губернатор, а генерал-инспектор, то есть агент одного из обществ. Фамилия его Немчик, а имя его Хаим. Но он подписывается «Альберт», а зовут его «Петя».

Поначалу это может показаться немного диким: то, что из Хаима вдруг вырастает «Альберт», еще можно понять. Превращается же у нас Велвл во Владимира, Исроел — в Исидора, а Аврам — в Аввакума! Но как из Хаима произошел «Петя»? Тут уж надо пофилософствовать, углубиться в языковую премудрость и рассуждать логически. Прежде всего мы из «Хаима» выбрасываем букву «х». Затем почтительно просим убраться букву «и» и букву «м». Остается, стало быть, одно «а». К этому «а» мы приписываем всего лишь букву «л», букву «б», букву «е», букву «р» и букву «т», — получается «Альберт», не так ли? Ну, а из Альберта само собой получается

«Альберти», «Берти», «Бети», «Петя». «Sic transit gloria mundi» [1]. Так, стало быть, из утки получается индюк...

Словом, наш пассажир зовется Петя Немчик, он генерал-инспектор и разъезжает по всему свету, как и Макс Берлянт. Но по натуре это уже совсем другой человек: веселый, жизнерадостный, разговорчивый. И хотя звать его Петя, а по должности он генерал-инспектор, он тем не менее такой же еврей, как и все прочие, любит евреев и любит рассказывать истории и анекдоты о евреях.

Петя Немчик славится своими анекдотами на весь мир. Портит их немного только то, что все эти истории и анекдоты, уверяет Немчик, случились с ним самим, в этом он божится и клянется всеми клятвами на свете, хотя каждый раз один и тот же анекдот происходит с ним в другом месте: от одного раза до другого он все забывает. Похоже, что Петя Немчик, генерал-инспектор, малость слабоват на язык, то есть не прочь преувеличить, или, как это называют в наших краях, он, извините, лгун! Просим прощения за то, что выражаемся так вульгарно! Было бы, собственно, достаточно сказать, что он агент, а что такое агент, вы ведь и сами знаете...

Когда, войдя в вагон, он увидал Макса Берлянта, растянувшегося на скамье и накрывшегося номером «Бессарабца», и узнал по носу, что этот пассажир никакого отношения к Крушевану и его знаменитому «Бессарабцу» не имеет, он прежде всего подумал: «Анекдот! Новый анекдот! Будет, с божьей помощью, о чем рассказывать и рассказывать!»

Петя Немчик сбегал на вокзал, тоже приобрел номер «Бессарабца» и лег напротив Макса — посмотреть, что будет! И тоже уснул...

Теперь мы оставляем «Бессарабца» номер два, то есть генерал-инспектора Петю Немчика, и возвращаемся к «Бессарабцу» номер один, то есть к коммивояжеру Максу Берлянту.

---

[1] Так проходит мирская слава *(лат.)*.

4

У Макса Берлянта была плохая ночь... Очевидно, заговорили в нем яства, которых он наглотался на вокзале, потому что одолевали его какие-то дикие сны. Снилось ему, например, что он не Макс Берлянт, а сам Крушеван, редактор «Бессарабца», и едет он не в вагоне, а верхом на свинье, что рак, красный вареный рак кивает ему клешнями, и откуда-то доносится вопль: «Ки-ши-нев!..» Ветерок дует прямо в уши, слышен шелест листьев или женских юбок... Хочется открыть глаза, но он не может... Щупает нос, а носа нет и следа. Вместо носа он нащупывает «Бессарабца» и не понимает, где находится. Чувствует, что это сон, но никак не может побороть этот сон, и вообще не властен над собой! Макс лежит и страдает, он словно в гипнозе. Чувствует, что силы его на исходе. Тогда он делает над собою последнее усилие и испускает тихий стон, который слышен ему одному, приоткрывает глаза и едва различает луч света от свечи и человеческую фигуру, растянувшуюся на противоположной скамье, как он сам, и тоже прикрытую номером «Бессарабца»... Наш Макс изумлен и потрясен: ему чудится, что это он сам лежит на той скамье, и он никак не может постичь, каким образом он, Макс, попал на ту скамью? И как может человек видеть самого себя без зеркала?.. Он чувствует, что волосы у него на голове встают поодиночке.

Постепенно, понемногу наш Макс начинает приходить в себя и понимать, что лежит на той скамье не он, Макс, а другой. Но откуда он взялся, и как раз напротив, и как раз с «Бессарабцем»?

Макс не может ждать до рассвета, ему хочется разгадать загадку как можно скорее, сейчас, сию минуту! Он делает движение и начинает шелестеть газетой и слышит, что тот, на той скамье, тоже двигается и шелестит газетой. Макс замирает, всматривается еще пристальнее и видит, что тот, на той скамье, смотрит на него с усмешкой. И вот оба наши «Бессарабца» лежат друг против друга,

переглядываются и молчат. Каждый из двух антисемитов помирает от желания узнать, кто же этот другой, но оба сдерживаются изо всех сил и молчат. Наконец Пете приходит в голову счастливая мысль: он начинает насвистывать потихоньку мотив популярной еврейской песенки:

На шестке огонь
Еле теплится...

А Макс подтягивает, тоже потихоньку насвистывая:

В доме — духота...

Оба антисемита садятся, сбрасывают с себя «Бессарабцев», и оба кончают строфу популярной еврейской песенки, уже не насвистывая, а прямо словами:

И ребе старенький
Учит азбуке
Маленьких детей...

МЕЛАМЕД БОЙАЗ

1

То, что я пережил в тот день, когда мать взяла меня за руку и отвела в хедер к меламеду Бойазу, чувствует, вероятно, малый цыпленок, когда его несут к резнику. Бедный цыпленок весь дрожит, трепещет. Понимать-то он не понимает, но чувствует, что тут дело пахнет не просом, а чем-то другим... Недаром мать утешала меня, говорила, что добрый ангел сбросит мне грош с потолка, недаром подарила она мне целое яблоко и поцеловала в лоб, недаром просила Бойаза, чтобы он обращался со мной помягче, бога ради помягче, потому что «дитя лишь недавно болело корью».

Так сказала мать, показав на меня рукой, словно передавала Бойазу дорогой хрустальный сосуд, с которым надо обращаться очень осторожно, не то он разобьется.

Довольная, счастливая, она ушла домой, а «ребенок, недавно болевший корью», остался. Сначала я немного поплакал, но потом вытер глаза и возложил на себя иго «прилежания и благочестия», поджидая доброго ангела, который вот-вот сбросит мне грош с потолка.

Ох уж этот добрый ангел! Ну и добрый же ангел! Лучше бы уж мать и не поминала его. Потому что,

когда Бойаз подошел ко мне, схватил меня своей жесткой волосатой рукой и толкнул к столу, мне тошно стало чуть не до обморока. Когда же я задрал потом голову к потолку, то сразу же получил изрядную нахлобучку от ребе. Он дернул меня за ухо и крикнул: «Негодяй, куда смотришь?»

Ребенок, только «недавно болевший корью», конечно расплакался: «Ма-ма!» — и тогда лишь по-настоящему узнал вкус учительской розги: «Не смотри куда не следует!», «Не реви, как теленок, — ма-ма!»

2

Метод учителя Бойаза был очень прост: розги. Почему именно розги? Он объяснял это с помощью логики, приводя в пример лошадь. «Почему лошадь бежит? Потому что боится. Чего лошадь боится? Кнута. Точно так же с детьми. Ребенок должен бояться: бояться бога, бояться ребе, бояться родителей, бояться греха, бояться дурной мысли... А для того, чтобы ребенок всегда боялся, надо ему отстегнуть штанишки, положить его как полагается и всыпать десятка два горяченьких: березовая каша — пища наша! Да здравствует розга! Да здравствует плеть!»

Так говорит Бойаз и берет в руки плетку, он берет ее медленно, не спеша, осматривает со всех сторон, словно священный цитрус, потом серьезно, с толком принимается за работу; при этом подпевает, покачивая головой:

Березовая каша —
Пища наша.

Чудеса, да и только! Бойаз никогда не считает розог и никогда не ошибается. Бойаз порет и никогда при этом не сердится. Бойаз вообще человек не сердитый; он сердится только тогда, когда мальчик не дает себя пороть, рвется из рук, дрыгает ногами. Тогда дело другое. Тогда глаза у ребе наливаются кровью, и он порет без счета и без обычного припева: «Мальчик должен лежать спокойно, когда ребе его

порет. Мальчик должен вести себя прилично, даже когда его порют...»

Сердится еще Бойаз, когда мальчик смеется над розгами (есть такие ребята, которые смеются, когда их порют; говорят, это болезнь такая). Смех для Бойаза самое нестерпимое. Бойаз сам никогда не смеялся и не терпит, когда другие смеются. Можно смело обещать самую крупную награду человеку, который заверит честным словом, что видел, как Бойаз смеялся. Бойаз не из тех людей, что смеются. Его лицо и не приспособлено к этому. Если бы Бойаз вздумал смеяться, лицо у него выглядело бы хуже, чем у человека, который плачет (бывают же такие лица на свете!). Да и в самом деле, что это за занятие — смех? Смеются одни пустоголовые бездельники, шуты гороховые, шалопаи. Но люди, занятые добыванием хлеба насущного, возложившие на себя иго «прилежания и благочестия», — им некогда смеяться! Бойазу всегда некогда. Он либо учит, либо порет, — вернее, он учит, не переставая пороть, и порет, не переставая учить; вообще трудно отделить одно от другого и указать, где у него кончается учение и где начинается порка.

А порол нас Бойаз, да будет вам известно, всегда по заслугам. Причина всегда находилась: за то, что не учились прилежно, за то, что не желали молиться, за то, что не слушались родителей или ребе, за то, что не смотрели в книжку, отвлекались от книжки, за то, что слишком торопливо молились, слишком медленно молились, слишком громко говорили, слишком тихо говорили, за оборванный лацкан, за пуговицу, за дыру, за царапину, за грязные руки, за пятно в молитвеннике, за лакомство, за бегство, за озорство и так далее и так далее, без конца.

Это он порол за грехи, «содеянные на виду у всех». Но он порол еще и за грехи, «содеянные втайне»; так, например, он порол всех каждую пятницу, в канун праздников и перед каникулами и пояснял это так: «Если вы этих розог еще не заслужили, то, с божьей помощью, заслужите в будущем». А то выпорет потому, что кто-либо, свой или чужой,

хотел вам услужить и пожаловался ребе; или порол и намекал при этом: «Ты, верно, и сам знаешь, за какие добрые дела тебя порют». А то выпорет из любопытства: «Ну-ка, посмотрим, как ведет себя мальчик под розгой...» Одним словом, розги, плетка, страх и слезы — вот что властвовало тогда в нашем маленьком глупом детском мирке, и не было ни способа, ни средства, ни луча надежды на выход из этого ада.

А добрый ангел, о котором говорила мать? Где же он, этот добрый ангел?

3

Должен признаться: по временам у меня закрадывалось сомнение в существовании доброго ангела. Искра неверия слишком рано закралась в мою детскую душу. Слишком рано стал я подумывать о том, что, видимо, мать обманула меня. Слишком рано я познакомился с чувством, имя которому «ненависть». Слишком, слишком рано возненавидел я своего ребе Бойаза.

Да и как было не ненавидеть его? Как тут не ненавидеть ребе, который не дает и голову поднять: «Этого нельзя!», «Там не стой!», «Туда не ходи!», «С тем не говори!» Как не ненавидеть человека, у которого нет ни капли жалости, который испытывает удовольствие при виде чужих страданий, купается в чужих слезах, пьянеет от чужой крови? Что уж, кажется, может быть позорнее порки? Что может быть унизительней, чем стоять в углу раздетым догола, в чем мать родила? Но Бойазу этого мало. Бойаз требует от тебя, чтоб ты сам разделся, сам скинул штанишки, сам, извините за выражение, задрал рубашонку на голову, сам лег, тысячу раз прошу извинения, лицом вниз, а остальное уж сделает Бойаз:

Березовая каша —
Пища наша.

Бойаз порол не один, ему помогали «певчие», — так он называл своих помощников. Конечно, под наблюдением Бойаза, чтоб они, упаси бог, как-нибудь

не пропустили ни одной розги. «Поменьше науки, побольше плетей, — говорил Бойаз и объяснял эту теорию с помощью логики: — От излишних занятий тупеют способности, а лишняя розга вреда не принесет. Ибо, — говорил Бойаз, — давайте рассудим: наука, преподаваемая ребенку, направляется прямо в мозги, посему она вызывает смятение в мыслях и дурманит голову; а плети — наоборот: пока удары передаются от задней части через все тело в голову, они очищают кровь и проясняют мысли, — теперь вам понятно?..»

И Бойаз не переставал очищать нашу кровь и прочищать нам мозги.

Увы! Мы больше не верили в доброго ангела, который приходит с неба. Мы уже уразумели, что это была выдумка, сказка, чтоб заманить нас к Бойазу в хедер, и мы уже начали вздыхать и сокрушаться над нашими муками, негодовать и изыскивать средства, как избавиться от этого тяжкого ига.

4

В сумеречные минуты, между днем и ночью, когда красное огненное солнце на целую ночь прощается с темной остывшей землей; в сумеречные минуты, когда веселый, звонкий день уходит и на его место тихими шагами приближается грустная, тихая ночь со своей печальною, тихою тайной; в сумеречные минуты, когда тени взбираются по гладким стенам, растут вдоль и вширь; в сумеречные минуты, когда наш ребе уходил в синагогу, а его жена возилась с козой, с кувшинами, полными молока, или была занята у котла с борщом, — тогда мы, детвора, собирались все вместе в хедере, за печью, усаживались на полу, поджав под себя ноги, сбивались в кучу, как стадо невинных ягнят, и там, в темноте, толковали о нашем страшном губителе, об этом злом духе — Бойазе. Мальчики повзрослее, из старшей группы, которые учатся у Бойаза уже не первый год, рассказывают о нем ужасные вещи, клянутся всеми клятвами, что Бойаз не одного ученика запорол насмерть, что Бойаз трех

жен в гроб вогнал, уморил своего единственного сына и тому подобные страшные истории, от которых волосы становятся дыбом.

Старшие мальчики рассказывают, а младшие слушают, слушают со вниманием. Черные глазки блестят в темноте, детские сердца трепещут, и мы приходим к выводу, что у нашего ребе Бойаза нет души, а человек без души подобен хищному зверю, уничтожить которого сам бог велел... Тысячи планов, тысячи наивных детских планов рождаются в наших головах, как избавиться от этого изверга. Глупенькие дети! Эти наивные детские планы лежали глубоко затаенные у каждого в душе. Мы молили бога о чуде: сгорел бы, например, хедер, унес бы нечистый плетку или, или ребе... Но эту последнюю мечту мы боимся высказать. Воображение у ребят работает, фантазия разгорается, и мечтания, чудесные, сладостные мечтания, возникают наяву: вырваться бы на волю, побежать с горы вниз, поболтать босыми ногами в воде, поиграть в лошадки, перескочить через плетень — добрые, сладостные, глупые мечтания, которым не суждено осуществиться, потому что вот уже слышен знакомый кашель знакомого нам человека, стук знакомых каблуков, шлепанье знакомых штиблет, и у нас стынет кровь, цепенеет, замирает все тело. Мы снова садимся за священное писание, за служение всевышнему, за уроки и молитву, с такою же точно охотой, с какой идут на эшафот или на виселицу. Мы занимаемся, а наши уста шепчут: «Господи, владыка мира, придет ли желанный конец этому фараону, этому Аману, этому Гогу и Магогу? * Придет ли когда-нибудь время, когда мы будем избавлены от этого тяжкого, мрачного ига? Нет, никогда! Никогда! Никогда!»

Вот к каким мыслям приходили мы — невинные, глупые дети.

5

— Ребята! Хотите выслушать отличный план, как нам избавиться от этого изверга?

Так обратился к нам однажды в тяжелую минуту мальчик из старшей группы, известный сорванец,

Велвл, и глаза его блеснули в сумраке, как у волка. Вся детвора окружила его, чтобы выслушать план, придуманный им, — как избавиться от нашего изверга. И Велвл, сын Лейб-Арьи, приступил к изложению своего прекрасного плана. Он начал целою речью о том, что нам уже невмоготу переносить этого Бойаза, что этот дьявол купается в нашей крови, а нас он считает чем-то хуже собак, потому что собака, когда ее ударят, поднимает визг, а нам и этого не разрешается. И так далее и так далее...

А затем Велвл обратился к нам:

— Послушайте, ребята, что я вам скажу: я вам задам один вопрос.

— Спрашивай! — говорим все мы в один голос.

— Что будет, если один из нас захворает?

— Что же, нехорошо это, — отвечаем мы.

— Нет, я не про то... Я вот о чем: если кто-либо из нас захворает, придет он в хедер или останется дома?

— Конечно, дома останется, — кричим мы все в один голос, а Велвл продолжает:

— Ну, а как быть, если двое из нас захворают?

— Тогда оба сидят дома.

— Ну, а если трое? — не перестает спрашивать Велвл, а мы не устаем отвечать.

— Тогда трое сидят дома.

— Что же будет в том случае, если мы все вдруг захвораем?

— Тогда мы все будем сидеть дома.

— Пусть же хворь одолеет нас всех сразу, — заявляет довольный Велвл, а мы отвечаем ему сердито:

— Сохрани господь, что ты, спятил?

— Я-то не спятил, пока в своем уме, а вот вы ослы — это уж ясно. Разве я предлагаю захворать всерьез? Ведь я предлагаю прикинуться больными, чтоб не ходить в хедер. Поняли наконец?

Так говорит нам наш товарищ Велвл, и мы начинаем понимать его план, и план этот нам приходится по душе, и мы начинаем гадать, какую бы это болезнь придумать? Один предлагает зубную боль, другой — головную, третий — боль в животе, а четвер-

тый — глистов. И в конце концов мы решаем, что болеть у нас будут не зубы, и не голова, и не живот, и глистов не нужно. А что же? У всех у нас сразу должны заболеть ноги, потому что во всех других болезнях доктор тотчас разберется, а если мы пожалуемся ему: ноги болят, ногой шевельнуть не могу, — попробуй разгадай такую болезнь!

— Помните, ребята, завтра не встаем с постели. А чтобы никто не подвел, дадим друг другу руку и поклянемся, что завтра никто не приходит в хедер!

Так воскликнул наш товарищ Велвл, и мы даем друг другу слово и клянемся всем святым, что есть на свете.

В тот вечер мы шли домой веселые, оживленные, пели песни, как богатыри, которые придумали средство победить врага, выиграть бой.

Ребята! Мы приближаемся к самому интересному месту в нашей истории, и я понимаю, вам хочется знать, чем кончился этот простодушный детский план, эта ребячья забастовка? Я понимаю, вы хотите знать, сдержали ли мы слово? Как выглядели мы все, когда целым хедером внезапно захворали, и притом одной и той же болезнью? Что сказали родители? Что сделал наш ребе? И добились ли мы того, к чему стремились?

Жаль, дети, что я не могу вам рассказывать дальше, ведь сейчас канун праздника, и я вынужден прервать свой рассказ на самом интересном месте, отложив конец до другого раза... И так как нам пора распрощаться, я хочу вам сообщить лишь вкратце, что Бойаз жив и поныне. Но что это за жизнь! Он давно уже не меламед. Что же он делает, чем живет? Просит милостыню. Если случайно встретите его (его нетрудно узнать: он хромой), подайте ему милостыню; жаль беднягу, его песенка спета.

КАСРИЛОВКА

В МАЛЕНЬКОМ МИРЕ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

ГОРОД МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Город маленьких людей, куда я ввожу тебя, друг читатель, находится в самой середине благословенной «черты». Евреев туда натолкали — теснее некуда, как сельдей в бочку, и наказали плодиться и множиться; а название этому прославленному городу — *Касриловка*.

Откуда взялось название Касриловка? Вот откуда.

В нашем быту бедняк, всякому известно, имеет великое множество названий — и человек скудного достатка, и впавший в нищету, и просто убогий, и до чего же убогий, нищий, побирушка, бродяжка, попрошайка и бедняк из бедняков. Каждое из этих перечисленных названий произносится со своей особой интонацией, со своим особым напевом... И есть еще одно обозначение бедняка: *касриел,* или *касрилик.* Это название произносится с напевом уже совсем другого рода, к примеру: «Ой и касрилик же я, не сглазить бы!..» Касрилик — это уже не просто бедняк, неудачник, это уже, понимаете ли, такой породы бедняк, который не считает, что бедность унижает, упаси боже, его достоинство. Наоборот, она — даже предмет гордости! Как говорится, нужда песенки поет...

Забитый в уголок, в самую глушь, отрешенный от всего окружающего мира, сиротливо стоит этот город, заворожен, заколдован и погружен в себя, словно никакого касательства к нему не имеет весь этот тарарам с его кутерьмой, суетой, сумятицей, кипением страстей, стремлением подавить один другого и всеми прочими милыми вещами, которые люди удосужились создать, придумав для них всякие названия, вроде «культура», «прогресс», «цивилизация» и другие красивые слова, перед которыми порядочный человек с величайшим благоговением снимает шапку. Маленькие, маленькие люди!.. Не то что об автомобилях, о воздухоплавании, — они долгое время не знали и о нашей обыкновенной железной дороге, слышать не желали, верить не хотели, что где-то на свете существует поезд. «И слушать нечего, — говорили они, — пустые вымыслы, сущий вздор, небывальщина — медведь летел по поднебесью...» Отпускали и иные язвительные словечки. Пока не случилось, что одному касриловцу понадобилось в Москву. Он съездил и, вернувшись, клялся всеми клятвами, что самолично ехал до самой Москвы три четверти часа поездом... Его, разумеется, смешали с грязью: как может уважающий себя человек подкреплять клятвой такую неудобоваримую ложь? Оказывается, его не так поняли: он и впрямь ехал поездом не больше чем три четверти часа, — остальную часть пути шагал пешком. Как бы то ни было, но эта история с поездом представляла собой факт, против которого ничего нельзя было возразить: если почтенный человек клянется такими клятвами, он, вероятно, эту историю из пальца не высосал. Тем более что он толком дал им понять, каков из себя поезд, изобразил на бумаге, как вращаются колеса, а труба свистит, и вагон летит, и евреи едут в Москву... Маленькие люди его выслушать выслушали, для виду утвердительно покивали головой, но про себя смеялись от всей души и говорили: «Что же получается — колеса вертятся, труба свистит, вагон летит, евреи едут в Москву и — возвращаются назад...»

Таковы, как видите, все они, эти маленькие люди, — не мрачные ипохондрики, не слишком озабоченные делами воротилы. Наоборот, они славятся на свете, как недюжинные выдумщики, как краснобаи, как неунывающие души, живые создания, убогие достатком, но веселые нравом. Трудно сказать, чем они так, собственно, довольны! Ничем особенным — живем, не тужим!.. Живем? А ну, спросите их, к примеру: «На какие доходы вы живете?» И они вам ответят: «На какие доходы мы живем? Вот видите же, ха-ха, живем...» И примечательно! — когда бы вы их ни встретили, они мечутся как угорелые — этот сюда, тот туда, и вечно им некогда. «Куда вы бежите?» — «Куда мы бежим? Вот видите же, ха-ха, бежим, все надеемся — не удастся ли что-нибудь урвать, чтобы достойно справить субботу...»

Достойно справить субботу это — предел их мечтаний. Всю неделю готовы они трудиться, работать до седьмого пота, ни есть, ни пить, грызть землю, почернеть от забот — только бы справить субботу. И поистине, когда наступает милая святая суббота — пропадай Егупец, пропадай Одесса, пропадай даже Париж! Говорят,— и это, возможно, действительно так, — что с тех пор, как существует город Касриловка, не было там случая, чтобы еврею пришлось, не приведи господь, голодать в субботу. Ибо возможное ли дело, чтобы у еврея на субботнем столе не было рыбы? Если нет у него рыбы, есть у него мясо; а нет у него мяса, есть селедка; а нет у него селедки, есть хала; а нет у него халы, есть хлеб с луком; а нет у него хлеба с луком, он займет у соседа; в следующую субботу сосед займет у него: «Весь мир — это колесо, и оно вертится...» — приводит пословицу касриловец и рукой изображает, как вертится колесо... Когда у маленьких людей дело доходит до острого словечка, их ничто не остановит, ради красного словца они не пожалеют, как говорится, ни мать, ни отца. На белом свете про них рассказывают такие истории, которые подчас кажутся небылицами, но можно смело поручиться, что это сплошь подлинные происшествия.

Рассказывают, к примеру, об одном касриловце, которому осточертело голодать в Касриловке, и он пустился в поисках счастья странствовать по свету, стал эмигрантом и пожаловал аж в Париж. Разумеется, загорелось ему попасть там к Ротшильду. Ибо возможно ли, чтобы еврей был в Париже и не повидался с Ротшильдом? Но вот незадача — не допускают. «В чем причина?» — «Рваный кафтан». — «И умники же вы! — толкует еврей. — Будь у меня цел кафтан, каких таких благ ради стал бы я приезжать в Париж?» Словом, дело плохо. Но наш касриловец не теряется и находит выход. Он набирается духу и обращается к стражу, стоящему у дверей: «Иди, скажи барину, что к нему прибыл не попрошайка, упаси бог, а еврей — купец, и привез ему такой товар, какого не раздобыть в Париже ни за какие сокровища мира».

Услышав такие речи, Ротшильд, любопытства ради, повелевает ввести к нему этого самого купца. «Шолом алейхем!» — «Алейхем шолом![1] Садитесь. Из какого вы края?» — «Из Касриловки». — «Что скажете хорошего?» — «Что мне вам сказать, пан Ротшильд? Дело заключается вот в чем: у нас толкуют про вас, что вы находитесь, не сглазить бы, при недурном достатке, про меня будь сказано — иметь бы мне хоть половину того, трети — и той, пожалуй, хватило бы. Ну, а до почета, надо думать, вы тоже не очень жадны, ибо — у кого денег полон ящик, тот миру и указчик. Так чего вам не хватает? Одной вещи — вечной жизни. Ее-то я и привез, чтобы продать вам».

Услышав про вечную жизнь, Ротшильд говорит ему: «А дорог ли товар, во сколько это обойдется?» — «Это вам будет стоить ни много ни мало (тут наш касриловец призадумался), ни много ни мало — три сотни». — «Может, будем торговаться?» — «Нет, пан Ротшильд, не пойдет. Пусть бог пошлет мне столько благословений, на сколько больше, чем три сотни, я мог бы вам назвать, — но так и быть, ска-

[1] Здравствуйте! *(еврейск.)*

зано — пропало». Так говорит ему касриловский еврей, и Ротшильд, разумеется, вынимает и отсчитывает ему наличными три сотни — одна в одну. Наш касриловец прежде всего опускает эту толику наличных в карман и обращается к Ротшильду с этакой речью: «Ежели желаете жить вечно, мой вам совет — покиньте вы этот шумный Париж и махните-ка лучше со всем своим скарбом к нам, в Касриловку, и тогда вы вовеки не умрете, потому что с тех пор, как существует наша Касриловка, не было случая, чтобы у нас умер богач...»

Приключилась и другая история — одного из касриловцев занесло аж в Америку... Но если бы я собирался посвящать вас во всякие истории о выдумках и затеях маленьких людей, мне пришлось бы сидеть с вами три дня и три ночи и рассказывать, и рассказывать, и рассказывать. Давайте лучше перейдем к описанию самого города.

Вам хочется, конечно, знать, как выглядит Касриловка? Хороша неописуемо! А уж если посмотреть издали — и того лучше! Издали город живо напоминает... Что мне вам такое, к примеру, назвать?.. Подсолнух, густо усаженный семечками, доску, покрытую мелко накрошенной лапшой. Как на блюде, лежит он перед вами, и вы за версту можете разглядеть все его прелести, потому что город, понимаете ли, стоит на горе, то есть на город надвинулась гора, а под горой скучилось множество лачужек, одна на другой, как могилы на старом кладбище, как ветхие черные накренившиеся памятники. Об улицах говорить не приходится, потому что дома строились как попало, их не рассчитывали, не измеряли при помощи циркуля; свободного места между домишками тоже нет: почему ни с того ни с сего пустовать месту, если на нем можно поставить дом? Ибо сказано: «Для обжития сотворена», что означает: земля создана посада ради, дабы на ней сидеть, а не глядеть на нее... С чего бы на нее глядеть?..

И тем не менее, не огорчайтесь, имеются и улицы, большие улицы и малые улички, тесные переулки и закоулки. Но они, скажете, не так прямы, малость из-

вилисты — то ползут в гору, то бегут под гору, а то вдруг перед вами на самой дороге дом, или погреб, или просто яма? Ну, и остается вам не ходить одному ночью без фонаря! О маленьких людях не тревожьтесь — касриловец в Касриловке среди касриловцев никогда не заблудится; каждый попадает к себе домой, к своей жене и детям, как птичка в свое гнездо...

А далее, в середине города, имеется широкая полукруглая, а может, четырехугольная площадь, на которой находятся магазины, мясные лавки, лабазы, рундуки и ларьки. И каждое утро открывается там базар, на который съезжается множество крестьян и крестьянок со всякого рода товарами, снедью — рыбой, луком, хреном, петрушкой и прочими овощами. Распродав свою зелень, они покупают у евреев нужные им вещи, и это приносит евреям доходы, не такие уж, правда, обильные, но все-таки доходы. Во всяком случае, это лучше, чем ничего... И там, на этой же самой площади, днем лежат, растянувшись, все козы города и греются на солнышке, именно там находятся, да простится мне, что рядом помянул, и все синагоги, молельни, хедеры, где еврейские дети изучают тору, обучаются молитвам, чтению и письму... Ребе с учениками поют и кричат во все горло — оглохнуть можно!.. А еще тут есть и баня, где женщины моются, а также богадельня, в которой евреи умирают, и всякие прочие укромные места, которые дают себя почувствовать еще издали... Нет, Касриловка еще не знает канализации, водопровода, электричества и других подобных предметов роскоши. Но велика ли важность? «Умирают всюду, слышите ли, одной и той же смертью, закапывают всюду, слышите ли, в одну и ту же землю, засыпают и прибивают, слышите ли, всюду той же самой лопатой!» — так частенько говаривал мой учитель реб Исроел Малах во время празднества, как раз тогда, когда он бывал основательно навеселе, что называется под мухой, и готовился, задрав кафтан, пуститься танцевать «немца» или сплясать «казачка»...

А уж чем Касриловка может похвастать — это своими кладбищами. Двумя роскошными кладбищами

обладает этот благословенный город: старым кладбищем и новым кладбищем. То есть новое кладбище, вообразите себе, уже тоже достаточно старо и достаточно богато могилами — скоро некуда будет «класть», если, упаси бог, случится погром, холера или вообще какое-нибудь несчастье из нынешних несчастий.

Главным образом гордятся касриловские маленькие люди старым кладбищем. Старое кладбище, хотя оно уже заросло травой, деревцами и нет на нем почти ни одного целого памятника, они считают тем не менее своим сокровищем, украшением города, жемчужиной и оберегают его как зеницу ока. Так как, кроме того, что там покоятся предки их предков — мудрецы, праведники, ученые, гении, великие люди, — есть основание полагать, что там находится и немало могил жертв гайдаматчины времен Хмельницкого... Это «святое место» — их единственная кроха собственности на этом свете, которой они, маленькие люди, — единственные безраздельные хозяева, это их единственная пядь земли, их единственный клочок поля, где зеленеет травка, растет деревцо, а воздух свеж, и дышится свободно...

Посмотрели бы вы, что там творится, когда наступает конец лета, и в первых числах месяца элула* начинаются «дни плача» — ай-яй-яй! Мужчины и женщины — главным образом женщины — валят валом, нескончаемой вереницей, — шутка ли «могилы предков»! Со всего света являются сюда, чтобы немного выплакаться, излить наболевшее сердце перед святыми могилами. Знаете, что я вам скажу? Нигде не плачется так самозабвенно и так сладко, как в Касриловке на «божьей ниве». То есть в синагогах тамошних тоже плачется не так уж плохо. Но какое тут может быть сравнение с плачем на могилах предков?

«Могилы предков» — это еще и приличный заработок для касриловских резчиков по камню, содержателей заезжих домов, канторов и синагогальных служек, и первые дни месяца элула для тамошних нищих, женщин и калек — настоящая страдная пора.

«А вы уже побывали на нашей «божьей ниве»?» — спросит у вас касриловец с такой важностью, как если бы он вас, к примеру, спросил, побывали ли вы в его родовом винограднике? Если вы там еще не были, доставьте ему удовольствие и пройдите на кладбище, прочитайте старые, почти стершиеся надписи на полуповалившихся памятниках, и вы найдете часть истории целого народа... И если вы человек, которому доступно изумление и вдохновение, то, обозрев этот бедный город с его богатыми кладбищами, вы не сможете удержаться, чтобы не повторить старое изречение: «Как хороши твои шатры, Иаков, места твоего покоя, Израиль!..»

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

— Вот бестолковая! Нашла время рожать — накануне праздника!

— Еле дождалась этой радости!

— Если удостоимся божьей милости, это ко всему вдобавок окажется мальчик, вот увидите!

— Она родит на свет мессию *, не иначе!

Такие и подобные разговоры слышались весь день в доме столяра Генеха, а Рейзл корчилась, стонала, не могла себе места найти.

Бывали минуты, когда она пряталась в уголок, щипала себе лицо, впивалась ногтями в тело и призывала к себе смерть.

— Боже милостивый! Отец небесный, родимый, сердечный, помоги мне умереть!..

У Рейзл схватки начались еще рано утром, но она пряталась от всех, хотела, чтобы никто о том не знал. Ближе к вечеру, когда подступили нестерпимые боли, она упала на кровать, заломила руки, стиснула зубы, вся посинела, почернела и закричала не своим голосом:

— Мама дорогая! Дай мне силы, чтоб не тяжко было умереть!!!

Не беспокойтесь, бабка Соре-Рохл, стоявшая у ее кровати, уже видывала подобные вещи. С закатанными до шершавых локтей рукавами она склонилась к ней и зашептала:

— Кричи, кричи, дитя мое! Роженица должна кричать. Еще один крик, и ты, бог даст, переможешься на доброе здоровье. Твоя мать теперь на том свете усердствует ради тебя. Твой отец стоит сейчас перед судией небесным и молит за тебя. Бог даст, переможешься на доброе здоровье и родишь сына в утешение своим горестям...

Боли утихают, и Рейзл лежит, словно пришибленная, одурманенная, в ушах у нее звенит, она не спит, но оглушена и не знает, на каком она свете. Что-то с ней творится, что-то с ней произойдет. Может, настанет конец ее несчастьям? Может, она умирает? Рейзл не хочет умирать. Нет! Она еще надеется на милость того, кто живет вечно, — ее Зетл вернется, приедет к ней из далекой Америки, и она еще вкусит настоящую жизнь со своим любимым, дорогим Зетлом.

Где же Зетл?

Портной Зетл через несколько месяцев после свадьбы пустился на поиски заработка. В Америку уехал. Все теперь едут в Америку. Уехал Зетл — нет его, как в воду канул.

«Наверное, объявился там женихом, взял заново приданое, пусть оно ему боком выйдет, владыка небесный!»

Так толковали о нем в Касриловке, в доме столяра Генеха, так толковали все, кроме Рейзл.

Рейзл иначе думала о своем Зетле, она знала его лучше всех, хотя прожила с ним вместе не больше чем четыре месяца.

Рейзл ждала его каждую минуту, каждое мгновенье: если только он жив и здоров, он, несомненно, вернется или письмо напишет; напишет письмо и пришлет ей свой портрет. Ах, если бы только бог помог, и пришло это желанное письмо с портретом, кто с ней тогда сравнится?

Рейзл все глаза проглядела, много ночей не спала, много слез пролила втихомолку, уткнув голову в подушку, чтобы люди не видели, чтобы добрые друзья не огорчались, чтобы недруги не радовались ее горю.

А горе было немалое — она почувствовала, что должна стать матерью. Горе, горе, что ей делать? Куда денется, к кому обратится? Не страшись Рейзл бога и ада, она бы сама над собой расправу учинила!

И очень возможно, что в тот день, когда она стирала белье у реки, ей захотелось кинуться в воду. Но, вспомнив о страшных муках на том свете, Рейзл ухватила узел с бельем и пустилась, ни жива ни мертва, бежать домой. Бежит она, и встречается ей бабка Соре-Рохл.

— Почему ты так бежишь, доченька моя? — спрашивает Соре-Рохл.

Рейзл расплакалась, как малое дитя. Соре-Рохл, имевшая «наметанный глаз», тотчас разглядела, что тут кроется, а молодая, как умела, излила перед ней свою душу.

— Все в руках божьих, — сказала ей Соре-Рохл, — все от бога; кто знает, может, он зачтет тебе твои страданья, и вернется твой Зетл?..

При упоминании имени Зетла вся кровь прихлынула к лицу Рейзл. Обе женщины уселись на чью-то завалинку, пошушукались-пошушукались, посчитали на пальцах и разошлись.

Рейзл, сколько могла, хранила глубоко в себе свою тайну, пока в одно прекрасное утро все не обнаружилось и тайна перестала быть тайной. И с той поры дом столяра Генеха стал для нее адом. Ей казалось, что все глядят на нее, все судачат о ней, а невыносимей всего было, что все проклинают Зетла; каждый, кому только не лень, всячески поносит его.

Больше других донимала ее пекарша Лея. Пекарша Лея полна сострадания к ней, подносит частенько свежую булочку, кусок халы, поскребыш и при этом говорит:

— Возьми, Рейзл, отведай моих изделий, чтоб ему, твоему шарлатану, там, в Америке, подавиться первым куском, боже милостивый!

— Знал бы он хоть, душа окаянная, что вот-вот станет отцом! — подхватывает жена меламеда Фрума.

— А если и узнает, он истерзается там, что ли, этот портняжка, пропади он пропадом! — подливает масло в огонь Асна Куролапа.

Все эти женщины — соседки, живущие вместе с Рейзл в доме столяра Генеха. У каждой из них своя каморка, свое хозяйство, свои одеяла и подушки, свой муж, свои детишки. А детишек у них, слава богу, предостаточно. И в доме вечно сутолока, крик, галдеж: дети дерутся между собой, хозяйки стряпают и пекут, толкутся у одной печи, сплетничают, оговаривают друг дружку, ссорятся и мирятся, одалживают одна другой и занимают одна у другой, только было бы что, все вместе веселятся на торжествах друг у друга и живут почти одной семьей.

Рейзл, словно пробудившись от сна, вскочила с истошным криком:

— Боже! Боже! Боже!

— Вот так, вот так, доченька! — ободряет ее Соре-Рохл. — Сейчас вот и подступают настоящие боли. Еще один, два, три таких крика, и ты, с божьей помощью, управишься на доброе здоровье... Вот так, вот так... Поздравляю, доченька, ты родила мальчика!

Когда у Рейзл родился мальчик, первым делом было искупать ребенка, запеленать и выяснить, на кого он похож. И все три женщины воскликнули в один голос:

— Опухнуть бы «его» роже! Вылитый «он», как две капли.

Потом стали толковать о бульоне для роженицы. Одна упрекала другую, что та загодя не приготовила хотя бы курицу. Град язвительных упреков обрушился, конечно, на Асну Куролапу.

— Ведь вы та самая женщина, которая торгует птицей... По молодости лет, что ли, вы не могли догадаться еще две недели назад посадить для Рейзл курицу на откорм? Просо мы сами купили бы, взяли бы на себя и расходы на резника...

Пекарша Лея засучила рукава и принялась за изготовление сдобы для роженицы, а жена меламеда Фрума побежала к своему мужу, к меламеду реб

Хаим-Хоне, и упросила написать на листках охранные заклятья — талисманы от нечистого, чтобы развесить их вокруг роженицы.

И меламед реб Хаим-Хоне засучил рукава и написал такие охранные заклятья, каких не увидеть у самой богатой роженицы. На середине листка была изображена затейливая пирамида:

Адам	*и Ева*
Авраам	*и Сарра*
Исаак	*и Ревекка*
Иаков	*и Лия*

С обеих сторон были написаны известные заклинания:

Ведьму сживи со свету
Со свету ведьму сживи
Сживи ведьму со свету

А внизу буквами покрупнее:

Сини весосини усмананглаф.

Знаменитые таинственные слова, которые являются средством от сглазу и всяких иных напастей. В общем, было сделано все, что следовало.

Роженица лежала и дивилась в душе на этих женщин: «Да вознаградит их бог! Чем заслужила я такое? Какими такими добрыми делами?..»

А когда мужчины управились со своей работой, они завели разговор о том, чтобы справить обрезание.

Столяр Генех, хотя он не богач и в собственных сыновьях у него нет недостатка, тем не менее заявил, что, поскольку торжество происходит у него в доме, он хочет выполнить святой долг и взять этот брис на себя. Тогда все остальные сочли себя оскорбленными.

— Почему ему одному должна достаться честь выполнить святой долг? Он лучше всех нас, что ли? Этот брис — наш общий брис!

Когда дошло до распределения почетных обязанностей в совершении обряда, произошла небольшая заминка.

Столяр Генех полагал, что, поскольку он хозяин, его, вероятно, удостоят обязанности сандика*, но он постыдно ошибся. Обязанность сандика, сказали все, причитается меламеду реб Хаим-Хоне из того соображения, что меламед реб Хаим-Хоне — человек, который, понимаете ли, понаторел в талмуде. Тут столяру Генеху уже ничего не оставалось, как со всеми сообща впрячься, так сказать, в телегу и заявить, что он и сам иначе не думал...

Словом, с распределением почетных обязанностей кое-как уладили.

Осталась только одна забота, самая приятная: где раздобыть хмельного?

— Хмельного? — откликнулась бабка Соре-Рохл.— Пусть у вас вовеки не будет забот более тяжких, чем эта!

И Соре-Рохл, накинув на себя свой кошачий бурнус, отправилась к своему зятю виноделу Юдлу, изготовляющему сладкие вина, и привела его на брис с двумя бутылями красной водки, которую называют «крамбамбули». Сразу все ожили, повеселели, и полетели здравицы.

— Лехаим! — проговорил меламед реб Хаим-Хоне, человек с черным лоснящимся платком на шее и выщипанной с одной стороны бородой. — Лехаим! Пусть нам, с божьей помощью, приведется пить на его совершеннолетии.

— Лехаим! — сказал столяр Генех. — Лехаим! Дай нам бог дожить и пить на его свадьбе!

А муж Асны Куролапы, отставной николаевский солдат с толстыми черными губами, опрокинул одну за другой подряд три рюмки и пошел в своих пожеланиях еще дальше:

— Лехаим! Дай нам бог дожить и пить на брисах, на совершеннолетиях и на свадьбах у него, и у его детей, и у его внуков, и у его праправнуков!

Приложились к рюмке в меру и женщины, они стали румяны и безудержно говорливы, лопотали все вместе, словно гусыни.

Потом мужчины вынесли столы и скамьи, скинули с себя кафтаны и, в одних, извините, портках пусти-

лись в пляс, как, простите за сравнение, в праздник торы.

А на кровати, за старой рваной простыней с нацепленными сверху донизу охранными листками-талисманами сидела роженица Рейзл, прижимая к груди крошечного, завернутого в лохмотья ребенка. Она смотрела на этих добрых людей, которые пожелали ей столько добра, — она сама не знает, за какие такие заслуги, — и любовалась своим ребенком, своим единственным утешением.

— Вылитый он! Как две капли!

И две слезы из ее красивых синих глубоких глаз покатились по бледному измученному лицу и упали на белую молодую грудь.

РОДИТЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ

— Я, слышите ли, не богач, далеко не богач. Так, ничего особенного, просто живу в собственном доме. Да и что у нас, по правде говоря, дает собственный дом? Хворобу! Но родительские радости, могу похвастать, мне отпущены, слава богу, щедрее, чем самому большому богачу в Касриловке! И когда, слышите ли, наступает праздник и у меня собираются все мои дети, не сглазить бы, сыновья и дочери, невестки и зятья со всеми внуками — кто мне ровня?

Возьмите, к примеру, трапезу в пурим *.

Что за вкус, спрашиваю вас, в трапезе, если вы с женой одни-одинешеньки сидите у стола и едите?

Ну, представьте себе, что я уже съел и рыбу, и бульон, то-се, — ну и что? Грош цена такому удовольствию! Лошадь, простите за сравнение, тоже ест. Но человек ведь не лошадь, и тем более такой человек, как я, и тем более в праздник, и тем более в такой праздник, как пурим с его трапезой!

Прежде всего — о детях, не сглазить бы.

Было их у меня двенадцать, но четверо, да продлятся годы оставшимся, отошли с миром, осталось восемь, и все они, дай им бог здоровья, устроены. Половина из них сыновья, половина — дочери; четыре зятя и четыре невестки; вот вы и имеете, не сглазить бы, ни много ни мало, — шестнадцать.

А внуки, дай им бог долгой жизни!

Грех жаловаться — все дочери и все невестки рожают, слава богу, каждый год; у кого — одиннадцать, у кого — девять, у кого — семь. Бесплодной, такой, значит, которая, упаси бог, не имела бы детей, у меня нет.

Правда, один сын, средний, мне доставил-таки немного хлопот; невестка долгое время не имела детей, нету — и все тут!

Началась история: врачи, ребе и, да простится мне, что рядом помянул, знахарь — ничего не помогает.

Короче, осталось одно — развестись.

Ладно, развестись так развестись. Как дошло дело до развода — какое там? Она не хочет!

Как так — не хочет? Она его, говорит, любит. Дурень ты этакий, говорю, что тебе в том, что она тебя любит? А он говорит: и я ее люблю. Что скажете про этого умника? Я говорю ему «дети», а он мне отвечает «люблю»... Как вам нравится этот дурень?!

Короче говоря, они не развелись. И бог помог — уже лет шесть, как она начала рожать, разрешается что ни год; осыпает меня внуками!

Посмотрели бы вы на моих внуков — все ладные, один другого лучше, на их личики не наглядеться! Верьте слову — красавцы!

А как они учатся! Хотите страницу талмуда — будет вам страница талмуда наизусть. О Пятикнижии с комментариями, о пророках, о грамматике со всеми прочими нынешними причиндалами и говорить не приходится. А как они читают и как пишут по-еврейски, и по-русски, и по-немецки, и по-французски, и... и... и...

Когда мне иногда нужно письмо прочесть, адрес написать, иное ли что — начинается война: «Дедушка, дай я! Дедушка, дай я!»

Но что же? Вы, пожалуй, спросите: как с заработками? Пустое, есть великий бог! Он и управляется — иногда так, иногда этак, иногда лучше, иногда хуже. Вообразите себе, чаще — хуже, нежели лучше, — мучаешься, перебиваешься кое-как круглый

год; что и говорить, только бы здоровье было, как по-вашему?

У моего старшего сына дела шли неплохо. Жил он в деревне, в Злодеевке жил он, и имел довольно приличный доход; но когда вышел указ от третьего мая, его оттуда вежливо попросили; он же, понимаете, стал усердствовать, захотел доказать, что он не «поселившийся», раздобыл бумаги, что живет там еще со времен сотворения мира, и подал в сенат. Короче говоря, не помогли никакие вопли, его выгнали, и по сей день он не может прийти в себя... Живет у меня с женой и детьми. Что же остается делать?

Второму сыну моему, бедняжке, попросту не везет. За какое бы дело он ни взялся — все валится из рук, как говорится, все летит вверх тормашками. Покупает он зерно — падают цены, торгует он скотом — начинается падеж, берется он за лес — выдается теплая зима. Ничего не скажешь — удачлив! Взгляни он в реку — подохла бы вся рыба... Надумал я и говорю ему: «Знаешь что? Увяжи-ка узлы и перекочуй с женой и детьми ко мне. Невелик риск!..»

Третьему моему сыну и впрямь жилось неплохо. Но во время большого пожара, не приведи бог такому повториться, он погорел, выскочил в чем мать родила и еще вдобавок имел кучу неприятностей — донос, следователь, потом призыв, тысяча напастей. Не спрашивайте — было весело!.. Теперь он живет у меня со всей своей оравой. А то как же?..

Одному только младшему моему сыну, не сглазить бы, не так уж худо. То есть как понимать «не худо»? Денег у него нет, но зато есть у него богатый тесть. То есть не то чтобы он был богат, имел приличный заработок, вел солидные дела, нет, — он страшный плут, воротила, упаси и защити господи! Всякий раз карусель крутит и не угомонится, пока не закрутит и себя и других. Но что же? Он-то сам выкручивается, собака. Уже не раз пускал он по ветру и свои деньги и деньги детей. Говорю я ему: «Что вы присосались к деньгам моего сына?» Говорит он: «А велика ли в них ваша доля?» Говорю я: «Мой сын — мое родное

дитя». Говорит он: «А моя дочь мне не дитя?» Говорю я: «Фу!» Говорит он: «Тьфу!» Говорю я: «Ну и ладно!» Говорит он: «Хватит!» Слово за слово — отозвал я своего младшего и говорю ему: «Плюнь ты, говорю, на своего тестя — богача и плута — и поселись у меня, а там что бог даст, только бы вместе...»

Но вот с зятьями, видите ли, у меня счастья нет. Ну, так-таки нет как нет! То есть мне их упрекнуть не в чем, я ими, боже упаси, не гнушаюсь, потому что у меня, можете мне поверить, такие зятья, каких нет у самого крупного богача. Башковитые, родовитые, прекрасные люди... Персоны!

Один зять у меня родом из настоящей знати, чудо, золотой человек, а способности какие — все достоинства! К тому же большой знаток талмуда — всегда сидит за священной книгой. Я содержу его с самой свадьбы, потому что, если бы вы его знали, сами сказали бы, что такого грех выпустить из дому — что с ним станется?

Второй мой зять не так знатен родом, но зато сам он на редкость хорош. Да и чего, скажите, еще желать? И пишет, и читает, и вычисляет, и поет, и пляшет, и чего только не умеет? А как он играет в шахматы — что и говорить, на все горазд! И тем не менее, слышите ли, уж если что не суждено... Как говорит царь Соломон: не про мудрецов хлеб — все ученые ходят без сапог. Я уже испытал его на все лады: был он и арендатором, и лавочником, и меламедом, и сватом — ничего не выходит, хоть разорвись! Живет он теперь у меня с детьми — я же мою дочь на улицу не выброшу!

Есть у меня еще зять, уж не такой образованный, но и не из тех, что попадаются на каждому шагу. Прекрасная голова на плечах, замечательный почерк, знаток талмуда, а как речист — что ни слово, то жемчужина, — заслушаешься!

Один недостаток — он слишком нежен, почти бесплотный дух, он, понимаете ли, не слишком здоров, то есть, если так посмотреть на него, он, кажется, совсем ничего... Одна беда — он потеет. К тому же еще и кашель. С некоторых пор у него появился отврати-

тельный кашель с каким-то визгом, ему трудно перевести дыхание. Врачи советуют пить молоко и поехать на дачу в Бойберик. Туда, говорят, едут все больные. Там есть такой лес, говорят, который исцеляет кашель. Вот я и думаю, если бог дарует нам жизнь, мы будущим летом съездим с ним в Бойберик. А до тех пор, пока не выздоровеет, сидит он с женой и детьми, как полагается, на моей шее. Разве откажешься?

И еще есть у меня один зять, уже совсем простой, но работящий парень, то есть не ремесленник, упаси боже, не портной, не сапожник, но и не из грамотеев.

Он — рыбник, рыбой торгует он; его отец торгует рыбой, его дед торговал рыбой, вся их семья только и знает — рыба, рыба и рыба!

Впрочем, они довольно-таки порядочные люди, честные, но простоватые.

Вы спросите: как попал ко мне такой зять? Конечно, и тут кроется своя история, как говорят: в реке попадается всякая рыба; таково уже, вероятно, счастье моей дочери, что ей суждено иметь *такого* мужа.

То есть упрекнуть мне его не в чем; дочь моя живет с ним счастливо, потому что по натуре он как раз человечишко хороший, алмаз чистой воды, привязан, слышите ли, ко всем нам всей душой. Все, что зарабатывает, отдает ей и, сколько может, поддерживает остальных моих зятьев и сыновей. Да что там говорить? — он почти только на нас и трудится, и относится ко всем нам с большим уважением, потому что прекрасно знает, чувствует, понимаете ли, кто такой он и кто такие мы: он это он, а мы это мы! И так запросто, слышите ли, от этого не отмахнешься.

Чего греха таить — если иногда у нас собираются люди и мои дети заводят разговор по поводу какой-нибудь премудрости, про какой-нибудь закон из «Шулхон-орух» *, или про мудреное место в талмуде, или просто о каком-нибудь библейском изречении, — ему, бедняжке, приходится сидеть, набрав воды в рот, потому что для него все это, не про вас будь сказано, — темный лес!

Конечно же он должен гордиться тем, что у него такие свояки, и должен трудиться на них! Как по-вашему? Разве не так? А?

Теперь, когда вы уже немного знакомы с моей семейкой, вы сами понимаете, чтó у меня за веселье и какая радость у меня на душе, когда, к примеру, наступает праздник пурим и все дети со всеми внуками, не сглазить бы, собираются к трапезе, усаживаются вокруг стола, и я совершаю молитву над большим и затейливым праздничным калачом, который сдобрен шафраном и весь утыкан изюмом; за ним следует знаменитая наперченная и чуть-чуть подсахаренная рыба с хреном, далее — добрая длинная желтая лапша в бульоне, и все выпивают малость того самого пития, если бог послал бутылку выморозков, настоящих бессарабских, а то — по чарке хорошей вишневки, если только имеется такая, в крайнем случае глоток простой водки — тоже дело. А потом все как запоют! Я затягиваю «Розу Иакова» и еще раз «Розу Иакова»! И опять-таки «Розу Иакова»! А дети как подхватят:

Ликуем и веселимся!

А маленькие сорванцы, внуки, подтягивают тоненькими голосками. Да еще и пускаемся в пляс — кто мне тогда ровня? Что мне Бродский? Что мне Ротшильд? Я король, клянусь честью, король!

Я, слышите ли, не богач, но родительские радости отпущены мне, слава богу, щедрее, чем самому большому богачу в Касриловке!

НЕ ПРО НАС БУДЬ СКАЗАНО

Зейдл, сын реб Шаи, — молодой человек, сидящий на отцовских хлебах, палец о палец не ударяет, целые дни корпит над талмудом, хотя он уже отец семейства. Да и зачем ему утруждать себя заботами, когда он единственный сын, а реб Шая — богач, и через сто двадцать лет все его богатство перейдет к сыну.

Реб Шая всю жизнь был заимодавцем. Его «капитал» был разбросан по всему городу. Не найти в Касриловке человека, который не был бы в долгу у реб Шаи. И поэтому в его доме всегда кипело, как в котле: один вошел, другой вышел, у того получил, тому выдал.

У него была, извините за сравнение, «контора», «банк». Банк, но без крашеных столов и столиков, без множества людей в белых манишках с завитыми усами и длинными ногтями, без окошечек с решетками, без железных сейфов и без огромных гроссбухов и контокоррентных книг, каждой из которых можно убить человека.

У реб Шаи в доме стоял только один столик, на столике стояла чернильница с песочницей, и всякий раз, когда нужно было что-либо записать, следовало поплевать в чернильницу, потому что иначе она не хотела давать чернил. А еще был в столике выдвижной

ящик с большим замком, висевшим на двух кольцах. Там, в ящике, хранилась книга со всеми расчетами, которые реб Шая самолично вел согласно своей собственной бухгалтерской системе. Любопытствуете, какая система?

Книга состояла из пятидесяти двух листов *, каждый из листов имел в заголовке название раздела торы, назначенного к чтению на текущую неделю, а по середине был разделен продольной чертой на две части, с одной стороны значилось «получено», с другой — «выдано», и записи на листе имели такой вид:

Получено мною от реб Гершна Пупика согласно расписке раздел «В начале» * 2 руб. серебром.

Получено мною от реб Файвла Шмойса согласно расписке раздел «Счет» * 4 руб. серебром.

Получено мною от реб Симхе Лемешки 1 руб. серебром.

Не получено мною от реб Гершна Пупика по разделу «Ной» *, а также *не получено* по разделу «Изыди».

Выдано мною реб Симхе Лемешке под расписку раздел «Счет» 13 руб. серебром.

Выдано мною дополнительно реб Гершну Пупику 7 руб. серебром.

Не выдано дополнительно реб Файвлу Шмойсу 12 руб. серебром, ибо они пропадут.

Обещано мною реб Симхе выдать дополнительно 11 руб. серебром.

Как реб Шая умудрялся не запутаться в этих расчетах — одному богу известно! И тем не менее не слишком огорчайтесь, — не было ни протестов, ни процессов, ни тяжб; каждый знал — стоит ему прекратить платежи, и тотчас последует потеря доверия, и тогда он — пропащий человек!

И так колесо вертелось, вертелось долгие годы, не останавливалось ни на минуту до тех пор, пока...

Пока не умер реб Шая.

Реб Шая умер, и Зейдл, сын реб Шаи, принял дело.

Справив тридцатидневный траур, Зейдл прежде всего взялся за расчеты и просидел над книгами недели три, сидел и писал, писал и вычислял, и наконец собрал у себя всех должников отца и обратился к ним:

— Хочу поставить вас в известность, почтеннейшие, что я все время сидел над вашими счетами, вычислял и вычислял и наконец подсчитал, что с вас ничего не причитается. Вы чисты.

— Что значит — с нас ничего не причитается? Что значит — мы чисты?

— А так, что «на основании алгебры» вы уплатили проценты, да еще проценты на проценты в семнадцать раз, да еще с тремя шестнадцатыми, больше того, что были должны. Получайте назад ваши расписки.

Услышав такие речи, касриловцы возмутились до чрезвычайности. Они считали, что здесь обязательно скрыт какой-то подвох, какая-то уловка — чертова штучка, не иначе; они швырнули Зейдлу в лицо свои расписки и подняли негодующий вопль:

— Он хочет нас зарезать! Зарезать без ножа! Реб Шая, да будет ему светло в раю, вел дела с нами столько лет; его карман был всегда для нас открыт, а этот является и хочет ссадить нас среди болота!

— Глупцы! — кричал им в ответ Зейдл. — Ну и глупцы, ну и ослы же вы! Вам говорят, что вы — чисты, я ведь это не из головы выдумал, это — «на основании алгебры».

— Что он нам рассказывает басни — «албегра»! Давайте обратимся к людям, давайте спросим у раввина.

— К раввину! К раввину! — вскричали все в один голос и направились к раввину, к реб Ийзефлу.

У раввина собрался почти весь город. Стоял невероятный шум, крики раздирали небеса.

Зейдл никого не прерывал — пусть каждый скажет, чего он хочет; и только после того, как все вволю накричались, он попросил всех ненадолго выйти — он, мол, хочет остаться наедине с раввином, чтобы сказать ему кое-что с глазу на глаз.

Что произошло между Зейдлом и раввином реб Иойзефлом — никто не знает.

Говорят, что они вели между собой долгий спор. Зейдл доказывал, что грешно брать проценты, ибо, философски рассуждая, взимание процентов — это разбой; человек, живущий на проценты, говорил он, это — худший из худших, получается, говорил он, что все должны на него трудиться. Где же справедливость?

Раввин реб Иойзефл пытался возражать ему, вооружившись «узаконением» раввинских авторитетов и сославшись на «заведенный порядок мира», без которого мир, мол, не мог бы существовать, и так далее; на это Зейдл ответил, что, по его разумению, такой «заведенный порядок» — никакой не порядок и что не нравится ему весь этот мир и как все ведется в этом мире.

— Что это за мир? — спрашивал он у раввина реб Иойзефла. — Если я стащу грошовый бублик, когда я голоден, скажут, что это — грабеж, а ограбить целый город сирот и вдов, лишить их последнего куска, называется «обанкротиться»? За отрубленный палец полагается «каторжная Сибирь», а за бойню, в которой вырезали, как скот, восемьдесят тысяч англичан в Африке, получают «мендаль» за храбрость?..

— Это ли справедливость? — говорил он раввину реб Иойзефлу, ухватив лацкан его кафтана. — Это ли справедливость? Вот и разъезжает бедняга старый Крюгер *, царь буров, стучится во все двери, молит о жалости к его бедной стране; он хочет только одного — суда праведного, он хочет довериться людям, пусть люди решат. Но один говорит ему, что не хочет вмешиваться. Другой говорит: ему неудобно перед тем... Тот — так, этот — сяк, а тем временем льется кровь. Где справедливость, спрашиваю я вас, где человечность? А вы мне говорите: «основа мира», «бытие мира», «распорядок мира». Хороша основа! Хорош мир!

И еще во многие подобные несуразные философствования пустился Зейдл в разговоре с раввином,

полез, как говорят, в высокие материи, по глухим дорожкам в непролазные дебри, стал отрицать «мое», и «твое», и «общее», стал все высмеивать, говорить, что называется, против бога и его помазанника, понес чуть ли не крамолу...

Тут уже раввину реб Иойзефлу больше не о чем было с ним говорить, он его и слушать дальше не захотел, закрыл обеими руками уши и закричал:

— Довольно! Довольно! Довольно!

Когда Зейдл ушел домой, реб Иойзефл обратился к толпе со вздохом:

— Бедняжка, хороший молодой человек, и благородный молодой человек, и порядочный молодой человек, но... не про нас будь сказано...

При этих словах он притронулся ко лбу пальцем, и все поняли, что он имеет в виду.

ДРЕЙФУС* В КАСРИЛОВКЕ

Не знаю, вызвала ли история Дрейфуса еще где-нибудь столько шуму, сколько в Касриловке.

В Париже, говорят, тоже бурлило, как в котле. Газеты писали, генералы стрелялись, молодые люди носились по улицам как сумасшедшие, кидали в воздух шапки и вытворяли черт знает что. Один кричал: «Вив Дрейфус!», другой кричал: «Вив Эстергази!» А пока суд да дело, евреям, как водится, досталось, их чернили, смешивали с грязью. Но столько душевной муки, столько обиды и позора, сколько вынесла из-за этого дела Касриловка, — Париж не испытает до самого пришествия мессии.

Откуда в Касриловке проведали о Дрейфусе — об этом не спрашивайте. А почему там, скажем, знают о войне, которую англичане вели с бурами? Откуда там знают, что творится в Китае? Что роднит касриловцев с Китаем? Большие дела, что ли, ведут они с миром? Чай получают они от Высоцкого из Москвы, а желтую летнюю ткань, которая называется «чешун-ча»[1], в Касриловке не носят, — не по карману. Слава богу, если летом есть возможность носить накидку хотя бы из парусины, а то волей-неволей ходят совсем безо всего, то есть, прошу прощения, в одних

[1] Искаженное — чесуча.

портках с надетым поверху ситцевым арбеканфесом, и тем не менее потеют в свое полное удовольствие, было бы только жаркое лето.

И все-таки остается тот же самый вопрос: откуда Касриловка пронюхала про историю с Дрейфусом?

От Зейдла.

Зейдл, сын реб Шаи, — единственный в городе выписывает газету «Гацфиро» *, и от него узнают все, что происходит на белом свете нового, то есть не от него, а через него. Он им читает, а они тут же переводят, он рассказывает, а они друг другу истолковывают, он сообщает, что написано, а они оттуда часто извлекают нечто совсем обратное тому, что написано, потому что *они лучше понимают.*

И был день, и пришел Зейдл, сын реб Шаи, в синагогу и рассказал историю о том, как в Париже судили еврея-капитана, какого-то Дрейфуса, за то, что он выдал кому-то важные государственные бумаги. Сообщение это в одно ухо вошло, в другое вышло. Один только мимоходом брякнул:

— Чего ни делает человек ради заработка?

Другой злорадствовал:

— Так ему и надо! Пусть еврей не лезет в верхи и не путается с царями!

Позднее, когда Зейдл пришел и рассказал совсем заново всю историю, что все это дело попросту клевета, что еврей-капитан, этот самый Дрейфус, которого сослали, невинен как агнец, что это подлая интрига каких-то генералов, повздоривших между собой, — тогда уже городок несколько заинтересовался этим делом, и Дрейфус стал касриловцем. Где останавливались двое, он оказывался третьим.

— Слышали?

— Слышали.

— Сослан пожизненно.

— На вечное поселение.

— Ни за что ни про что!

— Навет!

Еще позднее, когда Зейдл пришел и рассказал, что дело, очень даже вероятно, будет судом разбираться заново, что нашлись такие добрые люди, которые берутся доказать миру, что вся эта история была ошибкой, Касриловка всколыхнулась, заходила ходуном. Во-первых, Дрейфус ведь «наш», и, во-вторых, с какой такой стати там, в Париже, могла произойти такая мерзкая история? Фу, уж больно неподобает она «франц-усикам»! И начались споры и препирательства, бились об заклад: один утверждал, что дело будет пересматриваться заново, а другой оспаривал — нет, после решения суда дела не перевершат, приговор вынесен — пиши пропало...

Дальше — больше, люди перестали ждать, покуда Зейдл удосужится доползти до синагоги, чтобы рассказать новости о капитане Дрейфусе, и начали ходить к нему домой. Потом не стало терпения ходить к нему домой, и начали ходить с ним вместе на почту, там получали газету и там же на месте ее прочитывали, и там же на месте еще раз и еще раз все пережевывали, шумели, галдели, спорили и говорили все вместе, как обычно. Не раз господин почтмейстер намекал им, очень вежливо, правда, что почта не синагога, да простится мне, что рядом помянул.

— Тут не жидовская школа, жиды пархатые, тут не кагал, шахер-махеры!..

Эти слова трогали их не больше, чем Амана — грохот трещоток; * он их осыпал бранью, а они читали «Гацфиро» и говорили о Дрейфусе.

И не об одном только Дрейфусе говорили в Касриловке. Каждый раз прибавлялся новый персонаж: сначала «Эстергази», потом «Пикерт», следом генералы «Мерси», «Пели», «Гонзи» * и при этом была высказана догадка, что у «франц-усиков» имя генерала обязательно заканчивается на «и». И тогда один ехидно спросил:

— Ну, а с Будефером *, что ты будешь делать?

— И что ты думаешь? Он таки вылетел в трубу.

— Туда им и дорога.

И были в Касриловке еще две личности. Их весь город полюбил, души в них не чаял, это были —

«Эмиль Золь» и «Ламбори» *. За «Эмиля Зо́ля» каждый принес бы себя в жертву, шутка ли сказать — «Эмиль Золь»! Явись Эмиль Золя, к примеру, в Касриловку, весь город вышел бы ему навстречу с этаким «добро пожаловать», его бы на руках носили.

— Что вы скажете о его письмах?

— Жемчужины! Алмазы! Брильянты!

И «Ламбори» они возносили до небес. Народ восторгался, приходил в раж, упивался его речами. Хотя никому в Касриловке не доводилось его слышать, но своим умом они дошли до того, что говорить он, должно быть, мастер.

Не знаю, ждала ли так семья Дрейфуса в Париже его возвращения с того милого острова, как дожидались его касриловские евреи. Можно сказать, что они вместе с Дрейфусом плыли по морю — буквально чувствовали, как они плывут: вот поднимается шторм и раскалывает море, раскидывает во все стороны, волны плещут и бросают корабль, как щепку, вверх и вниз, вверх и вниз.

— О господи боже! — молились они в душе. — Приведи его с миром туда, где должен совершиться суд! Открой глаза судьям и проясни их мозги, дабы нашли они виновного, и пусть весь мир увидит нашу правоту! Во веки веков, аминь!

День, когда пришла добрая весть, что Дрейфус уже вернулся, был в Касриловке праздником. Не будь касриловцам неловко, они даже закрыли бы свои лавчонки.

— Слышали?

— Благодарение всевышнему!

— Я охотно поглядел бы, какова была его встреча с женой...

— А я охотней посмотрел бы на детишек в ту минуту, когда им сказали: отец вернулся.

Женщины, присутствовавшие при этом разговоре, сидели, спрятав лица в передники, делали вид, что сморкаются, лишь бы не догадались, что они плачут. Как ни велика была бедность в Касриловке, но любой из касриловцев готов был поступиться самым

дорогим, только бы съездить туда, взглянуть на Дрейфуса хоть издали.

Когда начался суд, здесь разгорелись такие страсти, не приведи господи! Не то что газету — самого Зейдла рвали на части. У людей кусок застревал в горле, они не спали ночами — с нетерпением ждали завтрашнего дня, а назавтра дожидались послезавтрашнего, и так изо дня в день.

И вдруг в городе начался переполох, шум, вопли, галдеж — светопреставление! Это произошло тогда, когда стреляли в адвоката Лабори. Касриловцы ополчились против неба и земли.

— За что? Про что? Ни за что ни про что! Такой разбой! Такого не было и в Содоме!

Этот выстрел лишил их разума, разнес им мозги, эта пуля попала им в самое сердце, словно тот разбойник выстрелил в Касриловку.

— О господи, отец небесный! — молились они в душе. — Яви нам диво, ведь ты умеешь, если хочешь, сотвори чудо — только бы Ламбори остался жив.

И бог, благословение ему, сотворил чудо — Лабори остался жив.

Когда наступил последний день суда, Касриловку трясло как в лихорадке. Люди были не прочь уснуть на целые сутки и проснуться только тогда, когда Дрейфус, даст бог, будет уже на свободе. Но, словно назло, никто из них в ту ночь глаз не мог сомкнуть, ворочались с боку на бок, воевали с клопами и с нетерпением ждали утра.

Как только рассвело, все отправились на почту. Почта была еще закрыта, даже ворота были на замке. Народ понемногу собирался возле почты и вскоре запрудил всю улицу. Евреи расхаживали взад и вперед, зевали, потягивались, крутили пейсы и тихо напевали псалмы.

Когда сторож Ерема открыл ворота, евреи все разом ринулись в них. Ерему это взорвало, и, чтобы показать, что здесь его власть, он напустился на касриловцев и с позором, простите, выгнал вон на

улицу. Там они дожидались Зейдла до тех пор, пока, наконец, не дождались. И когда Зейдл получил газету и прочитал им о вынесенном Дрейфусу «мудром» приговоре, поднялся крик, вопль до неба! И был этот крик обращен не против судей, которые судили неправедно, не против генералов, которые присягали ложно, не против «франц-усиков», которые так некрасиво себя показали, — нет! Крик был обращен против Зейдла.

— Не может быть! — кричала Касриловка в один голос. — Немыслимо, чтобы на свете был такой суд! Земля и небо поклялись, что правда должна всплыть, как масло на воде. Что ты нам рассказываешь сказки?

— Ослы! — кричал в ответ Зейдл из последних сил и тыкал им газету прямо в лицо. — Нате, смотрите, что написано в газете.

— Газета-мазета! — кричала Касриловка. — А если ты с утра до ночи будешь прыгать до неба, — мы тебе разве поверим? Это же нечто такое, чего не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть!

А на самом-то деле — кто оказался прав?..

НЕ СГЛАЗИТЬ БЫ!

— Вот, как видите, — говорит касриловский фурман, повернувшись к нам лицом и предоставив своих лошадок, запряженных в крытую фуру, воле божьей, — как видите, я сам себе хозяин, с двумя, не сглазить бы, коняшками; тот, буланый, у меня, не сглазить бы, уже восьмой год, весь он тут перед вами — не сказать, чтоб лихой рысак, тяжеловат на ногу, но под грузом, не сглазить бы, — хорош! Каурый тоже, не сглазить бы, ядреный конек. С такими двумя лошадками, пошли бог хороших пассажиров да побольше, будешь заработками сыт, не сглазить бы, по горло, а заработок — вещь необходимая, потому что дома у меня жена и, не сглазить бы, шесть роточков; она рожает, не сглазить бы, каждый год, моя Эстер, и потому она лицом таки стала похожа на черта, а была такая красивая, не сглазить бы, такая нежная, — прямо-таки королева с виду, когда я на ней женился; тогда я еще работал у хозяина, детина, не сглазить бы, здоровенный. Нипочем зима! Нипочем лето! Нипочем снег! Нипочем ненастье! Перевернулась повозка? Сам взял ее на плечи и сам, не сглазить бы, вытащил из болота, даже не поморщившись. Вот такой я был парень. А она, Эстер значит, была сироткой, — девушка из порядочного дома, дочь меламеда, — но была она не одна, восемь штук,

не сглазить бы, их было, и матери — бедной вдове — очень хотелось выдать ее замуж. Стали ей сватать самых красивых парней, прекрасные партии. Один недостаток — денег у нее не было. А мы с ними под одной крышей жили, вот и подхожу я однажды к ней, к Эстер значит, — было это в праздник, все были в синагоге: «Эстер, говорю, пойдешь за меня?» Она молчит. Тогда я опять говорю: «Эстер, говорю, не гляди, говорю, что я возница, работаю у хозяина; сколотил я, говорю, своих собственных, не сглазить бы, тридцать с лишним рубликов; как только женюсь, говорю, так сразу и покупаю конягу и становлюсь, с божьей помощью, сам себе хозяином; а мальчик я, не сглазить бы, работящий, трудиться я умею, тебе у меня будет, не сглазить бы, как нельзя лучше, ни в чем не будешь знать отказу!» Она молчит.

Короче, мы поженились. Когда мы поженились, она сразу же начала рожать, не сглазить бы, что ни год — ребенок; а как начала рожать, так и начала хворать, а как начала хворать, то уж хворала и хворала, долгое время прохворала! Говорю я ей: «Эстер, какой толк, говорю, в том, что ты хвораешь?» Она смеется. «Эстер, говорю, ты смеешься, а я на тебя смотрю и у меня сердце кровью обливается; может, говорю, пойдем с тобой к доктору? Может, говорю, он найдет какое-нибудь средство?..» И стали мы собираться к доктору. Собирались мы долго, да и где у меня, по правде говоря, свободное время, если я всю неделю, не сглазить бы, работаю? Разве только в субботу?

Короче, однажды в субботу мы собрались к доктору. Пришли к доктору, спрашиваю у доктора: «Что делать, говорю, господин хороший, если она хворает?» Принимается он за дело, осматривает, выслушивает ее и обращается ко мне: «Твоя жена нездорова». Говорю я ему: «Господин добрейший, спасибо, что сказали, иначе я разве узнал бы об этом!» Тогда он мне и говорит: «Не то я хотел тебе сказать, я хотел тебе сказать, что ты должен ее жалеть, беречь как зеницу ока; ей нельзя больше, — говорит он, — рожать детей, потому что, если она родит еще двух детей, она

пропадет». — «Пропадет, — говорю я, — типун вам на язык, пан! Она у меня, говорю, одна, она мне дороже самого себя, даже обеих моих коняшек. А вы говорите «пропадет». На что мне, говорю, ваши советы? Вы дайте ей какое-нибудь лекарство, говорю, средство, чтобы она перестала, говорю, хворать!..» Долго ли, коротко ли, доктор прописал ей лекарство, порошки такие, и мы пошли домой. Пришли домой, говорю я ей: «Эстер, ты слышала, что умный доктор сказал?..» Она смеется.

Короче, проходит еще год и еще год, чем дальше, тем хуже ей становится, а дети, посмотрели бы вы на них, не сглазить бы, — все умытые, ухоженные, один к одному. Старшему мальчику моему, не сглазить бы, уже тринадцатый год, отдал я его в хедер, хотел сделать из него ученого — какое там! Когда на уме у него только лошадки! И второй — такой же, и третий — такой же. Приезжаю домой, выпрягаю моих коняшек — ага! Мои огольцы, не сглазить бы, тут как тут: один на возу, другой под возом, один на одной лошадке, другой на второй лошадке, а младший — верхом на дышле. «Бездельники, говорю, чтоб вам пусто было! Лучше бы я видел ваше усердие за молитвенником!..» Ведь мне же обидно, — как так? — я исхожу кровью, плачу за их учение, мытарюсь целую неделю, мотаюсь туда и сюда со своей фурой и зарабатываю ведь, не сглазить бы, на кусок хлеба... Но так-таки не больше, чем на кусок хлеба, потому что большая доля уходит на них, не будь рядом помянуты, на коняшек значит, им ведь подавай сено и овес каждый день, а телегу смазывать тоже надо, а дом, не сглазить бы, содержать не шуточка; а и сам-то я — тоже человек и, к слову сказать, не сглазить бы, уже не возница у другого, а сам себе фурман, иногда малость водки хлебнуть, иногда подзакусить, душу-то не выплюнешь, а если вдруг, ни с того ни с сего, — трах! — лошадь падает, ведь это же конец, форменно конец!

Еще какое-то счастье, слышите ли, нашему брату, что бог преподнес нам субботний денек — дар его щедрой руки. Как наступает суббота — вам меня не

узнать, не сглазить бы, совсем другой человек! В пятницу пораньше возвращаюсь домой и первым делом из всех первейших дел — в баню. Там, не сглазить бы, парю свои бока так, что на мне обновляется шкура. Прихожу домой, свежий, горяченький, и застаю на столе два медных начищенных красавца подсвечника и две, не сглазить бы, больших халы, а умница рыба, не сглазить бы, дает себя знать с запечья на весь дом, а в доме тепло, не сглазить бы, чисто и прибрано, во всех уголках блеск зеркальный, глядеться в пору; «чолнт» * задвинут в печь, шесток побелен, кошка греется, а я, да простится мне, что рядом помянул, читаю раздел Пятикнижия, каждый стих, не сглазить бы, два раза; потом отправляюсь в синагогу молиться и, вернувшись оттуда, вхожу в дом с торжественным пожеланием доброй субботы, наскоро прочитываю приветственные молитвы ангелам мира, произношу, не сглазить бы, положенную молитву над доброй, не сглазить бы, чаркой водки, заедаю, не сглазить бы, сытным ужином — настоящей рыбой, прозрачным бульоном, царским цимесом * и ложусь отдыхать. Сплю, не сглазить бы, в эту ночь, как король; а утром отправляюсь в синагогу, не сглазить бы, как граф; а дома меня уже дожидаются, не сглазить бы, все субботние блюда; уважаемая тертая редька с безгрешным луком, крошеные яйца с милейшей печенкой, прекрасный студень с барским чесноком, горячий бульон и кугл, который так и сочится, не сглазить бы, жиром. Конечно, после такой трапезы, не сглазить бы, в самый раз — хорошо поспать. А когда выспишься после такого обеда, хочется, не сглазить бы, пить. А когда мучает изжога, яблочный квас не такой уж плохой напиток, как по-вашему? А грушевый цимес не такой уж плохой харч? И когда выпьешь кружку яблочного квасу, не сглазить бы, и закусишь грушевым цимесом, берешься за псалмы и наворачиваешь, не сглазить бы, с полным аппетитом одну главу за другой; и летят они, не сглазить бы, эти главы, как верстовые столбы на большом тракте, одна за другой, одна за другой, без привала, потому что, полюбуйтесь на меня, хоть

я и фурман, а псалмы льются у меня, не сглазить бы, как песни, дал бы бог это умение моим байструкам после нас, после отца-матери, черта бы ихнему отцу и матери, — тпрру-у, сквозь землю бы вам провалиться!

Так неожиданно обрушился касриловский фурман на своих лошадок, на буланого и каурого, которые внезапно подхватили фуру и стрелой понеслись под гору. И не успели мы оглянуться, как все вместе с фурой уже валялись под горой в болоте. Пассажиры, что сидели против нас, лежали, извините, внизу; а мы, вывалившись из глубины фуры, лежали сверху, на них. А буланый с каурым, запрокинув головы, дрыгали ногами и хрипели — хотели, бедняжки, выкарабкаться, подняться, да не могли.

— С тех пор, как я самостоятельно разъезжаю, слышите ли, — обращается к нам сконфуженный случившимся касриловский фурман после того, как он поднял коней, фуру и всех пассажиров, — с тех пор, как взял я вожжи в руки, не сглазить бы, уже двадцать с лишним лет, случается со мной, чтобы я со своей телегой лежал тут в болоте под горой, — который, вы думаете, раз? Всего только третий раз, не сглазить бы!..

НЕ СТАЛО ПОКОЙНИКОВ

В начале месяца элула я прибыл в Касриловку, чтобы почтить могилы предков.

Старое-старое касриловское кладбище выглядит гораздо красивее и оживленнее, нежели самый город. Вы найдете здесь надгробные домишки-памятники более красивые, чем самые красивые дома в городе. А то, что здесь земля сухим-суха, нет той глинистой топкой грязи, что в городе, тоже чего-нибудь да стоит! Здесь вы по крайней мере видите перед собой зелень, когда наступает живительное лето, травку, два-три густолистых деревца, слышите чириканье пичужек, прыгающих с ветки на ветку и болтающих о чем-то на своем наречье. Здесь, как большая голубая ермолка, над вами небо с чистым и горячим солнцем. О воздухе и говорить нечего, — он здесь в тысячу раз лучше, свежее и здоровее, чем в городе. А ведь как тут, так и там обитают одни покойники! Разница только в том, что здесь, на кладбище, покойники лежат на месте, а там, в городе, они еще расхаживают; здесь они уже покоятся и не знают никаких горестей, а там они еще бедствуют — и кто знает, сколько еще суждено им страдать и мучиться на этом свете.

Застал я тут нескольких женщин; припав к могилам, они плакали, кричали, причитали в голос. Одна

будила мать — пусть встанет, пусть посмотрит на свою единственную дочь, пусть увидит, что с ней сталось!

— Поднялась бы ты, мать моя родная, дорогая, сердечная, взглянула бы на свою дочь, на единственную дочь, на твою хрупкую, бесценную Соре-Перл, на которую ты надышаться не могла, которую оберегала как зеницу ока, увидела бы, как она мается на этом свете. Горе, горе, какую она жизнь бездомную влачит, с малыми детьми, нагими птенцами, ни сорочки на тельце, потому что он, твой зять Исролик, хворает без передышки; с тех самых пор, как он тогда простудился на ярмарке, хворает он и врачуется, его бы надо молоком поить, а — нету! Деточки, бедняжки, тоже просят молочка, а нету! Портной Гендзл, у которого мы теперь живем, требует квартирную плату, а нету! За ученье Гершла — ему в нынешнем году приходит бармицве * — надо уплатить еще за прошлый год, а нету! За что ни возьмись — нету, нету, нету!

Другая пришла к могиле отца жаловаться на мужа, которого ей дали. Думала, на редкость хорош, говорили: чудо-человек! Все девушки тогда завидовали ей. А на деле оказалось, что он шарлатан, мот, позволил себе в нынешний праздник уплатить за «мафтэр» пятьдесят пять «гилдойн» *, а в прошлом году за возглашение библейского стиха «Тебе дано видеть» в праздник торы был не прочь уплатить трешницу! А сколько он изводит на книги, которые покупает всякий раз, — за эти книги он отдаст отца с матерью, а то, что жена хворает и худеет, его не трогает!..

Третья пришла поздравить своего покойного мужа: она выдает замуж старшую дочь, а справить свадьбу не на что, приданого нет, даже первой половины, которую она обещала внести и еще не внесла. Нательной рубахи — и той нет, обуви — ни пары, где уж тут говорить о расходах на свадьбу — на музыкантов, на сервировщиц, на то на се — где она все это раздобудет?.. Голова раскалывается — а что, если, упаси боже, из-за этого расстроится свадьба, что ей тогда делать?..

Так плачут, жалуются на свои горести и беды и другие женщины, в слезах изливают все, что на сердце накипело, отводят душу в разговоре с любимыми, дорогими, авось хоть немного полегчает, — и впрямь ведь становится легче, когда хорошенько выплачешься...

Я брожу среди старых полуосыпавшихся могил, читаю старые стершиеся надписи на накренившихся памятниках. Издали заметил меня могильщик реб Арье, человек с длинной льняной бородой, красными глазами, и спросил:

— К кому тебе нужно?

Реб Арье так стар, что никто, даже сам он, не помнит, сколько ему лет. А все ж таки содержит он себя в чистоте и опрятности, сапожки его начищены, борода расчесана, ухожен у него каждый волосок; следит за собой старый, как мать за любимым единственным сыном, питается только мягкой едой, каждое утро пьет отвары лечебных трав с леденцами. «Ему хорошо, уж куда лучше!» — говорят о нем в Касриловке и от души ему завидуют.

— Шолом алейхем, реб Арье, как вы поживаете? — откликаюсь я и подхожу к старику. Уже вечер. Солнце близится к закату и золотит верхушки могил. Реб Арье, прикрываясь ладонью, оценивает меня взглядом своих красных глаз и поглаживает бороду.

— Кто ты такой? Ты к кому?

Реб Арье так стар, что может позволить себе обращаться ко всем на «ты».

Говорю ему, кто я такой и к кому пришел. Реб Арье узнает меня, почтительно здоровается и, шамкая, говорит с присвистом:

— А? Так это ты? Знал я твоего отца и деда твоего — реб Вевика, золотой был человек, и дядю Пиню, — тоже почтенный человек, и дядю Берку, он тоже лежит здесь у меня, и тетю Хану — всех я знал, все померли, все самые прекрасные люди поумирали. Ни одного порядочного не осталось. Мои все тоже умерли (он вздыхает и машет рукой). Сначала детей схоронил, всех детей схоронил, потом

и сама праведница моя приказала долго жить, оставила меня одного на старости лет. Нехорошо.

— Нехорошо? — спрашиваю.

— Нехорошо, — повторяет он, — нехорошо, не стало покойников.

— Не стало покойников? — говорю я.

— Не стало покойников, — говорит он.

— Перестали, что ли, — говорю, — умирать у вас в Касриловке?

— Смотря по тому, что значит «умирать»! — отвечает он. — Умирать-то умирают, но что в том? Мелкота, птенцы, голь перекатная; что на них заработаешь, по правде говоря! Соберешь им на саван, а после первой надгробной молитвы сироты дарят тебе кусок хлеба. Что поделаешь? Что еще остается? (Он показывает высохшей рукой на плачущих женщин.) Вот ведь лежат они, растянулись, как барыни, на могилах. Что на них заработаешь? Придут, наплачутся, жалко им, что ли, слезы лить? Разве это им денег стоит? А ты ходи, води всех, показывай, где лежит отец, где лежит мать, где лежит дядя, где лежит тетя. Словно я им слуга потомственный! А то, случается, плачет-плачет иная, пока не сомлеет, и приходится отхаживать ее, дать глоток воды, иной раз — и кусок хлеба.

А где мне взять? Из больших моих доходов? Покойников нет, а жить-то ведь надо, и замуж выдать внучку, сиротку, девушку уже на возрасте, тоже надо; был жених, дело почти до сватовства дошло, как раз неплохой молодой человек, торговец книгами, правда вдовец с несколькими детьми, но зато зарабатывает, прекрасно зарабатывает, то есть, когда он торгует, когда есть выручка, — есть и заработок. Устроили смотрины, пришли к согласию и уже собирались писать брачный контракт. Вдруг он говорит: «Ну, а как обстоит дело с приданым?» Я говорю: «Какое приданое?» А он: «Мне же сказали, что вы даете полсотни в приданое». Я говорю: «Вражий наговор, ни сном ни духом в том не виноват! Полсотни? Откуда у меня полсотни? Красть, что ли, пойду или стану выкапывать из могил чужие саваны и прода-

вать?..» Короче, сватовство расстроилось. Вот и говори после этого с касриловскими заправилами, они же еще и правы окажутся, скажут: «Реб Арье, вы грешите, у вас, не сглазить бы, в руках верный заработок...» Хорош заработок! Если где еще и водился порядочный покойник, почтенный человек, захудалый богач, он давно уже похоронен, а свежих не прибавляется. Не стало покойников! Не стало!

НАСЛЕДНИКИ

1

«Мееры и Шнееры...» Собственно, существовал только один Меер и только один Шнеер. Были они близнецы и так походили друг на друга, что порой почти невозможно было угадать, кто тут Меер и кто Шнеер.

В детстве, рассказывают, с ними приключилась история — их чуть не перепутали, хотя, впрочем, не исключено, что их таки перепутали. А произошла эта история вот как.

Мать моих героев, надо вам знать, была женщина маленькая и, к прискорбию, здоровья хлипкого, но весьма плодовитая, то есть век ее необычайно изобиловал родами: что ни год — рожала она ребенка. Ребенок этот мучился, однако, не более года и, не про вас будь сказано, отходил. Так тянулось до тех пор, покуда она вовсе не перестала рожать и уже думала — конец! Напоследок же — чудеса всевышнего! — бог опять осчастливил ее уже в пожилых летах и, как нарочно, двойней! А так как ей трудно было одной кормить двоих детей, она, бедняжка, вынуждена была нанять кормилицу, — что ей еще оставалось делать? Касриловский еврей, будь он последний бедняк, ребенка на улицу не выбросит и

в чужие руки не отдаст, разве только, не дай бог, круглого сироту...

Наняв кормилицу, мать отдала ей Шнеера, а себе взяла Меера (Меер был старше Шнеера на добрых полчаса). Но так как и кормилица была, не про вас будь сказано, женщина не бог весть какого здоровья, им обоим — и Мееру и Шнееру — доставался шиш вместо молока, оба, бедняги, подыхали с голоду и орали благим матом целые ночи напролет, надрывались из последних сил.

И вот в один прекрасный день затеяли детей купать, обоих, конечно, в одном корыте. Сняли с них сорочки, положили обоих в теплую воду, и крошки раскраснелись, надулись, как пузыри. Купание доставляло им, по-видимому, огромное наслаждение — еврей любит баню... Обе — и мать и кормилица — склонились над корытом, подливали всякий раз свежую воду, а дети радостно барахтались, махали ручонками, дрыгали ножонками, точь-в-точь жучки — видели вы когда-нибудь опрокинутого на спинку жучка? Искупав детей, вынули их из корыта, завернули в простыню (в одну простыню) и уложили в кровать (в одну кровать), чтобы дать им немного обсохнуть. Когда же собрались снова надеть на них сорочки, уже невозможно было узнать, который Меер, а который Шнеер. И начались препирательства между матерью и кормилицей.

— Присмотрись-ка толком, я готова поклясться, что этот Меер, а тот — Шнеер!

— Бог вас знает, что вы такое мелете! Этот — Шнеер, а тот — Меер. Не видите, что ли?

— Сгиньте недобрые сны нынешней ночи, прошлой ночи и всех минувших ночей! То ли ты с ума сошла, то ли ополоумела?

— Ах, господи боже мой! Не видите разве по глазам, что этот — Шнеер, а тот — Меер? Полюбуйтесь-ка на эти два глаза!

— Нашла чем удивить! Разумеется, два глаза, а не три.

Короче говоря, одна кричит про Меера, что он — Шнеер, а про Шнеера, что он — Меер, а другая уве-

ряет, что Шнеер — это Меер, а Меер — это Шнеер. Тогда мужчины нашли выход — как-никак все-таки мужчины!

— Знаете что? Попробуйте дать им грудь, а мы посмотрим: кто возьмет грудь у матери, тот, значит, — Меер, а тот, который возьмет грудь у кормилицы, и есть, значит, Шнеер. Простая штука!

Так и поступили. Малютки, едва их поднесли к груди, прильнули к ней, как после долгого поста, сосали, как пиявки, чмокали губами, дрыгали ножками и урчали, как голодные щенята.

— Чудеса господни! Полюбуйтесь, как дивно создал всевышний свой мир!..

Так сказали мужчины со слезами на глазах, и были не прочь интереса ради попробовать обменять детей местами, посмотреть, что из этого выйдет? И детей, бедняжек, оторвали от груди и переместили. Шнеера — на место Меера, а Меера — на место Шнеера, и что же, думаете вы, стряслось? Вы уверены, конечно, что они отказались от еды? Как бы не так! Сосали, да еще как!..

С тех пор все окончательно отчаялись и не пытались больше различить, кто Меер и кто Шнеер. Пусть будет Меер — Шнеер и Шнеер — Меер. И их прозвали: «Мееры и Шнееры». Совсем так, как если бы существовало два Меера и два Шнеера, то есть каждый из них двоих был сам по себе и Меер и Шнеер. В хедере не раз бывало, что порка доставалась Мееру, когда следовало пороть Шнеера, или, наоборот, вкатывали Шнееру как раз тогда, когда наказание по справедливости причиталось Мееру. А дабы не было места обиде между братьями, ребе нашел прекрасное решение (где ученость, там и мудрость!):

— Знаете что, деточки? Ложитесь-ка, пожалуй, оба, и не будет между вами зависти — меня секли, тебя секли... Все будет чисто, гладко и справедливо — в своей семье при своих и останется...

И только гораздо позднее, уже после совершеннолетия, когда Мееры и Шнееры встали, что называется, на ноги, появилось вдруг между ними такое различие, что их уже можно было узнать ночью за вер-

сту — дивны дела твои, господи! У них стали пробиваться бородки (они оба, по-видимому, слишком рано начали курить папиросы!). У Меера на щечках и на верхней губе появился черный пушок (ну и черный же — сажа!), а у Шнеера — красный пушок (ну и красный же — огонь!). И эти бороды росли у них, словно наваждение сатанинское (они оба, по-видимому, слишком пристрастились к курению папирос!), так что ко времени женитьбы они носили уже две бороды, да что я говорю бороды? — веники! Один носил черный веник, а другой — красный веник, и похоже было, будто эти веники им кто-то подвесил.

Велики деяния господни, и чудесам его нет предела! Кто знает, что могло произойти, если бы близнецы, к примеру, после свадьбы обменялись, упаси бог, женами, то есть я имею в виду обратное: если бы жены перепутали мужей. Не знаю, как там у вас, в больших городах; у нас в Касриловке доныне еще не случалось этакого, чтобы люди перепутали «За упокой» и «За здравие». И в самом деле: ежели я твоя жена, значит — ты мой муж, и ежели ты мой муж, значит — я твоя жена. Посудите сами. Ты, скажем, не мой муж, значит — я не твоя жена; ежели же я не твоя жена, значит — ты не мой муж. Но вот вопрос: как же быть, если вдруг стрясется — мой муж надумает и заявит, что его устраивает и жена другого, как тогда? Ну, а я куда? Что я, смолчу?!

Впрочем, не в этом суть того, о чем я собрался вам рассказать. Сама история еще только начинается.

2

До сих пор мы занимались исключительно Меерами и Шнеерами, то есть Меером и Шнеером, да мимоходом еще познакомились с их матерью и кормилицей, об отце же не обмолвились ни словом, как если бы они, не дай господи, никогда не имели отца...

Сохрани боже! Такое может случиться где хотите, но не у нас. У нас, слава богу, нет приюта, где дети

росли бы без отца-матери; у нас еще не случалось такого, чтобы ребенок вырос и не знал, кто его настоящий отец; а если иногда у нас и всплывала такая история, это, конечно, было где-нибудь в Одессе, или Париже, или в далекой Америке... За Касриловку я вам ручаюсь — там никогда такого не бывало, а если и случалось, то бог весть с кем, со служанкой или просто с несчастной еврейской девушкой, сбитой с пути истинного силой случая, оказавшейся жертвой чужого греха...

Короче, Мееры и Шнееры имели отца, к тому же прекрасного отца, и звали его реб Шимшн, и был он честный человек, и была у него, у реб Шимшна, борода окладистая, благообразная, роскошная борода! У реб Шимшна, можно сказать, бороды было больше, нежели лица, то есть из-за этой бороды не разглядеть было лица, и именно поэтому в Касриловке его называли не иначе, как реб Шимшн-борода.

И был этот реб Шимшн-борода... Одному богу известно, чем он был. Он был человеком, который всю жизнь мыкал горе, убивался ради куска хлеба, ратоборствовал с нуждой; иной раз побеждал нужду, иной раз она одолевала его, как водится у касриловских евреев, не питающих особого страха перед нуждой и всегда готовых выставить ей три шиша...

И жил этот реб Шимшн-борода до тех пор, пока не умер. А когда он умер, его с большими почестями похоронили, почти весь город следовал за погребальными носилками.

— Кто умер?

— Реб Шимшн.

— Какой реб Шимшн?

— Реб Шимшн-борода.

— Ух ты! Уже, значит, и реб Шимшн-борода преставился? Благословен судия праведный!

Так толковали в Касриловке и скорбели не столько о самом реб Шимшне, сколько о том, что в городе каждый раз становится одним человеком меньше. Несуразные создания они, эти касриловские евреи: мало того что они так бедны, никогда не едят досыта, они еще были бы рады, если б никто из них

не умирал. И лишь одно им было в утешение — умирают везде, даже в Париже; никому не под силу откупиться от смерти. Когда приходит время умереть, даже самого Ротшильда, который почти выше царя, просят не посчитать за труд — проследовать на тот свет, — и он вынужден идти!

Вернемся, однако, к Меерам и Шneeрам. Пока был жив реб Шимшн-борода, наши Мееры и Шнееры жили между собой душа в душу, их, бывало, как говорится, водой не разольешь. Но когда реб Шимшн-борода умер, между ними разгорелась такая вражда, что они готовы были в любую минуту броситься друг на друга и вцепиться в бороды. Хотите знать из-за чего? А ну, пожалуйста, скажите сами, из-за чего ссорятся дети после смерти отца? Разумеется, из-за наследства. Правда, реб Шимшн не оставил после себя ни земельных угодий, ни лесов, ни домов, ни поместий, ни ренты, а наличных денег и подавно. Жемчугов, серебра и ценной домашней утвари он тоже не оставил своим детям. Не по злобе, не по скаредности, а просто потому, что ничего такого не имел. Все же не следует думать, что реб Шимшн так уж, упаси бог, совсем ничего и не оставил своим сыновьям. Реб Шимшн оставил после себя нечто такое, такую ценность, которую можно было в любую минуту обратить в деньги — заложить под ссуду, сдать в наем и даже продать. Это было собственное место в старой касриловской синагоге, именуемое касриловцами «городом», — почетное место у самой восточной стены, рядом с местом раввина реб Иойзефла, второе, значит, от священного ковчега *. Правда, касриловские умники высказывали соображение, что лучше иметь собственную деревню за городом, чем собственный «город» в синагоге *. Но это была не более чем шутка, и если ты таки с божьей помощью владеешь собственным «городом», да к тому же у самой восточной стены, это, право же, не так плохо, во всяком случае это, бесспорно, лучше, чем ничего!

Короче, реб Шимшн-борода оставил после себя наследственную вотчину — собственный «город» в

старой касриловской синагоге, но совершил одну небольшую оплошность — не указал, кому в наследство отказывает он свое состояние: Мееру или Шнееру?

По-видимому, реб Шимшн, да простит он мне, совсем не готовился покинуть сей мир, забыл, что ангел смерти вечно стоит у нас за плечами и следит за каждым нашим шагом, иначе он, несомненно, написал бы завещание или устно, при свидетелях, сообщил бы, кому должна перейти в наследство эта его собственность.

И что же вы думаете? Конечно, в первую же субботу после тридцатидневного траура в семье покойного разразилась междоусобица. Меер, понимаете ли, твердил, что по закону вотчина должна принадлежать ему, так как он старший (на добрых полчаса!), Шнеер же приводил в свою пользу сразу два довода: во-первых, неизвестно, кто из них старше, так как, если судить по тому, что рассказывает мать, их в детстве перепутали, и очень может быть, что он, Шнеер, значит и есть Меер, а Меер — это Шнеер. И, во-вторых, у Меера тесть — богач, у которого тоже есть собственное место у восточной стены, а так как сына у него нет, то само собой — через сто двадцать лет, если будет на то божья воля, его место достанется Мееру, и тогда получится, что Меер станет владельцем двух мест у восточной стены, а он, Шнеер, останется ни с чем! Спрашивается: где справедливость? Где человечность?

Услышав последний довод, в спор вмешался новоявленный богач — тесть Меера и с великой запальчивостью открыл огонь: «Неслыханная дерзость! Мне еще не исполнилось и сорока лет, так что, во-первых, я имею в виду еще жить и жить, а они спешат поделить мое наследство! А во-вторых, откуда это известно, что я уже никогда не рожу сына? Правда, я его таки не рожу, но жена моя еще может родить сына, и не одного сына, а даже несколько сыновей! Слыханное ли дело, какова дерзость наглеца!»

И тогда люди взялись водворить между ними мир, захотели рассудить их, вынести «коль не приго-

вор, то приговорец», предложили «город» оценить, установить его стоимость, и тогда пусть один из братьев выплатит другому законную долю. Казалось бы, разумный выход? Не так ли? Так вот ведь беда — оба брата и слышать не хотят о выплате. Не в деньгах у них, видите ли, дело, деньги — вздор! Дело было в упрямстве каждого из братьев, в том, что один все делал наперекор другому, возмущаясь: почему родной брат так упрям, почему он не желает уступить родному брату? Почему на отцовском месте сидеть именно ему, а не мне? Каждый из них был занят не тем, что касалось его самого, а тем, что касалось другого, — один желал унизить другого, как сказано: каково мне, таково и тебе — ни мне, ни тебе... И Мееры и Шнееры неутомимо ссорились между собой, усердно досаждали друг другу. Шутка ли — желание победить!

В первую субботу Меер явился в синагогу чуть пораньше и уселся на отцовское место, а Шнеер всю молитву простоял на ногах. В следующую субботу чуть раньше пришел и уселся на отцовское место Шнеер, а Меер все время стоял. В третью субботу Меер постарался прийти совсем рано, занял «город», накрылся с головой талесом, словно углубился в молитву, и — поди подступись к нему! В четвертую субботу Шнеер пришел еще раньше, захватил «город», накрылся с головой талесом и — укуси-ка свой собственный локоть! Тогда Меер в пятую субботу явился чуть свет... Так Мееры и Шнееры обгоняли один другого до тех пор, пока они в одну прекрасную субботу не нагрянули оба в одно время, когда на дворе еще не рассвело, и встали у дверей синагоги (синагога была еще заперта); не произнося ни единого слова, они с разбойной злобой глядели друг на друга, подобно петухам, которые вот-вот наскочат и выклюют друг другу глаза... Так некогда, следует полагать, стояли первые два брата, первые два врага на свете, Каин и Авель, стояли одни в чистом поле, под божьим небом, охваченные лютой враждой, готовые искромсать, сожрать брат брата, пролить невинную кровь...

3

Оставили мы, значит, Мееров и Шнееров в субботу утром у синагоги. Они стояли один против другого, нахохлившись, как петухи, готовые накинуться и осыпать друг друга ударами. Не следует, однако, забывать, что Мееры и Шнееры были дети уважаемых родителей, порядочные молодые люди, не какие-нибудь, упаси боже, сорвиголовы, чтобы ни с того ни с сего затеять драку. Они дожидались, пока явится служка Азриел и отомкнет двери синагоги, тогда будет видно, кто раньше захватит вотчину — Меер или Шнеер?

Эти минуты растянулись для них в целое десятилетие, они еле дождались, пока наконец увидели Азриела с ключами. И когда пришел Азриел, старик со свалявшейся клочковатой бородой, он никак не мог подступиться со своим ключом к двери, потому что оба брата уперлись в нее ногами — Меер правой ногой, Шнеер левой ногой — и оба ни за что не хотели сдвинуться с места.

— Что же из этого выйдет? — проговорил Азриел, втянув носом основательную щепотку табака. — Если вы тут оба будете стоять, как две подпоры, я не смогу открыть дверь, и синагога окажется закрытой на целый день. Какой в этом толк? А ну, пожалуйста, скажите сами!

По-видимому, эти слова возымели должное действие, потому что Мееры и Шнееры подались назад — один правей, другой левей — и дали Азриелу подойти с ключом к двери и отомкнуть засов. Едва засов отодвинулся и дверь распахнулась, Мееры и Шнееры ринулись внутрь.

— Полегче, вы же вот-вот опрокинете человека! — вскричал служка Азриел, но прежде чем он успел выговорить еще слово, бедняга уже лежал растоптанный братьями и вопил не своим голосом: — Полегче, вы же вот-вот растопчете еврея, отца семейства!..

Но Меерам и Шнеерам было не до служки Азриела с его семейством, у них на уме была вотчина; они, перепрыгивая через скамьи и столики, устремились

туда, к восточной стене, и, прибыв к месту, оба разом уселись; упираясь плечами в стену и ногами в пол, оба втискивались в «город», налезали один на другого, пинались, дергали друг друга за бороды, скрежетали зубами и хрипели:

— Подохнешь, а «город» не возьмешь!

В это время служка Азриел, расправив свои помятые кости, подошел к Меерам и Шнеерам и, увидев, как они оба лежат, вцепившись друг другу в бороды, принялся их улещивать, унимать, так сказать, добром:

— Тьфу! Постыдились бы! Два брата, два кровных брата — дети одного отца и одной матери — бессовестно дерутся! Да к тому еще где? В священном месте! Фу-фу!..

Служка Азриел, однако, и сам видел, что его поучения теперь ни к чему, что это попросту слова, пущенные на ветер; наоборот, он своими речами, можно сказать, поддал еще больше жару, и эти два брата — дети одного отца и одной матери — так далеко зашли в своей лютости, что у одного в руке оказался клок черных волос (из бороды Меера), у второго — клок красных волос (из бороды Шнеера), лица обоих украсили синяки, а у одного из них вдобавок хлынула кровь из носу.

Покуда дело ограничивалось тасканием за бороду, покуда братья обходились пощечинами, тумаками и оплеухами, служка Азриел еще мог говорить им слова укоризны, пытаться поучать их, но, увидев, что льется кровь, Азриел не выдержал, — ведь когда льется кровь — пусть даже из носу, — это очень дурно! Это приличествует прощелыгам, а не порядочным молодым людям. Тьфу, тьфу, мерзость премерзостная! И служка Азриел недолго думая бросился в боковушку, схватил там ведро с водой и окатил ею обоих братьев.

Холодная вода испокон веку, с тех самых пор как существует мир, лучшее средство, чтобы отрезвить человека; человек, будь он даже в состоянии величайшего раздражения, жесточайшего гнева, приняв ледяную баню, тотчас же освежается, охлаждается

и приходит в себя... От неожиданной студеной бани, которой угостил их Азриел, Мееры и Шнееры словно пробудились от сна, взглянули друг другу в глаза и устыдились, как Адам и Ева, когда вкусили от древа познания и увидели свою наготу... И не далее, как в эту же субботу вечером, Мееры и Шнееры шествовали в сопровождении сограждан к раввину реб Ийозефлу, чтобы довериться суду людей, — пусть люди разрешат их спор.

4

Не будь Касриловка такая глушь, не будь она так далеко от шумного света — и если бы там, к примеру, выходили газеты, вестники, журналы, великий мир, несомненно, общался бы с раввином реб Ийозефлом. Все газеты были бы полны им и его мудростью. Мыслители, великие ученые, знаменитости всего мира устремились бы к нему — увидеть его, услышать умные речи из его уст. Фотографы и художники изобразили бы его, а портрет распространили во всех уголках мира. Интервьюеры морочили бы ему голову, донимали, не давали бы житья, стараясь узнать всю его подноготную. Какие он любит блюда? Сколько часов в день спит? Верит ли в бессмертие души? Какого он мнения о курении папирос и считает ли полезной велосипедную езду? И многое иное... Но так как Касриловка — глушь и находится далеко от шумного света, а газеты, вестники, журналы там не выходят, то мир ровно ничего не знает о раввине реб Ийозефле. Газеты не упоминают его имени. Фотографы и художники не делают его портретов. Интервьюеры оставляют его в покое. И реб Ийозефл весь свой век живет тихо, скромно, без трескотни, без тарарама. Никто не может ничего рассказать о нем, кроме касриловцев, которые превозносят его, благоговеют перед ним. Все его деяния они щедро награждают почетом (денег в Касриловке нет, но почета — сколько хотите!..). Они говорят о нем, что он — из тех потаенных мудрецов, которые не кичатся своей мудростью; что только придя к нему на

суд, можно увидеть, как он пытлив, как глубок, как проницателен, можно убедиться, что он обладает истинно Соломоновой мудростью!

Совершив молитву во славу бога, отделившего праздник от будней, Мееры и Шнееры пришли к раввину реб Иойзефлу, дабы он рассудил их, и застали там великое множество народу. Весь город жаждал услышать, каков будет приговор реб Иойзефла? Как он умудрится поделить между двумя братьями одно-единственное место? Прежде всего, реб Иойзефл предоставил обеим сторонам возможность доказать свою правоту. Реб Иойзефл стоит на том, что перед тем, как вынести решение, надо дать обеим сторонам высказать свои доводы, ибо чем помогут им доводы после решения суда? Потом он и служке Азриелу дал говорить столько, сколько тому хотелось. Азриел был ведь в этом деле взаправдашный очевидец. Говорили и просто почтенные горожане — всякий, кто душой привержен к справедливости, вмешался, вставил слово, и не одно слово, а множество слов. Реб Иойзефл, слава богу, такой человек, который всем дает говорить. Я уже давно заметил, что реб Иойзефл немного философ: он держится того мнения, что сколько бы человек ни говорил, он непременно когда-нибудь замолчит.

Так оно и вышло. Весь город говорил, говорил — потом перестал говорить. А когда люди наконец замолчали, реб Иойзефл, по своему обыкновению, тихо, медленно и благожелательно обратился к Меерам и Шнеерам со следующей речью:

— Внемлите, досточтимые, выслушайте же меня, евреи!

Суть дела вот в чем. Я выслушал вас обоих, ваши доводы и пожелания, а также суждения всех остальных почтенных людей, и вижу, что вы, бедняжки, оба правы. У вас у обоих был, к прискорбию, всего один отец — прекрасный отец, да будет ему светел рай. Нескладно только, что он оставил вам обоим, к прискорбию, всего-навсего одно место. Конечно, вам обоим очень дорога эта вотчина — как-никак собственное место у восточной стены в старой-старой кас-

риловской синагоге. На это, конечно, не махнешь рукой. Но что же? Точно так же, как невозможно, чтобы один человек мог занимать два места, невозможно, чтобы два человека довольствовались одним местом, наоборот, мне даже кажется, что куда легче одному человеку занимать два места, нежели двум людям сидеть на одном месте, потому что, когда у одного человека, к примеру, имеется два места, он один раз сидит на этом месте, а другой раз — на том, но если два человека попытаются в одно и то же время сесть на одно и то же место — ничего не получится. К примеру, теперь я держу правую руку вот тут, на этой книге. Если я, к примеру, захочу в это же время положить левую руку на то самое место, где лежит моя правая рука, я не смогу это сделать. Почему? Потому что так всевышний создал мир, и человеческий разум не в силах это постигнуть. Так что после сказанного мной остается только один вопрос: как быть с двумя братьями, если у них все-таки, к прискорбию, был только один отец и оставил он им всего-навсего только одно место? Каждому оно, конечно, в охоту — как-никак собственное место у восточной стены в старой-старой касриловской синагоге. На это, конечно, не махнешь рукой! Остается одно: да размежуются — пусть поделятся. Но как же поделить место? Ведь место это не... не... яблоко, чтобы его можно было разрезать пополам и сказать: вот тебе полместа и вот тебе полместа. Тем не менее есть возможность сделать так, чтобы вы оба сидели у восточной стены. До этого я додумался, благодарение всевышнему, своим собственным умом. Вы спросите, каким образом? А так! Ваше и мое место — это два места, одно рядом с другим. Займите, деточки, оба эти места и будете сидеть, на доброе здоровье, рядом — место возле места, и не будет у вас повода к распрям. Но что же? Возникает вопрос: как же я обойдусь без места? Ответ на это таков: где сказано, что раввин или даже просто еврей должен непременно обладать собственным местом, и непременно у восточной стены, и непременно в старой синагоге? Давайте же, хорошенько вникнем, что такое синагога? Святой дом.

Зачем мы ходим в синагогу? Молиться. Кому молиться? Всевышнему? Где он находится? Всюду, вся земля полна его величием, им полон весь мир! А раз это так, то какое может иметь значение — восток ли, север ли, юг ли, сидеть ли на самом почетном месте, или просто стоять у дверей? Только бы ты посещал святой дом, только бы ты молился! Притче какой уподоблю сказанное мной — с чем сравню я это? А вот с чем. Во дворец к царю явились два раба просить о какой-то милости. Вдруг эти рабы поспорили между собой и на глазах у царя вцепились друг другу в бороды, совсем забыв, ради чего они сюда явились и перед кем стоят: царь, нетрудно догадаться, отчитал их как следует и повелел, чтобы их, прошу прощения, вывели вон; и в самом деле, если вам хочется дергать друг друга за бороды, идите себе подобру-поздорову во двор и деритесь там, сколько вашей душе угодно! Зачем вы полезли во дворец к царю, раз вы не знаете, как себя вести?.. Такова притча, и имеет она в виду вас. Идите же, деточки, домой и живите в мире, и пусть ваш отец на том свете будет добрым ходатаем перед богом за вас, за нас и за весь наш народ.

Таков был приговор реб Иойзефла, и все разошлись по домам.

В следующую субботу Мееры и Шнееры пришли в синагогу и молились, стоя у дверей. Сколько их ни просили — служка Азриел, с одной стороны, и раввин Иойзефл, с другой стороны, — они ни в какую не соглашались сесть у восточной стены.

Если кто не прочь приобрести по сходной цене в собственность «город» у восточной стены в старой касриловской синагоге, по соседству с «городом» раввина реб Иойзефла, пусть обратится в Касриловку к сыновьям реб Шимшна — к Мееру и Шнееру, — все равно к кому: он будет отдан задешево, потому что никто его не занимает — ни Меер, ни Шнеер. Пустует «город» — грех перед богом!

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГОСТИНЦЫ *

1

Давно не было в Касриловке в праздник пурим такой хорошей теплой погоды. Рано тронулся лед, растаял снег, и грязь доходила до колен. Сверкало солнце. Дул ленивый ветерок. Глупому теленку показалось, что уже весна. Он задрал хвост, нагнул голову и нерешительно протянул «му». Вниз по улице змейками бежали ручейки, унося с собой попадавшуюся по пути щепку, соломинку или бумажку. Счастье, что почти ни у кого в городе не было денег на мацу, а то можно бы подумать, что на дворе не пурим, а канун пасхи.

В самом центре города, среди топкой грязи, встретились две девушки, обе по имени Нехама; одна крупная, черная, с густыми бровями и вздернутым носом; вторая — хилая, бледная, с острым носиком и огненно-рыжими волосами; у одной толстые грязные ноги не были обуты; у другой на ногах было какое-то подобие башмаков. Башмаки эти просили каши, подошвы у них отваливались и при ходьбе громко шлепали, и весил каждый башмак целый пуд. Хороши башмаки! По правде сказать, чем в таких башмаках, так уж лучше босиком.

Обе Нехамы несли накрытые белыми салфетками шалахмонесы, обеими руками прижимая их к груди. Встретившись, девушки остановились.

— А, Нехама!

— А, Нехама!

— Куда идешь, Нехама?

— Как так куда я иду? Несу шалахмонес.

— Кому ты несешь шалахмонес?

— Да вам. А ты куда идешь, Нехама?

— Как так куда я иду? Ты же видишь, что я несу шалахмонес.

— А кому ты несешь шалахмонес?

— Да вам!

— Вот так история!

— Комедия, право!

— Ну-ка, Нехама, покажи твой шалахмонес.

— Покажи твой, Нехама.

Обе Нехамы стали искать глазами, где бы присесть. И господь сжалился над ними: возле заезжего дома они увидели бревно. С трудом вытащив ноги из грязи, они уселись на это бревно, поставили подносы на колени, приподняли салфетки и принялись рассматривать шалахмонесы.

Сначала показала свой гостинец Нехама рыжая. Она служила у Зелды, жены реб Иоси, получала пять с половиной целковых за зиму, одежду и обувь. Ох и одежда, ну и обувь! Хотя что ж, платье как платье, с заплатами, конечно, но все-таки платье, а вот башмаки Нехама носила мужские — хозяйского сына Менаши, у которого ноги величиной с дежу. А каблуки Менаше имел привычку стаптывать. Хорошие были башмаки!

Шалахмонес, который несла Нехама рыжая, состоял из большого красивого гоменташа *, двух подушечек — одной открытой, нашпигованной катышками в меду, другой круглой, затейливо разделанной с двух сторон; из сахарного пряника с изюминкой на самой середине; из большого четырехугольного куска торта, куска слоеного коржа, двух маленьких «царских хлебцев» и объемистого ломтя ржаной коврижки, которая в этом году, как никогда, удалась Зелде — то ли

мука была хорошей, то ли мед попался чистый, то ли удалось хорошо взбить тесто, то ли она просто хорошо испеклась. Так или иначе, коврижка была мягче пуховой подушки.

Рассмотрев гостинец Нехамы рыжей, открыла и показала свой гостинец Нехама черная. Она служила у Златы, жены реб Айзика, получала шесть целковых за зиму без одежды. Поэтому она ходила босиком, а Злата проклинала ее страшными проклятиями.

— Как это девка ходит всю зиму босая? Ты, видно, простудиться хочешь, ко всем чертям!

Но Нехаме слова хозяйки, что Аману колотушка. Нехама копила деньги на пасху: на пасху, бог даст, она справит себе пару башмаков на высоких каблуках и ситцевое платье с оборками. Сапожник Копл, который сватается к ней, так и помрет на месте!

Шалахмонес Нехамы черной состоял из хорошего куска штруделя, двух больших медовых пряников, одного подового пряника и двух подушечек с начинкой из сладких мучных катышков; подушечки по краям были выложены рыбками; здесь лежали еще две большие маковки, черные, блестящие, нашпигованные орехами и хорошо прожаренные в меду. Кроме того, с подноса улыбался желтый душистый апельсин, аромат которого проникал в самую душу.

2

— Знаешь, Нехама, что я тебе скажу? Твой шалахмонес лучше, чем мой шалахмонес! — С таким комплиментом обратилась Нехама рыжая к Нехаме черной.

— Ничего, твой шалахмонес тоже неплохой шалахмонес! — ответила комплиментом на комплимент Нехама черная и пощупала пальцем гоменташ. — Вот это гоменташ!.. — облизнулась она. — Настоящий гоменташ! Сказать по правде, моя хозяйка даже не заслужила такого гоменташа... Послал бы ей лучше господь болячку на нос! Знаешь, Нехама, поскольку сегодня у меня во рту и маковой росинки не

было, я бы не прочь отведать хоть кусочек этого гоменташа.

— А я, думаешь, ела что-нибудь? Чтоб они всю жизнь свою ели не больше, — сказала Нехама рыжая и оглянулась по сторонам. — Послушай, Нехама, возьми вот этот гоменташ, разломи его пополам, вот мы и перекусим немножко. Где это сказано, что шалахмонес должен быть обязательно с гоменташем? Ведь твой шалахмонес без гоменташа!

— Ты права, дай тебе бог здоровья! — сказала Нехама черная и разломила гоменташ пополам.

— Знаешь, что я тебе скажу? Райский вкус, честное слово. Плохо только, что мало... За твой гоменташ, Нехаменю, тебе причитается кусок коврижки из моего шалахмонеса. Ну, что они дадут нам за нашу работу? Им бы за это хворобу хорошую, а не коврижку. Как ты думаешь, сколько я заработала с самого утра? Гривенник и две полушки, да и те дырявые... А ты сколько собрала, душа моя?

— Я и того не заработала, заработать бы им чирей! — ответила Нехама рыжая, глотая коврижку целыми кусками, точно гусь. — Ежели за весь день соберу гривенник, и то слава богу!

— Хороши богачки, чтоб они все подохли! — сказала Нехама черная, облизываясь. — Прихожу я с шалахмонесом к Хьене-бакалейщице, забирает она у меня шалахмонес, роется-роется в кармане, а потом велит наведаться к ней попозже. Пускай смерть наведается к ней!

— Нет, ты только послушай, — сказала Нехама рыжая. — Прихожу я к Кейле реб Арона с гостинцем, а она берет и дарит мне за работу сахарный пряник, пусть подарит ей бог новую душу!

— А старую выбросит собакам! — закончила за нее Нехама черная, взяла один из медовых пряников Златы и разделила его пополам. — На, ешь, душа моя, пусть их черви едят. Если твоя хозяйка получит одним пряником меньше, тоже беда невелика!

— Ох, горе мне! — первой спохватилась Нехама рыжая, вскочила с бревна и заломила руки. — Мой

шалахмонес! Посмотри, что у меня осталось от гостинца!

— А кто им станет рассказывать, глупая ты девка! — успокоила ее Нехама черная. — Не бойся, сегодня день подарков, головы у них заморочены, не заметят.

Обе Нехамы накрыли шалахмонесы белыми салфетками и как ни в чем не бывало зашлепали по грязи, одна в одну сторону, другая — в другую...

3

Зелда, жена реб Иоси, благообразная круглолицая женщина в красном шелковом переднике с белыми крапинками, делила и расставляла по порядку подарки, присланные ей и те, что она собиралась послать другим.

Реб Иося-ягненок (так его прозвали в Касриловке) храпел на кушетке, а Менаше, краснощекий парень лет восемнадцати, в длинном люстриновом пиджаке, вертелся около матери и лакомился то куском медового пряника, то горсточкой медовых катышков, то маковкой; он так увлекся этим делом, что зубы и губы у него почернели, а в животе заурчало.

— Менаше, довольно, Менаше! — то и дело упрашивала его мать.

— Довольно, довольно, — отвечал Менаше и глотал один «последний» кусок за другим.

— С праздником вас, хозяйка прислала вам шалахмонес! — говорит Нехама черная и подносит Зелде накрытый салфеткой шалахмонес.

— У кого ты служишь? — спрашивает Зелда с любезной улыбкой и берет у Нехамы поднос.

— У Златы, жены реб Айзика-балбрисника, — отвечает Нехама черная и ждет, когда ей возвратят поднос.

Зелда опускает руку в карман, чтобы дать девушке грош, а другой рукой откидывает салфетку и застывает в изумлении.

— Что такое? Смотри, Менаше!

Взглянув на шалахмонес, Менаше хватается за бока, приседает до самого пола и так хохочет, что реб Иося-ягненок в испуге чуть не падает с кушетки.

— А? Что? Что случилось? Кто там?

— Ты только погляди: ну и шалахмонес нам прислали! — говорит Зелда, складывая руки на животе.

Менаше хохочет, а реб Иося-ягненок сплевывает, поворачивается лицом к стене и засыпает снова.

Зелда швыряет Нехаме поднос и салфетку и говорит:

— Скажи своей хозяйке, пусть она доживет до будущего года и пусть шалахмонес получше этого будет ей не по карману.

— Аминь! Того же и вам желаем! — отвечает Нехама черная и забирает поднос.

— Провались ты в преисподнюю, чертовка! — сердито говорит Зелда. — Вот бесстыдница! Ну, что ты скажешь, Менаше?

4

Злата, жена реб Айзика, женщина, которая рожает каждый год и без конца ходит к врачам, уже устала принимать и посылать подарки. Она присела на табурет, чтобы перевести дух, и, уже сидя, начала командовать своим мужем — реб Айзиком-балбрисником (так звали его за глаза потому, что он каждый год справлял брис).

— Айзик, возьми вон тот кусок торта и положи его сюда, а тот кусок коржа и две маковки переложи отсюда туда и подай мне ту подушечку, Айзик, с катышками. Нет, Айзик, не ту, а эту! Пошевеливайся, Айзик! Вы только посмотрите, его надо азбуке учить, как малое дитя! Вон тот пряник побольше положи туда, вот так, Айзик, а этот кусок торта разрежь пополам, слишком большой кусок, Айзик, жалко... Провалитесь вы, выродки! Вон отсюда!

Последние слова относились к целой ораве сорванцов, которые стояли вокруг Златы с голыми пупками, жадно смотрели на сладости и облизывались. Озорники — то один, то другой — подкрадывались за спиной матери к столу, чтобы стащить какое-нибудь лакомство, а мать не скупилась и отпускала кому оплеуху, кому пинок, кому подзатыльник.

— С праздником вас! Хозяйка прислала вам шалахмонес, — говорит Нехама рыжая и подает Злате накрытый салфеткой шалахмонес.

— У кого ты служишь? — спрашивает Злата и, любезно улыбаясь, берет у Нехамы поднос.

— У Зелды, жены реб Иоси-ягненка, — отвечает Нехама рыжая и ждет, когда ей возвратят поднос.

Злата опускает руку в карман, чтобы дать девушке грош, а другой рукой откидывает салфетку и чуть не падает в обморок.

— Да обрушатся на головы моих врагов все черные злые недуги, пусть поразят они их руки и ноги, их тело и душу! Посмотри только, какой шалахмонес! Насмехаться она вздумала, что ли? Ну и бездельница! На, можешь вернуть это своей хозяйке, — говорит Злата и швыряет в лицо Нехаме рыжей поднос вместе с салфеткой и подарком.

5

Реб Иося-ягненок и реб Айзик-балбрисник — касриловские торговцы, лавка возле лавки. И хотя они, можно сказать, конкуренты и, когда представляется случай, отбивают друг у друга покупателей, отношения у них вполне добрососедские: они занимают друг у друга деньги, ходят друг к другу в гости, летом целыми днями сидят в лавке и играют в кости, а зимой заходят друг к другу погреться. И жены их ладят между собой: вместе перемывают всем косточки; если одной не хватает товара, другая дает взаймы; поверяют друг дружке самые сокровен-

ные тайны; не ссорятся почти никогда, а если даже и случится поссориться им из-за какого-нибудь пустяка, примирение наступает незамедлительно... В общем, живут душа в душу.

Когда на другой день после пурима реб Айзик-балбрисник вышел открывать лавку, реб Иося-ягненок уже стоял у дверей своей лавки, надувшись как индюк, и ждал, чтобы реб Айзик подошел к нему и пожелал доброго утра, — тогда он ему не ответит... Так они стояли друг против друга, словно петухи, и каждый ждал, чтобы заговорил другой... Они могли бы простоять таким образом целый день, если бы не вернулись с базара их жены. У обеих пылали лица и гневно сверкали глаза.

— Айзик, что ж ты не скажешь ему «спасибо» за замечательный шалахмонес, который мне прислала его красавица? — обращается Злата к своему мужу.

— Иося, почему ты не напомнишь ему про вчерашний шалахмонес? — спрашивает Зелда своего мужа.

— Ты слышишь, Айзик, она еще насмехается! Что же ты молчишь, Айзик!

— О чем говорить с ягненком? — произносит реб Айзик громко, чтобы реб Иося услышал, что его обозвали «ягненком».

— Стоит ли связываться с балбрисником? — произносит реб Иося громко, чтобы реб Айзик услышал, что его обозвали «балбрисником».

Если подумать: что плохого в слове «балбрисник»? Всякий еврей, у которого жена родила мальчика, на восьмой день становится балбрисником.

Реб Айзик, однако, все мог перенести, но только не прозвище «балбрисник». Это ему — нож острый. Он готов был разорвать обидчика на части.

То же самое и реб Иося. Если дать ему три оплеухи, он не так расстроится, как от прозвища «ягненок».

На шум сбежался весь базар. Всем хотелось узнать, по какой причине два близких соседа и добрых приятеля вцепились друг другу в бороды, да так, что их едва удалось растащить... Но реб Иося, и реб Айзик, и Злата, и Зелда говорили все вместе

и так кричали, так визжали, что, кроме «шалахмонес» да «шалахмонес», ничего нельзя было разобрать. Какой «шалахмонес», чей «шалахмонес» — непонятно...

— Если ты не подашь на «ягненка» мировому, можешь попрощаться с жизнью! — кричала Злата мужу.

И реб Иося обратился ко всему базару:

— Люди, будьте свидетелями, что эта бесстыжая женщина назвала меня «ягненком». Сейчас я пойду к мировому и подам бумагу на нее и на ее мужа — «балбрисника».

— Люди! — отозвался реб Айзик. — Знайте, я выставлю вас свидетелями у мирового, что этот... этот... этот... мне не хочется произносить его постыдное имя, — только что назвал меня «балбрисником».

Через час оба были у писца Юдла, оба выставили свидетелей и оба подали бумаги.

6

Касриловский мировой — пан Милиневский, тучный господин с длинной бородой и высоким лбом, так долго служил в должности мирового, что отлично был знаком со всем городом, и, главным образом, с касриловскими евреями, каждого он знал в лицо, знал характер каждого, понимал по-еврейски, как еврей, был умницей. «Совсем еврейская голова!» — говорили о нем в Касриловке.

В осеннее время, после праздника кущей, его забрасывали бумагами, и не кто-нибудь, а все евреи, дай им бог здоровья! Речь шла не о кражах, упаси господь, не о злодеяниях или убийствах — нет! Жаловались только на дули и оплеухи, которыми прихожане наделяли друг друга в синагоге из-за почетного права читать молитвы с амвона.

Пан Милиневский не любил церемониться с касриловскими евреями, пускаться с ними в длинные объяснения. Много говорить он им не давал, так как знал, что это история без конца. Желают пойти на

мировую — хорошо! (Пан Милиневский — миротворец.) А не желают — он надевает цепь и кричит: «По указу, на основании такой-то и такой-то статьи я присуждаю: Гершке три дня ареста и Янклу тоже три дня ареста». Как видите, предпочтения он не оказывал никому.

За две недели до пасхи состоялся суд по делу о гостинцах. Присутствие было битком набито свидетелями — мужчинами и женщинами, — яблоку негде было упасть.

— Айзик, Иоська, Злата, Зелда! — вызвал пан Милиневский. И с первой скамьи поднялся реб Иося-ягненок со своей женой и реб Айзик-балбрисник со своей женой, и, прежде чем мировой успел открыть рот, все четверо заговорили разом, и больше всех и громче всех, конечно, женщины.

— Господин мировой! — говорит Зелда, отталкивая мужа и показывая рукой на Злату. — Она, вот эта бесстыдница, присылает мне в нынешний пурим хороший шалахмонес, курам на смех: паршивый штрудель и один медовый пряничек, просто смех, срам, тьфу!..

— Ой-ой-ой, я этого не выдержу! — кричит Злата и бьет себя кулаком в грудь. — Дай боже мне такой кусок золота!

— Аминь! — говорит Зелда.

— Да замолчи ты, проклятая! Две подушечки, господин мировой, дай боже мне такое счастье, и пирожок, и царский хлеб, и несчастье на ее голову, и пряник, и язва египетская, и гоменташ! Горе мне!

— Какой там гоменташ? Это ей приснилось!

Мировой звонил в колокольчик, пытаясь успокоить женщин сначала по-хорошему, потом со всей строгостью, а когда он увидел, что это не помогает, что невозможно заставить женщин замолчать, он их, извините, выставил наружу, чтобы стало немного тише и можно было хоть что-нибудь разобрать. А мужчинам он посоветовал обратиться к раввину.

— До рабина! — сказал он им. — До рабина с вашим гоменташем.

И вся толпа отправилась к раввину.

7

Раввин реб Ийзефл, который уже знаком нашим читателям, может, слава богу, все перенести. Реб Ийзефл каждого любит выслушать до конца. Он придерживается того мнения, что всякий человек, сколько бы он ни говорил, должен когда-нибудь замолчать. Ведь человек, по словам реб Ийзефла, не машина. Но беда была в том, что все четверо говорили одновременно, перекрикивая друг друга, да и со стороны люди вмешивались. Однако и здесь реб Ийзефл не отчаивался. Все на свете имеет свой конец...

Когда все вдоволь наговорились, накричались, переругались и стало наконец тихо, реб Ийзефл обратился к обеим сторонам, по своему обыкновению тихо, ласково, со вздохом:

— Ох-ох-ох! Приближается такой праздник, такой святой праздник — пасха! Шутка ли сказать — пасха! Наши предки вышли из Египта, перешли море, такое море! Блуждали в пустыне сорок лет, сорок лет! Получили на горе Синайской тору, такую тору! И в торе так хорошо сказано: «Люби ближнего, как самого себя». А тут, ох-ох-ох, грехи наши тяжкие, а тут люди ссорятся, вцепляются друг другу в бороды... Из-за глупостей, из-за чепухи... Поношение бога перед иноверцами, стыд и позор! Лучше бы помнили про моэс-хитым *. У бедняков еще нет мацы на пасху, что уж говорить о яйцах и гусином сале! Хотя бы мацы, мацы на пасху! Шутка ли сказать — пасха! Такой праздник! Наши предки вышли из Египта, перешли море, такое море! Блуждали в пустыне сорок лет, сорок лет! Получили на горе Синайской тору, такую тору! Слушайте меня, люди, простите друг друга, помиритесь, идите домой в добром здравии и помните лучше о том, что приближается такой праздник, такой большой, такой святой праздник!..

Украдкой, по одному, начали выходить люди из дома раввина, посмеиваясь, как это свойственно касриловским шутникам, над приговором реб Ийзефла: «Пусть, не приговор, зато разговор». Однако в душе

каждый понимал, что реб Иойзефл прав, и вспоминать историю с гостинцами стыдился...

В первый день пасхи, — утром после молитвы реб Иося-ягненок — он был моложе — посетил реб Айзика-балбрисника, похвалил пасхальное вино, сказал, что в этом году оно удалось на редкость, и облизывал пальцы после пасхальных пончиков Златы; а на второй день пасхи, утром, реб Айзик-балбрисник — он старше — посетил реб Иосю-ягненка и не мог нахвалиться пасхальным вином из изюма и пасхальными пончиками Зелды. А днем, после обеда, когда Зелда и Злата разговорились о гостинцах, правда всплыла, как масло на воде, и обеим прислугам — Нехаме черной и Нехаме рыжей — сразу после пасхи указали на дверь, как и следовало ожидать.

БУДЬ Я РОТШИЛЬД...

(Монолог касриловского меламеда)

— Будь я Ротшильд... — размечтался касриловский меламед однажды в четверг, когда жена потребовала денег, чтоб справить субботу, а у него их не оказалось. — Эх, если бы я был Ротшильдом! Угадайте, что бы я сделал? Первым долгом я завел бы обычай, чтоб жена всегда имела при себе трешницу и не морочила голову каждый раз, когда наступает долгожданный четверг, а субботу отпраздновать не на что... Во-вторых, я выкупил бы заложенный субботний кафтан... Впрочем, нет! Женин кошачий бурнус: пускай перестанет твердить, что ей холодно! Затем я приобретаю весь этот дом, со всеми тремя комнатами, с клетушкой, чуланом, погребом, чердаком, со всей прочей дребеденью: пусть она не говорит, что ей тесно. Вот тебе две комнаты — стряпай себе, пеки, шинкуй, стирай, делай что хочешь, а меня оставь в покое, чтобы я мог заниматься с моими учениками на свежую голову! Нет заботы о заработке, не надо думать, откуда взять на субботу, — благодать, да и только! Дочерей бы всех повыдавал, — долой обузу с плеч. Чего мне еще надо? Вот я и начинаю подумывать о городских делах.

Перво-наперво жертвую старой синагоге новую крышу, пусть не каплет на голову, когда люди

молятся. Баню, не будь рядом помянута, я перестраиваю заново, потому что не сегодня-завтра там неминуемо, упаси бог, беда приключится, да еще, чего доброго, как раз когда женщины моются. А коль скоро баню, то уж богадельню и подавно развалить надо и поставить на ее месте больницу, самую что называется настоящую — с койками, доктором, лекарствами, с бульоном для больных каждый день, — как водится в порядочных городах. Затем я строю приют для престарелых, чтобы старики, знатоки талмуда, не валялись в молельне за печью. Создаю общество «Одежду — нагим», чтобы дети бедняков не бегали, извините за выражение, с голыми пупками, и благотворительное ссудное товарищество. Чтобы человек, будь он меламед, или ремесленник, или даже торговец, не должен был платить процентов, не должен был закладывать последнюю рубаху; учреждаю общество «Призрения невест», дабы любую беднячку, засидевшуюся в девушках, приодели как следует и выдали замуж, и еще тому подобные общества завожу я у нас в Касриловке... Впрочем, почему только в Касриловке? Всюду, где живут наши братья евреи, основываю я такие общества, везде, по всему свету!

А для порядка, чтобы все шло чин-чином, я знаете что делаю? Назначаю надо всеми обществами одно большое благотворительное общество, которое наблюдает за всеми остальными, заботится обо всех евреях, то есть обо всем народе, чтобы люди везде имели заработок, жили в дружбе, сидели бы по ешиботам и изучали библию с толкованиями Раши *, талмуд с комментариями, с добавлениями и всякой прочей премудростью, все семь наук и все семьдесят языков *. А надо всеми ешиботами был бы главный ешибот — еврейская академия, в Вильне разумеется... Отсюда должны выходить величайшие в мире ученые и мудрецы — и все это бесплатно, «за счет богача», на мои средства то есть, и чтобы все велось по плану, по порядку, чтобы не было никакого «ты-мне-я-тебе-хап-лап», пусть у всех будет только одна забота — общее благо!.. А что нужно для того, чтобы люди

думали об общем благе? Для этого надо обеспечить каждого в отдельности. А чем обеспечить? Разумеется, заработком. Потому что заработок — это, знаете ли, самое главное! Без заработка не может быть и дружбы. Из-за куска хлеба, прости господи, люди готовы друг друга извести, зарезать, отравить, повесить!.. Даже враги наши, зложелатели на всем свете, — чего, думаете, они от нас хотят? Ничего. Все из-за заработка. Будь у них дела получше, они бы вовсе не свирепствовали так. Погоня за достатком приводит к зависти, зависть — к вражде, а отсюда берутся, оборони боже, все несчастья, все горести, преследования, убийства, зверства, войны...

Ох, войны, войны! Это, скажу я вам, зарез для всего мира! Будь я Ротшильд, я бы раз и навсегда положил конец войнам!

Вы, пожалуй, спросите, каким образом? Только при помощи денег. А именно? Сейчас объясню толком.

Два государства, к примеру, спорят из-за пустяков, из-за клочка земли, который и понюшки табаку не стоит. У них это называется «территорией». Одно государство говорит, что территория принадлежит ему, а второе заявляет: «Нет, это моя территория!» С самого, что называется, сотворения мира господь бог создал эту землю для его милости. Но тут приходит третье государство и говорит: «Оба вы ослы! Эта территория принадлежит всем, она, так сказать, «общее достояние»... Словом, территория сюда, территория туда — «территорят» до тех пор, пока не начнут палить из ружей и пушек, люди режут друг друга, как ягнят, кровь льется, как вода!

Но представьте себе, что я в самом начале являюсь к ним и говорю: «Тише, братцы, дозвольте слово сказать. Из-за чего у вас, собственно, спор? Думаете, мы не понимаем, чего вы хотите? Ведь вам не тарыбары, — вам галушки подавай! Территория — это ведь только предлог! А главное для вас — то самое, «пети-мети», контрибуция!» А коль скоро речь зашла о контрибуции, к кому же обратиться за займом? Ко мне, к Ротшильду то есть. А я им: «Знаете

что? Вот тебе, долговязый англичанин в клетчатых штанах, миллиард! Вот тебе, глупый турок в красной феске, миллиард! А вот и тебе, тетя Рейзя *, миллиард! В чем дело? Господь поможет, уплатите мне с процентами, не с большими, упаси бог, — скажем, четыре-пять годовых, — не собираюсь я на вас наживаться...»

Понятно вам? И я дело сделал, и люди перестают резать друг друга, точно скот, ни за что ни про что. А если войнам конец, тогда к чему оружие, войско, вся эта канитель, весь этот тарарам? Ни к чему! А если нет оружия, нет войска, нет тарарама, — так ведь нет больше и вражды, нет зависти, нет больше ни турка, ни англичанина, ни француза, ни цыгана, ни еврея, скажем — весь мир обретает совсем другое обличье, как в писании сказано: «И будет в тот день», то есть в день пришествия мессии!..

А? А может быть... Будь я Ротшильд, я, может быть, вообще отменил бы деньги! Никаких денег! Потому что, давайте не будем обманывать себя: что такое деньги? Ведь это же, собственно, дело сговора, самообман... Взяли кусок бумаги, нарисовали на нем картинку и написали: «Три рубля серебром». Деньги, говорю я вам, это только соблазн, страсть, одна из самых пагубных страстей... *Все за ними гонятся, и никто их не имеет.* Но если бы денег вообще на свете не было, так ведь и дьяволу-искусителю нечего стало делать, да и от самой страсти ничего бы не осталось! Понимаете или не понимаете?

Правда, возникает вопрос, откуда люди брали бы деньги, чтобы справить субботу? Но позвольте, а откуда мне сейчас взять на субботу?

МОЛОЧНАЯ ПИЩА

(Монолог касриловского чревоугодника)

Тот, кто завел обычай в праздник пятидесятницы * по утрам употреблять молочную пищу, тот, поверьте, был мудрецом. Нет лучше, нет вкусней, нет свежее и дешевле молочной еды! Правда, она тоже обходится в копеечку, все же с мясом ее не сравнить, причем мясо вам дает всего лишь мясо да кости, а в молоке — и молоко, и творог, и масло, и сметана, и сливки, и простокваша, и сыворотка! А сколько всякой всячины можно соорудить из молочных продуктов! Из мяса вы можете приготовить только бульон, гуляш, кисло-сладкое и жаркое — вот и все. А имея молоко, можно состряпать и молочную кашу, и молочную лапшу, и рис в молоке, и молочные вареники, и молочные калабушки, и молочную вермишель, не говоря уж о самом молоке. Не счесть всего, что можно сделать из творога и масла! Судите сами: тут и пельмени, и вареники, и оладушки, и пирог, и творожники, и запеканка, и налистнички, и галушки, и блинчики, и сырники, и плюшки, и блины, и ушки... Да сверх того еще такое множество всяких блюд, что всего и не вспомнишь, к примеру: ватрушки с творогом, масленая каша, рыба на масле, молочный борщ, ряженка, сливки — от такого вкусного стола никто не откажется, разве самый что ни на есть последний глупец, которого впору кормить соломой.

Меня, например, разбуди среди ночи и угости чем-

нибудь молочным, спасибо, не откажусь, съем с превеликим удовольствием, если только, конечно, я незадолго до того не поел мясного *. Не стану отпираться! Я большой любитель молочной кухни. Впрочем, не столько я, сколько жена. Вся Касриловка называет нас «обжорами», несмотря на то, что на столе у нас то же, что у всех, то есть кукиш с маслом!

Откуда же, спрашивается, взялось оно, это прозвище «обжоры»? Ума не приложу! Может, оно пристало к нам потому, что мы способны без конца говорить о еде. Меня, например, хлебом не корми, а дай побродить по рынку, постоять в рыбном ряду. Рыба — это моя страсть! За кусок рыбы я готов отдать все на свете. А может, наше прозвище пошло оттого, что мы употребляем массу хлеба. Я, например, на субботу трачу уйму муки, потому что у меня, не сглазить бы, есть кому поработать зубами, едоков хватает. У меня, дай им бог здоровья и счастья, без малого дюжина, причем на аппетит никто, слава богу, не жалуется, ни с раввином, ни с врачом, слава богу, насчет аппетита советоваться не приходится. Вся заковыка в том, *чем* питаться. Потому что я, не про вас будь сказано, отнюдь не являюсь крупным богачом, то есть, конечно, я, упаси бог, не нищий, нет, но и в богачи не вышел. Я всего-навсего лавочник, всего-навсего. Лавчонка у меня, доложу я вам, такая, что хуже некуда. Одно звание, что лавка! И держу я ее, лавчонку эту, только ради своего родича. Есть у меня, надо вам сказать, такое «сокровище» в виде богатого родственника с «ее» стороны... «Его» отец доводится «ее» бабушке двоюродным братом. Оно хоть и отдаленное, но все ж родство. Он сам ямпольский, то есть живет в Ямполе, и слывет за богача, вернее, когда-то считался тузом, из самых крупных, а сейчас малость того, как говорится, съехал... Впрочем, одно к другому не относится, не худо бы мне иметь то, что он потерял. Одних процентов он и сейчас еще выплачивает за год столько, что нам с вами вполне хватило бы.

Обычно мы навещаем его по очереди, то я, то жена, в грустные дни, когда мы поминаем усопших. При этом она, как водится, ударяется в слезы, а ему

это не по нраву. Он ворчит, но податься ему некуда. Ведь он вынужден, он обязан помочь нам либо деньгами, либо товаром, либо векселем. Иного выхода у него нет. «Ее» рыдания выдержать никто не в силах. «На, возьми свою долю, мол, только не реви!» Они боятся ее как огня. Они пускаются на всякие хитрости. То их дома нет, то они выбыли из Ямполя, то они по горло заняты. Пустое дело! Все это зря! Подай нам «наше» — и кончен бал! О чем толковать! Конечно, не очень-то мило кланяться чужому дяденьке, да что поделаешь! Как говорится, пока душа в теле, и кормить ее надо.

Но хватит о еде! Не хлебом единым жив человек. Человек не животное. Животное это животное, а человек это человек. Но и человеку без пропитания не прожить. Вот и выходит, что ежели у вас жена, а к ней еще девять душ, то клади на стол булку либо ковригу посолидней. А миска с картофелем, будь она хоть с саженным верхом, за каких-нибудь пятнадцать минут исчезает вся, без остатка, будто никогда ни одной картошины и в помине не было. И все же приятно, знаете ли, видеть, как мои орудуют за столом! Люблю наблюдать за их едой, прямо душа радуется. Особенно в пятницу, когда из печи выезжают ароматные халы и я собираю всю свою ватагу и говорю: «Ребята, выручай!» Любо поглядеть, до чего они здорово выручают. А сколько радости, если бог даст к свеженькой хале еще и горячего жаркого с чесночком да с подливочкой. Пускай подливки много, а мяса кот наплакал, пускай хоть одна подливка без мяса, и то хорошо, макай сколько угодно! Оно и понятно, ведь частенько на столе и этого нет. Как тогда быть? Хочешь не хочешь, а угощайся халой с хлебом, виноват, я хотел сказать, хлебом с халой. Пожевал хлеба, закусил халой, и будь здоров, отличная пища для пустого желудка. Возьмем для примера лимонад. Вам не приходилось пробовать лимонад с хлебом? Нет? А вы попробуйте, возьмите да попробуйте, только сначала как следует поморите себя голодом, чтобы засосало под ложечкой, чтобы с голодухи дрожали руки и сводило все жилочки на ногах, вот тогда-то

вы почувствуете воистину райский вкус. Обычно лимонад щиплет язык, но на пустой желудок, да еще с хлебом, он вам покажется вкуснее вкусного.

Вы, я вижу, удивляетесь тому, что я так силен в кулинарном деле. Ведь я вам уже говорил, что в Касриловке меня считают чревоугодником, потому что, видите ли, я стою на том, что человек живет единожды, а не дважды, и ежели ты всю неделю ел кукиш с маслом, а в субботу шиш с маслом, то надо хоть в праздник немного себя побаловать. Как, по-вашему, разве не так? И в праздник пятидесятницы я знаю одно: пускай дома ни копейки, пускай весь мир перевернется вверх тормашками — все равно, к столу должен быть подан молочный завтрак и — никаких! Первым долгом — цикорий с молоком, это уж как закон, потому что в праздники — как говорит жена — «ее» душа жаждет чашечки цикория. Эта чашечка цикория, говорит «она», дороже ей всего молочного завтрака. Вам, конечно, вполне ясно и понятно, что так только говорится. После чашечки цикория тебе непременно захочется еще чего-нибудь, например борща. До чего хорош овощной, красный, праздничный борщ с лучком, с молодой свеклой, со сметанкой! Послушайте, дайте мне одну тарелку такого борща, и я пошлю к черту все блюда на свете! Что останется от пасхи, от пятидесятницы, от всего еврейского духа, если нас, простых людей, лишить, не дай бог, этого борща. Вся суть в том, что к пасхальному борщу обязательно полагается либо мясцо, либо косточка, либо ложка жиру, а красный борщок сойдет и так. Нашлась капля молока для заправки — ладно! А не нашлась — не беда, спасибо за то, что он хоть готовился в кастрюле из-под молока. Моей ватаге только дай волю, начни ее поить одним молоком, тут не то что козы — трех коз не хватит. А я между прочим являюсь владельцем всего лишь половины козы, то есть у нас с соседом одна, так сказать, общая коза. Горе, а не коза, одни убытки из-за нее, одни переживания и неприятности. Недавно она, поразмыслив, решила, коза эта, больше не доиться, то есть доить-то ее можно, но молока она не дает ни капли. Поди попробуй, выжми из

такой скотины ватрушки да вареники! «Ох! Ватрушки, — сказал я жене. — За ватрушки и вареники я все что угодно отдал бы... Не позаботишься ли ты, Сore-Зися, — сказал я, — чтобы к празднику были, так сказать, вареники?» А она в ответ: «Откуда им взяться?» А я говорю: «Это уж тебе виднее, ведь ты у меня хозяюшка». Она отвечает: «Разве ты не знаешь, что без яиц вареников не сделать». А я говорю: «Как не знать? Конечно, знаю. Не хитро, говорю, сделать вареники, если есть яйца, а ты изловчись, без них сделай». Она говорит: «Эх ты, умная голова! А как быть с творогом?» А я говорю: «С творогом как раз не плохо, а вот без творогу худо». Она говорит: «Чего же ты хочешь?» А я говорю: «Напекла бы ты хоть блинчиков». А она в ответ: «Под блинчики надо масло». Я говорю: «Где это написано, какими вилами и по какой воде?» Она говорит: «Тебе лучше знать, где написано, ведь ты учился в хедере». Я говорю: «Знаешь что, женушка, послушай, пускай нет у нас с тобой ни яиц, ни творожку, ни маслица, давай просто потолкуем о молочной еде. Что бы ты, скажем, приготовила к праздничному столу, будь у тебя всего вдоволь?» Она говорит: «Да ты, я вижу, весь ушел в жратву. Сроду, говорит, такого обжору не встречала». Я говорю: «Ничего с тобой не станется, если мы малость поболтаем. Денег это не стоит. Считай, будто у тебя есть все — и творог, и масло, и яйца. Какой же праздничный обед ты приготовила бы мне?» Она говорит: «А чего бы тебе хотелось?» Я говорю: «Бабку». Она говорит: «Бабка требует уйму масла». Я говорю: «Ну, тогда сделай молочную запеканку». А она говорит: «Почему вдруг запеканку?» А я говорю: «Не хочешь запеканки, сделай пирожки». Она говорит: «С чем пирожки, с кашей?» А я говорю: «При чем тут каша, с кашей это уже получаются кашники». Она говорит: «Это только твоей дурной мужской башке так кажется». А я говорю: «Конечно, ты больше моего понимаешь, не стану спорить. Забыл, говорю, заказать жареную рыбу в масле. Как ты считаешь?» Она говорит: «Все ему подай! Не угодно ли корюшки?» А я говорю: «Можно и карпа, можно и линя. Если попа-

дутся щучки, говорю, тоже не откажусь, и даже если будет всего-навсего плотичка, тоже дело до развода не дойдет. Главное, говорю, чтобы было хорошо прожарено». А она говорит: «Ненасытная твоя утроба. Ты еще, чего доброго, откажешься и от омлета с картошкой». А я говорю: «Ах, с величайшим удовольствием. Главное — чтобы после этого были хорошие налистнички». Она говорит: «Бездонная бочка! Как насчет блинов?» А я говорю: «Нет, мне подай налистнички. Блины блинами, а налистнички налистничками. Налистнички, говорю, по вкусу напоминают клецки. Ты бы сделала, говорю я, хотя бы горе-клецки. А не то сделай ленивые клецки на молоке». Она говорит: «Все тебе мало! Не хочешь ли молочного кулеша?» А я говорю: «Смотря какой кулеш будет — с галушками или с калабушками?» Она говорит: «Ну их, калабушки, это еда для бедняков». А я говорю: «Видно, ты-то чересчур богатая». Она говорит: «Я сама хоть не богата, зато у меня родня богатая». А я говорю: «Много ты имеешь от своей родни!» Она говорит: «Больше, чем ты от своей».

Слово за слово, и пошло-поехало: «Моя родня, твоя родня», — как это обычно случается между мужем и женой. Мы, правда, вскорости помирились. Ведь праздник на белом свете, да еще какой! Пятидесятница — всем праздникам праздник! Только в пятидесятницу бывает так сладостно, так приятно, когда после бессонной ночи, после бесконечных молитв, после чтения всех шестисот тринадцати канонов, после того, как ты чуть не вызубрил всю тору, ты отправляешься на рассвете в синагогу и там слушаешь не наслушаешься на пустой желудок божественных песнопений о священной рыбе Левиафане, о быке-великане и о других вкуснейших яствах, которые сам великий бог Саваоф приготовил для людишек в раю, где текут молочные реки и где в закупоренных бутылках ждет нас не дождется старое, выдержанное вино. Да что толковать! Другие народы с нашим и не сравнить! Вкусней еврейской кухни нет ничего! Одна беда — жалко, что пятидесятница бывает всего лишь раз в году!.. Нет ли у вас папироски?

ЛЕГКИЙ ПОСТ

*(Картинка к Девятому Аба *)*

То, чего не смог добиться знаменитый доктор Танер, удалось Хаиму Хайкину, бедному маленькому человеку из маленькой бедной Касриловки.

Доктор Танер хотел доказать, что человек может поститься сорок дней, но промучился всего дней двадцать восемь, не больше, и чуть не умер. Да и то ему давали ложечками воду, заставляли глотать кусочки льда, щупали пульс... Шум, гам, тарарам!

Хаим Хайкин доказал, что поститься можно гораздо больше сорока дней, не подряд, конечно, не день за днем, но за целый год наберется дней сто, если не больше.

Но — поститься!

Какие там капли воды? При чем тут куски льда? Поститься — значит не есть, не пить сутки, полных двадцать четыре часа.

И никакие врачи рядом не сидят и пульса не щупают. Тихо, спокойно!

В чем дело?

Хаим Хайкин — бедняк, обремененный семьей, его кормят дети.

Большинство его детей — девочки, они на фабрике, делают гильзы и зарабатывают, кто пятиалтынный в день, а кто и половину того. Да и то не каждый день, —

надо исключить субботы и праздники... А дни забастовок? Слава тебе господи, везде, даже здесь, в Касриловке, уже знают, что такое забастовка!

И вот из этих заработков надо платить за квартиру — сырой угол в подвале.

Из этих заработков надо всех как-нибудь одевать и обувать! Платья есть у всех, а ботинки — одна пара на двоих.

Из этих заработков надо кормиться, прости господи! Едят хворобу: кусок хлеба, натертый чесноком, иной раз крупеник, а то — кусок тарани, после которого никак не отделаешься от изжоги: всю ночь пить хочется.

Как сядут за стол, надо каждому дать его долю хлеба, делить его, как пряник.

— Ох, эта еда! Ох, уж эта мне еда!

Так говорит Хайка, жена Хаима Хайкина, больная женщина, которая кашляет, бедняга, ночи напролет.

— Не сглазить бы! — говорит отец, Хаим Хайкин, и смотрит, как дети глотают целыми кусками хлеб. Он и сам бы не прочь закусить, но, если он возьмет себе, — обе малышки, Фрейдка и Бейлка, останутся без ужина.

И он разрезает свою долю надвое и отдает малышкам — Фрейдке и Бейлке.

— Фрейдка! Бейлка! Вот вам еще по куску хлеба, будет вам на ужин.

Фрейдка и Бейлка протягивают тощие черные ручонки, заглядывают отцу в глаза, не верят: а вдруг он шутит?.. Дети-лакомки играют с отцовской долей хлеба до тех пор, пока не начнут откусывать по кусочку. Мать это видит и принимается кричать и кашлять:

— Только и делают, что едят!

Отец не может этого слышать, хочет ей ответить, но молчит. Не может он говорить и не имеет права. Кто он здесь? Битый черепок. Он здесь последний из последних, лишний, всем лишний, и им и себе самому.

И в самом деле — делать он ничего не делает, абсолютно ничего. Не потому, что не хочет или не

пристало ему, а потому, что делать нечего! Нечего — и все тут! Все местечко жалуется, что людям делать нечего! Согнали, не сглазить бы, столько евреев... Радость, ну и ну!

«Но и то благо! — думает Хаим Хайкин. — Хорошо, что у меня есть дети. У других и того нет. Но рассчитывать на детей...»

Эх, знаете, нехорошо, когда приходится рассчитывать на детей. Не потому, что они не захотят помочь отцу, упаси бог! Но он сам не может, не может!

Он знает, как дети устают за день. Он знает, что из них выжимают пот до последней капли. Он знает!

Каждый кусок хлеба для него — капля их крови. Он пьет кровь своих детей. Вы слышите? Он, Хаим Хайкин, пьет их кровь! Он не может!

— Папа, почему ты не ешь? — спрашивают дети.

— У меня сегодня... пост, — отвечает Хаим Хайкин.

— Опять пост? Сколько же у тебя постов?

— Меньше, чем дней в неделе.

И Хаим Хайкин не лжет. Постится он часто. Конечно, бывают дни, когда он ест. Но день, когда он постится, для него самый лучший.

«Во-первых, это богоугодное дело. Лишняя доля царства небесного, проценты нарастают, увеличивается капитал...

Во-вторых, на меня не тратится ни копейки. Я ни перед кем не должен отчитываться. Правда, никто с меня и не спросит. Но на что это мне, когда я могу обойтись и так.

А чего стоит то, что я чувствую себя чуточку выше животного? Животное ест каждый день, а я могу и через день. Человек должен стоять выше животного.

Ах, если бы человек мог дойти до того, чтобы обходиться без еды!.. Да вот утроба, черт бы ее взял! — говорит Хаим Хайкин самому себе, и от голода начинает размышлять, пускается в философию. — Из-за утробы, из-за страсти чревоугодия возникают на свете все беды и горести. Из-за утробы, из-за страсти чревоугодия я нищий, а дети мои вынуждены трудиться до кровавого пота, рисковать жизнью ради куска хлеба».

«Что было бы, если б человку не надо было кушать? Ай-яй-яй! Мои дети были бы тогда все дома! Не надо трудиться! Не надо обливаться потом! Ни к чему бастовать! Не надо рисковать! Нет больше фабрик! Нет больше фабрикантов! Нет богачей! Нет нищих! Нет вражды! Нет, нет, нет! Рай! Рай земной!»

Так думает Хаим Хайкин, углубляется в размышления, проникаясь жалостью ко всему миру. Ему обидно, очень обидно, что человек так недалеко ушел от животного...

День, когда Хаим Хайкин постится, говорю я вам, лучший для него день, а день настоящего поста, например, Девятое Аба (ему стыдно признаться) — для него праздник!

Понимаете? И не ел, и не животное, и не питался кровью детей, и богоугодное дело сделал, и хорошенько поплакал по случаю разрушения храма.

Ибо как можно плакать, когда человек сыт? Как может сытый чувствовать горе? Чтобы чувствовать горе, сердце должно замирать.

— Бог их знает! Угождают утробе, боятся поститься, преподносят богу грошовую взятку.

Так говорил Хаим Хайкин и злился на тех, кто откупается от поста, жертвуя медяк на благотворительные дела.

Люди утверждают, что наиболее трудный пост это — Девятое Аба.

Хаим Хайкин не понимает почему? День велик? Зато ночь короче. Жарко на дворе? А кто вам велит болтаться на солнцепеке? Можно сидеть в синагоге и читать молитвы. Есть, слава богу, что читать.

— А я вам говорю, — толковал Хаим Хайкин, — что Девятое Аба — самый легкий из всех постов, потому что он самый лучший. Самый лучший пост!

Например: пост в Иом-кипур *. Сказано «Истязайте плоть свою!» Ради чего? Ради того, чтобы вымолить себе благополучный год.

О Девятом Аба нигде не сказано, что в этот день надо поститься, но вы поститесь сами, потому что не

можете есть в день, когда был разрушен храм Соломона, когда мужчин убивали, женщин резали, детей умерщвляли.

Нигде не сказано, что в день Девятого Аба надо плакать, но слезы сами текут, невозможно сдержать их, когда вспоминаешь, что́ мы в тот день потеряли!

— Жаль, что в году один только день Девятого Аба, — говорит Хаим Хайкин. — Жаль, что один Иомкипур...

— Ну, а семнадцатый день Тамуза? * — спрашивает кто-то со стороны.

— Один только «семнадцатый день», — отвечает, вздыхая, Хаим Хайкин.

— А пост Гедальи? * А пост Эсфири? * — спрашивает все тот же.

— Так ведь только один пост Гедальи! Один только пост Эсфири! — отвечает Хаим Хайкин, продолжая вздыхать.

— Эге, реб Хаим! Да вы прямо-таки жадный до постов!

— Мало, мало постов! — говорит Хаим Хайкин и дает обет отныне и впредь поститься и в канун Девятого Аба два дня подряд.

Хорошо поститься два дня кряду!

Трудно только с жаждой! То есть трудно потому, что пить нельзя! Хаим Хайкин берется с одним стаканом воды в день поститься целую неделю — от субботы до субботы.

Думаете, это только слова? Глупости! Хаим Хайкин — человек, у которого сказано — сделано.

Всю неделю до Девятого Аба он не ел, жил только стаканом воды.

Кто обращал на него внимание? Жена больна, старшие дети на фабрике, а меньшие еще ничего не понимают. Фрейдка и Бейлка знают только, что они голодны, а голодны они всегда, всегда сосет у них под ложечкой и хочется кушать.

— Сегодня вы получите еще по куску хлеба! — говорит отец, разрезая на две части свою порцию, а Фрейдка и Бейлка протягивают ручонки и радуются.

— Папа, ты не ешь? — говорят ему старшие вечером за ужином. — Сегодня ведь никакого поста нет.

— А я и не пощусь! — говорит отец и думает: «И обманул, и не соврал. Ибо что такое глоток воды? Вода это — и не ел, но и не постился».

А в канун Девятого Аба Хаим чувствовал себя хорошо и легко, как никогда. Ему не только не нужно было заговляться, не только не хотелось ничего в рот взять, — наоборот, он чувствовал, что, если возьмет что-нибудь, у него кусок в горле застрянет. Ну, не пойдет!

Конечно, сердце замирает, руки и ноги дрожат, тянет, тянет к земле, силы кончаются, и тошнит, и дурно делается до обморока! Но — нет! Как так? Всю неделю постился, а перед самым постом не выдержал?!

И Хаим Хайкин берет свою порцию хлеба и картошки, подзывает маленьких Фрейдку и Бейлку и говорит тихонько:

— Детки! Нате, ешьте, чтоб мама не видела.

И Фрейдка с Бейлкой забирают папин хлеб и картошку, смотрят на его мертвенно-бледное лицо, на его дрожащие, трясущиеся руки.

А Хаим смотрит, как дети хватают, едят, глотают... Он сам глотает слюну, закрывает глаза, потом поднимается с места и, не дождавшись детей, работающих на фабрике, забирает молитвенник, снимает обувь и уходит в синагогу, еле волоча ноги.

В синагоге он чуть ли не первый. Захватив место возле кантора, на скамье, опрокинутой ногами кверху, он добывает себе огарок, приклеивает его к ножке скамьи, а сам прислоняется к стенке амвона и раскрывает молитвенник: «Плачь, Сион, со всеми своими городами»... Он закрывает глаза и видит Сион в образе женщины, одетой во все черное, с черной вуалью на лице... Она плачет, рыдает, ломает руки,

оплакивает детей своих, гибнущих ежедневно в чужих землях, за чужие грехи...

Он открывает глаза и больше не видит прекрасной женщины...

Сквозь грязные стекла запыленного окна проникает острый луч солнца, садящегося по ту сторону местечка. Хаим закрывает глаза, но луч он все-таки видит, и не только луч, но и все солнце, прекрасное яркое солнце, никому не видимое, кроме него одного! Хаим Хайкин смотрит на него, видит его и — ничего! Почему? Видно, потому что он уже вне этого мира и его страстей... Ему хорошо... Легко... Он уже все может перенести... У него будет легкий пост... Знаете, у него сегодня будет легкий, легкий пост!

Хаим прикрывает глаза и видит перед собою какой-то странный мир, которого он никогда раньше не видел. Ангелы витают перед глазами, он смотрит на них и узнает в них своих детей, всех — и взрослых и малых. Он хочет им что-то сказать, но не может... Хочет оправдаться, объяснить, что он не виноват... Виноват не он!.. Чем же он, Хаим, виноват, если столько евреев собралось на одном небольшом месте и они давят, жмут и поедом едят друг друга? Чем он виноват, если людям нужен чужой пот, если людям нужна человеческая кровь? Виноват ли он в том, что люди еще не дошли до того, чтобы человек человека не гонял, как гонят лошадь на работу? Да ведь лошадь тоже жалко — божье создание, живое существо!..

Хаим Хайкин не открывает глаз и видит, видит все, весь мир, все миры, и все так ярко и легко и катится, как дым... Он чувствует, как что-то отделяется от тела, от нутра, от сердца и тянется, тянется кверху и уходит, а ему так легко, так легко... Он испускает глубокий вздох и долгий-долгий стон. И становится еще легче. А потом он не чувствует ничего, совсем ничего...

Когда служка Бере, рыжеволосый человечек с припухшей губой, пришел в синагогу в чулках с дырявыми пятками и увидал, как Хаим Хайкин сидит,

прислонившись к стенке, задрав голову, с закрытыми глазами, его взяла досада. Он решил, что тот дремлет, и начал ворчать, сердиться и ругаться:

— Нахальство... Разлегся... Граф Пшангуцкий и тот не должен бы так развалиться... Видно, здорово закусил... А сюда пришел спать... Реб Хаим, будьте добры! Эй, реб Хаим!.. Реб Хаим!..

Последние лучи солнца проникли сквозь окна и упали на спокойное лицо Хаима Хайкина, блестящие черные, курчавые волосы, черные густые брови, полуоткрытые добрые черные голодные глаза и насквозь пронизали светом его мертвое, бледное, всегда голодное лицо.

Да, у Хаима Хайкина был легкий-легкий пост.

КАСРИЛОВСКИЕ ПОГОРЕЛЬЦЫ

(Рассказ о маленьких людях)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Избранники

Огромный, прекрасный древний русский город Егупец *, тысячу лет тому назад, еще в дни Владимира Святого, раскинувшийся по склонам и холмам вдоль и вширь на берегу старого, седого Днепра, давно уже не видал таких евреев, каких увидел однажды утром в конце лета. Нельзя сказать, чтобы в этом нееврейском городе не было, упаси бог, ни одного еврея! Наоборот, известно, что издавна город этот только и делает, что возится с евреями, как если бы ему только и недоставало, что евреев да еще головной боли. Когда бы вы туда ни приехали или когда бы ни раскрыли газету, первое, что попадается вам на глаза, — это «еврей». Столько-то и столько-то евреев подало бумаги в университет — и не было принято. Столько-то и столько-то евреев попалось во время облавы * — и было забрано. Наоборот, — чтобы евреев в университет приняли, а попавшихся в облаве не взяли, — быть не может, как не может быть, чтобы вы, будучи голодны, по ошибке угодили куском не к себе в рот, а кому-нибудь другому.

Что же это за люди, о которых мы начали свой рассказ? Это были касриловские жители, и не просто касриловские жители, а избранные, отобранные для чрезвычайно важного дела, для исключительно крупного благодеяния. То были, все как один, лучшие, почтеннейшие граждане, самые сливки Касриловки. Я назвал бы их по именам, но это не обязательно. Касриловец, занятый богоугодным делом, не ищет мирских почестей и не привык, чтобы имя его было напечатано в газетах. С него достаточно той скромной доли уважения, которым он пользуется на месте, и он благодарит бога, если его не ругают свои...

Среди этих избранных был один старший, совсем старый человек, патриарх восьмидесяти с лишним лет. Он шел согнувшись, опираясь на старый посох, но держался еще, не сглазить бы, совсем неплохо. Одет он был по-субботнему: в шелковой шуршащей накидке без рукавов, надетой на старый, но атласный, посекшийся кафтан, в меховой шапке, в чулках и башмаках. Остальные были одеты не так празднично, — зато они были празднично настроены. Шли они быстро, немного напряженно, нервно, несли пузатые мешочки с молитвенными принадлежностями и зонтики, несуразно большие парасоли, которые один бог знает на что нужны, когда и дождя-то нет и солнце не печет?

Автор этого рассказа давно уже заметил, что есть люди, которые никак не могут расстаться с зонтом ни летом, ни зимой. Много я видел за свою жизнь таких людей, но ни разу еще не замечал, чтобы зонт у них был раскрыт над головой, как ему, собственно, и полагается. В большинстве случаев вы встречаете евреев, которые бегут согнувшись, ветер хлещет им прямо в лицо, распахивает полы кафтана и накидывает, извините, сзади прямо на голову; а он — зонт — тяп-тяп, пич-пач по лодыжкам... Однажды я поинтересовался, остановил такого человека, разглядел зонт и взял его в руки, — а он весит добрых несколько фунтов! Его почти невозможно раскрыть, а уж если он раскрылся, — можете с ним распро-

щаться: закрыть его вам не удастся. Распорки встают дыбом, головками кверху, и зонт превращается в парашют, который при хорошем ветре может, упаси бог, поднять и унести вас вместе с собой далеко вверх, под самые облака, почти как на аэроплане... Однако бросим зонты и вернемся к нашим людям.

Шли они стремительно, как если бы их гнали в шею или боялись они опоздать куда-нибудь на торжество, к трапезе или на собрание. И говорили они громко, во весь голос, все сразу, и, как водится, размахивали руками. Но изредка они останавливались, заложив руки за спину, осматривали высокие, красивые, богатые дома и не могли наглядеться.

— Нравится вам, к примеру, такой вот домишко? — спросил один, сдвинув шапку на затылок, тяжело дыша и отдуваясь, как загнанная лошадка. — А? Что скажете? Вот это домишко так домишко!

— Да-а, ничего себе домик! — ответил другой, едва дыша.

— Сколько, думаете, может стоить этакий домишко? — спросил тщедушный человечек с блестящими глазами и уперся обеими руками в бока.

— Этот домишко? — сказал еще один, широколобый, видимо, математик и знаток. — Я думаю, что такой домик вместе с участком должен стоить в этом городишке не меньше ста тысяч!

— Ха-ха-ха! — рассмеялся молодой человек с бледным лицом, на котором совсем недавно стала пробиваться борода. — Сто тысяч, говорите? Дай нам бог всем иметь столько, насколько больше...

— Дурак! — замечает тщедушный с блестящими глазами. — Уж если пожелать себе, то давайте пожелаем иметь столько, сколько долгу на этом домишке!..

И завязался разговор о домах, разговор длинный и бесцельный. Это — только предлог. Дело в том, что все уже порядком устали от подъема на гору и хотели остановиться и перевести дух.

— Тяжеленько вам, видать, ребе, идти в гору? Может, присели бы где-нибудь здесь отдохнуть малость?

Эти слова были обращены к старику, который, несмотря на свои восемьдесят лет, шел твердым шагом впереди. И все касриловские избранники остановились на минутку, подняли глаза и стали искать место, где старик мог бы присесть. Но не успели они оглядеться, как словно из-под земли вырос человек, вооруженный с ног до головы, с красным лицом, в белых перчатках, и — прямо на них!.. Избранники почувствовали, что у них застыла кровь в жилах, и глаза всех обратились к старику: что он скажет? Но старик не сказал ничего. Он только priналег на свой посох и все так же твердыми шагами шел вперед, как подлинный богатырь. Остальные двигались за ним, и вооруженный человек остался на месте, ошеломленный, не зная, что с ними делать. Задержать? Но он не знает за что? Кому они мешают? Пропустить? Но как же не узнать, что это за существа? Он повернул голову в обратную сторону и следил за ними, пока они не поднялись на самый верх. Там они остановились и позвонили в ворота богатого дома.

Теперь возникает вопрос: куда же, собственно, шли эти избранники Касриловки? К кому и для чего?

Они шли к богачам собирать пожертвования, просить хлеба, будить жалость к несчастному городу Касриловке. Беда случилась в Касриловке. Вы знаете меня не со вчерашнего дня. Знаете, что я не из тех, что приносят дурные вести. Но что делать? Пришло время, когда и вам надо узнать.

Касриловка погорела!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фишл неистовствует

Да, дорогие друзья, Касриловка погорела. Но, вы думаете, просто так погорела?

В это лето, грех жаловаться, погорело немало еврейских городов и местечек. Но пожар пожару рознь. Касриловке, видимо, хотелось отличиться перед всем миром, и она обратилась к другим еврейским городам: «Что? Вы горите? Ха-ха! Разрешите

мне, вот увидите, как горит город!» И Касриловка загорелась, как свеча... Однако нет! Мы предоставляем описание касриловского пожара нашему коллеге, корреспонденту Фишлу, — это его работа. На следующий день после большого пожара корреспондент Фишл, который и сам погорел, еле живой выскочил, раздобыл где-то чудом перо и чернила и разослал во все еврейские газеты корреспонденции следующего содержания, написанные прекрасным поэтическим языком и замечательным почерком:

«Глас доносится с неба! Дщерь Касриловка плачет о великом своем бедствии и не хочет утешиться! Крушение за крушением! На язве — язва! Не успела еще прийти в себя Касриловка от недавнего потрясения, как низверглось на нее новое бедствие. Она испила горькую чашу из рук божьих — огонь обрушился с неба и зажег город из конца в конец, языки пламени вылизали все до основания, не пощадив святые синагоги, а также младенцев, питающихся грудью, — и они были пламенем вознесены в чертоги небесные. И так же старики, убогие, больные и немощные стали пищей огня в тот день, когда бог воздал нам сторицею за грехи наши тяжкие и даже свою святую тору господь не пощадил, — она сгорела вместе со старой синагогой. Сейчас мы остались под покровом неба, одинокие, раздетые и разутые, голодные и жаждущие, и, словно индусы у истоков вод, мы взираем на милосердных братьев своих и на детей их. Мы просим вас! Сжальтесь! Смилуйтесь! Да будет разбужена жалость в добрых сердцах ваших и да протянутся к нам руки помощи как можно скорее, ибо оскудели мы зело! Будьте же нашим спасением и не дайте погибнуть оставшимся немногим нашим братьям!»

Казалось, какая беда приключилась бы, если б эта душераздирающая корреспонденция, в которой каждое слово — стон и каждая буква — слеза, была действительно напечатана в еврейской газете? Нет! Взяли труд Фишла, стали его сокращать и выжимать из него все соки. И где-то в уголке маленькими буквами тиснули едва две с половиной строчки:

«Погорела Касриловка. Не обошлось без человеческих жертв. Просят помощи».

Правда, газеты уверяют, что они не виноваты. Они, говорят, получают от этого Фишла из Касриловки корреспонденции чуть ли не каждый день. Если бы они захотели печатать все, что этот корреспондент присылает, им пришлось бы издавать для маленьких людей специальную газету и содержать особую типографию и штаты.

Диво, да и только! Как дойдет до дела, Касриловка всем поперек горла становится. Те же редакторы и издатели, когда собираются выпускать новые газеты и книги, не скупятся для Касриловки на многословные, шикарные проспекты, не стесняются называть маленьких людей «многоуважаемыми и горячо любимыми абонентами». Правда, большим количеством абонентов на газеты они похвастать не могут, — всего-то навсего на всю Касриловку у них один абонент — Зейдл, наш старый знакомый Зейдл, сын Шаи, у которого получает газету на прочтение наш корреспондент Фишл, а за ним и все остальные, жаждущие печатного слова. Но какое отношение это имеет к Фишлу? Почему все его письма и писания идут прямо под стол в корзину еще до того, как они прочтены? Почему накануне праздников, когда редактор выступает с красивыми и выспренними словами о народе израильском, он, разгорячившись, восклицает:

— «Кто считал песчинки Иакова?
Кому ведомо число воителей Израиля?»

Разве не имеет он в виду в том числе и маленьких людей? Или те нравоучители, что называют нас «эксплуататорами», «мироедами», «кровопийцами» и тому подобными позорными именами, — разве они не имеют в виду и касриловцев в том числе? Касриловка имеет все основания сказать о себе: «Как подыхать, так и я корова».

Не думайте, однако, что после пожара все удовольствовались одними корреспонденциями Фишла: были разосланы также и письма — весьма красноре-

чивые, тоже Фишловой работы, во все концы света, повсюду, где имеются именитые богачи: в Егупец, в Одессу, в Москву, в Лондон и даже в Париж, к самому трижды великому Ротшильду! Пусть вас не удивляет, что Касриловка добралась до Парижа, до Ротшильда! Представьте себе, что много лет кряду Касриловка перед пасхой получала на адрес реб Ийзефла сто франков на муку для бедных. Правда, с некоторого времени по неизвестной причине Ротшильд перестал присылать деньги, — тем не менее касриловцы пишут ему письма каждый раз, когда случается у них торжество или, упаси бог, несчастье. А почему он столько лет подряд не отвечает? Это не вопрос! Может быть, ему надоело читать длинные послания? Пряники, говорят, и те приедаются! А может быть, адрес написан не так, как следует? А может быть, у Ротшильда в Париже случилось то же, что у фараона египетского. Как в писании сказано: «И восстал царь новый» — объявился новый царь, «иже Иосифа не знал», — который притворился ничего не знающим... Я имею в виду секретаря Ротшильда, который получает почту и прочитывает все письма. Те, что нравятся секретарю, он хозяину показывает, а о тех, что ему не нравятся, он говорит: «Се моя жертва», — и марш под стол!.. Наверное не знаю, но думаю, что так оно и должно быть.

Словом, вы видите, что Касриловка, слава богу, город, связанный со всем миром и обменивающийся с ним корреспонденцией. И как только случилась большая беда, об этом был оповещен весь мир через корреспондента Фишла, и все ждали, авось кто-нибудь откликнется на великое бедствие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Касриловка горит, как свеча

С чего началось бедствие? С касриловской бани, которую мы уже в свое время описали. Однажды в четверг загорелся верхний полок. Огонь тут же охва-

тил крышу, и вскоре вся баня превратилась в сплошное пламя. А когда Адам и Ева — банщик и банщица — чуть живые выскочили, то первое, что пришло им в голову, было: «Ой, а где же ребе?» И в мгновение ока Адам первозданный (банщик) вернулся в баню и, как младенца из колыбели, вынес раввина реб Иойзефла на своих больших, крепких руках. А раввин реб Иойзефл, как малое дитя, заслонял глаза от зарева, освещавшего всю реку, и вербы, и болото, и все небо, к которому тянулся огонь. Клубился густой дым, пронизываемый большими и малыми искрами, и все обрело какой-то новый вид, все стало красиво, все окрасилось в красный цвет: река красная, небо красное, вербы красные, люди красные. Реб Иойзефл никогда еще такого освещения и такой красоты не видал и не мог не выразить своего восторга. И когда Адам поставил его на землю, он произнес про себя: «Как хорош и достоин удивления божий мир!» — но тут же спохватился и обратился к Адаму и Еве:

— Детки мои, а вам не повредило? Благодарение господу, вы не наказаны огнем...

— Не наказаны огнем? — не выдержал и с горьким смехом переспросил банщик. — А чем же мы наказаны? Водой?

— Я не о том! — поправил себя раввин. — Я имею в виду чудо, что мы спасли свою жизнь. Слава создателю.

— Жизнь? А что нам жизнь, когда мы лишились бани?

— Рассуждаешь, как дитя, — сказал реб Иойзефл, — совсем, как ребенок! Где это сказано, что у тебя должна быть баня? Ты родился, что ли, с баней? Глупенький! Или ты рассчитываешь через сто лет, если угодно будет богу, явиться на тот свет с баней? Жил некогда король...

И реб Иойзефл хотел рассказать очень интересную притчу о короле. Но банщик перебил в самом начале:

— Что мне король? При чем тут король? Вы только взгляните, будьте добры, как пламя катится

куда-то в город и ветер чего-то больно разгулялся! Боюсь, как бы не загорелся дом мясника Лейви-Мордхе с сараями, — тогда прощай Касриловка!..

И, — словно в недобрый час проговорил, — огонь перекинулся на дом мясника Лейви-Мордхе с сараями, и сразу же осветился новый участок неба. Послышался грохот и треск, блеяние коз, откуда-то понеслись куры под гору, распустив крылья и роняя перья, и тут же осветилась вся гора, весь город, все небо. Страшный крик и шум доносились из города даже сюда. Крик нарастал, усиливался и сливался с лаем собак, мычанием коров, визгом женщин, плачем детей и криками: «Воды! Ведра! Спасите! Скорее! Горим! Горим!» Вдруг все видят головню на четырех ножках, несущуюся с горы. Головня пляшет, вертит рогами, мчится прямо к реке, но не успевает добежать, падает наземь, задирает ножки, трясется, как перед смертью, и блеет не своим голосом. Это бедная коза по глупости прыгнула в огонь. Она тут же выскочила, но было поздно: загорелась на ней шерсть, и пустилась коза бежать без толку, без оглядки.

Не больше смысла было и в беготне касриловских мужчин и женщин, кидавшихся с одной улицы на другую, носившихся, как травленые мыши или как недорезанные куры, черные от дыма, словно вестники гибели, сообщавших друг другу:

— Знаете? Эле-Довид горит!

— Знаете? Уже до рынка дошло!

— Знаете? Горит весь город! Гром меня разрази! Весь город!

— Как свеча! Как стеариновая свеча!

А пламя бушует, волнуется, словно разыгравшееся море, ветер носит целые головни, охапки соломы, искры разлетаются фонтаном. Искры падают на хорошо просохшие от ветхости соломенные и деревянные крыши, и слышатся треск и крушение, падение и грохот, обвалы и скрежет, — все это сливается с криками и шумом, с визгом и воплями, и черти, духи, а не люди бегут в разные стороны,

кидаются куда попало, как травленые мыши, как недорезанные куры, а огромное, яркое пламя освещает их дикие, перепуганные лица. Касриловка горит, горит, как свеча.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Реб Ийзефл воюет с господом богом

Пока баня горела, ни Адам, ни Ева не обращали внимания на реб Ийзефла. Но потом, когда от бани остались лишь железный котел да труба (даже миква *, и та сгорела дотла), Адам и Ева хватились раввина, а его нет! Напрасно искали его возле колодца, на берегу реки, у болота, а потом и в городе, среди горевших улиц.

— Вы не встречали ребе? — спрашивал банщик несчастных погорельцев, удиравших из города.

Но беглецы были так ошеломлены, что даже не слышали вопроса и в свою очередь спрашивали, глядя удивленными и страшными глазами:

— Какого ребе? Чьего ребе?

Где же был реб Ийзефл? Раввин пришел в себя и увидал, что весь город в опасности. Это его взбудоражило, он схватил уцелевшие от огня меховую шапку и старый посох и отправился к своим согражданам, не думая, куда он идет и зачем. Для его восьмидесяти лет это была нелегкая прогулка. Но, увидав перед собой море огня, он не почувствовал ног. Его несло, как на крыльях, туда, туда, к старой синагоге, где он почти всю свою жизнь беседовал с богом. Неужели же всевышний не сотворит чуда с домом своим? Неужели господь не убережет свою тору, собственную свою тору?

С этими мыслями наш реб Ийзефл подошел к старой синагоге как раз в то время, когда кругом бушевало пламя. Красные языки вырывались со всех сторон и освещали наполовину завалившуюся крышу и ободранные желтые стены древней касриловской синагоги. Вот-вот, еще минута, и дом божий будет весь охвачен пламенем.

И реб Ийозефл не может постичь умом, почему молчат евреи? Почему они не спасают синагогу, священные свитки, свитки торы? Вместо этого он видит людей, носящихся в разные стороны. Как дикие существа, прыгают они в огонь, спасают старых, больных, женщин, малых детей, стулья, кроватки, подушки, горшки, всякий скарб, — а дом божий забыли, бросили! Как же это так? Реб Ийозефл пробует кричать, звать на помощь: «Святое место! Синагога!» Но никто не слушает. Еще минута — и реб Ийозефл сам вошел в синагогу и — прямо к священному киоту, достал один свиток торы, достал второй, еле живой выскочил на улицу, положил свитки у дверей на поломанную скамью, которую кто-то выбросил из дома, а сам встал возле них и обратился к господу богу во весь голос:

— Все, что я мог, я сделал. Сколько мог, я спас. Остальное поручаю тебе. Я не уйду отсюда ни на минуту. Посмотрим, как ты сожжешь собственную твою тору, которую дал нам через раба твоего Моисея на горе Синайской!.. *

В эту минуту подошел банщик, наш знакомый Адам первозданный. Сердце ему подсказало, что старик где-то здесь, поблизости. Увидав ребе, стоящего возле горящей синагоги, Адам недолго думая схватил его в свои крепкие трудовые руки и вместе с двумя свитками торы потащил от огня вниз, к сгоревшей бане, что на берегу реки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

После катастрофы

Так уж повелось на свете: во время войны не замечают размеров бедствия, да и пленных считают лишь тогда, когда бой кончится. Подводить итоги и подсчитывать потери начинают лишь после того, как все миновало.

То же было и в Касриловке. Только на следующий день после пожара увидели, как велико бедствие.

Поначалу люди, конечно, рассказывали друг другу, как, когда и где они узнали о том, что горит. При этом каждому хотелось рассказать как можно подробнее свою версию: вчера он, словно нарочно, пришел домой рано вечером, потому что весь день нечего было делать, и, будто нарочно, он в этот вечер был голоден как собака, и, как нарочно, кушать было нечего, и он, как нарочно, рано лег спать, и, как нарочно, он из-за голода не мог уснуть, но, как нарочно, за полчаса до пожара уснул все-таки, и очень сладко к тому же, и вдруг слышит крики: «Горит! Горит!..»

Другой рассказывает более интересную и более длинную историю: как вчера он встал очень рано, почти на рассвете, и вышел на базар, думая, — может быть, что-нибудь купит, если подвернется: хорьковую шкурку, немного половы, мешок картошки, — только бы сколько-нибудь заработать. А на базаре — ни души: один крестьянин с мешком угля. Спрашивает: «Сколько хочешь за уголь?» — «Пятиалтынный!» — «А может быть, гривенника хватит?» — «Пятиалтынный!» Затвердил «пятиалтынный» и — хоть кол у него на голове теши! Купил мешок угля, взвалил его на плечи... И так далее, и так далее... История на битых три часа, пока доберется до самого пожара. А кончается тем, что во время пожара он спал как убитый, еле разбудили его.

Третий рассказывает еще более интересную историю. Начинается она еще с позавчерашнего дня и тянется еще дольше предыдущей... Но тут в разговор вмешивается женщина и перебивает:

— Мало ли что они будут вам рассказывать. Прошлогодний снег! Вот я вам расскажу, как все это началось! В четверг, перед пожаром, я месила тесто из муки, которую привез Берл Брохес... Хороша мука! Да не накажет бог за такие речи, жизнь бы такую моим врагам... Она даже горчит...

И начинается бесконечный рассказ о горькой муке и горьких дрожжах, о корыте, которое ее соседка Песя... Уж эта Песя — тоже штучка!.. И пошло, и по-

шло... И вам кажется, что до пожара она не доберется до последних дней своих!

А наряду с этими историями и россказнями о пожаре слышатся плач, вопли, стоны разбитых сердец, опечаленных душ, несчастных, одиноких, бедных, бедных, бедных. Тут стоит мать, ломает руки и оплакивает маленького ребенка, сгоревшего вместе с колыбелью; там человек тихо оплакивает больного отца, который в ту ночь спал на чердаке, хотя никогда прежде там не ложился, и погиб в огне. А здесь ходит девушка и бьет себя кулаком по голове: «Мама! Мама! Мама!..»

. . . .

Не обижайтесь, друзья читатели, что обрываю. Моя муза, стоящая надо мной, когда я пишу, как и все касриловцы, душа веселая, бедная, да веселая. Она не любит слез, не любит печальных сцен. Она утверждает, что слезы подлинные — мокры и солоны. Другие, те, что писатель льет на бумаге, говорит она, это слезы искусственные, не имеющие никакой цены. Она считает, что боль, которую описывают, не та, которую испытываешь... Поэтому мы оставляем страшные и печальные сцены, уходим от них подальше и останавливаемся только на убытках, которые мои касриловцы потерпели от пожара. Беда только, что никак не подсчитаешь огромного убытка, понесенного Касриловкой. Это во-первых. А во-вторых, чем помогут подсчеты? Разве кто-нибудь вернет потери? Общества, которые принимают страхование от огня, словно сговорились и даже вычеркнули Касриловку на карте, как если бы Касриловки и на свете не было! Да и вообще, кто может оценить чужое достояние, особенно после того, как его дымом разнесло по ветру? Всякое хозяйство вообще, а касриловское в особенности, имеет особую ценность, не поддающуюся определению. Нищему старые тряпки, битые черепки так же дороги (если не дороже), как богачу лучшие зеркала и драгоценнейшие сосуды. Богач, если пропадет вещь, может за деньги купить другую. А бедняку кто вернет то, что унес огонь?..

Так рассуждали касриловские погорельцы и убедились, что рассуждениями и философствованиями они ничего не добьются. Надо что-то делать, надо что-то придумать, найти способ, как спасти город. Как сделать, чтобы город остался городом? Ведь нельзя допустить, чтобы целый город расползся по белу свету, пошел по домам просить милостыню, как обыкновенно делают погорельцы! Нет, это не годится! Надо постараться, чтобы Касриловка осталась Касриловкой. Вот над чем люди ломали голову.

На все пламенные и душераздирающие письма, разосланные во все концы, откликнулось лишь несколько местечек, таких же нищих, как и Касриловка, и прислали — кто немного хлеба, кто поношенное платье, а кто несколько рублей наличными... Но хватило этого на один зуб. Положение становилось ужасным! Было так горько, что люди перестали плакать, вопить и даже стонать. Так замерзающий безмолвно агонизирует, засыпая навеки... И вот тут, как всегда, явился раввин, реб Иойзефл, со всей своей силой, которой бог наделил это старое и слабое тело. Он сам, не прибегая к чьей-либо помощи, собрал граждан, встал и обратился к ним:

— Слушайте, люди добрые, что я вам скажу. Не я говорю, а тот, кто живет вечно, говорит моими грешными устами. Не тужите, вы будете удовлетворены. Я обещаю вам, что все, даст бог, будет хорошо! Каким образом? А вот как. Правда, мы наказаны огнем, мы погорели, сгорели наши синагоги, молельни, священные наши книги, сгорели живые души, ни в чем не повинные младенцы... Конечно, это великое и горестное наказание, которое мы, видимо, по справедливости заслужили у предвечного. Но предаваться отчаянию по этому поводу нельзя! Во-первых, нашим отчаянием мы ничему не поможем. А во-вторых, мы тем самым покажем господу богу, что для нас крушение Касриловки страшнее, упаси бог, разрушения иерусалимского храма... Ведь это же, как в притче о короле... Жил некогда король и был у него сын, единственный...

Реб Ийзефл рассказал, по своему обыкновению, очень красивую притчу о короле и закончил ее следующими словами:

— Отсюда легко понять, что мы не должны грешить. Надо набраться сил и давайте, дети, возьмем посохи в руки и пойдем все отбывать изгнание. Послушайте меня, детки, я пойду с вами. Ручаюсь, что, куда бы мы ни пришли, мы, даст бог, сумеем снискать расположение наших богатых братьев, и они не дадут нам пасть. Вставайте, братья, опояшьте ваши чресла и — пойдем!

В это время у реб Ийзефла выпрямилась спина, лицо осветилось, он чувствовал себя молодым и свежим, как юноша, как богатырь, готовый вступить в поединок. И люди почувствовали себя бодрыми, готовыми отправиться в путь. Один лишь вопрос возникал: «Куда? Куда пойти в первую очередь? Есть, не сглазить бы, столько еврейских городов и столько, не сглазить бы, богачей!..»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тихо! Касриловка едет!

Библейский стих «Кто же они — ходоки?» — то есть кто поедет, — малость взбудоражил город или, как выразился Фишл в одной из своих корреспонденций, «превратил город в мешанину». Очень уж много охотников нашлось на эту поездку. Все, чуть ли не весь город готов был поехать! Каждому хотелось принять участие в таком богоугодном деле, а может быть, и просто проветриться, кости поразмять, — ведь сидя на одном месте покрываешься плесенью. В каждом человеке живет дух соблазна, нашептывающий, искушающий. Хочется иной раз божий мир посмотреть, с людьми повидаться, а потом привезти домой новости, целые охапки новостей. Да и в самом деле, что может быть приятнее, чем по приезде домой оказаться в центре внимания: со всех сторон к вам лезут с приветствиями, каждому хочется

вас видеть, заглянуть вам прямо в лицо. Казалось бы, в чем дело? Лицо, как и все прочие лица, а все же «вернувшийся из путешествия» — особое лицо! И когда вы говорите, рассказываете новости, рассказываете о том, что удивило вас в большом городе, — сотни людей смотрят вам прямо в рот, жадно глотают ваши слова, а вы рассказываете и рассказываете, и вдруг становитесь так всем симпатичны, делаетесь фигурой в городе, человеком, героем на несколько дней. Правда, эти несколько дней проходят, и герой вскоре перестает быть героем, утрачивает все свое обаяние и превращается в рядового касриловца... И тем не менее, кому же не хочется быть героем? Хоть на час, а все же герой! Но, с другой стороны, разве возможно, чтобы целый город поднялся с места и пустился путешествовать по белу свету? Поэтому решено было избрать депутацию всего из нескольких человек. И вот тут-то и началось: «Кто да кто — кого выбрать?» Само собой понятно, что выбирают обычно богачей и самых почтенных граждан. Но подите будьте умниками и проведите в Касриловке грань между богачом и рядовым жителем, между почтенным и непочтенным гражданином! Когда все касриловцы — почтенные граждане, а богачи, не в обиду им будь сказано, — сами почти нищие! Но опять-таки, с другой стороны, в каждом городе есть своя знать. Глупости! Ведь банщика и водовоза послать невозможно! И решено было выбрать старост всех молелен и братств и, конечно, престарелого раввина, реб Ийзефла, вместе с ними. И собрали они свои узлы, взяли с собой каждый свои причиндалы — талес, филактерии, зонтики и все прочее, наняли два больших фургона, распрощались честь честью с горожанами, вышедшими провожать своих избранников и пожелать им счастья и удачи, и в добрый час отправились в путь.

Двое суток наши избранники тряслись по подсохшей грязи, переводя дух только во время коротких остановок в корчмах, когда надо было помолиться, закусить или покормить лошадей. И лишь на третьи сутки, разбитых и замученных, их привезли на

железнодорожную станцию, и избранники устремились к кассе все сразу и, тиская и давя друг друга, стали получать билеты. Народ на вокзале уступил им дорогу и заметил насмешливо: «Тихо! Касриловка едет!» Что же касается христиан, то те останавливались, с уважением разглядывая новых пассажиров, которые говорили все сразу, во весь голос и размахивали при этом руками. А когда раздался первый звонок и надо было садиться в вагоны, среди избранников поднялась суматоха, толкотня, беготня, гомон и крики: «Лейзер! Лозер! Хонна! Михл!..» Жандарм посмотрел на сторожа такими глазами, что тот вынужден был прикрыть руками рябоватое лицо, чтобы не видели, как он во весь рот смеется, как скалит крупные белые зубы и произносит, взвизгивая: «Як вороны, злиталися жиды!»[1] На поездную бригаду касриловские избранники не произвели должного впечатления. Кондукторы впихнули всех в общий вагон вместе с простонародьем и вообще обошлись с ними не как с почтенными гражданами, старостами, депутатами, едущими по такому важному делу ради общего блага... И здесь, в вагоне, для наших избранников начался ряд мучений, горестей, испытаний и унижений... Форменный ад.

Прежде всего они попали в вагон, который, — не будь там людей, людей с человеческими лицами, — можно было бы смело принять за вагон для скота. Грязь была так велика, а дым до того синий и запах стоял такой густой, что наши касриловцы, которые и сами не так уж избалованы, почувствовали стеснение в глотке, чуть ли не до обморока! А теснота! Как сельди в бочке! И народ все такой простой, рабочие с большими странно пахнущими торбами за плечами и в лаптях, пахнущих еще сильнее... К тому же они курят табак, от которого задохнуться можно. Присесть негде. Где только наши избранники ни пытались примоститься, отовсюду их прогоняли: «Пошли вон, пархатые, занято». По-нашему это значит: «Извините, уважаемый, здесь занято!» Всюду занято! Даже

[1] Как вороны, слетелись евреи! *(укр.)*

там, где свободно, и то занято... И наши касриловские избранники вынуждены были стоять на ногах, сбившись в уголок, как ягнята. Они жались, давили друг друга и все время говорили, размахивая руками, громко и все сразу, как обычно.

А говорили они, понятно, о железной дороге, о нынешних поездках и высмеивали, прямо-таки с грязью смешивали все нынешние выдумки, тосковали по касриловскому фургону, в котором, собственно, тоже не ахти как хорошо, но все же не так противно, как здесь...

— Дураки! — рассуждали наши привередники. — Глупцы! Сумасшедшие выдумали железную дорогу! Тарарам! Гармидер! Ха-ха!

А там, за высокими окнами, сотни тысяч ученых, просвещенных людей сидят согнувшись, скрипят перьями, пишут, чертят, дают телеграммы, ломают себе головы, придумывают все новые изобретения, чтобы ездить было удобнее, лучше, быстрее, дешевле. Уже подумывают о воздушных кораблях, об аэропланах и даже не знают, не подозревают, что здесь, в вагоне, едет кучка касриловцев, представителей города, и критикует, уничтожает, издевается над всеми их выдумками и изобретениями, критикует во весь голос, без стеснения...

Тихо! Касриловка едет!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Касриловка среди «народов»

Наши касриловские избранники до тех пор чесали языки и издевались над железной дорогой и прочими нынешними выдумками, пока это им не надоело. Тогда они начали оглядываться по сторонам в поисках мест и прежде всего, конечно, места для престарелого раввина, который был очень измучен путешествием. И бог помог, место нашлось: они усадили реб Иойзефла рядом с пассажиром, разудалым пар-

нем в красной рубахе навыпуск, с гармошкой в руках. Парень был немного навеселе, то есть основательно «под мухой», с осоловелыми глазами. Он играл на гармошке и пел замечательную песенку:

Костюшкина мать
Собиралась помирать,
Собиралась помирать...
Умереть не умерла —
Даром время провела...

И еще раз то же самое, но уже тоном выше:

Костюшкина мать
Собиралась помирать,
Собиралась помирать...
Умереть не умерла —
Даром время провела...

И в третий раз то же самое, но еще повыше тоном:

Костюшкина мать
Собиралась помирать...

И так далее. Без конца, как машина.

Все-таки это был веселый сосед. По другую сторону бог послал нашему реб Иойзефлу типа в барашковом полушубке, злого и сердитого на весь мир. Он только и делал, что плевался. И каждый раз он извергал слюну с таким озлоблением, как если бы кто-нибудь специально досаждал ему. Хорошо, что реб Иойзефл ничего этого не замечал. Он был вне этого мира. Его мысли витали далеко отсюда, в большом городе, у «великих мира сего»...

Как и все касриловские евреи, реб Иойзефл жил в мире фантазии, вечно о чем-то грезил и мечтал. И вот сейчас фантазия подняла его на своих крыльях и унесла прямо туда, к величайшему из великих... Ему представился большой дворец с золотой утварью... За столом на высоком стуле сидит сам владелец... Увидав депутатов, владелец поднимается с места, приветствует пришедших и спрашивает, что им угодно. Тогда выходит вперед он сам, то есть реб Иойзефл, и говорит: так, мол, и так... И рассказывает о Касриловке и ее жителях, об их бедах, о том, как

они всегда несчастны, а сейчас, после случившегося, особенно... Владелец выслушивает все до конца, встает, подходит к шкафу и достает порядочную сумму.

— Как вы думаете, — обращается он к раввину, — хватит этого?

— Да ведь как сказать... — отвечает реб Ийзефл и говорит сам с собой, размахивая руками, морща лоб и поводя глазами... Он и не видит, что напротив на скамейке сидят пассажиры, среди них женщины с красными лицами, грызут семечки и смеются над касриловцами прямо в глаза, передразнивают, как они говорят, размахивают руками и трясут пейсами! * А больше всего потешаются над стариком, реб Ийзефлом, в накидке и меховой шапке.

Однако смешки эти и издевательства были, так сказать, взаимными. Касриловцы тоже в долгу не оставались. Они критиковали и посмеивались над веселыми пассажирами и, в первую очередь, над парнем в красной рубахе с гармошкой в руках, не перестававшим повторять чуть ли не в семисотый раз все те же слова: «Костюшкина мать собиралась помирать...»

— А парень, видать, помолился сегодня «над чашей»! — замечает один из наших касриловцев, а другой подхватывает по-древнееврейски:

— Ясно видно по гляделкам!

— Хватил стакан, да стакан — великан! — говорит третий в рифму.

— Да, парень полнехонек! — говорит первый, глядя не на него, а якобы в потолок.

А другой заканчивает:

— И переполнен до краев! — и почесывает у себя за воротником.

— Как вам нравится мелодия, которую он напевает?

— Должно быть, хасидский напев *.

— Содержание очень мудрое!

— Глубокомысленное! Костюшкина маманя чуть богу душу не отдала! Шутка ли!..

Даже реб Ийзефл, который далек от насмешек, не мог удержаться и, улыбаясь, пожелал спросить

у своих касриловцев, что означают странные слова этой песенки? И нашелся человек, который пустился в разъяснения:

— Жил, как видите, некто по имени Костюшка, то есть человек, которого звали Костюшкой. И была у этого Костюшки мать. Так вот эта самая мать, говорит он, собиралась помирать, но не умерла...

Реб Иойзефл слушает внимательно, но не может постичь тайного смысла. Как это так, — она собиралась помирать? Разве это зависит от человека? «Не по своей воле умираешь». Умирают поневоле...

— Нашли о ком говорить! — замечает один из избранников, качая головой и поглядывая сверху вниз на пассажиров.

Но тут же кто-то из веселой компании показывает, как молятся евреи. Он колотит себя рукой по груди и произносит нараспев: «Тателе! Мамеле! Тателе! Мамеле!» — а остальные покатываются от смеха.

— Смеются над нами! Над евреями смеются! И везде над нами издеваются! — говорит со вздохом один из избранников и подмигивает раввину.

Раввин, реб Иойзефл, смотрит на того, что кривляется.

— Не над нами смеется он, дети мои! — говорит реб Иойзефл. — Над собою самим смеется! Над нами смеяться нечего, душа моя! Над нами плакать надо: чем мы были и чем стали...

Реб Иойзефл по этому случаю рассказывает, как всегда, интересную притчу о короле, конечно, а люди выслушивают ее не в первый раз, быть может, а парень в красной рубахе навыпуск и с гармошкой в руках продолжает петь, с каждым разом понижая на полтона (видимо, ему и самому надоело):

Костюшкина мать
Собиралась...
Помирать...
Помирать... помирать...

— Мир вам! — раздается вдруг свежий голос, точно с неба упавший. — Откуда едете и куда? И чего это вы забрались в этот вагон? Идемте к нам, в наш вагон! Там вы по крайней мере будете среди своих...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Касриловка среди «своих»

Как рыбы, только что выловленные сетью и выпущенные обратно в воду, почувствовали себя касриловские делегаты, когда перебрались в другой вагон и оказались среди «своих», среди евреев. Нельзя сказать, чтобы здесь было намного чище и свободнее, чем в первом вагоне. Пожалуй, на новом месте было даже хуже, потому что там, в прежнем вагоне, многие пассажиры сидели на полу и не имели лишних узлов: торба, пара сапог — и все. А здесь, на новом месте, среди евреев, суматоха была еще больше, теснота еще сильнее, а из-за узлов негде было повернуться.

Известно, что каждый еврей везет с собой в дороге не меньше двух-трех узлов, а женщины, кроме узлов, везут еще подушки, одеяла и великое множество тряпок. Поэтому евреи в дороге выглядят не только как пассажиры, но и как скитальцы, как эмигранты, которые переселяются в дальнюю страну, где ни за какие деньги невозможно достать ни подушек, ни одеял, ни тряпок... И чувствуют они себя поэтому везде, как у себя дома. Евреи, куда бы они ни ехали, везут с собою свой дом, свое гетто, свое изгнание, и поэтому, видно, они и выглядят всегда одинаково, не меняются и чувствуют себя хорошо лишь тогда, когда они все вместе. А люди им идут навстречу: хотите вместе — будьте все вместе...

Войдя в новый вагон и увидев себя среди «своих», наши избранники расположились с комфортом, положили свои узлы на узлы других пассажиров, сели вплотную со своими соседями, попросили немножко подвинуться, а раз уже уселись, можно соседа и прижать, а почему и не выжать?.. Ведь находишься среди «своих»!..

И — не беспокойтесь! Ссориться и ругаться из-за таких глупостей никто не станет. Шуточки отпускать, намекать — это можно. Например, если кто-нибудь наступит другому на ногу, тот подскочит и замечает как бы между прочим:

— Ох, и тяжелый у вас шаг, дяденька!

Или, если кто-нибудь поставит свой чемодан кому-нибудь чуть ли не на плечи, тот подтрунивает не над пассажиром, а над чемоданом:

— Знаете? — говорит он себе под нос. — Чемодан ваш, видно, никогда не хворал...

Или, если кто-нибудь заслоняет другому свет, тот говорит:

— Знаете, что я вам скажу? Боюсь, что вы не из чистого стекла...

А если случится, что два еврея поспорят из-за места в вагоне, они начинают осыпать друг друга насмешками и колкостями.

— Извините, дяденька, это мое место.

— Серьезно? А почему, собственно, оно ваше?

— Потому что я здесь сидел.

— Что же, вы тут субботу справляли? Или написано где-нибудь: «Сие место принадлежит...»?

И сидящий, не поленившись, встает и ищет на месте надпись. Пассажиры разражаются смехом, оставшемуся без места это досадно, и он говорит:

— Вы, кажется мне, уже немного чересчур того...

— Чего это «того»? — спрашивает сидящий, и смех пассажиров становится еще громче.

Наконец находят выход из положения: пассажиры усаживаются плотнее и освобождают место для стоящего. Что уж там? Сидит столько человек, сядет и еще один... А те, что спорили, дуются некоторое время друг на друга, потом достают часы: «Сколько на ваших?» Или смотрят оба в окно: «Не знаете, как называется эта станция?» И начинается разговор о станциях, о дорогах, о делах, и пошло как по маслу. Новый пассажир, только что вошедший, увидев этих двоих, уверен, что это компаньоны или родственники, сваты или просто друзья из одного города...

Пускай умники острят сколько хотят. Пускай придумывают поговорки, вроде таких, как: «Сидеть — среди чужих, лежать — среди своих», «С евреями хорошо только кугл кушать» и тому подобное. Я считаю, что евреи, да еще касриловцы к тому же, лучше и уютнее чувствуют себя среди своих, нежели среди чужих.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Человек из тех, которые...

Человек, который словно с неба свалился и перетащил наших делегатов сюда из прежнего вагона, принадлежал к тем людям, которых встречаешь только в дороге. Вы сразу же становитесь друзьями, как если бы вы были знакомы много лет подряд. Кто он такой, вы не знаете, что он такое — вы тоже не знаете. Возможно, что он лавочник, а возможно, что он вовсе биржевой маклер. Но скорее всего он портной, вхож к начальству и якшается с теми, от кого зависит «правожительство»...

Сам он среднего роста, среднего сложения, черноволосый, армянского типа, с маленькой бородкой, с небольшими беспокойными глазками, сдвинутой на затылок шляпой — подвижной, живой, он не может усидеть на месте, должен что-то делать, куда-то идти, с кем-нибудь говорить. Главное — говорить. Разговор — его стихия. Если в вагоне сидит еврей, это, конечно, очень хорошо. А если нет — можно поговорить и с русским, и с солдатом, и с барыней, и с попом. На худой конец и кондуктор хорош, и истопник, и смазчик, и черт-дьявол, лишь бы в образе человека. И такая уж в нем сила: кто бы ни был, а с ним разговорится. Разве что немой от рождения. Потому что он знает, понимаете ли, о чем и как с кем говорить. А говорить он может о чем угодно. Можно сказать, что нет почти на свете такой вещи, которой бы он не знал, и нет на свете человека, который был бы ему неведом. Ехать в вагоне с таким человеком — сплошное удовольствие! К тому же он вообще хороший человек, откровенный и услужливый. Он может видеть вас впервые в жизни, и тем не менее он пойдет куда хотите: может быть, вам нужно в кассу за билетом? Или помочь вам сложить вещи? С величайшим удовольствием! Он заглянет к вам в узел, оценит ваш чемодан, или вашу шубу, или часы, высчитает точно, в котором часу и во сколько минут вы должны прибыть домой, и сколько будет стоить перевозка вашего багажа, он посоветует, как и по какой дороге вам

лучше ехать и где остановиться. При этом он будет держать вас за пуговицу или буравить пальцем дырку в вашем пиджаке, шляпа у него на макушке, щеки пылают, глаза горят, как если бы он делал очень нужное дело. Словом, это был тип, называемый у нас: «Человек из тех, которые...»

Для наших касриловских пассажиров «человек из тех, которые» был словно оазис в пустыне, словно целительный бальзам для души и тела. Шутка ли, какая миссия на них возложена! Впервые в чужом, таком огромном городе, в котором бабка или прабабушка и во сне никогда не бывали! Не знают, куда сунуться, а едут ради такого дела, ради такого святого дела!..

Да и сам этот человек так им обрадовался! Узнав, куда, к кому и зачем они едут, он засыпал их советами, как вести себя в первую минуту, когда они окажутся на вокзале, и потом, пока не добьются того, что им нужно. А касриловские избранники смотрели ему в рот, кивали головами, глотали каждое его слово.

— Вы едете, дорогие мои, — толковал он им задушевно, как отец, улыбаясь и поглаживая бородку, — вы едете, дорогие мои, по очень важному делу, и вам, бог даст, будет сопутствовать удача. Я уверен, это так же несомненно, как и то, что сегодня вторник на белом свете. Главное — знать ходы и выходы. Город громадный и разбросанный. Русский город, понимаете ли, но евреи здесь есть, и евреи богатые. То есть и бедняков здесь достаточно, может быть больше, чем богатых. Но ведь к беднякам вам не нужно, нищих, говорите вы, у вас самих хватает. Так что мой совет — идите только к крупным, к самым крупным. А кто у нас самые крупные, хотите вы знать? Возьмите, пожалуйста, бумагу и карандаш, запишите, я вам скажу точно адреса и положение каждого из них. Я, понимаете ли, знаю их как облупленных. Все они великие, и все хотели бы перескочить, перещеголять, проглотить друг друга с потрохами, если бы могли! И все рвутся кверху, кверху, тянутся за самым крупным, за великим, за львом среди зверей... Вижу по вашим

лицам, что вы знаете, о ком я говорю... Его именно так и зовут: «Он имени своему подобен»... Он и в самом деле лев! Король, богач, капиталист, миллионер! Хотите знать, сколько у него? Не спрашивайте! Сколько бы вы себе ни представили, — у него вдвое, втрое, в десять раз больше! Можно сказать — пятьдесят миллионов, а можно сказать — и семьдесят. А если хорошенько меня попросите, так, может быть, и все сто! Туда надо пробиться в последнюю очередь, когда вы покончите со всеми прочими богачами. Вы же хотите, конечно, получить побольше, кругленькую сумму, а это — только у него. Потому что, если попадете к нему в добрую минуту, тогда и говорить нечего. Для него пожертвовать тысячу, пятьдесят тысяч, сто тысяч — тьфу! Или погодите-ка! Знаете что? Я вам дам лучший совет.

Тут «человек из тех, которые» углубился в мысли, затем ухватился за свою бородку и проговорил, как бывает, когда в голову приходит блестящая идея.

— Послушайте, дорогие мои, что я вам скажу. У вас, говорите вы, сгорел весь городишко? Значит, вам нужен лес на постройку домов? А у него есть лес, как раз неподалеку от ваших мест, но лес, как говорится, деревьев полон! Что значит для такого миллионера обмакнуть перо и черкнуть записочку в лес: «Прошу отпустить за мой счет»?

И «человек из тех, которые» сделал в воздухе движение рукой, будто богач пером, а наши касриловские избранники при этих словах даже поднялись с мест, и слезы навернулись у них на глаза. Но тут «человек из тех, которые» их немного охладил. Он, видимо, понял, что чересчур обнадежил людей, — поэтому он погладил бородку и сказал:

— Но я должен повторить, дорогие мои: все зависит от того, в какую минуту вы к нему попадете... Если, упаси бог, налетите на него в недобрый час, — я вам не завидую. Это человек, которому все в рот глядят, он, понимаете ли, так велик, так могуществен... Конечно, были бы вы не евреи... Эге-ге!..

Касриловские избранники, услышав эти слова, и вовсе опешили. Они не могли понять, что говорит этот

человек: что значит: если бы вы были не евреями? А кем же им быть? Еврейками? Или гермафродитами?.. «Человек из тех, которые», видно, сообразил, что его не поняли, и принялся объяснять:

— Понимаете ли, дорогие мои, человек этот очень велик, очень силен и широко принят среди христиан. Генералы приходят к нему в дом, сидят с ним, вот как я с вами... Ну и понятно, если христиане так хороши с евреем, то он готов для них на все...

Нельзя сказать, что это объяснение было целиком понято нашими касриловцами. Они не переставали слушать, раскрыв рот, а тот не переставал поглаживать бородку и расхваливать самых великих. Он составил список «крупных великанов», всех назвал по имени, указал улицы и номера домов, давая каждому «великану» в отдельности краткую, но острую характеристику, так что одно это могло бы составить особую книгу, будь она для нас главным делом. Но так как главное — это история о касриловских погорельцах, мы и возвращаемся к нашим касриловским делегатам в большом нееврейском городе, где мы их оставили в самом начале.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В мире суеты

Миром суеты, описанным в наших священных книгах, — вот каким видели наши касриловские избранники этот большой город с его «великими мира сего». Суть мира суеты состоит в том, что душа человека блуждает по белу свету, проникает во все уголки, все видит, слышит и чувствует, но тело при этом отсутствует. То ли от возбуждения, вызванного историями, которых они наслушались в вагоне от «человека из тех, которые», то ли потому, что они впервые очутились в большом и свободном мире, — ясно одно: они были где-то вне земли. То есть душа болталась здесь, среди «великих», но тело было далеко отсюда.

С первой же минуты у них не все было ладно, — во всяком случае не так, как они себе представляли, хотя ходили они, соблюдая намеченный порядок и систему, как учил их тот пассажир с горящими глазами, по улицам и номерам домов, которые он им указал. Сначала позвонили к «великанам» поменьше, потом — к «великанам» покрупнее и чем дальше — поднимались все выше и выше. Нельзя сказать, что им не везло. Подаяния поступали, или, как они потом хвастали перед своими касриловцами: «Дождь подаяний низвергся на наши головы». Лился ли на самом деле «дождь подаяний», мы не знаем. Об одном можно сказать с уверенностью: у себя дома они к таким подаяниям не привыкли, — такие суммы, какие они здесь получали, у себя в Касриловке они видели только во сне, да и то не всегда... Что же их смущало? Смущало одно: они не чувствовали себя среди своих... Их принимали, как чужих, как чуждых: отдавали, что полагается, и — «не взыщите»...

Иные даже не пожелали видеть их физиономии: высылали пожертвование до того, как они успевали переступить порог. Другие еще и злились, говорить не давали: «Погорели? Слыхали мы такие разговоры, не одни вы...»

Были и такие, которые кричали на них, называли какими-то позорными именами: «шатуны», «горелые», «побируши»... Какой-то бледнолицый молодой человек с острым носом и расчесанной на обе стороны бородкой велел показать книгу.

— Какую книгу?

— Книгу, в которой вы записываете пожертвования.

Тут уже выступил старик раввин, реб Ийзефл:

— Пожертвования, полученные для наших погорельцев, записываются такими письменами и на таком языке, которых ни вы, ни мы прочитать не сможем...

Реб Ийзефл на этот раз говорил иносказательно и, как всегда, мило улыбался, но в голосе его слышалась досада. Раввина задевало не то, что их подозревают в нечестности. Нет. Его задевала холодность,

с которой их встречали везде, в каждом доме этих «великих» евреев. Реб Иойзефл привык у себя в Касриловке к тому, что если кто-нибудь жертвует — будь то копейка, или даже грош, — то жертвует от всего сердца. Ибо, помимо того, что человек помогает бедняку, нуждающемуся, он делает доброе дело, которое ему зачтется... Раввина удивляло, что среди «великих» не нашлось ни одного, который бы просто, задушевно приветствовал их. Не нашлось ни одного, кто бы расспросил о Касриловке, захотел бы выслушать, как велико их горе... А если кто-нибудь из касриловцев пытался заговорить, излить свою душу, рассказать о несчастии, которое им пришлось пережить, богачи тут же хватались за кошельки, будто желая сказать: «Нате и идите себе подобру-поздорову...»

Склонный всегда и всех оправдывать, реб Иойзефл искал оправдания и для этих «великих».

«Люди пребывают в мире суеты!» — думал он и шел твердым шагом, совсем не по своим годам, все дальше и дальше.

Было уже не рано, когда делегаты подошли к дому «великого из великих», ко «льву среди зверей», как назвал его пассажир в вагоне. И тут они вспомнили, что тот человек сказал: «Были бы вы не евреи... Эге-ге!»

Это «эге-ге» и холод, с которым их встречали в каждом доме, привели к тому, что наши избранники начали терять уверенность и боялись позвонить к «великому», которого считали «львом среди зверей»... Довольно долго стояли они у дверей и спорили, позвонить ли просто, как звонили в другие дома, или...

— Что «или»?

— Да ничего.

— Почему же вы говорите «или»?

— Кто говорит «или»?

— Если не говорите, почему бы вам не позвонить?

— А где сказано, что обязательно я? Почему не вы?

— Начинается история!..

— Тихо, детки, тихо! — вмешивается реб Иойзефл и тянет звонок у дверей еле-еле, насколько восьмидесятилетнему старцу позволяют силы.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У «высоких окон»

Стоя у дверей дома «самого великого из великих», «льва среди зверей», наши касриловские делегаты имели возможность потолковать относительно «высоких окон»: «Что там за ними делается? Что, к примеру, делают «великие» у себя в апартаментах в то время, как у дверей стоят и ждут «маленькие люди» с их маленькими делами, просьбами, планами и мечтами? Быть может, они там сидят в это время над большими конторскими книгами, ломают себе головы и так углублены, что даже не знают о происходящем внизу? А может быть, сидят и размышляют, что бы такое придумать, как бы разумнее использовать силу золота, которою господь наделил их, для блага своего народа или всего человечества? А может быть, просто сидят сложа руки, доставляют себе все удовольствия этого мира, едят, пьют и спят, как самые обыкновенные люди?»

Времени для размышлений у наших делегатов было достаточно: на слабый звонок престарелого реб Иойзефла никто не торопился к дверям. У них было время поговорить и о том, как представиться «великому из великих» и кому с ним вести переговоры. Само собой понятно, что разговаривать с ним должен раввин. Кто же еще? Вопрос только в том, с чего начать? Судя по тому, что твердил им тот пассажир, надо знать, как обращаться с «великим» и что ему говорить. Недаром сказано у нас: «Жизнь и смерть — во власти языка». А значит это: одним словом можно иной раз так напортить, что потом и десятью тысячами слов не поправить.

Мнения разделились, образовалось два лагеря — правых и левых. Правые — старшие из делегатов — придерживались правого пути. Они утверждали: к крупному богачу надо приходить с мольбой, обрисовать ему бедствие, обрушившееся на Касриловку, со всеми подробностями: «Вот недавно был город как город. И вдруг среди ночи вспыхнуло пламя, поднялся ураган, и город исчез в дыму, Касриловка стерта с лица земли...» При этом не надо скупиться на мрачные краски, рассказать, как раздетые и разутые, голодные люди лежат под божьим небом и молят о куске хлеба... Пустить слезу, а почему и не поплакать по-настоящему, как полагается?.. А левые — молодежь, конечно, те рассуждали по-иному: «Что за плач ни с того ни с сего? Что мы — бабы? Или вы думаете, что богачи слез не видали? Их надо брать справедливостью. Справедливо ли, что в то время, как здесь золото валяется на улицах, а люди палец о палец не ударят, там живые люди, свои братья, плоть и кровь, изнывают по ложке варева?!» «Ой-ой! Ой-ой! — хватались за голову правые. — Они нас без ножа зарежут! Вот она, молодежь!..»

Хорошо, что при этом был реб Иойзефл, он, по своему обыкновению, мягко вмешался в спор.

— Детки, — сказал он, — напрасны ваши споры. Как может человек, простая плоть и кровь, знать, что он скажет? А когда злодей Валаам * был подкуплен и совсем уже приготовился проклинать евреев, разве мог он ожидать, что всемогущий бог обернет его слова к добру? Мы, даст бог, возьмем его не мольбами и не руганью, а притчей. Если повелит господь, я расскажу ему притчу о короле, который рассердился на собственных своих рабов и сжег свой дворец...

Жаль! Такая интересная притча осталась незаконченной по причине, не зависящей ни от реб Иойзефла, ни от остальных избранников. Виноватым оказалось совершенно постороннее лицо. Это был вооруженный человек, о котором мы упоминали в начале нашего описания. По-видимому, этот человек, поставленный

для наблюдения за порядком на улице, все время не упускал из виду наших касриловцев. Не понравилась ему вся эта компания, шедшая от дома к дому, задиравшая головы, чтобы прочесть номера домов, делавшая остановки и переговаривавшаяся громко на каком-то гусином наречии: гер-гер-гер! Сейчас, во время последней их остановки, он больше не мог выдержать и устремился к ним — на сей раз с особой силой и рвением.

Увидав перед собою врага так близко и почуяв опасность, наши делегаты замерли и решили с общего согласия, что надо спасаться бегством. Но куда? Обратно — значит идти прямо на вооруженного. Они принялись звонить все вместе, настойчиво, изо всех сил и — бог помог: двери каким-то чудом распахнулись, и на пороге показалось существо с красным откормленным лицом, с вырезанными полами и в белых перчатках. Выбежал этот тип страшно разгневанный, размахивал руками, кричал и ругался и так бесился, как если бы здесь стояли дикари или разбойники, хулиганы, решившие напасть средь бела дня на дом его хозяина.

Увидав раскрытую дверь, касриловские «хулиганы» все вместе двинулись туда. Но тип с откормленной рожей и в белых перчатках изо всех сил двинул их обратно. В эту минуту подоспел вооруженный человек с саблей, дал свисток, и тут же, словно из-под земли, вырос еще один, тоже вооруженный с головы до ног.

Напрасно наши касриловские избранники упрашивали того, что в белых перчатках, пустить их хотя бы в переднюю, хотя бы на кухню. Напрасно задирали они головы, заглядывали в высокие окна, — авось господь свершит чудо (он, если захочет, может!), авось сам богач или кто-нибудь из его домочадцев увидит, что люди в опасности, и прикажет сверху не трогать их...

Но, на их счастье, никто в окна не посмотрел, и наших делегатов, самых почтенных граждан Касриловки с раввином реб Иойзефлом во главе, отвели

с большим почетом в такое место, где за квартиру платы не взимают и где все равны — даже евреи, даже касриловские евреи могут там сидеть и сидеть до конца дней своих.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Чудо

Тот, кто думает, что в наше время совсем уже не бывает чудес, — ошибается. Правда, чудеса теперь случаются редко, очень редко, но все же случаются. Лучшее доказательство — наши касриловские пленники.

Читатели могут подумать, что мы, как все сочинители, преувеличиваем и выдумываем истории, которых не бывало. Мы уверяем, однако, что все здесь рассказанное — сущая правда.

Как раз в тот момент, когда с касриловскими делегатами произошел вышеописанный случай у дверей «великого», или «льва среди зверей», — как раз в ту минуту, когда они в страхе взирали на «высокие окна» и думали каждый про себя: «Откуда придет помощь — от бога или от человека?» — мимо проходил наш знакомый пассажир, «человек из тех, которые...».

Шел он по своим личным делам быстро, как обычно, шляпу сдвинув на затылок, видно задумавшись. Увидав знакомых людей, окруженных городовыми, он остановился, сразу понял, что здесь происходит, и готов был затесаться в самую середину и учинить скандал: «За что? Про что? Ни в чем не повинных!»

Однако задумался, а может быть, не стоит? Он себя знает хорошо, — человек он горячий. Мало ли какие слова могут сорваться у него с языка... Поразмыслив, что смелость тут, пожалуй, не к месту (всегда лучше пораскинуть умом), он надвинул шляпу, взялся за бородку и прищурил глаз, — признак, что голова работает. Потом повернул обратно и тем же быстрым шагом пошел, как человек, которому пришла в голову хорошая мысль и который решил осуществить свою идею до конца.

Куда же он пошел?

Мы не знаем куда. Но можем предположить, что отправился он туда, к «льву среди зверей», потому что в тот же вечер телефон за высокими окнами поработал на славу...

В полиции все пришло в движение. Перья скрипели, чернила лились, бумаги сочинялись, а пленных, которые уже готовы были совершить далекий путь по этапу домой, вдруг разбудили среди ночи, вытащили из тьмы и доставили в ярко освещенное помещение с такой невероятной быстротой, как если бы то были не касриловские маленькие люди, а бог весть кто... Правда, стульев им не принесли, сесть не предложили, а об извинениях и говорить нечего. Зато не слыхать было, чтобы на них кричали или называли пресловутым еврейским титулом — «жид». Все было прилично, тихо, но только очень второпях, наспех; совсем как при исходе из Египта, шло освобождение касриловских «хулиганов». Мелкие писари и писаришки никак понять не могли, что творится: «Из-за каких-то еврейчиков такая суматоха!»

В первую минуту, когда к нашим арестованным вошли и приказали подняться наверх, они переглянулись и молча, без слов, распрощались. Что ждет их там, наверху? Это знает один только бог на небе. Хоть бы обошлось только тюрьмой. Ибо что такое нынче тюрьма, когда и виселица — дело будничное? Но ведь это еще не все: у каждого есть жена и дети, а когда дело доходит до жены и детей, евреи (мы вынуждены признаться) ужасные эгоисты...

С подкосившимися ногами и разбитыми сердцами предстали наши делегаты пред очи тех, в чьих руках сейчас была их судьба. Один только шел впереди твердым шагом, как всегда, хотя и согнувшись и опираясь на посох.

То был престарелый реб Ийзефл.

— Кто здесь у вас «самый рабин»? — спросили у них полусерьезно и полунасмешливо.

— Я! — отозвался реб Ийзефл с особой силой и

выступил вперед так самоотверженно, как если бы брал на себя всю ответственность и готов был взойти за своих соплеменников на эшафот.

Хорош, величественно хорош был в эту минуту восьмидесятилетний патриарх! Его желтое в морщинах, прозрачное, изможденное лицо светилось, будто благодать божья почила на нем. В стариковских глазах вспыхнул молодой огонек, и только руки у него дрожали и плечи тряслись. Он ждал, что ему скажут. Он готов был выслушать все, вплоть до самого худшего, что могли придумать злые люди. Кого бояться старику, у которого за плечами восемьдесят лет? Он даже заложил руку за спину и смотрел прямо в глаза с такой гордостью и уверенностью, каких насмерть перепуганные касриловские избранники никогда раньше в своем ребе не замечали.

То была высокая минута и длилась она чуть ли не целую вечность.

— Стало быть, это ты «самый рабин»? — спросили его еще раз все в том же полусерьезном, полунасмешливом тоне. — На вот тебе твои деньги, которые вы тут наклянчили для ваших погорельцев, забирайте ваши лапсердаки (очевидно, имелись в виду талесы и тефилн) и пончохи (а это, видимо, должно было означать зонтики) и айда, прямо на поезд, немедленно обратно домой! И чтобы до утра духу вашего здесь не было! Марш!

Дома нашим касриловским избранникам было что порассказать о чудесах, о необыкновенных приключениях и испытаниях, которые им пришлось пережить ради погорельцев. Рассказывали, как ехали, как прибыли, что слыхали, что видали, как низвергался на них ливень пожертвований (раньше был «дождь», потом стал «ливень»), и как их арестовали у барских хором, отвели в замечательное «место», отобрали «звонкие» и засадили в кутузку... А потом — о чуде, о том, как всевышний показал, что он может сделать, — их освободили, вернули все деньги до последней копейки, да еще с лихвой: когда они уже готовы

были ехать обратно, их нагнал человек в высокой шляпе и передал солидную сумму — пожертвование для касриловских погорельцев от него самого, от того, кого пассажир назвал «львом среди зверей»... Вот и говорите после этого, что нет бога на свете!

Да, касриловским делегатам было что порассказать, да и сейчас есть что рассказать. Думаю, что хватит на всю зиму, а может, и на лето немного останется.

Один только реб Иойзефл ничего не рассказывал. Набрал полон рот воды и — молчок. Он вернулся из этой поездки очень усталым, слабым и разбитым. И не столько телом, сколько душой. К тому же он был занят самим собою. Он, понимаете ли, готовился к иному путешествию, в дальний путь, в дорогу, откуда никто еще не возвращался... Не думайте, и такому человеку, как реб Иойзефл, хоть он и раввин, и за восемьдесят перевалил, и одинок, и нет у него ничего, — но когда он собирается уходить из грешного мира, то и ему есть что делать...

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ СРЕДИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

(Поэма)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Автор отводит душу в беседе со своими героями

По-видимому, так уже предначертано Касриловке свыше, что ее жителям положено испытать больше горя, чем всем людям на белом свете. Разбушевался ли где мор, навалилась ли на кого напасть, стряслось ли с кем несчастье, обрушилась ли кара господня, бедствие, наказание — ничто их не минует, ничто не оставляет равнодушными, и всё они принимают к сердцу ближе, чем все люди на белом свете. Ну, скажем, не удивительно, что они столько пережили, если помните, из-за дела Дрейфуса, — в конце концов он все-таки наш, свой, а свое, как говорится, не чужое. Но чем вы объясните их страдания по поводу буров, которых англичане победили и безжалостно истребили? Мало, что ли, волнений было тогда в Касриловке? Боже, боже! Сколько крови было из-за этого пролито в старой касриловской синагоге! Но не пугайтесь, уж не подумали ли вы, чего доброго, что там взаправду лилась кровь? Боже упаси! Жители Касриловки далеки от кровопролитий; касриловец, завидя издали порез на пальце, падает в обморок. Здесь речь идет совсем о другом; здесь имеются в виду их муки, душевные терзания, чувство стыда. А из-за чего, подумали бы вы? Из-за того только, что

люди не могут прийти к единодушному мнению; если один что-либо утверждает, то другой непременно в том усомнится: а не наоборот ли? Один, скажем, принимает сторону буров и встает на защиту их прав: с какой, дескать, стати, с чего, собственно, привязались к бедному народу, который никого не трогает, а хочет только одного — мирно жить и спокойно трудиться на своей земле? Приходит другой и выступает в роли ходатая по делам англичан, приводит неопровержимые доказательства того, что англичане самые образованные во всем мире люди. «Выродок! При чем тут образованность, если людей крошат, как капусту!» — «Тут-то оно и видно, что вы глупая скотина!» — «Сами вы скотина в образе осла!..» В итоге — оплеухи, свидетели, жалобы, мировой суд, всяческая пакость! А по существу, казалось бы, вы, касриловские бедняки, нищие, оборвыши, попрошайки, — какое касательство к вам имеет страна, находящаяся где-то у черта на рогах, в самой Африке? Или, к примеру, так уж вам обязательно болеть душой за Сербию, где каким-то офицерам, проснувшимся однажды среди ночи, взбрело в голову напасть и убить царя Александра, царицу Драгу и выбросить их из окна на улицу? Неслыханно, говорите вы, разве можно напасть на человека, когда тот спит, и прикончить его? Это пристало, говорите вы, дикарям, людоедам где-то там, в пустынях! Но я спрашиваю о другом: почему это тревожит вас больше, чем всех других? У вас так-таки нет никаких иных забот? Вы уже поженили, выдали замуж, обеспечили всех детей, управились со всеми делами? Я спрашиваю, что у вас за манера всюду совать свой нос? Верьте мне, мир прекрасно обойдется без вас, и каждый, надо думать, сам сладит со своей судьбой!..

Автор просит читателя простить ему, что он обращает к своим касриловским героям такие суровые слова! Я, понимаешь ли, дорогой друг, сам касриловский. Там я родился, там вырос, там окончил все хедеры и школы, там я, на свое счастье, женился и оттуда позднее пустился на своем утлом суденышке в плавание по великому, шумному, широкому морю,

которое называется «жизнь», где волны вздымаются выше домов. И хотя все мы захвачены и затянуты оглушительным водоворотом, я еще ни на минуту, тем не менее, не забыл мою любимую, милую родину — Касриловку, да продлятся дни ее, не забыл и любезных сердцу моему братьев, касриловских евреев, дай бог им плодиться и множиться; и всякий раз, когда здесь у нас случается беда, горе, напасть, несчастье, мне непременно думается: что же творится теперь там, в моей отчизне?.. Касриловка, надо вам знать, как она ни бедна, как ни одинока и заброшенна, все же связана со всем остальным миром какой-то такой чудесной проволокой, что малейший удар по одному ее концу тотчас отдается в другом конце! Можно сказать и так: Касриловка подобна ребенку во чреве матери, который связан, сращен с матерью пуповиной и чувствует все одновременно с ней: больно матери — больно ребенку, больно ребенку — больно матери. Удивляет меня только одно: почему Касриловка так чувствительна к горестям и бедам всех на свете людей, и никто, никто не чувствует боли самой Касриловки; никто, никто не интересуется касриловцами? Касриловка у мира — что-то вроде пасынка, который при несчастье, не дай бог, или в доме опасно больного раньше всех проникается сознанием нависшей угрозы, больше всех терзается, неутомимо прислуживает больному, не спит ночей, вконец изводится, про врагов наших будь сказано! Но если пасынок свалится с ног и сам заболеет, — ничего страшного! — он будет отлеживаться где-нибудь в уголке наедине со своей болезнью, пылать от жара, изнывать от жажды, умирать с голоду — никто, можете быть уверены, никто на него не оглянется...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Маленькое письмецо и великий переполох

После такого предисловия каждый легко поймет и представит себе, как бурлило в Касриловке в дни «веселой» суматохи, разыгравшейся в ту памятную

пасху, не дай бог повториться подобной... Еще до того, как к Зейдлу прибыла газета, какой-то касриловский резник получил от своего зятя письмецо, которое мы и приводим здесь дословно, так как оно было написано, но в переводе на простой язык, дабы весь народ мог его понять.

«С почетом и уважением к моему любимому дорогому тестю, знаменитому мудрецу, чье имя да славится во всех краях вселенной, а также и к моей любимой дорогой теще, смиренной, умной и благочестивой, — да сияют имена их обоих подобно звездам из края в край вселенной, да осенит их мир, всем их домочадцам — мир, и всем евреям — мир. Аминь!

С трепетом в руках и дрожью в коленях пишу я вам эти слова. Сим да станет вам ведомо, что погода у нас резко изменилась, рука человека и свинцовый карандаш не в состоянии того описать... Однако, благодарение всевышнему, все мы — и я, и моя супруга госпожа Двойрл, и наши деточки, дай им бог здоровья, и Иоселе, и Фейгеле, и Азрийликл, и Ханеле, и Гнендл, — неизменно пребываем в добром здоровье, не считая того, что очень напуганы сильным градом и страшной бурей, которая пронеслась здесь. Но, слава богу, теперь все миновало, и мы уже можем, всем людям под стать, никого не бояться; мы просим вас, я и моя супруга Двойрл, ничего дурного, упаси бог, не предполагать: мы и все наши деточки — и Иоселе, и Фейгеле, и Азрийликл, и Ханеле, и Гнендл — слава богу, здоровы. Именем бога молим немедленно отписать нам обо всем, что слышно у вас, какова у вас погода, здоровы ли вы и, во имя всего святого, — обо всем как можно подробней!»

Уже очень давно умные люди в своих сочинениях подметили, что таких мастеров читать между строк, как касриловские евреи, не сыскать на свете. Покажите им палец, и они тотчас догадаются, чего вы хотите, скажите им одно слово — и они вам немедленно добавят другие два. Для них нет ничего непреодо-

лимо сокрытого, для них не существует неразрешимых загадок.

Письмецо резникова зятя переходило из рук в руки, а сам зять резника стал притчей во языцех. Касриловцы рассказывали друг другу страшные истории со всякими подробностями, как если бы сами при том присутствовали. Черная тень уныния легла на лица людей, словно вдруг навсегда погасла в них радость. Осталось одно утешение, одна слабая надежда: а может, все это — плод воображения, вымысел; ведь возможно и так — зять резника, молодой человек, из просвещенных, любитель красивого слога, знаток древнееврейского, и очень может быть, что любовь к велеречию занесла его черт знает куда! В действительности же все это — пустые выдумки, небылицы! И чтобы подбодрить друг друга, чтобы прогнать уныние, касриловцы стали рассказывать о нынешних молодых людях — приобщавшихся к просвещению, любителях писать витиевато — такие веселые истории, что при других обстоятельствах люди покатывались бы со смеху. Но в том-то и горе, что теперь никто не смеялся — не до смеха людям было. Какая-то странная, необъяснимая тоска излилась на всех, каждому подсказывало сердце, что там произошла очень печальная история. И народ двинулся к Зейдлу.

Зейдл, наш старый знакомый Зейдл, единственный в Касриловке человек, выписывающий газету, только что вернулся с почты, возбужденный, расстроенный. Лицо его было темнее тучи, а в сердце кипела обида на всех и вся. И тут люди узнали: то, чему боялись верить, — подлинная правда.

«Счастье, что здесь, в Касриловке, такая пакостная штука не может случиться, здесь такая беда не может произойти!»

Так утешали они один другого, но про себя думали: чем черт не шутит — на сильном ветру даже искра вызывает пожар, и дело кончается страшным бедствием. И касриловские евреи стали потихоньку озираться, присматриваться, как обстоят у них дела с соседями, с «иными народами»...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Повествует о субботнем прислужнике Хведоре и об «иных народах» вообще

Если Хведор, который вечером по пятницам гасит свечи во всей Касриловке, и рябая Гапка, которая белит хаты и доит коз во всем городе, подходят под наименование «иные народы», мы обязаны сделать вывод, что Касриловке ни в коей мере некого и нечего бояться, и тамошние евреи могут чувствовать себя спокойно до самого пришествия мессии, потому что испокон веку живут они с этими «народами» в таком ладу, лучше которого, кажется, и желать нельзя. Хведор, хотя он и есть самый коренной, исконный житель Касриловки, тем не менее честно исполняет свои обязанности — по субботам топит печи у евреев, гасит свечи и выполняет иные работы, к которым он приучен с незапамятных времен. И если вы подозреваете, что Хведор таит за это обиду против евреев, ошибаетесь: он хорошо понимает, что они это они, а он это он; весь мир не может состоять сплошь из генералов, должны быть и простые солдаты. Правда, многие генералы, то есть касриловские евреи, очень может быть охотно поменялись бы судьбой с простым солдатом Хведором; но если посмотреть на этот предмет с другой стороны, надо признать, что необходимы и генералы, на одних только солдатах мир не может держаться; таким образом, обе стороны довольны: и они, касриловские генералы, у которых есть тот, кто с наступлением субботы обслуживает их, и он, солдат, который имеет кого обслужить и где поживиться — когда ломтем кулича, а когда и глотком водки.

— А ходи-ка сюды, Хведор-сердце! На, пей чарку, лехаим! — потчуют они его в субботу после предобеденной молитвы. Хведор снимает шапку, держит шкалик двумя пальцами, низко кланяется и желает всяческого добра.

— Дай боже здравствовать! — И, запрокинув голову, он одновременно опрокидывает шкалик, причем лицо его искривляется в страшной гримасе. Хведор

морщится так, как если бы впервые в жизни пил горькое вино. — Дуже гирка, нехай ему сто чертив и одна видьма!

— Закуси на вот, возьми ломоть, ломота тебе в кости! — говорят ему и угощают добрым куском пирога.

По тому, какими страшными проклятиями касриловские евреи осыпают Хведора, вы, чего доброго, еще подумаете, что ему и впрямь желают зла? Убереги вас бог от такой мысли! Они не отдадут вам Хведора за мешок золота, потому что он честнейший человек; оставьте в доме горы золота — он не прикоснется. А работает Хведор, как десять чертей: и печи вытопит, и помои выльет, и козу придержит, пока Гапка ее доит, наколет щепок, наполнит бочку водой, помоет посуду, как хорошая хозяйка, а при надобности и ребенка убаюкает. Никто не умеет так усыпить ребенка, как Хведор; никто не умеет так позабавить, развлечь ребенка, как Хведор, — щелкать языком, свистеть губами, барабанить пальцами, булькать горлом, хрюкать по-поросячьи и выделывать всякие иные штуки. И поэтому касриловские еврейские дети любят именно темное щетинистое лицо Хведора, именно грубую колючую свитку Хведора и не желают слезать с его коленей. По правде говоря, касриловские хозяйки не очень этому рады, потому что их дети частенько бывают голодны, а Хведор — разве уследишь? — возьмет и подсунет им втихомолку кусок хлеба из своей торбы, да и еще что-нибудь. Так что он может, не дай бог, накормить их чем-нибудь запретным, черт знает чем... Но это — заблуждение, Хведор никогда ничего такого не сделает: он очень хорошо знает — то, что евреи едят, ему, Хведору, законом есть разрешено, а то, что он, Хведор, ест, им есть нельзя. Почему? Это уже не его ума дело. А почему, к примеру, слегка дунуть на свечку, или прикоснуться к подсвечнику, или отнести молитвенник в синагогу и всякие иные такие же легкие работы ему в субботу можно делать, а им нельзя? Долгие рассуждения по этому поводу ни к чему, каждый должен придерживаться своего. И если случается, что Хведор

в пасху вдруг не удержится, ухмыльнется и скажет о сухой маце: «Дуже трещит, нехай ему сто чертив и одна видьма!» — ему тотчас затыкают рот мгновенным ответом: «А твоя свинина, кабан ты этакий, лучше?» И Хведор замолкает.

Но Хведор тих только пока трезв, пока не напьется до того, что себя не помнит. Это случается с Хведором очень редко, но уж когда это с ним случается — берегись! Тогда он начинает бить себя кулаками в грудь, заливается горькими слезами и кричит: почему никто его не пожалеет? Почему пьют его кровь, почему его поедом едят? Вот он сейчас пойдет и разнесет в пух и прах всю Касриловку!..

— Жиды, нехристи, нехай им сто чертив и одна видьма! — орет он до тех пор, пока не уснет. А основательно выспавшись, снова как ни в чем не бывало возвращается к евреям, и Хведор снова для них тот же тихий, кроткий «Хведор-сердце», что и прежде.

— А где твои чоботы, рожа твоя бесстыжая? — спрашивают его и начинают поучать, осыпая в то же время, как полагается, страшной руганью: «Шо ты соби думаешь, босяк ты этакий? Ты ж подохнешь под забором, чтоб тебе век света не видать, господи боже!»

Хведор стоит, почесывает в затылке и молчит. Он очень хорошо знает, что они правы, а он неправ. Опустив голову, глядит он на свои босые ноги и размышляет, когда это ухитрился он продать свои сапоги, «нехай ему сто чертив и одна видьма!»

Вот какого рода человек Хведор.

И все прочие «иные народы» в Касриловке, которые постоянно соприкасаются с евреями, хорошо заучили, что с самого сотворения мира евреи созданы, чтобы быть лавочниками, купцами и перекупщиками; потому что никто не умеет так торговать, как еврей, ни в ком нет такой оборотистости, как в еврее, ибо «с тем рождены», на их языке это выглядит так: «На то воны жиды, шоб гандлювалы...» [1] Они частенько

---

[1] На то они евреи, чтобы торговать... *(укр.)*

встречаются на базаре, хорошо знают друг друга по имени и оказывают должное уважение один другому: Грицко говорит Гершке: «Мошенник», а Гершка — Грицке: «Злóдий», и все это в самом благодушном тоне, а уж если они поссорятся всерьез, оба шествуют «до рабина», и раввин реб Ийзефл, который весьма нетверд в «иных» языках, всегда решает такие споры в угоду обеим сторонам: «Нехай було[1] половина» — только бы не допустить осквернения имени божьего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Гапка — душа еврейская и Макар — враг евреев

До сих пор мы говорили об «иных народах», теперь потолкуем немного о рябой Гапке.

Гапка говорит по-еврейски, как настоящая еврейка; речь ее густо пестрит древнееврейскими словами. Она так сблизилась с касриловскими женщинами, что они, как и сама Гапка, забывают по временам, что она иноверка, и дают ей поручения, имеющие сугубо бытовой еврейский характер, к примеру — отправиться к раввину за разрешением религиозного вопроса, помочь просолить мясо *, помочь в уборке и приготовлении дома к пасхе и другие такие дела, в которых Гапка осмотрительней и щепетильней иной еврейки. Она пуще смерти боится спутать мясное с молочным *, все семь дней пасхи остерегается прикоснуться к хомецу *, ест наравне со всеми евреями мацу, уплетает за обе щеки горькие приправы к пасхальной трапезе и испытывает при этом такое наслаждение, как если бы была истинной дщерью Израиля. Касриловский пристав долго не хотел верить, что Гапка не еврейка, пока с ней не приключилась очень некрасивая история... Гапку поймали и хотели услать далеко-далеко. На ее счастье, в этом деле было замешано еще одно лицо — писарь ме-

---

[1] Пусть будет *(укр.)*.

щанской управы Макар Холодный, злобный враг евреев, истинный юдофоб, один из виднейших интеллигентных антисемитов в Касриловке. И если бы не жалость к Гапке, насладились бы тамошние евреи местью над этим Аманом *. Но так как вместе с сокрушением Макара должна была пострадать и Гапка, свидетели из евреев дали делу обратный ход, заявили следователю, что все их прежние показания были брехней, — и дело замяли... С той поры Макар Холодный должен был, казалось бы, заключить с евреями мир и стать их лучшим другом, но вследствие какой-то необъяснимой игры природы он, наоборот, стал еще большим врагом евреев, еще большим юдофобом, еще более ярым антисемитом, чем прежде.

Макару еврейский народ, можно сказать, причинял страдания с самого детства, и он глубоко в сердце затаил злобу — вначале против одних только касриловских евреев, а позднее — против евреев во всем мире. Когда он еще босоногим мальчонкой гнал, бывало, отцовских гусей на пастьбу, ему не раз встречались еврейские дети, возвращавшиеся из хедера, и вместо того чтобы поздороваться с ними, он забавы ради кривлялся, передразнивал их говор «тателе-мамеле», тряс при этом полой, отнюдь не желая, упаси бог, никого этим оскорбить, а просто так, вполне беззлобно. Но еврейские дети, святая паства, внуки Иакова, изучающие Пятикнижие с комментариями, они-то как раз считали себя оскорбленными и на его насмешки отвечали песенкой на еврейском языке. И хотя слов Макар понять не мог, но по мотиву и по тому, как дети при этом гоготали, он легко догадывался, что его стараются задеть до самой печенки, и не ошибался. Вот она, эта песенка:

Мне — в будни
Варят студни!
Мне — прибыль,
Тебе — погибель!
Мне — кобыла,
Тебе — могила!
Мне — отвозить
Тебя хоронить!

Глупые дети! Во-первых, на самом деле все обстояло как раз наоборот: хлеб и мясо были у Макара, а не у них; верхом на кобыле ездил Макар, а не они! А во-вторых, как смели еврейские дети, если даже их целый десяток, задирать Макара, если даже он один? Макар обладал, учтите, ручищами, которые вполне могли противостоять десяти умным, острым, изощренным головкам десяти лучших еврейских мальчиков. Макар дал им еще тогда ощутительно — ого! — понять смысл слов, которые они заучили в хедере: «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исавовы...» *

Позднее, когда Макар учился в приходском училище, он встречался с ними летом в поле за городом, а зимой — катаясь на льду, и каждый раз между обеими сторонами обязательно возникали распри. На кличку «жид», которая, собственно, представляет собой обыкновенное слово, такое, как, к примеру «паршивец», — они ему грубо отвечали: «свинья». За их едкие насмешки он платил тумаками, довольно-таки наглядно показывая, как сыны Израиля удирают от филистимлян и как филистимляне преследуют их по пятам с жердями и каменьями, с гиканьем и криком, со свистом и улюлюканьем:

Ату-ту, жиды, гей,
Тэр, тэр, тэр!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Показывает, как из антисемита получается философ

Дальше приходского училища Макар не пошел — он остался, не про вас будь сказано, сиротой. В наследство от своих родителей получил он небольшой домишко с клочком огорода. Будучи грамотен, он тотчас потянулся к «службе» — взялся за перо, выработал себе недурной почерк и стал в касриловской

мещанской управе писарем, потом — секретарем, потом — «всякому делу головой»; тогда-то и начались его встречи и близкое знакомство с касриловскими евреями...

В стычках, происходивших между Макаром и ими, вначале не было ничего особенно угрожающего; обе стороны ограничивались обидными намеками, колкостями, взаимными насмешками. Он — им: «Ицка, Берка, ой-вей, шабес, кугл!» А они — ему: «Ваше благородие», и щелкали при этом по своему воротнику, словно сбрасывая с него что-то ползающее...

Бывают иногда, скажу вам, такие намеки, которые в десять раз хуже самой злобной ругани, и есть слова, которые в тысячу раз хуже пощечин. А на острые словечки касриловские евреи первые мастера, они величайшие задиры в мире! Ради того чтобы пошутить, касриловец, всему миру известно, не поленится пройти десять верст пешком, он готов рискнуть своим заработком, чуть ли не жизнь свою поставить на кон. Касриловский нищий, попрошайка, из тех, что ходят по дворам, когда ему кто-нибудь отказывает в подаянии, просит, чтобы ему хоть разрешили рассказать притчу, и очень часто бывает, что он получает за свою притчу весьма грустную награду — вылетает со двора, распахнув собственным лбом ворота; но о происшедшем не жалеет, главное он сделал — высказал, что хотел, и к месту привел поговорку. Вот каковы они, мои касриловцы, и вы ошибаетесь, если считаете, что их можно переделать, и если думаете, что я стыжусь своего родства с ними... Но вернемся к нашему Макару.

Ни за что ни про что касриловские евреи нажили опасного врага. Они полагали, что Макар вечно будет писарем в мещанской управе, забыли, что он не «без роду-племени» и рвется к чину. И действительно! Не успели они оглянуться, как Макар вырос, стал большим, здоровым, с пышными черными усами и с кокардой на красном околыше фуражки! И едва нацепив кокарду, он тотчас распрямился, выпятил жи-

вот, стал казаться выше и толще, чем был на самом деле, широко расправил плечи и как-то по-новому зашагал — совсем не тот Макар! Его уже величали по-новому — Макар Павлович, и он был на короткой ноге со всеми господами в городе: с ветеринаром, с фельдшером, с почтмейстером.

Дружба с почтмейстером пригодилась ему больше, чем все остальные знакомства, так как на почте он открыл родник, из которого черпал свое просвещение, все свои познания, — единственный экземпляр газеты «Знамя», которую первым, конечно, просматривал сам почтмейстер, потом — Макар Павлович, а уже последним — абонент этой газеты, какой-то аристократишка из Злодеевки, здоровью которого, небось, не повредит, если узнает все новости несколькими днями позже, черт его не возьмет, он все равно дни и ночи играет в стукалку и обирает всех своих соседей по округе до последнего гроша. Это сказал сам почтмейстер, так что у Макара Павловича было что почитать и о чем поговорить. А «Знамя», как известно, газета еврейская, она ведь только и думает что о евреях, полна забот о них, изыскивает всякие способы избавиться от них, разумеется, ради их же блага, — она-то и дала нашему Макару основательные познания в еврействе, и вширь, и вглубь, и стал он, с божьей помощью, всесторонне и весьма значительно осведомлен о еврейских делах, стал великим знатоком талмуда, основ иудейской догматики, всех еврейских законов и обычаев, в силу которых все евреи процентщики, в силу которых все они обманщики и вымогатели и в силу которых все они — конечно, не без того! — потребляют христианскую кровь в пасху. Эти предметы так сильно захватили нашего философа Макара, что захотел он дознаться о них из верного источника, от самого корня — от самих касриловских евреев; среди них, хотя он их и ненавидит, как набожный еврей свинину, у него имеются друзья, с которыми он по сей день живет в мире и согласии.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Богач Мордхай-Носон и его жена Теме-Бейля

Один из первых друзей Макара в Касриловке это Мордхай-Носон — богач и значительное лицо в городе, куда значительней многих других именитых хозяев.

Богач Мордхай-Носон, как и подобает богачу, держит город в своих руках, вертит им как хочет, потому что он откупщик коробочного сбора, он староста синагоги, он первый среди первых, он главный заправила, он все и вся, одним словом, он богач. Хотя, если заглянуть в суть вещей, если пожелать установить, в чем заключается его богачество, окажется, что никто этого не знает. Если вы, к примеру, обратитесь к первому встречному касриловцу и спросите: как велико, по его мнению, состояние Мордхай-Носона? Тот остановится, погладит свою бороденку, качнет головой и нараспев протянет, глубоко при этом вздохнув:

— Мордхай-Носон? Про меня будь сказано — иметь хоть половину, хоть сотую долю того, что он имеет, конечно, кроме его бед... Шутите с Мордхай-Носоном? Мордхай-Носон — богач!

— Что значит богач? Во сколько, примерно, его можно оценить?

— Оценить? Легко сказать — оценить! Разве такое оценишь?

— Но все-таки, в чем состоит богатство Мордхай-Носона?

— Мордхай-Носона? Во-первых, Мордхай-Носон имеет дом, собственный.

— Ну?

— И двор, собственный.

— Ну?

— И коз, несколько.

— Ну?

— А магазин? Стоящий магазин!

— Ну?

— А коробочный сбор?

— Ну?

— Опять-таки «ну», и еще раз «ну» — что вы нукаете? Вам все еще мало? Чего же вы хотели? Чтобы он открыл собственный банк? Сорил золотом? Разъезжал в каретах?

Касриловец уходит от вас обиженный — и он прав. В самом деле, почему нужно требовать от Мордхай-Носона больше того, что у него есть, когда он все-таки богач, все-таки первый среди первых, все-таки видное лицо в городе? Кто староста погребального братства? Кто самое влиятельное лицо в городе? Кто главный заправила? Он, Мордхай-Носон! Кто устраивает у себя по субботним вечерам для отцов города проводы царице-субботе? Мордхай-Носон. Кто почитаем начальством? Мордхай-Носон. Куда ни глянь — Мордхай-Носон и Мордхай-Носон!

Мордхай-Носон, понимаете ли, знает, как нужно обходиться с людьми, как нужно вести себя с начальством. Каждую пятницу вечером к нему приходит в гости пристав, полакомиться рыбой. Касриловский пристав — великий любитель еврейской фаршированной рыбы, и всякий раз не может нахвалиться, надивиться, как хорошо варят у евреев рыбу, как она вкусна, как сладка — он ест и прямо-таки облизывается.

— Нема лучше, як жидовска рыба с тертым хреном! — непременно говорит он одно и то же каждый раз.

Хозяину и хозяйке эта похвала, видимо, очень по душе, оба умильно улыбаются, их так и распирает от гордости, аж пот прошибает от удовольствия. И Мордхай-Носон принимается убеждать гостя, что есть у евреев и лучшие яства, нежели рыба с хреном. Гость не хочет верить.

— А ну, к примеру?

— К примеру...

И Мордхай-Носон перебирает в уме еврейские блюда, ищет среди них нечто такое, что было бы лучше рыбы с хреном, и боится назвать. Цимес? А вдруг пристав останется ждать цимеса — на кой черт это

ему нужно? Кугл? А вдруг он прикажет распечатать «чолнт» ни с того ни с сего в пятницу вечером? Разве угадаешь наперед, какие неприятности подстерегают еврейский кугл?.. И Мордхай-Носон пробует отделаться мелким смешком: «Хе-хе!» На это гость ему отвечает: «Хе-хе-хе!» Мордхай-Носон рад, что тот смеется, и помогает гостю смеяться: «Хе-хе-хе-хе!» Пристав толкает хозяина локтем в бок, одновременно одаряя улыбкой хозяйку, и хозяин с хозяйкой млеют от удовольствия.

Вдруг гость спохватывается, встает, вытирает руки и рот краем белоснежной скатерти, застегивается на все пуговицы и произносит уже серьезно, без всякого признака шутливости:

— Пора на службу!..

И Мордхай-Носон с Теме-Бейлей встают в честь гостя, провожают к выходу, заглядывают ему в глаза с таким выражением, с каким собака глядит на своего хозяина, желая угадать, что у того на уме, угодливо кланяются и просят не забыть, упаси бог, прийти в следующую субботу...

— Чтоб тебе подохнуть! — благословляет хозяйка ушедшего гостя, едва закрыв за ним дверь. Теме-Бейля шипит, шипит, злится на мужа, который дни и ночи, даже в субботу, водится с начальством. Мордхай-Носон слушает и молчит, набрал воды в рот и молчит. Странный человек наш Мордхай-Носон. Автор настоящей истории не может удержаться, чтобы не набросать портрет этой четы и, таким образом, познакомить с нею весь мир.

Мордхай-Носон — высокий, сухой длиннорукий человек, у него широкие скулы, отчего его лицо, едва обросшее жидкой бороденкой, кажется четырехугольным, как у китайца. Лоб его покрыт множеством морщин, губы сжаты, рот несколько перекошен, кажется, будто он всегда хранит про себя какой-то секрет; говорит Мордхай-Носон, не повышая голоса, он всегда серьезен и на слова скуп. Зато в обществе начальства это совсем не тот Мордхай-Носон: морщины на лбу расходятся, исчезают, лицо светлеет, размыкаются губы, и Мордхай-Носон начинает гово-

рить. Нет, положительно это не тот, это уже совсем другой Мордхай-Носон. И знаете, почему он столько якшается с начальством? Только из тщеславия, в погоне за почетом — неминуемо когда-нибудь кому-нибудь из касриловцев что-нибудь понадобится, и явится он к Мордхай-Носону с поклоном: «Как же так, реб Мордхай-Носон, кто у нас еще так уважаем начальством, как вы?..» Ради одного этого «уважаем» он готов платить собственным унижением, даже деньгами, — странный человек Мордхай-Носон!

Жена Мордхай-Носона, богачка Теме-Бейля — в отличие от мужа — низенькая и толстая, похожая на медную ступку или на пузатый самоварчик с маленьким остроконечным чайником на конфорке. Насколько она толста и кругла у основания, настолько мала и остроконечна ее головка. И вечно кипит он, этот пузатый самоварчик, кипит и шумит — Теме-Бейля зла на мужа, зла на прислугу, зла на касриловских коз, зла на касриловских женщин, зла на весь мир! Все счастье только в том, что и муж, и прислуга, и касриловские козы, и женщины, и весь мир обращают на нее внимания не больше, чем Аман на грохот трещоток. Муж погружен в общественные дела, всегда с начальством; прислуга все делает ей назло — и подгорает каша, и сгорает картошка, и выкипает молоко в печи; касриловские козы отравляют ей жизнь — прыгают на крышу, выдергивают всю солому из стрехи; касриловские женщины ее до смерти изводят, обставляя на базаре при покупке рыбы, в мясной лавке — при покупке мяса, в синагоге — при чтении жалоб к господу богу и, да простится мне, что рядом помянул, даже в бане... Нет, мир не очень высоко ставит Теме-Бейлю! И, надо думать, не зря. Не сошел же целый мир с ума...

Теперь, довольно близко познакомившись с этой четой, мы, кажется, можем спокойно идти дальше, перейти к остальным персонажам, в кругу которых столь «уважаем» богач Мордхай-Носон.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Большой господин» является в лавку и в дом богача

Другой частый гость богача Мордхай-Носона это — наш знакомый Макар, Макар Павлович. Но он не домашний гость, а завсегдатай лавки — он часто навещает Мордхай-Носона в его мануфактурном магазине. Мануфактурный магазин Мордхай-Носона, надо вам знать, лучшее суконно-торговое заведение в Касриловке, где, кроме демикотона, репса, люстрина, парусины, ситца, мадаполама и миткаля, вы найдете также и драп, и трико, и шевиот, и бархат, и атлас, и сатин, и муслин, и все, что душе угодно, — «по последним образцам, которых не найти даже в Егупце». Так говорит Мордхай-Носон, так говорит его жена Теме-Бейля, так говорят приказчики Мордхай-Носона, и подите рискните сказать им, что это не так! Все господа Касриловки и округи являются клиентами Мордхай-Носона и в большинстве своем верят ему на слово. Стоит Мордхай-Носону произнести только одно слово «бенэмонэс» [1], и они тотчас перестают рядиться. Теме-Бейля может клясться всеми клятвами на свете, и все напрасно — ей веры нет, одно только слово Мордхай-Носона «бенэмонэс» это — святая святых. Так обстоит дело, и задавать вопросы тут незачем.

И Макар принадлежит к числу тех клиентов Мордхай-Носона, которые ведут с ним дела на веру. Макар — его давнишний покупатель, еще с той поры, когда он был не Макаром Павловичем, а Макаркой, которому Мордхай-Носон, бывало, не хотел поверить и нитки в долг; он с ним не особенно церемонился и говорил просто:

— Дающий деньги берет хлеб — ваши гроши, наш товар.

Позднее, когда Макар приобрел кое-какой вес в управе, Мордхай-Носон открыл ему кредит, конечно,

---

[1] Честное слово *(древнееврейск.)*.

под расписку, под векселек, говоря при этом с улыбочкой и мешая русскую речь с древнееврейской:

— Не обижайтесь, панич, машкн[1] в кармане — шолом[2] в доме...

Еще позднее, когда у Макара появилась кокарда и пелерина, Мордхай-Носон открыл ему широкий кредит. И теперь, когда Макар Павлович входит в мануфактурный магазин, Мордхай-Носон пододвигает ему скамейку и наделяет его титулом «ваше высокоблагородие». Макар сидит, широко развалившись, заложив нога на ногу, курит папиросу и беседует с Мордхай-Носоном запросто, на «ты», но вполне дружелюбно:

— Эй, послушай, Мордхай-Нос!

А Мордхай-Носон стоит перед ним с притворным благодушием, с лицемерной почтительностью, в то же время думая про себя: «Большой господин», и откуда ты только взялся такой?» А этот «большой господин» заводит разговор о евреях, о еврейских махинациях, о шахер-махерстве, то и дело прерывая себя громким смехом, сопровождаемым каким-то странным кашлем, который отдается у Мордхай-Носона как удар железного аршина под самое седьмое ребро. Но внешне богач сдержан и улыбается поганой деланной улыбочкой, такой, что посмотри в эту минуту Мордхай-Носон в зеркало, — он стал бы сам себе противен.

Разговоры «большого господина» обычно вертятся вокруг таких вещей, которые занимают Мордхай-Носона, как прошлогодний снег, — в одно ухо вошло, в другое вышло; но понемногу Макар переводит разговор на такое, что Мордхай-Носону уже и слушать невмоготу. Правда ли, спрашивает Макар, что евреи каждую субботу проклинают в синагоге все иные народы и призывают на них погибель, что они сплевывают, упоминая церковь, что по выходе христианина из еврейского дома за ним вслед выливают помои? Говорит он и всякий иной вздор, ни с чем не сообразные глупости.

---

[1] Залог *(древнееврейск.)*.
[2] Мир *(древнееврейск.)*.

Мордхай-Носон пытается уклониться от этих разговоров, перебивает Макара расспросами — об упразе, о коробочном сборе, о свечном сборе. Какое там? Макар ни в какую не дает себя заговорить, хоть кол на голове теши! Он подступает к Мордхай-Носону — пусть раз навсегда скажет, пусть признается. Мордхай-Носон пробует отделаться шуткой и спрашивает: «Где это его высокоблагородие штудировал такие еврейские законы?» Макар глядит ему прямо в глаза и прибегает к уловке: задает вопрос вдруг, неожиданно так сказать припирает к стене:

— Ну, а кровь?

— Какая кровь?

— В пасху?.. На мацу?.. А?..

В ответ и Мордхай-Носон отыскивает верное средство — легонько трогает господина за плечо, гладит его пелерину и с гаденьким смешком заискивающе говорит: господин, мол, большой шутник, хе-хе-хе! И когда господин поднимается и уходит, Мордхай-Носон в похвалу ему высказывает соображение, что «большой господин» — трудный господин, то есть нельзя про него сказать, что он головорез, боже упаси! Он просто собака, собачий сын...

Однажды — было это в субботу днем — богач Мордхай-Носон сидел у себя дома, углубленный в «Поучения отцов»; вдруг открылась дверь и вошел... Макар Холодный! Вначале наш богач сильно удивился, вроде даже испугался: с чего это «большой господин» нагрянул после обеденного сна? Однако тут же изобразил на лице дружелюбную мину, с улыбкой попросил гостя сесть, а сам снял с себя субботнюю шапку, остался в ермолке, и крикнул жене:

— Теме-Бейля! Где ты там? Подай-ка нам чего-нибудь пожевать!

Макар отмахнулся:

— Не нужно. Меня привело к тебе дело. Это — секрет...

Услышав слово «секрет», Мордхай-Носон вскакивает и намеревается замкнуть дверь, но Макар берет его за руку:

— Не надо, это не такой секрет, чтобы нужно

было запираться. Хочу тебя спросить об одной вещи — ты человек умный и честный, от тебя я узнаю истинную правду.

Мордхай-Носон самодовольно гладит свои пейсы, комплимент так ему по вкусу, что глаза застилает маслянистая пелена, он тает от удовольствия и очень жалеет, что никого при этом нет.

— Ты слышал, вероятно, об истории с девушкой? — спрашивает Макар и глядит ему прямо в глаза, как следователь.

Мордхай-Носон, точно заяц, настораживает уши.

— С какой девушкой?

— С девушкой, которую евреи зарезали, отцедили ее кровь и спрятали на пасху.

Сначала Мордхай-Носон закатывается своим дробным смехом — хе-хе-хе! Потом лицо его бледнеет, зеленеет, а глаза загораются огнем.

— Ложь и клевета! — говорит Мордхай-Носон, трясет головой, и пейсы его качаются.

— Позволь, в газетах пишут! — говорит Макар и не сводит с него глаз.

— Газеты брешут, как собаки! — выкрикивает Мордхай-Носон.

— Газеты пишут, что имеется протокол, — настаивает на своем Макар, — я сам читал, что имеется протокол.

— Подлая ложь! — кричит истошно Мордхай-Носон, трясет головой в ермолке, и пейсы у него дрожат.

— Что подлая ложь? — спрашивает Макар, багровея от злости. — То, что я рассказываю? Или то, что написано в протоколе?

— Все ложь и клевета! Все! От начала до конца! Ни на волос правды!

Мордхай-Носон при этом машет руками, кривит лицо, моргает глазами, трясет пейсами и весь дрожит от негодования. Макар никогда не видел его таким злым, и сделал окончательный вывод: не зря этот еврей так возбужден; по-видимому, то, что о них говорят, — действительно правда; иначе почему он кричит, почему выходит из себя? Но какова, скажите, наглость еврея — назвать все, что написано, подлой

ложью! И Макар Холодный в великом гневе встает, напяливает на себя фуражку с кокардой и говорит:

— За свои слова ты ответишь, я тебе их припомню!

Макар устремляется к двери. Мордхай-Носон тотчас встает и бежит следом за ним — он уже жалеет о случившемся и хочет ублаготворить, вернуть назад Макара.

— Пан!.. Ваше высокоблагородие!.. Макар Павлович!.. Макар Павлович!..

Дело — дрянь! Макар Павлович ушел, и богач Мордхай-Носон вне себя от огорчения. Его грызет сомнение — а не сказал ли он и в самом деле чего-либо лишнего? Черт занес сюда этого Макара! А тут еще словно назло явилась Теме-Бейля и пристала к нему — пусть скажет: что здесь делал «большой господин»? Почему он так скоро ушел? Почему он так сильно хлопнул дверью?

— Поди спроси его! — раздраженно ответил Мордхай-Носон.

— Полюбуйтесь-ка! Как это он, скажите на милость, злится! С какой ноги ты сегодня встал и что за сон тебе приснился?

— Кочан капусты!!! — Богач Мордхай-Носон рявкнул так, что жена чуть в обморок не упала, да и сам он испугался своего голоса, а служанка, чернявая женщина, прибежала из кухни, ни жива ни мертва, с воплем:

— Погибели на вас нет! Вы же меня насмерть перепугали!

Теме-Бейля налетела на нее, размахивая кулаками, Мордхай-Носон накинулся на них обеих, и дело завершилось таким скандалом, который описывать здесь вовсе ни к чему.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Касриловка спешит в путь

Началась для Касриловки пора бедствий, страданий и напрасных страхов. Никто не мог понять, почему Макар Холодный стал еще большим евреенена-

вистником, чем был, и почему он перестал бывать в магазине богача? Сам богач, видимо, стыдился об этом рассказывать, он проглотил эту историю молча, а Макар продолжал пакостить евреям, сколько мог, издевался над касриловцами, при всяком удобном случае огорошивал их все новыми известиями — недолго им осталось, мол, здесь хозяйничать; скоро от них потребуют отчета: откуда взялось к ним все их добро? Они не трудятся, не пашут, не сеют и не жнут, а приходят на готовенькое. Чем они заслужили это? Говорил он и многое другое в том же роде, повторял все, что вычитал в газете «Знамя». Именно в то время у него и случился конфуз с Гапкой, из-за которого он чуть не испортил себе карьеру, чуть не попал в большую беду, о чем мы уже упомянули мимоходом в предыдущей главе. Когда же Макар, с божьей помощью, вышел чист из этого дела, он с новой силой принялся досаждать касриловским евреям, осыпать их угрозами — вот-вот, мол, как следует, возьмутся за них... Тогда же как раз и прибыло то «милое» письмецо от резникова зятя, которое по всему городу переходило из рук в руки; к тому же еще Зейдл со своими газетами поддавал жару, подливал масла в огонь, и по городу поползли слухи один другого страшней, и наконец прошла молва, что вскоре и здесь, в Касриловке, произойдет «то же самое»...

Откуда все это взялось? Кто был первый, пустивший слух? Никто этого по сей день не знает, и не узнает никогда, до скончания века! Если ученый когда-нибудь возьмется за описание истории касриловских евреев, подойдет к этому периоду и станет изучать бумаги, документы, газеты, — он, конечно, застынет в раздумье с пером в руке, мысли унесут его далеко-далеко...

Как оно началось, откуда взялось, неведомо, но по городу вдруг разнеслось, что на Касриловку идут... Три деревни сразу идут... И в одно утро вся Касриловка поднялась как один человек; упаковывали перины, подушки, одеяла, детей, тряпье — весь нищенский скарб касриловской бедноты; спасали, как от пожара, свои жалкие пожитки и собирались в путь —

куда? Куда глаза глядят! Матери держали на руках своих малюток, прижимали к груди и со слезами на глазах целовали, обнимали, ласкали, словно кто-то намеревался, упаси бог, отобрать их, словно они и впрямь кому-нибудь были нужны...

Одна за другой запирались в Касриловке лавчонки; один поглядывал на другого, один от другого таился, каждый старался опередить соседа, все спешили — скорее бы! Хведора в то утро чуть не разорвали на части. Каждый тащил его к себе, помочь укладываться. Со всех сторон совали ему — да тайком один от другого — кто гривенник, кто пятачок. Никогда еще Хведор не был таким уважаемым лицом в Касриловке, как в тот день, и никогда еще Хведор не имел такой кучи денег; и стал он до того богат, что наконец плюнул: «Нехай ему сто чертив и одна видьма!» — и отправился туда, куда следовало, основательно выпил в честь отъезжающих касриловских хозяев и, нализавшись в полную меру, вовсю разошелся — стал махать кулаками и кричать, что давно уже пора избавиться от касриловских евреев; а в это самое время — козни сатаны! — проходили мимо Макар Холодный с господином почтмейстером и услышали разглагольствования Хведора об евреях. Оба господина остановились и увидели, что евреи укладываются и что-то уж очень поспешно собираются в путь; это показалось им странным, и они принялись подсматривать: куда же бегут евреи?

Слежка этих господ усилила переполох среди касриловцев, и они бросили увязывать узлы — пропади пропадом все это хозяйство! Жизнь надо спасать, жизнь всего дороже!.. Наняли, где что смогли — повозку, лошадку, пару быков, — и без задержки, не мешкая, двинулись в путь. Шли быстро, быстро, почти с такой же поспешностью, как их предки при исходе из Египта.

Впереди всех, разумеется, летели, как орлы, касриловские фурманы со своими высокими фурами и кибитками; в них сидели богач реб Мордхай-Носон со своей семьей и все остальные богачи со своими семьями. За ними тянулись нанятые крестьянские под-

воды, на которые взобрались женщины, дети, больные, а сзади шагали мужчины — хозяева среднего и малого достатка, так называемое простонародье; они, бедняжки, шли, извините, пешком, торопились и боялись оглянуться — а вдруг за ними гонятся, а вдруг потребуют, чтобы они, упаси боже, вернулись назад...

Тихо стало в Касриловке, пусто и тоскливо, как на кладбище. На улицах ни души. Из живых существ в городе остались только козы — все богатство касриловских евреев, рябая Гапка, банщик с банщицей и, тысячу тысяч раз да простится мне, что посмел рядом помянуть, старый раввин реб Ийзефл.

Об этих живых существах мы и будем говорить — о каждом в отдельной главе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Посвящена философствованию

Ученые, посвятившие себя изучению природы, те, что наблюдают и знают сущность каждого ее создания, каждой травинки, доказывают на фактах, что никакая вещь в мире не уничтожается, не пропадает, не умирает. Мы, к примеру, говорим: дерево росло, ветви его цвели, давали плоды, потом ветви отцвели, плоды мы сорвали и съели, листья осыпались, дерево мы вырубили, пустили на топливо — кажется, конец? Не стало дерева? Нет, говорят ученые, дело обстоит не так! Дерево, говорят они, только распалось на свои составные части; плоды, говорят они, давали нам питание, листья дарили нам аромат, древесина согревала нас — дерево жило, и мы жили. Но вот, скажем, мы умерли, и наше тело положили в землю — мы также распались на наши составные части; на нашей могиле выросла травинка, травинку съела коза, и у нее появилось молоко; молоко пило малое дитя, и оно набиралось жизненных сил, росло, вырастало в человека, который, отживая свой век, умирал и опять распадался на свои составные части — снова травинка,

снова козы, снова молоко, снова малые дети и так далее, и так далее, до бесконечности.

Вы, надо думать, уже догадываетесь, куда ведет эта философия? Она ведет на разбросанные древние могилы старого касриловского кладбища. И эти могилы, и эти козы, и эти касриловские евреи — все они вместе составляют такую цепь, которая тянется уже долго, долго, и кто знает, сколько она еще будет тянуться...

Если вы захотите узнать, как давно Касриловка стала еврейским городом, вам не следует листать ветхие страницы истории, — там вы ответа не найдете. Вам придется немного потрудиться и побывать на старом касриловском кладбище, осмотреть древние могилы, над ними старые выветрившиеся надгробия, простые деревянные памятники, грубые серые камни, которые, словно коленопреклоненные, стоят уже много, много лет; кое-где проступают на них полустершиеся, едва заметные буквы: «Здесь похоронен раввин, праведник, такой и такой-то», «Здесь покоится благочестивая и смиренномудрая такая и такая-то». Год смерти разобрать трудно — но не трудно понять, что все это было очень и очень давно, так как многие памятники рассыпались, многие могилы заросли травой; и козы, касриловские козы, которым нечего есть, перепрыгивают через повалившийся забор, щиплют эту траву и приносят домой вымя, полное молока, и у детей касриловской еврейской бедноты появляется еда — источник жизненной силы. И как знать, кто они такие, эти козы? Быть может, живет в них душа какого-нибудь человека, и даже совсем близкого человека? Кто знает, как тесно связаны между собой эти три вида — старое касриловское кладбище, пасущиеся на нем козы и, наконец, они сами — да не будет сие умалением их чести — мои касриловские евреи?

Вот к каким размышлениям привел меня вид касриловских коз в тот день, когда их хозяева разбежались и поручили милости божьей все свое состояние.

На дворе стояла послепасхальная весна, снег давно освободил землю, предоставив молодым трав-

кам пробиваться, тянуться к горячему солнцу, озеленить и украсить божий мир в любом его месте, где только люди дают им расти. Но Касриловка — увы, увы! — не уголок свежих трав и не край благоухающих деревьев. Касриловка — сторона грязи, песка, пыли, густого зловонного воздуха — задохнуться можно! — и еще многих таких же милых, чарующих красот. Зеленую траву можно найти только на кладбище, поэтому и унесло меня туда мое воображение, моя фантазия, в тот день, день великого переполоха; там обозревал я стадо покинутых осиротевших коз, и у меня защемило сердце — стало больно как за бедняжек коз, так и за маленьких еврейских детей, оставшихся в этот день без капли молока. Я смотрел на бедных коз, на то, как они стоят, жуют, трясут бородками, глядят недоуменно-удивленно, глуповато-задумчиво, и все мне казалось, что они меня спрашивают: «Дяденька! Вы, может, знаете, куда девались наши хозяева и хозяйки? С какой такой радости они вдруг разбежались?..»

Покинем святое место, касриловскую божью ниву, и направимся с вами в город, чтобы увидеть остальные живые существа, оставшиеся в Касриловке после великого переполоха.

Я имею в виду банщика с банщицей и призреваемого ими немощного, престарелого раввина реб Иойзефла.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Повествует о раввине реб Иойзефле

Много раз упоминал я и выводил в моих правдивых невыдуманных рассказах одного из любимейших моих персонажей — касриловского ребе и раввина реб Иойзефла, и ни разу не остановился я на нем, чтобы как должно вас с ним познакомить. Знаю, с моей стороны это большая несправедливость, постараюсь же хоть тут исправить мое упущение.

Реб Иойзефл — человек весьма преклонных лет, дряхлый старец — особым здоровьем никогда не

отличался, но и поныне в его немощном теле живет душа здоровая, чистая, нетронутая; именно в этом хвором теле бог поселил вечно юную, вечно живую душу и наказал, чтобы она там держалась, долго держалась, пока не наступит положенный срок, пока сам бог ей не скажет: «Идем, приспело время, в рай пора...»

И, конечно, в рай — никакого нет сомнения! Ибо ад с его пытками, муками и всеми прочими прелестями, которые нас ждут там, на том свете, наш реб Иойзефл, слава богу, уже пережил здесь, на этом свете. Нет такой беды, такого несчастья, такого горя, какого господь бог не сподобил бы изведать реб Иойзефла. Предвечный хотел, видимо, испытать своего верного раба реб Иойзефла, вот он и сыпал на него всякие злосчастья щедрой рукой, как осыпают, например, жениха орехами. Одного за другим отобрал он у него детей, предварительно, разумеется, основательно помучив их; потом — жену, раввиншу Фруме-Тему, праведницу, которая была ему как бы верным ангелом-хранителем; потом он и его самого немного пригнул к земле, осчастливил к старости несколькими славными болезнями и бросил на произвол судьбы, одинокого, обездоленного, больного. И дабы вкусил он истинные муки ада, бог подал касриловским евреям мысль — взять себе нового раввина, молодого раввина, а его, старого реб Иойзефла, на склоне лет попросить удалиться и поселиться где-то у банщика с банщицей — пусть доживает там остаток дней. Так что всевышний мог быть уверен, что теперь-то реб Иойзефл уж конечно согрешит словом, как библейский Иов, который подвергался испытаниям так долго, что наконец не выдержал и проклял день своего рождения.

Но не такой человек был наш старый реб Иойзефл. Многое, очень многое постиг реб Иойзефл своим умом. Собственным умом дошел он и до того, что все горести и муки, которых всевышний удостоил его, это — одно из двух: либо они — только испытание, ниспосланное его святой волей, лишения, предначертанные ему на этом глупом грешном свете, дабы на

том свете было ему по заслугам воздано тысячекратно; либо он эту кару честно заслужил; и если не сам — за собственные грехи, то — за грехи его бедных братьев, чад Израиля, которые в ответе один за другого и обязаны принять страдания один за другого, как в некоей артели, где, к примеру, если уличат в краже одного, то должна отвечать вся артель — каждый в той мере, какая полагается на его долю... Вот до чего дошел собственным умом реб Иойзефл и никогда не жаловался на свою судьбу. Отрешился от мира со всеми его утехами, которые он обесценил со снисходительной улыбкой великого философа, заслужив этим самым глубокую любовь касриловцев. И, хотя реб Иойзефл уже не был у них раввином, и поступления, принадлежавшие ранее ему, получал уже новый раввин, он тем не менее пользовался тем же почетом, что всегда, занимал то же почетное место в синагоге, даже имя «ребе» по-прежнему осталось за ним. Плохо было только то, что одним лишь званием «ребе» невозможно жить; плоть требует свое, хоть что-нибудь, да в рот положить, чтобы поддержать душу... И касриловских верховодов осенила идея: так как касриловская баня является достоянием общественным, пусть доход от этой бани поступает старому раввину, заодно пусть он и живет там. То есть не в самой бане; при бане есть халупа, где живут банщик с банщицей, там имеется каморка, в ней-то реб Иойзефл и сможет спокойно сидеть за талмудом.

Сидеть за талмудом? Это так только говорится. Реб Иойзефлу незачем и заглядывать в талмуд — он зрением, не про вас будь сказано, стал так плох, что едва различает дневной свет! И тем не менее не расстраивайтесь. Человек, приобщенный к мудрости, как бы стар он ни был, находит себе занятие. И если реб Иойзефл не в силах продолжать изучение талмуда по писаному, он изучает его *изустно,* читает что-нибудь на память вслух, произносит молитву, а то и просто размышляет. А поразмыслить есть над чем! О вселенной размышляет старый реб Иойзефл, и о творце вселенной, создателе, который всегда во всем прав и чьи деяния непогрешимы! И об Израиле — его народе,

который он карает, как любимое дитя, и обо всех остальных народах, обо всех живых тварях на земле, от гигантского дракона до мельчайшей букашки, до самого крохотного червячка под камнем, которого он кормит своей щедрой рукой. Отсюда и следует поучительный вывод: «Ежели таково от бога букашке, червячку, то каково же от него человеку, а тем более еврею!..» Так размышляет реб Ийзефл, и он очень доволен богом, вселенной, народом Израиля, самим собой и своими мыслями, которые неоднократно высказывает вслух, громко, так, чтобы все слышали. А в Касриловке, как и всюду, имеются любители пофилософствовать, доискаться до сути вещей, задавать вопросы; они пробуют иногда пошутить со старым ребе и коварно спрашивают у него:

— Вы, значит, говорите — букашка? Червячок — говорите вы? Объясните же нам, ребе, вот что: если всевышний и впрямь такой великий бог, и такой добрый бог, и такой милосердный бог, что кормит даже червячка под камнем, почему же не кормит он своих касриловских евреев? Неужели же мы ничтожней букашки, ничтожней крохотного червячка под камнем?..

— Ну и дети же вы, право! — отвечает им с улыбкой старец. — Приведу вам притчу о царе. Представьте себе, царь пригласил вас на трапезу; пришли вы в переднюю и увидели, что в ней не очень просторно, не очень светло, повернулись и ушли назад... Так и тут. Спрашиваю вас: разве не стоит перетерпеть немного мук и позора здесь, в тесной прихожей, в передней комнате ради того, чтобы оказаться потом в огромном, прекрасном, великолепном чертоге будущей жизни, в котором стены из золота, полы из чистого серебра, а камни — сплошь брильянты? Там, где жизнь вечна, души праведников занимают почетные места, доставляют себе всякие удовольствия, наслаждаются лучезарностью духа божьего, а тот, чье имя вечно и свято, самолично прислуживает им, подносит в золотых чашах заветное вино, на золотых тарелочках — куски рыбы Левиафана и жареного мяса быка-великана...

Последние слова о «заветном вине», «Левиафане-рыбе» и «быке-великане» реб Иойзефл добавляет, разумеется, от себя, в качестве, так сказать, придачи для простого народа, который не довольствуется одной только пищей духовной и не питает особого пристрастия к духу божьему. Простому человеку — подай простой кусок рыбы, вкусное жаркое — а это в Касриловке очень редкие удовольствия, их можно разрешить себе разве только в субботу или в праздник, и то не всякий раз. За эти сердечные добрые речи касриловцы всей душой любят старого раввина; больше всех любит его простой народ, а больше всего народа — знаменитая чета, банщик и банщица касриловской общественной бани, которым мы и посвятим отдельную главу в нашем повествовании.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Праотец Адам с Праматерью Евой в раю

Если не лишено смысла, что Шмайе, или Фишл-корреспондент, — тот, что посылает во все газеты корреспонденции, которых не печатают, — говорит про касриловскую баню, что она — земной рай, вам не должно показаться диким и то, что касриловские насмешники прозвали банщика Берку Праотцем Адамом, а банщицу Еву наделили прозвищем — Праматерь Ева. Почему их так назвали, сказать трудно. Быть может, потому, что если банщицу звать Евой, то само собой ее мужу пристало называться Адамом? А может быть, потому, что эта славная чета находилась в этом раю многие и многие годы и, огражденная от всего мира, блаженствовала тут, точно в подлинном раю? И наконец, может быть и потому, что касриловские мужчины и женщины удостаивались лицезреть этих супругов чаще всего в том самом костюме, который Адам и Ева носили до того, как вкусили от древа познания? Так или иначе, но одно мы обязаны признать — если касриловские насмешники прилепят

кому-нибудь прозвище, оно словно вместе с ним родилось, по нему скроено, по нему сшито, проутюжено, напялено и — «носи на здоровье!» Каждому казалось, что никаких других имен у банщика и банщицы и быть не может. Да и в самом деле, как иначе называть супружескую чету, которая проводит все свои дни и годы вдали от непросыхающего касриловского болота, далеко за городом, под горой, возле самого берега реки, где зеленые вербы, наклонясь, глядятся в воду, там, где в летнюю пору квакают лягушки, и так оглушительно трещат, что ошалеть можно? Такое место и вправду иначе не назовешь, как только раем, а такая супружеская чета, как банщик и банщица, это — воистину Адам и Ева в этом раю. Оба они словно созданы друг для друга с первых дней творения: он — широкий в кости, высокий, здоровенный отставной солдат с всклокоченной бородой, на нем лоснящийся ватный кафтан и всегда подвязанные сапоги, а она — высокая, дебелая, тучная женщина с изрытым оспою лоснящимся лицом, но с добрыми серыми глазами, всегда в клетчатом платке и всегда с подоткнутой юбкой, из-под которой видны ее крупные ноги, обутые в большие мужские сапоги. Эти супруги ничего на свете не знают, кроме своей бани. Они всегда находят себе занятие в бане: либо топят баню, либо чистят баню, либо чинят баню — никогда без дела не сидят, разве только ночью; тогда Адам и Ева усаживаются за миску с вареным картофелем — зимой забираются с ней на широкую печь, а летом устраиваются во дворе на завалинке — и никому, никому в Касриловке недоступно блаженство, испытываемое этой четой.

Никто, никто не имеет такого постоянно обеспеченного дохода, как Адам и Ева; и в самом деле, за аренду платить не надо, а в посетителях недостатка нет — как ни беден город, но без бани еврею не обойтись. Правда, большого богатства тут не сколотить, капиталов не нажить, а собственных домов и подавно не приобрести, потому что много ли платит он, касриловский еврей, когда заявляется накануне субботы в баню? А сколько топлива поедает баня! Котел-

то ведь уже основательно стар, камни рассыпаются, стены насквозь светятся, с потолка каплет. Каждая капля, падающая на голую человеческую спину, опаляет, обжигает, выжигает в теле дыру — моющийся подпрыгивает, вскрикивая «уф-ой», совсем как злодей в аду, когда его гонят по раскаленным гвоздям. Посетители обрушивают всю свою злость на банщика, клянут его на чем свет стоит, а он, банщик, делает свое — льет воду на раскаленный камень и ворчит себе в бороду: «Мыслимое ли дело? Баню строили еще во времена царя Гороха, а хотят, чтобы не капало!» И сам он своими руками каждый раз чинит старую баню, затыкает щели в стенах, латает крышу, подпирает ее горбылем, часто чистит «микву», дабы касриловские остряки не уверяли ехидно, что своими ушами слышали там кваканье лягушек... Праотец Адам поднимается пораньше, когда и сам бог еще спит, натруженными крепкими руками таскает воду, ведро за ведром, и попутно шпарит наизусть, да еще и нараспев длинные отрывки из псалтыря. Голос его звенит, гремит, вырывается из бани наружу, несется вместе с ветром по берегам реки и пропадает где-то далеко-далеко, там, на той стороне, где птица, забравшись на ветку, тихонько шуршит среди листвы, чистит клюв и, покачиваясь, думает о предстоящем завтраке...

А внутри хаты, что при бане, еще темным-темно. При свете коптилки сидит там банщица Ева и чинит белье, что вчера для ребе постирала, обнаружит дырку — положит заплату, где нужно — пришьет пуговицу, пусть ребе переоденется, когда встанет ото сна.

Ото сна? Какой уж там у старого реб Иойзефла, с позволения сказать, сон, когда совсем недавно, кажется, он встречал молитвой полночь, вот-вот, не успеешь оглянуться, он встанет, совершит омовение ногтей и примется за утреннее богослужение, начнет «говорить»... Что он такое говорит, Ева в точности не знает, но нет для нее большего наслаждения, чем слушать его! Каждое слово ощутимо проникает в самое сердце и растекается по всем жилочкам!

И банщица осторожно встает, проходит по комнате на цыпочках, бесшумно замешивает тесто в корыте — предстоит спечь халу к субботе.

«Ку-ка-ре-ку!» звонко протягивает белый петух с красноватыми крыльями, спрыгнув ради этого с насеста прямо на порог; он, видимо, считает, что совершил бог весть какое благодеяние, разбудив людей к труду.

— Киш в преисподнюю! — сердится Ева и с позором прогоняет его, осыпав потоком брани. — Киш, киш ко всем чертям! Надо ли, не надо ли — ему бы только кукарекать! Погоди, погоди, ты у меня немного только подкормишься, отнесу тебя к резнику, тогда тебе и будет кукареку! Ты у меня покукарекаешь!

Но слова Евы, отчитывающей наглого петуха, ни к чему, ребе уже все равно на ногах, совершил омовение ногтей и принялся за богослужение, он уже «говорит»... Что он такое говорит, Ева в точности не знает, но нет для нее большего наслаждения, чем слушать его! Каждое слово ощутимо проникает ей в самое сердце, растекается по всем жилочкам! Она с глубокой почтительностью подносит ему горячий, вкусный цикорий в горшке, и клубится пар, и аромат стоит истинно райский.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

У раввина реб Ийзефла — хорошая старость

Идея содержать старого раввина реб Ийзефла на доходы от касриловской общественной бани была одной из тех счастливых идей, какие могут родиться только в Касриловке. Банщик Берка, который по договору был обязан, собственно, за свой счет отапливать также и синагогу, — да простится мне, что рядом помянул, — этого условия не выполнял, всю зиму оставлял молящихся мерзнуть, находя каждый раз новую отговорку: то слишком сильный мороз, то сырые дрова, то на улице туман, и городил всякий иной

вздор, несусветную чепуху. И все, конечно, примирились с тем, что банщик не отапливает синагогу, только бы он содержал раввина реб Ийзефла на старости лет! Да и много ли, по правде говоря, нужно старому человеку, раввину, и тем более такому человеку и такому раввину, как реб Ийзефл, который даже в хорошие времена был не слишком привередлив. Сама раввинша, светлой памяти Фруме-Тема, говорила о своем муже, что он готов мириться со всем на свете. Подайте ему, к примеру, горящих угольев, он будет есть, будет обжигаться, но будет есть. Такой уж знал он толк в еде! Тем более теперь, в старости... Нехорошо только одно — ему будет тесновато. Но и тут нашелся выход: Адам и Ева прекрасно могут спать в бане, а ребе — в хате. Ведь баня и хата — это одно здание: стоят под одной крышей. И еще одно достоинство имеет баня — зимой там тепло, ничего не скажешь, точно в раю. Правда, это только зимой достоинство, когда приходит лето, это достоинство становится недостатком — в эту пору так жарко, что не только в бане, но и в хате растаешь от жары. Но выход найден и тут: они спят во дворе. Ведь летом во дворе в тысячу раз лучше, чем в хате, тем более тут, близ реки, в самом деле рай подлинный. Правда, и здесь имеется своя дурная сторона — у берега реки лягушки не дают уснуть. Но и на это есть свой ответ: ну, а в хате? Разве у них в хате нет лягушек? Разве не случалось с банщицей Евой, что лягушки прыгали ей в лицо либо из кровати, либо из дежи, либо прямо из печи?.. Короче говоря, ребе устроили в хате, а Адам и Ева обжились в раю, то есть в бане, и присматривали за ребе, стараясь, чтобы ему было хорошо, чтобы все у него было ко времени — и поесть ко времени и попить ко времени. С годами они очень к нему привязались, полюбили как родного.

Старый реб Ийзефл называл их «детки», а они его — «ребе». И по заслугам называли его так, потому что за всю свою жизнь они не слышали столько поучений, сколько от старого раввина реб Ийзефла

за один день. И все, что он им говорил, было для них новостью. Он представлялся им человеком, который только что прибыл из очень далекой страны и рассказывает столько дивного, такого, о чем они отродясь не слыхивали, чего даже во сне не видывали. С бьющимся сердцем сидели супруги зимой на лежанке, а летом возле дома на завалинке — глядели на ребе и разинув рты слушали его речи о мире духовном, о чудесах божьих, о людях на этом свете, об ангелах на том свете, о земле и обо всех тварях на земле, о небе с солнцем, луной, звездами и всеми прочими планетами. И не раз Праотцу Адаму и Праматери Еве, когда они сидели на дворе возле бани в теплые прозрачные летние ночи, чудилось, что этот старец с согбенной спиной, с маленькой белой бородкой и добрыми, добрыми глазами — и сам какой-то светлый дух, который вот-вот поднимется с земли и начнет парить в воздухе, парить до тех пор, пока не исчезнет где-то там, среди планет... И сами они тоже чувствовали, будто что-то тянет их туда, ввысь, к тем серебристым полосам, к тем маленьким звездочкам — к душам, блуждающим там и не находящим себе покоя...

Один бог знает, было ли еще кому-нибудь на белом свете так хорошо, как нашей чете, Адаму и Еве, в раю, и имел ли еще кто-нибудь такую счастливую старость, какую имел здесь, у них в раю, старый раввин реб Ийзефл из Касриловки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чуть ли не впервые в своей жизни раввин реб Иойзефл сердится

Небо и земля поклялись, чтобы ничего вечного под луною не было; неизменно хорошо не должно быть никому, нигде! Существует демон-разрушитель, который всегда торчит у нас за плечами, во все вмешивается, подстерегает нашу душу, следит, чтобы мы,

упаси бог, не забыли о боге... Этот самый сатана заглянул и сюда, в описанный нами выше рай, чуть не изгнал отсюда Адама и Еву, а с ними вместе — и одинокого дряхлого старца; чуть не разорил это гнездо, чуть не разлучил любящих и преданных, чуть не разрушил их счастье навеки.

Это произошло тогда, когда банщица Ева вернулась с базара, где она хотела купить плотвы, а — не было, хотела купить картофеля, а — не было, пучка луку — и того не было, ни живой души на базаре не было. Вначале она решила, что пришла слишком рано, и немного подождала. Но вот уже и ясный день разыгрался, а на базаре и пса бродячего не видать! Только и видит она — то там, то сям евреи мечутся, увязывают пожитки, куда-то спешат. В чем дело? Бегут! Куда бегут? Куда глаза глядят!..

И пока Ева успела прийти домой и рассказать обо всем этом Праотцу Адаму, и пока Праотец Адам рассказывал обо всем этом ребе, больше половины касриловских евреев уже было по ту сторону кладбища.

Вначале реб Иойзефл и поверить не хотел, что это правда. Они бегут? Как так бегут? Потом взял он свою самшитовую палку с гнутым железным набалдашником — этой палке почти столько же лет, сколько сам он пребывал раввином в Касриловке, — и не почел за труд, невзирая на свою старость, отправиться в город, где еще успел застать нескольких собирающихся в путь евреев. Старец остановил их и с кроткой улыбкой стал укорять, поучать.

Отставшие евреи выслушали его с глубоким вздохом и с горькой усмешкой ответили:

— Да, вы бесконечно правы, но все-таки, ребе, садитесь и поедемте с нами! Послушайтесь нас, ребе, поедемте с нами и как можно скорее!

— Ехать? Куда? Зачем? Чего ради?

Но все было напрасно, никто его слов не слышал — уже и эти, отставшие евреи, были за пределами города.

Вернувшись домой в рай, то есть к банщику и банщице в баню, он застал Адама и Еву сильно

встревоженными, чуть ли не в слезах, и обратился к ним:

— Чем вы, детки, так удручены?

— Как так, — отвечают они, — вы разве не знаете, что творится? Здесь только что была Гапка.

— Какая Гапка?

— Гапка, та самая Гапка, что гасит свечи по субботам. Она понарассказала такие страшные вещи, что волосы дыбом встают!

И Адам с Евой оба разом, перебивая друг друга, пересказывают ему все то страшное, что стало им известно от Гапки, все, что на свете делается, а раввин реб Ийзефл сидит, опираясь на палку, и слушает, вдумчиво слушает. Сидит, слушает, размышляет и ни слова не говорит. Затем он поднимает голову, озирается по сторонам, кладет возле себя свою старую самшитовую палку, снимает шапку и, оставшись в ермолке, обращается к Адаму и Еве:

— Выслушайте же, детки, что я вам скажу. Все, что вы мне тут рассказали, сущие пустяки, не стоящие выеденного яйца! Сим знайте — не ведает покоя, не дремлет страж Израиля, бог не спит. Расскажу вам притчу о царе. Жил когда-то царь...

— При чем тут царь? Какой там царь? Послушайте лучше, что рассказывает Гапка! — вырывается невольно у Праотца Адама, и тут же его охватывает стыд: он чувствует, что это грубовато, весьма грубовато с его стороны. Но ничего он уже исправить не может. Реб Ийзефл отвернулся от него, надел на себя талес, надел филактерии, взял в руки священную книгу, пододвинул поближе к себе свою старую самшитовую палку, уселся за стол — на самое почетное место и, подобно царю в ратное время, он, вооруженный с головы до ног, с великой гордостью огляделся, словно говоря: «А ну, посмотрим. Пусть кто-нибудь отважится подступить сюда!..»

И от старых черных его глаз и от седых его волос веяло таким спокойствием и силой, что Адам и Ева почувствовали: ничего страшного! — у них есть на кого опереться.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Два города встречаются, расстаются ни с чем и — конец

Люди устремились на тракт, ведущий в Мазеповку, что в округе Егупца, и первая остановка предстояла им в Козодоевке — тоже еврейском городе, славящемся своими козами, о чем свидетельствует само его название. Козодоевские козы дают совсем особенные удои и отличаются от касриловских коз своими рогами, то есть тем, что у них вовсе нет рогов. На месте рогов у них спереди какая-то необыкновенная загогулина, подобие наголовного филактерия, простите за сравнение; по своей натуре они не очень пугливы, то есть гораздо степенней и глупей, чем касриловские козы. Козодоевская коза — если вы ее встретите посреди улицы, покажете ей пучок соломы и скажете: «Коз-коз-коз!» — остановится, расставит копытца и — хоть возьмись доить ее...

И люди там, не будь рядом помянуто, совсем не те люди, что в Касриловке. То есть они там точно такие же, как здесь, — с такими же сердцами, с желудками такими же, и даже голытьба такая же, как здесь. Вся разница лишь в молитве «Благословен», то есть в том, что касриловские евреи читают сначала молитву «Славьте», потом «Благословен», а козодоевские евреи, наоборот, сначала читают «Благословен», а уже потом — «Славьте». Казалось бы, какая, собственно, разница: это раньше или то раньше? И та и другая — молитвы богу. Нет, не говорите так! В давние добрые времена, когда касриловские и козодоевские евреи имели солидные доходы и не было у них недостатка ни в чем, разве только в головной боли, из-за этих «Благословен» и «Славьте» лилась, можно сказать, кровь. Сколько раз случалось, что козодоевец приходил молиться в касриловскую синагогу, а кантор становился к аналою, натягивал на голову талес, раскачивался и нараспев начинал:

— Славьте господа, призывайте имя его...

А в это время раздавался голос козодоевца на самой высокой октаве:

— Благословен тот, по чьему слову сотворен мир!

И обратно же, когда касриловец приходил в козодоевскую синагогу, а тамошний кантор, загоревшись вдохновением, только-только закрывал глаза, поднимал сжатую в кулак руку и начинал это самое «Благословен тот, по чьему слову сотворен мир», касриловец врывался, возглашая во весь голос:

— Славьте господа, призывайте имя его, возвещайте в народах дела-а-а-а-а-а-а его!

Само по себе «Славьте» было козодоевцам не столь неприятно и приторно, как «дела», которое касриловец растягивал чуть ли не на полторы сажени. Скажем, так и быть, хочешь читать: «Славьте господа, призывайте имя его, возвещайте в народах дела его» — стань тихонько в уголок и говори себе там «Славьте господа, призывайте имя его, возвещайте в народах дела его». Но какой блажи ради понадобилось тебе так долго тянуть во весь голос слово «дела-а-а-а-а-а-а»? Ты делаешь это, по-видимому, назло? А раз ты любитель делать назло, то не миновать тебе битым быть! И касриловцу тогда доставалось, да еще как. И возникла между касриловскими и козодоевскими евреями вражда, и тянулась она долгие, долгие годы. Началась она с оплеух, а кончилась ябедами, подсиживанием, всяческой гнусностью — ну, и было тогда у мира возни с ними! Посторонние люди вмешивались в их тяжбы, сделали их посмешищем, с их еврейскими обычаями и глупыми выходками, называли милым именем «фанатики». Короче говоря, все это было — фу! — отвратительно и до тошноты безобразно!

Правда, те глупые, но счастливые годы уже давным-давно ушли и, бог весть, вернутся ли они когда-нибудь; у этих людей уже иным голова забита, их мучают горести посерьезнее, чем «Славьте» и «Благословен»; но вражда между касриловцами и козодоевцами осталась враждой, и никоим образом невозможно разумно объяснить ее постороннему человеку... Поди, к примеру, помоги постигнуть смысл того, что касриловский христианский мальчик при виде еврея обязан, захватив зубами свой картуз, трясти его и

петь при этом песенку: «Жид, жид! Халамид! Загубив черевик! А я шов! Тай нашов! Тай пидняв! Тай пишов!» Или наоборот, будьте настолько мудры и помогите уразуметь, откуда берется, к примеру, такое, что касриловский еврей, заговорив о нееврее, начинает изо всех сил пересыпать свою речь древнееврейскими словами: «Дай человеку шкалик водки, но не молэй [1], с куском лэхем [2], потому что он сегодня еще совсем не ел, уплати ему два гроша и пусть уйдет, только не спускай с него эйнаим [3], как бы он чего-нибудь не унес...» Это — из числа тех явлений, которые постигнуть здравым рассудком невозможно, это надо чувствовать... Но вернемся к касриловским и козодоевским евреям.

Бывают в жизни человека такие обстоятельства, когда все прежнее предается забвению, все вычеркивается, как бы никогда его и не было; и — счастье, что это так; иначе мир не мог бы существовать! Глубоко правы были наши мудрецы, когда установили, что накануне Судного дня, во время покаянной порки, все должны прощать друг друга.

И вражда между касриловцами и козодоевцами мгновенно улетучилась, когда они встретились в пути, в «веселую» пору переполоха и бегства; ее, словно дым, унесло — не стало вражды! А встретились Касриловка с Козодоевкой точно на полпути, в поле, неподалеку от того места, где когда-то стояла еврейская корчма «Дубовая», которая из-за монополии была вынуждена закрыться — ничего ей не помогло!

Когда Касриловка с Козодоевкой встретились, обе остановились, и между ними состоялся такой разговор:

Касриловка. Куда это, любопытно знать, едут евреи?

Козодоевка. А вы куда едете?

Касриловка. Мы? Мы едем просто так. Каждый по своему интересу, по делу, значит...

---

[1] Полный *(древнееврейск.)*.
[2] Хлеба *(древнееврейск.)*.
[3] Глаз *(древнееврейск.)*.

Козодоевка. Целый город едет по делу?

Касриловка. А вы-то что? Вы разве не целый город?

Козодоевка. Мы — нечто другое; мы не едем — мы бежим.

Касриловка. Откуда же вам известно, что мы не бежим?

Козодоевка. Так бы сразу и сказали! Куда же бегут евреи?

Касриловка. А вы куда бежите?

Козодоевка. Мы? Мы бежим... к вам.

Касриловка. А мы — к вам.

Козодоевка. Что же вы будете у нас делать?

Касриловка. То же самое, что вы у нас.

Козодоевка. Вот так так! Ради чего же нам бежать к вам, а вам — к нам?

Касриловка. Ради того, по-видимому, чтобы нам обменяться местами.

Козодоевка. Шутки в сторону! Растолкуйте-ка нам лучше, почему вы бежите?

Касриловка. А почему бежите вы?

. . . .

. . . .

Только теперь, когда оба города разговорились, как следует разглядели друг друга и увидели себя, как говорится, сторонними глазами, им открылось, что за зрелище представляют они собой...

— Виданное ли дело? Нашло на нас — разогнались, бежим! Почему бежим? Куда бежим? Понесла нас нелегкая!

Люди стали вытирать глаза, плакать и вздыхать:

— Горе, горе нам, ну и доля нам досталась!

И разговорились, вдоволь наговорились, душу отвели... Потом обменялись рукопожатиями, весьма чувствительно распрощались, сердечно расцеловались, как настоящие добрые друзья, как семьи, которые только что породнились, или как супруги, которые было развелись и теперь заново вступили в брак. Затем они щедро раскошелились на самые страшные проклятия и обрушили их на головы врагов, а друг другу пожелали, чтобы на том и кончились их зло-

ключения, добавив с горькой усмешкой: «Да будет воля его...» И подмигнули возницам, чтобы те, дескать, соблаговолили повернуть назад оглобли.

И оба города разъехались по своим местам: Касриловка — в Касриловку, Козодоевка — в Козодоевку. Тихо, без слов люди крадучись разбрелись по домам, как птички, — каждый в свое гнездо. Тихо, без слов, каждый вернулся к своему занятию, и еще долго после этого они все возвращались к пережитому, еще и еще раз вспоминали «веселый» переполох, который вдруг охватил их. И дабы позднейшие поколения, потомки детей наших, тоже знали о том, взяли мы на себя труд и описали эту прекрасную эпопею на нашем простом еврейском языке и издали отдельной книгой, чтобы осталась память о нас на долгие века.

ДВА МЕРТВЕЦА
(В честь праздника пурим)

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Мертвецы»? «В честь праздника пурим»? В такой праздник, когда самому богу угодно, чтобы еврей был пьян, а сочинитель дурачился и выступал в роли скомороха?! Я знаю, читатель, что сегодня пурим, что ты должен быть пьян, а я должен дурачиться, — и все же я преподношу тебе рассказ о двух мертвецах, — ничего не поделаешь! Единственное, чем я могу помочь, — это дать совет: если у тебя слабые нервы, не читай на ночь глядя этой истории.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хлавно — черноволосый, низкорослый, крепко сшитый человечек — любил, грешным делом, выпить. Хорошо, что он родился от евреев, — не то был бы пьяницей. Я не хочу утверждать, что именно это обстоятельство, то есть еврейство, не позволяло ему пить много. Очень возможно, что он пил бы за троих неевреев, но у него не на что было пить. Финансами

ведала его жена Гитл, она не допускала, чтобы к нему в руки попадал наличный грош. Во все, что имело отношение к деньгам, вмешивалась Гитл. Работал он, Хлавно то есть (он, да простит меня, был сапожник), но относить работу и получать деньги — это делала она сама, Гитл то есть. Хлавно, понятно, чувствовал себя обиженным.

— Что я, в самом деле, вор, что ли?

Так говорил Хлавно своей жене и тут же получал ясный ответ:

— Упаси бог! Кто говорит — вор? Ты всего только пьяница. Скажи, неправда это?

Отрицать категорически, сказать, что нет, Хлавно не позволяла совесть. Но, с другой стороны, признаться, что он питает слабость к горькой, тоже не так уж приятно. Тогда ему приходит в голову отделаться шуткой, потому что сапожник Хлавно любит не только хватить рюмочку, — он любит и острое словцо, как и все касриловцы в Касриловке. Он почесывает бороду, смотрит в потолок и говорит жене:

— Все у тебя называется «пьянствовать»! Ведь я же до потери сознания не напиваюсь! И за водкой никого не посылаю... Когда мне хочется выпить, я сам иду и покупаю...

— Шел бы ты уже на тот свет!

— Ох, если только с тобой вместе, — в огонь и в воду!

— На! И заткнись!

Так говорит Гитл своему мужу-сапожнику и швыряет в него из-за верстака сапогом, который уже почти готов, не хватает только каблука и двух рядов деревянных гвоздей на подошве. Хлавно принимает подарок со смехом и шуткой, как всегда. А когда Гитл приходит с деньгами, полученными за его работу, и выдает ему несколько копеек на нитки, на воск и щетину, — он и вовсе становится мягок и проникается большим уважением к своей жене и ко всем женщинам на свете. Он поглаживает высокий белый лоб (у всех сапожников лбы высокие и белые) и говорит задумчиво, как философ:

— Не знаю, что это царь Соломон, да простит он меня, имел против женщин? * Почему он их всех готов был зарыть в землю? Ведь ты, наверное, знаешь, что говорил о вас царь Соломон, или не знаешь?

— Что там говорил твой царь Соломон, я и знать не хочу. Поди-ка лучше на базар за нитками, воском и щетиной и смотри не заблудись — не попади в кабак.

Хлавно даже смех разбирает по поводу такой дикой мысли.

— Сказала тоже! Это все равно что в пятницу вечером читать утреннюю молитву, а в субботу утром — вечернюю... Где базар, а где кабак? Да и вообще, что это за дело среди недели, с бухты-барахты, в кабак?..

При этом Хлавно перекладывает с руки на руку полученные гроши, поглядывает одним глазом на потолок и высчитывает точно, сколько ему нужно на нитки, сколько на воск и сколько на щетину, и с глубоким вздохом медленным шагом отправляется прямо в кабак.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Как звали того мудреца, который по разумению своему заявил, что в праздник пурим все пьянчуги трезвы? Я бы сказал ему, что он, извините, дурак. Почему пьяница должен пропустить такой день, когда самому богу угодно, чтобы еврей напивался и был пьян, как библейский Лот? Первым запротестовал бы сапожник Хлавно. Пока он дождался святого праздника, у него чуть глаза на лоб не вылезли. А когда праздник настал, он первым долгом отправился в синагогу, послушать чтение «Книги Эсфири», рассчитался с Аманом, повесил его на дереве высотою в пятьдесят локтей вместе с десятью его сыновьями, и вместо того, чтобы пойти домой и попробовать праздничного треугольного пирога с маком, заглянул на минутку к нескольким приятелям-сапожникам

и хватил с ними по рюмочке: «Дай бог, чтобы Аман с десятью своими сыновьями дожил до будущего года, и чтобы мы в синагоге снова повесили их на виселице в пятьдесят локтей высотой, и чтобы мы снова выпили по маленькой! Аминь!..» От всех этих «рюмочек» наш герой оказался до такой степени навеселе, что сколько он ни шел, никак не мог попасть домой. Ему казалось, что переулок, в котором он живет, играет с ним в прятки: вот, кажется, переулок стоит напротив и мигает огоньками из-за маленьких окошек, но стоит двинуться к нему, как сапожник упирается лбом в стену. Откуда здесь взялась стена? С тех пор как он себя помнит, тут никакой стены не было. Наверное, кто-то построил здесь кущу*. Нахальство какое! Среди города поставить кущу! Это, наверное, работа богача реб Иоси. Что только богачу может прийти в голову!.. Но черт его тещиного батьку возьмет!..

— Не будь я Ахашверош! *

Сапожник Хлавно хватается обеими руками за стену и тянет ее на себя, он хочет завалить кущу богача реб Иоси, но тут он падает наземь и растягивается в знаменитой касриловской луже.

Пускай он там полежит, пока мы приведем второго героя нашего рассказа, носящего сверкающее, богатое имя — Ротшильд.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Именем «Ротшильд» Касриловка увенчала его за то, что он был самым отпетым бедняком. То есть таких бедняков, как он, в Касриловке что звезд на небе, но такого злосчастного бедняка, такого неудачника даже в Касриловке второго не найти. Есть на свете поговорка (наверное, родом из Касриловки): «И в беде счастье требуется». Так знайте же, поговорка — что божий закон!

Кто такой этот Ротшильд и откуда он взялся, — не могу вам сказать. То, что он был бедняком, вы

уже знаете, а занимался он тем, что ходил. Думаете, по домам? Побираться? Ошибаетесь. Он ходил просто так, вроде как на прогулку по лужам, но ходил он мелкими шагами и быстро-быстро, как человек, который занят делом и не имеет времени. Останавливался он только тогда, когда его задерживали.

— Мир вам! Куда шагает господин Ротшильд?

Ротшильд останавливается, вытирает полой пот, смотрит испуганными глазами, а желтое изможденное лицо морщится в улыбку. Он отвечает тихо, еле слышно:

— Так, вообще... Иду... А вдруг господь что-нибудь пошлет...

Ответив, Ротшильд идет дальше мелкими шажками, а тот, кто его остановил, смотрит ему вслед, потом пожимает плечами, смеется и сплевывает:

— Тьфу! Не угодно ли, такая морока!

С тех пор как этого неудачника зовут Ротшильдом, никто в Касриловке не припомнит, чтобы он к кому-нибудь обратился с просьбой дать ему поесть, или выпить глоток воды, или позволить переночевать, хотя всем известно, что Ротшильд, несомненно, голоден и, наверное, не знает где голову приклонить. Насчет голодных в Касриловке все большие знатоки, можно сказать — специалисты. Они узнают в темноте по голосу, у кого просто сосет под ложечкой, кто был бы не прочь закусить, а кто голоден смертельно, кто кончается! У них, видно, на то особые признаки, как, скажем, у врачей, которые по пульсу узнают кому просто нездоровится, кто опасно болен, кто при смерти.

Если бы мы умели делить голодающих на таких, которые просто голодны, и на таких, которые смертельно голодны, у нас были бы основания сказать, что наш герой Ротшильд принадлежит к числу смертельно голодных, потому что нередко проходили дни и ночи, в течение которых у него и маковой росинки во рту не было. Он бы, наверное, так и помер среди улицы, если бы какая-нибудь добрая душа не оглянулась и не увидала, что идет Ротшильд. Если ему

дадут что-нибудь, он не отказывается, если спросят, голоден ли он, — молчит, а если спросят, сильно ли он голоден, Ротшильд тоже не отвечает, но его желтое изголодавшееся лицо морщится в улыбку, перепуганные глаза смотрят вниз, и очевидно, от стыда, что человек может быть так голоден, из груди у него вырывается невольный вздох, — но кто знает, что означает этот вздох!..

Касриловцы, которые любят пошутить, дают ему сначала чего-нибудь покушать, а потом начинают подтрунивать:

— Пане Ротшильд, скажите правду, сколько у вас денег и где зарыты ваши богатства?

Ротшильд опускает перепуганные глаза, морщины на желтом лице складываются наподобие улыбки, он молчит... Молодые ребята, озорники, пристают к нему, тянут за рукав:

— Мир вам! Как поживаете, герр Ротшильд? Что слыхать у вас в Париже?

Но Ротшильд опускает глаза, изображает на лице подобие улыбки и молчит. Мальчишки, сорванцы, не дают ему проходу. Они и песенку про него сочинили:

Ротшильд наш богат:
У него деньжат
Тыща коробов!
Все есть у него,
Кроме одного:
Ходит без штанов!

Малышей Ротшильд боится, он берет ноги на плечи и бежит, мелко перебирая ногами, куда глаза глядят. Ребятишки бегут за ним, не переставая напевать... Увидят это старшие и кричат на них:

— Ах, будь вы неладны, сорванцы, обормоты, архаровцы! В хедер пошли, байструки, в хедер!

В Касриловке, может быть, и нашлось бы кому заступиться за несчастного Ротшильда и голодать ему, пожалуй, не дали бы... Но кто же виноват, что есть чудаки, которые предпочитают умереть, нежели руку протянуть? Кроме того, давайте рассудим по справедливости: обязана ли Касриловка помнить о

каждом неудачнике в отдельности? Мало ли у человека своих бед, несчастий и забот? Люди благодарят бога, когда им удается прожить день, когда кое-как перебьешься с женой и детьми от субботы до субботы.

Зато, — что правда, то правда, — когда наступает святая суббота, Ротшильд — человек обеспеченный. Допустит разве город, чтобы еврей в субботу голодал? Уж как-нибудь, что бог пошлет, лишь бы вместе, а один лишний человек за столом — это ведь, собственно, всего лишь еще одна ложка... Не беспокойтесь, он голодным не уйдет, а если трапеза и не ахти какая — тоже не беда: утроба не взыщет. Зато сидишь со своими за столом, а на столе — следы субботней халы, рыбьи кости и два медных подсвечника из-под свечей, над которыми вчера произносили молитву... Все это вместе взятое да еще воспетое сладостными субботними застольными песнопениями обретает особую прелесть, и ни к чему тогда все разносолы и лакомства, придуманные прихотью людей, дабы заманить нас поглубже в ад...

Велика сила субботы! Не узнаете тогда ни касриловского обывателя, ни субботнего его гостя, того же неудачника Ротшильда.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пропостившись в канун праздника пурим, еле дождавшись вечера, чтобы идти в синагогу слушать «Сказание об Эсфири», и хорошенько разделавшись с Аманом, прочитав все, что полагается, проголодавшиеся касриловцы заторопились домой, чтобы поскорее разговеться — «каждый под своей виноградной лозой», «под своей смоковницей» — свежим, горячим праздничным пирогом с маком. И так как все очень торопились и были голодны, то в великой спешке совершенно позабыли о Ротшильде, как если бы его и на свете не было. А Ротшильд, увидав, что все бегут, тоже побежал своим мелким шагом без всякой цели,

по грязным улицам и переулкам благословенной Касриловки.

Он бежал мимо полуразвалившихся и полуосвещенных домов и лачуг, время от времени заглядывал в окна и видел жующие рты и глотающие горла. Что жевали рты и что глотали так жадно горла, ему трудно было видеть, но он догадывался, что это должно быть свежие, сладкие треугольные пироги, начиненные сладким маком, тающим во рту... И кто-то проснулся у Ротшильда в желудке, потянул за сердце и шепнул на ухо: «Дурень этакий! Чего ты толчешься невесть где, в мире фантазии? Отвори дверь, войди и скажи: «С праздником вас! Не найдется ли у вас чем разговеться? Я уже третий день не ел...» Ротшильд пугается сам себя. Никогда еще такие мысли не приходили ему в голову — ворваться в чужой дом, как разбойник! И чтобы лукавый не попутал и не внушал черт знает что, Ротшильд пошел посреди улицы, по самой грязи, и вдруг наткнулся в темноте на что-то мягкое, толстое и живое и упал в лужу прямо на нашего героя номер первый — на сапожника Хлавно.

Пускай теперь Ротшильд немного полежит, а мы посмотрим, как поживает сапожник Хлавно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сапожник Хлавно (тысячу раз просим у него прощения за то, что заставили так долго лежать в луже) чувствовал себя в новом положении не так плохо, как представляет себе читатель. Человеку свойственно приспособляться к любому положению, как бы скверно и горько оно ни было. Коль скоро так суждено, чтобы лужа, знаменитая касриловская лужа, стала для него ложем, он постарался сделать все возможное, чтобы лежать как следует, а не просто лежать, ничего не делая. Он с негодованием думал о богачах и вымещал весь свой гнев на богаче реб Иосе: пусть тот не думает, что сапожник Хлавно пьян.

Он клялся: дай ему бог так видеть Вайзосо * под венцом, как он даже не под хмельком! Кто это выдумал о нем, сапожнике Хлавно, что он пьяница? Это, наверное, она, его жена Вашти *, провались она, выдумала все!..

Произнеся имя Вашти, сапожник умолк и задумался. Имя Вашти вошло в голову, как деревянный гвоздь в подошву. Он как будто отлично помнит, что жену его зовут Гитл, и вдруг — Вашти!.. Как же это Гитл превратилась в Вашти? И не только имя, — сама она изменилась, совсем не та женщина, что была прежде. Одета, как царица, в золотом чепце, да и с головы до ног в золоте. Он решает, что это для него не дело — ссориться с ней сейчас. Наоборот, с такой красулей надо ладить. Сапожник пододвигается к ней все ближе и ближе, но она отодвигается... Не хочет она его. Наверное, потому что он любит «живительную влагу»... Ах ты, болячка ее матери! Не пристало ее папаше, — а вдруг скажут в городе, что муж у Вашти — пьяница!

— Не встать мне с этого места, если я когда-нибудь хоть каплю водки в рот возьму! Вашти, ты слышишь или нет? Не веришь? Вот тебе моя рука...

Хлавно протягивает в лужу пухлую руку с короткими черными пальцами и понять не может, почему у Вашти такая холодная и мокрая рука с такими холодными, скользкими пальцами. Невозможно обхватить ее за талию, дух из нее вон! Он раскидывает руки и обнимает... несчастного Ротшильда!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Философы утверждают, что от испуга может произойти всякое. От испуга беременная женщина может, упаси бог, выкинуть, от сильного испуга человек, неровен час, может сойти с ума, а иной раз получить удар и умереть. Они дошли умом, что с перепугу пьяный может протрезвиться в одну минуту. Так говорят философы. Поэтому нас не удивит, что наш

герой, сапожник Хлавно, как только обхватил злополучного Ротшильда, от испуга протрезвился. Не настолько, правда, чтобы тут же подняться из лужи и стать человеком, как говорится, самостоятельным, но настолько, чтоб постепенно к нему начали возвращаться все чувства. Прежде всего чувство осязания помогло ему понять, что «Ваштн» — это человек с бородой. Потом в нем проснулось чувство слуха, и он услышал четкие слова: «Шема, Исроел! Гвалт! Люди, спасите!» Чувство обоняния подсказало ему, что оба они лежат в луже, в пресловутой касриловской вонючей луже. Но как он ни напрягал свое зрение, чтобы разглядеть, кого он держит, — это ему никак не удавалось, потому что луна скрылась за темными тучами и ночь простерла свои черные крылья над всей Касриловкой.

Ротшильд тоже начал понемногу приходить в себя, и обуявший его смертельный страх прошел. Оба наши героя обрели дар речи. И вот какой разговор произошел между ними. Передаем его слово в слово:

Хлавно. Ты кто такой?

Ротшильд. Это я.

Хлавно. Что ты тут делаешь в луже?

Ротшильд. Ничего.

Хлавно. Какой черт тебя сюда привел?

Ротшильд. Не знаю.

Хлавно. Тьфу ты пропасть! Ты кто? Ремесленник? Сапожник?

Ротшильд. Нет.

Хлавно. А кто же? Барин?

Ротшильд. Нет, нет.

Хлавно. Так кто же ты, ко всем чертям!

Ротшильд. Я... я... смертельно голоден.

Хлавно. Вот оно что! Ты смертельно голоден? Хм... А я мертвецки пьян. Погоди-ка, если я не ошибаюсь, ты не Ротшильд ли, часом? Да, честное слово! Я сразу узнал, что это ты... В таком случае, братец Ротшильд, может быть, ты помог бы мне вылезть из этой лужи, и если ты чувствуешь, что у тебя есть ноги, мы оба прошлись бы ко мне домой и что-нибудь перекусили... Потому что у меня все время

вертится в голове, что сегодня праздник... Симхестойре * или пурим? Не скажу тебе точно, но какой-то праздник обязательно. Пусть придут все цари востока и запада и скажут, что нет, я им в глаза плюну!

Прошло немного времени, пока оба они кое-как выползли из лужи и с большим трудом пустились в путь, поддерживая друг друга... То есть, Ротшильд поддерживал Хлавно, чтобы тот не упал. У сапожника протрезвилась только голова, ноги все еще путались. И таким образом они дошли до...

Но тут мы хотим оставить обоих наших героев и на минутку заглянуть в дом к сапожнику Хлавно — посмотреть, что делает его жена Гитл.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сколько бы критики ни критиковали, сколько бы пересмешники ни издевались, а жена женой остается.

Как только начало смеркаться, Гитл стала ждать мужа, думая, что вот он придет из синагоги разговляться. Ради этого она по-праздничному накрыла на стол: поставила прежде всего то, что Хлавно любит, — бутылку и стопку. Возможно, что в бутылке и была всего-то одна стопка, а может быть, ради праздника, вина хватило бы и на две стопки. Зато на столе красовался треугольный пирог с маком, огромный, широкий, настоящий сапожничий пирог! Казалось, пирог говорит: «Хлавно, где ты? Иди ешь меня!» Но Хлавно не слышал: он в это время был у своих приятелей-сапожников и крепко выпивал ради святого праздника.

Напрасно сапожничиха поглядывала, бедная, в окошко и прислушивалась к дверям. При каждом шорохе ей казалось, что это идет Хлавно. Но Хлавно не шел. Он в это время лежал в луже и объяснялся с Вашти. Гитл передумала все, что жена может передумать о своем муже. А когда стало очень поздно, она схватила накидку на плечи и пошла искать сво-

его мужа. Она его не нашла. Сапожники, с которыми Хлавно выпивал в честь праздника, клялись, дожить бы им так до следующего пурима, что Хлавно прямо из синагоги отправился к себе домой и что никто из них даже капли воды не выпил. Разве что он, сказали сапожники, встретился где-нибудь с Шимен-Волфом.

Услышав это имя, Гитл даже вздрогнула. Этот Шимен-Волф отнял у нее немало здоровья.

Шимен-Волф тоже сапожник, как и ее муж Хлавно, и любит он то же самое, что и Хлавно. Но где Хлавно до него! Тот славится на весь мир, — его иначе и не называют, как Шимен-Волф-пьяница. Говорят, что отец его от этого умер: однажды в праздник напился, а внутри у него спирт загорелся, и он сгорел как свеча. С Шимен-Волфом тоже однажды случилась такая история, но его погасили. Однако Гитл не верилось, чтобы ее муж снова сошелся с этим пьянчугой, после того как он дал ей руку и поклялся на паре филактерий, что никогда в жизни больше с ним не встретится. Из-за этого тогда и произошла большая ссора между женой Хлавно, Гитл, и женой Шимен-Волфа, Ханой-Зисл. Ссора началась с перебранки, а кончилась очень позорно: обе женщины вцепились друг другу в повойники, так что их еле разняли. С тех пор они не разговаривают, а когда встречаются, уступают одна другой дорогу и трижды сплевывают.

Гитл долго думала, что бы такое предпринять: пойти ли к этой мерзавке Хане-Зисл проведать, нет ли там мужа, или не ходить? Она боялась, как бы не вышло скандала и — прямо-таки сам бог вмешался и пришел ей на помощь. Не успела она двинуться, как увидала какое-то существо в черном, шедшее ей навстречу. Присмотрелась и в темноте узнала Хану-Зисл. Обе женщины готовы были как обычно отпрянуть и трижды сплюнуть. Но какая-то неведомая сила удержала их, и обе заговорили. Разговор был короткий, но весьма понятный:

— Куда это так поздно?

— А вы куда?
— Мужика своего ищу.
— И я тоже.
— Где они могут быть?
— Знать бы мне так его самого.
— Мой был в синагоге, когда читали «Сказание».
— И мой там был.
— Что ж, они ушли оттуда вдвоем?
— Вероятно.

Обе женщины глубоко вздохнули и разошлись в разные стороны.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пришибленная, убитая, вернулась Гитл домой, взглянула на пирог, и ей показалось, что он смотрит на нее и говорит: «Что случилось с Хлавно?» С горя она бросилась на кровать и лежала, пока не уснула. И приснилось ей, что стучат в окно и зовут ее по имени. Она хочет поднять голову, но не может. Она спрашивает, не вставая: «Кто там?» А ей отвечают, что это сапожничиха Хана-Зисл и служка из погребального братства пришли к ней за саваном. Гитл не понимает, откуда у нее берутся силы говорить о таких вещах, но она спрашивает довольно спокойно, как если бы речь шла о деже теста или о четверти курицы на субботу: «Они сгорели?» — «Сгорели». — «Оба вместе?» — «Оба вместе». От ужаса она чуть не падает с кровати, садится и слышит, как несколько рук сразу шарят по двери... У нее волосы встают дыбом. Она еле произносит:

— Кто это?
— Мы.
— Кто это «мы»?
— Отвори дверь, будешь знать.
— Дверь открыта.
— Не можем клямку найти...

По голосу Гитл сразу узнала мужа. Она вскочила, отворила дверь и, увидев двух человек, измазанных, как черти, отпрянула.

— С праздником тебя, Гитл! — сказал Хлавно и ввалился в дом вместе с Ротшильдом. — Не будь я Хлавно, если ты знаешь, кто к тебе пришел! К тебе пожаловали в гости, в честь праздника пурим, два мертвеца... Бог с тобой, чего ты так испугалась? Мы действительно два мертвеца, но не с того света. Один — мертвецки пьян, а второй — мертвецки голоден... Кто пьян, а кто голоден — это ты сама сообразишь, если ты умна... Ну, что ты смотришь? Не узнала его? Ведь это Ротшильд! Провалиться бы богачу реб Иосе вместе с касриловской лужей! Ротшильд, бедняга, так измазался, что его узнать нельзя. Можно подумать, что он там валялся вместе со всеми хавроньями. Знаешь, Гитл, ты таки умная женщина! Вашти в сравнении с тобой ни черта не стоит! Вижу у тебя субботнюю бутылочку на столе. Сердце тебе, видно, подсказало, что у нас нынче праздник на всем свете, что надо освятить вино и закусить вот этим треугольным чертякой, прах его побери, как и папашу его, Амана!.. Лехаим, Ротшильд! Дай бог Аману дожить до будущего года, и чтобы мы снова его повесили в синагоге вместе с десятью его сыновьями на одной виселице высотой в пятьдесят локтей! Чего ты молчишь, Гитл? Говори: «Аминь!»

ЗОЛОТОПРЯДЫ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

«Золотопряды» — так их прозвали в Касриловке. Спросите этих «золотопрядов»: «Как прядут золото?» — они вам не скажут. Только из зависти наградили их этим прозвищем: всякому, понимаете ли, завидно, что у этих людей такие легкие и прибыльные занятия. Собственно, не про вас будь сказано, они такие же нищие, как и все касриловские бедняки. Но в праздник пурим они загребают золото. Господь щедро наделил их талантами, у каждого свое дарование, а людям одаренным редко кто не завидует. Это старо как мир. Право, не стоит долго об этом распространяться. Перейдем лучше прямо к рассказу.

1

Глава золотопрядов — долговязый Нафтоле

У долговязого Нафтоле ноги до того длинные, что начинаются они, кажется, у самой шеи. Нет в Касриловке человека, который мог бы идти с ним в ногу, — сразу отстанет. И не потому, что походка у Нафтоле торопливая, — просто шаг у него широченный. Вот он как будто на правой стороне улицы; не успеешь

оглянуться — он уже на левой стороне. Ноги — основной капитал Нафтоле, его орудие производства, его кормильцы. Короче говоря, Нафтоле — маклер.

Стоит только показаться в местечке какому-нибудь помещику (это случается очень и очень редко), Нафтоле тут как тут. Он первым пронюхает о приезде нового человека и благодаря своим длинным ногам первый примчится в гостиницу: «Так, мол, и так, господин хороший, что вам будет угодно?» И поверьте, кто бы господину ни понадобился, — портной ли, сапожник, кузнец, служанка, лошадь, тарантас, парикмахер, фельдшер, ворожея, сам дьявол, — долговязый Нафтоле доставит в мгновение ока. Слова «нет» для него не существует. Беда лишь, что маклеров в Касриловке, помимо Нафтоле, видимо-невидимо, во всяком случае значительно больше, чем заезжих помещиков.

Не трудно себе представить поэтому, какие золотые дела у долговязого Нафтоле. И не свести бы ему концы с концами, ежели бы всевышний не осенил народ наш своей милостью и не удостоил его милым, светлым, благостным и веселым праздником пурим. В праздник пурим таланты Нафтоле расцветают во всем их блеске и великолепии. Нафтоле — прирожденный артист, и пуримшпилы * словно нарочно созданы для его ног.

С первого взгляда вам это может показаться несколько даже смешным: какое отношение имеют длинные ноги к пуримшпилам? Разрешите вам сказать, вы не правы; ноги играют в них весьма важную роль. Ведь Нафтоле представляет не царя Артаксеркса, не его жену Вашти, не временщика Амана и не придворного Мордехая *. Он всего-навсего придворный шут Мемухон, нечто вроде гофмейстера при дворе царя Артаксеркса. И каждый, кто знаком с знаменитой народной комедией о царе Артаксерксе, хорошо знает, что роль Мемухона в ней — главная, основная. На Мемухоне, можно сказать, вся комедия держится. Надо ли позвать Вашти и повелеть ей предстать пред лицом царя Артаксеркса совершенно нагой, в чем мать родила, — это выполняет Мемухон.

Надо ли царю посоветоваться, как поступить с ослушницей-женой, не пожелавшей предстать пред ним в костюме прародительницы Евы, — опять-таки Мемухон тут как тут. Надо ли Мордехаю вести дипломатический разговор со своей племянницей Эсфирью, — снова на помощь приходит Мемухон. Словом, Мемухон тут, Мемухон там — всюду Мемухон да Мемухон! А поглядели бы вы, как Мемухон во время представления работает ногами! Вот представьте себе.

Широко растворив двери, с громовым приветствием: «С праздником вас!» — вваливаются к вам в дом комедианты. Все актеры останавливаются у дверей и становятся у стены. Руки опущены. Но вот выступает вперед долговязый Мемухон с мечом в руке. На голове у него бумажный колпак. Шаг вперед, шаг назад, и он начинает сыпать рифмами, как из рога изобилия. (Скажу вам по секрету, что все стихи, приводимые ниже, — плод творчества самого Мемухона, то есть долговязого Нафтоле; он сам все это сочинил.)

Я Мемухон,
Главный гофмейстер,
Мудрого царя Артаксеркса
Шталмейстер.
Я послан с приказом к Вашти-царице.
Ей царь повелел в зал явиться,
Босой и нагой, сняв одежду свою,
Как бабушка Ева в раю.
Выходи по приказу царя,
Вашти, царица моя!

Отпрянув от стены, выступает вперед царица Вашти (роль ее играет Берл-гнусавый). Она отвечает ему тоже стихами, сочиненными тем же Нафтоле. Гнусавя и взвизгивая, царица поет заунывно-плаксивым голосом:

Жены Персии и Мидии всей
И все госпожи Шушана-столицы!
Собирайтесь ко мне поскорей,
Хочу с вами поделиться:
Послушайте-ка приказ
Моего безбожника супруга.
Мало того что он дурак,
Он к тому же горький пьянчуга.

Тут Мемухон, вспыхнув от гнева, делает широченный шаг вперед и такой же назад, и из уст его так и сыплются рифмы (его собственного сочинения):

Вот так бездельница!
Ну и язычок!
Что с ней канителиться?
Какой в этом прок?
Кабы я не боялся
Царя прогневить,
Я бы распорядился
Царице голову отрубить.

На сцену выходит царь Артаксеркс (Мойше-колобок). В руке у него длинный посох, оклеенный золотой бумагой.

По мне хоть друг друга
Вешайте, казните,
Только вина мне
Скорей принесите.
Что вы, министры, невеселы?
Что носы повесили?
Наливайте сполна
В стаканы вина!
До зари будем пить!
Будем весело жить!

И вся компания подхватывает:

Наливайте сполна
В стаканы вина!
До зари будем пить!
Будем весело жить!

Вслед за этим выходит вперед Мордехай (сапожник Нехемья), горбатый, оборванный, с всклокоченной бородой из пеньки. Поклонившись царю, он обращается к Мемухону, дико вращая белками и размахивая руками, и поет-надрывается неистовым голосом:

Так как его величество
Остался вдовцом
И по всем ста двадцати семи провинциям
Приказ дан о том,
Чтоб со всего света девицы
Съезжались в столицу,
Знатные и богатые,
Красивые и тороватые, —
Посему я имею для него невесту,
Какой не видывал свет,

Если я лгу, не сойти мне с места.
Щечки — зеленый цвет,
Лицо рябое, нос кочергою,
Зовут ее Эстер *.
Вот так невеста!
Ни сестры, ни брата,
Ни кумы, ни свата!
Ни матери, ни отца,
Ни друга-молодца.
Совсем еще дитя — всего тридцатый год —
Субботы и праздники — не в счет.

Мемухон снова — шаг вперед и такой же широченный шаг назад и произносит с жаром:

Ну что ж? Приведи ее в дом,
Пускай покажется перед царем,
Если царю приглянется,
Она при дворе и останется.
Наденем ей на голову венец —
И делу конец.
А ты за сватовство, Мордехай,
Пирожок с маком получай.
Выходи по приказу царя,
Эстер, царица моя.

Тут только для Нафтоле и его ног начинается настоящая горячка. И так весь день и весь вечер из дома в дом, из дома в дом. Ноги Нафтоле должны быть крепче железа, чтобы выдержать такое напряжение. Зато при дележе выручки ему достается самый жирный кусок. И естественно: он ведь не только актер, но и директор труппы, он же режиссер, автор и кассир.

— Этот человек лопатами загребает золото в праздник пурим!

Так говорят о нем касриловские обыватели. Они ему просто завидуют, — не столько его талантам, сколько заработку.

2

Золотопряха Ривеле

Если бы Касриловка каждый день предъявляла такой спрос на пряники, торты и тортики, как в праздник пурим, когда евреи посылают друг другу «пуримские гостинцы», долговязому Нафтоле не при-

шлось бы заниматься круглый год маклерством, а в праздник пурим быть комедиантом. Его жена, Ривеле-сластена, могла бы вполне прилично содержать и его и всю семью, потому что, если Нафтоле славится своими ногами, то Ривеле не в меньшей мере прославилась своими руками.

Ростом невеличка, на вид неказистая, худенькая, сухопарая, — она рядом со своим мужем выглядит как щуплый цыпленок. Кто поверил бы, что эта женщина в состоянии обеспечить все местечко пряниками и печениями к празднику пурим, когда евреи посылают друг другу гостинцы? Конечно, есть в Касриловке и другие женщины, занимающиеся тем же ремеслом. Но у кого еще такие золотые руки, как у Ривеле-сластены? Ее торты и пряники, ее пироги и царские хлебцы, ее маковники и печенье с имбирем, ее слоеные подушечки прогремели на весь мир и, по счастливой случайности, стали известны даже в Егупце. Вот как было дело.

Кому-то из касриловских остряков (а их в местечке столько же, сколько звезд на небе) взбрело на ум высмеять Касриловку и ее, с позволения сказать, кулинарные изделия. Что же он надумал? В один прекрасный день он послал в Егупец своему богатому родственнику почтовой посылкой изделия Ривеле, выпекаемые ею для «пуримских гостинцев». В посылку было вложено написанное в высоком стиле письмо, в котором он просит богатого родственника извинить его «за убогое подношение»: ничего, мол, лучшего в Касриловке нельзя достать. Каково же было удивление шутника, когда в ответ на посылку он получил от родственника благодарственное письмо с просьбой незамедлительно скупить в Касриловке все имеющиеся там в наличии сладости, старательно их упаковать и выслать по почте в Егупец, конечно, за его, богача, счет. (Кто не знает, что богачи вообще, а егупецкие в особенности, — большие чревоугодники, охотники до сладостей?) С той поры из года в год к празднику пурим в Егупец посылается целый караван изделий Ривеле. Вот каким путем слава о Ривеле-сластене докатилась до самого Егупца.

3

Страда

Если бы Ривеле строила все свои расчеты на одном только егупецком богаче, дела бы у нее были незавидные. К счастью, на ее изделия большой спрос на месте. За несколько дней до праздника пурим Ривеле буквально разрывается на части. Шутка ли, сколько у нее работы! Самой выпекать, самой продавать, самой упаковывать и самой же рассчитываться с покупательницами. Для одних только расчетов надо иметь министерскую голову.

Вот образчик того, как рассчитывается Ривеле со своими покупательницами. Перед нею — местная богачка Соре-Перл, украшающая свою шею перлами даже в будний день.

— С вас, Соре-Перл, причитается ни более и ни менее как за полдюжины пряников по шести грошей за штуку, шесть раз шесть, а? Сколько это выходит — шесть раз шесть? Как будто тридцать три, не так ли? И четыре сладких хлебца вы взяли, по восьми грошей за штуку, — мне самой они обошлись по семи, клянусь всем святым! Четырежды восемь как будто сорок восемь. Два больших пирога без мака и три маленьких с маком будем считать на круг за пять пирогов по двадцать четыре гроша за штуку. Клянусь жизнью, себе дороже стоит. Пять раз по двадцать четыре, сколько это будет? За шесть штук полагалось бы один целковый и шесть грошей, не так ли? Стало быть, за пять пирогов следует, если я не ошибаюсь, один целковый без шести грошей. Сколько же выходит всего? Тридцать три да сорок восемь — это восемьдесят два гроша. Прибавьте к этому целковый, выходит полтора целковых и двадцать два гроша. Снимем шесть грошей. Сколько же останется, если из полутора целковых с шестьюдесятью двумя копейками отнять шесть грошей? Рубль девяносто, не правда ли?

— Вот те и здравствуй! Что за шестьдесят две копейки? Откуда они у вас взялись? — подымает крик Соре-Перл.

И женщины начинают считать сызнова.

— Ах, Соре-Перл, душенька моя! Счет, кажется, ясен как на ладони. Полдюжины пряничков с изюмом по шесть грошей штука. Сколько это будет шесть раз шесть! Не сорок два гроша?..

— С праздником вас! Счет у вас растет, как на дрожжах, не сглазить бы. Раньше выходило тридцать три, а теперь вдруг стало сорок два.

Ничего не поделаешь. Раз дело доходит до денежных расчетов, без нашего брата-мужчины не обойтись. Ривеле подзывает Нафтоле, который в это время занят с актерами. А Нафтоле терпеть не может, когда его отрывают от работы.

— Комедия с этими бабами! — сердито ворчит он. — Дважды два сосчитать не умеют. Ну, выкладывайте ваши счета, живо, быстро, время не ждет!

После такого грозного окрика обе женщины одним духом перечисляют Нафтоле все покупки. Нафтоле выслушивает их, закрыв глаза, и считает по пальцам, но скоро запутывается и, окончательно сбитый с толку, еще пуще раздражается. Он яростно обрушивается на жену:

— Тысячу раз тебе говорил: коли у тебя кошачьи мозги и ты не умеешь сосчитать дважды два, какого же черта тебе понадобилось продавать свой товар оптом? В розницу продавай, поштучно! Вот так, например: вы что взяли? Пряник? Платите шесть грошей! Еще пряничек — еще шесть грошей! Пирог с маком — кладите на стол двадцать четыре гроша! Еще один пирог — еще двадцать четыре гроша!

Богачку Соре-Перл такой способ расчетов, конечно, шокирует: не пристало ей, чтобы с ней рассчитывались, как с нищенкой какой-нибудь. Но ничего не поделаешь. У кого же ей покупать пряники и торты, как не у Ривеле? В праздник пурим Ривеле — важная персона... Каждому овощу, как говорится, свое время. «Когда есть нужда в воре, — гласит пословица, — его и с петли снимают...» Недаром все местечко завидует ей:

— Золотые руки!.. Груды золота загребает... В праздник пурим оба они лопатами золото загребают!..

4

Юный золотопряд — Нойах-резчик

Одних людей природа одарила приятным певучим голосом, других — тонкими пальцами, созданными для игры на скрипке, третьих — ногами, которые так и рвутся в пляс. Нойаха, старшего сына Нафтоле, природа наградила талантом к резьбе по дереву.

Когда Нойах был еще ребенком, он ходил весь в синяках от отцовских колотушек и материнских щипков.

— Привычка у мальчика день и ночь резать да крошить, все вырезывать, вырезывать!..

Чтобы выбить у мальчика дурь из головы, его отдали в хедер и крепко-накрепко наказали учителю хорошенько всыпать ему, если только у него будет обнаружен ножик. Пусть лучше прилежно учится. Но учение Нойаху не пошло впрок, и он вышел из хедера с очень ничтожным запасом знаний. Зато в резьбе по дереву он обнаружил необычайное дарование. Вырезывал он все, что попадалось на глаза. Нашлись в Касриловке ценители, утверждавшие, что бес вселился в пальцы этого мальчика, не иначе как бес. Живи он в большом городе, из него вышел бы... трудно даже сказать, что из него вышло бы. А пока что лучше бы у него руки отсохли, в синагоге на всех скамьях и столах он вырезывал каких-то человечков, птичек и, не будь рядом помянуты, свиней... За этих свиней Нойах получал по заслугам полной мерой и от отца, и от матери, и от раввина, и от синагогального служки, и от банщика — все, кому не лень, всыпали ему, каждый по мере сил своих.

— Охальник этакий! В священном месте — свиней!..

Но и эта расправа не послужила уроком для нашего резчика. Тлевшая в его груди искра таланта библейского Веселеила * не давала ему покоя. Известно, что великие открытия очень часто являются результатом неожиданности, простой игры случая. Так

и дарование мальчика обнаружилось во всей своей силе совершенно случайно.

Было это за несколько дней до праздника пурим. Мальчику преподнесли в подарок деревянную трещотку и колотушку, чтобы колотить Амана в синагоге. Нойах очень внимательно осмотрел трещотку со всех сторон, затем втихомолку разобрал по частям и вновь составил. И тут в голове его мелькнула мысль, что, будь у него материал и инструмент, он бы сделал такую трещотку и колотушку, которые за пояс заткнули бы все колотушки и трещотки, какие есть на свете. Материал и инструмент требуется самый простой — дерево и ножик. Но где их достать? С деревом еще туда-сюда: при случае можно стащить полено у мамы из-под печки. Но где взять инструмент? Как раздобыть ножик? И Нойаха осенила мысль (светлая голова!): взяв свою трещотку и колотушку, он пошел на базар продавать их. На вырученные деньги он уж как-нибудь приобретет ножик. Но случилась беда (со всеми изобретателями случаются непредвиденные несчастья!): первый же покупатель, которому Нойах предложил по дешевой цене колотушку и трещотку, схватил мальчика за руку и привел прямо к отцу:

— Ваш малыш трещотками торгует, что ли? С чего это вдруг?

Надо ли рассказывать, что прежде всего сын-изобретатель получил причитающуюся ему порцию оплеух полной мерой. Это ясно даже ребенку. Лишь после этого отец стал допытываться, на что мальчику деньги. Когда Нойах, обливаясь слезами, чистосердечно признался во всем, отец, прежде всего, отчитал его как следует, обозвал «ослом в образе лошади», затем купил ему ножик и сам выбрал подходящий кусок дерева. Нойах принялся за дело с каким-то ожесточением. Работа горела в его руках. В первый же день он сделал несколько трещоток и колотушек, да таких, что все местечко сбежалось глядеть на них. Все диву давались и от души поздравляли отца:

— Вам, реб Нафтоле, теперь нечего беспоко-

иться о судьбе вашего сына. Его будущее уже обеспечено.

С той поры во всем местечке, от края и до края, стало известно, что хорошую трещотку или колотушку к празднику пурим можно приобрести по сходной цене у Нойаха-резчика, сына долговязого Нафтоле. И сколько бы товару ни заготовил Нойах, все распродавал дочиста. Каждый раз к исходу праздника можно услышать из уст Нойаха те же слова:

— В нынешнем году был особенно большой спрос на трещотки.

Недаром все местечко завидует Нафтоле, — у него такие удачные дети.

— Счастливые люди эти золотопряды! — со вздохом произносят касриловцы. — Мало того что оба они — и муж и жена — в праздник пурим столько зарабатывают, пригоршнями золото загребают, господь благословил их еще такими золотыми детьми!..

5

Маленькие золотопряды

Если вы хотите полюбоваться занимательным зрелищем, и к тому же совершенно безвозмездно, мой вам совет: поезжайте-ка на праздник пурим в Касриловку. Снимите номер в любом заезжем доме, садитесь у окна и глядите на улицу. Перед вашим взором развернется любопытная картина. С раннего утра шлепают по грязи мальчики и девочки, повязанные платочками, в большинстве босоногие, хоть на дворе еще холодновато и порошит снежок. Как затравленные мыши, бегают они торопливо из дома в дом, держа в руках большие подносы, тарелки и тарелочки, блюдца и блюдечки, покрытые белыми салфетками. Это дети разносят по домам приобретенные у Ривеле гостинцы, которыми обмениваются касриловские хозяйки.

— Ите-Лея прислала мне два пирога, царский хлебец, один пряник и два кренделечка с миндалем,

а я ей — один пирог, два царских хлебца, два пряника и один кренделек с миндалем. Енте-Мирл прислала мне подушечку, два тортика, два хлебца с изюмом и один маковник, а я ей посылаю две подушечки, один тортик, один хлебец с изюмом и два маковника.

Так комбинируют касриловские хозяйки, посылая друг дружке гостинцы. Надо проявить много сообразительности и такта, чтобы никого не обидеть, чтобы все вышло прилично, чтобы не ударить лицом в грязь и в то же время соблюсти точное равновесие между полученным и отсылаемым гостинцем. И так как обитатели местечка живут меж собой дружно, то и подарки приходится рассылать во многие дома. Силами одних только своих ребятишек или служанки с такой работой не справишься. Приходится прибегнуть к помощи чужих детей. В этот день большой спрос на бедных мальчиков и девочек, у которых быстрые ножки и сильное желание заработать несколько грошей к предстоящему празднику пасхи.

Счастливы те родители, у которых много мальчиков и много девочек! Таких счастливцев в Касриловке немало. Но счастливее всех семья золотопрядов: вряд ли даже в Касриловке вы найдете еще одну семью, где было бы столько мальчиков и девочек, как у долговязого Нафтоле. Сколько именно у него душ, точно не могу вам сказать. Считать чужих детей никому не положено. Пусть растут на здоровье! Кому они мешают? Зимою они всей гурьбой, босые и голые, лежат за печкой, тесно прижавшись друг к другу, сплетясь ручонками и ножками. Летом с утра до вечера валяются на улице, в мусоре и грязи, играют в кошки-мышки, пекут «печенье» из глины, бегают вперегонки и т. п. А то вдруг «запускают дождь», то есть подымают такую пыль, что задохнуться можно, а на улице становится темно. На детей, конечно, обрушиваются колотушки, подзатыльники, пинки и оплеухи вперемежку с градом самых причудливых проклятий, каких ни в одном словаре не найдешь.

— На костылях бы вам ходить! Вверх ногами бы вам стоять!.. С кровавыми ранами бы вам лежать! Чтоб вас черви ели!

Зато с наступлением праздника пурим дети чувствуют, что и они чего-нибудь да стоят, даже очень стоят. Обычно касриловские дамы, заблаговременно заказывая у Ривеле сладости, заодно уж договариваются насчет кого-нибудь из ее детворы — мальчика или девочки — для разноски гостинцев. И дети Ривеле — мальчики и девочки — быстро несутся по улицам местечка с подносами, тарелками, блюдечками, покрытыми белыми салфетками. Щечки их пылают, глазки блестят, на лбу пот выступает. Нередко встречаются они друг с другом на топкой улице, но им некогда остановиться хоть на минуту поглазеть, что за гостинцы лежат в тарелке у братишки или сестренки. Только мимоходом обмениваются они краткими репликами, смысл которых постороннему человеку не всегда понятен:

— Петелеле! Куда?

— К толстухе Лейце. А ты, Кривоножка?

— К Алтерихе-макаронщице... Что-нибудь перепало?

— Еще бы! А тебе?

— У меня уже есть целковый, и два двугривенных, и пятиалтынный, и еще двенадцать грошей. А у тебя сколько?

— Некогда было считать. Но боюсь, что больше, чем у тебя.

— Утри нос!

— Сломай себе шею!

И расходятся в разные стороны.

Обыватели местечка давно уже восседают за торжественной трапезой, распевая вслух «Розу Иакова» *, либо наслаждаются игрой комедиантов с долговязым Нафтоле во главе. А детишки Нафтоле все еще шмыгают из дома в дом и разносят гостинцы, получая за это по нескольку грошей. Хозяева подтрунивают над ребятишками:

— Мальчонка, поди-ка сюда! Чей ты? Не сынок ли Нафтоле?

— Да, Нафтоле.

— Ну, как? Сколотил сотнягу за сегодняшний день или чуть поменьше?

— Хи-хи!

— Скажи, не стесняйся!

— Хи-хи!

— Полюбуйтесь-ка на него! Смех смехом, а придет домой, вытряхнет полные карманы золота... Такая уж семья — золотопряды!

6

Золотопряды за трапезой

Во всем местечке давно уже кончилась торжественная трапеза. Обыватели собираются на покой, а многие уже спят крепким сном и аппетитно храпят после стаканчика вина, пропущенного ими на радостях в честь избавления от заклятого врага — Амана. Одна только семья лишь теперь садится за стол справлять трапезу. Разрезана на куски плетеная булка, и живо, весело все разом принимаются за еду.

Это — золотопряды.

Все проголодались и до того устали, что ног под собой не чуют. У всех есть что порассказать, у каждого — куча происшествий.

Нафтоле нахвалиться не может на своих комедиантов: они сегодня играли на редкость хорошо, прекрасно! Один только Вашти чуть-чуть подгадил, перепутал текст в одном месте.

— Лихорадка бы его трясла до самой пасхи, этого Вашти! Сколько ни учишь бездельника говорить: «Моего безбожника супруга», у него всегда получается: «Милого сапожника и друга». Какой там сапожник, сто чертей твоей бабушке! Но что поделаешь с гнусавым? Говори не говори — один черт!

Так рассказывает Нафтоле. Рассказы Ривеле

куда интереснее. В них речь идет о жадных покупательницах, которые торгуются до одури. А одной даме вздумалось даже обжулить ее на один тортик.

— Положим, я не из тех, что дают себя обсчитать! «Сколько, говорю, тортиков вы отложили, мадам?» — «Четыре», — отвечает она. «Ну, а пятый куда девался?..» Покраснела как рак и говорит: «Какой же это, с позволения сказать, тортик?» — «А что же это? Будильник?» — «Я, говорит, думала, что это медовый пряник». — «А медовый пряник, говорю, это, по-вашему, — собака?..»

Так рассказывает Ривеле. Рассказы Нойаха, естественно, вращаются вокруг трещоток.

— В нынешнем году был особенно большой спрос на трещотки. Нарасхват брали трещотки. Всем только и подавай трещотки, трещотки, трещотки! У меня вчера к полудню не осталось уже ни одной трещотки. А покупатели так и прут, требуют трещоток. «Нет у меня трещоток», — говорю я одному покупателю. «Знать ничего не желаю, — отвечает он сердито. — Хоть из-под земли достань, а дай мне две трещотки!» — «Где же, отвечаю, я вам возьму трещотки?» — «А куда, говорит, девались все твои трещотки?..»

— Перестанешь ты наконец трещать о своих трещотках?.. — прерывает Нойаха отец.

Опустив глаза, Нойах наклоняется низко-низко и сморкается под столом. Малышам только этого и надо! Пришел наконец их черед поделиться впечатлениями дня, поведать о своих удачах. Им есть что порассказать, — хватит до самой пасхи. Но до пасхи еще целый месяц, а они смертельно устали, пора отдохнуть.

Малыши, улеглись на своем обычном месте — за печью. Как снопы, повалились они на пол и мигом погрузились в сон — блаженный сон счастливых людей, которым выпал на долю радостный и полный удач трудовой день.

7

Золотопряды подсчитывают заработки

Давно уже перевалило за полночь. В глубокий сон погрузились обитатели местечка после веселой и обильной пуримской трапезы. Только два человека бодрствуют и даже не помышляют о сне. Это — наши золотопряды: долговязый Нафтоле и его супруга Ривеле-сластена. Тихо заперли они дверь, занавесили окна и принялись подсчитывать кассу. Надо привести в ясность, сколько денег принесли домой в этот счастливый день все большие и маленькие золотопряды. Супруги считают и пересчитывают и никак сосчитать не могут. То муж собьется с толку, то жена напутает. Они злятся, говорят друг другу колкости.

— Дважды два эта баба сосчитать не умеет! — упрекает Нафтоле жену.

Жена отвечает:

— Что ж, сосчитай сам, ежели ты такой мастер считать.

— Сама считай, ты лучше умеешь!

— Нет, ты считай, ты умеешь лучше!

Не беспокойтесь, однако, за них: до крупной размолвки дело не дойдет. Сейчас не время ссориться. Надо пораскинуть умом и порешить, что в первую очередь приобрести на заработанные деньги. Обувь для мужа и жены, курточки мальчикам, платьица девочкам — это прежде всего. Затем надо запастись мацой на пасху. А гусиный смалец? А бочонок свекольного квасу? А мешок картошки? И удивительное дело! Как ни считай, как ни давай волю своему аппетиту, как ни потакай своему чреву, сколько ни транжирь, как ни предавайся мотовству и излишествам, — все же расчет показывает, что хватит денег и на мацу, и на гусиный смалец, и на бочонок свекольного квасу, и на мешок картошки, и на обувь для мужа и жены, и на курточки мальчикам, и на платьица девочкам.

Щеки у супругов пылают, глаза блестят, в сердцах клокочет радость. Они чувствуют, что не так уж

плох божий мир, как им казалось, и не так уж плохи люди, населяющие мир. Скверно только, что люди — большие завистники. Один день у нас удачный, один-единственный день за весь год, — и то им завидно!

— Сгореть бы нашему местечку! Вся Касриловка полным-полна завистников!

Эти слова принадлежат Нафтоле. Его жена Ривеле заступается за своих земляков:

— Зачем осуждать? Бедняки они все...

— Бедняки, говоришь? Хе-хе-хе! Бедняк бедняку рознь. Это же нищие, горемыки бездольные, голь беспросветная! Бедняк на бедняке сидит и бедняком погоняет.

— Не про нас будь сказано! — испуганно шепчет Ривеле: она до смерти боится дурного глаза.

А с улицы, неведомо с какой стороны, уже доносится знакомое ку-ка-ре-ку старого петуха, подобное пению престарелого кантора с надтреснутым, сиплым голосом. Начинает он как будто неплохо — на верхних нотах, с жаром и увлечением, — а кончает на самых низких тонах, перекатывающихся как отдаленное эхо.

— Ку-ка-ре! кау-ууу!..

И чудится будто он сам себя спрашивает: «Старый дурак! Чего раскричался?..»

Сизой дымкой подернута земля. Занимается заря.

ЛАКОМОЕ БЛЮДО

1

— Эй, девка, долго ты еще будешь прихорашиваться? Возьми-ка стеклянное блюдце и сходи к дяде Иосе за харойсесом *. Да запомни хорошенько, что сказать: «Хозяин, мол, и хозяйка желают вам счастливо дожить до будущего года и просят дать им харойсес». Ну как, запомнишь, или еще двадцать раз тебе повторять?

— Не так это мудрено, чтобы не запомнить,— ответила Лия (Лией, девкой Лией называла ее хозяйка, она же сама — так звали ее и знакомые — именовала себя Лизой), спеша принарядиться к празднику. Хотя ее праздничный туалет составляли всего лишь ситцевая юбка с блузкой, новые ботинки да бант в волосах, он все же отнял у нее немало времени. И всегда так: когда торопишься, делу конца не видно; когда стоят у тебя над душой, все из рук валится. Наконец Лиза (чтобы доставить ей удовольствие, назовем ее Лизой) кончила одеваться и сообщила хозяйке, что готова идти. Хозяйка (с ней мы познакомимся особо) всплеснула руками:

— Смотри, как вырядилась! Чисто принцесса! Тьфу ты ну ты! Дурной глаз минуй нас. Носи на здоровье, да смотри, как бы ты не угодила новыми ботинками в лужу. И не грех будет подол подоткнуть, как пойдешь по нашему болоту, юбка-то на мои деньги

куплена, у меня их заработала, это могу я тебе сказать или нет?

Лиза взяла стеклянное блюдце и, не говоря ни слова, отправилась к дяде Иосе. Стоит ли отвечать Переварихе, которая даже не понимает, что деньги, заработанные у нее прислугой, принадлежат не ей, а прислуге. Жалко, что нет здесь Макса, уж он нашел бы что ответить такой буржуйке! Макс — парень хоть куда! Лиза познакомилась с ним совсем недавно, незадолго до пасхи, когда шла однажды вечером домой. Всю дорогу Макс говорил о таких вещах, о которых Лизе раньше никогда не доводилось слышать, но она все поняла. О хозяевах он ей говорил и о рабочих. До сих пор миром правили они, хозяева, но скоро начнем править мы, рабочие.

Уже у дверей дома Макс спросил Лизу, умеет ли она читать.

— По-еврейски?

— Да, по-еврейски.

— Конечно, умею. Каждую пятницу я беру у книгоноши реб Алтера книжку. Когда я ее прочитываю, он в следующую пятницу дает мне другую. Рассказывается там все та же история, только книжка другая. Это очень длинная история, с самой осени тянется.

Макс выслушал ее с чуть заметной улыбкой.

— Не такие книжки надо читать, — сказал он. — Вот я вам дам книжку, и вы увидите...

Макс оглянулся по сторонам, достал из-за голенища маленькую засаленную книжонку и, передав ее, словно святыню какую, из рук в руки, просил Лизу спрятать книжку подальше.

— А почему?

— Говорят вам, так не спрашивайте почему...

Лиза приняла из рук Макса книжку с таким же благоговейным трепетом, с каким он ее передал. Дома она получила нахлобучку от хозяйки за то, что стоит ей выйти за ворота, как она забывает дорогу обратно. Когда все уснули, Лиза вывернула фитиль в лампе и уселась читать. Наверху на первой странице было напечатано крупными буквами: *«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»*

2

С тех пор Лиза встречается с Максом каждый вечер. Она и не помнит, когда перешла с ним на «ты». Когда Макса нет, ей жизнь не мила, а стоит Максу прийти, Лиза не замечает, как пролетело время. Им столько хочется сказать друг другу, что они никак не наговорятся. Речи Макса для Лизы слаще меда. Макс открыл ей новый мир. До знакомства с Максом Лиза думала, что раз Перевариха богачка, а она служанка, то ей так и положено ходить в ярме: и стряпать, и печь, и убирать, и стирать на весь дом. А подумать, то выходит наоборот: раз весь дом держится на ней, на Лизе, значит Перевариха должна знать ей цену. И как это раньше не приходило ей в голову? Не было Макса, и она ничего не понимала. Появился Макс, и все для нее изменилось. Пока еще, собственно, ничего не изменилось. Лиза по-прежнему прислуга, а Перевариха — богачка. Лиза стряпает, печет, убирает и стирает на весь дом, а Перевариха — знай ругается и проклинает, не дает ни минуты покоя. Но все до поры до времени. Оно придет, золотое времечко!

Так раздумывает Лиза, направляясь к дяде Иосе, и оглядывается по сторонам, не встретится ли ей Макс. Она не замечает заходящего солнца, которое окрашивает багрянцем небо на другом конце города. Она не замечает торопливо проносящихся мимо нее евреев с полными бутылками вина, купленного у Моти-выморозка для пасхальной трапезы. Вино играет и искрится в лучах заходящего солнца. Но Лиза этого не видит. Что ей солнце? Что ей Касриловка со всеми жителями? Что ей пасхальное вино, когда не приходит тот, кого она хочет видеть? Но вот ее окликают сзади:

— Лиза!

— Макс!

Они останавливаются поговорить, боясь, как бы их не увидели, потому что Касриловка до сих пор не допускает, чтобы парень и девушка просто так бесе-

довали на улице. Минуты бегут, и Лиза вдруг спохватывается:

— Ой, болячка Переварихе! Мне же надо идти за харойсесом.

— Иди, я тебя здесь подожду, потом провожу домой.

Лиза пускается бегом к дяде Иосе.

8

«Дядя Иося» — так величали его в Касриловке потому, что был он и почтенного возраста, и благообразен с виду, и богач, а детей у него не было, только племянников и племянниц без счета. Чуть ли не полгорода числились у него в племянниках и племянницах, и все они надеялись на то, что человеческий век недолог.

Велико ли состояние дяди Иоси — никто не знал, поговаривали, что и сам дядя Иося этого не знает. И тем не менее все были уверены, что денег у него невпроворот и в составленном им завещании все высчитано до копеечки. Под Новый год дядя Иося каждый раз переписывал свое завещание, созывал всех племянников и племянниц и брал с них слово, что если он, упаси бог, когда-нибудь умрет, они круглый год будут поминать его душу и каждый день будут читать главу из талмуда. Затем он наливал всем по рюмочке водки и на закуску подносил каждому по куску сладкой коврижки. Племянники выпивали за его здоровье и племянницы высказывали пожелание, чтоб он дожил до пришествия мессии, а дядя Иося улыбался своими всегда влажными глазами и шамкал в ответ: «Аминь! Дай боже!»

Так шло из года в год. Племянники и племянницы всё надеялись, но дяде Иосе было не к спеху. Кашлял он, правда, весьма усердно, страдал одышкой, вроде астмы, и когда, бывало, раскашляется, могло показаться, что тут ему и конец, хоть возьми и посылай немедленно за служкой из погребального братства. А откашляется и... ничего, как с гуся вода.

Стоит дяде Иосе почувствовать недомогание, все его племянники и племянницы тут как тут.

— Ну, как вы себя чувствуете, дядя, немного лучше стало?

— Слава богу, лучше, совсем хорошо. Только не беспокойтесь, детки; мой светлой памяти отец страдал такой же одышкой, как и я, и тем не менее прожил сто три года, да еще с половиной, пошли мне бог более долгий век. А мама, мир праху ее, прожила на полтора года дольше отца. Наша семья, к счастью, умеет себя беречь; мы никогда не открываем ни окна, ни форточки даже, потому что дело ясное: воздух для кашля — это зарез, а для одышки — смертельный яд...

Утешая таким образом своих племянников и племянниц, он отсылал их прочь и благодарил за то, что они его не забывают.

Его забыть? Разве можно забыть такого преданного дядю, который держит в уме стольких племянников и племянниц? Родной отец не сделал бы того, что делает дядя Иося для них по большим праздникам. В праздник кущей, например, они все молились над его «райским яблоком» *, к хануке он припасал для каждого ребенка юлу *, а в праздник пурим племянники и племянницы в полном составе, от мала до велика, являлись к нему послушать, как он читал библейскую книгу «Эсфирь». Не дай бог кому-нибудь не явиться. Дядя Иося зорок. Дядю Иосю не проведешь. Он помнит каждого, кто был и кто отсутствовал. И пребольно отдерет за уши, как только отсутствовавший покажется ему на глаза: «Бездельник, где ты пропадал, когда мы читали «Сказание об Эсфири»?» И провинившемуся приходится изворачиваться, находить оправдание своему поступку, потому что дядю Иосю не стоит восстанавливать против себя.

Самоотверженная натура дяди Иоси проявлялась особенно ярко в пасхальные дни. Накануне пасхи он весь день просиживал дома и собственноручно изготовлял для своих племянников и племянниц харойсес: крошил изюм, тер яблоки и волошские орехи, сме-

шивал все это с вином. Такой у него был обычай: накануне пасхи он изготовлял полную миску харойсеса и потом выделял каждому понемногу на тарелочке. Зато на следующий день, когда племянники и племянницы приходили после обеда поздравить дядю Иосю с праздником, только и разговору было, что о его харойсесе.

— В этом году, дядя, харойсес удался вам, как никогда.

— От вашего харойсеса, дядя, у нас на сегодня хоть бы крошка осталась, ну ни капельки...

— Ваш харойсес, дядя, прямо объедение.

— Что вы только кладете, дядя, в харойсес, отчего он получается у вас таким вкусным?

Дядя Иося выслушивал расточаемые ему комплименты молча. Хотя он хорошо знал цену этим сладким речам, они все же радовали его, согревали душу. Можете говорить что угодно, можете спорить до хрипоты, от правды все равно не уйти: лесть — это лакомое блюдо, слаще пряника.

4

Хозяева Лизы, Перерва и Переvариха, с которыми мы собираемся вас познакомить, весьма интересные личности.

Перерва — прозвище, которое не поддается переводу ни на какой другой язык. А на нашем славном еврейском языке это означает — бездонная кишка, одним словом прорва. Прорва — это человек, который готов проглотить весь мир, и таков он и есть, наш герой. Самый большой магазин в Касриловке принадлежит ему и самая бойкая торговля идет у него. За один час он выручает больше, чем три касриловских лавочника вместе взятых за неделю, а ему все мало. Гоняется за покупателями, ловит их за фалды, не считает для себя зазорным прямо из чужой лавки перетащить покупателя к себе, за что ему частенько попадает от других лавочников мокрым веником по физиономии, а то окатят его кружкой ле-

дяной воды: «Пусть эта прорва отучится совать нос куда не следует!» Такие стычки иногда завершались у мирового. Мировой, наш старый знакомый пан Милиневский, выслушав обе стороны, а также и свидетелей, пытался пристыдить Перерву.

— Навошто ты такая прорва? (Почему ты такой жадный?) Хиба ж бездетный Иоська тебе не дядька? (Разве бездетный Иося не приходится тебе дядей?)

И еще тому подобными речами донимал его мировой, и весь город смеялся над Перервой. А ему хоть бы что, и не поморщится, будто его и не касается. Вот такой он, Перерва. Теперь мы вам представим его праведницу жену, госпожу Перевариху, долгие годы ей.

Каждый муж имеет такую жену, какую заслуживает. Перерве отроду написано иметь жену, которая носит имя Перевариха. То есть, зовут ее, собственно, Рацл, но в Касриловке ее прозвали Переварихой за ее несколько сварливый характер: ни за что ни про что готова всякого варом обдать. Перевариху повсюду встречают, как злую напасть. «Вот она, Перевариха, явилась!» — говорят торговки на базаре, завидев ее издали. Если Перевариха надумает что-нибудь купить, она будет торговаться до тех пор, пока ей не скажут в глаза, что она Перевариха. А этого она больше всего не любит.

— Уже и Перевариха! А чем я это заслужила? Тем, что не желаю переплачивать? За свои деньги мне уж и поторговаться нельзя? Попробуйте докажите, что нельзя! Не думаете ли вы, что деньги у меня ворованные? Не думаете ли вы, что у нас фабрика фальшивых ассигнации? Не думаете ли вы, что сорвать с меня сам бог велел?..

Перевариха никого не щадит. Даже ее собственный дядя Иося (он ее дядя, а не Перервы), которого все почитают, и тот боится с ней связываться. А если он ненароком заденет ее словом, ему никак не замолить свой грех. Дяде Иосе остается только зажать обеими руками уши и выскочить из своего собственного дома с криком:

— Господи! Накажи меня преисподней, геенной огненной, чем угодно, только защити от язычка Переварихи!

Дядя Иося попытался было пригрозить ей лишением наследства, но, увы, этим он окончательно испортил дело. Она еще пуще въелась ему в печенку, и он заявил при свидетелях: пусть все знают, если ему, не дай бог, придется распрощаться с этим миром, то произойдет это только из-за Переварихи.

Теперь давайте разберемся: раз даже дяде Иосе, на наследство которого все зарятся, влетает от Переварихи, то каково ее мужу, и еще такому мужу, как Перерва, честно заслужившему, чтоб жена вогнала его в могилу, да так, чтоб и воскресение из мертвых его не коснулось! Я не заступник Переварихи, но тут ничего не скажешь: так и надо Перерве. Он прекрасно знал до женитьбы, какое сокровище приобретает, и после женитьбы ему тридцать раз представлялся случай развестись с Переварихой, но он этого не сделал, зарясь на наследство от дяди Иоси. Ну и поделом Перерве — такой бы конец всем скаредным душам, готовым продать себя за деньги!

Теперь оставим Перерву с Переварихой и вернемся к Лизе и к ее возлюбленному, Максу.

Выйдя от дяди Иоси, Лиза и пяти шагов не сделала, как перед ней вырос Макс, и парочка зашлепала по знаменитой касриловской грязи, прелесть которой особенно чувствуется в пасхальные дни. Старики и не припомнят такого случая, чтоб в Касриловке на пасху было сухо. Еврейское счастье, говорят они, — как только приходит пасха, город утопает в грязи. Больше всего грязи на большой площади, на так называемом синагогальном дворе, там, где находятся синагоги и молельни. Острые на язык касриловские извозчики прозвали это место чернильницей. Туда, говорят они, если заберешься с телегой накануне пасхи, то дай бог увидеться с женой и детьми в пятидесятницу.

Однако — долгие годы касриловцам! — вы бы видели, как они, по-праздничному одетые, идут в пер-

вый пасхальный вечер в синагогу. Кафтаны на них длинные, несмотря ни на что, да еще обязательно атласные. Запоздавшие бегут во весь дух, чтобы поспеть к молитве. Один только Макс не спешит в синагогу. Макса больше занимает Лиза. Он продолжает с ней ранее начатый разговор. Парочка пробирается вдоль стен, отыскивая хоть какую-нибудь тропинку, и не замечает, как время идет. Вдруг из синагоги посыпались люди, и Лиза встрепенулась:

— Ой, болячка Перевархе! Вон уже из синагоги возвращаются, а харойсес...

Конец фразы застрял у Лизы в горле. С ней случилось то, что в Касриловке случается не так уж редко: она поскользнулась, выпустила из рук блюдце с харойсесом, и... прямо в грязь. Какое несчастье! Лиза была в ужасе. Нет, разумеется, такой напасти, которой Лиза в эту минуту не посулила бы Переварихе. Максу, однако, не стоило большого труда утешить Лизу:

— Черт с ними, с твоими буржука́ми! Наложи полное блюдце грязи, вот и будет им харойсес. Ничего, у Перервы и Переварихи здоровые животы, переварят...

Вначале Лиза испугалась: как можно?.. А потом эта мысль так пришлась ей по душе, что она громко рассмеялась, сделала так, как посоветовал ей Макс и, крепко пожав ему руку раза три подряд, побежала домой.

5

Такова уж человеческая природа — когда богу угодно ниспослать нам что-либо хорошее, мы охотно делимся с ближним, тем более, если этим можно заслужить царство небесное, а денег оно не стоит. Как известно читателю, наш герой Перерва не отличается широтой натуры и способностью жертвовать собой ради общественного блага; в первый день пасхи, однако, в нем просыпается жажда добрых дел, сердце у него смягчается, и он щедрой рукой оделяет всех соседей харойсесом дяди Иоси, каждому понемножку.

Лицо у него в этот момент ангельское, на пожелания соседей дожить до будущего года и быть богатым (а это он любит!) Перерва отвечает со сладкой улыбкой, которая так редко появляется на его губах: «И вам того же! И вам того же!»

На этот раз Перерва немного запоздал с раздачей харойсеса. И, спрашивается, из-за кого? Из-за прислуги, которая где-то задержалась. Какая наглость! Выручило ее весьма убедительное оправдание, которое она придумала по дороге домой: дядя Иося, сказала Лиза, так закашлялся, прямо страх. Все думали, что конец, нет дяди Иоси.

— Ну?

— Что ну?

— Что же дальше?

— Дальше? Ничего. Жив-здоров, дай бог всякому...

Перерва и Перевариха молча переглянулись, глубоко вздохнули и сели за стол.

Пасхальная трапеза столько раз уже была описана и мною и моими коллегами, что все, что я бы теперь ни сказал, было бы только пережевыванием прошлогодней жвачки. Меня лишь одно занимает: какая сила таится в милом, светлом празднике пасхи, что даже такая черствая душа, такая холодная тварь, как Перерва, — и то его не узнать! А Перевариха? Куда девался ее язычок, на который угомону нет? Откуда взялось у обоих столько нежности, столько приветливости и сияния в лицах? Ей-ей, стоит хотя бы издали полюбоваться на то, как справляют трапезу Перерва с Переварихой. Какая чистота, все блестит, все выглядит новым, и с каким достоинством здесь сидят за столом, устремив глаза на одного человека, на короля этой ночи, на милого, добросердечного Перерву, одаряющего всех хреном и харойсесом на кусочке мацы. Первой, согласно этикету, получает свою порцию королева (Перевариха), а потом уже принцы и принцессы (дети Перервы и Переварихи), которые ждут этого, словно чего-то путного. После детей и прислуга получает свою долю (это уже по доброте душевной хозяев), и только тогда, когда

вся королевская семья оделена хреном и харойсесом, король (Перерва) берет и себе изрядную порцию, произносит нараспев: «Вот я и готов, и расположен...» — освящает трапезу и, расположившись в полное свое удовольствие на подушках, как и подобает королю, приступает к еде. На него глядя, согласно этикету, приступает к еде королева, а на них обоих глядя, дети тоже подносят ко рту харойсес, и лица их искажаются:

— Ой, что это за харойсес такой? Скрипит под зубами и пахнет... Тьфу!

В другой раз детям попало бы за такое озорство: разве можно про харойсес сказать «тьфу!»? Но на этот раз обошлось, король и королева сами застыли с открытыми ртами, ни туда, ни сюда: проглотить невозможно, выплюнуть — грех. Одна только Лиза сидит невозмутимо и, словно телка, жует свой кусок мацы (харойсес она заблаговременно спустила под стол). Вот так харойсес преподнес им в этом году дядя Иося! Был бы по крайней мере дядя Иося не *ее* дядей, а *его,* Перевариха такую музыку задала бы в эту пасхальную ночь, что Перерве и свет стал бы не мил и пропала бы охота царствовать. И что подумают о них соседи, какой позор! Сердце правильно подсказало Перевархе: в самом разгаре трапезы отворилась дверь и в комнату один за другим стали входить посланцы соседей.

— Получите обратно ваш харойсес...

— Папа велел сказать вам спасибо за харойсес...

— Ешьте сами на здоровье ваш харойсес...

На следующий день племянники и племянницы со всеми их домочадцами, как обычно, пришли после обеда к дяде Иосе поздравить его с праздником. Стол, накрытый для них дядей Иосей, ломился под тяжестью яств: разбавленного водичкой наилучшего вина из изюма, множества волошских орехов, по большей части пустых, и бесконечного количества серебряных кубков и пасхальных рюмочек. Дядя Иося в праздничном, хотя и местами рваном, но все же шелковом вышитом халате и в тисненой ермолке на голове был похож на гостеприимного турецкого

пашу. Он суетился, следил за тем, чтобы никто не сидел без дела, и от души потчевал гостей:

— Щелкайте орехи, детки, щелкайте на здоровье! И вино пейте, только, чур, не напиваться... Не забывайте, что вечером вас ждет вторая трапеза, опять с вином, хреном и харойсесом...

— В этом году, дядя, харойсес удался вам, как никогда.

— От вашего харойсеса, дядя, у нас на сегодня хоть бы крошка осталась, ну ни капельки...

— Ваш харойсес, дядя, прямо объедение.

— Что вы такое кладете, дядя, в харойсес, отчего он получается у вас таким вкусным?

Племянники и племянницы, как всегда, наперебой хвалили харойсес дяди Иоси. Молчали только Перерва и Перевариха, они переглядывались, и кровь их закипала. Перевариха чувствовала, что еще немного, и она лопнет; если помолчит хоть одну минуту, то и жизни конец. Тогда она раскрыла рот и выступила с речью, в которую вложила все свое уменье, отчитала родственничков так, как они того заслуживали:

— Бесстыжие ваши глаза! Фальшивые вы люди! Продажные души! Льстецы! Лизоблюды! Вам дают немного уж и не знаю чего, немного... да не накажет меня бог за такие слова, и называют это харойсесом, а вы пальчики облизываете!

Если бы бомба вдруг влетела через потолок в комнату и взорвалась у всех на глазах, она не произвела бы такого переполоха, как слова Переварихи. Разве это мыслимо? Назвать харойсес дяди Иоси «немного уж и не знаю чего, немного... да не накажет меня бог за такие слова», и где же? У дяди Иоси в доме, самому дяде Иосе этакое сказать... Не иначе как Перевариха не в себе, тронулась, да и только!

— Что это вы такое говорите, Рацл? Бог с вами! Рехнулись вы, что ли? — набросились на нее родственники. Их слова подлили масла в огонь, и Перевариха воздала им сторицей:

— Рехнуться вам всем до последнего, лишь бы меня это не коснулось, меня, моего мужа и детей!

Я такой человек, я правду люблю, я не польщусь на горстку, простите за выражение...

— На горстку чего?

— Того самого...

— Дядя, вы слышите, что она говорит? Она говорит, что ваш харойсес — это горстка, простите за выражение, того самого...

У кого хватит уменья изобразить морщинистое пергаментное лицо дяди Иоси, его влажные глаза и неловкую улыбку, которую выдавили его помертвевшие губы? Он как-то весь согнулся, сразу стал меньше ростом и обратился ко всем вместе и ни к кому в частности, а просто так, в пространство:

— Жила-была Перевариха...

Эти слова переполнили чашу. Услышав присвоенное ей по заслугам прозвище, Перевариха так рассвирепела, что с родственников перенесла удар на самого дядю Иосю. Она выложила все, что приходило на ум. Не помогло и вмешательство Перервы, который, схватив Перевариху за руки, пытался ее унять.

— Пусти! — кричала она. — Я такой человек, я правду люблю. — Она рвалась к дяде Иосе, обзывая его необычными прозвищами: — Идол! Мешок с золотом! Охапка соломы! Козий помет! Старый хрен! Тисненая ермолка! Фабрикант харойсеса!..

Не знаю, которая из этих позорных кличек больше всех подействовала на дядю Иосю, но ему вдруг стало дурно, и он закашлялся чуть не на целый час, «задышка» взялась за него не на шутку. Тут же побежали за врачом, сделали все, что в человеческих силах, но напрасно: в тот же вечер ко второй пасхальной трапезе дядя Иося отдал богу душу.

Эпилог

Прошла пасха, племянники и племянницы собрались в доме дяди Иоси, где было наконец зачитано его завещание. Дядя Иося, да простит он мне, оказывается, водил их всех за нос. Когда его состояние

распределили между племянниками и племянницами, то едва хватило по сотне с лишним на душу. Кому не довелось видеть в те дни нашего героя Переву, тот настоящего горя не видал. Краше в гроб кладут. А Перевариха? Всю свою злость она выместила на Перерве, и по нынешний день пилит его с утра до вечера, а он вынужден молчать. А что же ему делать? Жалость берет, скажу я вам, когда смотришь на этого беднягу!..

Лиза не вышла за Макса. Его сразила пуля во время первой большой забастовки... Лиза в Америке, работает со своими двумя сестренками на фабрике и ходит вместе с ними на все митинги. Несмотря на то что она «зеленая» и мучается, словно проданная в рабство, на вопрос «как поживаете?» она отвечает: «Олл райт». Лиза все еще полна надежды на счастливые времена... Мы с ней еще встретимся, она о многом может порассказать. А пока пожелаю вам веселого, счастливого праздника!

НОВАЯ КАСРИЛОВКА

НОВАЯ КАСРИЛОВКА

(Зарисовки)

ВСТУПЛЕНИЕ

В последнее время все чаще стали появляться в разных концах мира описания городов и стран, а также и другие полезные книги. И я подумал: во всем мы следуем другим народам, у них выходят газеты — у нас выходят газеты; у них Новый год с елкой — у нас Новый год с елкой; у них книги «Вся Москва», «Весь Петербург», «Весь Берлин», «Весь Париж» — почему бы и у нас не быть книге «Вся Касриловка»?

И мне, Шолом-Алейхему, который сам родом из Касриловки и недавно побывал там в гостях, посетил родные могилы, пришла в голову мысль: чем я могу отблагодарить моих касриловских братьев и сестер за их гостеприимство? Разве лишь тем, что прославлю их имя. Не для собственного блага я здесь постарался, а для блага общественного: пусть люди, если им вздумается побывать в Касриловке, знают, как туда проехать, в какой гостинице остановиться, где можно вкусно пообедать, выпить стаканчик вина, а то и развлечься театральным представлением, вкусить от разного рода удовольствий, которых там теперь изобилие: Касриловка уже не та, что прежде. И ее коснулся великий мировой прогресс и все в ней перевернул. Вот почему я и назвал свои зарисовки «Новая Касриловка».

1
Касриловский трамвай

Прибыл я в Касриловку поездом, — туда, благодарение господу, уже идет поезд! — осенью, на рассвете, еще до утренней молитвы. Накрапывал мелкий дождик, улица была покрыта жидкой грязью. На вокзале ко мне бросилась целая ватага зазывал с рыжими бородами, в рыжих кафтанах и с рыжими бляхами на рыжих выцветших картузах.

— В Гранд-отель пожалуйте!

— В отель «Франция» заезжайте!

— В «Португалию» пожалуйте!

— В «Туркалию» заезжайте!

Благополучно выбравшись, по милости божьей, из толпы зазывал, я попал в новую переделку: компания извозчиков в огромных сапогах и с длиннейшими кнутами чуть не разорвала меня на части. Какой-то здоровенный детина силою вырвал из моих рук чемодан, и я поднял отчаянный крик: «Мои сочинения! Мои бумаги!» Тогда двое других молодцов, желая меня переманить, выступили в мою защиту. Воспользовавшись перепалкой между извозчиками, я выскользнул из их рук, схватил свой чемодан и направился прямо к трамваю.

— Сюда, братишки, сюда! Пятачок проезд! Пятачок с головы! Отсюда до конца Белефильской улицы всего лишь пятак! Пять копеек с головы.

Это сам кондуктор, молодой человек с рыжей бородкой, с сумкой на груди и с бляхой на картузе, гнусавым голосом зазывает пассажиров. Рядом с кондуктором стоит в рваном кафтане и с кнутом в руках кучер. Оба показывают мне руками на какое-то сооружение, слегка накренившееся, с выбитыми стеклами, которое носит название вагона. Запряженная в него худая, белая кляча, понурив голову, дремлет.

— Осторожно, — предупреждает меня кондуктор, — не оступитесь, доски в полу не хватает. Трамвай ремонтируют.

Потихоньку забираюсь в вагон, ставлю рядом с собой чемодан и жду. Становится прохладно. Постукиваю ногой об ногу.

— Кондуктор, мы когда-нибудь поедем или нет?

— Как же, поедем, бог даст, — отвечает кондуктор.

— Отсыпь-ка немного табаку, слышь, Иосл, — обращается к кондуктору кучер в рваном кафтане и с длинным кнутом.

— А корешки вы хворы курить? — отрезает кондуктор. — От хорошего табака, реб Касриел, у вас того и гляди голова закружится.

— Брось ломаться, сопляк, дай закурить!

Кондуктор и кучер скручивают по цигарке.

— Когда же мы поедем? — снова спрашиваю я кондуктора.

— Сегодня, — отвечает он хладнокровно и дает кучеру прикурить.

Я жду. Наконец-то начинают собираться пассажиры. Первым входит в вагон человек в драном тулупе. Трудно определить, какой зверь ходил в шкуре, из которой сделан этот тулуп. Для лисицы она слишком белая, для кошки — слишком рыжая. Вслед за человеком в драном тулупе в вагон влезает человек вовсе без тулупа. Бедняга замерз. Вздыхая, он оглядывается по сторонам, ищет себе место и устраивается в уголочке около двери. После замерзшего пассажира в вагоне появляется корзина с яблоками, а вслед за корзиной — женщина в трех платках. Все три платка развязаны, и женщине, видно, очень холодно.

— Фью-ить! — свистит кондуктор. — Реб Касриел, пошел! — Конка трогается с места и тут же останавливается. В дверце вагона возникает голова.

— Нет здесь Мойше?

— А какой это Мойше? — спрашивает кондуктор.

— Парень в картузе, — отвечает голова.

— В скобяной лавке служит? — спрашивает кондуктор.

— В скобяной... — отвечает голова.

— Я его знаю, — сообщает кондуктор и свистит: — Фью-ить! Реб Касриел, пошел!

И мы едем дальше.

— Получите билет! — обращается ко мне кондуктор. — Что-то я вас не припомню, видать, нездешний. А надолго к нам приехали? Могу вас завезти в один дом. Это не гостиница, правда, зато чистота, клопов и в помине нет... А где столоваться, я вам укажу местечко — и дешево обойдется, и довольны останетесь.

Я благодарю его и говорю, что у меня здесь есть знакомые. Тогда он спрашивает, кто они такие и чем занимаются. Я называю имя, взятое с потолка, и таким образом отделываюсь от него. Кондуктор подходит к человеку в драном тулупе и предлагает ему билет. Тот пожимает плечами:

— Тоже сказал, билет!.. Спросил бы лучше, есть ли у меня грош за душой!

— Вы уже третий раз на этой неделе едете без билета! — с досадой замечает кондуктор.

— Ну и что же? Пешком прикажешь ходить? Или же мне своровать где-нибудь деньги для твоей милости? — тоже не без досады отвечает пассажир.

Кондуктор машет рукой и подходит к пассажиру без тулупа. Тот притворяется спящим.

— Послушайте-ка, будьте добры, получите билет!

Пассажир, будто бы очнувшись от сна, потирает руки.

— Получите билет! — повторяет кондуктор.

— Слышали! — говорит пассажир и дует в кулак.

— Что мне с того, что слышали? Потрудитесь достать пятак, и вот вам билет.

— Полегче! — говорит озябший пассажир. — Ишь разошелся... Подумаешь, важная птица!

— Не морочьте голову, дайте пятак!

— Положим, мне ты немного уступишь!

— Мои горести могу вам уступить! — говорит кондуктор.

— Держите их при себе, — отвечает озябший. — Мне и своих хватает.

— Тогда я вас попрошу, будьте добры выйти из вагона! — И кучеру: — Реб Касриел, стоп!

Кучер останавливает конку с явным наслаждением, лошадь тем более довольна.

— Ну, прошу вас, правой ногой вперед! — говорит кондуктор. Озябший сидит как ни в чем не бывало, потирает руки и притопывает ногами.

— Вы ждете особого приглашения? — говорит кондуктор. — Вы хотите, чтобы я вас взял за шиворот и выбросил ко всем чертям? Пусть только придет контролер Велвл, он у нашего кассира, — там справляют обрезание, — и вы получите свое. Реб Касриел, пошел! — кричит он кучеру. И конка идет дальше.

— Нет, видно, правды на земле! — вдруг отзывается женщина с яблоками. — Чем, к примеру, этот человек хуже того? Почему тому можно ехать без билета, а этому нельзя? Потому, наверно, что один в тулупе, а другой разут-раздет. Скамейка, что ли усохнет, если он будет сидеть на ней? А ты, видать, думаешь, что тебе памятник поставят, так ты думаешь?

— Заступница нашлась, — говорит кондуктор. — Что вы равняете этого человека с тем? Того я знаю. Он из хорошей семьи, только разорился бедняга... А этот, — указывает пальцем на озябшего, — кто его знает... Оборванец какой-то, нищий...

— Ну, а если нищий, так его уж и выбросить надо? — Женщина с яблоками поднимается с места. — Швыряться тут нечего! Видели, чем он, с позволения сказать, провинился... Лошадь все равно идет в город, так пусть еще один еврей поедет. Допустим, что ты получил с него пятак? Ну и что же? Похлебка у тебя от этого жирнее стала?

— Никто вас не спрашивает, — говорит кондуктор. — Вы лучше сами дайте пятак и получите билет!

— Ой, люди, — женщина с размаху ударяет себя по ляжкам, — я так и знала, что он и ко мне пристанет. Знать бы мне так хорошую жизнь, как я это знала!

— А что же вы думали? Я вас даром повезу?

— Как это ты меня повезешь? — говорит женщина. — Лошадь меня повезет, а не ты. Нацепил на себя медную бляху и распоряжается. Думаешь, я не

помню, как ты у меламеда Лейзер-Герша в помощниках ходил, таскал в хедер деток на спине и завтрак для них в горшочке, а теперь завел: «Билет-шмилет!»

— Ну, что вы скажете про мои золотые дела? — говорит Иосл и присаживается рядом со мной. — Вот таковы здесь все. У кого есть деньги и кто в состоянии платить, тот ходит пешком, а у кого денег нет и кто не может платить, тот ездит в трамвае. Ну и живи, как знаешь, содержи мать и сестру-вдовицу... Видите сапоги?.. (Он показывает мне свои сапоги.) Каши просят...

Вдруг раздается треск, стук двух дышел и храп лошадей. Это столкнулись два встречных вагона. С обеих сторон посыпались проклятья.

— Погибель на тебя! Холера! Черта батьке твоего прабатьки и праотцу Адаму в придачу!

— Подавись ты своим дышлом! Чтоб тебе рыло на сторону свернуло! Твоему батьке черта! Ему это больше впрок!

— Где твои глаза, ты, байстрюк? Видишь, я еду направо, взял бы немного левее.

— А где это сказано, паршивец ты этакий, что ты должен ехать направо, а я налево. А почему бы не наоборот: я направо, ты налево.

— Вот осел! Для того ведь и существуют две линии: я сюда, а ты туда!

— Сам осел! Где это сказано, что ты сюда, а я туда?

— Знаешь, что я тебе скажу: ну их совсем с этими линиями, вагонами, трамваями! Нет ли у тебя, сердце мое, табачку немного, давай скрутим по цигарке. Пусть они сгорят со своим трамваем! Как твоя старуха? Утихла малость?

— Чего захотел! Когда спит, тогда ее не слышно. А у тебя что нового?

— Да что тут может быть нового? Мои гадят мне на постромки, — и все тут. Думаю, не послать ли их к бесу.

— Не знаешь, что делать, дурачина? Ты с ними по-свойски; посади их на облучок, пусть хоть на овес заработают. У меня учись...

— Дай им бог хворобу полной мерой и лихорадку на закуску! Как твой буланый? Ходит в упряжке? Или нет еще?

— Да провались он! Боится кнута, овечкой прикидывается. Спичка есть? Дай прикурить!

Оба кучера затевают длинный разговор на извозчичьем наречье, как самые закадычные друзья. Также и кондукторы вступают в беседу по душам, пока не приходит в самом приятном расположении духа контролер Велвл, побывавший на торжестве у кассира. Он поднимает гвалт:

— Чтоб к вам дьявол забрался и в печенку и в селезенку! Опять напутали? Ваше счастье, что у меня сегодня отрадно на душе. Ну и праздник он закатил, наш кассир Мотл, забодай его черт! Недаром он сидит у кассы. Я бы тоже не прочь. Куда лучше, чем быть контролером, бегать высунув язык за вагоном. Что же тут у вас случилось, люди добрые? Опять авария? Снова столкнулись? Где ваши глаза? Пассажиры — черт с ними, главное, вагоны целы. Короче говоря, вам надо разъехаться, детки. Реб Касриел, душа моя, потрудитесь-ка, перепрягите лошадь и поезжайте обратно на вокзал, а реб Азриел поедет следом.

— Почему это на меня пал жребий? — отвечает Касриел. — Пусть Азриел перепряжет лошадь и поедет в город, а я за ним следом.

— Реб Азриел, потрудитесь-ка, перепрягите лошадь и поезжайте обратно в город!

— А вот и нет, не бывало и не будет! — отвечает Азриел. — Касриел и сам не хвор перепрячь лошадь и поехать обратно к поезду!

— Пусть меня земля проглотит, если я тронусь с места! — говорит Касриел.

— Такую бы вам жизнь! Такую бы удачу! — восклицает женщина в трех платках, хватает свою корзину с яблоками и вылезает из вагона. — Вот так поездка! Пятачки им подавай! Пойди я пешком, я бы шесть раз успела обернуться. «Тромбелик» придумали в Касриловке... Тьфу!

«Видно, придется отправиться в город на своих на

двоих». Беру чемоданчик и пускаюсь в путь пешком. Но тут меня нагоняет с гиком, свистом и хохотом компания извозчиков.

— Ага, привередничаете, приелись вам клецки с фасолью, ехать с простым извозчиком вам не к лицу, на «тромбелик» захотелось! Ваше счастье, что целы остались, что из вас не сделали яичницу! Ну, дяденька, полезайте же со своим чемоданчиком на дрожки, все равно на какие, у нас одна рука, болячку поровну делим, что бог пошлет, лишь бы сообща... Вьо, детки, вьо-вьо!

Восседая со своим чемоданчиком в коляске, я с шумом и треском въезжаю в Касриловку.

2

Касриловские гостиницы

— Хотите, завезу в хорошую гостиницу, и дешево и сердито, — говорит мне извозчик и подкатывает к двухэтажному дому, на облупленной стене которого выведено крупными буквами: «Отель Туркалия». Извозчик стучит кнутовищем в дверь и громко кричит: — Нойах! Нойах! Куда ты запропастился ко всем чертям? Отвори, щуку приволок!

На этот крик отворяется дверь и показывается субъект по имени Нойах, швейцар гостиницы. Без лишних слов он хватает мой чемодан и устремляется с ним по лестнице на второй этаж.

— Какой номер вы, к примеру, пожелаете, с пением или без пения?

— Как так с пением?

— А артисты? У нас остановились артисты еврейского театра. А в номере напротив у нас остановился кантор из Литвы с двенадцатью певчими. Приехал на субботнее богослужение. Говорят, он неплохой кантор, совсем даже замечательный.

— Возможно, что он и замечательный, — говорю, — но меня избавьте... Дайте мне лучше номер без пения.

— Как вам будет угодно, выбор за вами. Могу вам дать номер без пения, но если вам будет там немножко не того, не обижайтесь...

— Немножко «не чего»? — спрашиваю.

— Ну, если вас, к примеру, будут кусать?

— Кто меня будет кусать?

— Кто вас будет кусать? Не я, конечно. Уж найдутся такие, которые будут вас кусать. Правда, не так давно, как раз накануне пасхи, номер почистили, но ничего не помогает. Даже керосин...

— В таком случае, — говорю, — пусть уж лучше с пением...

Швейцар вводит меня в темную комнату со смешанным запахом только что выделанной овчины, гнилых огурцов и махорки. Не успел я осмотреться, куда это я попал, как швейцар начал бить по какому-то предмету таким манером, как обычно взбивают подушку, чтобы было помягче спать. При этом он сыпал ругательствами, неизвестно по чьему адресу:

— Ах ты растяпа! Морской кот! Бык безрогий! Вот я тебя сейчас смажу по циферблату, смотри, десны попорчу! Весь мир едет с вокзала, а он забрался с сапожищами в кровать, растянулся, как у родного отца в винограднике, и дрыхнет. Вот так лакей! Хвор ты был ставни открыть, поставить самовар, почистить сапоги актерам, убрать комнату кантора с певчими? Пошевеливайся, байбак, провались ты...

Только теперь я рассмотрел огромного детину в огромных, обильно смазанных сапогах и понял, откуда запахи в номере. Тумаки, которыми наградил его швейцар, лакей принял не моргнув глазом, преспокойно открыл ставни, потом посмотрел на меня и рассмеялся.

— Полюбуйтесь-ка на него! — обратился ко мне швейцар. — Не можете ли вы мне объяснить, чего он регочет? Видно, понравились затрещины натощак. Пошевеливайся, байбак, провались ты... Вот мерзкий парень! Ему бы только картошку жрать, лапшу глотать, бублики уминать!

Швейцар дал лакею подзатыльник, и тот вылетел в дверь.

— Хороший парень! — сказал мне швейцар. — Немножко с ленцой, правда, сон, видите ли, у него очень крепкий, без пинков никак его не поднимешь. Трудится он, бедняга, словно ишак. Весь заработок сестре отдает. Еле уговорили его справить себе пару сапог. Чего пожелаете к чаю? Свежую сдобу, баранки на яйцах, коржики с маком или касриловские булки?

Швейцар повернулся и исчез.

— Слушайте, вы уже помолились? — услышал я чей-то голос, и в дверь просунулась голова.

— А зачем это вам нужно знать?

— У меня к вам просьба.

— Да кто вы такой?

— Еврей, проезжий. Я хотел попросить у вас на минуточку талес. Мой украли вчера здесь, в гостинице.

Дверь снова отворилась, и в ней возникла голова без шапки. Голова эта заговорила сразу на нескольких языках:

— Разных товаров, пане! Чулки хорошие! Ренковички зимни[1] наилучшие, вара дешевка! Почти задаром, як бога кохам![2] Купите хоть чулок полдюжины, дай вам бог здоровья! Я не знал, кто вы такой, а то, бывает, напорешься иногда на какого-нибудь барина, битый час уговариваешь его по-еврейски, а потом по шапке получишь. Вот я и смекнул: почему бы не попытаться и по-польски, и по-русски, и по-немецки; я, слава богу, знаю несколько языков... Парочку перчаток, теплых, мягких, не пожелаете? Я, видите ли, был когда-то большим купцом, на самые большие ярмарки ездил — и в Ярмолинец, и в Проскуров, и в Полтаву. Больше, значит, ничего не пожелаете? А мыла кусок не угодно ли? А расческу прима, лучше не бывает? Нет? Спасибо, что дали заработать. То-то мои дети обрадуются. А может быть, вы все-таки купите еще щеточку хорошую? Или галстук красивый? А может, еще полдюжины чулок,

---

[1] Перчатки зимние (*польск.*).

[2] Честное слово (*польск.*).

я вам уступлю дешевле? Нет? Не желаете? Всего вам доброго!

Посетитель схватил свою шапку и скрылся. На его месте тут же появился другой, уже в шапке.

— Купите у меня чулки, господин, хорошие чулки, отдаю по дешевке!

— Мне не нужно чулок. Спасибо!

— Как это вам не нужно чулок? Вот ведь вы только что купили у того полдюжины чулок. Я тоже бедный человек, и дети у меня тоже мал мала меньше, двое мальчиков учатся в училище, один у ремесленника, а младшие — в хедере... Благодарю вас. Будьте здоровы. Пошли вам бог удачу!

Вслед за этим посетителем явился высокий, тощий человек с испуганным лицом.

— Хотите сделать богоугодное дело, чтоб вам и поститься не надо было в тишебов *, возьмите у меня остаток по сходной цене. У меня осталось всего несколько дюжин чулок.

— Да не нужны мне чулки. У меня уже достаточно чулок.

— Но я уступаю их вам ниже стоимости. Я не собираюсь торговаться с вами. Сколько ни дадите... Дай вам бог здоровья и долгих лет! У меня сын в гимназии, в этом году кончает, хочет учиться на доктора. «Тебе, отец, тогда не придется так много трудиться. Трудиться тогда буду я, а ты сможешь позволить себе и отдохнуть немного». Так он мне говорит, мой сын. Ну, а пока его же приходится иной раз поддержать трешницей, хотя он и сам уже, не сглазить бы, зарабатывает этак рублей десять в месяц. Будьте здоровы и счастливы!

В комнату входит женщина в турецкой шали.

— Это вы из Егупца?

— Я. А что такое?

— Я слышала, что вы приехали в Касриловку закупать чулки, так я вам принесла несколько образцов. У меня чулочная фабрика. Я уже десять лет вырабатываю чулки.

— Кто вам говорил, что я покупаю чулки? Я вовсе не приехал за чулками. Мне не нужно чулок.

Но женщина и слушать не хочет. Она делает свое: мелет как мельница.

— Мои чулки славятся на всю Касриловку. Посмотрите-ка чулок! Что вы скажете о таком чулке?

— Но ради бога! — кричу я. — Я не покупаю чулок! Не нужны мне чулки!

— Вот же лежат у вас, — говорит она, — чулки.

— Это я сам привез чулки для продажи, — заверяю я женщину, выпроваживаю ее и запираю дверь на ключ из боязни, что мне снова принесут чулки. — Кто там?

— Я, — отвечают из-за двери.

— Кто это «я»? — Боюсь отворить дверь, вдруг мне предложат чулки. — Кто там стучит?

— Довид.

— Какой Довид?

— Довид Шпан.

— Какой такой Довид Шпан?

— Комиссионер Довид Шпан.

— Что вам нужно? Не чулки ли принесли?..

— Вам чулки? Вот сейчас я пройдусь по магазинам и куплю чулки.

— Нет! Нет! — кричу я. — Мне не нужны чулки!

Отворяю дверь. Прямо ко мне идет швейцар Нойах, нагруженный баранками, лепешками, коржиками, сдобными булочками и просто булками.

— Кому это столько провизии? — спрашиваю.

— Не извольте беспокоиться, — отвечает Нойах. — Выбрасывать ее для собак мы не станем, упаси бог! Найдется, кому ее скормить. У меня у самого шесть едоков собственных, да еще две бедные сиротки... Вы мне лучше скажите, что вы за странный человек такой. Если вам нужны чулки, вы могли бы меня попросить, а не Довида Шпана, чтоб он принес чулки...

— Кто его просил, — говорю, — принести чулки?

— Не знаю, — отвечает Нойах, — кто его просил. Уж во всяком случае не я его просил. Довид — вор, принесет вам чулки, будет на что поглядеть. Касриловские чулки...

Тут в комнату входит плотный человечек с потным лицом, с красными щечками и с трубкой в зубах. Не-

долго думая хватаю его за руку и указываю на дверь.

— Идите себе подобру-поздорову с вашими чулками! Мне не нужно чулок!

— Господь с вами, почему вы их гоните? Они ведь наш хозяин, хозяин гостиницы! — останавливает меня Нойах.

— Ах, так? Простите, пожалуйста! — Я протягиваю руку плотному человечку и подвигаю ему стул. — Я подумал, что вы тот самый, который побежал купить для меня чулки. Ну и напасть! Чулочный потоп! Меня забросали чулками! Садитесь, прошу вас!

— Спасибо, можем и постоять! — отвечает хозяин и усаживается, пыхтя трубкой. — Откуда пожаловали? Из Егупца? У меня там есть знакомый в Егупце. То есть теперь он уже не в Егупце, он давно уже оттуда уехал, лет восемнадцать тому будет, а может, и все девятнадцать, в Одессу, говорят, переехал. Там у него родственники, в Одессе-то, контора у них, пшеницей промышляют. У них, собственно, две конторы — одна в Одессе, а вторая — в Николаеве. В одесской конторе дела идут неплохо, а в николаевской будто неважно, потому что Николаев нынче совсем не то, сильно сдал Николаев... Это, говорят, изза Феодосии, из-за порта, который там построили. Настоящим городом нынче стала эта Феодосия. Там у меня тоже знакомые. Приличный город, говорят, Феодосия.

— О чем это я хотел вас спросить... — перебиваю я хозяина, видя, что разговору не будет конца. — Да, почему вы назвали свою гостиницу «Туркалией»?

— Я помню Феодосию, когда она была еще маленьким местечком, — отвечает мне хозяин. — Я, понимаете ли, сам оттуда, из Бессарабии я, из местечка Дубоссары. То есть родом я из Бельц... Вы когда-нибудь были в Бельцах? Приличный город Бельцы, но куда ему до Кишинева?

— Кто в лес, кто по дрова, — вставляет швейцар. — Потрудитесь разговаривать с хозяином погромче, они туговаты на ухо, ни черта не слышат.

Придвигаюсь к хозяину совсем близко и кричу ему в самое ухо:

— Я спрашиваю, почему ваша гостиница носит такое странное название?

— Что вы так кричите? Я ведь не глухой. Странное название, говорите? А чем оно такое странное? «Инталия» — это хорошо? «Португалия» — хорошо? А чем хуже «Туркалия»? Те названия другие захватили, вот я и назвал свою гостиницу по турку... Да, на чем мы остановились? На Кишиневе. И какие же там люди! У нас, в Бессарабии, знаете ли, совсем другой народ. У нас, в Бессарабии, и едят совсем по-иному. У нас, в Бессарабии, когда садятся за стол, первым делом подают отличнейшую рыбу, понимаете ли, из отличнейшей реки, затем каду, изрядный жирный кусок кады, потом подают на большой тарелке отличную чистенькую мамалыгу и разрезают ее по самой середине длинной ниткой, потом подают свежие горячие пампушки, и все это запивают настоящим отменнейшим бессарабским вином и закусывают настоящим, хорошим нагутом, горохом таким...

Хозяин облизывается, и его речи возбуждают у меня аппетит. Он расписывает бессарабские яства, а за стеной поет кантор из Литвы, то заливается, то поднимает голос до крика, выделывая всякие диковинные штуки:

> Возрадуются тог-
> да воцарению тво-
> ему блюстители суб-
> боты и именую-
> щие ее утешением...

Хор разбит на две части. Одна половина хора поет:

> Турарирл! Турарирл!
> Турарирл! Турарирл!

А вторая половина подпевает:

> Пим-пом!
> Пим-пом!
> Пим-пом!

За другой стеной слышно пение актеров:

Нож-ки!
Нож-ки!
Вот говяжьи ножки!
Головой ручаюсь —
Ножки хороши!

За моей дверью лакей чистит сапоги, поплевывает на щетку и тоже напевает песенку:

У меня есть теща,
Зять у тещи есть.
Дочь ее он лупит,
Тумаков не счесть.

И еще один голос слышен, голос женщины, проклинающей своего мужа. Это сама хозяйка разыскивает по всем номерам супруга, ни на минуту не переставая осыпать его страшными проклятиями, по большей части в рифму:

Болячки, болезни, распухни и тресни!
Проклятья и слезы, прыщи и занозы!
Огонь и пожар! Несчастье, удар!

— Вы будете кушать с хозяином и хозяйкой? — спрашивает меня Нойах, выходя из комнаты. — Или пойдете в ресторацию?
— В ресторацию! В ресторацию!

3

Касриловские рестораны

«Кошерная пища! Здесь можно покушать вкусно и дешево! Сора Индик».

Прочитав эту надпись на голой стене красного каменного дома, я взбираюсь по скользким ступеням на второй этаж. Нельзя сказать, что запахи на лестнице ласкают обоняние, но голодный желудок неразборчив.

— Где здесь Сора Индик? — спрашиваю я старика с желтым лицом, который сидит прямо на полу и чинит ветхий матрац.

— Далеко! — отвечает старик. Он шлепает рукой по матрацу, и над ним поднимается зеленая дымка.

— Уехала, что ли?

— Уехала! — отвечает старик, покачивая головой. — Уехала навсегда!

— Умерла? Благословен судья праведный! — произношу я, готовый бежать из этого дома.

— Да, — говорит старик, — умерла. На пасху исполнится шесть лет, как она умерла. Поверите ли, не проходит и минуты, чтоб я о ней не вспоминал. Разве можно такую забыть? Какая мастерица была стряпать, халу печь... А ее разговор, ее обхождение с людьми, а мои прихоти как умела угадывать! Но я не понимаю, разве нужно вам об этом рассказывать? Вы ведь, наверно, ее знали?

— Откуда я мог ее знать, если я первый раз в жизни в Касриловке?

— Вот тебе и на! Так почему же вы спрашиваете о Соре?

— Я вовсе не о Соре спрашиваю. Я спрашиваю, здесь ли ресторан «Сора Индик», как написано на стене. Мне хотелось бы чего-нибудь поесть.

— Поесть? Вот тебе и на! Что же вы молчите? Рохл! Рохл!

На зов старика показалась смуглая молодая женщина с черными смеющимися глазами. Рукава у нее были засучены, руки, лицо и фартук запорошены мукой.

— Чего тебе опять? — спрашивает женщина, утирая нос рукавом повыше локтя. — Никак не просею муку! Каждую минуту Рохл да Рохл!

— Они хотят чего-нибудь поесть, — говорит ей старик и продолжает шлепать рукой по матрацу.

— Поесть чего-нибудь? — Женщина встряхивает фартук, и в глаза лезет мне мука. — А чего именно вы хотите?

Говорит она с молитвенным напевом.

— А что у вас есть? — спрашиваю я с тем же напевом.

— А чего бы вам хотелось? — спрашивает она с тем же напевом.

— Чего бы мне хотелось? Гм... Фаршированная рыба есть у вас?

— После базара рыба? Удивительное дело!

— Ну, если нет рыбы, — говорю, — давайте борщ!

— Где вы видели после полудня борщ? Борщ должен вариться, это вы знаете или нет?

— Все должно вариться, — говорю.

— Вот и хорошо, раз вы знаете.

— Ну, а жаркое, — говорю, — есть у вас?

— Где я вам возьму жаркое? Было жаркое, так его съели.

— Ну, пусть тогда будет бульон.

— А чем бы вы хотели, чтоб бульон был заправлен? Манной крупой, мацой или же поджаренными котышками (вместо «а» женщина часто говорит «о»)?

— Заправьте чем угодно, — говорю, — только бы бульон...

— А на когда, — спрашивает она, — приготовить вам бульон?

— Что значит на когда? На сейчас!

— На сейчас? Вы ведь, наверно, хотите куриный бульон. Какой толк в бульоне без курицы? А курицу надо только изловить и отправить к резнику, потом ощипать, выпотрошить, посолить, помочить и поставить к огню. Это выйдет, дай бог, к ночи.

— Дайте мне тогда просто чего-нибудь перекусить: кусок мяса, скажем, немного супа, яичницу или, может быть, у вас что-нибудь солененькое найдется.

— Странный человек! — обращается женщина к старику. — Все ему надо. Селедку, если хотите, могу вам приготовить.

— Давайте селедку, — говорю, — лишь бы поскорей!

— Как приготовить вам селедку, с лучком?

— С лучком.

— И с уксусом тоже?

— С уксусом тоже.

— И маслом тоже?

— И маслом.

Женщина снова отряхивает фартук, спускает рукава, выходит и тут же возвращается.

— Вы любите, чтоб селедка была с молокой или с икрой?

— Пусть она будет с чем угодно, лишь бы она уже была.

— Копченую рыбку вы едите?

— Почему бы и нет?

— А одесскую кефаль?

— С удовольствием.

— Я только не знаю, есть ли она. Мне кажется, ее еще не привезли. А может, привезли. Нет, рано. Пойду все-таки узнаю.

Рохл направляется к выходу и снова возвращается.

— На еврейскую колбасу вы охотник?

— Конечно же. Купите, купите колбасу, я очень люблю колбасу.

— Вы, наверно, имеете в виду варшавскую колбасу.

— Ну да, — говорю, — понятно, варшавскую.

— Тогда, — говорит она, — потрудитесь съездить в Варшаву, там вы и будете есть варшавскую колбасу. У нас тут касриловская колбаса, с нашей касриловской фабрики. Нужно иметь железные зубы, чтобы раскусить эту колбасу. Нож ее не берет, разве лишь топором рубить, черт их знает, что они туда напихивают, почему она такая твердая. Недавно разрубили круг колбасы и нашли там гвоздь. Это, верно, чтобы потяжелее была, кладут в нее гвозди.

— Не хватит ли разговоров?— замечает старик. — Пойди принеси, и делу конец.

— Легко сказать: принеси. Надо ведь знать, что принести. У всякого свои причуды. Вот ты, к примеру, любишь жареную рыбу, а другие не любят жареной рыбы, только печеную им подавай. Или бывают у нас такие гости, которые велят сварить мозги, и едят они их, представьте себе, в рубленом виде с луком и смальцем. А еще есть такие, которые в будни требуют студень с сухариками и чесноком. А еще есть такие

обжоры, которые жизнь готовы отдать за фаршированную кишку. А бывают и такие чудаки, что хоть озолоти их, они кисло-сладкого мяса и в рот не возьмут.

— Прошу вас, — говорю, — принесите, что попадется. Я смертельно голоден.

Рохл уходит.

— Слов девять коробов! — говорит старик.

— Дочь? — спрашиваю я.

— Почему дочь? Это моя жена, вторая жена, эх-эх-эх, не то, что первая, конечно. Такой, как та, мир праху ее, на всем свете не найдешь. И про эту, правда, ничего плохого не скажу. Трудится, бедняжка, не позавидуешь ей! Видите этот матрац? Вот и вся наша постель. Сам я больной и капризный. Надо быть крепче железа, чтобы выдержать мои сумасбродства. По натуре-то я добрый, но задеть меня словом опасно для жизни, что бы ни подвернулось мне под руку, летит прямо в голову. Вот какой я вспыльчивый! Вы думаете, она этого не знала, когда выходила за меня? Я ей прямо сказал, чтоб на сладкую жизнь не надеялась. Кусок хлеба будет в доме — и то ладно. О молоке и мясе пусть позабудет. И работать, так я наперед сказал, ей придется за троих.

— Что же заставило ее выйти за вас?

— Как что? — удивился старик. — А дом, это для вас ничего не значит?

— Какой дом? Неужели этот каменный дом ваш?

— Да нет же! — Старик рассмеялся. — Это я про ресторан. Заведение-то у меня вон с каких пор поставлено! Как бы ни пали доходы, это все-таки дело! Посмотрели бы вы на мою Рохл, когда она приоденется и выйдет погулять, вы бы подумали, что перед вами графиня. Уж очень она красивая, не сглазить бы! Конечно, она уже немного поблекла. Видели бы вы ее несколько лет тому назад!

— Сколько у вас детей?

— Детей? Эх-эх-эх, в том-то и беда, что у меня нет детей. Хотите промочить горло? Могу вам предложить немного спирту.

— Ох, с удовольствием...

— Только я вам дам в темной посудине.— Старик достает из бокового кармана бутылку и маленькую глазированную чашечку и наливает мне немного спирта. От спирта аппетит у меня еще пуще разыгрывается, чувствую, что мне приходит конец.

Появляется Рохл, приносит селедку.

— Ой, гром меня порази! — Она ударяет себя по юбкам.— Я забыла, что в доме нет ни крошки хлеба, ни белого, ни черного. Что вы больше любите, еврейскую халу, или булки, или просто ржаной хлеб?

— Какой хлеб вы увидите раньше, такой и принесите. Прошу вас больше не спрашивать меня, что я люблю. Я люблю все.

— Капризный гость! — замечает Рохл.— Привередлив еще больше, чем мой муж. Мой муж был бы не прочь, чтобы ему каждый день подавали свежий поджаристый хлеб. Черствый он и в рот не берет. Но разве это мыслимо каждый день есть свежий хлеб? Такое может позволить себе разве лишь Кобылянский...

— Ну иди же, иди! — говорит ей старик.— Ты же видишь, они очень хотят есть.

Рохл уходит, и в это время появляется кривая женщина высокого роста. Одну руку она держит за пазухой, второй почесывает за ухом.

— Как быть, реб Мойше-Янкл, посоветуйте,— обращается она к старику,— у моего Шмуелки снова ушко разыгралось.

Рохл наконец приносит хлеб, и, пока она готовит мне селедку, кривая женщина расписывает, как у ее Шмуелки течет из ушка. Придется, видно, снова обращаться к лекарю, хотя она еще не решила к какому именно. Она наперед знает, что к кому из них она ни обратилась бы, это гиблое дело, потому что касриловские лекари, чтоб их черт побрал, все до единого кровопийцы. Попробуйте, упаси бог, дать касриловскому доктору меньше пятиалтынного, он швырнет вам деньги обратно, прямо в лицо! Мало, видите ли, этому «профессору», чтоб ему хвороба...

— Подайте милостыню убогому!

Человек с синим лицом протягивает маленькую высохшую руку, как бы специально созданную для того, чтобы получать подаяние.

— Подайте милостыню несчастному калеке! — произносит существо, которое ходит на руках. Обе ноги его сплелись воедино и подогнулись внутрь.

— Подайте милостыню припадочному!..

Мой обед остался недоеденным. Рассчитываюсь с хозяйкой и бегу из «ресторации» куда глаза глядят.

4

Касриловское вино и касриловские пьяницы

«После такого обеда недурно бы пропустить стаканчик вина». Только я это подумал, как увидел надпись: «Здесь продается вино, мед и пиво по сходной цене».

Спускаюсь в темный погреб, уставленный бочками и бочонками, ушатами и бутылками. В уголке сидит верзила с повязанной опухшей щекой и сечкой рубит изюм в корыте.

— Где можно видеть хозяина? — спрашиваю.

— Хозяина? — Верзила набирает полную горсть изюма и, мазнув по губам, усердно хрустит зубами. — Хозяин в комнате. Он делает выморозки.

— Как это «делает выморозки»?

— Вы хотите знать, как делают выморозки у нас в Касриловке? Берут изюм и рубят его, и рубят, а потом бросают в большую бочку, разбавляют водой из Гнилопятки, кладут туда хмель, после чего эта смесь начинает играть. А когда она играет, поднимается такая вонь, что задохнуться можно. Тогда в бочку наливают несколько ведер спирта и еще опускают в нее порошок, цена которому — пятиалтынный за пуд. Готовое вино процеживают через крестьянскую рубаху и на бочке надписывают мелом: «Выморозки из Аккермана». Если же вы хотите, чтобы вино

было красным, вы берете те же выморозки, закрашиваете их чернильными орешками и надписываете на бочке: «Змирер Феодосия» или «Венгерская малага». И касриловские знатоки хлещут эту бурду и пальчики облизывают. Тише, вон идет хозяин, чтоб из него дух вон!

Увидев хозяина, верзила начинает рубить изюм с особым усердием.

— Чего пожелаете? — спрашивает меня хриплым голосом рыжий мужчина невысокого роста. Один глаз его смотрит так, что кажется, этот глаз должен бодрствовать даже тогда, когда его хозяин спит.

— Стаканчик вина, — говорю я.

— Стакан вина в розницу? — спрашивает рыжий, глядя в потолок и ковыряя в ухе.

— Стакан вина в розницу.

— Зачем же вы спустились в погреб? Почему не поднялись наверх? Поднимитесь наверх и потрудитесь повернуть направо!

Я поднимаюсь по лестнице, поворачиваю направо и попадаю в темную комнату, грязную и полную дыма. Здесь расставлены хромоногие стулья чахоточного вида, на них сидят евреи, курят и пьют выморозки. Они не поют, не кричат, не бьют кулаками по столу и не выкидывают никаких фокусов. Что же они делают? Потягивают из стопочек, курят, вздыхают и тихо беседуют. Вот сидят за столиком двое. Головы у них опущены, слова, видно, иссякли.

— Что ты скажешь, Шимен-Довид, про эти выморозки, а? — встрепенулся один из них.

— Что мне сказать про эти выморозки? — как бы спросонья отвечает второй. — От бога эти выморозки! Одним словом — выморозки!

— Надо спросить хозяина, будут ли у него на пасху такие выморозки.

— Ты уже о пасхе думаешь? Кругом, значит, обеспечен, только и заботы, что о пасхальном вине.

— А что мне еще остается, скажи на милость, горе мне горькое!

— Да, горе, раз ты вынужден целый день скрываться здесь от жены, чтоб она не требовала у тебя денег на субботу.

— Не напоминай мне о жене, лучше нож в сердце. Что я могу ей дать? Одни несчастья, горе мне!

— Ты думаешь, мне лучше? И мне горе!

— Знаю, что тебе не лучше, горе нам обоим! Лехаим! Будем здоровы!

За другим столиком сидят еще двое, один в целом кафтане, другой — в рваном. Говорит тот, который в целом кафтане, а тот, что в рваном, смотрит ему прямо в рот и кивает в такт головой.

— Теперь ты понимаешь, как Лейви-Ицхок делает дела? Лейви-Ицхок умеет и втереться, и повертеться, и себя завертеть, и других, а потом повернуться и вывернуться. Потому что я, прежде чем приступить к делу, нюхаю, чем оно пахнет, да тихонечко, исподволь, не спеша. А когда я уже достаточно нанюхаюсь, я еще похожу вокруг да около, авось то да се, пятое, десятое, может так, а может и этак, ничего, не извольте беспокоиться: день проживем — и то ладно. А если кто-нибудь перебьет дело, и толку нет, и все летит вверх тормашками, я отступаю в сторонку и... молчок, я тут ни при чем. Что суждено, то от меня не уйдет, а если нужно будет копнуть поглубже, что ж, копнем... Есть еще на свете Петербург. Мы найдем туда дорогу, нам палец в рот не клади, мы ученые. Придется куда-нибудь написать, найдется и такой, который напишет. Главное, без шуму, тихо-нечко, ш-ш-ш!.. (Он кусает собственный кулак и умолкает.)

Еще за одним столом сидит целая компания в самых разнообразных кафтанах и головных уборах, и говорят все разом, так что получается какая-то смесь из слов: торговля, политика, выморозки, былые времена, нынешние дети, доктора, конка, коробочный сбор, черта — батьке — касриловских богатеев. Трудно уловить и занести на бумагу все, что здесь говорится. В сторонке стоят случайные посетители, которые вина не пьют, а пришли сюда просто так, послушать, о чем толкуют люди, а заодно уж и погреться...

Еще одна компания сидит за столом и, потягивая вино, поет песенку наполовину по-русски, наполовину по-еврейски, тихо, складно, грустным напевом, будто псалмы читает:

Авроменю! Авроменю!
Отец ты наш!
Чему ты не просишь
  Господа наш!
Альбо нам выкупить,
Альбо нам выпросить —
В сторонку нашу,
В землю нашу.

Слово «выкупить» они произносят сердито, с силой, а слово «выпросить» — мягко, склонив головы и взмахнув руками, словно богобоязненный кантор в дни покаяния.

— Эх-эх-эх, что было бы, к примеру сказать, если бы нам, значит, дали Палестину? — заплетающимся языком произносит один из этой компании. Шапка у него съехала на затылок, глаза слипаются. — А, Янкл? Что ты скажешь, Янкл? Ты ведь кое-что смыслишь...

— Палестину? — отвечает Янкл, вытягивая шею и почесывая у себя за воротником. — Это, может быть, было бы и недурно... Ведь что-то, говорят, они для этого делают, как они там называются, эти... эти...

— Сионисты? * — подхватывает еще один. — Чепуха! Ничего у них не получится.

— Почему? Ведь должен же быть какой-то смысл...

— Потому. Если я говорю, значит знаю. Я не люблю бросать слова на ветер. Ты же знаешь, что если я говорю, это так и есть.

— Все вы ослы! — отзывается человек в люстриновом кафтане. Говорит он медленно, как бы цедя слова, прикладывая при этом палец к носу; рот у него на сторону, он довольно улыбается, щечки его пылают. — Ну и ослы же вы, честное слово, ослы! Я молчу, только смотрю и прислушиваюсь, что вы там такое говорите: сионисты-шмионисты, хрен с лакрицей; вы и понятия не имеете, вижу я, что к чему.

Если хотите, я вам скажу, что здесь кроется... Дело здесь вот какое... Только слушать надо с головой!..

Человечек прикусывает бородку, закрывает глаза, долго-долго думает, потом, как бы очнувшись от сна, обращается к хозяину, прищелкивая пальцами:

— Эй вы, почтеннейший, будьте же добры, велите подать еще одну бутылку выморозков!

5

Касриловский театр

Выйдя из винного погреба, я увидал афишу, напечатанную на еврейском языке крупным шрифтом:

ПЕРВЫЙ РАЗ В КАСРИЛОВКЕ!

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР!

ЗНАМЕНИТЫЙ АДЛЕР ИЗ АМЕРИКИ!

ВЕЛИЧАЙШИЙ КОМИК В МИРЕ!
ЛОПНЕТЕ СО СМЕХУ!

**Со времени сотворения мира такой колдуньи* еще не бывало!
Такого Гоцмаха*, как у нас, свет не видывал!
Сегодня идет совершенно новая опера:**

КОЛДУНЬЯ!

**Евреи! Заложите все, что у вас есть!
Евреи! Посетите театр!
Евреи! Вам прибавится здоровья!
Евреи! Бегите!
Билеты купите!
Скорее! Скорей!
Ног не жалей!**

Внизу подписи режиссера, дирижера и антрепренера — самого Адлера, настоящего американского Адлера, «величайшего в мире комика».

— Вы не знаете, где здесь еврейский театр? — останавливаю я еврея, который проносится мимо меня со свертком под мышкой.

— Что спрашиваете, еврейский?.. — И он окидывает меня взглядом с головы до ног.

— Еврейский театр.
— Какой такой театр?
— Театр, — говорю, — где играют.
— А кто там играет?
— Адлер, — говорю, — там играет.
— Какой Адлер?
— Адлер, — говорю, — настоящий Адлер.
— Откуда он, этот Адлер?
— Из Америки, — говорю.
— Из Америки? Что же он делает здесь?
— Он здесь играет, — говорю. — В еврейском театре.
— Что же он играет?
— «Колдунью», — говорю, — он играет.
— А что это такое «Голдуня»?

Я хочу уйти, но он меня не отпускает. Он непременно хочет узнать, что это такое «театр», и что такое «Голдуня», и кто такой Адлер, который приехал из Америки. Я пытаюсь объяснить ему, насколько это возможно, что такое театр, и что такое «Колдунья», и кто такой Адлер. Мой собеседник внимательно меня выслушивает, потом сплевывает себе под ноги и уходит, не попрощавшись.

— Ханe-Бейля, куда ты бежишь? — на всю улицу кричит одна женщина другой.

— В теотх, — отвечает та, картавя и произнося «о» вместо «а». — Ну, а ты еще не собихаешься в теотх?

— Пусть она на тот свет переберется, моя касриловская богачка! — говорит первая. — Как она тебе нравится? Именно сегодня ей захотелось, чтоб я разделала гусей, не разделаться бы ей с болячками, и чтоб смалец ей растопила, растопило бы ее самое. Весь мир идет в театр, а я сиди, как привязанная, ни сесть ей, ни встать, боже праведный!

— А ты ее не слушай! — говорит вторая. — За свои деньги ты можешь идти, куда хочешь.

— Я ее слушаю, как Аман колотушку. Побегу домой, переоденусь и пойду в театр. Пусть ее вздует горой с досады!

Подружки расходятся в разные стороны, а я пользуюсь случаем и следую за той, которая идет в театр. Женщина то и дело оглядывается, но я от нее не отстаю. Она останавливается на минуту и поворачивает направо. И я направо. Она поворачивает налево, и я налево. Она замедляет шаг, я тоже. Тогда женщина пускается бежать, как от огня.

— Что случилось? — останавливают ее прохожие. — Куда ты бежишь? Опомнись!

— Какая-то напасть... — Женщина указывает на меня. — Ходит за мной чуть ли не целый час. Не знаю, кто такой.

Вокруг нас сразу образовалась толпа мужчин, женщин и детей. В меня начали тыкать пальцами. Тут проехал извозчик, я вскочил на пролетку, укрылся под верхом и попросил отвезти меня в театр.

У входа в театр толпились парни и девушки, развлекались разговорами, смеялись, сыпали шутками.

— Пропустите барина! — крикнул один из них.

— Осторожно! — поддержал его другой. — Вы ему, не дай бог, шляпу помнете!

С трудом протиснувшись сквозь толпу к маленькому окошечку кассы, я спросил, можно ли купить билет. А толпа напирала на меня сзади, тискала с боков.

— Какой билет вы хотите? — спросил меня кассир, худой парень с выпирающим кадыком.

— А какие билеты есть у вас?

— Есть билет за пятнадцать копеек, есть и за два пятиалтынных, и за три.

— А дороже у вас не бывает? — спросил я под галдеж толпы.

Услышав такие слова, кассир вскочил со своей табуретки, высунул голову в окошечко кассы и, пытаясь унять толпу, закричал прямо мне в лицо:

— Чтоб вас черт побрал! Уберетесь вы отсюда наконец или нет? Сейчас позову Лозера-городового с пожарной кишкой! Пойдемте, — говорит мне кассир, — вот в эти ворота.

Толпа немного расступается, и я пробираюсь в ворота. Во дворе стоит большой не то сарай, не то

барак. Сквозь щели в досках пробивается свет и доносится шум голосов. В полуоткрытых дверях сарая стоят два дюжих молодца и следят за тем, чтобы никто не проник в театр без билета.

— По одному проходите! По одному! — кричит человек с общипанной бородой и с шашкой на боку. Это, видно, и есть реб Лозер — городовой. Но всякого слушать, так ни в гостях, ни дома не кушать: толпа и не собирается проходить по одному, каждому хочется пройти первым, и поэтому все напирают разом.

— Эй ты, герой со шпагой, пропусти-ка! Не видишь, кто идет? — кричит какой-то человек, изо всех сил расталкивая толпу и потчуя актеров такого рода словечками: свистун, голоштанник, зеленая ягода, пустая кишка!

Манера разговора мне очень знакома... Я оглядываюсь и узнаю швейцара Нойаха из отеля «Туркалия». Он ведет за собой целую ораву женщин, парней и девиц.

— Кто эта женщина? — спрашивает его один из актеров.

— Моя жена, — отвечает Нойах. — Не знаешь, что ли, мою Соре-Перл? А это мои дети.

— А это кто?

— Моя теща.

— А это кто такая?

— Сестренка моей жены.

— А кто этот молодой человек?

— Это ее жених.

— А кто вот эта девушка?

— Это сестра жениха.

— А кто такой вот этот парень?

— Это жених сестры жениха.

— А вон та девушка кто такая будет?

— Это его сестра, то есть сестра сестры жениха жениной сестренки.

— Не малая у вас родня, реб Нойах!

— Дурной глаз, минуй нас! — парирует Нойах. — Сказал бы хоть не сглазить... Эх ты, актерщик, комедиант, медвежий поводырь, горлодер, хлебоглотатель!

Вслед за швейцаром Нойахом с его оравой появляется знакомый нам лакей из гостиницы в своих огромных сапогах. Один из стоящих в дверях актеров дает ему подзатыльник, и он влетает в театр.

Еще всякие личности протискиваются в дверь, по большей части без билетов. Среди них я узнаю хозяина отеля «Туркалия». С ним очень толстая женщина, которая движется словно на колесиках и переваливается, как утица.

— А, и вы здесь? — обращаюсь я к хозяину, забыв, что он глухой.

— Ничего, они поют совсем неплохо! — громко кричит он, словно глухой это я.

— Вы здесь первый раз?

— Это сарай реб Липы, — отвечает он. — Здесь круглый год стоят коровы и лошади.

— Идем же, идем! — Толстая женщина тянет его за полу. Оба удаляются и усаживаются в одном из первых рядов.

— Эй вы, актеры, послушайте-ка, куда вы запропастились? — кричит дама в брильянтах, в шляпе с белым пером. Рядом с ней кавалер с подстриженной бородкой и в котелке.

Тут же подскакивает к ним актер, парень с голодным лицом, в грязной рубахе и коротком пиджаке.

— Что желаете, мадам?

— Вот так вопрос, что я желаю. Мы ведь купили билеты. Почему же нас не провожают на наши места?

Длинный актер с голодным лицом берет у дамы билеты и идет с ней и ее кавалером к передним рядам, чтобы усадить их, но здесь все места заняты.

— Будьте добры, вы сели не на свои места, — обращается актер к парню с девушкой, которые преспокойно щелкают орехи из кулька.

— Откуда это известно, что мы сидим не на своих местах? — говорит парень, продолжая щелкать орехи.

— Покажите ваши билеты!

Актер берет билеты и указывает им места намного дальше от сцены.

— А что вы нам за указчик, где нам сидеть? — говорит парень. — Божий дом здесь, что ли, синагога какая?

Актер долго увещевает парня, а тот как ни в чем не бывало сидит со своей девушкой и продолжает щелкать орехи. Актер пытается воздействовать еще кое на кого из публики, но все сидят прочно на занятых местах, хоть возьми и выведи их силой из театра.

Дама с белым пером и брильянтами злится: «Что это за порядки такие в касриловском театре?» Она требует, чтобы ей возвратили деньги за билеты. И куда девался Лозер-городовой?!

Наконец специально для дамы и ее кавалера приносят два стула, и порядок восстанавливается.

Одна за другой в театре зажигаются лампы, которые коптят и распространяют вокруг резкий запах керосина. Перед сценой, затянутой простыней, по одному возникают музыканты. Первым появляется бас, крупный мужчина с густыми пейсами и злыми, разбойничьими глазами. Тут же вслед за ним приходит барабанщик, горбатый парень с редкими волосами, затем низенький тромбонист с толстыми губами, флейтист с лицом чахоточного, трубач с бегающими вороватыми глазками и два-три молодых человека со скрипками в руках. Позже всех является рыжий парень в коротком пиджаке, в белой бумажной манишке с широким синим галстуком. Волосы у него сильно напомажены. Это первая скрипка, старший над всеми музыкантами, дирижер. Он становится лицом к публике, ломает руки и улыбается на расстоянии девушке в белых перчатках. Музыканты рассаживаются по местам и начинают настраивать инструменты. Вначале дирижер ударяет смычком по скрипке, и тромбонист с толстыми губами задает тон, остальные инструменты присоединяются к нему и начинают переговариваться между собой: скрипка заливается, рыдает, всхлипывает, тромбон делает «голдир! голдир!», подобно индюку, которого сильно раздразнили, бас урчит, как медведь, а флейта их всех освистывает. Все это вместе взятое производит такой беспорядочный гул, будто затараторило несколько сотен собрав-

шихся на ярмарке женщин или же целое стадо гусей загоготало разом.

Тут показывается какой-то молодой человек в зеленом кафтане. В одной руке у него сверток бумаг, в другой — полбулки и кусок селедки. Устроившись на низенькой скамеечке как раз против сцены, он принимается закусывать.

Я слышу, как дама с пером на шляпе спрашивает своего кавалера:

— Кто это такой?

— Суфлер, — отвечает кавалер.

— Что это такое суфлер?

— Ну, это значит, он им подсказывает.

В это время за натянутой простыней громко переговариваются между собой актеры:

— Куда, ко всем чертям, девалась примадонна Фрадл?

— К сапожнику отправилась. Она не может выйти на сцену. Каблук отвалился.

— А днем она не могла сходить к сапожнику? Ну и примадонна!

— Авремл, снимай штаны!

— Чем тебе помешали мои штаны?

— Хороша колдунья — в штанах!

— Ну и что же? У меня ведь поверх штанов надета юбка.

— Знаю, что юбка. А когда тебя бросят в огонь, что будет? Ты же летишь головой вниз, ногами вверх, вот штаны и будут видны.

— Брось, дай-ка мне лучше докурить твою папиросу.

— Гоцмах! Где твоя борода? Почему ты не приклеиваешь бороду? Ривка, посыпь лицо мелом! Менашка, приладь горб к спине, на кого ты похож? Постойте, а ноги где?

— Какие ноги?

— Кто принес ноги с базара? Я вам тысячу раз говорил, что, когда играют «Колдунью», нужно заготовить ногу, чтобы вас черт побрал! Растяпа ты после этого, Велвл, а не режиссер!

Вдруг публика начинает оглушительно топать ногами. Кто-то пробегает впереди натянутой простыни и звонит в колокольчик. Проходит минута-две, и в зале опять поднимается шум и топот. Снова пробегает та же фигура с колокольчиком. И так несколько раз. Рыжий скрипач, встрепенувшись и поводя головой вверх и вниз, поправляет воротничок и синий галстук, ударяет своей палочкой, и музыканты играют «номер». Публика снова кричит и топает, и музыканты играют еще одну вещь. Это продолжается до тех пор, пока не поднимается простыня и представление начинается.

Первой выходит на сцену девушка в нижней юбке, с распущенными волосами. Вид у нее такой, словно ее только что отхлестали по щекам. Она затягивает на мотив «Стоит гора высокая» песенку о бедной сиротке: «Сиротка я! Сиротка я!» Песенка тут же подхватывается публикой — сначала тихо, а потом все громче и громче, так что девушку уже совсем не слышно. На сцену выскакивает актер и просит публику прекратить пение. Водворяется тишина, но ненадолго. Как только девушка начинает петь, с ней вместе запевают все: «Сиротка я! Сиротка я!»

Снова выскакивает на сцену тот же актер, и еще раз, и еще раз. Наконец он не выдерживает и решительно заявляет:

— Пусть у вас язык отсохнет! Сейчас позову Лозера-городового с кишкой, тогда вы у меня запоете!

Пение в зале прекращается, но зато начинается обмен мнениями, каждый высказывается по своему разумению. Один говорит, что голос у девушки напоминает скрипучую кровать, другой считает, что было бы благим делом преподнести ей булку. Задние ряды кричат: «Тише!» Но это ни к чему не приводит. На сцену вылетает Гоцмах в причудливом головном уборе, в чулках и ботинках, с горбом на спине. Веки у него вывернуты, пейсы длинные, чуть не до кушака, а бороды — только одна половина. Как шальной носится он по сцене с корзиной в руках, предлагая свой товар: «Нитки, иголки, гребенки, наколки, есть чулки

бумажные, юбочки крахмальные, сделайте покупки, все для вас, голубки!»

Подпрыгивая и дергая себя за пейсы, он то и дело восклицает: «Гоцмах, черт меня подери!»

Гоцмах приводит публику в такой восторг, что целых полчаса в театре стоит невообразимый шум. Аплодисменты, крики: «Браво, Гоцмах!» — стук палок по скамейкам, кажется, конца этому не будет. Сам Гоцмах пытается унять публику. Он стоит на сцене и разводит руками, а публика все громче кричит: «Гоцмах! Спляши, Гоцмах! Гоцмах!» И вдруг...

Вдруг послышалось хлопанье крыльев, что-то слетело сверху и село прямо на шляпу с пером той дамы, у которой брильянты. Дама с перепугу упала в обморок, и в театре поднялась паника: «Караул! Помогите! Помогите!» Кто-то крикнул: «Пожар!» — и тут пошло... Прыгая через головы соседей, зрители устремились к дверям с криками: «Бася, где ты?», «Янкл, сюда!», «Ривка, держись!», «Мотл, умираю!», «Не кричи, Броха!», «Беня, где Ентл?», «Мотл, я здесь, Мотл!»

Еще минуту, и от нас осталось бы мокрое место. К счастью, швейцара Нойаха из гостиницы, где я остановился, вдруг осенило. Он-то и спас всех от неминуемой смерти. Вскочив на скамейку, он заорал во все горло:

— Дураки! Балбесы! Болваны! Гладкие коровы! Козлиные бороды! Дурацкие глотки! Бабьи души! Чего вы горланите? Чего расшумелись? Куда вы бежите? Из вас сейчас яичницу сделают! Дурни, кого испугались? Глупой курицы? Разве не видите, что курица спрыгнула с насеста? Реб Лозер, чего вы ждете? Окатите их из кишки! Музыканты, сыграйте фрейлехс *, черт вас побери — тодеридерирадериде-радерите!..

Музыканты ударили фрейлехс, и публика начала снова рассаживаться по местам. Я потихоньку выскользнул из театра, поймал извозчика и велел везти меня в отель «Туркалия». Дрожки трясли меня по камням, то и дело останавливаясь.

— Почему вы все время останавливаетесь? — спросил я извозчика.

— Да ну их к бесу! — ответил извозчик. — Касриловское болото им вздумалось осветить, вьо, освещение придумали, сфонари какие-то. Из-за них и ехать-то нет возможности, лошади столбов пугаются. Они у нас не привыкли, чтобы их освещали. Вьо! Что ни день — новая напасть: то «тромбелик» придумали, провалиться ему, то сфонари эти самые — лошадей пугать, вьо! А теперь, говорят, будто воду из Гнилопятки собираются запретить! Но это уж дудки, после дождичка в четверг... Водовозы говорят, знай они, что пришел их последний час, они все равно не допустят, чтоб Касриловка пила воду из колодца. Вьо! Богачи, сгореть бы им, не знают, что и придумать. Говорят, будто все это из Егупца идет. Егупецким богачам не хватает лишь зубной боли. Только и сидят, ломают себе головы, как бы лишить людей заработка, как бы у бедняка последний кусок изо рта вырвать... Погибель на них там, в этом Егупце! Вьо, детки, вьо!..

6

Касриловские пожары

Устроившись на ночлег в отеле «Туркалия», я всю ночь напролет сражался с хищными зверями. Они набросились на меня, видно, в отместку за то, что я не захотел лечь с ними в кровать и постелил себе на кушетке.

— Ну, чего добился? — дразнили они меня. — Спать тебе небось жестко, шею свернешь себе на этой кушетке, а кусать мы тебя все равно будем.

Вдруг я слышу: бом! бом! бом! — и вслед за этим топот бегущих ног и крики: «Пожар! Пожар!» Я встаю, подхожу к окну. С одной стороны небо багровое, с другой — черное. С одной стороны город освещен зловещим светом, с другой — погружен в глубокий мрак. Наспех одеваюсь и выхожу на улицу. Издали доносится гул, бессвязные крики. Заспанная толпа тя-

нется к месту пожара, люди зевают, дрожат от холода и рассказывают друг другу чудеса: кто первый услышал и что именно услышал, делятся догадками, кто горит. Один говорит — Иосл, второй — Менаше, а третий говорит, что и не Иосл и не Менаше, а Соре-Зисл.

— Откуда здесь взялась Соре-Зисл? — вступает в спор еще один. — Дом Соре-Зисл на Иордине, а горит в старом городе.

— Если вы это называете старым городом, то можете меня назвать раввиншей. Не видите, что ли, что это около бани?

— Зачем вам гадать? — пытается примирить спорящих еще один. — Вот придем на место и узнаем в точности.

Толпа идет дальше, я за ней. Прислушиваюсь к разговорам:

— Кто-то здесь постарался. «Благословен возжигающий свет», понимаешь?

— Откуда это известно?

— Застраховано было.

— Но откуда ты знаешь?

— Знаю. Если бы не было застраховано, не горело бы. Сам по себе дом не горит.

— Весело горит, а? Что скажешь, Янкл? Одно удовольствие!

Как свеча, горит домишко, выбрасывая красные языки пламени. Крыши уже нет. Трещат стропила, звенят стекла, густые клубы дыма вырываются и стелются над домами и домишками далеко-далеко. Доносятся голоса женщин, жалующихся на постигшее их среди ночи несчастье и плач голых, продрогших ребятишек, греющихся у огня. Вот целая семья сидит на единственном одеяле с несколькими подушками, которые им с трудом удалось отстоять от огня, а недалеко от них стоит беременная женщина, держит в руках горшок и метелочку из куриного крыла и рассказывает другой женщине, откуда все пошло.

— Началось это со столяра Шимена, горе мне! С лампой, что ли, ночью вышел, ох, померк для меня белый свет, и стружек-то у него много, вот беда, а может, папироса, а может, хозяин, я Гедалью имею в

виду, сам это сделал... Не скажу, своими глазами не видела... Горе мое горькое, бедняки нищими стали, вышли в чем мать родила, вот так напасть! Спросите меня, зачем я ношусь с этим горшком и крылом, я и сама не знаю...

Другая женщина ломает руки, плачет и причитает молитвенным напевом:

— Ох несчастье, ох горюшко! Как я теперь жить буду? Раздета до нитки... Где я возьму на пропитание? Куда я денусь с малыми детками?..

Молодые люди носятся словно одержимые, прыгают в огонь, выносят из горящего дома кто ножку стула, кто маятник часов, кто веник...

— Где Эля с кишкой? — спрашивает молодой человек, оглядываясь по сторонам.

— Здесь я! Здесь! — отзывается маленький человечек, который возится с пожарной кишкой.

— Что ты там делаешь? Чего копаешься?

— Кишку зашиваю. Она распоролась.

— Где Фишл с ведрами? — хриплым голосом кричит человек в изодранном талескотне, с черным от сажи лицом.

— Фишл! Фишл! — вторит ему хор голосов.

— Чего раскричались? Ишь, имя мое понравилось! Знай одно, Фишл да Фишл!

— Где твои ведра?

— Здесь ведра. Но какой в них прок, если Гройнема с бочкой еще нет?

— Будь так добр, Фишл, достань пока несколько ведер воды где-нибудь по соседству.

— А почему это я должен?.. Пусть Эля идет.

— Эля, возьми ведра и сбегай за водой.

— Но я же не могу. Видишь, я кишкой занят. Пусть идет Мотл.

— Мотл, иди достань ведро воды!

— Куда я пойду, когда я здесь никого не знаю. Пусть 644 Аншл идет!

— Аншл, а ну-ка сбегай за водой!

— Я? Да я здесь и дверей не найду. Пусть идет Довид.

— Постойте, вон Гройнем с бочкой! Едет! Едет!

Все бросаются к Гройнему, а впереди всех бежит Эля с кишкой.

Гройнем, человек с лоснящимся облупленным лицом, приближается спокойно, не спеша, подоткнув полы кафтана, а за ним, с трудом меся грязь, плетется тощая лошаденка. Как Гройнем, так и его лошадь, не будь помянуты рядом, еще не вполне очнулись от сна.

— С благополучным прибытием вас! А мы уже думали, что вы сегодня, упаси бог, не придете.

— Вот так раз! — говорит Гройнем. — Кто же, по-вашему, придет, если не я? Мальчишка я, что ли? Только услышал звон, я уж тут как тут около коняги. Старуха, правда, не хотела меня отпускать. Зачем тебе, говорит, таскаться по этакой грязи? Лошадку, говорит, жалко, намаялась за день. Но кто станет слушать жену? Добрые дела мне по душе, а тут, можно сказать, жизни касается. Бедняки горят, шутка ли!

— Долгие годы вам, реб Гройнем! Мы здесь измучились без воды. Ни капли воды...

Добровольцы-пожарники бросаются с пустыми ведрами к бочке, а Эля с кишкой — впереди всех. Подставляют ведра, качают воду, — ничего не получается.

— Что это такое, реб Гройнем? Да вы с ума сошли, рехнулись, да и только. Пустую бочку привезли...

— Как это пустую бочку? — говорит Гройнем. — Бочка полнехонька, дальше некуда. А вы говорите...

— Пойдите-ка посмотрите! Бочка пуста, как барабан.

— Как это пуста? — говорит Гройнем и смотрит на бочку. — Что-то вы непутевое говорите, вас и не поймешь. Придумали тоже, пустая бочка... Чтоб врагам моим пусто было, и в утробе, и в кишках!

Гройнем стучит костяшками пальцев по бочке, обходит ее кругом и вдруг замечает, что она без затычки.

— Да, слово честного еврея, бочка в самом деле пуста! — Гройнем хватается за голову и начинает

проклинать неизвестно кого: — Холера, погибель! Потоп! Сухота! Ломота! И когда эта затычка выскочила, пропади она пропадом? И куда она девалась? Сгореть бы тебе в огне, злосчастье мое!

Гройнем вымещает свою злость на бедной лошаденке, тычет ее кнутовищем в бок. Поморгав глазами и покосившись в сторону, лошадь опускает голову и думает про себя: «Чем я, к примеру, заслужила этот пинок? Так просто, за здорово живешь, взял да и ударил! Это всякий может, ни за что ни про что ударить лошадь, безответное созданье!»

— Чтоб тебе черная година! — бормочет про себя Гройнем. — Я и то смотрю: лью да лью воду... Теперь понятно, бочка, видать, сразу была без затычки. Ах, погибель на тебя в сегодняшнюю ночь! Чтоб тебе в куски разлететься, боже милостивый!

— Воды! Воды! — кричат пожарники. — Скорее! Несите ведра! Воды!

— Какие там ведра? Где там вода? Вы же видите, ни капли воды нет.

— Как это нет воды?

— Нет воды, значит нет воды.

— А куда девалась вода?

— У Гройнема вся бочка вытекла. Теперь надейся на господа бога!

Вдруг раздается снова зловещий звон: бом! бом! бом! И противоположный конец города озаряется пламенем.

— Еще один пожар! Новый город горит! — раздается крик, и собравшаяся толпа вместе с добровольцами-пожарниками бросается бежать в новый город.

— Два пожара в одну ночь, — бормочет Гройнем, — это уж слишком. У меня у самого жена и дети. Я ни у кого не нанимался. Хочу — везу, не хочу — не везу! А лошадь тоже не железная, жаль ее, сердешную. Мало того что она целый день мается, так изволь еще по ночам таскаться! Что ей, делать больше нечего? Никто меня не заставит. Пусть бьются головой о стенку. Трогай, — обращается он к лошади. — Поедем домой, брат!

7
Касриловские бандиты

Вернулся я в гостиницу уже на исходе ночи, отворил дверь своего номера и обмер: три странных субъекта, вовсе мне незнакомых, вертелись там со свечой. Постель была раскидана, шкаф открыт, чемодан стоял посередине комнаты, и мои бумаги, рукописи валялись на полу.

— Что это? Кто вы такие? Что вы здесь делаете? — спрашиваю я человека с рыжей бородой и синей бородавкой на носу.

— Покажи ему жон, пусть из него худ вон! — обращается один из них на каком-то тарабарском наречии к рыжему с синей бородавкой.

Рыжий ни слова в ответ. Закрыв дверь на ключ, он нагибается, достает из-за голенища большой, хорошо отточенный кухонный нож и, точно фокусник, начинает размахивать им перед самым моим носом направо и налево, вверх и вниз.

— Кто мы такие, вы хотите знать? Мы местные бандиты! — говорит мне черный человек с бельмом на одном глазу. При слове «бандиты» он скрежещет зубами, и здоровый глаз у него страшно сверкает, как у настоящего разбойника. — Нырни-ка в его марканы! — переходит он на свой тарабарский язык.

— Деньги! Давай деньги! — хриплым голосом кричит высокого роста бандит, третий из их компании, хватает меня за лацкан пиджака и трясет.

— Деньги? Откуда у меня деньги? — говорю я. — Господь уберег меня от них.

— Скажи ему, что он рёвт, — говорит хриплый на их языке.

— Врешь, — говорит мне тот, который с бельмом. — Сию минуту отдай все деньги, сколько у тебя есть, не то прощайся с жизнью! Даем тебе две минуты на размышление и одну минуту для отходной молитвы...

И для того чтоб я не вообразил, будто со мной шутки шутят, рыжий с синей бородавкой проводит

ножом перед самым моим носом вправо и влево, вверх и вниз, как в праздник кущей лулевом *.

— Что вы стоите, как идыло? Надо связать его по кура́м и по гона́м, — говорит хриплый на их тайном языке и заканчивает простыми словами: — Где веревка? Давайте свяжем его.

— Зачем вам так утруждать себя? — говорю. — Вот вам все мое состояние, кошелек с несколькими карбованцами, и отпустите меня. Что вам от меня нужно? Я отец семейства. У меня четыре девочки и два мальчика, дай им бог здоровья, младшему еще и месяца не исполнилось...

Бандиты, переговариваясь на своем воровском наречии, пересчитывают мои деньги, а потом начинают у меня выпытывать:

— Откуда пожаловали?

— Из Егупца.

— Как ваше имя?

— Шолом-Алейхем.

— Алейхем шолом. Как ваше имя?

— Шолом-Алейхем.

— Алейхем шолом. Мы интересуемся, как вас зовут.

— Шолом-Алейхем. Так меня и зовут.

— Чудно́е имя. Чем вы занимаетесь?

— Я писатель.

— Нас интересует ваша профессия. Чем вы зарабатываете на жизнь?

— Я писатель.

— Что же вы пишете? Прошения, бумаги какие, доносы?

— Нет, фельетоны, занятные истории для чтения.

— Так вы, значит, книгоноша, сочинитель?

— Сочинитель.

— Что же вы делаете здесь?

— Приехал посмотреть на Касриловку.

— И это все?

— Все.

— Никакого дела?

— Никакого.

— И только ради того, чтобы посмотреть на Касриловку, решились на расходы?
— Решился на расходы.
— Зачем же вам это нужно?
— Затем, чтобы было о чем писать.
— Для кого писать?
— Для газет.
— Для каких газет?
— Для еврейских газет.
— Разве есть еврейские газеты?
— Конечно.
— Что они делают?
— Печатаются.
— Где они печатаются?
— В Варшаве.
— А зачем они нужны?
— Затем, чтобы читать.
— А кто их читает?
— Евреи читают.
— Кто-нибудь платит вам за то, что вы пишете?
— Разумеется.
— Так бы и сказали. Сколько вам, примерно, за это платят? Сколько вы зарабатываете в неделю? Вы курите? Где ваши папиросы?
Достаю свой портсигар и угощаю бандитов папиросами.
— Спроси его, портгисар серберяный?
— Серебряный? — спрашивает меня тот, который с бельмом, взвешивая портсигар на ладони. — Серебряный или гроша не стоит?
— Пустой борщ, — отвечаю, и мы закуриваем все по папиросе. — Красная цена ему два пятиалтынных.
— Пощупай его насчет сачов! — говорит хриплый.
— Где ваши часы? — обращается ко мне тот, с бельмом, ощупывая мои карманы.— У вас совсем нет часов?
— Есть у меня часы, — говорю, — и даже очень хорошие, золотые, но они заложены в егупецком ломбарде...
— Жаль! — говорит хриплый. — Они бы нам очень пригодились. Нам сейчас до зарезу нужны золотые часы.

— А зачем вам так нужны золотые часы?

— Золотые часы, — говорит он, — можно продать и получить за них хорошие деньги.

— Ну его к торчу! Он такой же бендяк, как и мы! — заключает один из бандитов.

Бандиты направляются к выходу.

— Спокойной ночи! — говорят они мне. — В следующий раз, когда вы будете уходить, не забывайте запереть дверь. Не полагайтесь ни на господа бога, ни на совесть касриловских воров. Извините за беспокойство.

— Наоборот, — говорю, — вы извините, что так мало...

Хочу проводить их до дверей, но хриплый прикладывает палец к губам и протягивает, как это делают в «Колдунье»:

— Ш и а, будет, шшша-а-а-а!..

А рыжий с синей бородавкой на носу достает нож и проделывает им несколько кругов над собственной головой. Это должно означать: «Ты и пикнуть не смей, помилуй бог, а то я за твою жизнь ни полушки не дам!»

. . . .

. . . .

— Помогите! Помогите! Спасите! — закричал я не своим голосом, как только скрылись бандиты. Мой крик поднял на ноги всю гостиницу. Женщины в нижних юбках, мужчины, простите, в одних исподних, прямо из постелей бросились ко мне в номер. Они подумали, что дом загорелся.

— Что, пожар?

— Снова горит?

— Где пожар?

— У кого загорелось?

— Тише вы, ни у кого не загорелось! Чего это вы, к примеру сказать, расшумелись, как шалый теленок? — обратился ко мне со своей цветистой речью швейцар Нойах. — Чего вы вопите, как в сумасшедшем доме? Не дай бог актеров разбудите!..

— Разбойники, — говорю, — злодеи... Бандиты напали на меня только что и ограбили с ног до головы!

При слове «разбойники» собравшихся охватил страх. Поднялся гомон, все заговорили разом:

— Разбойники?

— А сколько их было?

— Как они выглядят?

— Двое молодых, — говорю, — один старик.

— С ножами?

— Почему вы молчали?

— Вы боялись кричать?

— Разбойников нам еще не хватало, боже спаси и помилуй!

— Вчера в соседнем дворе тоже были разбойники. Чуть не задушили женщину, разобрали половицы...

— Опасно оставаться одному в доме...

— Придется, видно, удирать из Касриловки.

— Мало горя, так еще и разбойники...

— Ловите их! Ловите! Ловите! — доносится со двора крик женщины, сопровождаемый топотом ног. — Ловите их! Ловите!

— Поймали!

— Одного поймали! Двух поймали!

— Вяжите их! И третий у тебя в руках? Вяжи его! Вяжи!

— Осторожно! Головы не трогайте! Ноги, ноги свяжите!

— Зелда, дай мне твой платок! Ну-ка, Зелда!

— Вы слышите? Их поймали! — говорит Нойах и выбегает с фонарем в руках на улицу, а мы все за ним.

— Ну, как? — кричит Нойах в темноту. — Поймали?

— Поймали! Поймали! — отвечает из темноты женский голос.

— И связали?

— Связали! Связали!

— Всех троих?

— Всех троих! Всех троих!

— Давайте хоть посмотрим, каковы они из себя! — говорит швейцар Нойах, увлекая за собой толпу. Мы приближаемся с фонарем к пойманным разбойникам

и видим трех распростертых на земле, связанных... индюков.

Опустив синие клювы и раздувая шеи, индюки мигают глазками на свет нашего фонаря. Полуодетые женщины рядом с ними рассказывают наперебой, как индюки неизвестно каким образом выбрались из клетки — то ли воры были, то ли хорек их напугал, — но, слава богу, поймали, а то бы убытков не счесть...

— Провались вы, касриловские курятницы! — Нойах сплевывает и ругается почем зря. — В хвост и в зоб ваших утко-гусе-индюков!

Толпа, зевая, начинает расходиться, каждый в свой уголок, а швейцар Нойах не переставая сыплет своими мудреными, отборными, острыми словечками.

Я остаюсь один посреди болота, оглушенный ночными тревогами и ужасами. Сырость и холод пронизывают меня насквозь. Кое-где появляется огонек в окошке. Кое-где из труб тянется синий дымок. На небе появляется светлая полоса. И петухи, вытягивая шеи, кричат разными голосами на всевозможные лады: ку-ка-ре-ку-у!..

Светает.

ШМУЕЛ ШМЕЛЬКИС И ЕГО ЮБИЛЕЙ

Всем моим дорогим маленьким людям Касриловки посвящаю эту небольшую книжечку.

Автор.

ОПРАВДАНИЕ АВТОРА

Недаром говорят: на свете нет худа без добра. Вот посмотрите: бог создал пиявок, которые кровь высасывают, а их используют для лечения больных. Пчелы кусаются, но приносят мед. Шпанские мухи, распространяющие страшное зловоние, помогают при нарывах. Или взять, к примеру, мышей. Казалось бы, что может быть хуже такого существа, как мышь? Тем не менее иметь бы нам обоим, дорогой друг, столько, сколько тратят ежегодно на мышиные шкурки! Из этих шкурок делают перчатки, перчатки эти надевают молодые девушки на свои изящные ручки. Красивые девушки приходят на бал, на свадьбу или на другое торжество. На них заглядываются славные парни. Парни влюбляются, венчаются, появляются дети. Дети вырастают, становятся взрослыми парнями и красивыми девушками. И так далее и так далее...

К чему я это говорю? Да вот взять хотя бы меня и мою болезнь. Был я, не про вас будь сказано,

серьезно болен, провалялся добрых два месяца в постели в местечке неподалеку от Касриловки, в Барановичах. Ну, что говорить, — скверно быть больным. Был у меня когда-то учитель, а у него была жена. Она говорила так: «Нежели неделю хворать, так уж лучше два года быть здоровым...» (Странные мысли приходили на ум этой странной женщине.) Меня, однако, сама по себе болезнь не так донимала, как то, что врачи строго запретили мне три вещи: *говорить, читать и писать.* Хорошие три вещи! Кто знает, что значит для пропойцы не пить, для лгуна хранить обет молчания, а для женщины — не смотреться в зеркало, тот правильно поймет мое положение. Соблазн бумаги, бес чернил и пера орудовали изо всех сил. Но добиться им ничего не удалось. Слишком много глаз следило за больным. Тогда больной подумал и решил про себя: «Писать вы можете запретить. Но думать? Мыслить? Рассуждать? Кто может запретить?»

И я стал думать, мыслить, и рассуждать, и мысленно создавать сюжеты. Из размышлений постепенно начали возникать картины, вначале неясные, а потом все нагляднее и четче. Так и зародился у меня в мыслях целый сборник историй о Касриловке, Мазеповке, Стрище и других местах, «где евреям жить дозволено...» Все эти истории я честь честью упаковал в своей памяти и перебрался с ними за границу, в божественную теплую страну Италию, где среди зимы можно гулять без верхнего платья, а ханукальные свечи * — зажигать при распахнутых окнах. Здесь я уже, наверное, обработаю мои истории и дам их моему читателю, терпеливо читавшему меня двадцать пять лет кряду...

Разве из всего этого не видно, что есть у нас великий бог, одной рукой наказующий, а другой — исцеляющий? Правда, можно задать себе вопрос: «А на что это мне? Не наказывай, мол, и не исцеляй». Однако это не вопрос. И вообще, вопросы задают глупцы. Я хотел только доказать, что порою из самого большого несчастья можно извлечь кое-какую пользу.

После такого оправдания благосклонный читатель, наверное, не будет в претензии к автору, если картины иной раз получились бледными, иногда чересчур короткими, а то и просто слабоватыми.

Больше мне с тобой, читатель, сейчас говорить не о чем. Желаю тебе доброго аппетита к чтению, а себе — здоровья и сил писать и впредь, хотя бы еще лет двадцать пять, если не больше. Ибо если правду врачи утверждают, что я болен и должен лечиться, то ведь это имеет отношение лишь к грешному телу, а не к чистой душе. Можешь поэтому поверить мне на слово, что я теперь только хочу начать писать и писать.

Шолом-Алейхем

Нерви (Италия), 25 окт. 1908.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хана, меня напечатали!

Сколько послепасхальное солнце ни грело, сколько ни дул ветер, им обоим так и не удалось добиться толку от касриловской грязи. Казалось, что она издевается над ними.

— Напрасны труды ваши, зря греете, зря дуете. Если я и высохну, то дай бог только в июне, в самую жару, когда собаки бегают, высунув язык, а кошки ищут прохладного уголка на чердаках...

Так шутила касриловская грязь (в Касриловке шутят все, даже грязь), а касриловцы, подоткнув полы, ловчились, искали способа протоптать тропинку, укладывали полено или пару кирпичей и прыгали, как мальчишки, все же частенько попадая ногой в лужу. Окатив грязью лицо и себе и другому, они начинали проклинать неизвестно кого самыми лютыми проклятьями:

— Холера и три погибели наследнику твоего отца до захода солнца!

Одним из умников, который однажды в послепасхальное утро пытался выйти сухим из касриловской грязи, был герой нашего рассказа, Шмуел Шмелькис.

Для того чтобы скорее познакомить вас с ним, представляю его вам, не распространяясь. Шмуел Шмелькис — молодой человек, просвещенный, из по-

рядочной семьи, зять богача реб Иоси. В то время он жил еще у тестя на хлебах, сидел над фолиантами талмуда, почитывал и светские книжки и писал в газетах. О чем он писал, трудно сказать, так как в то время газеты его не печатали. То ли по злобе, то ли по другим причинам, но газеты упорно хранили молчание, и имя Шмуела Шмелькиса не упоминалось даже в «почтовом ящике» *, покуда господь бог не сжалился над ним в одно прекрасное утро, — то самое утро, которое здесь описывается, — и имя Шмуела Шмелькиса было черным по белому напечатано в газете крупными, ясными четырехугольными буквами.

Идя с почты домой, держа газету в руке, наш герой шагал по грязи, прыгал с тропинки на тропинку, фокусничал, желая показать, что можно делать сразу два дела: читать газету и прокладывать себе дорогу в касриловской грязи. Благодаря таким фокусам он попадал из лужи в лужу, забрызгался и выпачкался, как черт. Однако все это не шло ни в какое сравнение с тем, что он держал в руке. Его, словно на крыльях, несло домой — показать своей жене Хане, что он, Шмуел Шмелькис, напечатан в газете. Весь в грязи, с шапкой на затылке, в пальто нараспашку, вспотевший, наш герой влетел в дом.

— Хана, где ты?

Хана, в то время еще совсем молодая женщина, с одним ребенком на руках и с другим на сносях, увидав мужа, такого измазанного, вспотевшего и взволнованного, устремилась к нему:

— Господь с тобой, Шмуел!

— Хана! Меня тиснули, Хана!

Хана страшно испугалась. В мгновение ока усадила ребенка, схватила стакан воды и подбежала к мужу:

— Горе мне! Где тебя притиснули? Где?

— Да не притиснули, а тиснули, напечатали! Вот здесь! — ответил со счастливой улыбкой Шмуел, протянул газету и сияющими глазами указал место, где, словно звезды, сверкали большие, четкие четырехугольные буквы: «Шмуел Шмелькис»!

В тот день на всем свете — от Касриловки и до океана по ту сторону Америки — не было, кажется, человека счастливее Шмуела Шмелькиса. Не обращая внимания на грязь, не прислушиваясь к уговорам Ханы: «Куда ты пойдешь в такую топь?!» — наш герой отправился с газетой по городу. Останавливая чуть ли не каждого встречного, он рассказывал, что идет с почты, где только что получил газету...

— Вот видите?

При этом он подносил каждому к самому носу газету с крупными буквами: «Шмуел Шмелькис». Однако касриловцы, судя по всему, не совсем уяснили себе причину его радости. Они думали, что там сообщают какие-нибудь новости — о войне, о пожаре, об эпидемии или вообще о каком-нибудь новом законе против евреев. И хотя времени нет, хотя все думают о заработке, но послушать новости — что ж, это можно, это — с удовольствием!

— А ну-ка, прочитай, что там пишут у тебя в газете?

— Вот здесь, посреди болота читать?

— Зачем же ты нас остановил?

— Я только хотел показать вам, что... что меня напечатали! Напечатали!

Так отвечает наш счастливый герой и продолжает шлепать по грязи. А касриловцы переглядываются, пожимают плечами и шутят по своему обыкновению:

— Ах, будь ты неладен!

— Его тиснули!

— Притиснули!

— Втиснули!

— Засолили!

— Заквасили!

— Замариновали!

— Ха-ха-ха!

Была уже глубокая ночь, а Шмуел Шмелькис все еще лежал в постели с открытыми глазами. Он чувствовал себя, как герой, как человек, сделавший большое и важное дело, поставившее его отдельно от всех

его знакомых в Касриловке, поднявшее его высоко, на целую голову выше всех прочих касриловцев. Шутка ли, его, Шмуела Шмелькиса, напечатали в газете, а их нет!.. И он смотрит на них сверху вниз, с сожалением. Ему кажется, что он на высокой горе, а внизу — вся Касриловка стоит и слушает, прислушивается к высоким идеям, которые он проповедует: о человечности, о божественном, о вечности... И чем дальше, тем выше и выше вырастает он, и нисходят к нему ангелы с неба, подхватывают его на широкие свои крылья и уносят далеко-далеко от Касриловки. И... он засыпает.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он пишет в газетах, а Касриловка шутит

Дорогой друг! То, о чем я рассказал в первой главе, произошло двадцать пять лет тому назад. А прожить двадцать пять лет среди евреев, в Касриловке, — это не двадацть пять раз поздороваться, и не съесть двадцать пять яичных бубликов, и даже не подстрелить двадцать пять птичек... Недаром в бородке нашего героя набралось немало серебра, а на высоком белом лбу пролегли глубокие морщины... Совсем не тот Шмуел Шмелькис, что был когда-то.

Когда-то это был молодой человек на редкость, один из тех, которых в Касриловке покупают за деньги. Их ищут днем с огнем и торгуются за них со сватами, как торгуются за быка, а когда сторгуются, отдают им красивую, порядочную еврейскую девушку, с порядочной толикой приданого, да еще несколько лет даровых харчей в придачу и содержат такого молодца, как украшение в доме, как драгоценный камень, как гордость всей семьи, друзьям на радость, а врагам на зависть. В первую субботу после венца ведут такого купленного зятя с большим парадом в синагогу, новая одежда на нем шуршит, сапожки скрипят. Тесть усаживает его на почетное место у восточной стены, лицом к публике. Приличные молодые люди с приглаженными пейсами и мальчишки с

подмоченными носами выстраиваются против него и разглядывают его с великим любопытством, как слона. А когда его вызывают к торе и он, отбарабанив главу из «Пророков», в заключение заливается соловьем и произносит благословения, тогда сверху, из женской молельни, виднеются носы и глаза. На носах так и написана зависть, а в глазах можно прочесть: «Ох, и досталась же богачу реб Иосе находка по дешевке, — подавиться бы ему, господи милосердный!»

Не могу сказать точно: то ли сбылись пожелания женщин, то ли по другим причинам, но мир в доме богача реб Иоси вскоре был нарушен. Богач реб Иося обнаружил, что находка, которую он приобрел, вовсе не такая уж находка. То есть, вообще говоря, на первый взгляд — что он может иметь против своего зятя? Очень удачный молодой человек, ничего не скажешь, — плохо только, что он занимается глупостями, пишет в газетах, как какой-нибудь нищий... Тесть дулся на тещу, теща обрушила свой пыл на дочь, а дочь прятала лицо в подушку и потихоньку плакала...

А город? Можете себе представить! Касриловка, слава богу, обиталище мудрецов, умных голов, практичных людей. Они смотрели на зятя богача, как на калеку, на поврежденного, как на человека с врожденным изъяном — упаси господи!..

Конечно, не будь Шмуел Шмелькис зятем богача реб Иоси, ему бы это писание в газетах не сошло так гладко. Но так как он все же зять богача, то народ подтрунивал над ним, за глаза разумеется.

— Втемяшил себе человек в башку этакое сумасбродство!

— Не про нас будь сказано!

— Не к ночи будь помянут!

— Малость не того! Чем он виноват...

— Не малость, а порядочно!

— По-немецки это называется «придурковатый»...

— А как это по-нашему?

— Голова садовая!

— Дубина стоеросовая!

— А может быть, просто шмендрик!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Шмуел Шмелькис становится «касриликом»

Однако то, что может позволить себе зять, живущий у тестя на харчах, не дозволено молодому человеку, ставшему самостоятельным хозяином. Богач реб Иося, да будет ему земля пухом, давно уже в обители господней. Жена его, царство ей небесное, поскучала без мужа и тоже отправилась туда, откуда никто еще не возвращался, а наш герой, Шмуел Шмелькис, вступил в жизнь, сделался купцом, взял в свои руки лавку тестя, который торговал и красным товаром, и бакалеей, и галантереей, и птичьим молоком... Перешел к нему и дом тестя, самый большой дом в Касриловке, достойный описания. Дом этот стоит посреди базарной площади, в самой грязи. Двора при нем нет и дворовых построек тоже нет. Зато дом больше чем наполовину крыт железом, а остальная часть — черепицей, так что издали он похож на человека, надевшего шапку, сштукованную из двух различных материалов. Дом имеет два крыльца — спереди и сзади. То есть это зависит от того, с какой стороны вы смотрите: если с этой, то здесь переднее крыльцо, а там заднее; если с той, то там будет переднее, а здесь заднее.

Ничто так не возбуждало зависти касриловцев, как этот дом с двумя крыльцами.

— Дастся же человеку этакое добро!

— Надолго ему хватит, этому транжиру!

— С субботы до воскресного дня!

— Купец-то бравый, да карман дырявый!

— Добытчик Шмая — жена голодает!

— Ицикл-мот — уж он сбережет!

— У человека голова бог знает где...

— В Егупце на базаре...

— В каких-то газетах...

Так подтрунивали горожане, лясы точили и понемногу взяли богатого наследника в работу. Все по-хорошему: тут и льстивое слово, и мелкая услуга, и одолженьице, и дельце — почему бы и нет? Долго ли,

коротко ли, покуда Шмуел Шмелькис не спустил все наследство и остался, как говорят касриловцы, «гол как сокол», такой же «касрилик», как и все прочие касриловцы... «Из наших», — называется это там, где его похлопывают по плечу и говорят: «Наш брат»! А уж если «из наших» и с похлопыванием по плечу — «наш брат», — стало быть, все кончено!

Потеряв лавку и растратив последние деньги, наш Шмуел Шмелькис познакомился с касриловской нуждой и всем, что ей сопутствует. Не сразу, конечно, но понемногу, постепенно катился он под гору, пока не дошел до необходимости обратиться к городскому богачу Носону Кораху, чтобы заложить дом с двумя крыльцами — последнее свое достояние.

Тот день был днем Девятого Аба в доме Шмуела Шмелькиса. Он шагал как тень из угла в угол. Дети попрятались. Втихомолку глотала слезы Хана, но, увидев, как мрачен ее муж, она сделала веселую мину и принялась его утешать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Поздравляем! Шмуел Шмелькис — юбиляр

Ничто не вечно в этом мире. Так утверждают мыслители, философы. Все, говорят они, меняется на земле: люди стареют и умирают. Дома сгорают. Города разрушаются и отстраиваются вновь. Море превращается в сушу, а суша — в море, и так далее, и так далее.

Перед мыслящими людьми, перед философами мы снимаем шляпу. Но, да простят они нас, с касриловской грязью они незнакомы. Все на свете меняется, но только не касриловская грязь. Она, как и двадцать пять лет тому назад, и сейчас ведет упорную борьбу с лучами солнца, ни за что не желает высохнуть. Уже миновали знойные дни и ночи, когда вся Касриловка ночует на улице. Прошло уже Девятое Аба, когда евреи могут разрешить себе роскошь — ходить по улице в одних носках, а грязь все еще стоит во

всем своем великолепии и блеске, и касриловцы, подоткнув полы, все еще ловчатся, ищут способа проложить тропинку, кладут полено или два кирпича и прыгают, как мальчишки, частенько все же попадая ногой в лужу. Окатив грязью лицо и себе и другим, они проклинают неизвестно кого самыми лютыми проклятьями:

— Холера и три погибели наследнику отца твоего до захода солнца!

И вот сейчас, спустя двадцать пять лет, мы снова в одно прекрасное утро видим нашего героя Шмуела Шмелькиса, шлепающего по той же грязи, что и четверть века тому назад; снова старается он выйти сухим из касриловской грязи, снова торопится он с почты с газетой в руках, снова вспотел и весело возбужден.

Что же случилось? Отчего его наморщенный лоб так сияет? Отчего на его постаревшем и потемневшем лице играет довольная, счастливая улыбка?

Случилось нечто такое, чего он никак не ожидал. Чудо случилось, читатель, чудо! Какой-то добрый, безымянный друг вспомнил и сообщил в газете, что сегодня исполнилось двадцать пять лет с тех пор, как Шмуел Шмелькис выступил на ниве еврейской литературы с описаниями Касриловки.

«Мы не знаем, — так пишет неизвестный друг в газете, — мы понятия не имеем, кто такой Шмуел Шмелькис и что он собою представляет. Мы знаем только, что двадцать пять лет подряд человек пребывает в трясине, именуемой Касриловкой, и не перестает знакомить нас с тамошними странными созданиями, которых он называет «маленькими людьми»...»

Много сладостных слов пишет незнакомый друг в газете и заканчивает поздравлением и пожеланиями к двадцатипятилетнему юбилею.

Юбилей!.. Никогда Шмуел Шмелькис не мечтал о юбилее и даже во сне не видел ничего подобного. Надо признать, что наш герой скромным своим пером на протяжении этих двадцати пяти лет звезд с неба не хватал и ничего удивительного не открыл. Одно только можно сказать: он делал свое дело честно и

с любовью, как пчела, приносящая свою долю меда в большой улей. Он никогда не задавал себе вопроса, во имя чего он так распинается за Касриловку и за маленьких людей. Если бы я знал, что это не будет оскорбительно, я бы сравнил его с коровой, которая кормит своего теленка, не спрашивая, для чего она это делает... Почестей за свои писания он никогда не ждал, о награде никогда не мечтал. Того, что называется «критикой», он никогда не удостаивался, если не считать «домашней критики» касриловцев, которые пылали гневом по поводу того, что их «описывают в газетах». Они предпочитали судачить обо всех на свете, нежели дать возможность всему свету судачить о них. Они больше любят издеваться над кем-либо, нежели позволять кому-либо издеваться над ними. Таковы уж касриловцы испокон веку. Поэтому они добром просили его не «выставлять их в газете», во избежание «позорного конца»... Нашлись и такие, которые намекали, говорили иносказательно, что если он позволит себе задеть их имя, то «полетят оплеухи»... А в этом отношении касриловцы — люди надежные. В Касриловке, — я уже, кажется, давно об этом говорил вам, — большая часть сделок и споров решаются при помощи оплеух.

— Оплеуха, — говорят они, — решение краткое и монета наличная.

И вдруг незнакомый человек напоминает в газете миру о том, что Шмуел Шмелькис — юбиляр! И — когда? Как раз сегодня, когда для него выдалось мрачное утро, описанное в следующей главе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Злополучное утро

Касриловка еще не успела прийти в себя от сладостного сна, а счастливые касриловцы еще пребывали в плену чарующей летней ночи и не могли оторваться от золотых снов: запах свежего хлеба... аромат фаршированной рыбы с луком и перцем, свежие потроха,

только что из мясной лавки... новые, пахнущие сапоги от сапожника... целехонькие брюки от портного... большой базар... ярмарка... множество покупателей... торговля... заработки... Вот какие прекрасные вещи добрый властитель сновидений щедрой рукой расточал касриловцам. Жаль, что раным-рано на касриловское небо всходит божье солнышко и гонит людей в бой — на поиски хлеба для голодных жен и детей!

«Стук! Стук! Стук!» — послышались удары в дверь.

Шмуел Шмелькис проснулся, соскочил, отворил дверь и впустил раннего гостя, адвоката Копла.

— Добро пожаловать, дорогой гость! Что так рано?

Ни ему, ни жене его Хане не понравился этот ранний визит адвоката Копла. Вообще-то Копл человек не такой уж плохой, только физиономия у него собачья и гнусавит он, а когда говорит, так торопится, что кажется, будто он не говорит, а лает.

— Гав-гав-гав! Ведь вы же знаете, что я всего лишь адвокат. Это — мой хлеб... Прикажут идти — я иду. Реб Носон Корах просил передать, чтобы вы очистили дом... Гав-гав... Вот исполнительный лист, вот купчая, ввод во владение и все прочие бумаги, на основании сто тридцать пятой статьи тома десятого части первой свода законов гражданских гав-гав-гав...

Так пролаял адвокат Копл и ушел, не желая слушать благословения, которыми жена Шмуела Шмелькиса угощала этого разбойника, этого злодея, кровопийцу, реб Носона Кораха, не желая даже видеть тихих слез, которые она проливала, жалуясь на злосчастную судьбу свою. Горе горькое, если бы ее родители встали из гроба...

Проснулись дети — старшие и младшие. Узнав, что их со всем скарбом выбрасывают на улицу, старшие побелели и с вытянутыми лицами, молча затаив горе, следили за несчастными родителями. Младшие стояли в одних рубашонках и дрожали, как ягнята. Широко раскрытые глаза говорили: «Думаете, если мы ходим раздетые и разутые, то ничего не понимаем?»

И только младшенькая, избалованная любимица Рейзеле, очаровательное дитя в подоткнутой рубашонке, на искривленных толстых ножках, переваливаясь на ходу, как уточка, говорила отцу на своем языке:

— Эти мети топеечту, туплю себе тонфеточту...

Что на нашем языке означало:

— Если дашь мне копеечку, я куплю себе конфетку.

Дитя — утеха! Дитя — радость! Шмуел Шмелькис ощупывает все карманы и не может найти копейки, но не может он видеть и огорчения ребенка, которого ему жаль больше остальных детей... Черная тень ложится на лицо, свежие морщины бороздят лоб, и тяжкий вздох вырывается невольно из груди.

— На головы врагов моих пусть все это обрушится! — говорит ему Хана. — Глупенький, небо еще на землю не валится...

Она посылает его к богачу реб Носону Кораху, — авось удастся еще раз отсрочить хотя бы на короткое время, покуда всевышний сжалится...

— На эшафот бы я лучше пошел... — тихо произносит себе в бороду Шмуел Шмелькис, надвигает шапку и отправляется к богачу Носону Кораху.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Крупнейший богач Касриловки — реб Носон Корах

Думаю, что он вам знаком, — кто же не знает реб Носона Кораха? Ведь он славится на «весь мир». Как всем известно, он хвастает тем, что вот уже почти тридцать лет не выходит из дому. Кому нужно, тот приходит к нему. А нужно к нему каждому, у кого есть, что заложить. Когда-то, в прежнее время, к нему несли в залог все, что имеет какую-нибудь ценность: платье, подсвечник, самовар, ступку, кружку, серебряную кайму от талеса, свиток, даже прошлогодняя пальмовая ветвь, и та шла в ход. Сейчас, на

старости лет, реб Корах потерял вкус к таким вещам, невзлюбил «движимость» и пристрастился к «имуществу» (к домам). Все знают — теперь он заключает сделки только на дома. Люди поговаривают, что вся Касриловка у него в закладе, и, как водится, люди не скупятся на колкости и шуточки по поводу аппетита богача к домам.

— Вы не знаете, что он будет делать через сто двадцать лет с такой уймой домов?

— Возьмет их с собою на тот свет.

— Солить будет.

— Заложит их у ангела смерти.

— Вижу, что никто из вас не знает, чем кончит наш богач Носон Корах.

— Чего же ты молчишь, если знаешь?

— Он кончит, как библейский Койрах *.

Последняя острота так нравится публике, что все прямо-таки покатываются от хохота. А реб Носон Корах делает свое: одалживает деньги под дома и имения, и каждый год у него становится все больше домов и лавок. А вообще реб Носон Корах — вполне порядочный домохозяин и по натуре своей чрезвычайно симпатичный человек. У него правило: принимать каждого очень любезно, как учили нас наши мудрецы — «с приветливой улыбкой на лице», то есть с большим радушием. «Почему не присядете?» — вопрошает он, когда вы приходите к нему, и прямо-таки не знает, куда вас посадить, подает вам два стула сразу и спрашивает, не выпьете ли стаканчика чаю? Впрочем, он тут же спохватывается:

— Ах, боже ты мой, самовар поставить некому... Может, скушаете немного варенья? Ах, батюшки! Прислуга забрала ключи!.. Сидите, почему не сядете? Что же слыхать нового?

Реб Носон Корах очень любит, чтобы ему рассказывали новости. Да и что удивительного? Человек чуть ли не тридцать лет кряду не выходит из дому! А когда ему рассказывают какую-нибудь новость, будь она хотя бы с бородой, он слушает, смотрит, качает головой, шевелит губами, поражается, как если бы слышал об этом впервые в жизни... Но все это —

пока речь не зайдет о деньгах... И тут мы должны сказать несколько слов о наружности реб Носона Кораха, — тогда, надеемся, его портрет будет полнее.

У реб Носона Кораха очень симпатичная внешность. Но мы остановимся лишь на его глазах. Один глаз у него самый обыкновенный: белок и зрачок, как полагается. Второй же глаз состоит из одного зрачка, белка и в помине нет. Этот глаз у него всегда закрыт, кроме тех случаев, когда дело касается денег. Едва вы заговорите о деньгах, как «зрачковый» глаз открывается и начинает действовать, то есть вращаться и сверкать с необычайной быстротой! Тогда почти невозможно смотреть ему прямо в лицо. Весь облик этого человека меняется. Давешняя «приветливость» исчезает вместе с лакрично-сладкой улыбкой, и на месте добродушного и ласкового богача реб Носона Кораха вырастает зверь, от которого вам хочется бежать, как можно скорее и дальше...

Из того, что сказано нами об излюбленном нашем богаче, читатель может заключить, что реб Носон Корах, упаси бог, человек бездетный. Считаем необходимым тут же сообщить миру, что с первой женой Хае-Хавой у него действительно детей не было. Была эта Хае-Хава, да простит она мне, ужасная уродина и умерла она от страха... Он, говорят, ее поколачивал... Зато когда она умерла, он роздал много денег бедным, нанял постоянного поминальщика и тут же женился на молоденькой девушке, кровь с молоком, по имени Крейндл, и через год господь благословил его сыном. Сына этого реб Носон Корах назвал в честь обоих своих дедов — реб Иосифа и реб Ици — двойным именем Иосиф-Ице, а со временем имя это превратилось в «Иосефиц», да так и осталось по сей день. Нужно ли говорить, что Иосефиц вырос, как полагается у богачей, в холе и довольстве. Надо только заметить, что помимо склонности к наукам (он учил еврейский и русский языки, немного — немецкий, французский и латынь, читал Тургенева и Дарвина), Иосефиц был спокойным и удивительно молчаливым мальчиком. Можно сказать, что в Кас-

риловке никто почти не слыхал, как он говорит, кроме тех случаев, когда реб Носон Корах из-за денег начинал действовать своим «зрачковым» глазом и выкрикивал: «Иосефиц, где ты?»

Тогда неизвестно откуда вырастал Иосефиц. Это был красивый молодой человек, на возрасте, с пробивающейся бородкой. В руках у него две книги — Тургенев и Дарвин.

— Иосефиц, что ты скажешь по этому поводу?

Иосефиц сморкается двумя пальцами, вытирается полой и отвечает холодно:

— Тут и говорить не о чем!..

Это — единственная фраза, которую касриловцам приводилось слышать от прекрасного молодого человека. И все знали, какой смысл таит в себе эта фраза. Ибо, как бы ни был плох старый Корах, от него все же можно было иной раз чего-нибудь добиться. Но уж если он позвал своего наследничка на совет: «Иосефиц, что ты скажешь по этому поводу?», а Иосефиц произнес холодно: «Тут и говорить не о чем!» — тогда можете быть уверены, что никакой господь бог вам не поможет...

— Пропасть бы ему пропадом, этому сынку из нынешних, за один ноготок с мизинца старого отца еще до того, как он увидел свет божий! — так трижды в день благословляет Касриловка наследника реб Носона Кораха, но пожелание сие как назло не хочет сбыться.

Теперь, когда вы несколько ближе познакомились с этой милой личностью и его очаровательным наследником, вас не будет удивлять, что наш герой, Шмуел Шмелькис, предпочитал пойти на эшафот. Он знал наперед, что напрасны его хождение, и разговоры, и просьбы. Реб Носон Корах примет его с большим радушием, попросит сесть, захочет угостить чаем или вареньем, спросит, не слыхать ли чего нового... А он, Шмуел Шмелькис, будет сидеть, как на горячих углях, будет завязывать и развязывать платок на шее и чувствовать себя, как человек, который собирается купаться, стоит голый и боится прыгнуть в воду. Потом наберется духу и проговорит:

— Имею к вам, реб Носон, просьбу, насчет процентов то есть... — Не успеет он еще закончить свою просьбу, как у реб Носона откроется «зрачковый» глаз и начнет пылать.

— Нет, нет! Все, что угодно, только не это! Что за манера не платить процентов! Проценты — это деньги, а деньги — не мусор... Пхе! Твой тесть, да простит он мне, был копеечник, собирал, трудился, а для кого? Для вот этих транжиров, для щелкоперов, которые печатаются в газетах и умеют только тратить, швырять деньгами... А как дошло до процентов, так и — пхе! Иосефиц, где ты, что ты скажешь на это?

Тогда покажется Иосефиц с Тургеневым и Дарвином, высморкает нос двумя пальцами, вытрется полой и скажет:

— Тут и говорить не о чем!..

Так кончится визит к реб Носону Кораху — напрасной болью и унижением. И все же Шмуел Шмелькис идет к нему, как обреченный на смерть. Но по пути он забегает на почту, получает газету, находит в ней, как нам уже известно, добрую весть и останавливается на улице, читает еще и еще раз, глазам своим не верит и шагает дальше.

Да, это было удивительное, редкое утро, начавшееся черными тучами и закончившееся ясным солнышком. То было утро, начавшееся «исполнительным листом» и закончившееся «юбилеем».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шмуел Шмелькис и граф Толстой

«Юбилей»!

Это сладостное слово незаметно, как по маслу, проникало в сердце нашего героя, согревало его, как доброе вино, как целительный бальзам, и немного опьяняло.

«Мой юбилей?!» — думает Шмуел Шмелькис со слезами на глазах и забывает в эту минуту о богаче Носөне Корахе и об адвокате Копле. Он прощает им причиненную боль, он всем прощает исполненные горечи двадцать пять лет, прощает удары, нанесенные ему и богом и людьми, — все сейчас забыто! И Шмуел Шмелькис больше не ловчится, не ищет сухих тропинок: он шагает по касриловской грязи, как по лучшей мостовой, и читает сладостные слова незнакомого друга, напомнившего миру о том, что есть где-то некий Шмуел Шмелькис — герой сегодняшнего дня, юбиляр... Он не чувствует земли под собою, хватается еще и еще раз за газету, и глаза его останавливаются на другом имени, напечатанном в той же газете, — на имени графа Л. Н. Толстого. Итак, два юбилея, два юбиляра: граф Лев Николаевич Толстой из Ясной Поляны и он, Шмуел Шмелькис из Касриловки! Ха-ха-ха!

Он невольно разражается смехом: как же это? Такой мелкий червь земной в сравнении с таким гигантом! Что значит он, мельчайшая звездочка, в сравнении с огромным пламенным солнцем, озаряющим весь мир? И тем не менее — вот видите! — его, Шмуела Шмелькиса, имя напечатано рядом с именем богатыря, Голиафа*, с именем графа Толстого!..

И его (о, грешный человек!) подхватывают мечты и уносят, как обычно, далеко в небо, в мир фантазии. Он спрашивает себя: «Однако подойдем к делу с другой стороны: а почему бы и нет? Разве я, малозначащий Шмуел Шмелькис, не то же самое для темной Касриловки, что Толстой для всего мира? Толстой, великое пламенное солнце, осветил своим сиянием всю землю, а я, мелкая звездочка, — разве не освещал своим скудным светом маленькую черную точку на земле, именуемую Касриловкой? Кто первый сообщил миру о том, что где-то существует какая-то Касриловка? И о том, что в Касриловке — непролазное болото, по которому шлепают странные существа, маленькие люди... Они жмут и давят, тис-

кают и пожирают друг друга из-за голода и темноты, из-за нужды, тесноты и зловония! Кто первый показал, какие жемчужины валяются именно здесь, в болоте, именно в этой темноте, тесноте и зловонии?..»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поздравления и преподношения сыплются, как из рога изобилия

И вот с такими мыслями широко шагая по касриловскому болоту, он сам себе задает вопрос, чисто касриловский вопрос:

— А что помешало бы господу богу, если бы здешние маленькие человечки устроили в Касриловке тарарам по случаю моего юбилея, как, скажем, это делают народы мира в честь великого Льва Толстого? А почему бы и нет? В самом деле, подойдем к вопросу с другой стороны. Почему бы и нет?..

А ведь от мысли до дела у нашего героя, как и у всех касриловцев, один шаг. И ему уже представляется мысленно шум, гам, разговоры, кутерьма, совсем как в честь графа Толстого.

— Поздравляем! Сегодня Шмуел Шмелькис — виновник торжества!

— С праздником! Шмуел Шмелькис сегодня юбиляр!

В городе веселье! Радость и ликование! Лавочники закрыли лавки, меламеды распустили учеников. Все, от раввина до служки, от резника до извозчика, собрались у него в доме, чтобы принести свои поздравления. Но люди почему-то не решаются, колеблются, словно оправдываясь:

— Мы не знали, что сегодня такой, так сказать, день. То есть мы, конечно, знали, почему же нам не знать? Но мы ждали, значит, пока придет пора... То есть юбилея ждали...

Но почему вдруг такая толчея, теснота, о чем все перешептываются? Ага! Богач, реб Носон Корах, собственной персоной пожаловал к юбиляру в дом с

сияющей физиономией, и чудо свершилось! Чудо из чудес! Слушайте, слушайте! У него оба глаза, как у всех людей! Куда девался страшный «зрачковый» глаз?

— Тридцать с лишним лет, — говорит реб Носон Корах, обращаясь к народу со своей лакрично-сладкой улыбочкой, — свыше тридцати лет я не выхожу из дому. Но в такой день — хе-хе! — я подумал: все-таки человек, который пишет такие славные вещи — хе-хе! — уже двадцать пять лет... Он заслужил поздравление и подарок, хе-хе...

Он оборачивается назад:

— Иосефиц, что ты скажешь?

Неизвестно откуда вырастает Иосефиц, сморкается двумя пальцами, вытирается полой и отвечает:

— Тут и говорить не о чем!..

Потом реб Носон Корах достает из бокового кармана лист бумаги и обращается к юбиляру:

— Вот тебе, и оставайся при своем доме с двумя крыльцами. На что они мне? У меня достаточно, хе-хе... Иосефиц, что ты скажешь?

— Тут и говорить не о чем...

И все это видят, и никто не удивляется, как будто так и должно быть... Но кто это стоит за плечами богача и угодливо подхихикивает? Очень знакомая личность! Неужели это адвокат Копл? А куда же девалась его собачья физиономия? И совсем он не гавкает и не торопится, а говорит как человек:

— Вот вам обратно купчая, и ввод во владение, и все прочие бумажки, на основании сто тридцать пятой статьи тома десятого части первой свода законов гражданских...

И все слушают, и никто не удивляется, как будто все это в порядке вещей... И приходят парни, и девушки, депутации, депутации, депутации! Кто с лавровым венком, а кто с адресом, кто со стихами, сочиненными молодым касриловским поэтом... А подарки! Гора подарков: скатерти и полотенца, куски материи и головы сахара, и запечатанные бутылки с палестинским вином «Кармел», и ящики с посудой, и

ящики с серебром, и массивное золотое перо, — это ювелир Иосл, человечек тщедушный, с толстыми губами, преподнес и говорит хриплым голосом:

— Чистое золото... Пятьдесят шестой пробы... Годно для продажи... Можно заложить...

Потом пошли выигрышные билеты, пакеты посыпались, как из рукава. Что это такое? Деньги. Наличные деньги!

А народ стоит и слушает, и никто не удивляется, как будто так и быть должно... А он озирается по сторонам, ищет Хану. Где она? Вот она с детьми. Она разглядывает скатерти и прочие хозяйственные вещи, а он думает: «Полотенца и скатерти ей дороже всего... Женщина женщиной остается...» Он встречается с ее глазами, все еще полными любви, и кажется ему, что они влажны.

— Хана, ты плачешь? В такую минуту плачешь?

— Упаси бог! Наоборот!.. Встали бы теперь из гроба мои родители...

И тихие, нежные слезы катятся по ее сморщенному, но все еще красивому лицу. Но тут приходит младшенькая, любимица Рейзеле, и лепечет посвоему.

— Эти мети топеечту, туплю себе тонфеточту...

Отец и мать смеются, все дети смеются. Но вдруг становится шумно, и кто-то стучит ладонью по столу:

— Тихо! Тише! Дайте слушать, что говорят!

— Кто говорит?

— Я говорю!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Что делать с такой уймой денег

Кто же это «я»? Это — Нехемья, бедный парень, возымел наглость произнести речь в честь юбиляра. В другое время озорник, нищий не посмел бы и рта раскрыть перед таким, не сглазить бы, сборищем. Но сейчас, в такой день...

И Нехемья — этот наглец—говорит без зазрения совести, поносит богачей, выше дворцов возносит

бедный люд, а юбиляра — до небес. А народ слушает и молчит, и никто не удивляется, как будто так и должно быть... Сразу же после Нехемьи поднимается Хаим, а после Хаима — Бенцион, — всё молодые люди, и говорят один другого лучше, стараясь щегольнуть перед народом красноречием и знаниями. Один парень, очень внятно произнося слова, напоминает, что сегодня мир справляет, собственно, два праздника, два юбилея, и он сравнивает графа Толстого со Шмуелом Шмелькисом: как тот, так и другой никогда не были довольны своим творчеством... Затем поднимается еще один парень с крупными зубами и солидным баритоном и доказывает со всей логикой и силой слова, что Толстому есть чему поучиться у Шмуела Шмелькиса, потому что Толстой, если хорошенько вдуматься, имеет в своем распоряжении хотя бы Ясную Поляну, а что имел до сего времени Шмуел Шмелькис? Нужду, извините, нищету!

Вдруг раздаются голоса присутствующих:

— Довольно вам, молодые цуцики, лясы точить и хвастать своим умением! Всем известно, что вы мастера говорить! Пора заняться более существенным. Люди! Давайте подумаем, что делать с наличными деньгами?

Поднимается солидный домовладелец:

— Его надо обеспечить заработком, делом, открыть лавку красного товара, галантереи, бакалеи, скобяного товара...

Поднимается еще один, такой же солидный, и говорит:

— Лавка не годится. Винный погреб! Самое лучшее — это винный погреб!

— Недвижимость! — заявляет третий. — Имение, с двором, прудом и лесом, с сосновым лесом!

— Сосна — это чепуха! — еще громче кричит четвертый. — Дуб! Дуб — это деньги!

— Болван! — надрывается еще один. — На что ему деньги? Здоровье — вот что важнее всего!

А его самого, юбиляра, даже не спрашивают. Он переглядывается с женой, с Ханой. А она разгляды-

вает скатерти, полотенца и прочие вещи. Он думает: «С женщиной не так-то просто! Тут речь идет об имении, а она не нарадуется на скатерти и полотенца!»

Их глаза встречаются, и ему кажется, что глаза Ханы, все еще полные любви, влажны. Он хочет спросить: «Глупенькая, чего же ты плачешь? Радоваться надо, а не плакать...» А младшенькая, любимица Рейзеле, подходит вперевалочку, словно уточка:

— Эти мети топеечту, я туплю тонфеточту...

Никогда еще этот лепет не был так мил, как сейчас, в эту минуту, и ему хочется смеяться, как никогда еще в жизни он не смеялся...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Конец комедии

Паря таким образом в безоблачных небесах, наш герой, коллега графа Толстого, шагает с газетой в руках и незаметно приближается к дому. Уже издали он видит возле своего дома с двумя крыльцами сборище — мужчин и женщин с малыми детьми... Он словно просыпается и спрашивает себя: «Неужели это на самом деле не сон, не фантазия, — все то, что я только что видел в мечтах? Неужели касриловцы действительно собрались, чтобы праздновать мой юбилей?»

Он вглядывается и узнает среди собравшихся адвоката Копла, с его собачьей физиономией, и еще многих других узнает он. И непонятно ему, почему его жена Хана сидит с детьми на улице на сваленных в кучу бебехах, почему она закрывает лицо руками и плачет? Он останавливается, прислушивается и слышит голос Ханы, она рыдает:

— Смотрите, люди добрые, до чего я дошла, дочь богача реб Иоси! Пусть это будет вам в поучение... Если бы мои отец и мать сейчас встали из могилы!..

Люди переглядываются, поджимают губы. Женщины качают головами и вытирают передниками

глаза. Какой-то человек стоит против адвоката Копла и, размахивая руками, толкует ему что-то, слегка намекая, как это водится у касриловцев:

— Вот, как видишь меня, я сейчас, не теряя времени, возьму да набью тебе собачью твою морду, ты из собак собака, доносчик, ябедник, продажная душа!

Копла прямо-таки жалко! Что может он ответить на такие странные слова? Он пятится, смотрит на людей и отбрехивается, как может:

— Гав-гав-гав! Чего он от меня хочет, люди добрые? Не знаете, чего он на меня напал? Я чем виноват? Это — мой хлеб, гав-гав... Меня посылают — я иду... Срок давно уже пропущен... На основании сто тридцать пятой статьи тома десятого части первой свода законов гражданских... Гав-гав...

Вмешиваются посторонние люди, наступают на адвоката с собачьей физиономией, говорят, кричат, трещат, руками размахивают...

А наш герой присматривается, и кажется ему, будто свора собак налетела на одну собаку, все лают, а Копл отбивается... Но тут вдруг появляется новая личность — пристав Гавриленко, с животом, как турецкий барабан. Когда пристав ходит, живот трясется. Пристав здорово говорит по-еврейски, но иногда он для приличия вставляет и русское слово:

— Господа! Господа! В синагогу пожалуйте! Там будете ругаться, и кусаться, и говорить гер-гер-гер... Только не здесь! Пожалуйте вон, господа!

Люди бросают Копла, окружают пристава и говорят, размахивая руками, все сразу:

— Как же так, ваше благородие?

— Ведь это же разбой, пане!

— Разве можно так?

— Слыханное ли дело?

В суматохе никто, видимо, не заметил нашего юбиляра, и, когда он захотел подойти поближе к своей несчастной Хане и застывшим детям, выглядевшим, как спасшиеся от пожара, ему пришлось энергично

проталкиваться. А когда пробрался, он не подошел ни к своей несчастной Хане, ни к застывшим детям. Он искал глазами место, где бы присесть, — таким усталым чувствовал он себя, таким беспомощным и измученным после нынешнего удивительного утра.

Величественно, царственно и словно иронически улыбаясь смотрит с прохладного неба предосеннее солнце на Касриловку с ее грязью, ее маленькими людьми, шлепающими по грязи, на выброшенную семью, ютящуюся вместе со своим скарбом на улице, и на всех, что толкутся здесь, горячатся, спорят, проклинают и готовы уничтожить, поглотить друг друга из-за гроша, гроша, гроша!

На одном из выброшенных стульев мы замечаем сидящего в одиночестве героя этой комедии. Он кажется совершенно чужим. Мы не видим, чтобы он плакал, не слышим, чтобы он на кого-нибудь жаловался. Но его глубоко печальные глаза смотрят на людей вопрошающим взглядом, как бы желая проверить, не сон ли все то, что он видит здесь и слышит?

— Скажите, люди добрые, дорогие, это не сон?

Нет. Это не сон.

К сожалению, это не сон!

Он вытирает крупные капли холодного пота, катящиеся с изборожденного морщинами лба.

КАСРИЛОВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

Все на свете прогрессирует, идет вперед. Прогрессирует также и наша Касриловка.

Касриловка сильно продвинулась за последнее время. Приехав туда сейчас, вы будете поражены. Будете смотреть и не сможете наглядеться. Увидите посреди города, где особенно много грязи, большой, широкий и высокий дом из желтого кирпича, крытый железом, со множеством окон, с высокой резной дверью, а наверху, над дверью, на белом мраморе высечено золотом крупными еврейскими буквами:

БОГАДЕЛЬНЯ

Вы стоите и смотрите на эту картину, и кажется вам, что она похожа на дорогую атласную заплату, положенную на старый, позеленевший, рваный люстриновый кафтан. Откуда такой великолепный Дом призрения в нищей Касриловке? Что это — кому-нибудь назло? Или это насмешка? Или чья-нибудь ошибка?

Это было в то время, когда через Касриловку намеревались проложить железную дорогу. Прибыли из Москвы какие-то странные существа: инженеры,

землемеры, геодезисты и тому подобные личности, а над ними — подрядчик, боевой парень и как раз «из наших». Имени его никто по сей день не знает. Может быть, это был человек от Полякова*, а может быть, и сам Поляков. Но то, что он несметный богач, миллионщик, это и малому ребенку бросалось в глаза. Иначе кто ж это позволит себе занимать одному две комнаты, жрать кур, лакать вино, да еще заигрывать с младшей снохой владельца заезжего дома, особой легкомысленной? (Она вызывающе не носит парика* и не любит мужа — это всем известно.)

В то время наш старый знакомый, раввин реб Ийзефл, носился с мечтой воздвигнуть в Касриловке богадельню для престарелых бедняков. Почему непременно богадельню? Почему не больницу? Но что толку от вопросов? Если бы он думал о больнице, вы спросили бы: «А почему не богадельню?» Уверяю вас, что посторонней мысли о самом себе на старости лет у реб Иойзефла не было. Он считал, что больной старик заслуживает больше жалости, нежели молодой. То есть молодому человеку, когда он болен, тоже не сладко. Но когда человек болен да к тому же и стар, он и вовсе лишний на земле. Лишний и в тягость. Люди не любят стариков — таков закон, это проверено.

Словом, он решил раз навсегда: Касриловке необходима богадельня. Это — в первую очередь! А для того чтобы все поняли, как нужна в Касриловке богадельня, реб Иойзефл в субботу днем произнес в синагоге проповедь и рассказал при этом очень интересную притчу: «Жил да был некогда король, и был у него единственный сын...» Однако мы сейчас не собираемся смешивать одну историю с другой и откладываем поэтому рассказ реб Иойзефла до другого раза. Могу вам только сказать: хотя притча, возможно, была и не совсем к месту, но прихожане, что называется, пальчики облизывали, как и всегда, когда реб Иойзефл рассказывал притчи. Был бы реб Иойзефл таким мастером зарабатывать на хлеб, каким он был мастером рассказывать притчи!..

Выслушав притчу, к раввину обратился один из прихожан, очень почтенный, конечно, ибо кто ж это станет возражать раввину при всем честном народе?

— Да, ребе, вы, конечно, правы. И притча очень хороша. Но вопрос вот в чем: откуда взять деньги? Ведь богадельня должна денег стоить, а в Касриловке сплошь одни «касрилики», бедняки, нищие, побируши...

— Э! Расскажу тебе, дитя мое, и по этому поводу притчу. Жил некогда король... И был у него единственный сын...

Однако что там делали король со своим сыном, это не так уж важно. Важно то, что наш реб Ийзефл на следующий день, в воскресенье, взял с собою двоих касриловцев, из самых почтенных, вышел на базар и стал ходить из лавки в лавку, из дома в дом — собирать по старинному способу деньги. Само собою разумеется, что больших капиталов таким способом не соберешь. Но реб Ийзефл не спешил. Ничего страшного, если это продлится еще неделю. Рим тоже не в один день родился. Что же делать — нищий город! Вся надежда на чужих, на купцов, приезжающих в Касриловку или вообще проезжих, которые останавливаются в заезжем доме. Там иной раз, если попадется птица, ее так ощиплют, что тот десятому закажет: «Если едете мимо Касриловки, объезжайте ее за версту, — там спасения нет от нищих!..»

Услыхав, что приехал из Москвы еврей подрядчик, не то человек от Полякова, не то сам Поляков, крупный миллионер, реб Ийзефл оделся по-субботнему — надел накидку и меховую шапку, которая не очень-то вязалась с будничным посохом, ибо — одно из двух: если это суббота, то причем тут посох? А если будни, то почему — в меховой шапке? Объяснилось все это только тогда, когда реб Ийзефл взял с собою двоих почтеннейших горожан и отправился прямо в заезжий дом, к богатому подрядчику.

Не знаю, каковы другие московские подрядчики, но тот, что приехал в Касриловку проводить железную дорогу, был очень странным человеком. Малень-

кого роста, пухленький, с жирными щечками, мясистыми губами и короткими ручками — это было существо очень подвижное: он не ходил, а бегал, не говорил, а кричал и смеялся дробным смешком: хе-хе-хе! Глазки всегда влажные, и все он делал быстро, второпях, на одной ножке, а нервный — упаси бог! Не угодишь ему, или словом заденешь — жизни рад не будешь! Глазки тут же вспыхивают, он готов вас уничтожить, разорвать пополам. Странный, очень странный подрядчик!

В заезжем доме он завел такой порядок: кто бы к нему ни пришел, будь кто угодно, хоть сам губернатор (именно так он наказал), надо прежде всего постучать в дверь, и, если он разрешит войти, доложить ему, кто именно хочет с ним говорить, — и тогда он либо попросит войти, либо велит прийти завтра.

В Касриловке, конечно, вдосталь посмеялись над этим чудаком и его глупыми штуками. Видали, какие замашки у московского подрядчика? Мало того что я утруждаю себя и прихожу к тебе домой, — я еще должен довольно долго стоять по ту сторону дверей и ждать, покуда ему вздумается позволить зайти к нему, а не то он попросит прийти завтра? Нет, на это только московский подрядчик способен. Казалось бы, такой большой человек, как раввин, реб Ийзефл, человек ученый и богобоязненный... И тем не менее у него всегда, во всякое время открыты настежь двери и ворота, — «всякому, кто постучит»... Как же иначе? Ведь мы евреи на белом свете!

Увидав перед собою реб Ийзефла, пожаловавшего собственной персоной, да еще одетого по-субботнему, хозяин гостиницы, человек с чубуком во рту и солидным брюшком, прямо-таки оторопел:

— Благословение пришедшим! Такой гость! Сам раввин у меня в доме! Такая честь! Садитесь, ребе... Что? Вам к нашему гостю? С величайшим почтением!

И хозяин, совершенно забыв о наказе — «кто бы ни был», хоть «сам губернатор», — отложил свой чубук, застегнулся на все пуговицы, привел раввина и двоих почтенных горожан к дверям гостя, а сам исчез.

Чем был в эту минуту занят гость, трудно сказать. Может быть, он углубился в расчеты по постройке железной дороги: где прокладывать рельсы, где поставить вокзал? А может быть, он лежал у себя во второй комнате и дремал? А может, просто сидел и болтал с младшей снохой хозяина гостиницы, легкомысленной особой, которая щеголяет собственными волосами и, как известно всем, не любит своего мужа? Кто может знать, что делает подрядчик из Москвы, боевой парень и миллионер к тому же, у себя в двух комнатах? Но когда касриловская депутация вошла к нему в первую комнату, она его там не застала. Они только заметили, что дверь во вторую комнату раскрыта и что там очень тихо. Идти дальше они не хотели. Это неудобно, — может быть он спит? Тогда они надумали и все вместе, втроем, кашлянули (так водится в Касриловке). Подрядчик услыхал и выбежал ни жив ни мертв. Увидав незнакомых людей, он вскипел от злости и раскричался на московский манер:

— Кто такие? Вам что надо, такие да разэдакие? Кто вас впустил? Я тысячу раз наказывал, чтобы ко мне без доклада не входили!

Говорят даже, что он при этом употребил слово «жиды»... Хоть и трудно представить себе, чтобы еврей позволил себе такое, но человек, миллионер к тому же, если его вывести из себя, способен и на худшее...

Наш читатель, уже знакомый с касриловским раввином, хорошо знает, как скромен реб Иойзефл. Он никогда не суется вперед. Он всегда предпочитал быть последним, так как считал, что простой смертный не должен торопиться. Терять ему нечего, и никуда он не опоздает. Но тут он вынужден был выступить вперед, так как его спутники попросту испугались миллионщика, налетевшего на них с руганью и топавшего ногами. Кто знает, кто он такой? Может быть, это человек от Полякова, а может быть, и сам Поляков! Так что они поневоле должны были отступить поближе к дверям. Мало ли что случается... Один только реб Иойзефл на сей раз не испугался.

Он рассуждал: «Если это большой человек, то мне нечего его пугаться. А если он мелкий человечишко, то мне и подавно пугаться нечего!..» И он выступил уверенно и сказал:

— Извините, пожалуйста, не кричите... Может быть, вы и правы... Не взыщите, если мы вам помешали... Но мы заняты богоугодным делом, а тем, кто выполняет богоугодное дело, сказано у нас, ничего не может повредить... Мы собираем пожертвования, видите ли, на великое дело, на построение богадельни...

Подрядчик из Москвы стоял молча. То, что к нему ворвались «без доклада» эти три человека, то, что этот старик в меховой шапке держится, как показалось ему, глупо и нагло, так взбесило нашего гостя, так разволновало и взбудоражило, что он почувствовал щекотание в носу и удар в голову, кровь прилила к лицу. Он вышел из себя и так растерялся, что сам не помнит, как случилось дальнейшее. У него как бы невольно поднялась рука, и он изо всей силы отпустил старику звонкую, увесистую пощечину.

— Вот вам! Вот вам богадельня!..

От удара у старика слетела с головы шапка вместе с ермолкой, и касриловский раввин остался на минуту с непокрытой головой, быть может впервые за всю свою жизнь... Но продолжалось это какую-то секунду. Раввин реб Иойзефл нагнулся, поднял шапку и накрыл обнаженную голову. Потом он осторожно пощупал щеку и посмотрел на руку, не окровавлена ли она? И в то же время он обратился к гостю тихо и ласково, со странной улыбкой на мертвенно-бледном лице:

— Ну что ж, это вы, значит, дали мне. А что же вы пожертвуете больным старикам, то есть на построение богадельни?

Что было дальше, рассказать невозможно. Никто не знает этого, потому что почтеннейшие горожане, услыхав московский говор подрядчика, тут же исчезли... А раввин, реб Иойзефл, вообще не хотел го-

ворить об этом... Когда он вышел оттуда, лицо у него как-то особенно сияло. Одна щека (левая) сияла больше второй... И он с ласковой улыбкой сказал:

— Поздравляю вас! Могу сообщить вам добрую весть: будет у нас, с божьей помощью, богадельня! Да такая, что и бог и люди порадуются...

«Маленькие люди», быть может, и не совсем поверили бы раввину, если бы сами, своими ушами, не слышали, как подрядчик, колотя себя по белой манишке, сказал:

— Я построю вам богадельню! Я, я!

И не только слыхали, но и видели вскоре своими глазами, как подрядчик вместе с раввином ходят по городу и измеряют палкой: «Вот здесь будет стоять дом. Столько-то займет он в длину, столько-то в ширину»... А там привезли и кирпич, и лес, и прочие материалы, — дело пошло.

Нашлись, правда, такие, которые приставали к раввину с расспросами, тянули из него слова:

— Ребе, как же это было? Как этот человек повинился перед вами за свою грубость? Что вы ему говорили и что он вам ответил?

Но реб Ийзефл все это пропускал мимо ушей, заговаривал зубы и улыбался своей ласковой улыбкой.

— Но богадельня у нас, даст бог, будет такая, что и бог и люди порадуются!..

Жаль, — богадельня по сей день пустует: реб Ийзефл уже на том свете, а содержать богадельню не на что. Так уж везет нашим касриловским маленьким человечкам: приснится каша — ложки нет, приготовишь ложку — каша не приснится.

КАСРИЛОВСКИЙ ПРОГРЕСС

(Зарисовки, сценки, факты и забавные истории)

I

Город

Чудеса из чудес — до чего может измениться город! Касриловка, моя родина, так изменилась, что ее и не узнать. После долгих лет отсутствия я приехал на несколько недель в этот город, ходил по его улицам, беседовал с людьми, искал старых знакомых. Но где там старые знакомые? Большая часть из них умерла, меньшая уехала в Америку. А новое поколение, пришедшее им на смену, — это совсем другие люди. Переворот, да и только! Куда девались знаменитые маленькие люди с узким кругозором? Куда девались бородатые евреи, которые над всем смеялись, и ничем нельзя было их удивить? Куда девались молодые люди, которые вертелись с тросточками в руках на базаре в поисках какого-нибудь дела, а, не найдя его, от огорчения подтрунивали друг над другом и все сообща над всем миром. Теперь по улицам разгуливали франты и положительные люди в шляпах и

в пенсне. А давнишних баб-замарашек в белых чулках с красными подвязками ниже колена, а также девушек, повязанных платками, и в глаза не видать. Дамы в шляпках проходят теперь передо мной, бариньки с зонтиками, мамзели в перчатках; новые люди — новая жизнь, а самый город — ха-ха! — чего он только не позволяет себе! И улицы у него мощеные, и электрические фонари горят, и граммофоны у него, и синематографы, — знай наших!

Это я толкую о внешней стороне. Внутренне Касриловка изменилась еще больше. Мне просто не верилось, что я попал в свою родную Касриловку. Хоть бы одно из старых обществ! Ведь здесь, насколько мне помнится, обществ было не счесть. Общества любителей псалмов или любителей талмуда — это само собой, ну, а куда девались все благотворительные общества: «Общество ссуд», общество «Хлеб беднякам», «Одежда нагим», «Псмощь узникам», «Поддержка разорившихся», «Исцеление больных», «Призрение немощных». Все эти общества ушли, видно, туда, куда ушли основатели этих обществ, туда, куда ушла большая часть маленьких людей, и с ними одинокий, мир праху его, раввин реб Иойзефл, воспоминание о котором вызвало у меня слезы. Перечисленные выше общества сменились в Касриловке новыми обществами, современными; обществами, которые занимаются вопросами искусства, культуры, языка. Перечислить их все невозможно. Мы беремся только походя дать обозрение тех обществ, которых в современной Касриловке по два. Так, в области языка есть общество идишистов * и общество гебраистов *, постоянно враждующие друг с другом и даже знать не желающие одно о другом. Или же возьмем музыкальное общество — оно тоже раскололось на два: одно называется «Флейта», второе — «Труба». Оба музыкальных общества на ножах между собой. Есть еще в Касриловке два модернизированных хедера, между которыми кипит ненависть, и два театра, которые с удовольствием подожгли бы один другой в тихую ночь, не бойся они бога и царя.

Дальше идут два издательства, готовые сожрать друг друга вместе с галошами, потом два литературных общества, два драматических, два — помощи эмигрантам и еще много других обществ — каждых по два. А причиной всему — эта злосчастная конкуренция — старая касриловская напасть. Ничего не поделаешь, уж так повелось у касриловцев с давних времен: если один из них отрежет себе нос, то можете быть уверены, что на следующий день двое будут ходить без носов. В чем тут смысл? Смысл ясен: *если кому-то было выгодно отрезать себе нос, то и мне не вредно.*

II

Газеты

Поскольку в современной Касриловке всего по два, то еврейских газет там тоже две: «Ермолка» * и «Котелок» *.

Само собой разумеется, «Ермолка» — это старомодная клерикальная газета, рассчитанная на людей с консервативными взглядами, а «Котелок» — это прогрессивная радикальная газета, рассчитанная на передовые элементы. Уже по одним эпиграфам можно судить о направлении каждой из конкурирующих газет. Так, «Ермолка» проставила на видном месте крупными буквами: *«Перед богом и людьми!»* А редактор «Котелка» поставил на видном месте и такими же крупными буквами свое собственное имя с весьма скромной подписью под ним: *«Я здесь — всё здесь!»*

Когда возникли эти два органа печати, кто из них старше — трудно сказать, ибо каждый называет себя не только *первым,* но и *единственным* органом печати в Касриловке. Конкурент игнорируется полностью, как будто он и не существует, даже упоминание его имени запретно, как свинина.

Лишь в случае крайней нужды, когда возникает настоятельная необходимость в том, чтобы выругать,

ошельмовать друг друга, когда иначе уж никак нельзя, «Ермолка» называет своего соседа «Обшарпанным котелком», а «Котелок» обзывает свою соседку «Гнилой ягодкой». А в большинстве случаев газеты выражаются иносказательно, каждая из них избегает, насколько это возможно, прямо называть конкурента. «Котелок», например, заговорив как-то о «Ермолке», но не желая упоминать ее названия, присвоил ей зато целый ряд других названий, расположив их в алфавитном порядке таким образом: «Эта бездельница, гнилушка, горькая редька, доносчица, дура, зануда, мелкая сошка, нахалка, нищая духом, побирушка, почесуха, провокаторша, пустомеля, разиня, сволочь, святоша, собака, сукина дочь, тупица, это убожество, эта чернильная крыса, имени которой нам и упоминать не хочется...»

Выступление «Котелка» имело в Касриловке огромный успех; газету мигом расхватали. Касриловцы носились с этим списком, заучивали его наизусть. «Ермолке», естественно, стало обидно, и она не преминула на следующий же день выступить с ответом «Котелку», и тоже в алфавитном порядке.

«Мы прочитали «Азбуку» этого бесстыдника, борова, босяка, вероотступника, вора, вруна, вурдалака, выкреста, выскочки, гультяя, дьявольского отродья, жулика, злодея, наглеца, негодяя, нечестивого пса, паршивца, вот этого подонка, этого пролазы, этого скандалиста, но отвечать ему мы не станем, дабы не замарать свое перо...»

Такого рода литература больше всего нравится касриловскому читателю. Это у него называется «критикой», и когда редакторы обеих газет критикуют один другого, он в восторге. В тот день, когда в газетах нет «критики», дела их нельзя назвать блестящими. Поэтому оба редактора усердствуют в перемывании косточек друг у друга, стараются отличиться по части «критики», — пусть публика пальчики облизывает.

III

Конкуренция

С приближением Нового года обе газеты оживляются, начинают трубить вовсю, выступают, как это водится во всем мире, с крикливыми широковещательными проспектами. «Ермолка», не скупясь, расписывает свои виды на будущее, а перечисляя достижения прошлого года, она и не думает злословить о своем конкуренте, упаси бог, злословие запрещено священным писанием, но просто так, походя, она напоминает читателю, что в то время как «Обшарпанный котелок» еще находился в пеленках, а ее редактор ходил без сапог, «Ермолка» и тогда, с божьей помощью, была ермолкой. «Котелок» не менее скромно заявляет в своем проспекте, что в то время, когда «Гнилая ягодка» еще валялась на свалке во дворе синагоги, «Котелок» уже успел развернуться во всем великолепии над горизонтом Касриловки, не будь его, Касриловка до нынешнего дня была бы погружена в летаргический сон мрачного фанатизма.

Трудно установить, на которую из двух газет больше спрос. «Ермолка» клянется господом богом, доказывает с пеной у рта, что ни одна еврейская газета в мире не может похвастать таким количеством читателей. Кто не верит, пусть потрудится зайти в редакцию, и там ему кое-что покажут.

То же самое, однако, пишет о себе и «Котелок», он из кожи лезет вон, он предлагает премию в десять тысяч тому, кто докажет черным по белому, что найдется на свете еще хоть одна газета, которую можно по количеству читателей сравнить с «Котелком». «Мы не собираемся восхвалять свою газету, — весьма скромно, как это ему свойственно, заявляет «Котелок». — Хвастовство мы презираем. Хвастовство — это плохой признак, признак убожества. Мы только предлагаем читателю: *пусть он сам сравнит газету с газетой и сопоставит редактора с редактором...»*

Ожесточенная конкуренция, а также творческая зависть, которая, как известно, является залогом

совершенства, заставляет касриловские газеты всячески изощряться, каждая из них старается пораньше появиться на свет, позаимствовать из русских газет побольше новостей и тому подобное. Редакции наступают одна другой на пятки, следят за тем, какую похлебку готовит соперница: стоит одной из них что-нибудь задумать, вторая уже знает об этом со всеми подробностями. Для наглядности я вам расскажу несколько историй, которые стали мне известны во время моего пребывания в Касриловке.

У «Ермолки» было издавна заведено: каждую пятницу выпускать листок под названием «Доброй субботы». Несмотря на свои радикальные взгляды и на уверения, будто он возник намного раньше «Ермолки», «Котелку» все же пришлось последовать ее примеру и начать издавать листок тоже под названием «Доброй субботы». Конкуренция, ничего не поделаешь! Как-то раз «Котелок», которому надоело гоняться за «Ермолкой», выступил в пятницу с разъяснением: поскольку многие читатели не находят интереса в субботнем листке, а редактор только и стремится к тому, чтобы читатель был доволен, то, начиная с нынешнего дня, «Котелок» прекращает выпуск «Доброй субботы». И каково же было его удивление, когда, развернув номер «Ермолки», он увидел там точно такое же объявление, почти слово в слово: «Так как многие наши читатели... поэтому, начиная с нынешнего дня, «Ермолка» прекращает выпуск «Доброй субботы».

Тогда «Котелок» решил: ладно, раз «Ермолка» такая обезьяна, посмотрим... И шутки ради, ну просто так, для интереса, «Котелок» вышел с тремя заполненными страницами, четвертая же была чистенькой — хоть тесто на ней раскатывай. Но и тут «Ермолка» не осталась в долгу. Она тоже вышла с тремя заполненными страницами, а четвертая была чистенькой — хоть тесто на ней раскатывай. Это задело «Котелок» за живое, и он прежде всего решил очистить редакцию от людей, «которые выносят сор из избы». Но все напрасно. «Котелок» убедился, что нет такой тайны, которая не сделалась бы достоянием «Ермолки».

IV

Анкеты

Касриловские редакторы не очень-то заносятся перед своими читателями, не корчат из себя важных особ. Наоборот, невидимая нить постоянно связывает редактора с читателем. В Касриловке редактор то и дело советуется с читателем, он очень рад получить от того письмецо и часто приглашает читателя высказать свое мнение по тому или иному вопросу в специально выпускаемых для этой цели анкетах. Историю одной такой анкеты я вам сейчас изложу словами касриловского литератора, который повел меня далеко-далеко за город, чтобы рассказать эту историю. Когда мы с ним остались наедине, он прежде всего рассмеялся, а потом, вдоволь посмеявшись, приступил к рассказу.

— Знаете, когда нашим газетам приходится особенно туго? Летом. Разве лишь по божьей милости холера появится. В то лето, о котором я вам рассказываю, холера не появлялась, хоть бейся головой об стенку! Как же быть? И тут «Котелок» осенило (я тогда как раз работал в «Котелке»), и он ни с того ни с сего выступил с таким объявлением: «Ввиду того, что некоторые наши читатели недовольны заголовком нашей газеты, говорят, что буква «л» в «Котелке» длинновата и смахивает на аиста, другие же, наоборот, считают, что длинное «л» куда красивей короткого, то редакция решила вынести этот вопрос на суд большинства: если большинство читателей выскажется за новый заголовок, они его получат, хотя это и связано с расходами для редакции. Кто желает принять участие в данной анкете, пусть обратится с письмом в редакцию «Котелка».

Наш редактор был очень доволен своей затеей. «Теперь, — говорил он, — этим овцам жвачки хватит надолго». И что же? Приходим на следующий день в редакцию, видим — редактор кипит, как самовар. Мы, мол, его убиваем, выдаем секреты редакции. И он показывает нам «Ермолку», в которой напеча-

тано такое же объявление, как в «Котелке»: «Поскольку не все читатели нашей газеты довольны ее заголовком, некоторые находят, что буква «л» в «Ермолке» несколько коротковата, смахивает на плывущую утку, а другие, наоборот, считают, что короткое «л» куда красивей длинного, редакция выносит этот вопрос на суд большинства. Если большая часть читателей выскажется против старого заголовка, то во сколько бы это нам ни обошлось, мы его заменим. Редактор просит читателей «Ермолки» потрудиться и прислать анкету по почте».

Это было смертельным ударом для «Котелка». И все же он продолжал изо дня в день печатать объявление о заголовке. То же и «Ермолка». Что ни день — объявление о заголовке. Это продолжалось чуть ли не все лето. Заголовок да заголовок, голову заморочили этими заголовками! Наконец «Котелок» выступил с доброй вестью: «Сообщаем нашим читателям, что заголовок газеты остается прежний, так как из 20 000 наших читателей только 187 высказались против старого заголовка, а остальные 19 813 — за...» Вы думаете это все?

В тот же день с таким же точно заявлением выступила и «Ермолка»: «Ввиду того, что из наших 20 000 читателей только 187 были против старого заголовка, а остальные 19 813 высказались за него, мы оставляем старый заголовок...» Откуда «Ермолка» могла узнать? Здесь ведь никого нет, только я, да вы, да бог в небесах. Нечистая сила вмешалась, говорю я вам, колдовство — и все тут! Но вы же хотите знать, чем дело кончилось. Конец был весьма печальный. Наш редактор заперся у себя в кабинете и, что бы вы думали, заплакал с досады. Откуда я знаю? Раз говорю, значит — знаю. Наплакавшись, редактор разогнал всех сотрудников, меня он тоже выгнал, и набрал новых. Недавно он и их разогнал и взял обратно старых. До меня еще не дошло. Но будем надеяться, дойдет! Он совсем свихнулся, этот «Котелок», что правда, то правда, но он дает иногда кое-что заработать. У «Ермолки» и того нет. «Ермолка» намного хуже!..

V

Сенсации и романы

Как и вся мировая пресса, касриловские газеты держатся на необыкновенных происшествиях, на сенсациях. Разница только в чувстве меры. Касриловка не знает меры, и все по причине конкуренции. Если «Котелок», например, сообщает, что во Франции женщина родила ребенка с двумя головами, то на следующий день вы прочтете в «Ермолке» ту же новость, только с прибавлением щепотки перца: во Франции, мол, женщина родила ребенка с тремя головами, ребенок жив и сосет всеми тремя ртами... Или вот «Котелок» изловчился сообщить новость, что в Одессе выпал в июле месяце глубокий снег, совсем как зимой, так на следующий день «Ермолка» сообщила ту же новость, подкрепив ее такими подробностями: в Одессе, мол, выпал в июле месяце снег толщиной в три сажени, обнаружено двадцать с лишним окоченевших трупов.

Но интереснее всего была история с рыбой. Как-то в пятницу «Ермолка» сообщила, что одна женщина, читательница «Ермолки», конечно, купила на субботу щуку в несколько фунтов весом. Принесла она рыбу домой и почистила ее, вскрыла и обнаружила у той в утробе колечко и пару сережек чистого золота. Находку оценивают в большую сумму. Желающие могут увидеть колечко и сережки в редакции «Ермолки».

От этого сообщения у «Котелка» стало горько на душе, и весь субботний день он ходил как потерянный. С трудом дождавшись воскресенья, он сообщил своим читателям, что одна женщина, читательница «Котелка», купила на субботу линя фунтов этак на десять. Притащив рыбу домой, она почистила ее, вскрыла и извлекла из внутренностей целый клад: полдюжины столовых ложек, дюжину чайных ложек, три позолоченных рюмочки, две подставки и два сере-

бряных подсвечника — всё восемьдесят четвертой пробы. Желающие посмотреть пусть приходят в редакцию «Котелка».

Особой сенсационностью отличаются в касриловской прессе романы. В бытность мою в Касриловке там печатался в обеих газетах очень интересный, чрезвычайно увлекательный роман. В «Котелке» он назывался *«Запретный поцелуй похищенной невесты»*, в «Ермолке» же он назывался *«Похищенный поцелуй запретной невесты»*.

Как мне сообщил, по секрету конечно, вышеуказанный касриловский литератор, этот роман был заимствован из всеми забытой русской книги двумя литераторами, которые взялись растянуть его до бесконечности. Для того чтобы публика не потеряла к нему интереса, авторы, что ни день, придумывали новые сенсации: то убьют среди бела дня героя, живого и здорового, и тут же воскресят его; то недолго думая доставят прямо с того света несколько героинь, лишь бы это было на руку авторам, а то и вовсе начнут все сначала — и ничего с ними не поделаешь. А публика пальчики облизывает и с нетерпением ждет продолжения. Едва наступит утро, читатели набрасываются на «Запретную невесту», хотят знать, чем это все-таки кончится.

Кончиться этому давно пора. Да и авторам уже надоело тянуть жилы из читателей. Они уже успели избавиться от всех своих героев: кого повесили, кого отравили, кого расстреляли. Но редакторы требуют продолжения — все из-за той же злосчастной конкуренции: никто из них не хочет кончить раньше другого. За то время, что я гостил в Касриловке, некоторые герои романа в *третий* раз подвергались расстрелу, а «запретную невесту» дважды похитили, соблазнили, мучили, потом, после долгих поисков, ее нашли, снова похитили и жестоко истязали. Нет конца мучительству этих сочинителей! И о чем они думают?

VI

Рекламы

Конечно, если бы касриловские газеты опирались только на читателей, им нельзя было бы позавидовать. Главное в газетах — это четвертая страница, из-за нее-то и вся сутолока, четвертая страница с рекламами и анонсами, на которых, как известно, держится пресса всего мира.

По части рекламы и анонсов Касриловка, можно сказать, пошла по американскому пути, а во многом и опередила Америку. Реклама сильно вошла в моду в Касриловке. Вы не найдете там ни одного купца, лавочника, ремесленника, ни одной кухарки или горничной, которые не дали бы объявления в обеих касриловских газетах!.. Хотите вы или не хотите — объявление вы должны дать. Выдали замуж дочь — дайте объявление. Мальчик у вас родился — дайте объявление; девочка — тоже объявление. Попробуйте-ка, изловчитесь и не дайте объявления, пропала тогда ваша головушка! Вам, конечно, ничего не сделают, упаси бог! Вас только пропечатают в газетах, да так, что вы будете умолять: «Деточки, вот вам реклама, две рекламы, три рекламы — только замолчите...»

Об этой приверженности касриловских газет к рекламе рассказывают в Касриловке много любопытных историй. Передаем лишь некоторые из них:

1. ИСТОРИЯ С ТОРГОВЦЕМ

Бакалейщику Нохуму надоело давать объявления в газетах. И вот однажды утром он встал, заглянул в газету и схватился за голову. На первой же странице было напечатано крупным шрифтом:

«Минувшей ночью на крупнейший в нашем городе магазин бакалеи напали мыши и уничтожили весь товар. Нажравшись, мыши свалились в кучу замертво...»

Бакалейщик Нохум, конечно, рвал и метал, грозился подать на газету в суд, но кончилось дело тем, что в обеих газетах каждый день теперь на четвертой странице крупным шрифтом печатается объявление:

«Хорошую свежую бакалею всевозможных сортов можно купить только у бакалейщика Нохума».

Век живи — век учись!

2. ИСТОРИЯ С БОЧКОЙ ВИНА

Шинкарь Идл поссорился и с «Котелком» и с «Ермолкой». Он решил: будь что будет, больше он свой шинок в газетах рекламировать не станет, с этим покончено. Но тут же Идлу пришлось убедиться в опрометчивости своего решения. На следующий день обе касриловские газеты преподнесли своим читателям известие о неприятности, приключившейся с одним местным шинкарем. У него стояла бочка вина. Вино прокисло и стало бродить. Бочка взорвалась, и при этом чуть не погиб хозяин.

Прочитав эту новость, Идл немедленно дал в обеих газетах объявление следующего содержания:

«Кто хочет выпить стаканчик хорошего вина, пусть вспомнит, что есть на свете человек, который содержит винный погреб, и звать его Идл».

Не плюй в колодец — случится напиться!

3. ИСТОРИЯ С ФЕНОМЕНОМ

У одних молодоженов родился мальчик. Как водится, родители устроили торжество по случаю обрезания, все честь честью, только об одном они забыли — дать об этом знаменательном событии объявление в «Котелке» и «Ермолке». На другой день в обеих касриловских газетах появилась заметка под названием «Феномен». В этой заметке рассказывалось о замечательном происшествии, которое может случиться разве лишь один раз в тысячелетие, а именно: «Одна молодая женщина на пятом месяце замужества благополучно разрешилась от бремени, родила мальчика. Мальчик-феномен жив-здоров, вчера состоялось обрезание...»

Каково было молодой чете, нетрудно себе представить. Отец «феномена» как очумелый бегал по

Касриловке, доказывая всем и каждому, что после его свадьбы прошло ровно девять месяцев и девять дней. Но это был глас вопиющего в пустыне. Люди слушали его, с трудом подавляя смех. Молодой отец угрожал газетам судом, но так как в заметке имя его не было проставлено — все пропало, придраться не к чему. И город продолжал смеяться над «феноменом». Такие истории по нутру касриловскому читателю. Грустных историй касриловский читатель не любит, ему веселые подавай!

VII

Политика

Не надо думать, что касриловская пресса окончательно погрязла в том, что в Америке называется «бизнес», и вовсе не уделяет внимания политике. Какая же это пресса без политики? Чего стоили бы касриловские газеты, если бы они не интересовались общественными делами? Когда приходит время, не только редакторы газет, но и читатели оказываются вовлеченными в политическую борьбу. Партии объявляют одна другой войну, партии сражаются. И тогда держись! Брат восстает на брата. Слова «совесть» не существует. Чувство жалости отмирает. Светопреставление, да и только! И это повторяется регулярно каждые три года, во время выборов казенного раввина.

В Касриловке сколько кандидатов, столько и партий. Два кандидата — две партии. Один кандидат опирается на «Ермолку» и ее партию, приверженцев которой называют в Касриловке ермолкистами, второго кандидата поддерживает «Котелок» и его партия, приверженцы которой называются котелкистами. И тот и другой кандидаты в свое время уже правили в Касриловке, но только три года. Больше трех лет никому из них не удалось продержаться. Само собой разумеется, что каждый из этих кандидатов придерживается своих собственных принципов. Кандидат ермолкистов, например, в первое время после своего

избрания раньше всех приходит по субботам в синагогу, дома сидит все время в ермолке (как же, ведь он пламенный ермолкист!) и имеет обыкновение торговаться. Сколько бы вы ему ни дали — все мало. Кандидат котелкистов, напротив, в синагогу вовсе не ходит, разве лишь по большим праздникам, дома сидит с непокрытой головой, иногда даже, как поговаривают в Касриловке, и колбаской лакомится *. «Наплевать» — вот его принцип. Этот не торгуется, упаси бог, не то что кандидат ермолкистов. У этого твердая такса, и умри вы у него на глазах — наплевать, не его печаль.

Мое посещение Касриловки как раз совпало с подготовкой к «элекшон», как это называют в Америке. Это было накануне выборов. Горячая пора! И, боже мой, что вытворяли тогда касриловские газеты! Все, что в них писалось, невозможно передать.

Ограничимся лишь образцом того, как редакторы обеих газет в свойственной им манере объяснились друг с другом в одно прекрасное утро:

«Сколько грязи, сколько пота скопилось под ортодоксальной ермолкой! Сколько горя и обид, какой тяжкий гнет мы претерпели благодаря этой исторической ермолке. День, в который мы окончательно избавимся от ермолки, можно будет назвать днем освобождения. День, в который мы окончательно освободимся от ермолки, можно будет уподобить исходу из Египта. Долой ермолку! Да здравствует котелок! Долой ермолкистов! Да здравствуют котелкисты! Урра!»

На это «Ермолка» ответила «Котелку» весьма кратко следующими словами:

«Обшарпанный котелок» снова обрел дар речи! И чего только эти котелкисты пристают со своим кандидатом? Разве они не знают, что Касриловка — еврейский город, который не выберет в казенные раввины кандидата, жрущего поросят, да еще жаренных на масле, да еще в дни покаяния, до молитвы, без шапки, немытыми руками».

Чем кончилась эта борьба, не знаю. Я уехал.

VIII

История о семи сватах

Газета обязана приспосабливаться к своим читателям, учитывать их потребности. Первым это уяснил редактор «Ермолки» и завел в своей газете раздел под заголовком *«Глас жениха и глас невесты»*. Об учреждении этого своеобразного брачного бюро было сообщено в таком виде:

«Поскольку город Касриловка все расширяется и все больше подрастает в нем молодежи, то не разорваться же сватам... Вот мы и придумали, что надо сделать, чтобы касриловские жители, которые заботятся о судьбе своих детей, могли бы сами, не прибегая к помощи сватов, обеспечить своих сыновей невестами и дочерей — женихами. Какое же это средство? Очень простое. Каждый отец, у которого дитя созрело для брачных уз, пусть не постесняется и даст объявление в «Ермолке» — есть, мол, у него такой-то и такой-то парень или же такая-то и такая-то девушка, приданого он дает столько-то, а желает он того-то и того-то. Объявления мы будем печатать бесплатно, мы это делаем только во имя бога и на пользу обществу».

Для «Котелка» объявление в «Ермолке» было настоящей бомбой. Как, соперник опередил его, и в таком деле! Вначале «Котелок» собрался было выступить с пламенной статьей против «Ермолки», поднять гвалт: до чего, мол, низко пала касриловская пресса, куда скатилась наша литература — «Гнилая ягодка» стала свахой на старости лет, и еще тому подобные сильные слова собирался он сказать. Но, поразмыслив, редактор «Котелка» выступил на следующий день в своей газете с таким сообщением:

«Жизнь движется вперед. Прогресс берет свое. Прошли те времена, когда родители-фанатики заставляли детей вступать в брак не с теми, кто им по душе. Прошли те времена, когда какой-нибудь сват, темный человек, приходил и преподносил жениху и

невесте свое «поздравляю». Нет, в наш просвещенный век молодежь поумнела. Она уже сама умеет устраивать свои дела. Святое чувство священной любви крошит железо и долбит камень. Сердца встречаются, души соединяются. Для такой цели мы широко раскрываем двери нашей газеты. В разделе *«От юноши к девушке и от девушки к юноше»* каждый — будь то молодой человек или девица, вдовец или вдовица — сможет высказать свое желание. «Котелок» всегда готов служить всем, ибо девиз нашей газеты — это *благосостояние народа,* а девиз нового раздела нашей газеты — *свобода и любовь...»*

Тотчас же в редакции обеих касриловских газет посыпались брачные объявления. В «Ермолке» под заголовком «Глас жениха и глас невесты» выступали родители женихов и невест, а в «Котелке» под заголовком «От юноши к девушке и от девушки к юноше» выступали сами женихи и невесты. В Касриловке царило оживление: оно и понятно, писать можно что угодно, а платить ничего не надо.

Если бы в Касриловке выходила только одна газета, а сватов и вовсе не стало, было бы, возможно, и неплохо. Как же, однако, поступить в таких случаях, когда брак начинает наклевываться благодаря одной газете, но в дело вмешивается вторая, а тут и сват бочком втирается? Вот тогда и поднимается шум, хоть беги из Касриловки! Незадолго до моего отъезда случилась история, которая заслуживает быть описанной не столько из-за нее самой, сколько из-за морали, отсюда вытекающей. За правдивость этой истории ручается тот, кто рассказал мне ее. А рассказал ее тот самый молодой литератор, который под строжайшим секретом поведал мне историю анкеты о заголовках.

— Если вам когда-нибудь вздумается описать происшествие, о котором я вам рассказываю, дайте ему название «История о семи сватах». — Молодой литератор, закрыв рот обеими руками, залился смехом. Я ему не мешал. Если он смеется, то надо надеяться, что рассказ его и в самом деле будет смешным. Я ему дал посмеяться, и, только вдоволь натешившись, он

приступил к истории, которую мы здесь передаем его словами.

— Вам уже достаточно известно, что наши благодетели, как консервативная «Ермолка», так и передовой «Котелок», ничего не делают для личного блага, упаси бог, они всё о других пекутся, об обществе. Почитать то, что они пишут, можно действительно подумать, что их принцип — это «мое — твое и твое — твое», ну, а если я вам, допустим, скажу, что оба наших редактора — сваты, самые обыкновенные сваты, вы ведь не поверите, не так ли? Но что будет, если я вам докажу это черным по белому?

С этими словами мой собеседник извлек из кармана целый ворох «Ермолки» и «Котелка», и начал читать:

«Глас жениха и глас невесты»

«Достопочтенный господин редактор!

Ввиду того и поскольку я являюсь постоянным читателем вашей достопочтенной «Ермолки», я нахожу, что «Глас жениха и глас невесты» — это очень хорошо. Поэтому прошу вас напечатать, что я уважаемый человек в Касриловке, вполне состоятельный хозяин, и хорошего происхождения, и есть у меня единственная дочь, которую я хвалить не стану, ибо сказано: «Пусть хвалит тебя чужой, а не твои уста». Я лишь вкратце перечислю ее достоинства: 1) девушка, 2) хороша собой, 3) необыкновенная умница, 4) большая искусница, 5) страшно образованна, 6) играет на рояле, 7) десять тысяч приданого, 8) одета как принцесса, 9) говорит по-французски, 10) танцует тоже. У кого есть сын с белым билетом, избавившийся от призыва и имеющий права *, пусть обратится в «Ермолку» на имя М. Б. М.».

Это номер один. А вот вам в тот же день в той же «Ермолке» еще одно объявление:

«Уважаемый господин редактор! По причине того, что я являюсь постоянным читателем вашей уважаемой «Ермолки», я нахожу, что вы очень хорошо поступили, придумав такую замечательную вещь, как

«Глас жениха и глас невесты». В доказательство того, как это хорошо, сообщаю вам: сам я здешний, касриловский, и мои родители, и прапрародители — все были касриловцами. Я, благодарение богу, человек с именем, богат и знатен, и в родство я вступаю тоже только со знатными семьями. Теперь мне надо женить сына, обладающего большими достоинствами. И сказанное: «Пусть хвалит тебя чужой, а не твои уста», я толкую таким образом: «Пусть хвалит тебя чужой — пусть тебя хвалит ближний; если же этого ближнего нет, пусть уста твои хвалят тебя сами». Вот достоинства моего сына: 1) холостяк, 2) из хорошей семьи, 3) единственный сын, 4) имеет белый билет, 5) образованный, 6) обладает хорошим почерком, 7) играет на скрипке, 8) говорит по-древнееврейски, 9) набожен, 10) приданое тоже. У кого есть дочь-красавица, пусть отзовется в «Ермолке», в «Гласе жениха и гласе невесты» на имя Н. Б. Н.».

Хороши анонсики, а? И должно же случиться, что в тот же день в «Котелке» под заголовком «От юноши к девушке и от девушки к юноше» были тоже напечатаны, поверите ли, два объявления, одно — парня, другое — девушки, не родителей. Вот что пишет о себе парень:

«Уважаемый господин редактор! Как постоянный читатель вашего уважаемого «Котелка» имею честь сообщить, что я красивый парень, высокого роста, двадцати трех лет от роду и хотя у меня белый билет, я здоровехонек, не хуже бы и в дальнейшем. Я окончил шесть классов и имею права провизора. Ищу девушку-красавицу с добрыми несколькими тысячами приданого и хорошим характером. Если она играет на рояле, то это вовсе неплохо, и если родители у нее почтенные люди, это тем более не может служить помехой. Кто меня хочет, пусть обратится в «Котелок» на имя «Бравого парня».

Так пишет парень. Теперь посмотрим, что пишет о себе в «Котелке» девушка. А пишет она следующее:

«Уважаемый господин редактор! Как постоянная читательница вашего уважаемого «Котелка» сооб-

щаю, что я девушка двадцати одного года, среднего роста, волосы черные, лицо белое, с ямочками на щеках, и с очень хорошим характером. Вся Касриловка считает меня красавицей. Когда я появляюсь в обществе, кавалеров лихоманка трясет. Но на кой они мне сдались? Я ищу парня с хорошим характером, не моложе двадцати двух лет, настоящего мужчину, который может прокормить жену. Если у него есть приданое, то это нисколько не помешает. Во всяком случае, он найдет во мне верную жену. Обращаться в «Котелок» к «Знаменитой красавице».

Как подсказывает здравый смысл, М. Б. М., отец девушки, которая хороша собой, ищущий жениха с белым билетом, должен был немедленно обратиться через «Ермолку» к отцу единственного сына с белым билетом, знатного происхождения, который играет на скрипке, говорит по-древнееврейски и так далее. Тут, казалось бы, по миске ложка. Но что делает бог? Отцу девушки, постоянному читателю «Ермолки», вздумалось заглянуть также и в «Котелок», поинтересоваться брачными делами на четвертой странице. Вчитавшись в напечатанные там объявления, он смекнул: зачем ему этот единственый сын знатного рода, который красиво пишет, и по-древнееврейски говорит, и на скрипке играет? Ему как нельзя лучше подходит «Бравый парень» из «Котелка», обладающий белым билетом и правами провизора. Правда, он читатель «Котелка»... Ну и что же? Где это сказано, что все должны читать одну только «Ермолку»? Наоборот, сказано «дай и ближнему своему жить». Отец послал за сватом. «Так, мол, и так, — сказал он ему, — постарайтесь узнать адрес «Бравого парня» из «Котелка» и приведите этого парня ко мне. Я познакомлю его с моей дочерью, и если богу будет угодно, то вскоре состоится помолвка, и все останется верным и неизменным».

Теперь мы оставим отца девушки, которая хороша собой, и займемся отцом единственного сына, знатного рода, с белым билетом, который играет на скрипке, говорит по-древнееврейски и так далее. Прочитав в «Гласе жениха и гласе невесты» в «Ермолке»

о девушке с такими достоинствами, которая хороша собой и к тому же с десятью тысячами приданого, он подумал, что это весьма подходящая партия для его сына. За чем же дело стало? Да вот эти десять тысяч приданого для него словно кость в горле. Нас, мол, не проведешь... Если касриловский богач обещает десять тысяч, дай бог получить с него три. Лучше с собакой иметь дело, чем с этаким богачом! Вот сегодня в «Котелке» напечатано объявление девушки двадцати одного года, красавицы, которая ищет себе жениха с хорошим характером. А разве можно найти человека с лучшим характером, чем у его сына?

Вот так подумал Н. Б. Н. из «Ермолки» и послал за сватом, под строжайшим секретом поручив ему пощупать в «Котелке», кто такая эта красавица с хорошим характером. И пусть сват предложит красавице его единственного сына с белым билетом, который играет на скрипке, говорит по-древнееврейски и так далее. И если, бог даст, дело выгорит, то будет ладно... В добрый час, аминь!

Теперь перейдем к парню из «Котелка», окончившему шесть классов и имеющему права провизора. Казалось бы, и малое дитя поймет, что этому парню как раз под стать красавица из «Котелка», из-за которой всех кавалеров лихоманка трясет. Так нет же... Стоило ему только заглянуть в «Ермолку» и прочитать в «Гласе жениха и гласе невесты» объявление знатного отца, который ищет для своей единственной дочери, обладающей десятью достоинствами, жениха с белым билетом и с правами, и к тому же десятью тысячами, у парня будто крылья выросли: у кого же, как не у него, настоящий белый билет и самые настоящие права? Не медля ни минуты, он договорился с одним знакомым, а тот был не прочь кое-что заработать, и отправил его прямо к отцу девушки, которая хороша собой, предложив ему парня с белым билетом и правами. Отец девушки обрадовался и говорит: «Как же быть? Ведь я только что отправил свата к парню с белым билетом и с правами!» — «Ну и что же? — говорит посланец парня. —

Пусть будет два свата. Только бы удача...» Тогда отец говорит: «Из ваших бы уст да богу в уши!» А посланец в ответ: «Аминь!»

Теперь остается одна только красавица из «Котелка», и все партии у нас как на ладони. Когда красавица прочитала объявление парня с белым билетом и правами, она подумала, что этот жених, может быть, был бы и не плох, если бы не один недостаток: он хочет невесту с приданым, да еще в добрых несколько тысяч — тысячу чирьев ему! Наши котелкисты, простите за выражение, и прогрессивны, и либеральны, и тому подобное, но когда дело доходит до денег, они готовы полезть к черту на рога. За деньги они родного отца продадут. В этом отношении ермолкисты, пожалуй, порядочнее. Вот сообщает в «Ермолке» один богач, что у него есть сын со всеми достоинствами, который ищет красавицу, а насчет приданого он даже не вспоминает. Ну, так стоит ли после этого провизор с правами мизинца богача? Есть и у его сына недостаточек: он набожен и говорит по-древнееврейски. Серьезным препятствием, однако, такой недостаток не может служить. Набожность — дело личное, а что касается древнееврейского — это преходящая болезнь. Пусть они только поженятся, и он перестанет говорить по-древнееврейски, у нее-то он заговорит по-человечески!

Так решила красавица и попросила своего собственного дядю, разорившегося хозяина, чтобы он сходил к богачу, который ищет красавицу без приданого, и показал ему ее портрет, того сразу кондрашка и хватит. Так оно и было. Стоило только богачу посмотреть на портрет красавицы, как он воскликнул: «Вот это и есть та самая, которую я прочу своему сыну! Сегодня только я послал свата к этой красавице!» А дядя красавицы, разорившийся хозяин, говорит: «Велика беда! Как-нибудь поделимся! В обиде никто не останется!» А богач говорит: «Из ваших бы уст да богу в уши!» — «Аминь!» — отвечает дядя красавицы.

Вы, наверно, думаете, что это все сваты. Ошибаетесь. Вы забываете, что в Касриловке бедняков

не занимать стать. Стоит, к примеру, на улице человек, делать ему нечего, вот он и прочитывает обе касриловские газеты от точки до точки, ни слова не пропускает. Прочитав брачные объявления, он подпрыгивает от радости: ведь это ему ниспослано от бога! Красавица из «Котелка» прямо-таки создана для единственного сына богача из «Ермолки», ищущего красавицу без приданого, а девушка из «Ермолки», которая и хороша собой, и страшно образованна, и на рояле играет, и за которой десять тысяч приданого дают, как нельзя лучше подходит «Бравому парню» из «Котелка», окончившему шесть классов. Девушка ведь ищет жениха с правами, а у того все права...

Недолго думая — не то как бы кто-нибудь другой не додумался — наш комбинатор в течение одного часа побывал у всех четверых: у обоих отцов из «Ермолки», и у парня, и у девушки из «Котелка». Но, увы, всюду его ждал один ответ: «Поздновато, дяденька, расчухались, только что был здесь сват и говорил то же самое, что и вы». — «А что мне до того, был здесь сват или не было здесь свата? Дело я говорю или не дело? Если дело пустое, вы мне только скажите, могу его и расстроить. На это я мастер...» Услышав такие слова, у всех четверых душа ушла в пятки. Они поняли, что напоролись на наглеца, на низкого человека и просили не расстраивать брака, а если дело клюнет, то при расплате со сватами и ему кое-что перепадет.

Бог милостив, клюнуло. Обе помолвки состоялись в один вечер, и со всех сторон на торжество повалили сваты: два свата со стороны жениха, два свата со стороны невесты, потом тот человек, который грозился расстроить дело, — вот вам уже пять сватов. Ну, а «Ермолка» и «Котелок»? Хотя никто их не звал, оба редактора явились расфранченные, как если бы они были самыми близкими родственниками. Ну что ж, пришли — очень приятно. Их приняли весьма радушно, водку поставили, честь честью угостили каждого в отдельности и коврижкой и вареньем. Редакторы поблагодарили и дали понять хозяевам, что

не за тем, собственно, они пришли. «За чем же?» — «За платой». — «За какой такой платой?» — «За этой самой...» Они, конечно, ничего не требуют, но надо понимать... Ведь если бы не их газеты, ничего бы и не было. Они, конечно, ничего не требуют, но надо понимать... Так твердили редакторы, и родителей новобрачных, возможно, им удалось бы убедить. Родителям и горя мало. Больше того, что полагается, они все равно платить не станут... Но тут объединились все сваты и подняли отчаянный крик: «Какое отношение имеют редакторы к сватовству? И где это слыхано, чтобы всего в двух помолвках приняли участие семь сватов, по три с половиной свата на каждую?»

Больше всех шумел тот человек, который грозился расстроить дело. Он посулил редакторам «заехать каждому всей пятерней прямо в циферблат». И он бы не замедлил выполнить свое обещание, он уже и рукава засучил, если бы не родители новобрачных, которые вмешались в дело и не допустили до драки. Таким образом, наши редакторы вышли, с божьей помощью, сухими из воды, без оплеух».

Тут молодой литератор снова закрыл лицо руками и беззвучно рассмеялся, подергиваясь всем телом. Насмеявшись вволю, он спросил меня, когда я смогу уделить ему немного времени. Ему хотелось бы до того, как я уеду из Касриловки, меня проинтервьюировать. Я попросил его зайти на следующий день.

IX

Интервьюеры

На следующий день смешливый молодой человек, рассказывавший мне о семи сватах, явился с таким огромным портфелем, что меня оторопь взяла.

— Я буду вас интервьюировать. — Он достал из нагрудного кармана длинную записную книжку и, не давая мне слова вставить, стал рассказывать всякую

всячину. — Где будет напечатано мое интервью, — начал он, — я и сам не знаю. Возможно, в «Котелке», а возможно, и в «Ермолке». Шансы одинаковые. Скорее бы, конечно, должен был принять меня на службу «Котелок». Газета все-таки прогрессивная. Хотя и то сказать, вся ее прогрессивность выражается в насмешках над еврейскими обычаями и обрядами. Она, например, не признает постов. Каждый год, когда приближается время поста, тишебов, скажем, или же день всепрощения, «Котелок» выступает со статьей доктора. Автор статьи такой же доктор, как вы, к примеру, губернатор. Пишет ее, конечно, он сам, редактор, собственной персоной, а подписывается «Доктор Малинус Варениус». Доктор Малинус Варениус распространяется в своей статье насчет вредности постов и самоистязаний, приводит выдержки из священных и светских книг, которых никто и в глаза не видел, ссылается на крупных ученых, которых и на свете нет, как, например, доктор Перецус, профессор Чеснокус, Фридрих фон Лукус, Чарльз Хренус, Филипп Мустардус, Эдуард Оладьюс, Луиджи Клецкус и тому подобные имена, взятые с потолка. Мало ему таких авторитетов, он еще и статистику пускает в ход, подсчитывает, сколько людей вымирает ежегодно от истощения из-за постов. Выходит, что по одной только этой причине в Касриловке людей вымирает в три раза больше, чем рождается. Под конец редактор подводит итог, доказывает математически точно, как дважды два четыре, что если евреи и впредь будут соблюдать все посты, ровно через одиннадцать лет и три месяца в Касриловке не останется ни одного еврея.

Добро бы только о постах, так нет же. Тут и языческий обряд «капорес» * и дикость «ташлиха»... * Чего только этот тип не вытворяет... Рассказывает он, например, старинную историю, историческое событие, которое случилось, видите ли, у нас в Касриловке. Однажды, когда евреи шли к «ташлиху», вдруг появилась карета, запряженная цугом. В карете сидела графская дочка со своим адъютантом. Увидев столько евреев разом, лошади всполошились и опро-

кинули карету вместе с графской дочкой и ее адъютантом. А граф был хозяином города. Вся Касриловка принадлежала ему одному, вот он и наказал весь город плетьми и наложил такое взыскание, что в течение ста лет евреи никак не могли откупиться.

Почему «Котелок» на меня зол, вы, наверно, сами догадываетесь. Это тянется еще со времени истории с заголовками, которую я вам рассказывал. Хотя бог свидетель, что моей вины здесь не больше, чем вашей. Но ничего не поделаешь. «Котелок» считает, что я выдал «Ермолке» секрет редакции. А если так, то, казалось бы, «Ермолка» должна быть со мной заодно, не правда ли? Но и туда я, видите ли, носа не могу показать. Почему? Вот послушайте. Это любопытная история.

Тут мой интервьюер отвернулся к стене, закрыл обеими руками лицо и беззвучно рассмеялся. Потом, вволю насмеявшись, он стал рассказывать «любопытную историю».

— Случилось это давно, еще до «заголовков». Я тогда был правой рукой редактора «Котелка», чуть ли не секретарем редакции. Мне были открыты все секреты, ничего тайного для меня не существовало. «Ермолка» тоже имела секретаря, который приходился шурином самому редактору, а мне он приходился добрым приятелем, верным другом. *Я* знал все, что делалось *у них, он* знал все, что делалось *у нас*. Мы ничего один от другого не скрывали, тайком показывали друг другу телеграммы и секретные письма, а в экстренных случаях звонили по телефону.

В один прекрасный день случилась история. Сижу это я в редакции совершенно один, время далеко за полночь, вот я и прикорнул на кушетке. Вдруг зазвонил телефон, раз, и еще раз, и еще раз. Мне так сладко дремлется, я уже совсем засыпаю, а телефон все так же настойчиво: тер-тер-тер-тер! «Звони, звони, думаю, хоть бы тебя разорвало, я не тронусь с места». Но тот не сдается, трр, трр, трр, трр! Ничего не поделаешь. Пришлось встряхнуться и взять трубку. «Кто там трезвонит?» Оказывается, это мой приятель из «Ермолки». «Чем ты так занят, — спрашивает

он, — спишь, что ли?» — «Упаси бог, говорю, как это сплю?» — «А что же ты делаешь?» — «Работаю». — «Над чем ты работаешь? Есть какие-нибудь новости?» — «Еще какие!» — «А именно?» — «А именно, говорю, погром!» — «Погром? Где?» — «Где, спрашиваешь? Попробуй-ка догадайся сам, где может быть погром!» — «В Кишиневе, наверно?» — «Такой бы мне удачи в нынешнем году, какой ты у меня умница!» — говорю. «Настоящий погром?» — «Еще бы не настоящий!» — «Есть убитые?» — «Двести человеческих жертв», — говорю. «Изнасилованных женщин?» — «Тридцать пять». — «Детей, разорванных на части?» — «Не счесть!» — отвечаю. На этом разговор оборвался. Мой приятель торопился сдать в набор телеграмму из Кишинева. Что творилось на следующий день, когда «Ермолка» выступила с трехэтажным заголовком: «Новый погром в Кишиневе (от нашего специального корреспондента)», рассказывать излишне. Мой редактор чуть с ума не сошел, не от самой новости о погроме, упаси бог, а оттого, что эта жирная новость попала в «Ермолку», а не в его «Котелок». Целый день он всех нас пилил, донимал упреками, пока не выяснилось, что история с погромом — чистая выдумка, чушь. Тут уж редактору «Ермолки» пришло время взвыть. Он стал докапываться, откуда взялась эта нелепая телеграмма. Несмотря на то, что секретарь «Ермолки» приходился редактору шурином, он чуть не вылетел из редакции, отведав и оплеух. Долго ли, коротко ли, а пришлось сознаться бедняге, где он выудил новость о погроме. Вот тогда-то редактор «Ермолки» и заявил, что если я только покажусь близ его редакции, мне живым не остаться.

При этих словах раздался стук в дверь. На мое «войдите» на пороге возник субъект, молодой, с красным веснушчатым лицом, и тоже с огромным портфелем. Мой смешливый гость уставился на него широко открытыми глазами, как будто увидел пришельца с того света. Он вскочил с места, схватил свой портфель и, наскоро попрощавшись со мной, скрылся. Оставшись с новым посетителем, я пригласил его

сесть. Поблагодарив, он достал из портфеля лист бумаги, извлек из нагрудного кармана самопишущее перо и уселся, готовый действовать.

— Простите, — заговорил он. — Я узнал, что вы здесь, и мне захотелось вас проинтервьюировать. Но что делал у вас этот мусорщик?

— Какой мусорщик?

— Вон тот с портфелем, который схватил шапку и удрал как от огня. Много он вам сказок порассказал? Пусть в воде потонет все, что он тут наговорил, боже праведный, пусть это минет, ко мне не пристанет.

— А что такое? Он разве...

— Лгун, вы хотите сказать? Ха-ха-ха! Лгун лгуну рознь! Все, что произносят его уста, — клевета и ложь. Я как-то сказал про него и в фельетоне написал. Есть, сказал я, два рода лгунов. Одни лгуны, сказал я, называют черное белым и сладкое горьким. А этот лгун, сказал я, говорит о черном, что оно кислое, а о сладком, что оно синее, ха-ха-ха! Недурно, а? Еще одно «достоинство» у него; если он надумает произнести острое словцо, то прежде всего смеется сам, а потом только говорит глупость. Я однажды сказал про него и в фельетоне написал, что есть три сорта умников: один умник острит и сам же смеется, второй острит — смеется ближний, а третий так, говорю, острит, что никто не смеется. Ха-ха-ха, что вы на это скажете? Погодите, еще не все. Он к тому же и глух. Глух, как глухая стена. Я однажды сказал, что завидую ему: он не слышит, что про него говорят. Ха-ха-ха! И взбредет же такому в голову называть себя литератором. С таким же успехом я могу назвать себя троюродным братом английской королевы. Ха-ха-ха! Пусть вас не удивляет, что я так весел. Это в характере моего таланта. Мы с вами одного поля ягоды. Я тоже юморист, понимаете ли. В моих писаниях все сплошь сатира и сатира. Как-то я написал на одну молодую чету сатиру, так мне пришлось ее сжечь, прямо-таки взять рукопись и сжечь. Почему, спросите? Да уж такой у нас город. В Касриловке невозможно что-либо утаить. Вот я по секрету прочитал свою сатиру

нескольким знакомым, заклиная их, чтобы ни одна живая душа о ней не узнала, а они недолго думая растрезвонили по всему городу, и молодожены меня чуть со свету не сжили. Женщина грозилась, что она руки на себя наложит, а муж ее клялся именем господа бога, что он всадит мне нож прямо в сердце. Как вам нравится этот бандит! Вот и связывайся с такими людишками, пиши на них сатиры! Знаете что, я вам расскажу еще более любопытную историю...

Снова послышался стук в дверь, и на мое «войдите» появился новый посетитель. Как только он переступил порог, юморист вскочил, схватил свой портфель и бумагу, наскоро попрощался со мной и, пообещав зайти попозже, исчез. На его месте очутился молодой человек, высокий и худой, с редкой бородкой и большими трагическими глазами за стеклами очков в серебряной оправе — какой-то современный Дон-Кихот. Войдя в комнату, тоже с огромным портфелем под мышкой, он начал оглядываться по сторонам. Я пригласил его сесть, но он все продолжал оглядываться, будто потеряв что-то.

— Что вы ищете?

— Ничего не ищу. Я только интересуюсь, что делал здесь этот тип.

— Какой тип?

— Вот тот, который только что от вас ушел. Я смотрю, не стащил ли он у вас что-нибудь.

— Как, разве он...

— Вор из воров! И неразборчивый: часы так часы, ложка так ложка. Он и двух строк не написал, которые были бы его собственными. Все это знают. Недавно я написал поэму. Я, по милости божьей, поэт и пишу стихи, поэзию я пишу. Мое имя указано вот на этой карточке. Я услышал, что вы здесь, и пришел вас интервьюировать, может быть, вы нам сообщите что-нибудь новое, но, простите, я начал рассказывать вам о моей поэме, так уж доскажу до конца. Понимаете ли, я написал поэму, замечательную вещь, если хотите, я вам ее оставлю, прочитайте или же давайте я сам прочитаю вам от начала до конца, и вы увидите, что это такое. Вы тогда сами скажете, что

поэту нужно быть крепче железа, чтобы оставаться в таком городе, как Касриловка, пусть она сгорит! Представьте себе, прихожу я в редакцию «Ермолки» и прошу прочитать мою поэму, только прочитать. И что же мне отвечают? Поэзия, мол, их не интересует. Тогда я отправляюсь в редакцию «Котелка». Как будто бы радикальный орган, передовая газета, не правда ли? А они говорят: «Нет места». Тогда я говорю: «Но прочитать вы ведь можете». А они говорят: «Времени нет». Таковы они все: то места нет, то времени нет. Вот и пишите после этого поэмы! Вы, наверно, спросите, кто мне, собственно, велит писать. Но что мне делать когда пишется? Нет такого дня, чтобы я не писал. Неделя — и у меня готова поэма, а иногда и две. Но я начал вам рассказывать о том бездельнике, так уж доскажу до конца. Я прочитал свою поэму нескольким приятелям, и они пальчики облизывали, давно, говорят, им не доводилось читать такое совершенство. Ну, чего же лучше? Так должно же было взбрести на ум этому бездельнику тоже написать поэму с таким же содержанием, даже название присвоил, в общем, списал все, слово в слово, и стал носиться с поэмой по городу, читать ее встречному и поперечному, выдавая за свою. Ну и что же, прикажете молчать? Я, конечно, поднял крик: пусть, мол, люди нас рассудят. А он и знать не хочет никаких судей. Но я разыскал несколько приятелей, и они таки призвали его к ответу. Привели, значит, этого ворюгу, а люди-то сидят всё сплошь литераторы, писатели, выслушали они нас обоих, а также и свидетелей с обеих сторон, потом сверили поэмы, и оказалось, что у него в самом деле все слово в слово, как у меня. Вы, наверно, думаете, что его бог знает к чему присудили? Значит, вы понятия не имеете о наших касриловских литераторах. Они нашли, то есть по их разумению выходит, что обе поэмы будто написаны в той же манере, в какой писал Пушкин. Пушкин, видите ли, тоже, говорят они, обработал эту же самую тему, и намного раньше, поэтому... Куда же вы? А что будет с нашим интервью?

«Приглашаем вас посетить сегодня большой касриловский ресторан Алтера Паугача (бывший Янкл Квочка), где состоится вечер в честь крупного писателя и драматурга Копла бен Цви Нодлмана, выступающего под псевдонимом К. Б. Ц., в связи с двадцатипятилетием его литературной деятельности».

Под этим приглашением, которое я получил по почте, была подпись: «Комитет».

Едва дождавшись вечера, я переоделся, взял извозчика и велел ехать в большой касриловский ресторан *Алтера Паугача (бывший Янкл Квочка)*.

Так уж заведено во всем мире, что если герой какой-нибудь истории подходит к дому, то прежде всего следует описать, как выглядит этот дом и снаружи и внутри. Но именно потому, что так принято, я делаю наоборот и приступаю прямо к рассказу.

Я, очевидно, немного поторопился, зал был еще почти пуст. Только «лакеи» в потертых фраках и бумажных, не первой свежести манишках вертелись там и, гремя ножами и вилками, накрывали длинный стол. Весь дом был пропитан запахом рубленой селедки с луком, а крик малютки, доносившийся из боковушки, возвещал миру о появлении нового крошечного существа. Кто такая счастливая мать — сама ли хозяйка дома, дочь ли ее, невестка или и вовсе чужая, квартирантка какая-нибудь — этого я не знаю. Одно было ясно, ребенок кричал изо всех сил, прямо надрывался от крика. В таком случае хорошо приложить к животику кусок ваты, смоченной в спирте, или же тряпку, смоченную в водке и посыпанную перцем; помогает также «перегарок» за два гроша из аптеки. А можно и просто покормить ребенка грудью. Это, пожалуй, самое верное средство.

Кроме «лакеев» во фраках, накрывавших на стол, в комнате находилось еще несколько человек, о которых я, судя по их длинным волосам и по очкам, с уверенностью мог сказать, что они литераторы, так же, как и я, пришедшие на юбилейный вечер. Одно

только мне показалось странным — явная отчужденность между ними: они даже избегали смотреть друг на друга, не то что словцом перекинуться. Засунув руки в карманы, каждый из них с независимым видом расхаживал по комнате или, насвистывая, смотрел в окно, как будто был здесь один. Постепенно начали еще и еще приходить люди и среди них мой добрый знакомый, мой смешливый интервьюер. Шепотом, склонившись к самому моему уху, он поведал мне секрет, что все собравшиеся — сплошь коллеги и не только коллеги, многие из них годами работают в одной газете.

— Почему же они не разговаривают между собой, если это коллеги?

— Именно потому, что коллеги, они между собой и не разговаривают. Видите вон того, с черными кудрями? Это поэт, он пишет стихи, очень редко прозу. Он ни с кем не разговаривает, даже с собственной женой, где уж там. Он считает себя выше всех на свете, даже к самому себе не может снизойти. Пушкин в сравнении с ним мальчишка, Лермонтов — щенок. Когда кому-то пришло в голову сравнить его с Гейне, он вознегодовал: «Кто такой, собственно, Гейне? Шут! Рифмоплет!» Про этого поэта говорят, что он не ходит в баню. Однажды он пошел в баню, увидел себя голым и воспылал гневом: как это — такой большой поэт и вдруг голый!

Тут мой приятель обеими руками закрыл лицо и рассмеялся своим беззвучным смехом. Вволю насмеявшись, он снова стал меня развлекать:

— А вон того видите, в куцом пиджачке и в синих очках? Это драматург. Он печет драмы вроде как пекут бублики. Сколько недель в году, столько у него драм. И что, вы думаете, это ему дает? Горе одно! Жена его каждый год рожает, и он этим недоволен. «Мыслимо ли, каждый год ребенок!» А жена ему говорит: «Знаешь что? Давай поменяемся. Ты рожай детей, а драмы писать буду я».

Мой приятель снова закрыл лицо руками и беззвучно засмеялся. Всласть насмеявшись, он продолжал своим тихим голосом, способным усыпить любого.

— А вон того, с больными глазами, видите? Это романист. Романы пишет. День и ночь сидит и пишет романы. Не удивительно, что у него испортились глаза. Зачем он пишет романы, никому не известно. Раз в жизни только ему удалось напечатать в «Ермолке» одну какую-то историю. С тех пор он только и делает, что пишет романы. Никто их не печатает. Никто не читает. Но это его не касается — он знай себе пишет. К счастью, бог наградил его женой, которая содержит писчебумажную лавочку, вот он и поддерживает ее торговлю.

Мой приятель вдруг умолк и вытянулся, как солдат перед офицером. В зал вошли двое. Один высокий, в котелке, второй — плотный коротышка с изрядным брюшком. Прошли они в дверь оба разом, но, видимо недовольные друг другом, смотрели в разные стороны. Длинный снял свой котелок, кивнул собравшимся и стал искать глазами место, где бы ему сесть. Коротышка с брюшком снял с головы картуз, надел вместо него шелковую ермолочку и тоже стал искать место, где бы ему сесть. Тем временем мой смешливый приятель успел шепнуть мне на ухо, что это они и есть касриловские редакторы, «Котелок» и «Ермолка».

— Надо бы вам с ними познакомиться, но теперь это невозможно.

— Почему? — спрашиваю.

— Потому что если вы с одним из них познакомитесь раньше, чем с другим, тот, другой, вам никогда этого не простит.

— Что же делать?

— Ничего. Предположим, что вы покойник.

— Спасибо на добром слове.

— Не за что.

Публика все прибывала. Когда начался вечер, зал был битком набит.

Сам юбиляр, человек в летах, с бледным голодным лицом, но зато в новом праздничном кафтане, все время скромно сидел в сторонке, так что его не слышно и не видно было. А когда пришло время и

его усадили на почетном месте, он выглядел как вдовец на своей второй помолвке.

Кафтан на юбиляре, повторяю и настаиваю на этом, был новый и праздничный. Но беда в том, что сидел он на нем как чужой.

И точно эти слова были у меня на лбу написаны, приятель шепнул мне на ухо:

— Кафтан не его. Взят взаймы. Он большой бедняк. И юбилей мы ему устроили единственно из жалости.

— Как это из жалости?

— Так. Человек промаялся всю жизнь. Денег его писания доставляли ему очень мало, славы — еще меньше. Так пусть хоть на старости лет будет ему утеха, юбилей, так сказать...

— Господа! Прошу всех занять места! — обратился к собравшимся председатель комитета, рыжий молодой человек в золотых очках с не по летам мощной глоткой.

С большим проворством и ловкостью он указал каждому его место. Юбиляра он взял под руку и усадил во главе стола, а справа и слева от него весьма искусно в одно и то же время посадил обоих редакторов «Котелка» и «Ермолки», которые тут же повернулись друг к другу, извините, задней частью, словно двое рассорившихся шаферов на свадьбе.

— Господа! — начал свое вступительное слово председатель. — Мы здесь собрались сегодня для чествования старейшего и самого крупного нашего писателя...

— Самого крупного? — вскрикнул поэт с черными кудрями. — Старейшего — это куда ни шло, но самого крупного? Какой там «крупный»?

— Немалое преувеличение, — поддержал его драматург в синих очках.

— Не преувеличение, а наглость, — отозвался романист с больными глазами, а чернокудрый поэт подхватил во весь голос:

— Большое нахальство! Нахальство и идиотизм!

— Сами вы идиот! — не стерпел председатель.

И поэт с черными кудрями задрожал от гнева. Мои

глаза обратились на злосчастного юбиляра в кафтане с чужого плеча. Бледное лицо его еще больше побледнело, глаза умоляли: «Люди, пощадите! Не омрачайте моего торжества!» Но было слишком поздно. Шутка ли, самого прославленного поэта, по сравнению с которым Пушкин — мальчишка, Лермонтов — щенок, а Гейне — не более чем шут и рифмоплет, такого поэта назвали идиотом... Если на то пошло, так вот же вам!..

— Теперь самое время смыться, — шепнул мне на ухо мой приятель, и мы «смылись»...

Эпилог

На следующее утро я узнал от того же приятеля, что мы поступили весьма осмотрительно, своевременно «смывшись».

XI

История с похоронами

Однажды утром, когда я просматривал касриловские газеты, мне бросилось в глаза напечатанное в каждой из них на первой странице сообщение в жирной черной рамке.

> Прошлой ночью наш город постигло большое несчастье. В возрасте пятидесяти двух лет скончался известный писатель Авром-Ицхок Вайнгортн (псевдоним АБИВН). Вынос тела сегодня в 12 часов. Все писатели и литераторы приглашаются в новую синагогу на панихиду. Там же будет установлен порядок похорон, а также решен вопрос об обепечении бедной вдовы и несчастных сирот.

Придется, видно, одеться и пойти в новую синагогу. «Новой» эту синагогу назвали не потому, что она поражает новизной, а потому, что старая синагога еще более стара и скособочена. Я убежден, что не

сегодня-завтра она рухнет, и тогда катастрофы не миновать. Будь я постоянным касриловским жителем, а не гостем, который высоко сидит, далеко глядит, я посоветовал бы развалить старую синагогу. А впрочем, поскольку синагогу разваливать не полагается, я бы лучше посоветовал поставить новые стены, покрыть ее новой крышей — и делу конец. Но для этого, к сожалению, нужны деньги, а денег нет как нет — старая касриловская беда! Все есть в современной Касриловке, кроме одного — денег! Если бы Касриловке при ее уме и просвещенности еще и звонкие — те-те-те!

Во-первых, там тогда не было бы столько бедняков, а это одно, я думаю, было бы уже для города большим благом, ибо, как мне кажется, пусть уж лучше один будет богатым, чем пятьдесят — бедными. Это раз. Во-вторых, неоткуда было бы взяться там стольким праздношатающимся, бездельникам, тунеядцам, жалким червям, которые только и знают, что умирать с голоду и околевать от холода. *Ах, голод и холод!* Скоро ли наконец наступит время, когда эти две напасти перестанут мучить бедное человечество и наших несчастных касриловских братьев в частности!

Погруженный в такие альтруистические мысли о бедном человечестве и о несчастных касриловских евреях, я пришел на собрание, посвященное памяти писателя Авром-Ицхока Вайнгортна, с некоторым опозданием. Синагога была набита до отказа, а на возвышении стоял человек, писатель, конечно, и ораторствовал.

Речь его была очень хорошей, трогательной до слез. Оратор рассказал, каким человеком был покойный и как он жил, вернее, как умирал, потому что он, собственно, никогда и не жил по-настоящему.

— Господа! Пятьдесят два года подряд человек умирал, — сказал в заключение оратор. — Все пятьдесят два года своей жизни наш покойный товарищ провел в аду, а мечтал он о райском блаженстве, которое честно заслужил, хотя никогда его не вкушал. Я убежден, что покойный попадет прямо в рай. Поэтому мы должны почтить его память, как прили-

чествует почитать мужа, идущего прямо в рай. Поэтому мы должны увековечить его имя, как приличествует увековечивать мужа, идущего прямо в рай. Поэтому мы должны обеспечить его бедную вдову и несчастных сирот, которые остались одни как бы среди бушующих волн, как приличествует мужу, идущему прямо в рай.

Речь эта, видно, очень понравилась публике, долго не стихали аплодисменты. Вспотевший оратор спустился с возвышения, и на его место встал другой оратор, который в несколько иных выражениях повторил почти все то, что говорил первый, только значительно хуже, и тем испортил впечатление, произведенное его предшественником. Однако и второму оратору аплодировали довольно охотно. Тогда на возвышение поднялся третий оратор, который в несколько иных выражениях повторил почти все, что говорил второй, только намного хуже, и тем испортил впечатление, произведенное вторым оратором. Однако и третьему оратору аплодировали, хотя и не так бурно, как первым двум.

Когда третий оратор кончил, его заменил четвертый и повторил почти все то, что говорил третий, и так далее. А публика аплодировала, правда, не очень сильно, но все же аплодировала. Наконец приступили к обсуждению вопроса *о помощи бедной вдове и несчастным сиротам.* И тут развернулись горячие прения. Один очень хороший оратор предложил учредить фонд, то есть при посредстве газет собрать для вдовы деньги, чтобы она их вложила в какое-нибудь дело, которое дало бы ей средства к жизни. Проект публике понравился, и оратору аплодировали. Но тут поднялся другой, тоже хороший оратор, и сказал: нет, не так. Вдова ведь всего-навсего женщина, куда ей заниматься делом. Пройдет года два, и она проест деньги, что ж тогда? Нет, по его мнению, лучше на собранные деньги издать все произведения почившего сочинителя Авром-Ицхока Вайнгортна, выступавшего под псевдонимом АБИВН.

Второй проект пришелся публике по душе еще больше первого, и оратору долго аплодировали.

Однако третий оратор доказал, что и этот проект не годится. На касриловском литературном рынке книг и так предостаточно, грудами лежат, никто их не покупает.

Свою мысль оратор подкрепил убедительным доводом. «У нас, в Касриловке, — сказал он, — издавна заведено, что книги *не покупают, а берут почитать*. Покупки в Касриловке вообще не в ходу. Здесь один одалживает, другой берет взаймы».

Эта речь вызвала гром рукоплесканий. Только несколькими сильными ударами по столу председателю удалось положить им конец.

— Господа! Хватит дискутировать об обеспечении вдовы и сирот. Дебаты по этому вопросу объявляю закрытыми, — возвестил он своей здоровой глоткой. — Итак, со вдовой и сиротами мы покончили. Теперь перейдем к самому покойнику: *каким образом нам увековечить память нашего умершего товарища!* Кто хочет высказаться, прошу записаться.

Записались почти все присутствующие. Первый, которому было предоставлено слово, встал, откашлялся и произнес хотя и несколько длинную, но все же отличную речь о печальной доле писателей вообще и еврейских писателей в частности. Он рассказал о том, как тяжело и горько приходится касриловскому писателю. И если при жизни он не удостаивался ни денег, ни славы, то следует по крайней мере после смерти почтить его достойным образом. Поэтому лучше всего из собранных для вдовы пожертвований выделить некоторую долю на сооружение памятника, который следует поставить во дворе синагоги. Под бюстом покойного, высеченным из мрамора или отлитым из бронзы, должно быть начертано золотыми буквами: *«Незабвенному Авром-Ицхоку Вайнгортну, писавшему под псевдонимом АБИВН, от его благодарных друзей»*.

Затея с памятником пришлась публике по вкусу, и оратору долго-долго аплодировали. Одному только человеку этот проект не понравился, сильно не понравился — поэту с черными кудрями. Поднявшись на возвышение, он начал метать громы и молнии в

первого оратора и разнес его, испепелил, разбил в пух и прах.

— Во-первых, — сказал он, — где Касриловка возьмет столько денег? Все деньги да деньги! Вдове деньги, сиротам деньги, на памятник деньги! Это раз. Во-вторых, с каких это пор у евреев завелись памятники? Были у нас люди покрупнее, а все же монументов им не ставили. Много ли монументов вы знаете в истории евреев? Это два. А в-третьих, кто вам даст ни с того ни с сего поставить в Касриловке статую? Вам такую статую покажут, что у вас в глазах потемнеет!

Тут вскочил один из молодых, с веснушчатым лицом, в стареньком пиджаке.

— Наш поэт прав, — заявил он. — Могу даже сказать в точности, почему наш поэт против монумента (сильно растягивая слова), потому что уж если монумент, так достоин его только он. Первый в Касриловке монумент должен быть воздвигнут ему и никому другому!..

И пошло... Чернокудрый поэт посинел от злости и закричал:

— Наглец! Негодяй! Побирушка! Потертый пиджак!

С поднятыми кулаками бросился он к молодому писателю с веснушчатым лицом, одетому в старенький пиджак, но, к счастью, председателю удалось удержать его и не допустить скандала.

— Уважаемое собрание! — обратился он к публике. — Поскольку время уже позднее, а похороны назначены на двенадцать, я бы предложил дискуссию о монументе или о чем-нибудь другом для увековечения памяти нашего товарища отложить, а сейчас давайте займемся вопросом о похоронном шествии. Кто пойдет провожать покойника? *Кто будет среди первых, которые понесут носилки?* Кто будет впереди, а кто сзади и так далее. Желающие принять участие в похоронном шествии пусть запишутся.

Тут поднялся невообразимый шум. Все бросились записываться. Каждому хотелось быть среди первых, кто понесет носилки. Каждому хотелось быть впереди

и никому не хотелось оставаться сзади. Напрасно председатель призывал к порядку, напрасно стучал по столу, напрасно угрожал, если публика не успокоится, закрыть собрание. Шум все нарастал. Тут и там вспыхивали споры, сыпалась ругань. Атмосфера сгущалась с каждой минутой. Кто-то потянул меня за рукав. Я обернулся и увидел своего приятеля, имевшего обыкновение смеяться про себя. Он смотрел на меня серьезными, слегка испуганными глазами.

— Теперь самое время встать и ускользнуть отсюда, — прошептал он мне на ухо.

Я его послушал: встал и ускользнул. Насколько я понимаю, в этом действии таился глубокий смысл...

Эпилог

Старинный обычай предавать земле покойника, не откладывая этого ни на завтра, ни на послезавтра, сохранился до наших дней также в просвещенной Касриловке. Поэтому, когда служки из погребального братства увидели, что друзья умершего, собравшиеся в синагоге, шумят и шумят, никак не могут прийти к согласию, а покойник все лежит и лежит, они взяли его, отвезли на новое кладбище и чин чином похоронили. Сироты читали «Кадеш» *, вдова несколько раз теряла сознание, все как полагается и... конец.

XII
Идишисты и гебраисты

Когда в Касриловке повеял новый ветерок, публика ушла далеко вперед по части просвещенности и ни в чем не хотела уступать большим городам, — там решили учредить компанию, вернее говоря, общество под названием «Газомир» *, потому что нет такого уважающего себя города, в котором не было бы общества под таким названием. Касриловцам пришлось по душе не столько само общество, сколько его название. Красивое слово «газомир», взято из «Песни песней». Тут

же составили план и выработали устав со всеми необходимыми параграфами. Осталось только созвать собрание, а это ведь легче легкого. Достаточно дать объявление в обеих касриловских газетах: «Сегодня вечером, ровно в восемь часов там-то и там-то состоится собрание, вас просят прийти».

И будьте уверенны, придут. На собрание «Газомира» явились не только отцы города, не только сливки общества, но вся касриловская интеллигенция полностью, во главе с редакторами обеих газет.

Пришли, конечно, не все сразу и не в указанное время. Каждый пришел тогда, когда ему было удобно: кто в восемь часов, кто в девять, кто в десять, а кто и в одиннадцать. Разные бывают причины и обстоятельства, которые мешают вам прийти вовремя на собрание, как бы вы этого ни хотели. Если вы содержите какую-нибудь лавку, то непременно вечером, перед самым закрытием, пойдет бойкая торговля. Или же вы приходите домой и не застаете жену, а дети требуют ужина, и у вас нет выглаженной рубашки. Или же у вас порвался ботинок и из него выглядывает большой палец. Или же у вас разболелся зуб, и вы от боли на стенку лезете. Кто в силах перечислить все беды, которые поджидают человека как раз в тот момент, когда он спешит на собрание?

И все-таки пришли все, никто, упаси бог, не отсутствовал. Собрание началось, правда, поздновато, но все же началось. И открыл его не кто иной, как Нойах, наш старый знакомый, тот самый Нойах, сын реб Иосла, с которым мы встречались в «Маленьких людях»... единственный в то время касриловский корреспондент, один из ревнителей Сиона, основатель многих старых и новых обществ.

Хотя Нойах уже не молод и в бороде у него седых волос больше, чем черных, хотя он уже дедушка (ах, ах, как бежит время! Ведь мы знали Нойаха еще юношей, а потом молодоженом на харчах у тестя и тещи), Нойах остался таким, каким был, нисколько не изменился. Все тот же идеалист, честнейший человек, все та же юная душа, сама чистота и наивность. С ним можно сделать все, что угодно, он каждо-

му верит на слово. Нойах душой и телом предан Касриловке, ее братствам и обществам. Так же, как и в молодости, его меньше всего занимает собственная персона, жена, дети, а всё город, всё интересы общества. Один штрих к его биографии: Нойах торгует бутылками. Это весьма доходное дело. Нойаху, однако, не везет. Все люди, торгующие бутылками, наживают деньги, — Нойах теряет их. Ему и в семейной жизни не везет. С первой женой его развели ее родители, вторая жена сама с ним развелась. С третьей тоже недалеко уж было до развода. И все из-за общественных дел, из-за того, что он знает только одно — общества. Можно с уверенностью сказать, что эти общества поглотили все три приданых, которые принесли ему его жены, в общественные дела он всадил также наследство, полученное им от бездетного дяди (единственный бездетный человек в Касриловке). Короче говоря, Нойах относится к тем людям, которые живут не для себя, а для ближнего. Новые веяния в Касриловке, словно болезнь какая, завладели Нойахом, вскружили ему голову, опьянили его. Он ушел в них с головой, словно они сулили ему необыкновенную удачу, от которой зависела его жизнь. Раз городу угодно иметь у себя общество «Газомир», Нойах засучил рукава и, просидев ночь напролет, сам выработал устав общества со всеми необходимыми параграфами, сам назначил собрание, написал объявление и сам же взял на себя труд отнести его в ту и другую редакции (Нойах не гордец, и в лени его тоже никак нельзя заподозрить), а когда народ собрался, он открыл собрание и предложил избрать председателя. Нойах не гоняется за местом во главе стола, он вовсе не хочет председательствовать. Честолюбие ему чуждо. А ведь со времен сотворения мира известно, что «кто гоняется за почестями, от того бегут почести» без оглядки, и, наоборот, «кто бежит от почестей, того они догоняют», да еще упрашивают: «Дурень, чего ты бежишь? Вкуси хоть немного славы!» Поэтому не удивительно, что на долю Нойаха выпадает почестей больше, чем на долю кого-нибудь другого в Касриловке. Где только общественное дело, забота, сутолока,

где только требуется мальчик на побегушках, тут же вспоминают о Нойахе. И Нойах никому не перечит, работает за троих. Ему и в голову не приходит спросить, почему именно он должен все делать, а не другой. Он и сам убежден, что должен делать он, а не другой. По большей части Нойахом все довольны. А если подчас и недовольны, то ему дают это понять намеком, шуточкой, а то колкость отпустят, расскажут сплетню, как это водится в Касриловке, когда хотят довести человека до белого каления. Изредка приходится терпеть и прямые нападки. Нойаху мылят шею вовсю. Всегда найдутся в Касриловке такие людишки, для которых заслуги перед обществом и белые волосы в бороде ничего не значат. Но какое нам дело до грубиянов и нахалов? Вернемся к первому собранию «Газомира».

Предложение Нойаха об избрании председателя вызвало все же споры: охотников на председательское место было много, а выбрать как будто и некого. В Касриловке всегда так: когда дело какое, никого дома нет, все на Нойаха валят, когда же речь заходит об избрании на общественный пост или вообще о какой-нибудь почести, поднимается шум: «Кто поставил тебя? * За какие такие заслуги? Почему тебе такая честь, а не мне?» Завидуют, да и только! По большей части дело ограничивается колкостями, иногда оборачивается скандалом, а то и до оплеух доходит.

На этот раз до оплеух не дошло. Нашелся умный человек, которому пришла в голову блестящая мысль: «Зачем вам, братцы, спорить из-за того «кто поставил тебя?» Вот я сам поставил себя вашим председателем и как вам будет угодно!»

Кто этот умный человек? Да не кто иной, как известный поэт с черными кудрями, с которым мы не раз встречались в наших касриловских историях. Поэт, с солидностью настоящего председателя, уселся на почетном месте и стукнул рукой по столу.

— Товарищи!

Дальше этого председатель не пошел. Ему не дали договорить. Кто собственно? Да противники языка «идиш». Им, видите ли, ненавистен идиш, потому что

идиш это — жаргон, а жаргон это — «фу»! И они выступили с протестом:

— Иврит! По-древнееврейски давай!

Поэт с черными кудрями не робкого десятка, протестами его не испугаешь, все же в первый момент он немного растерялся. Потом погладил животик, оправил на себе пиджак и как ни в чем не бывало, только слегка повысив голос, повторил:

— Товарищи!

В зале поднялся еще больший шум: стук, свист, истошный крик:

— Иврит! Иврит! Иврит!

Касриловские гебраисты, очевидно, сговорились заранее устроить демонстрацию против идиш. И тут ничем нельзя было помочь. Поэта с позором согнали с председательского места. Его заменил молодой писатель с веснушчатым лицом, в стареньком пиджачке — и тоже по собственной инициативе, не дожидаясь, пока его почтут избранием в председатели. Стукнув в свою очередь рукой по столу, он начал по-древнееврейски:

— Работа́й! Не «рабойсай»[1], как у нас говорят, а именно «работа́й», как произносят в Палестине...

Голос у этого молодца в стареньком пиджаке весьма звонкий! Это «работа́й» прозвучало как удар в колокол. Но в чем же заковыка? Да в том, что дальше этого слова дело не пошло. Не дали договорить.

Тут уже касриловские идишисты устроили демонстрацию против древнееврейского. Тоже, видно, сговорились. Топанье ногами, вопли — настоящую обструкцию устроили. Стекла в окнах звенели от шума, стены дрожали: «Михнатаим![2] Идиш давай! Идиш! Идиш!»

Тут одного гебраиста осенило. Среди всеобщего шума он, словно бомбу, бросил слово: «Черновицы!» * Казалось бы, что дурного в слове «Черновицы»? Черновицы — это не что иное, как городок в Буковине,

---

[1] Господа *(древнееврейск.)*.
[2] Штаны *(древнееврейск.)*.

из-за которого дерутся два государства, они только и знают, что изгонять друг друга из Черновиц, сегодня Черновицы принадлежат одному государству, завтра — второму. Так вот же, для касриловских идишистов упоминание о Черновицах в тысячу раз, нет, не в тысячу, а в десять тысяч раз хуже самого последнего ругательства. Обвините их в позорнейшем проступке, смешайте с грязью — только не говорите им о Черновицах! Такова особенность касриловских идишистов. Но такая же странность свойственна и гебраистам. Если вам вздумается задеть за живое касриловского гебраиста, залезть ему в печенку, вы должны сказать ему не более, как одно слово: «Михнатаим» (то есть «михносаим» — штаны). Только предупреждаю: соблюдайте осторожность — гебраист может проломить вам череп... Удивительные люди это молодое касриловское поколение — несдержанные, заносчивые, с необыкновенными причудами, одним словом — «вспыльчивые натуры»!..

Услышав слово «Черновицы», один из идишистов, человек слабого здоровья, задыхающийся от кашля, но очень горячий, сняв с левой ноги ботинок, запустил им одному из гебраистов прямо в лицо и попал в то самое место, где начинается нос, с левой стороны. Счастье, что тот не носил очков, не то остаться бы ему без глаза. Гебраисты, естественно, не преминули заступиться за своего оскорбленного товарища и дружно набросились на слабого здоровьем, кашляющего идишиста; они так за него взялись, что если бы тут же не подоспели на помощь остальные идишисты, их товарища пришлось бы вынести ногами вперед. Инцидент с идишистским башмаком вызвал всеобщую войну, настоящее побоище, из которого обе враждующие стороны вышли изрядно потрепанными. Больше всех, однако, потерпел наш бескорыстный общественный деятель, гениальный учредитель компаний и обществ — Нойах. На него напали со спины, и ему сильно досталось. На примере Нойаха лишний раз оправдалось изречение: «Кто бежит от почестей, того они догоняют», следуют по пятам...

Эпилог

Такого секретаря, как Нойах, — поискать. По любому поводу у него ведется протокол. Все он записывает. Ничего не пропускает. Будущему историку, которому захочется узнать, что творилось в наше время в Касриловке, достаточно будет заглянуть в протоколы Нойаха, и он там обнаружит целый клад. Что касается вышеописанного собрания идишистов и гебраистов, то мы здесь ограничились только самыми важными событиями, как того требует историческая наука: «После кратких выступлений ораторов развернулись горячие, оживленные прения, которые из-за трений и разногласий между партиями не могли привести к общему согласию, и так как эти трения и разногласия возникли по вопросу о языке, и так как вопрос о языке никак не обойдешь, был найден единственно возможный выход — вместо одного учредили два «Газомира»: один для идишистов на еврейском языке и второй для гебраистов — на древнееврейском».

XIII

Лекторы и чтецы

В Касриловке любят литературу, искусство, музыку. Там и дня не бывает, чтобы не нашлось, где провести время, в особенности зимой. Вечера длинные, в карты не все играют (о картах поговорим особо), и всякому хочется послушать живое слово. Не в театр пойти, так на концерт, а то и просто на какой-нибудь вечер, на собрание, на чтение, на лекцию с дискуссией или же без дискуссии.

В Касриловке предпочитают лекции с дискуссиями, одна только лекция — неинтересно. Кто-то говорит, а вы вынуждены сидеть и смотреть ему в рот. Если же лекция с дискуссией, то вы и сами можете слово сказать, пусть не думают, что вы несмышленыш какой-нибудь. Так как собственных лекторов и

чтецов в Касриловке мало, а те, которые есть, особенным авторитетом среди своих не пользуются, этот товар чаще всего доставляют извне, — лекторов, чтецов и артистов касриловцы приглашают из других городов.

По этой части соперничество между двумя «Газомирами» принимает опасные для жизни размеры, общества беспрерывно подстегивают друг друга. Если идишисты, например, приглашают всемирно известного чтеца, гебраисты в свою очередь выписывают всемирно известного оратора. Иногда в один и тот же вечер в Касриловке два события: и чтец приезжает и оратор. И тогда хоть разорвись, трудно решить, куда раньше идти. Партийные распри здесь никакой роли не играют. Да и в самом деле, если вы, скажем, недовольны кантором, то не откажетесь же вы воздать должное господу богу? И потом жажда живого слова в Касриловке так велика, что касриловцы ухитряются всюду поспеть: немного послушают чтеца и побегут послушать оратора, и наоборот... Касриловец не любит что-либо пропускать. Жизнь коротка, и человек должен стараться вкусить от всего. В Касриловке аудитория обеспечена всякому: любой лектор или чтец может быть уверен в том, что зал будет битком набит и он почувствует себя в нем, как в бане. Касриловка ни в чем не отстает от моды, упаси бог, она зорко следит за тем, что делается в крупных городах. В крупных городах, например, существует обычай устраивать банкеты. То же и в Касриловке. Стоит только закончиться лекции с дискуссией — пусть это будет далеко за полночь, — виновника торжества, то есть лектора, хватают за фалды и тащат в городскую столовую, усаживают во главе стола и устраивают ему банкет.

Банкет для касриловцев, пожалуй, даже важнее самой лекции. Все дело, собственно, в банкете. По части устройства банкетов касриловским интеллигентам принадлежит первое место в мире: как только соберутся после лекции, так сразу прикончат селедку и поставят пиво. Стаканы наполняются, и тосты и здравицы в честь высокого гостя подчас затягиваются до

рассвета. В тостах повторяется и пережевывается только что закончившаяся дискуссия, и высокому гостю приходится заново все это выслушать и каждому в отдельности, по порядку, ответить на все вопросы. На банкете высокого гостя поднимают на ходули, превозносят до небес, ставят выше Соломона-мудрого и Шекспира, так что голова у него начинает кружиться и становится мутно на душе. А иногда, наоборот, на банкете вдруг принимаются разбирать лекцию, и лектору преподносится такая «критика» и такой талмудический «анализ», что от этого угощения у него темнеет в глазах и он не знает куда деваться. Случается, что устроители банкета вступают в спор между собой, затевают совершенно новую дискуссию, и тут, неожиданно для них самих, вспыхивает война, так что если высокому гостю удается выйти оттуда целым и невредимым, он вправе считать себя редким счастливцем, и ему остается только благодарить всевышнего. Не подумайте, что кто-нибудь его ударит или оскорбление нанесет. Нет, ничего такого с ним случиться не может. Но во время военных действий, развертывающихся между касриловскими идишистами и гебраистами, бывает, что и высокому гостю наносят увечье, то есть он ни за что ни про что попадает в такую грязь, которую и в десяти водах не смыть.

Для иллюстрации я вам расскажу историю, которая совсем недавно приключилась с одним ученым гебраистом, доктором философии, ни сном ни духом ни в чем неповинным. Из-за партийной распри в Касриловке, а также благодаря интригам касриловских газет он попал в ужасную переделку. На него возвели поклеп, приписали ему бог весть что, и пока ему удалось доказать, что это небылица, касриловская пресса усердно перемывала ему косточки, выворачивала душу наизнанку, смешивала с грязью. Он стал притчей во языцех, его имя покрыли позором.

А дело было вот как.

В один прекрасный день гебраисты пригласили из большого города знаменитого доктора философии на лекцию с дискуссией. Знаменитый доктор философии

приехал в Касриловку, прочитал свою лекцию, пережил дискуссию, благополучно перенес также банкет и отправился восвояси. Как будто все хорошо. Но тут обеим касриловским газетам вздумалось разобрать лекцию известного доктора философии и высказать свое мнение о ней. Мнения, разумеется, были резко противоположные. Поскольку орган гебраистов, «Ермолка», расхваливая гостя взахлеб, назвал его гениальным писателем и отметил, что по глубине мысли он равен Канту * и Спинозе *, а как оратора его можно поставить рядом с Бебелем * и Жоресом *, «Котелок», орган идишистов, дал ему уничтожающую оценку, обозвал бездельником, заикой, пустомелей, ханжой и тому подобными отменными словечками. Ханжой он прозвал лектора потому, что в своей лекции тот упрекал публику в недостаточном благочестии: касриловские юноши, мол, сидят в кинематографе с непокрытой головой, а девушки без всякого стеснения разгуливают по субботам с зонтиками в руках, с платочками да с перчаточками. Прозвище «ханжа» больше всего раздосадовало гебраистов, и они выступили в своей газете, в «Ермолке», с «критикой» идишистов, поставив вопрос, на который ответить весьма мудрено, а именно: «Как могут грубияны, банщики, чистильщики обуви, биндюжники, неучи, которым «а» от «б» не отличить, как могут они оценить такого крупного ученого, такого знаменитого доктора философии, такого гениального лектора?» Орган идишистов, прогрессивный «Котелок», конечно, в долгу не остался. Не позже чем на следующий день он ответил конкуренту тоже «критикой» и тоже в вопросительной форме. Вопрос этот касался непосредственно высокого гостя: «Как это человек позволяет себе, будь он крупнейшим ученым, знаменитейшим доктором философии и наигениальнейшим лектором, как это он позволяет себе выступать перед публикой с нравоучением — парни, мол, сидят в кинематографе с непокрытой головой, девушки, мол, носят по субботам зонтики, платочки, перчатки — в то время, как у него самого, у этого крупного ученого, знаменитого доктора философии и гениального лектора, есть

всего лишь две сестры, и одна из них выкрестка, а вторая воровка?»

Эта бомба, которую так неожиданно сбросил на противника идишистский «Котелок», в первый момент заставила гебраистов растеряться, а когда они немного опомнились, у них состоялось собрание под председательством редактора «Ермолки», где было решено телеграфно запросить лектора о его сестрах. Но нельзя же прямо спросить человека о таком деле. Если у него и в самом деле одна сестра выкрестка, а вторая — воровка, то такой вопрос хуже пощечины. Поэтому решили отправить ему телеграмму с оплаченным ответом следующего содержания: *«Как поживают ваши сестры?»* Миновал день, миновало два — ответа нет. Только на третий день пришла телеграмма, содержавшая всего два слова: *«Какие сестры?»* Тогда гебраисты отправили новую телеграмму с оплаченным ответом: *«Ваши две сестры».* Опять миновал день, миновало два и, наконец, пришел ответ: *«У меня нет сестер».* Гебраисты на этом не успокоились и отправили третью телеграмму: *«Неужели ваши сестры умерли?»* Вскоре пришел ответ, в котором уже чувствовалось некоторое раздражение: *«Чего вы от меня хотите? У меня никогда не было сестер. Я единственный ребенок у родителей».*

Этот ответ произвел на гебраистов освежающее действие, словно засушливым летом проливной дождь. У них камень с души свалился. Прежде всего «Ермолка» опубликовала телеграммы с соответствующими комментариями — пусть весь мир знает, на что способны идишисты. Кроме того, номера газет, в которых печаталась история о сестрах, были срочно отправлены лектору. Тогда тот, человек горячий, который в обиду себя не даст, бросил все дела, примчался в Касриловку и предъявил иск «Котелку» с его идишистами вкупе. Он представил суду много свидетелей, он во что бы то ни стало хотел упрятать всю честну́ю компанию в кутузку за клевету и оскорбление личности. Чтобы доказать, что у него нет никаких сестер, ни выкрестки, ни воровки, что сестер у него никогда и не было, он вытребовал из своего родного

города метрики всей родни, из которых явствовало, что не только у него, но даже и у его отца никогда не было сестер. Но, несмотря на его усилия, гебраисты проиграли. По делу о сестрах суд вынес такое решение: «Если бы истец имел сестер и ответчики возвели на них поклеп, ответчики по закону понесли бы наказание за клевету. Но так как истец сам доказал и документами подтвердил, что у него сестер никогда не было, выходит, что ответчики оклеветали тех, что еще и на свет не родились. В таком случае нет ни обиженных, ни обидчиков, и посему дело прекращено».

Эпилог

В тот день у гебраистов с «Ермолкой» во главе состоялось экстренное собрание, идишисты же во главе с «Котелком» устроили пирушку: всю ночь напролет произносили речи, до бела дня пили, пели и плясали. Вот это было торжество!

XIV
Любители театра

Театров в Касриловке два: театр идишистов и театр гебраистов. Актеров, однако, ни одного. Разве лишь приедет иногда из Егупца труппа, а то и целых две, поиграют несколько недель и, если есть у них деньги, уезжают туда, откуда приехали. Если же им не на что уехать, они закладывают свои часы, одежду и декорации вместе со всем реквизитом и все же уезжают. А когда и закладывать нечего, то в Касриловке отыскиваются добрые люди, которые обходят дома и собирают в платочек пожертвования для актеров. А что прикажете делать? Не дать же людям умереть с голоду среди своих. Когда актерам удается наконец уехать, они и сами зарекаются, и внукам, и правнукам своим обещают заказать, чтоб никогда

и носа не показали в Касриловку, пусть она провалится, пусть ее огонь сожрет! Сильные слова, не правда ли? Но вот, поди же, не проходит и года — они снова тут как тут. В этом особенность еврейских артистов — их тянет в Касриловку. Чем черт не шутит, а вдруг выдастся такой сезон, который с лихвой покроет прошлые потери. «Вы не знаете театрального дела,— сказал мне как-то один еврейский актер, большой шутник, — сегодня плохо, зато завтра может быть еще хуже...»

Без театра Касриловке никак нельзя, а так как театральные труппы лишь изредка приезжают в Касриловку на гастроли, пробел заполняют любители. Боюсь, как бы не сочли преувеличением, если я скажу, что почти вся касриловская молодежь — любители. Но так оно и есть. Всякий, едва оперившийся паренек, всякая выросшая из короткого платьица девчонка, каждый жених, каждая невеста — все любители. Среди этих любителей, «представляющих в театре», вы найдете не только парней и девушек, но и женатых молодых людей с бородками, а также молодых женщин, матерей семейств. По правде говоря, горе той женщине, муж которой любитель, и не меньшее горе тому мужчине, жена которого любительница. Бедный молодой муж приходит из своей лавчонки усталый, голодный, а дома ни ужина, ни самовара, и вдобавок ребенок кричит, надрывается. Почему бы это? Да вот жена этого молодого человека, видите ли, любительница и ушла на репетицию. Или же, наоборот, муж — любитель, он путается в театре и недурно проводит время: не спектакль, так репетиция, не репетиция, так собрание любителей, где читают новую пьесу одного из касриловских драматургов и тут же распределяют роли, потом ужинают все вместе, опрокидывают по стаканчику пива, папироски курят — живем не тужим! А в это самое время бедная молодая жена томится дома, качает ребенка или же лежит в постели не пивши, не евши, всю ночь напролет ждет своего благоверного, когда он наконец явится, этот любитель.

Хуже всего, когда оба, и муж и жена, любители. А еще хуже (это уже подлинное несчастье), когда муж и жена поступают наперекор друг другу: муж, например, ярый любитель гебраист, а жена — любительница идишистка. Или же наоборот, муж является любителем идишистом, а жена — любительницей гебраисткой. Отсюда легко возникнуть конфликту, который того и гляди обернется скандалом.

Совсем недавно с одной молодой четой случилась история. Оба, и муж и жена, увлекались театром, но муж был горячим идишистом и котелкистом, а жена — пламенной гебраисткой и ермолкисткой.

Они были совсем неплохими супругами, эта пара. Прожили без малого год в мире и согласии, и ребенок у них родился (мальчик). И вдруг между ними начались раздоры. А из-за чего? Муж, видите ли, не желает, чтобы его жена играла в театре этих святош гебраистов. «Могу себе позволить, — говорил он, — чтобы ты играла вместе со мной в театре идишистов». Жена посмотрела на него, как на помешанного: «С чего это вдруг? Я ведь все время была гебраисткой и ничего, тебя от этого не убыло, а теперь ни с того ни с сего тебе ударило в нос. В чем же дело?»

А дело, оказывается, вот в чем: муж узнал чудом, записочку получил от какого-то гебраиста, что у его жены до замужества был роман с одним любителем гебраистом. В груди у мужа запылал огонь, господи спаси и помилуй! И город ходуном заходил — пошли разговоры, шепотки, пересуды. Словом, история эта стала достоянием улицы, базара, а затем проникла и в прессу, в пресловутые касриловские газеты, в «Котелок» и «Ермолку». А если в дело вмешалась касриловская пресса, то молодой чете нельзя тут уж позавидовать.

При чем тут, казалось бы, пресса? А вот при чем: идишистский «Котелок» решил заступиться за обиженного идишиста-мужа и в один прекрасный день выступил с ядовитой статьей под кричащим заголовком: «К черту Дарвина!». Мы излагаем здесь эту сверхинтересную статью тем слогом, которым она была напечатана в прогрессивном «Котелке»: «На-

прасно ученые, так называемые дарвинисты, хотят убедить нас в том, что в природе существует закон, именуемый атавизмом, и что в силу этого закона дети должны унаследовать черты своих родителей. Ничуть не бывало! И мы докажем это фактами. Мы предпочитаем факты пустым теориям. И вот вам факт (не о нашей Касриловке пойдет здесь речь, упаси бог, в Егупце случилась эта история). Жили там, в Егупце значит, молодожены, оба актеры-любители. Муж был горячим идишистом, жена — пламенной гебраисткой. И пришел день, и родился у них ребенок (мальчик), у которого нельзя было обнаружить ни малейшего сходства с отцом, но зато он как две капли воды был похож на совсем постороннего мужчину, тоже любителя, только гебраиста. Этот мужчина, принципиальный противник «идиш», довольно часто, однако, наведывался к жене идишиста... Таким образом, можно предположить, даже с некоторой уверенностью, что ребенок, которого родила жена идишиста, схож с посторонним мужчиной потому, что любительница гебраистка иногда заглядывалась на любителя гебраиста... Это является лишним доказательством того, что слова ученых дарвинистов, толкующих про какой-то там атавизм, вилами на воде писаны. Дарвинисты забивают вам голову своими глупыми теориями, а сами не видят, что у них под носом творится».

Статья могла бы остаться незамеченной. Касриловке не привыкать стать, что редактор газеты чего-то там горячится. Касриловка знает, что весь его пыл выеденного яйца не стоит. Но в Касриловке ведь выходит еще одна газета под названием «Ермолка», и, будьте уверены, эта «Ермолка» не пропустит и слова, напечатанного в «Котелке». Ей бы только зацепку, только бы поймать соперника на чем-либо предосудительном, и тогда она покажет товар прима! Так было и на этот раз. Утром следующего дня благочестивый редактор ортодоксальной «Ермолки» выступил с пламенной передовицей, тоже напечатанной крупным шрифтом и тоже под кричащим заголовком: «Собачья политика». В своей

статье редактор «Ермолки» воздает своему завзятому конкуренту по заслугам, доказывает со всей очевидностью, что смысл мнимоученой каши, которую заварил «Котелок», в том, чтобы бросить тень на молодую чету, проживающую здесь, в Касриловке, хотя этот иезуит из радикальной газеты говорит, что история, которую он рассказывает, случилась якобы не в Касриловке, а в Егупце. «И малое дитя догадается, — пишет «Ермолка», — кто эта чета, только безмозглая скотина не поймет, что смысл всей затеи в том, чтобы опорочить честную любительницу, бедную невинную женщину, чистую душу, за то, что она не идишистка!»

На этом, разумеется, полемика не закончилась. Теперь только пошла писанина, теперь только началось то, что касриловский читатель называет «критикой», то, что ему особенно любо. А молодой чете между тем приходилось худо. Всякий кому не лень, как знакомые, так и незнакомые люди, останавливали их и спрашивали, что нового. Соседи заходили посмотреть, на кого похож ребенок. Добрые друзья советовали подать на «Котелок» в суд. Многие сочувствовали молодой чете, но еще большее сочувствие вызывал ребенок: «Дался же им этот младенец! Бедный малютка! Божье создание!»

Эпилог

Супруги развелись, и некоторое время спустя любительница гебраистка вышла замуж за любителя гебраиста, на которого был похож ее ребенок как две капли воды.

СЛОВО ЗА СЛОВО

...Не теперь, упаси бог, а во время оно был я казенным раввином. То есть вроде как бы и раввин, но «казенный»...

Что представляет собой казенный раввин, незачем перед нашими людьми особенно распространяться... Они по личному опыту знают, что это за зверь такой. Выдать метрику, зарегистрировать брак или развод, записать новорожденного — его прямая обязанность... У него твердая такса для живых и мертвых. В синагоге ему отведено самое почетное место, на положении раввина. При молитве за царя он встает первый. По большим праздникам, в табельные дни он появляется в синагоге в новом цилиндре и обращается к прихожанам с речью на русском языке:

— Господа прихожане и благочестивые братья!..

Сказать, что у нас очень любят казенного раввина, было бы сильным преувеличением — его терпят!.. Примерно, как пристава или другой полицейский чин!

И все же он каждые три года избирается на этот пост, как своего рода президент...

И выбирает его, представьте, народ, то есть в адрес общины приходит такая бумага:

«На основании предписания Его превосходительства Господина губернатора... приказываю...»

На нашем простом языке это звучит приблизительно так: господин губернатор предлагает вам, проклятые евреи, собраться в синагоге и избрать себе казенного раввина...

После этого начинаются «выборы» — кандидаты, ругань, водка и взятки... За этим следуют ябеды, доносы в губернское правление. Выборы аннулируют и велят устроить новые, и опять «на основании предписания Его превосходительства», и опять кандидаты, склоки, партии, вино и взятки... Живем — не тужим!

И я был — вот этот грех свой я вспоминаю и по сей час — казенным раввином в маленьком городке — это совсем не секрет! Могу даже указать где — в Полтавской губернии. Но мне хотелось быть передовым, исключением из правила, не таким, как другие казенные раввины, и я решил: «Долой чиновника!» Я стал заглядывать в общественный котел, занялся делами общины: школой для бедных, ссудами, арбитражем, давал добрые советы.

Улаживание конфликтов, советы — это я унаследовал от отца моего и от дядюшек... Они, мои дорогие покойники, тоже любили, чтобы люди им морочили голову своими делами.

Есть разные люди на свете. Есть такие люди, которых никогда в жизни не околпачишь. Вы бы их околпачили, да они не даются. И есть, наоборот, такие, которым вы смело можете сесть прямо на голову, не сразу, а постепенно: сначала на колени, потом на голову, а потом в глубоких калошах забраться в самое сердце на всю долгую зиму...

Вот такого типа казенным раввином я был и имел, могу этим похвастать, множество поклонников, весьма горячих патриотов, без всякого стыда приходивших ко мне каждый день, барабанивших без умолку и засиживавшихся далеко-далеко за полночь; они никогда не отказывались от стакана чаю, от папиросы, разумеется моей, о газетах и книгах и говорить нечего... Одним словом — свои люди, и все тут!..

И вдруг однажды открывается дверь, и ко мне заявляются краса и гордость нашего общества,

четверо именитых купцов, самые, можно сказать, крупные богачи города. «Доброе утро, раввин!» Кто они такие? Трое из них прозваны были в местечке «тройкой» за то, что они постоянно торговали в долю, каждый раз ссорились между собой, всегда подозревали друг друга, смотрели друг другу в карман и все-таки не расходились из принципа: «Если дело прибыльное и компаньоны будут в выигрыше, почему и мне не воспользоваться лакомым куском?.. Если же дело провалится, то пропади ты тоже вместе со мной...»

Что же придумал наш всемогущий бог? Он свел с этими тремя четвертого. Поторговали они вместе без малого год и поссорились. «С тех пор как бог имеет дело с ворами, плутами и жуликами, он такого вора, плута и жулика еще не встречал». Так говорят три компаньона о четвертом. А тот, четвертый, говорит то же самое про них: «С тех пор как бог имеет дело с ворами, плутами и жуликами, он таких воров, плутов и жуликов еще не встречал». Что же представлял собой четвертый?

Это был человек тихонький, невинный, опрятненький, с приятным лицом, густыми черными бровями, из-под которых выглядывали хитро смеющиеся глаза, и звали его славным именем Нахмен-Локах, то есть имя его было Нахмен-Носн, но звали его Нахмен-Локах, потому что Локах означает — он брал, а Носн — он давал. А этот Нахмен-Носн никогда в жизни не давал, а только брал... И этот Нахмен-Носн имел привычку вставлять в разговор, кстати или некстати, два слова: потому что.

Так вот эти господа обратились к казенному раввину с просьбой выслушать их претензии, — может, он разберется в запутанных делах и примирит их. «Что бы вы ни сказали и как бы вы ни решили, ваше слово для нас закон...»

Так заявили три компаньона, а их противник с жалостным лицом тихонько поддакивал: он, мол, тоже всецело полагается на меня, ибо знает, что ни сном ни духом не виноват...

И он присел в уголочке, сложив по-бабьи руки на груди, собрал свои густые брови на переносье и, глядя на меня своими хитрющими глазами, ждал, что скажут его компаньоны...

Когда же компаньоны выложили на стол все свои претензии, он встал, погладил свои густые брови, даже ни разу не поглядел на противников, но все время смотрел в упор на меня своими хитро смеющимися глазами и мастерски разбил все их претензии. Получилось, что плуты, жулики, воры и пройдохи — они, его трое компаньонов, а он, Нахмен-Локах, — человек честный и справедливый, горькая жертва их авантюр и больше ничего! «Потому что все, что вы здесь выслушали, сплошная ложь, знать не знаю и ведать не ведаю...» И он привел тысячу фактов — все сказанное им честно и свято...

Все то время, пока Нахмен-Локах говорил, «тройка» места себе не находила... Каждый раз кто-нибудь из них вскакивал и хватался за голову или клал руку на сердце, — мол, слыханное ли дело, чтобы человек так подло лгал!..

Много труда стоило раввину удержать троих компаньонов, чтобы они от обиды не вцепились противнику в бороду. И не меньше труда стоило ему вылезть из этой горькой путаницы, — было ясно, что он имеет перед собой славную компанию, что все четверо — жулики, воры, аферисты и доносчики в придачу... И все до единого заслуживают кары.

Что же делать в таком случае? Подумав хорошенько, я говорю:

— Выслушайте меня, любезные друзья! Мое решение по вашему спору почти готово! Но вот что! Я не хочу его открывать вам, пока вы не внесете по двадцать пять рублей ассигнациями каждый в залог того, что мой приговор выполните полностью.

— Ах, извольте!.. — отозвалась наша тройка и Нахмен-Локах за ними вслед. Все четверо взялись за карманы и выложили на стол по четвертной. Я собрал деньги и запер их у себя в ящике стола. После этого я обратился к нашей четверке и объявил свое решение!..

— Выслушав претензии обеих сторон и глубоко вникнув в ваши счеты и дела, я нашел, согласно моему пониманию и глубокому убеждению, что несправедливы вы все четверо и не только несправедливы, — это позор, чтобы люди так вели свои дела, предъявляли фальшивые счета, приносили ложные клятвы и даже доносили друг на друга!.. Поэтому я нашел благоразумным и справедливым, так как в городе масса бедных детей, оборванных и босых, а платить за их учение некому, потому что прежде чем вырвешь у вас медный грош, глаза на лоб полезут, чтобы ваши сто рублей пошли на нашу школу, а вы идите домой, и будьте здоровы, и спасибо вам за славное подношение — бедные дети наши получат и штанишки и сапожки и будут богу молиться за вас и за ваших детей — аминь.

Слушая приговор, наша «тройка» только переглядывалась между собой. Обильный пот выступил у них на лбу, и никто из них не был в состоянии ни слова вымолвить. Видать, такого никто из них не ожидал. Дар речи сохранил только их противник Нахмен-Локах... Он встал, погладил свои густые брови, протянул мне руку и, глядя на меня плутовски улыбающимися глазами, заговорил:

— Благодарю вас, уважаемый раввин, от имени всех нас за разумное решение, которое вы нам предложили... Потому что так решить мог разве лишь Соломон-мудрый. Одно только забыл сказать наш славный раввин, сколько вам полагается платы за ваше умное и честное решение!

— Простите, но вы попали не по адресу!.. Я не из тех казенных раввинов, которые берут с живого и мертвого... — Так я ответил ему, как истый джентльмен, и в свою очередь получил ответ от Нахмен-Локаха:

— Коли так, вы не только умница, но еще и бессребреник! Не будете ли вы настолько любезны, чтобы выслушать историю. Нам будет приятно знать, что мы заплатили вам за труд хотя бы интересной историей.

— О, пожалуйста, хотя бы и двумя историями!

— Тогда сядьте, наш раввин, угостите нас папиросами, и я вам расскажу интересную и правдивую историю, которая случилась со мною самим, потому что я не люблю чужих историй.

Мы закурили папиросы, расселись все вокруг стола, и реб Нахмен-Локах разгладил свои густые брови и, глядя на меня своими плутовски улыбающимися глазами, начал потихоньку рассказывать правдивую историю, которая приключилась с ним самим. Я передаю ее вам слово в слово его же языком.

— Это случилось, чтобы не солгать... словом, много воды утекло с тех пор. Я был тогда еще молодым человеком и жил недалеко от местечка, в селе, в одном пролете от поезда... Крутился, вертелся, содержал заезжий двор, недурно зарабатывал. Ротшильдом я не был, но ничего — на хлеб хватало... И, как водится, кроме меня, вертелся на вокзале добрый десяток разных перекупщиков, потому что, если человек в делах своих более или менее успевает, все другие завидуют ему... Все уверены, что он загребает золото лопатами...

Но не в этом суть дела!.. Я хочу вам только рассказать, что в самое горячее время, когда хлеб идет, вагоны мчатся, а цены поднимаются все выше и выше, моя хозяйка задумала вдруг родить мне сына... Что ж, в добрый час!

Что теперь прикажете делать? Нужно ведь справить обрезание. Бросив на время дела, я срочно отправляюсь в город закупить все, что полагается, а также пригласить моэла[1] со всеми его приспособлениями и синагогального служку... По моим расчетам, вместе с моэлом и служкой у меня вполне соберется молитвенный десяток *, может быть еще с гаком. Что же оказывается? Один из деревенских старожилов вдруг тяжко заболел и не мог явиться на торжество, хоть принеси его вместе с кроватью... А другой ни с того ни с сего сорвался с места и не говоря ни слова срочно ускакал в город по случаю годовщины

[1] Человек, совершающий обрезание *(древнееврейск.)*.

смерти родителей. И что тут долго рассказывать! Я остаюсь без молитвенного десятка, хоть ложись да помирай! А тут еще как назло канун субботы (в пятницу, видите ли, моей жене вдруг да понравилось сына рожать), кроме того, и моэл с помощником не дают покоя... Синагогальный служка чуть слезами не обливается: «Зачем вы нас таскали в этакую даль?..» Беда, да и только! Вдруг меня осенила идея, и я побежал на вокзал: авось пошлет мне господь бог удачу, — ведь столько людей проезжает?!

И представьте, прибегаю на вокзал, — только что подкатил курьерский, вот-вот он готов дальше укатить... И вдруг смотрю, какой-то субъект, весьма плотный на вид, с брюшком, с солидным чемоданом в руках, летит запаренный — и прямо к буфету!.. Видать, закусить на ходу. Но чем может поживиться еврей в трефном буфете?.. Ищет глазами, нет ли селедочки или, скажем, яичка, прямо слюнки у него текут. Смотреть жалко!

Взял я его тут за рукав, говорю: «Дяденька, вы хотите закусить?» Мой пассажир даже вздрогнул от неожиданности: «Кто вам сказал, что я хочу закусить?» Тогда я обращаюсь к нему: «Не то, уважаемый... Я хотел вам сказать, — говорю я, — что я желаю вам сто лет жить... Сам бог вас сюда прислал!..» Бедняга смотрит на меня, ничего не понимает. «Вы хотите, говорю, заслужить царство небесное да еще в придачу поесть вкусное жаркое, которое тает во рту, и со свежей булкой, только что из печки?» А он все смотрит на меня, как на помешанного: «Кто вы такой и что вам надо от меня?» Тогда я уже прямо рассказываю ему всю историю, какое у меня горе. «Сын, говорю, у меня родился. Все уже есть — и мастер обрезания, и синагогальный служка, и хороший обед. Одна беда — нет десятого еврея для полного десятка». — «Какое же это имеет отношение ко мне?» — спрашивает пассажир. «А такое, говорю, что я прошу вас быть десятым. Вы заслужите царство небесное и неплохо пообедаете». — «Да в своем ли вы уме? — говорит он. — Как это так? Поезд уйдет, а ведь канун субботы, и я еду по делу...» — «Что

тут страшного? — говорю я. — Вы поедете следующим поездом. А пока что вы заслужите царство небесное и вкусите от богоугодной трапезы — свежий бульон с лапшой, дай бог каждому такое знатное блюдо...»

Одним словом, зачем долго говорить, когда можно рассказать покороче? Я победил. Очевидно, жаркое и бульон с лапшой сделали свое дело... Пассажир прямо облизывался. Недолго думая взял я у него из рук чемодан, и мы вдвоем отправились ко мне домой... И мы справили обряд обрезания, дай бог всякому.

Жаркое давало себя знать заранее, так как было заправлено чесноком. Такое жаркое, да со свежим пирогом, и соленые огурчики, и бутылка пива, да еще немного коньяку перед обедом, и стаканчик вишневки после обеда — что и говорить! Наш гость полностью выполнил обет «и подкрепите сердца ваши», аж лоб у него вспотел! Но вот беда. Пока то да се, не успели оглянуться — и день прошел. О горе! Наш гость вскочил на ноги и схватился за чемодан. «Куда же вы спешите? — говорю я. — Бог с вами!.. Во-первых, кто вас выпустит накануне субботы, во-вторых, — говорю я, — вы не из тех людей, что позволяют себе нарушить праздник субботы. Чем справлять субботу в поле, так уж лучше, говорю, у меня». А он стонет и охает: «Помилуйте, зачем вы меня задержали? И что я вам плохого сделал? И почему вы не сообщили мне об этом раньше?» Претензии да претензии! А я ему отвечаю: «Во-первых, не моя обязанность говорить вам, что наступает суббота, потому что вы и сами это знаете, а во-вторых, — говорю я, — почем знать? Может быть, вам судьба, — говорю я, — отпраздновать субботу именно у меня и попробовать рыбу моей жены... Уверяю вас, — говорю я, — что с тех пор, как рыба зовется рыбой, вы такой рыбы, как рыба моей жены, и во сне не видели...» Поверите ли? Я уже знал, чем можно взять этого человека. И в самом деле, только мы успели произнести вечернюю молитву, благословить наступающую субботу и отпить по глотку из рюмки, и моя хозяйка

подала на стол рыбу, — у нашего гостя раздулись ноздри, глаза заблестели, и он набросился на рыбу, как после долгого поста, расхваливал ее до небес, отнюдь не отказался от доброй рюмки перед рыбой и от такой же рюмки после рыбы...

И когда следом за тем подали на стол субботний бульон с лапшой, то и лапша ему очень понравилась, а также и цимес, и мясо в цимесе, кусок грудинки, он также хвалил — пальчики облизывал!

«Знаете, говорит, что я вам скажу? Раз уж так случилось, то я весьма рад, что остался у вас на субботу, я, — говорит он, — давно так не был доволен субботой, как теперь». — «Очень рад, — говорю я, — но подождите, вы еще не то увидите завтра, потому что завтра суббота, а на субботние блюда, — говорю я, — моя хозяйка первоклассный мастер...»

И так оно и было. На завтрашний день, после молитвы и после того, как все чокнулись, начали подавать на стол закуски: печенье, рубленую селедку, лук с редькой с гусиным жиром, рубленые яички, печенку со шкварками. А потом еще холодную рыбу, и грудинку из вчерашнего цимеса, и студень с чесноком. Потом достали из печки тушеное мясо с картошкой и горячим жирным куглом, и наш гость не переставал восхищаться. «Это, — говорю я ему, — пустяки! Подождите немного, и вы отведаете наш валашский субботний борщ, лишь тогда вы поймете, что такое хорошее блюдо...» Смеется наш гость и говорит: «Эх-ма, улита едет, когда-то будет?! Где мы уже будем, пока ваш знаменитый борщ поспеет!..» Засмеялся и я, да еще повеселее нашего гостя. «Представьте, друг милый, — говорю я ему, — что вы глубоко ошибаетесь. Если вы собираетесь выехать к ночи, — говорю я, — то выкиньте это из головы, потому что известно, кто выезжает в субботу, тот сидит всю неделю дома».

И так оно и вышло. Сейчас же после ужина и торжественных песнопений, когда зажгли свечи, наш гость стал укладывать свои вещи и готовиться к отъезду. «С ума вы сошли, что ли? Во-первых, кто вас отпустит на ночь глядя. Во-вторых, — говорю я, — где

вы теперь возьмете поезд?» — «Помилуйте, — говорит он, — ведь вы меня просто убили». А я говорю: «Только и горя, что поезд ушел. Завтра чуть свет будет другой поезд. Вы, — говорю я, — лучше постарайтесь запастись пустым желудком и хорошим аппетитом, потому что наш борщ вот-вот да и придет на стол! Об одном я вас только прошу,— говорю я,— скажите, ели вы когда-либо такой замечательный борщ? Но чистую правду!» Что и говорить — ему, бедняге, пришлось признаться: сколько он себя помнит, такой борщ он ест первый раз! У него даже появилась охота тут же на месте узнать, как такие борщи готовят и почему, интересно, окрестили его таким знатным именем и тому подобное... А я говорю: «Чего ради вы интересуетесь этим? Лучше, говорю, попробуйте вот этот стаканчик вина и, пожалуйста, скажите мне свое мнение, но правду, чистую правду, потому что я не переношу комплиментов!..»

Одним словом, налили стаканчик и еще стаканчик и улеглись спать. И наш гость, будьте спокойны, проспал утренний поезд и встал ни жив ни мертв, страшно расстроенный, и налетел на меня, что я по-человечески был обязан его разбудить, из-за меня он окажется в большом убытке — даже неизвестно на какую сумму. Одним словом, я ему, несчастному, наделал много бед. Спокойно выслушав его речь, я говорю: «Скажите сами, не чудак ли вы? Во-первых, чего, собственно говоря, вам пороть горячку без толку? Долго ли, в самом деле, живет человек на белом свете? Это во-первых. Во-вторых, вы забыли, — говорю я, — что сегодня третий день после обрезания, это, по-вашему, пустяки. У нас такой обычай, — говорю я, — что на третий день после обрезания задают пир намного богаче, чем на самом обрезании! Неужели, говорю, вы захотите ни за что ни про что расстроить наш праздник?»

И так оно и вышло. Наш гость дольше не мог уже удержаться и даже рассмеялся с горя. «Что нам долго толковать, — говорит он, — вы, видать, клещ из клещей». — «Хоть бы и так, — говорю я, — лишь бы гость сидел за столом».

За обедом, когда взяли по рюмочке, я говорю: «Послушайте, милый гость, теперь, может быть, и не стоило бы говорить о молочных блюдах, поскольку мы с вами заняты мясным, но мне все же хотелось бы услышать ваше мнение о варениках с сыром». Смотрит на меня гость во все глаза, не понимая, что, собственно, я хочу этим сказать. «Потому, — говорю я, — что мне хотелось бы, чтоб вы попробовали наши вареники с сыром, сегодня вечером у нас молочный ужин». Тогда гость вне себя говорит: «Ай, как нехорошо. Я вижу, что вы снова хотите задержать меня на целые сутки. Это дурно с вашей стороны...» И по тому, как он горячится, я догадываюсь, что долго упрашивать его не придется, и ссора с ним мне не угрожает, потому что на аппетит он не может пожаловаться, любит человек покушать... И я говорю ему: «Даю вам честное слово, вот вам моя рука, что завтра я подниму вас на рассвете, прямо к утреннему поезду. Пусть весь мир перевернется, а вы, заверяю вас, уедете вовремя». Услышав такие речи, гость немного смягчился. «Помните, слово чести! — обращается он ко мне. — Этим не шутят!» А моя хозяйка, что вам сказать, приготовила такой молочный ужин, с такими варениками, что наш гость должен был признаться: хотя его жена тоже мастерица делать вареники, но до моей жены ей далеко, как небу до земли!

И так оно и вышло. Свое слово я сдержал, потому что слово есть слово!

Моего гостя я поднял рано утром, поставил самовар, а он тем временем, собираясь в дорогу, стал горячо прощаться со мной и моими домочадцами. А я и скажи ему: «Попрощаться мы успеем, надо вперед рассчитаться». Смотрит он на меня, не вполне понимая, в чем дело. «Что значит рассчитаться?» — «Рассчитаться, — говорю я, — значит подвести итог. Я, говорю, покажу вам счет, сколько с вас причитается, а вы, говорю, будьте так добры уплатить по этому счету...» Гость покраснел: «Уплатить? За что мне платить?» — «То есть как за что, — говорю я, — за все: за питание, за вино, за ночлег».

Тут гость уже не покраснел, а побелел. «Я вас не понимаю, — говорит он.— Вы пригласили меня к себе на торжество по случаю рождения вашего сына. Перехватили меня на вокзале, вырвали чемодан из рук, даже царство небесное обещали...»

«Правда, все правда! Какое это, однако, имеет отношение к делу? То, что вы были гостем на нашем празднике, мы вовеки не забудем. Но обеды, вино и ночлег — это, говорю, я не обязан давать даром. Вы ведь, насколько я догадываюсь, человек бывалый и сами понимаете, что рыба стоит денег, и вино вы пили самое лучшее, а также пиво и вишневку, цимес, и кугл, и борщ вы хвалили до небес, пальчики облизывали, и вареники с творогом вам тоже пришлись по вкусу. От всей души желаю, чтоб это пошло вам впрок. Но вы ведь, наверное, не захотите, чтобы ваше удовольствие стоило нам и труда и денег!»

Наш гость, вижу я, покрылся испариной. С ним чуть удар не случился. Он начал швыряться, шуметь, кричать и возмущаться... «Это же Содом и Гоморра! Еще хуже. Такого злодейства, — говорит он, — еще нигде в мире не бывало. Сколько вам следует?» Я поднимаюсь, беру бумагу и карандаш и подаю ему круглый счет за пищу и питье, за ночлег, за субботний обед, за вино и вишневку, и за пиво, и за отдельно заказанные вареники с сыром; одно к одному собралось тридцать с лишним рублей, точно не помню...

Увидев счет, наш гость и пожелтел и посерел, руки у него задрожали, а глаза чуть на лоб не полезли, и он принялся еще громче кричать: «Куда это я попал? К лесным разбойникам, что ли? Где же тут люди? Неужто уже и бога нет?» Тогда я говорю: «Знаете что, уважаемый, зачем вам кричать? Зачем вы принимаете это так близко к сердцу? Давайте лучше съездим в местечко, недалеко отсюда, там есть люди, там раввин... Давайте спросим раввина, — как раввин скажет, так оно и будет». Когда гость услышал такие речи, ему немного легче стало, и, что тут долго рассуждать, мы наняли подводу, покатили вдвоем в местечко и — прямо к раввину.

Приехали мы это к раввину, а он только что закончил молитву и складывал талес и тефилн. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте! Что скажете хорошенького?» И тут срывается наш гость с места и начинает с жаром рассказывать все с самого начала: как он случайно проезжал мимо нашей станции, как он заскочил на вокзал чего-нибудь перекусить, — у него и в мыслях не было, что он попадет на торжество. «И вдруг подскакивает ко мне этот человек (он показывает в мою сторону) и слезно молит меня быть десятым у него на торжестве, ибо сам бог так велел!» Потом гость рассказал, как я вырвал чемодан из его рук, как он пришел на семейное торжество и тут же хотел ехать дальше, а я задержал его на субботу, и на воскресенье, и на вареники с творогом. Одним словом, он ничего не пропустил и показал раввину счет, который я ему предъявил. Раввин выслушал его с большим вниманием до конца, а потом обратился ко мне: «Одну сторону, значит, мы выслушали, теперь послушаем другую сторону. Что вы скажете?» — «Мне нечего добавить, — отвечаю я, — все, что говорил вам этот человек, — сущая правда. Но пусть он скажет честно, когда и в какой день он появился, где он праздновал субботу, ел ли он рыбу, пил ли вино, пиво, коньяк и вишневку, и хвалил ли он борщ и вареники с творогом, которые приготовила моя жена?» Тут мой гость пуще прежнего разволновался, швыряется, трясется — вот-вот его кондрашка хватит. Раввин просит его не волноваться и не злиться, потому что злость служит молоху, — и еще раз спрашивает про рыбу, и про борщ, и про вареники, правда ли, что он пил вино, пиво, вишневку и коньяк. Потом раввин надевает очки, проверяет счет сверху донизу, подводит итог — так оно и есть, все сходится до последней копейки. Тогда он в кратких словах выносит свой приговор: что гость должен уплатить мне согласно счету тридцать рублей с копейками, а издержки на поездку туда и обратно и плата раввину за то, что он нас рассудил, это уж пополам, — каждый пусть внесет свою долю.

Выскочив от раввина, как из парной бани, гость достал кошелек, выхватил оттуда пятьдесят рублей и швырнул их мне в лицо: «Берите тридцать с лишним рублей, которые вам следует по счету, и дайте сдачи». — «Какая такая сдача, — говорю я, — какой такой счет? Какие тридцать с лишним рублей? Вы что, думаете, я и в самом деле разбойник с большой дороги или сумасшедший? Как это я возьму у вас деньги? Поймал на вокзале человека, совершенно чужого, не знаю его и не ведаю, забираю у него чемодан из рук, завлекаю против его воли к себе на торжество по случаю рождения сына и провожу с ним субботу, дай бог всякому, так неужели я у него потребую деньги за оказанную мне услугу и за удовольствие, которое он мне доставил?» Тут уж он посмотрел на меня вовсе как на помешанного: «Зачем же вы мне морочили голову, и чего ради вы меня тащили к вашему раввину?» — «Странный вы человек! Я это сделал, говорю, для того, чтобы показать вам, какой умница наш раввин, ни для чего иного!..»

Рассказав эту историю, наш Нахмен-Локах весьма солидно поднялся с места, а за ним и его компаньоны стали застегивать сюртуки и совсем уж собрались уходить, когда я предложил им еще по папиросе и обратился к рассказчику.

— Итак, вы рассказали мне историю о раввине. Не будете ли вы так любезны выслушать и мою историю, тоже о раввине, но намного короче вашей?

И, не дожидаясь от них ответа, я приступил прямо к делу.

— Это было, — так начал я мою историю, — совсем недавно, и не в местечке, а в большом городе, как раз накануне Судного дня случилось. Появляется вдруг, словно с неба свалился, купец-путешественник, разъезжающий по белу свету. Продает товар и получает деньги. Прижав руки к груди, разгуливает он по школьному двору, что на Еврейской улице, и всё интересуется раввином, спрашивает, где он проживает. «А зачем вам раввин?» — «Это вас не касается...» Спросил одного, второго, третьего и дознался наконец, где проживает раввин. Вошел он к раввину, а

руки по-прежнему на груди, попросил уединиться с ним в отдельной комнате и сообщил по секрету: «Ребе, так, мол, и так. Я купец-путешественник, везу с собой большую сумму денег. Не мне они принадлежат,— раньше богу, потом людям,— чужие они. Держать их при себе в Судный день я не могу, оставить в гостинице боюсь, слишком большая сумма! Окажите любезность, возьмите у меня эти деньги и спрячьте их у себя в сундуке до завтрашнего вечера...»

Недолго думая купец расстегивает свой жилет и вытаскивает пачку за пачкой новенькие ассигнации, одни красненькие.

Увидев такую уйму денег, раввин говорит: «Простите, но вы же меня не знаете, вы меня первый раз видите». — «Что значит — я не знаю вас?! Вы же не кто-нибудь, а раввин». — «Хорошо, я раввин. Но я ведь вас не знаю, кто вы такой...» Долго они спорили. Купец — раввину: «Вы ведь раввин!» А раввин в ответ: «Но я вас не знаю!» А время не ждет, приближается Судный день. Наконец раввин согласился взять у купца деньги, но с условием: при свидетелях. Кто же эти свидетели? Ведь не всякому можно доверить такую сумму! И раввин созвал самых богатых и знатных людей, отцов города, и говорит им: «Так, мол, и так, у этого человека большие деньги, не его, чужие. И вот он просит, чтобы я спрятал их у себя до завтрашнего вечера. Так будьте же свидетелями, сколько денег он мне передал, дабы не вышло... Вы меня понимаете?» И раввин дал себе труд три раза подряд пересчитать при свидетелях доверенные ему деньги, аккуратно завернул их в платок, запечатал платок сургучом, приложил печать и показал всем присутствующим. «Вот смотрите — здесь моя печать, и помните, что вы свидетели!» Платок с деньгами раввин передал своей жене, чтобы она заперла его в сундук, а ключи спрятала так, чтобы ни одна живая душа не знала... И все отправились в синагогу, славно там помолились, а на следующий день постились, потом, как водится, хорошо поужинали после поста; глядь, и купец уж здесь: «С неделей вас, с наступающей». — «И вас также. Садитесь. Что скажете?» —

«Да ничего. Я за деньгами пришел». — «За какими деньгами?» — «За наличными». — «Какие такие наличные?» — «Я за деньгами пришел». — «За какими деньгами?» — «За моими деньгами. То есть деньги эти не мне принадлежат, — раньше богу, потом людям, — чужие они. Я их дал вам на хранение...» — «Вы мне дали деньги на хранение? Когда?!»

Смеется наш купец, думает, что раввин шуточки шутит. А раввин спрашивает его: «Чего вы смеетесь?» А тот отвечает: «Первый раз в жизни вижу я раввина-шута!» Тут уж наш раввин обиделся. До сих пор никто еще не смел обзывать его шутом. «Скажите, чего вам, собственно говоря, здесь надо?»

Услышал купец такие речи, и у него замерло сердце. «Что вы, ребе? Ради бога! Вы хотите погубить человека?! Я ведь отдал вам все мое достояние — не мое, чужое. Вот вам доказательство, — говорит он, — вы завернули мои деньги в платок, запечатали сургучом, заперли у жены в сундуке, а ключи велели ей спрятать так, чтобы ни одна живая душа не знала. Больше того, при этом, говорит, были свидетели, самые уважаемые люди вашего города...»

И тут же называет их всех по имени, от первого до последнего. А сам, бедняга, холодным потом обливается, спазмы его душат, и он просит стакан воды.

Недолго думая раввин послал служку за самыми уважаемыми людьми города, за сливками общества. Те сразу явились: «Что случилось?» — «Несчастье! Навет! Вот назойливый человек, этот купец, — говорит раввин, — он утверждает, что передал мне якобы на хранение большую сумму денег накануне Судного дня и что вы все якобы были свидетелями этого...»

Уважаемые хозяева переглянулись между собой, как бы говоря: «Вот где можно будет поживиться! Шутка ли, такая сумма... Это ли не искушение?» И они дружно набросились на купца: «И не стыдно вам возводить на нашего раввина такой неслыханный поклеп?!»

Увидел купец, что дело принимает такой оборот, и руки у него опустились. Он задыхался, вот-вот потеряет сознание.

Тогда раввин встал, подошел к сундуку, вынул из него платок с деньгами и поднес купцу. «Бог с вами, не волнуйтесь! Вот ваши деньги! Только пересчитайте их как следует, на глазах у этих людей. Печать, как видите, не тронута, сургуч цел, все как полагается!»

Новую жизнь вдохнули в бедного купца. Руки у него задрожали и слезы выступили на глазах.

«Зачем вам понадобилось, ребе, так подшутить надо мной? Ну и шутка!» — «Я только хотел показать вам, каковы наши уважаемые хозяева...»

БЕРЛ-АЙЗИК

(Американские чудеса)

«Америка — страна блефа», «Американские блефмены...»

Так говорят там новоприбывшие. Еще зеленые, они, право, сами не знают, что мелют. Америка не годится Касриловке в подметки, и наш Берл-Айзик заткнет за пояс всех американских вралей!

О том, что за человек этот Берл-Айзик, можно судить по тому, что зарвавшегося враля, о котором обычно говорят «он порет несусветную чушь», у нас в Касриловке обрывают словами: «Берл-Айзик тебе кланяется» — и тот сразу замолкает.

Рассказывают у нас в Касриловке историю, которая дает довольно полное представление о Берл-Айзике. У христиан есть обычай: встречаясь на пасхальной неделе, один сообщает другому радостную весть, что Христос ожил, — «Христос воскрес», на что другой отвечает: «Воистину воскрес», то есть это подлинная правда, он действительно ожил... Должно же было случиться, что какой-то христианин встретился с неким находчивым евреем и обрадовал его доброй вестью: «Христос воскрес»... Еврею стало не по себе: как быть? Ответить христианину: «Воистину воскрес» — он не может, потому что это ложь, да и противно иудейской вере. Сказать ему: нет, он не

воскрес, — за такие слова недолго и на неприятности напороться... Наш еврей нашелся и ответил христианину: «Воистину, я слышал это сегодня от нашего Берл-Айзика...»

Представьте же себе, что этот самый Берл-Айзик отправился в Америку, пробыл там несколько лет и вернулся назад, в Касриловку. Каких только чудес не рассказал он об Америке!

— Во-первых, о самой стране. Земля там сочится молоком и медом. Люди зарабатывают большие деньги, набирают их полными пригоршнями, прямо-таки загребают золото! А дел — по-тамошнему «бизнес» — там столько, что голова кругом идет! Что пожелается, то и делаете. Хотите на фабрику — вот вам фабрика, желаете открыть лавчонку — откройте лавчонку, нравится толкать тележку — по-ихнему «пушкар» — толкайте тележку. Не нравится — возьмитесь за торговлю вразнос, а не то идите работать на завод — свободная страна! Вы там можете распухнуть от голода, свалиться посреди улицы — пожалуйста, никто вам не помешает, никто слова не скажет...

А какие города! А ширина улиц! А высота домов! Есть там «домишко», называется «волворт», трубой уходит он в облака и еще выше; домишко этот имеет, надо думать, несколько сот этажей. Хотите знать, как влезают на чердак? При помощи такой лестницы, которая называется «элевейтор». Если вам, скажем, нужно попасть на верхний этаж, вы садитесь рано утром внизу на элевейтор и под вечер, примерно к предвечерней молитве, прибываете на место.

Разобрала меня однажды охота, и прокатился я наверх — любопытно же взглянуть, что там творится, — я об этом не пожалел. Того, что я там увидел, мне уже больше никогда не увидеть, а то, что я испытал, не поддается никакому описанию. Представьте себе, стою наверху и гляжу вниз, вдруг чувствую на моей левой щеке какую-то странную прохладу, прикосновение чего-то гладкого, похожего на лед, ну, если не на лед, то на сильно застывший студень — что-то такое скользкое и тряское. Осторожно поворачиваю голову влево, гляжу — луна!

А живут они там! — всю свою жизнь только и знают, что спешить, мчаться, бежать. У них это называется «ари гоп»! Все они делают второпях, даже едят на ходу. Забегают в ресторан, велят подать себе вина, а на закуску... Я сам видел, одному подали на тарелке что-то такое свежее, трепещущее, и едва он успел это разрезать, одна половина улетела в одну сторону, другая половина — в другую сторону, и мой молодец, считается, уже позавтракал.

И тем не менее посмотрели бы вы, какие они здоровенные! Силачи! Богатыри! У них манера — драться на стрите, посреди улицы, значит. Ни бить вас, ни убивать, ни глаз подбить, ни пару зубов вышибить, как у нас бывает, они не собираются, упаси боже! Просто так, ни с того ни с сего засучивают рукава и надают друг другу тумаков, любопытства ради — кто кого. У них это называется — *боксировать*. Гулял я однажды по Бронксу, нес с собой немного товару, подходят два молодчика и начинают меня задирать — хотят со мной боксировать. Говорю я: «Но, сэр, я не боксирую». Туда-сюда, они меня дальше не пускают. Меня разобрала злость — раз вы такие-сякие, я покажу вам, почем фунт лиха, потом пеняйте на себя. Опустил я на землю свой узел, сбросил кафтан, да как начал... получать затрещины — насилу вырвался из их рук. Их-то ведь двое, а я один! С той поры я не боксирую, хоть озолотите.

А их язык! Все у них шиворот-навыворот, и, словно бы назло, все не как у людей. К примеру, если мы говорим — кухня, то они говорят — кичн, если у нас — мясник, то у них — бучер; по-нашему — сосед, по-ихнему — «нексдоригер», соседка — «нексдориге», хозяйка — «лендлориха». Все наоборот. Как-то накануне Судного дня обратился я к одной миссис: «Купите мне кура на «капорес». Она удивилась: «Почему вам кура? Ведь это мне, женщине, полагается кура». Я говорю: «Ну, конечно, себе купите куру, а мне — кура». Но попробуйте с женщиной договориться толком — я про кура, а она про куру — история без конца! Вдруг меня осенило, и я сказал:

«Купите мне куриного джентльмена!» Тут она меня, конечно, поняла и облагодетельствовала прекрасным словом «олл райт!», означающим почти то же самое, что у нас — «так и быть!», «почему бы и нет?», «ах, с величайшим позором... то есть почетом».

А почет, который нам, евреям, там оказывают! Ни один народ так не почитаем, уважаем и возвышен в Америке, как еврейский. У них еврей — это самый цимес; то, что ты еврей, это — предмет гордости. Вы можете, к примеру, в праздник кущей встретить еврея на самой Пятой Авеню, шествующим с лулевом и эсрогом в руках, причем он нисколько не боится, что его за это посадят в кутузку. Говорю вам — там любят еврея, можете не сомневаться. Вот чего там не любят — это еврейскую бороду и пейсы. На их языке это называется «вискес». Завидев еврея с вискес, они его самого не трогают, зато как возьмутся за его бороду и пейсы — и дергают и щиплют так, что он вынужден в конце концов снять их, сбрить. Поэтому-то евреи там в большинстве без бород и усов. Лицо гладкое, как тарелка. А как ты узнаешь еврея, если у него ни бороды, ни еврейской речи?.. Разве только по проворной походке или по тому, как он при разговоре размахивает руками... Во всем же прочем они евреи. Евреи по всем приметам. Соблюдают все еврейские обычаи, любят все еврейские блюда, справляют все еврейские праздники. Пасха у них — пасха. Мацу пекут там круглый год, а «харойсес» изготовляет специальная фабрика, называется «фектори». Тысячи рабочих сидят в этом фектори и «мануфекчируют харойсес». На горьких приправах к пасхальной трапезе тамошние евреи устраивают себе недурную жизнь — вы шутки шутите с Америкой?..

— Конечно, Берл-Айзик, если все, что ты рассказываешь, — правда, это очень хорошо. Но нам хотелось бы узнать еще одну вещь: умирают там, в Америке, как и здесь, или там живут вечно?

— Умирают, почему бы не умирать? В Америке, если уж начнут умирать, так тысяча в день, десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч. Там разом

валятся целыми улицами. Целые города, подобно Койраху, проваливаются сквозь землю!.. Вы шутки шутите с Америкой?

— Ша, но если так, чем они лучше других? Умирают они, значит, не хуже нас!

— Так-то оно так, умирать они умирают, но как умирают — вот в чем суть. Не в том дело, что умирают. Везде умирают одинаково — от смерти умирают. Главное в погребении, вот что! Во-первых, в Америке заведено, что каждый знает заранее, где он будет погребен. Еще при жизни человек отправляется на кладбище — там оно называется «сэмэтэрией» — сам выбирает себе место и торгуется до тех пор, пока не уладит дело с ценой. Потом он приезжает на сэмэтэрию с супругой и говорит ей: «Видишь, душа моя? Вот здесь будешь лежать ты, вот тут буду лежать я, а там будут лежать наши дети». После этого он идет в похоронное бюро и на далекое будущее (через сто двадцать лет!) заказывает себе похороны, какого класса ему захочется. Всего там, ни много ни мало, три класса: первый, второй и третий. Первый класс — для богачей, для миллионеров, стоимость похорон — тысяча долларов. Ничего не скажешь, это уж похороны так похороны! Солнце сияет, погода чудесная, погребальные носилки отделаны серебром и возвышаются на черном катафалке, лошади покрыты черными попонами и украшены белыми перьями. Реверенты — раввины, канторы, служки — тоже одеты в черное, только пуговицы белые, а карет следом видимо-невидимо! А дети из всех талмудтор идут впереди и протяжно во весь голос поют: «Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы его...» Звуки их пения разносятся по всему городу! Шутка ли — тысяча долларов?!

Второй класс — тоже приличные похороны, стоят они пятьсот долларов, но это уже не то. Погода уже не так хороша, так сказать ничего особенного. Погребальные носилки на черном катафалке, но уже без серебряной отделки. Лошади и реверенты одеты в черное, но уже нет перьев и белых пуговиц. Кареты следом движутся, однако их не так уж много. Дети

только из нескольких талмудтор идут впереди и поют уже не так голосисто: «Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы его!» Поют они тоскливо, соответственно, конечно, пятистам долларам...

Третий класс — это уже совсем бедняцкие похороны, цена всего-навсего одна сотня. На улице прохладно, пасмурно. Погребальные носилки без катафалка. Лошадок всего две, реверента тоже два, карет — ни одной. Дети из одной только талмудторы идут впереди и, глотая слова, уже не поют, а попросту бубнят без всякой напевности:

«Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы его... Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы его».

Сонно, тихо, их едва слышно, — всего-то навсего только сотню долларов, можно ли желать большего за одну сотню?

— Да... Но скажи, Берл-Айзик, что же делать тому, у кого и этой сотни нет?

— Его дела весьма плачевны! Без денег везде плохо! Бедняку и на земле, что в земле!.. И тем не менее не заблуждайтесь! В Америке и последнего бедняка не оставляют непогребенным. Ему устраивают похороны без всякой платы, они ему и в цент не обходятся. Конечно, это очень грустные похороны. Никаких церемоний, о лошадях и реверентах и помину нет. На дворе слякоть, льет как из ведра. Приходят служки — только двое. С обеих сторон служки, а в середине — покойник, так втроем они и тащатся, бедняжки, пешком до самого кладбища... Без денег, слышите ли, лучше не родиться — поганый мир... А нет ли у кого из вас, евреи, лишней папиросы?

ОТ ПАСХИ ДО КУЩЕЙ

Удивительная история, рассказанная страстным шахматистом в теплой компании в холодную зимнюю ночь после веселой игры в картишки и хорошего ужина

Это произошло зимней ночью. Было уже далеко за полночь. Вечеринка заканчивалась. Остатки еды на столе свидетельствовали о том, что гости достаточно насытились. Зеленые столики были исписаны мелом и завалены картами, из которых выглядывали тузы и короли, как будто дразнившие: «Вот теперь-то мы тут как тут!..» Как хорошо было бы снова засесть за винт или преферанс! Однако все стеснялись это сделать — больно уж поздно. Сидели поэтому без дела, курили, пили черный кофе и сплетничали. Беседа явно подходила к концу, как вдруг кто-то заговорил о шахматах, его поддержали другие, желая втянуть в разговор одного страстного шахматиста, Рубинштейна.

Рубинштейн был заядлым шахматистом. Для того чтобы сыграть в шахматы, он готов был пройти пешком десяток верст, готов был не есть, не пить, ночи не спать — словом, был азартным шахматным игроком. Об его увлечении рассказывали анекдоты: 1) будто он сам с собой играет в шахматы; 2) будто он

три раза разводился с женой из-за шахмат; 3) будто он однажды пропадал где-то года три, и все из-за шахмат. Одним словом, где Рубинштейн — там шахматы, а где шахматы — там Рубинштейн. И Рубинштейн любит поговорить о шахматах — точно так же, как пьяница любит поговорить о стаканчике вина... Первое, что бросается в глаза, когда посмотришь на Рубинштейна, это его неимоверно большой лоб. Огромный, широкий, круглый, вернее выпуклый, лоб. Глаза тоже странно большие, круглые, черные, но холодные. Сам он сухой, худой, но голос как колокол — настоящий бас. Там, где Рубинштейн, вы слышите одного только Рубинштейна — никого больше.

Услыхав, что речь идет о шахматах, Рубинштейн наморщил лоб, презрительно покосился на свой стакан кофе и, обращаясь ко всем и в то же время ни к кому, загремел своим голосом, напоминавшим звук церковного колокола:

— Мои дамы и господа! Если вы хотите услышать интересную историю о шахматисте, присаживайтесь вот сюда, и я расскажу вам старинную быль.

— Историю о шахматисте? Старинную быль? — спохватилась хозяйка, боявшаяся, что гости начнут расходиться. — Прелестно! Скажи, муженек, Феличке, чтобы она закрыла пианино, сам, будь добр, запри дверь и подай два-три стула. Садитесь, прошу вас; господин Рубинштейн расскажет нам старинную быль, историю о шахматисте.

Рубинштейн осмотрел со всех сторон только что зажженную сигару, преподнесенную ему хозяином, как будто желая определить ее стоимость, состроил гримасу и еще больше наморщил лоб, как бы намереваясь сказать: «Гм... по виду будто сигара, а по вкусу — веник...» Затем он приступил к рассказу.

— Мои дамы и господа, о том, что я отчаянный шахматист и что все члены нашей семьи от рождения шахматисты, я не стану вам рассказывать. Об этом вы и сами знаете. Фамилия Рубинштейн известна всему свету, и, наоборот, хотелось бы увидеть хоть

одного Рубинштейна, который не был шахматистом.

— А я вот знаком с одним Рубинштейном, страховым агентом. Он каждую неделю является ко мне и, кроме страхования жизни, ничего не знает! — заявил один из гостей, молодой человек с удлиненной головой, в золотых очках, который считал себя умным и любил острить.

Рубинштейн, однако, и глазом не моргнул. Он смерил молодого человека холодным взглядом и возразил своим басом:

— Вероятно, он не из наших Рубинштейнов. Настоящий Рубинштейн — шахматист. Это так же естественно, как и то, что именно глупец любит острить... Настоящим Рубинштейном был мой дедушка Рувим Рубинштейн, потому что он был настоящий шахматист. Когда он играл в шахматы, весь свет мог в это время перевернуться, и он не заметил бы этого. Отовсюду приезжали, чтобы сыграть с ним в шахматы, — приезжали помещики, графы! А был он всего-навсего часовщик, бедный ремесленник, но только хороший ремесленник, искусный в своей профессии. Но так как главным для него были шахматы, то и доходы его были ничтожны: он еле-еле зарабатывал на хлеб насущный.

И вот однажды, мои дамы и господа, подъезжает к домику моего деда роскошный экипаж с четверкой великолепных лошадей цугом. Из экипажа вышел барин, вельможа, вся грудь в орденах и медалях, и при нем два лакея, — большое начальство! «Где это здесь еврей Рувим Рубинштейн?» — кричит он. Сначала мой дед, да простит он меня, как бы немного испугался, но потом овладел собой и смело заявил: «Это я еврей Рувим Рубинштейн. Чем могу служить?» Вельможе его ответ понравился, и он сказал деду: «Если это ты еврей Рувим Рубинштейн, то я очень рад. Прикажи, — говорит он, — поставить самовар, подай доску, и мы с тобой сыграем в шахматы. Я слыхал, говорит, что ты хорошо играешь в шахматы и будто никто еще у тебя не выиграл ни одной партии». Так сказал вельможа, он был, по-видимому,

любитель шахмат, и уселся играть с моим дедом — одну партию за другой, одну за другой. Тем временем поспел самовар, подали чай, как водится, на подносе, с вареньем и всякими печеньями, — об этом уж позаботилась бабушка, хотя в доме у нее не было ни гроша. А на улице вокруг экипажа собрался весь город: шутка сказать — у Рувима-часовщика такой вельможа! По городу пошли, конечно, всякие слухи. Одни говорили, что это начальство из губернии приехало с ревизией, другие уверяли, что у деда обыск по поводу фальшивых денег... Но все сошлись на том, что тут не без доноса... Никто, конечно, не посмел зайти в дом и посмотреть, как начальство играет с дедом в шахматы. Да и кому могла прийти в голову такая мысль?

Ну, так что же сказать вам, мои дамы и господа? Хотя вельможа неплохо играл, можно сказать, довольно хорошо играл, он все же получал от деда мат за матом и чем больше проигрывал, тем больше горячился, а чем больше горячился, тем больше проигрывал. А дедушка хоть бы разок смутился, ничего! Как будто он играет с обыкновенным шахматистом... И что бы вы думали? Конечно, барину стало не по себе... Никто ведь не любит проигрывать! Однако он ничего сказать не может, да и что скажешь, если дед так хорошо играет! Вы должны, однако, знать, мои дамы и господа, что настоящего шахматиста сама игра интересует куда больше, чем выигрыш или проигрыш. Для настоящего шахматиста не существует партнера, а существует только игра; не знаю, поймете ли вы это.

— Плавать мы не умеем, но понимаем, как надо плавать, — вставил свое слово молодой любитель построить.

А Рубинштейн, этот горячий шахматист, пронзил его своими холодными глазами.

— Да, видно, что вы понимаете, как надо плавать... — Он затянулся сигарой и продолжал: — А так как все на свете имеет свой конец, мои дамы и господа, то и игра пришла к концу. Вельможа поднялся, застегнулся на все пуговицы, подал деду два

пальца и сказал: «Послушай, Рувим Рубинштейн, ты меня победил, и я должен признать, что ты лучший шахматист не только в моей губернии, но и во всей стране, а может быть, и во всем мире, и я считаю себя счастливым, что имел честь и удовольствие играть с таким шахматистом. Будь уверен, с этого дня твое имя станет известно больше, чем до сих пор. Я расскажу министрам. Я доложу при дворе...»

Услышав такие слова: «министры», «доложу при дворе», — дед обратился к вельможе: «Кто же вы такой, господин мой?» Барин рассмеялся, гордо выпятил грудь в орденах и объявил деду: «Я губернатор...»

На сей раз уже деду стало не по себе. Если бы он знал, кто с ним играет, он бы иначе сыграл... Но теперь уже ничего не поделаешь, все пропало! Между тем губернатор любезно попрощался, вышел, уселся в экипаж и укатил.

Понятно, что тогда весь город пришел к деду. «Кто это был?»

И все изумились, когда узнали, что это был губернатор. «Зачем приезжал губернатор?»

Когда же дед сказал, что губернатор приезжал только сыграть с ним в шахматы, все, разочарованные, разошлись. Поговорили об этом случае, поговорили и забыли. Забыл и дедушка. Голова у него уже была занята новой шахматной идеей, да и о заработке надо было думать. Ведь каждый человек мучается, трудится ради куска хлеба.

И вот наступил день, мои дамы и господа, не могу сказать, сколько прошло времени, — знаю только, что было это ранней весной, накануне пасхи. А к пасхе в доме у деда не было даже кусочка мацы. Детей, слава богу, много, кому нужна рубашонка, кому ботиночки — беда, да и только! Сидит он, бедняга, со стеклышком в глазу, согнувшись над часовым механизмом, чистит его и чинит, раздумывая, как добыть денег. Вдруг открывается дверь, входит два жандарма и — прямо к деду: «Пожалуйте!»

У деда мелькает мысль (бывали у него странные мысли): «Не от губернатора ли это? Чего только на свете не бывает! Не желает ли тот отблагодарить его, осчастливить? Разве не бывали такие случаи, когда по прихоти своей барин осыпал золотом какого-нибудь еврея...» Ничего подобного, однако, мои дамы и господа, не случилось. Просто деда моего попросили прогуляться пешочком... А ну, угадайте куда? До самого Петербурга! Зачем — этого жандармы и сами не знали! Получена, говорят они, бумага, из Петербурга, а в этой бумаге написано: «Немедленно доставить еврея Рувима Рубинштейна в Санкт-Петербург». Значит, сию минуту доставить еврея Рувима Рубинштейна в Петербург!.. Какая-то причина здесь должна же быть!.. «Признайся, хозяин, что за штучку такую ты выкинул?»

Дед, конечно, клянется, что ничего не знает, за всю свою жизнь, говорит, и мухи не обидел. Весь город, говорит, поручится за него!.. Никто его, конечно, не слушает, приказывают отправиться этапным порядком, ибо, поскольку сказано «доставить», иначе и быть не может, как только по этапу, закованным в цепи. И к тому же «немедленно»! Это значит — чем скорее, тем лучше.

И недолго думая, мои дамы и господа, взяли деда, заковали в железо руки и ноги и вместе с ворами повели этапным порядком. А что означало в те времена идти этапом, — об этом незачем вам рассказывать. Кому не известно, что слабый человек не выдерживал этапного пути и погибал! Железных дорог ведь тогда не было, шоссейных тоже не было, ну и гибли люди, как мухи. Больше половины умирало в пути, а остальные приходили калеками. К счастью, у деда была такая комплекция, как у меня, — худой, костлявый, но крепкий еврей. К тому же он был человек мыслящий, философски настроенный. «Человек умирает только один раз, а не два, — говорил он, — и если ему суждено пожить еще на белом свете, то никто у него этой жизни не отнимет...» Почему он так думал о жизни и смерти? Ведь сразу было видно, что речь идет о кнутах, о Сибири, а может, еще худ-

шем... Он не только навсегда распрощался с женой, с детьми и со всем городом, — он хотел даже предсмертную молитву совершить перед уходом... Его, однако, утешили. Все жители города собрались проводить его (настоящие похоронные проводы!), а слез сколько было пролито!

Для того чтобы рассказать вам, мои дамы и господа, обо всем, что мой дед пережил за эту дорогу, потребовалась бы не одна, а целых три ночи, да ведь жаль потратить столько времени — лучше использовать его на игру в шахматы... Короче, могу сказать, что этот самый путь растянулся на все лето, от пасхи до кущей. На каждом пункте, где арестованные останавливались, их задерживали на неделю, иногда на две, а порой и больше, — до тех пор, пока не примут новую партию; а потом вели дальше. И даже когда после долгих бед, мучений и издевательств они добрались наконец в этот счастливый Санкт-Петербург, то вы, верно, думаете, что этим все кончилось? Ошибаетесь! Здесь-то и заперли деда в «каменный мешок» — этакая темная каморка, в которой нельзя ни сидеть, ни лежать, ни ходить.

— Там, должно быть, удобно играть в шахматы? — вставил молодой остряк.

— И произносить глупые остроты! — прибавил Рубинштейн и продолжал свой рассказ: — Здесь, в этом каменном мешке, дед уже по-настоящему распрощался с жизнью, прочитал предсмертную молитву, воочию видя перед собою ангела смерти и чувствуя, как иссякают у него последние силы еще до того, как поведут его на суд. По правде сказать, он молил господа бога послать ему смерть. Только одну надежду возлагал он еще — на свой город. Он был уверен, что сограждане не оставят его в беде. Найдутся ходатаи, богатые евреи, которые начнут хлопотать, искать протекций, если надо будет кого-нибудь «подмазать», то и «подмажут», чтобы вызволить невинного еврея из несчастья, снять с него навет... И дед не ошибся, мои дамы и господа. С са-

мого первого дня, как его забрали, в течение всего лета весь город только этим и жил. Ходили к адвокатам, искали протекции, «подмазывали», буквально сыпали деньгами; ничего, однако, не помогло.

Деньги брали, но никаких обещаний не давали, объясняя лишь, почему это невозможно. Взять, например, вора или другого преступника — такого очень легко можно за деньги освободить. Почему? Потому что известно: он вор, он украл пару лошадок, либо преступник — поджег дом. Но такой человек, как Рубинштейн, который не украл, не поджег, — кто же его знает, что он за преступник? Не политический ли?.. А в те годы политический — это было куда хуже, чем преступник, который вырезал население целой губернии!.. Хлопотать о политическом — это было уже опасно!.. Даже самое слово «политический» нельзя было вслух произнести, а только втихомолку... Хотя, с другой стороны, какое отношение мог иметь часовщик Рувим Рубинштейн к политическим? Впрочем, чего только не бывает, — еврей, любитель поспорить, философ.

Однако, мои дамы и господа, как уже сказано, все в этом мире имеет свой конец. Наступил день, когда дверь застенка открылась и два вооруженных жандарма вошли, взяли еле живого деда, посадили в карету и покатили. Куда? Об этом он уже не спрашивал. На суд? Пускай суд. На эшафот? Пускай эшафот. Лишь бы конец!.. И он себе представляет, как его сейчас поставят перед сенатом и скажут ему: «Рувим Рубинштейн! Признайся!» А он ответит сенату: «Я признаюсь, что я, еврей, бедный часовщик, живу только трудом рук моих, никогда ничего не крал, никого не обманул и не обидел, и, бог мой свидетель, если вы хотите мучить меня, то мучьте, но прежде всего лишите меня жизни, — она в ваших руках!»

Вот таким образом дед мысленно объясняется с сенатом, а карета тем временем подъезжает к какому-то каменному дому, деду приказывают выйти — и он выходит. Его вводят в одну комнату, за-

тем в другую и приказывают раздеться — совсем раздеться, до рубахи! А он не понимает, что бы это могло значить. Однако если жандармы приказывают раздеться, то, как вы говорите, нельзя быть нахалом... Затем, прошу прощения, мои дамы и господа, ему приказывают снять и рубаху, — тогда он и рубаху снимает. И тогда вводят его в баню, — а баня это уж настоящая баня! Там его моют, трут, обливают, одевают и снова везут куда-то. И едут, едут и едут... А он думает: «Господи, что это со мною будет?» И старается вспомнить все, что он когда-то читал об Испании и Португалии, и не может вспомнить такого случая, чтобы преступника когда-нибудь перед эшафотом водили в баню... И пока он так думает, мои дамы и господа, карета подъезжает ко дворцу, обнесенному железными штакетками с золотыми наконечниками, а на каждом наконечнике красуется орел. Его проводят мимо генералов в золотых эполетах и орденах и говорят, чтобы он не пугался, когда его поставят перед царем, чтобы смотрел прямо, не говорил лишних слов, ни на что не жаловался и только отвечал бы на «да» — «да», на «нет» — «нет». И не успел он еще понять, где находится, как его ввели в зал с прекрасными картинами и золотыми креслами, а прямо перед ним стоял высокий мужчина с бакенбардами... Мужчина с бакенбардами (это был царь Николай Первый) пронзил своим взором деда. И вот какой разговор произошел между ними:

Царь. Как тебя зовут?

Дед Рубинштейн. Рувим Шлимов Рубинштейн.

Царь. Тебе сколько лет?

Дед Рубинштейн. Пятьдесят семь.

Царь. Где ты научился играть в шахматы?

Дед Рубинштейн. У нас это передается по наследству.

Царь. Говорят, ты первый шахматист в моей стране?

На это дед Рубинштейн хотел ему ответить: «Лучше бы мне не быть первым шахматистом в твоей

стране...» Тогда царь, несомненно, спросил бы его: «Почему?» А дед выложил бы ему свою жалобу, что нельзя так обходиться со знаменитым шахматистом, которого хочет видеть сам царь... Дед Рубинштейн сумел бы ответить! Но тут царь махнул рукой, а жандармы вывели деда во двор, а во дворе уже отпустили на свободу, но только приказали, чтобы он сию же минуту уезжал домой, потому что здесь ему жить запрещается... О том, как он добрался до дому, — об этом не спрашивайте. Хорошо еще, что остался жив. Домой он вернулся поздней осенью, мои дамы и господа. Я кончил...

ПРИМЕЧАНИЯ

НЕУНЫВАЮЩИЕ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПОРТНОЙ

Впервые напечатано отдельной брошюрой под названием «Сказка без конца», изд. «Фолкс-билдунг» («Народное просвещение»), Варшава, 1901. Рассказ является обработкой еврейской народной сказки.

Стр. 8. *...откупщика коробочного сбора.* — См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 633: «Коробочный сбор».

...до самого прадеда Тереха с дядей Ишмоелом в придачу! — Согласно библейской легенде, Терех (Фарра) — отец патриарха Авраама, и Ишмоел (Измаил) — сын Авраама, приходятся прадедом и дядей патриарху Иакову (сыну патриарха Исаака и внука Авраама), от которого, по преданию, произошел еврейский народ.

Талмуд — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 611.

«Приличествует бедность Израилю, як черевички красны дивке Хивре...» — Смесь арамейских и украинских слов; перефразировка талмудического изречения (на арамейском языке): «Бедность к лицу израилю (евреям), как красная уздечка белой (по-арамейски — хивро) кобылице». Хивря — украинское женское имя (Феврония).

Стр. 9. *...и была она «ему соответственна»...* — Здесь перефразирован библейский текст: «И сказал господь бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему».

Стр. 10. *«Каждому еврею положена своя доля...»* — талмудическое изречение: «Каждому еврею положена своя доля царства небесного».

Меламед — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622.

Стр. 11. *Аскакурдэ дебарбантэ...* — бессмысленный набор выдуманных слов, по своему звучанию напоминает талмудическую фразу.

Стр. 15. *...раби Пимпом.* — Вымышленное имя с прибавлением «раби» (титул ученого) должно подтвердить, что сказанное им — это талмудическое изречение, так как приведенная будто бы поговорка в оригинале состоит из смеси искаженых арамейских и еврейских слов.

Стр. 16. *«Ни жала, ни кружала...»* — искаженное талмудическое изречение: «Ни жала твоего, ни меда твоего».

Стр. 18. *Талескотн* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 599.

Цафро тово, лемо́рей дехайто, декупо демахто!.. — Доброе утро хозяину портного игольного ушка. Произвольное сочетание отрывков фраз на арамейском языке, местами искаженных; в устах Шимен-Эле звучит, как талмудическое приветствие.

Стр. 19. *«И обвинил Рово...»* — *Рово* — имя одного из творцов талмуда.

Стр. 22. *Кантор* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 624.

Стр. 24. *«Эйн койцим бифройцим»* — вымышленные слова; в сочетании со словом «не» («эйн») напоминают стиль талмудического запрета, «не делают...»

Стр. 28. *Талес* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Филактерии — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Стр. 30. *Лехаим!* — К жизни! (здравица).

«И ярость загорелась в нем...» — Стих из библейской книги «Эсфирь»; Шолом-Алейхем приводит этот стих в оригинале и переводит его на еврейский язык в подражание народному сказанию.

Стр. 32. *Дайен* — судья; в данном случае — помощник раввина.

Стр. 39. *Содом* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 623.

Стр. 41. *«Акцизник»* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626: «Эти «братья» акцизники».

Стр. 42. *«Песнь песней»* — библейская книга, авторство которой религиозной традицией приписывается царю Соломону, а не Давиду.

Стр. 44. *«Шема́, Исроел!»* — См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Впервые напечатано в еврейском еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг» («Еврейская народная газета»), Варшава, 1902.

Стр. 55. *Бродский* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629.

Стр. 58. *...англичане и буры...* — Речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 годов — захватнической войне Англии (одной из первых войн эпохи империализма) против южноафриканских бурских республик: Оранжевой и Трансвааля.

Стр. 68. *...до ста двадцати лет...* — принятое у евреев пожелание: жить вам до 120 лет!..

Стр. 73. *Кагал* — собрание, община. В просторечии стало синонимом шумного сборища.

Стр. 75. *...пригласили к свиткам торы с особыми почестями.* — Произносить благословение и присутствовать на амвоне при публичном чтении свитка торы (рукописное Пятикнижие Моисеево на пергаменте) в синагоге считается особым «благодеянием».

Стр. 81. *Коперников* — имеется в виду известный киевский адвокат-криминалист и публицист Куперник Л. А. (1845—1905).

НЕМЕЦ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 94. *Артаксеркс* — имя персидского царя в библейской книге «Эсфирь».

Стр. 95. *...как у своего отца в винограднике...* — «Разлегся, как у отца в винограднике» — еврейская поговорка, означающая пренебрежение; основана на библейской легенде о том, что спасшийся после всемирного потопа «Ной начал возделывать землю, и насадил он виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем».

Стр. 101. *Шифскарта* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 632.

«ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ»

Впервые напечатано в еврейском ежемесячном журнале «Ди юдише фамилие» («Еврейская семья»), изд. товарищества «Ахиасаф», Варшава, 1902.

Стр. 104. *...кроме ханукальных и денег на пурим...* — В еврейские религиозные праздники ханука и пурим принято было подносить служителям культа подарки деньгами или гостинцами.

Стр. 105. *...после поминальных дней...* — В поминальные дни (дни годовщин смерти ближайших родственников) верующие евреи ставят в синагоге свечи на аналое, которые зажигаются во время синагогальных литургий в течение этого дня.

Мишна, гемара, мидраш — талмудические произведения.

Мапу Авраам (1807—1867) — писатель, автор исторических романов на древнееврейском языке.

Стр. 106. *...но — каких? Казенных!* — См. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 616: «Казенный раввин».

Ешибот — высшая талмудическая школа.

Стр. 113. *Сейдер* — вечерняя пасхальная трапеза.

...о казнях египетских... — См. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629: «Казни египетские».

Стр. 118. *...герои наших «натуральных» и «правдивых», «в высшей степени интересных» еврейских романов...* — Здесь и далее Шолом-Алейхем высмеивает наводнявшие рынок бульварные «романы» и их сочинителей, с которыми он вел борьбу еще с 1888 года в своем произведении «Суд над Шомером», направив всю силу своего сарказма против наиболее типичного и плодовитого поставщика этого сорта «литературы» Шомера (псевдоним Н. М. Шайкевича, 1849—1906). Эти романы рекламировались с такими эпитетами, как: «натуральный и правдивый», «в высшей степени интересный роман».

Стр. 121. *Эсрог* — цитрусовый плод, так называемое «райское яблоко». В праздник кущей верующие евреи произносят специальное благословение, потрясая при этом букетом, состоящим из пальмовой ветви (лулев), миртовых и вербовых веточек, и «райским яблоком». Помимо этого обряда во время синагогальной литургии служка разносит «общинный» эсрог по домам, чтобы женщины тоже могли произносить положенное благословение.

Стр. 130. *...сел на час справлять траур.* — По закону еврейской религии, от человека, изменившего вере отцов, отрекаются, считают его умершим. Ближайшие родственники справляют по нему траур в течение часа (основной, внешний вид траура — надрыв края одежды и сидение на полу без обуви).

ПО ЭТАПУ

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дер фрайнд» («Друг»), Петербург, 1903.

Стр. 134. *Аман* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 603: «...сущий Аман».

Стр. 135. *...как истолковал их сновидения Иосиф-прекрасный за три дня до того...* — библейское сказание об Иосифе-прекрасном.

...без свидетельств... — Согласно царскому законодательству, в дореволюционной России меламеды должны были иметь свидетельства на звание меламеда; такие свидетельства выдавались директором или инспектором народных училищ на один год за плату в три рубля.

...чтобы в городе не было «эйрева». — Законом еврейской религии запрещено по субботам выносить любой предмет из одного владения в другое. Для того чтобы обойти этот закон, все частные владельцы договаривались между собой считать некоторые улицы или весь город одним общим, совместным владением. В знак этого сооружались символические ворота: два шеста, между которыми протягивалась веревка или проволока. В народе такую веревку называли «эйрев».

Стр. 136. *Кугл* — субботняя бабка (кушанье).

Стр. 139. *Праздник торы* — то же, что «Симхес-тойре», см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 604.

Стр. 146. *Талмудтора* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Стр. 157. *Ротшильд* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 630.

Стр. 160. *Садгорский хасид* — то есть приверженец садгорского (Садгора — город, недалеко от г. Черновцы) цадика или ребе («святого», духовного руководителя «хасидов» — приверженцев религиозно-мистического течения в иудаизме — «хасидизма»).

СТО ОДИН

Впервые напечатано в сборнике «Хилф» («Помощь»), изд. «Фолкс-билдунг», Варшава, 1903. Весь доход от этого сборника, в котором приняли участие и русские писатели во главе с Л. Н. Толстым, пошел на помощь пострадавшим от еврейского погрома в Кишиневе, организованного царским правительством 6 и 7 апреля 1903 года.

На обращение (от 27 апреля 1903 г.) Шолом-Алейхема

к Л. Н. Толстому с просьбой принять участие в вышеуказанном сборнике Лев Николаевич ответил следующим письмом:

«Соломон Наумович,

Ужасное совершенное в Кишиневе злодеяние болезненно поразило меня. Я выразил отчасти мое отношение к этому делу в письме к знакомому Еврею, копию с кот. прилагаю. На днях мы из Москвы послали коллективное письмо кишиневскому голове, выражающее наши чувства по случаю этого ужасного дела.

Я очень рад буду содействовать вашему сборнику и постараюсь написать что-либо, соответствующее обстоятельствам.

К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой малой части — и не народной — русского населения, — одно правительство, — к сожалению, это я не могу сказать в русском печатном издании.

6 мая 1903 г. *Лев Толстой»*.

Стр. 167. *...евреям не разрешалось селиться там вновь.* — До Октябрьской революции евреи имели право постоянного жительства только в двадцати пяти губерниях западного и юго-западного краев Российской империи и то лишь в городах (кроме г. Киева) и поселках городского типа («черта оседлости»). Правительством Александра III было издано «высочайшее», утвержденное 3 мая 1882 года, положение «о порядках приведения в действие правил о евреях», так называемые «Временные правила». По этому «положению» евреям было запрещено вновь селиться вне городов и местечек «черты оседлости», а многие пункты, населенные евреями, были объявлены сельскими местностями. Позже, в 1903 году, был опубликован список ста одного поселения, где, в изъятие от «Временных правил», допускалось свободное жительство евреев.

Стр. 170. *«Свечной сбор»* — специальный налог на еврейское население в царской России, связанный с зажиганием «субботних свечей».

МОЙ ПЕРВЫЙ РОМАН

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 181. *...внук Баалшема* — Израиль «Баал-шем-тов» (ок. 1700—1760; по-древнееврейски Баал-шем-тов — «обладатель доб-

рого имени», в народе — синоним «чудотворца») — основатель «хасидизма».

Стр. 188. *Пятикнижие* (Моисеево, или тора) — первый раздел библии.

Иегуда Галеви (род. между 1080—1086, ум. 1142) — один из знаменитейших еврейских поэтов средних веков.

Стр. 194. *...бедняжки изнуряют себя постом.* — Встарь, по еврейскому обычаю, жених и невеста в день свадьбы до венчания ничего не ели.

...к обряду «покрывания» — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622: «Покрывание».

ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ

Впервые напечатано под названием «Три соседа и один хозяин» в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

Стр. 205. *«Семадени»* — кафе в Киеве до революции.

Стр. 207. *Арбеканфес* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 605.

Стр. 215. *Мезуза* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

Стр. 219. *Царь Соломон* — библейский царь древнего Израиля Соломон-мудрый.

Стр. 222. *...до... польского восстания.* — Имеется в виду польское восстание 1863 года против российского самодержавия, подавленное царскими войсками.

Стр. 229. *...«семь лет изобилия»* — библейская фраза из сказания об Иосифе-прекрасном, истолковавшего сновидения фараона египетского так: после «семи лет изобилия» в Египте наступят семь голодных лет.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 238. *«Море-Небухим»* — религиозно-философское сочинение известного средневекового еврейского философа и ученого раввиниста Маймонида (1135—1204).

Стр. 246. *Очаков* — турецкая крепость; после длительной осады и ожесточенного боя в 1788 году была взята Суворовым.

Стр. 249. *...«милосердные из милосердных»* — талмудическая поговорка о евреях.

Стр. 257. *...происхожу я от «битых», от славутских...* — Речь, как видно, идет о двух братьях Шапиро, владельцах еврейской типографии в Славуте. Уволенный ими за пьянство печатник был найден мертвым на чердаке типографии. Оба брата были ложно обвинены в убийстве и приговорены к наказанию кнутом и поселению в Сибирь (1835 г.).

ДВА АНТИСЕМИТА

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дер вег» («Путь»), Варшава, 1905.

Стр. 262. *...на свинине... и начал есть раков.* — Законом еврейской религии свинина и раки запрещены к употреблению в пищу.

...как проклятого Каина... — Согласно библейской легенде, бог осудил Каина за убийство своего брата Авеля на изгнание и скитания, а дабы никто его не убил, сделал на его челе опознавательный знак.

МЕЛАМЕД БОЙАЗ

Впервые напечатано в газете «Дер вег», Варшава, 1905.

Стр. 274. *...этому Гогу и Магогу* — название мифических народов в библии, враждебных евреям.

КАСРИЛОВКА

В маленьком мире маленьких людей

ГОРОД МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Очерком «Город маленьких людей» Шолом-Алейхем начал печатать свою серию «В маленьком мире маленьких людей». Впервые напечатан в 1901 году под названием «Город Касриловка» в еврейском еженедельнике «Дер юд» («Еврей»). Редакция этого журнала находилась в Варшаве, а печатался он за границей, так как в России не удалось получить разрешения на его издание.

Стр. 285. *Элул* — последний месяц еврейского религиозного календаря (август—сентябрь) перед наступлением «грозных дней»,

то есть Нового года и Судного дня. В эти дни верующие евреи начинают каяться в своих грехах и обращаться за помощью к «могилам предков».

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 287. *Мессия* (по-еврейски: мошиах — помазанник) — мифический «избавитель», «спаситель», который, по представлениям верующих евреев, должен прийти на землю для «избавления» еврейского народа и всего человечества.

Стр. 292. *...обязанности сандика...* — Сандик — человек, играющий роль приемного отца, держащий на коленях ребенка во время операции (функция сандика считается самой почетной в этом акте).

РОДИТЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 294. *Пурим* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 623.

Стр. 298. *«Шулхон-орух»* — свод законов, предписаний и норм, регулирующий повседневный быт верующих евреев, составленный известным еврейским религиозным кодификатором Иосифом Каро (1488—1575).

НЕ ПРО НАС БУДЬ СКАЗАНО

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 301. *...из пятидесяти двух листов...* — в соответствии с пятьюдесятью двумя неделями в году.

«В начале», «Счет», «Ной» — названия разделов Пятикнижия, предназначенных к чтению в соответствующие недели; все Пятикнижие разделено на разделы по количеству недель в году.

Стр. 303. *Крюгер* Пауль (1825—1904) — крупный южноафриканский политический деятель; избирался президентом в 1883, 1888, 1893 и 1898 годах, непримиримый противник английского империализма. В 1900 году отправился в Европу, где безуспешно добивался поддержки европейских государств против Англии.

ДРЕЙФУС В КАСРИЛОВКЕ

Впервые напечатано под названием «Не может быть» в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 305. *Дрейфус* Альфред — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 630.

Стр. 306. *«Гацфиро»* («Рассвет») — газета, выходившая в Варшаве на древнееврейском языке.

Стр. 307. *...не больше, чем Амана — грохот трещоток...* — еврейская поговорка, означающая «никакого внимания».

«Пикерт» — *полковник Пикер*; *«Мерси»* — военный министр Мерсье; *«Пели»* — следователь Пелье; *«Гонзи»* — помощник начальника генштаба Гонз.

...а с Будефером — начальник генштаба французской армии Буадефр; после признания Анри в подделке им обвинительного документа подал в отставку.

Стр. 308. *«Ламбори»* — известный французский адвокат, защитник Дрейфуса, Лабори Фердинанд, на жизнь которого во время второго суда над Дрейфусом было произведено покушение.

НЕ СГЛАЗИТЬ БЫ!

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 314. *«Чолнт»* — субботний обед. Так как закон еврейской религии запрещает в субботу (день отдыха) разводить огонь и варить пищу, то в пятницу готовится обед на следующий день, который стоит целые сутки в горячей печи.

Цимес — см. прим к т. 2 наст. изд., стр. 600.

НЕ СТАЛО ПОКОЙНИКОВ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 317. *Бармицве* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

...уплатить за «мафтэр» пятьдесят пять «гилдойн»... — Публичное чтение нараспев в синагоге главы из пророков («мафтэр») считается «благодеянием» и большим почетом. Одной из статей дохода синагогального бюджета является продажа прихо-

жанам по праздникам этого «благодеяния». Продажу этих «благодеяний» с публичных торгов обычно производил синагогальный служка, назначая цену особым напевом. При этом цены выражались не в современной русской валюте, а в старогерманской — в «гульденах» («гилдойнах»), по заранее обусловленному их значению в рублях.

НАСЛЕДНИКИ

Впервые напечатано под названием «Собственное место» в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 326. *...от священного ковчега* — шкафа, в котором хранятся торы (свитки Пятикнижия Моисеева, написанные на пергаменте).

...лучше иметь собственную деревню за городом, чем собственный «город» в синагоге. — Каламбур построен на том, что слово «штот» по-еврейски означает и город и место в синагоге.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГОСТИНЦЫ

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 335. *Праздничные гостинцы* («шалахмонес»). — В праздник пурим евреи, по обычаю, посылали друг другу гостинцы (фрукты, сладости, печенье и др.) через посыльных из детей бедноты, прислуг.

Стр. 336. *Гоменташ* — треугольный пирог, начиненный маком.

Стр. 345. *Моэс-хитым* — деньги на мацу (пресные коржи) для бедняков; по закону еврейской религии, в течение пасхальной недели нельзя есть хлеба из любого квашеного теста.

БУДЬ Я РОТШИЛЬД...

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 348. *Раши* — начальные буквы имени Соломона Ицхаки (1040—1105), известного комментатора библии и талмуда.

...все семь наук и все семьдесят языков. — По талмуду считается, что на свете существует семь наук и семьдесят языков.

Стр. 350. *...тетя Рейзя...* — В некоторых произведениях Шолом-Алейхема из-за условий царской цензуры Россия фигурирует под названием «тетя Рейзя».

МОЛОЧНАЯ ПИЩА

Впервые напечатано под названием «Молочная трапеза» в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 351. *Пятидесятница* — еврейский религиозный праздник; по традиции, в этот праздник утром после прихода из синагоги устраивалась «молочная трапеза».

Стр. 352. *...незадолго до того не поел мясного.* — По еврейской религии, после мясного в течение шести часов нельзя есть молочное.

ЛЕГКИЙ ПОСТ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1903.

Стр. 357. *Девятое Аба.* — Девятый день месяца Аба (июль—август); день поста, плача и скорби в память разрушения древнего иерусалимского храма; в этот день верующие евреи не едят, не пьют и не носят кожаной обуви.

Стр. 360. *Иом-кипур* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 602.

Стр. 361. *...семнадцатый день Тамуза.* — *Тамуз* — месяц по религиозному календарю, июнь — июль. Семнадцатого — пост.

Пост Гедальи — третий день после Нового года.

Пост Эсфири — канун праздника пурим.

КАСРИЛОВСКИЕ ПОГОРЕЛЬЦЫ

Впервые напечатано под названием «Великая депутация маленьких людей» в ежедневной еврейской газете «Дер тог» («День»), Петербург, 1904. В 1910 году этот рассказ в окончательно обработанном виде был напечатан в нью-йоркском еврейском еженедельнике «Дер американер» («Американец») под названием «Касриловка в Егупце», позже рассказ этот назван «Касриловские погорельцы», юбилейное собр. сочинений, т. 12, изд. «Прогресс», Варшава, 1912.

Стр. 365. *Егупец* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622.

...попалось во время облавы... — Имеются в виду полицейские облавы в царской России, устраивавшиеся на евреев в местностях, где им жить не разрешалось.

Стр. 374. *Миква* — бассейн для ритуального омовения.

Стр. 375. *...твою тору, которую дал нам через раба твоего Моисея на горе Синайской!..* — Библейский миф рассказывает о том, что на горе Синайской бог дал пророку Моисею «скрижали завета», на которых были написаны «десять заповедей». Позднейшая легенда говорит о том, что вся тора была дана богом Моисею на горе Синайской.

Стр. 384. *...и трясут пейсами.* — Законом еврейской религии запрещено брить или стричь бороды и волосы на висках («пейсы»).

Должно быть, хасидский напев — песни без слов, бытующие в хасидской среде (см. прим. к стр. 160: «Садгорский хасид»). В данном случае — ироническая реплика.

Стр. 395. *Валаам.* — Согласно библейской легенде, Валаам по просьбе Валаха, царя моавитян, должен был проклясть израильтян, однако он благословил их, так как вместо проклятия бог «вложил в его уста» благословение.

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ СРЕДИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ

Впервые напечатано под названием «Великий переполох в Касриловке» в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 409. *...помочь просолить мясо...* — Согласно еврейскому религиозному обычаю, всякое мясо до варки должно быть вымочено и просолено, чтобы в нем не осталось крови.

...спутать мясное с молочным... — Законом еврейской религии запрещается смешивать молочную и мясную пищу; для того и другого существовала разная посуда.

...к хомецу. — *Хомец* — какое-либо изделие из квашеного теста; законом еврейской религии запрещено употреблять в пасхальные дни.

Стр. 410. *...над этим Аманом...* — В данном случае, над этим злодеем.

Стр. 411. *«Голос — голос Иакова, а руки — руки Исавовы...»* — Фраза из библии, в переносном смысле означает: «Голос еврея, а руки нееврея».

ДВА МЕРТВЕЦА

Впервые напечатано в сборнике «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема», Одесса, 1909.

Стр. 446. *...что это царь Соломон... имел против женщин?* — Имеются в виду стихи из библейской книги «Эклезиаст», авторство которой религиозная традиция приписывает царю Соломону: «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы...», «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел».

Стр. 447. *...построил здесь кущу.* — *Куща* — шалаш; верующие евреи устанавливают его в осенний праздник кущей, как предписано в библии, в память о том, что при исходе из Египта израильтяне сорок лет бродили в пустыне и вынуждены были жить в шалашах.

Ахашверош — Артаксеркс (см. прим. к стр. 94).

Стр. 452. *Вайзосо* (Ваиезафа) — последний из десяти сыновей Амана; все они, как и отец, были повешены (книга «Эсфирь»).

Вашти (Астинь) — царица, жена Артаксеркса, казненная им за ослушание.

Стр. 454. *Симхес-тойре* — то же, что «праздник торы» (см. прим. к стр. 139).

ЗОЛОТОПРЯДЫ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1909.

Стр. 459. *Пуримшпилы* — народные театральные представления, разыгрываемые в зажиточных домах актерами-любителями (пуримшпилерами) в праздник пурим.

Мордехай — привратник царя Артаксеркса (один из главных персонажей книги «Эсфирь»).

Стр. 462. *Эстер* — имя Эсфирь в еврейском произношении.

Стр. 466. *Веселеил* — имя мастера-искусника, который, по библейскому сказанию, построил первый подвижной храм в пустыне («Скинию»).

Стр. 470. *«Роза Иакова»* — начальные слова песни-славословия, которую поют в праздник пурим.

ЛАКОМОЕ БЛЮДО

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Хайнт» («Сегодня»), Варшава, 1909.

Стр. 475. *Харойсес* — мелко истолченная густая смесь из яблок, орехов, миндаля, фиг или слив, в которую прибавляют немножко вина и обсыпают имбирем; эта коричневая кашица должна напоминать собою глину, из которой израильтяне в Египте, согласно библейской легенде, приготовляли кирпичи для постройки крепостей. Во время пасхальной трапезы служит приправой к хрену.

Стр. 479. *...его «райским яблоком»...* — См. прим. к стр. 121: «Эсрог».

...к ханукe он припасал для каждого ребенка юлу... — *Ханука* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 611. В этот праздник дети играли в традиционную четырехгранную деревянную или оловянную юлу, на гранях которой были выгравированы буквы. Величина выигрыша или проигрыша зависела от того, на какой грани падала юла.

Новая Касриловка

НОВАЯ КАСРИЛОВКА

Серия зарисовок, печатавшаяся под названием «Весь Бердичев» в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 499. *Тишебов* — то же, что Девятое Аба (см. прим. к стр. 357).

Стр. 512. *Сионисты* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 601.

Стр. 513. *Колдунья, Гоцмах* — действующие лица в оперетте А. Гольдфадена «Колдунья».

Стр. 521. *Фрейлехс* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

Стр. 528. *...как в праздник кущей лулевом* — см. прим. к стр. 121: «Эсрог».

ШМУЕЛ ШМЕЛЬКИС И ЕГО ЮБИЛЕЙ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1909.

Стр. 534. *Ханукальные свечи.* — В праздник ханука принято было на окне зажигать ежевечерне свечи в нарастающем количестве, то есть в первый день — одну свечу, во второй — две и т. д. до восьми свечей.

Стр. 537. *...в «почтовом ящике».* — В данном случае имеется в виду отдел в газете под этим заголовком, где редакция отвечает своим корреспондентам.

Стр. 547. *...как библейский Койрах* — то же, что Корей (см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 600).

Стр. 551. *Голиаф* — библейский персонаж.

КАСРИЛОВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

Впервые напечатано в еврейской еженедельной газете «Ди юдише штиме» («Еврейский голос»), Рига, 1910. В 1902 году Шолом-Алейхем написал и напечатал в журнале «Дер юд» на эту же тему рассказ под названием «А для моих бедняков?».

Стр. 560. *Поляков* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 635.

Она вызывающе не носит парика... — что свидетельствует о ее вольнодумстве, так как по закону еврейской религии замужним женщинам запрещено было показывать собственные волосы.

КАСРИЛОВСКИЙ ПРОГРЕСС

Начало этой серии зарисовок печаталось под названием «Прогресс в Касриловке» до начала первой мировой войны в еврейской ежедневной газете «Дос лебн» («Жизнь»), Варшава, 1914.

После того как Шолом-Алейхем вынужден был переселиться в Америку, он печатал продолжение этой серии под названием «Современная Касриловка» в газете «Дер тог», Нью-Йорк, 1915.

Стр. 567. *...общество идишистов* — приверженцы народного еврейского языка «идиш», демократические слои еврейской общественности.

...общество гебраистов — приверженцы древнееврейского языка, в основном сионисты.

Стр. 568. *«Ермолка»* — правоверные евреи носили под верхним головным убором маленькую шапочку, прилегающую плотно к голове, — «ермолку». Здесь — символ ортодоксальности.

«Котелок» — головной убор, в еврейской среде считался символом прогресса.

Стр. 579. *...и колбаской лакомится.* — Евреев, евших так называемую «трефную» колбасу, считали «отступниками», «грешниками» и обзывали «колбасниками».

Стр. 582. *...и имеющий права...* — В данном случае «правожительство», то есть право постоянного проживания вне «черты оседлости».

Стр. 589. *«Капорес»* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 614.

«Ташлих» — религиозный обряд; в день Нового года евреи собирались у реки и произносили стихи из библии, бросали крошки хлеба в воду (корм рыбам) — символ «плодиться и множиться, как рыбы», отряхивали края своей одежды, чтобы «сбросить в воду все грязное и впредь быть чистыми от грехов».

Стр. 604. *«Кадеш»* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 604.

«Газомир» — по-древнееврейски: соловей; речь идет, по-видимому, об обществе народной песни и музыки.

Стр. 607. *«Кто поставил тебя?»* — библейский стих, ставший народной поговоркой, вроде: «Нашелся распорядитель!»

Стр. 608. *Черновицы* — город, в то время в Австро-Венгрии (ныне Черновцы — областной центр в УССР). В 1908 году там состоялась конференция «идишистов».

Стр. 613. *Кант* Иммануил (1724—1804) — философ, родоначальник немецкого идеализма второй половины XVIII — начала XIX века.

Спиноза — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

Бебель Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократии, считался лучшим оратором.

Жорес Жан (1859—1914) — один из руководителей французского социалистического движения, борец против милитаризма и войны. Накануне объявления империалистической войны, 31 июля 1914 года, Жорес, призывавший пролетариат к борьбе против войны, был убит ставленником реакции.

СЛОВО ЗА СЛОВО

Впервые напечатано в газете «Дер тог», Нью-Йорк, 1915.

Стр. 625. ...*соберется молитвенный десяток* (миньен). — По закону еврейской религии, для совершения публичного богослужения или иных религиозных обрядов требуется присутствие не менее десяти евреев мужского пола в возрасте не моложе тринадцати лет.

БЕРЛ-АЙЗИК

Впервые напечатано в газете «Дер тог», Нью-Йорк, 1915.

ОТ ПАСХИ ДО КУЩЕЙ

Впервые напечатано в газете «Дер тог», Нью-Йорк, 1915.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕУНЫВАЮЩИЕ

КАСРИЛОВКА

В маленьком мире маленьких людей

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собр. соч., т. 4

Редакторы *М. Беленький* и *Г. Фальк*
Художеств. редактор *Г. Кудрявцев*
Технич. редактор *Г. Каунина*
Корректоры *А. Шлейфер* и *Г. Сурис*

Сдано в набор 13/VII 1960 г. Подписано к печати 10/X 1960 г. Бумага 84 × 108 1/32 21,125 печ. л.=34,64 усл. печ. л. 31,011 уч. изд. л. Тираж 225 000. Заказ № 1078. Цена 13 р. С 1/I 1961 г. цена 1 р. 30 к.

Гослитиздат
Москва, Н. Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

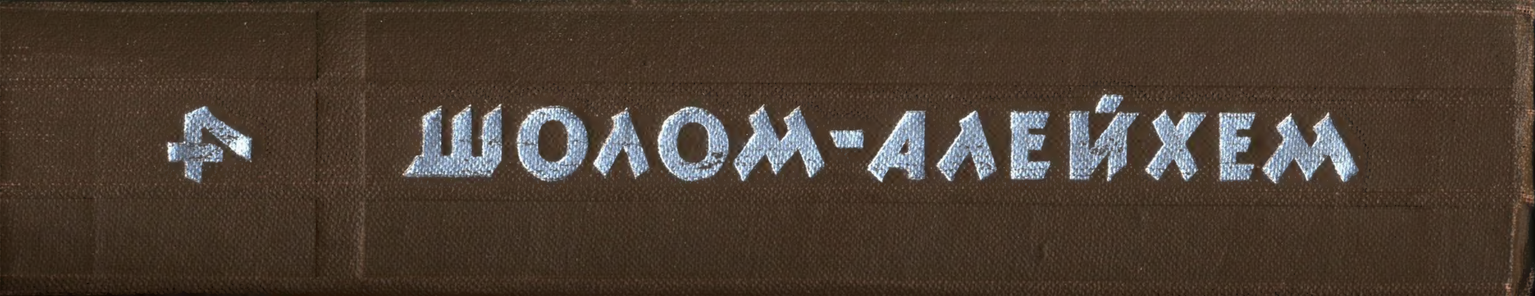
К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Идя навстречу пожеланиям многочисленных читателей, Государственное издательство художественной литературы увеличило объем пятого и шестого томов Собрания сочинений Шолом-Алейхема, включив в них дополнительно ряд произведений писателя.

В связи с этим соответственно изменяется цена четвертого и пятого томов.

13 р.

с 1/I 1961 г. — 1 р. 30 к.


4
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ